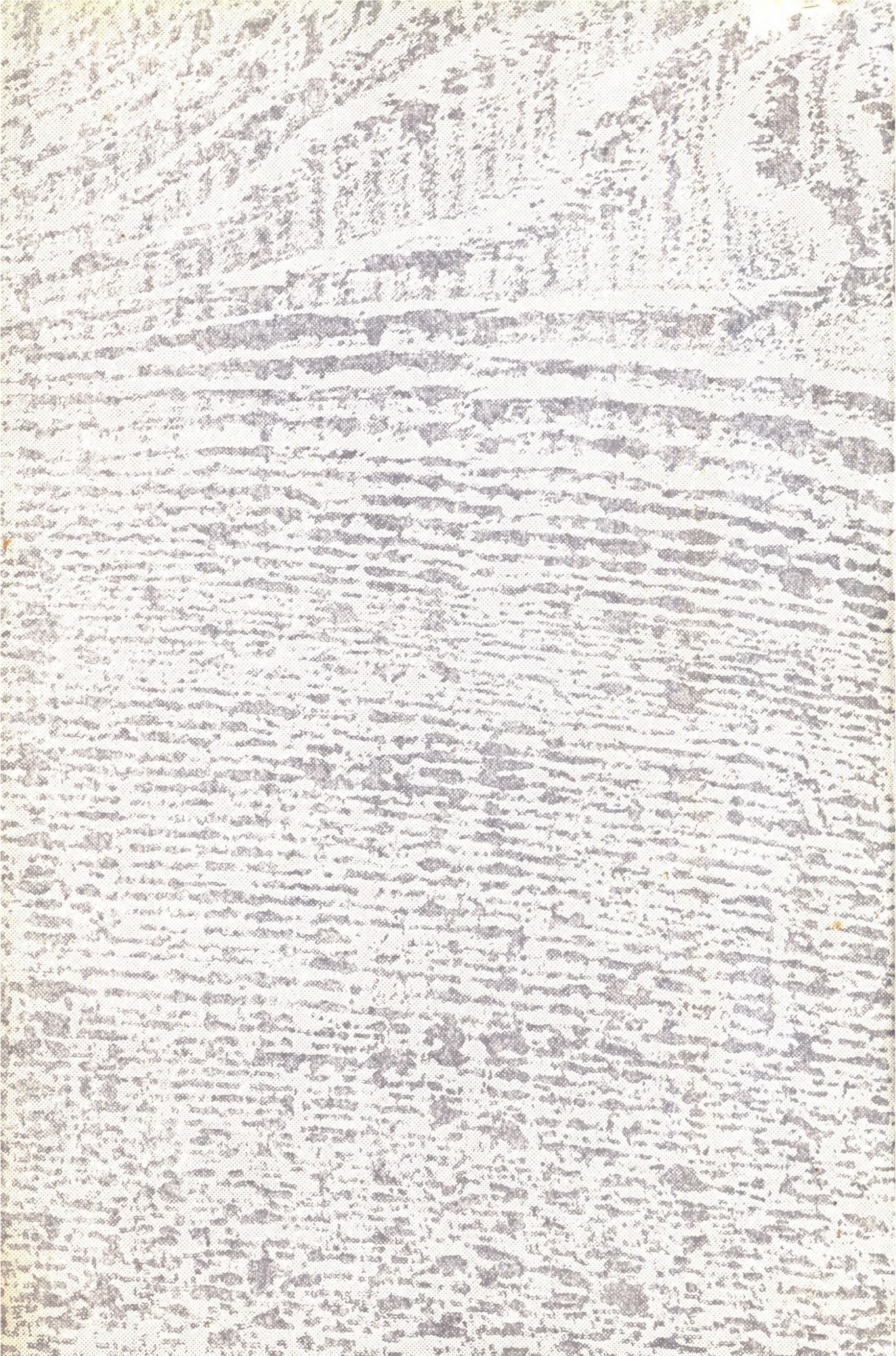
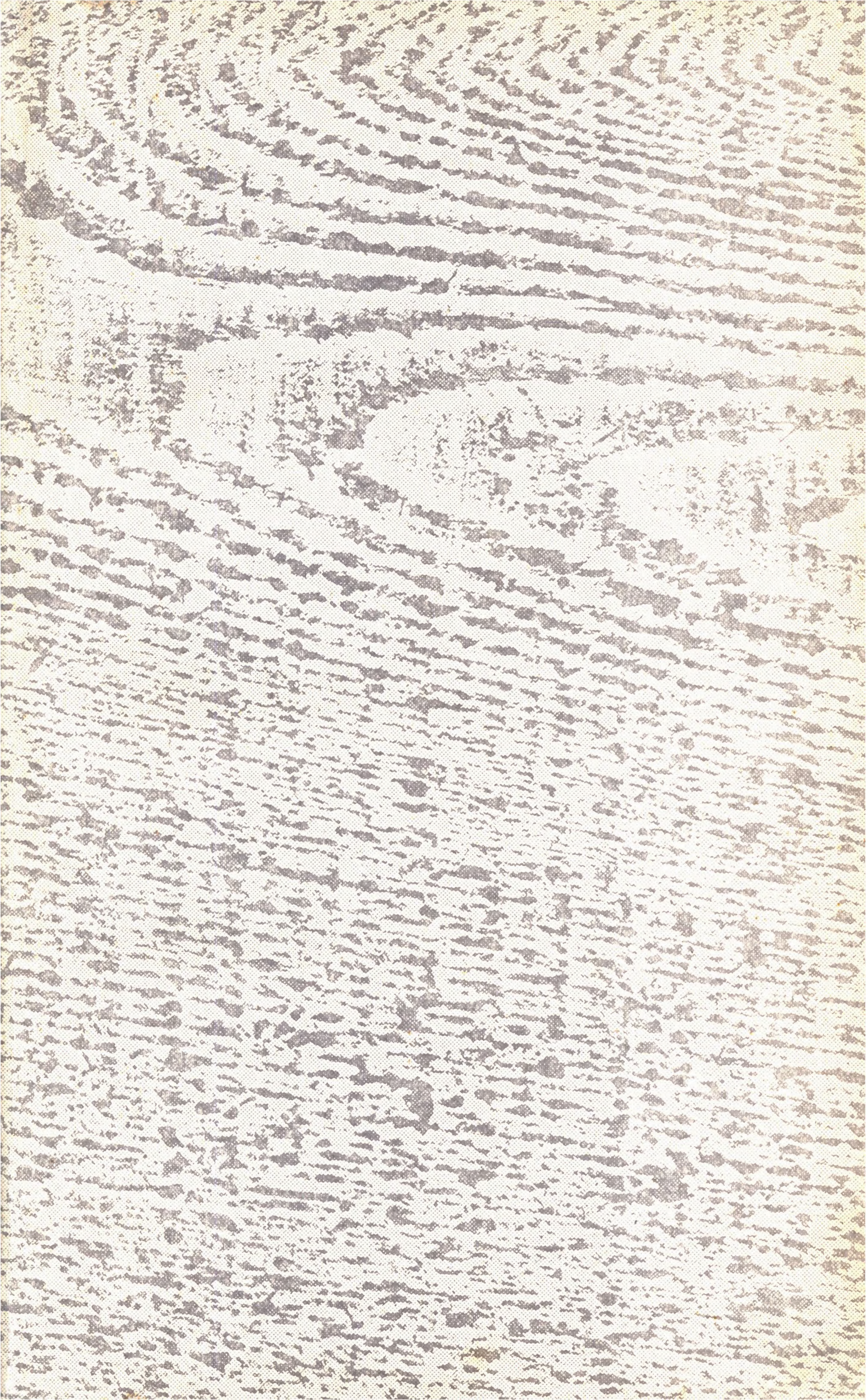
ЕВГЕНИЯ ЛЕВАКОВСКАЯ





Е В Г Е Н И Я
ЛЕВАКОВСКАЯ

Нейтральной полосы нет

РОМАН

Москва
Советский писатель
1979

Р 2
Л 34

Роман Е. Леваковской «Нейтральной полосы нет» посвящен работникам милиции, следователям. В центре внимания писательницы вопросы преемственности поколений, вопросы чести, долга, нравственной чистоты человека.

Братья Лобачевы — Вадим и Никита — сыновья старого чекиста, прошедшего войну и погибшего от бандитской пули, с честью продолжают дело, которому отец посвятил всю жизнь.

Роман «Нейтральной полосы нет» удостоен поощрительной премии Всесоюзного литературного конкурса Министерства внутренних дел СССР, Союза писателей СССР и Госкомиздата СССР, посвященного 60-летию советской милиции (1977 г.).

Л $\frac{70302-085}{083(02)-79}$ 93—79 4702010200

Моим друзьям — людям
подмосковной милиции
посвящаю эту книгу

Автор

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Никита помог Гале раздвинуть стол, накрыть его байковым одеялом, потом скатертью. Теперь Галя с Маринкой расставляли тарелки, бокалы, закуски. Никита больше не был нужен им, и он вышел посидеть на крыльце.

Он любил вот так, в ранних сумерках, посидеть на крыльце, посмотреть на прозрачный весенний сад, пронизанный высоким светлым небом. Ему нравилось, что сад обихожен, вскопаны приствольные круги, малинник подрезан и подкормлен золой. Все, как при маме. Два года назад она умерла, но Никита старался по мере времени делать все, как при ней. Не хотелось думать, что дом все равно придется когда-нибудь оставить, перебраться в городскую квартиру, как перебрались уже старший брат его Вадим с Галиной и Маринкой, потому что дом требует времени, а времени нет, и с каждым днем его становится все меньше и меньше.

Если Никита ночевал дома, зимой приходилось вставать затемно, принести воды, затопить печь, от которой теперь тянулись трубы парового отопления. Когда задерживался допоздна там, где заставала его беспокойная должность участкового инспектора милиции, соседка баба Катя топила печку, и дом всегда встречал Никиту добрым теплом, как при маме.

Комнату в башне ему и теперь могли бы предоставить, но многие семейные сотрудники жили еще в старых домах, хотя некоторые, как и Вадим, уже работали в Москве, на Белинского, 3, в Управлении внутренних дел Московской области. Да и что бы ни говорили об удобствах, а вот же Вадим, Галя с Маринкой любят приходить сюда из своей башни с лакированными полами, лифтом и газом.

Впрочем, газ есть и у Никиты, только плитка стоит

в сенях. Теперь по деревням многие поставили себе плиты с баллонами.

Борко и тетка Ира обязательно приезжают сюда на Октябрьские, перед Маем и в День Победы, как приезжали при матери, при отце, памятник которому стоит недалеко, на площади. Площадь эта когда-то считалась в городке центральной. Потом новые большие дома спустились уступами к реке, центр переместился, однако отцовский памятник городские власти решили не переносить, и, вернувшись с действительной, придя на площадь, Никита пронзительно остро почувствовал, что от отца ему больно уйти; лучше, если они будут рядом.

Отец — старый чекист — прошел Отечественную войну, вернулся с фронта в милицию и погиб на операции от бандитской пули. Старожилы города его помнят. Однажды, когда Никита был уже в седьмом классе, его сосед по парте, ухмыльнувшись, сказал:

— Тебе — что! Учи не учи, за отца пятерку поставят.

Никита вернулся от доски победителем — по геометрии ему таки поставили пятерку. Он похолодел от этих слов. Отлетела радость, странная тишина отчуждения отделила его от соседа, от всего класса.

Он попробовал проследить шаг за шагом, минута за минутой. Вот его вызвали. Он ничем, конечно, не показал, что немного струхнул. Он даже поднялся быстрее, чем обычно. Но геометрии он вообще не любил, вчерашний вечер прогонял на катке и прошлый урок повторил едва-едва. Спросили теорему: признаки равенства треугольников. Он сначала отвечал довольно бойко, но когда дошел до третьего признака, то опять немножко испугался. Чтобы протянуть время, подумать, вынул платок, потер сухой нос. Потом кое-как вспомнил третий признак. Начал чертить, но высоту опустил не из той вершины. На ходу спохватился, стер линию ребром ладони и наконец-то начертил правильно. Вот и сейчас рукав в мелу. Да, пятерки могло бы и не быть.

...Сейчас Никите двадцать четыре, армию отслужил, участковым не один год, в спецшколе учится, а помнит свой рукав в мелу и постыдное чувство виноватой униженности. Сосед сказал и забыл, никто ничего не заметил, но чувство страха, стыда осталось в Никите на всю жизнь.

Через много лет он однажды сказал Вадиму:

— Говорят, нам отец помогает, а по-моему, еще труднее, больше приходится тянуться.

Вадим тогда кончал юридический. Кажется, уже Галина у него была. Он оторвался от очередной «Криминалистики» — Вадим всегда брал разные издания учебника, говорил, что в пересечении точек зрения — истина,— поглядел на младшего, подумал. Молодой Вадим был медлителен, обстоятелен, это теперь его дела подгоняют.

— А тебе не кажется, что именно в этом отцовская помощь и заключается? — спросил он брата.

Сейчас, глядя на осенний сад, Никита почему-то мысленно заинтересовался, помнит ли Вадим об этом разговоре. Надо спросить.

В сенях послышался мягкий, по половикам, топоток. За спиной распахнулась дверь.

— Дядя, где большая супница? — спросила Маринка.

Если — дядя, а не дядя Кит, а то и просто Кит, значит, Маринка строга, при деле, при исполнении служебных обязанностей.

— В серванте, товарищ генерал-майор милиции. Справа на нижней полке, в серванте.

Шутку не приняли. Дверь закрылась. Опять топоток по половикам.

Супницу, очевидно, нашли, потому что больше вопросов не поступало. Никита взглянул на часы. Операция сервировки стола должна подходить к концу. Скоро появляться гостям.

Маринка вышла. Хотела сесть рядом. Никита искоса взглянул на нее.

— Шагом арш за пальто! И поролон за дверью возьми, постели. Сыро еще.

Девочка пошла послушно, оделась, взяла поролон, села рядом с Никитой.

Для своих двенадцати лет она была довольно высокая, с покатыми плечами и грубоватыми толстыми ножками. Невесть из каких веков взявшиеся почти татарские скулы, широко поставленные ясные голубые глаза и золотая толстая коса на зависть взрослым владелицам шиньонов.

Вадим прозвал девочку «краковской колбасой».

В этом нелепом прозвище было что-то верное: Маринка — крепенькая, розовая, толстенькая.

Русская некрасавица — называла ее мать, и, хотя Никита сам думал, что Маринка вырастет не особо красивой, Галине он ревниво возражал.

Маринка родилась, когда Никите было двенадцать. Вадим учился, Галя только-только начинала работать, жили они небогато. Никита исправно нянчил девочку. Никите иногда казалось, что собственные дети не будут так дороги. Теперь он взрослый, а дети будут сопляки. А с Маринкой они были в общем-то на равных.

— Ты же сидишь на сыром,— придирчиво сказала Маринка. Она тоже считала, что они на равных, и всякий раз старалась подчеркнуть это Никите.— Кит, а на границу сходим?

«Границу», к вящему восторгу Клуба юных собаководов, при поддержке городских властей Никита устроил на пустыре за городом в первый же год после возвращения из погранвойск, где служил действительную. Вернее, это был не пустырь — от такого слова пахло печальным безлюдьем,— это была настоящая деревенская поляна за чертой города, где уже начинался синий на закате хвойный лес.

Местный клуб ДОСААФ мощно поддерживал «границу». Тут были устроены «секреты», вспахана, как положено, контрольно-следовая полоса. «Границу» все улучшали и улучшали. Она наконец стала такая благоустроенная, что самый матерый нарушитель постеснялся бы ее перейти.

Тогда Никита только вернулся с настоящей границы и, как по человеку, скучал еще по своему Омару — «кобель, огромный, голова — три моих, семьдесят пять в холке». Ребята из клуба, пользуясь любым случаем, заставляли его вспоминать и рассказывать «эпизоды из боевой пограничной жизни».

Никита старательно вспоминал, истово рассказывал и наконец поймал себя на том, что рассказывает больше, чем на самом деле было.

Что у него там особенного было? Да, пожалуй, ничего, кроме чувства напряженной ответственности: ночь, собачьи уши, как локаторы, ветер, и птицы уже на той, не нашей земле, и вся страна — за его спиной.

В теперешней его милицейской, так сказать, жизни набралось бы уже побольше, без кавычек, боевых эпизодов. Но к милицейской его работе ребята относились без особого интереса. Их участковый инспектор. Подумаешь, большое дело.

О многом они, конечно, не знали и не должны были знать. Но все-таки Никита часто задумывался над их нелюбопытством и считал, что ребята должны больше интересоваться работой милиции. Задумываться перестал, когда Вадим заметил ему:

— А в этом твоя вина, между прочим. Ты их и должен заинтересовать.

— Какая же сегодня граница, Марина,— сказал Никита.— Скоро гости приедут. Завтра если только.

Он обнял девочку одной рукой, прижал к себе. Она засунула пальцы в короткие рукава прошлогоднего пальтишка, положила голову к нему на плечо. От волос ее пахло теплым, домашним.

— А тетя Ира приедет? — спросила Марина.

— Приедет. Куда ей деваться? Тетя Ира при нас. Вроде Ивана Федотовича.

— У Ивана Федотовича жена есть.

— Что толку? Жена-то чокнутая.

— Никита! — укоризненно произнесла Галя, Маринкина мать, Вадимова жена, не ко времени скрипнув дверью за их спинами. Теплое облачко вырвалось на крыльцо, запахло горячими пирогами. Никита шумно потянул носом и взглянул на часы.

— Выбирал бы ты выражения,— продолжала Галя.— Ты не думай, что это шик. Это в тебе еще детская болезнь играет. Вадим, когда в следователи выходил, первое время тоже без жаргона — ни на шаг.

— Никита не следователь,— ревниво поправила Марина.— Никита будет сыщик!

— Ух ты! — Никита похлопал Маринку по плечу.— Все равно, Маринка. Что эти следователи! Им поймай да приведи, тогда они, может быть, чего-нибудь и состряпают. Так или нет?

Смеясь, он повернул голову и заглянул в близкое Маринкино лицо. Но Маринке уже хотелось заступиться и за отца. Она не нашла что сказать, круглые, ясные глазки ее смотрели откровенно жалобно, а губы, со вкусом произнесшие шипящее слово «сыщик», так и оста-

лись напряженно раскрытыми, словно она показывала свои беленькие, широкие, как у зайчонка, резцы.

— Нет, как вам нравится? — спокойно подивилась Галя.— Только еще от тебя не хватало слышать хвалу угрозыску.

Галя прикрыла дверь. Вкусные запахи растаяли. Никита обернулся посмотреть, одета ли она. Лужи были еще зрячие, отражали легкие ветви и высокое небо, но воздух к вечеру заметно холодел.

Галя стояла в Никитином ватнике, опершись на косяк. У нее были такие же спокойные, голубые, чуть выпуклые глаза, как у дочери.

Тоже, конечно, русская некрасавица, а вот поди ж ты — отбила Вадима у красивых девчонок. Не суетилась, не обихаживала — это Никита хорошо помнит,— а взяла да и отбила. Есть в ней приветливое, плавное достоинство.

— Хватит вам сумерничать, зябко все-таки,— сказала Галя и ушла в дом.

Последний апрельский вечер не похож был на сумерки. На белую ночь он был похож, и даже странным казалось с земли, что в таком светлом небе всплывают мелкие острые звезды. Потемнели редкие, сохранившиеся с зимы, пожухлые листья винограда, жилистые плети которого до крыши окутали дом. На них уже набухали мощные, невидные сейчас почки. Самые высокие, еще тонкие побеги, не найдя опоры, свешивались вниз и тихо раскачивались на слабом ветерке.

Выплыла луна, яркая и круглая на светло-зеленеющем небе.

Удивительно бывает и косен, и восприимчив к самым относительным понятиям мозг человеческий. После того как высадился луноход, луна уже не казалась далекой, и как-то отдельно от нее воспринималась цифра со многими нулями.

Очень скоро мы будем читать сводки о новых кораблях и полетах, как сейчас читаем сведения о какой-нибудь буровой. Нет, все-таки ум у человека не косный! Наоборот, он даже слишком уж быстро привыкает, перестает удивляться.

— Холодно ему там, бросили его одного,— вдруг сочувственно сказала Марина и вздохнула.

— Кому холодно?

— Луноходу. Он совсем один и так далеко.

Никита крепко-крепко обнял Маринку одной рукой и молча улыбнулся в темноту. Вот так. До луны, оказывается, все-таки далеко.

На этом закончилась их немногословная беседа. Послышался быстро нарастающий звук мотора, сумрак взрезали яркие лучи фар, резче обозначились стволы липок у обочины, неровный провал колеи, легла черная тень от груды ботвы, вываленной на дорогу, и Борко, как всегда резко, затормозил у самой калитки. Кроме неопытных ребят мотоциклистов, только он один с такой скоростью в любое время года водил машину по дорогам области.

Вездесущий «газик» — все четыре колеса ходовые — это тоже, конечно, не у всякого, но и на дорогах Борко каждую колдобину знал.

— На «Победах» на свадьбы ездить, а для меня автомобиль — средство передвижения,— говорил Борко.

«Газик» свой он сам холил, и ни один шофер-механик ему наврать не мог, потому что моторы он знал на звук и на ощупь. Он вообще знал и любил технику. На фронте командовал артполком.

Потом пешим ходом из своей башни с удобствами явился Вадим, и они с Борко ушли курить под открытую форточку за огромный, до потолка филодендрон, который Никита укрепил на растяжках из цветного провода, забив гвозди прямо в бревна стен.

Филодендрон тоже остался от матери. Никита подливал ему настой на курином помете, но утром в спешке забывал это делать, а потому к ночи в доме иногда сильно попахивало.

Сегодня, придя стряпать, Галя первым долгом потянула носом. Да и Вадим подозрительно покосился на кадку.

Вадим с Борко стояли и курили под форточкой, хотя ни по каким законам физики дым в форточку уйти не мог, а, придавленный тяжелой струей холодного воздуда, растекался понизу. Росту они были одинакового, хотя Борко казался поплотнее, потому что был в кителе, в погонах, а Вадим — в гражданском. Что ни говори, военная форма человеку вид придает. В ней и старик и юнец мозгляк — все имеют вид. Не дураками придумано.

— Ну что у тебя? — спросил Борко, оглядывая Вадима. Борко его любил, а встречались они редко. Вадим — старший следователь управления, Борко — начальник областной школы УВД.

Вадим затянулся последний раз, притушил окурок в кадке филодендрона. Вынул из кармана завернутый в марлю серебряный рубль, бережно освободил его, подкинул — поймал, опять подкинул — поймал.

— Что это ты его в таком почете содержишь? — спросил Борко, следя за короткими взлетами монеты.

— Да больно хорош.

— Ну-ка, дай!

Борко повертел, посмотрел, потом взял рубль большим и указательным пальцами. У него только руки, вернее сказать — только пальцы напряглись, но лицо побагровело.

— Иван Федотыч, хватит!

— Что хватит? Инфаркт, боишься, хватит? Черта с два!

Борко с облегчением перевел дух, его таки маленько взяла одышка. Он еще полюбовался на рубль и вернул его Вадиму. Мало, чуть заметно, но рублик погнулся.

— Здоров ты, Иван Федотыч,— искренне позавидовал Вадим.— Я пробовал. По нулю.

— Это вам не ваше самбо. Тут без обмана.— Одышка отпустила Борко, и он был очень горд.

— Хорош. Совсем как настоящий. Даже лучше,— снова бережно укутывая рубль в марлю и пряча его во внутренний карман, сказал Вадим.

Борко осмотрел подушечки своих пальцев, потер их платком. Нет, чистые.

— Сначала было. Перекладывали свинца. Пачкались рублики. Потом, видно, спохватились, улучшили технологию,— сказал Вадим.

— И много развелось рубликов?

— Да, порядком.

— И давно?

— Да не так давно,— сказал Вадим не то чтобы неуверенно, но с оттенком досады в голосе.

Борко понял. По календарю дней прошло, может быть, и немного, но у милиции особый счет на дни. Пока не раскрыто преступление, каждый день давит.

Борко не стал далее расспрашивать. Он давно сознался себе в том, что хоть и в его времена работа оперативника и следователя была непростым делом, сейчас она настолько усложнилась, что зачастую он, старый чекист, не может должным образом быстро сориентироваться и дать дельный совет.

Однажды он сам себя подставил под смех, и было конфузно заметить тщательно скрываемую озорную веселость в глазах Никиты. У Вадима-то комар носу не подточит, выдержки не занимать.

НТО — целый научно-технический отдел теперь на них в управлении работает. Получилось же недавно с деревяшками со дна озера Светлояра. Выудили деревяшки, ученые спорят, страсти кипят — побывали деревяшки в руках человека или не побывали. А какой-то лейтенант милиции — за девицей из «Литературки» ухлестывал — предложил: «Давайте мы посмотрим, побывали они или не побывали».

В НТО и определили — побывали. Стало быть, можно думать: был град Китеж.

Борко тогда решил, что уж коли ученым людям НТО помог, то ему смолчать не постыдно. Советы Вадиму давать перестал, ждал, пока тот сам спросит.

— Ясно,— сказал он, когда незаконнорожденный рублик укрылся в кармане.— Что еще в отделе есть?

— Мошенник есть грандиозный,— сообщил Вадим, оглядываясь на дверь, за которой слышался голос Ирины Сергеевны, тетки Иры, как звали ее все в семье Лобачевых.— Воровка Машка есть. Дура кромешная, больше двух лет на свободе не держится, опять попадается, опять возись. Еще одно дело, но тут, похоже, все просто. Старика избили, ограбили и документы на месте происшествия забыли.

— Обнаглели,— поразился Борко.— Обнаглели напрочь. Документы оставляют и подобрать не пытаются, Или уж очень пьяные были?

— Можно думать, что и не сильно пьяные,— помедлив, ответил Вадим. Тень прошла по его лицу — он вспомнил избитого старика.

Старик шел к своему однополчанину писать какие-то воспоминания для газеты. Кажется, о форсировании Днепра в сорок третьем году. Может, это уже воображение, но что-то в его лице напомнило Вадиму отца, хотя

отца он таким старым, а тем более избитым, в кровоподтеках и ссадинах, никогда не видел. Били старика двое молодых.

— Ладно, ладно! — сказал Борко.— Успокойся, рвани-ка рюмашку.

Вадим улыбнулся. Все видит, старый черт!

Они подошли к столу и выпили по рюмке. Пили в этом доме водку янтарную, настоянную на рябине. После такой водки закусывать не надо, во рту благоухание.

— Еще есть неприятные дела,— сказал Вадим, с опаской вытащив из салата ломтик соленого огурца.— Церкви грабят. Не один уже случай по области. И не то чтобы обязательно позолоту там всякую. Иконы берут.

— Упаси тебя боже при Ирине про иконы сказать,— прислушиваясь к голосам в коридоре, перебил его Борко.

Вадим засмеялся.

— Ну что ты, Иван Федотыч! Не маленький!

В доме было уже шумно. В коридоре Маринка помогала тетке Ирине снимать резиновые сапоги. Никита скрипел воротами, впускал во двор чью-то машину. Приехала Тамара Огнева из Центральной детской комнаты, и Женя Морозов из третьего следственного, одного с Вадимом, отдела, и Михаил Сергеевич Корнеев, друг и соратник Вадима, добродушный розовощекий увалень, способный молодой сыщик.

Все были в гражданском, кроме Борко. У Тамары, Морозова и Вадима — ромбики-поплавки.

Иван Федотыч опять с грустью и радостью подумал, как изменились времена, как просто носят они эти ромбики, о которых ни ему, ни отцу Лобачевых в молодости не приходилось и мечтать.

Не высшим — недосягаемым казалось им тогда университетское образование. А теперь — видишь ты! — не то что следователь — постовой милиционер должен среднее иметь.

Однако глядя вслед ушедшей молодости, а уж вернее сказать жизни, с ее несбывшимися планами, надеждами — того, что сбылось и сделано, мы как-то не замечаем,— Иван Федотыч не таил зависти к поколению, для которого высшее образование стало не надеждой, не мечтой, а весьма обыденным обстоятельством. Перед молодыми высились другие мечты, вставали другие

трудности. Борко молодых уважал как равных, не поучал, потому, наверное, и чувствовал себя с ними хорошо даже после смерти стариков Лобачевых.

Он теперь здесь старший. Он да Ирина, хотя она изрядно его моложе. Ей пятидесяти еще нет. Еще не возраст.

Думая об Ирине, Иван Федотыч всегда видел ее на фронте — восемнадцатилетнюю, смелую, счастливую, а потом молчаливо ожесточенную после того, как убили ее любимого, знаменитого на всю дивизию командира артдивизиона Костю Марвича.

Борко как-то заикнулся Никите, что негоже-де тому Ирину этак грубо, теткой называть. Она, мол-де, еще не старая женщина. Но Никита тотчас же оглушил его язвительной цитатой. И вычитал же! «Чем старше я становлюсь, тем меньше стариков я вокруг себя вижу».

Но когда Ирина вошла из кухни в комнату, в туфлях на высоких каблуках, как показалось Борко, нарядная, прибранная, молодость фронтовая с ней вошла, и Борко подумал, что ничегошеньки-ничего не понимает еще в жизни Никита.

За столом Иван Федотыч, как всегда, поднял первый тост за Великую Октябрьскую... Слова он произносил четко, кругло, не как пономарь. У него слова эти хорошо получались. Потом — тоже, как всегда,— помянули старших Лобачевых, и пошло у них веселое застолье, какое бывает у людей, тесно связанных домами, общей работой, многолетней дружбой, когда никто не тревожится, как он выглядит и что о нем думает сосед.

Никита пил мало, хмелел нескоро, однако на Галины пироги с визигой и палтусиной подналег и сейчас, откинувшись на спинку стула, сидел ублаготворенный, чуть отяжелевший, благодушно ловя обрывки разговоров.

Тетка Ирина конечно же рассказывала про свои «Окна в прошлое». Она преподает в désинституте историю и уж влюблена в эту историю по уши. Она хорошо знает древнерусскую живопись и пишет книжку про какие-то особенные северные иконы, которые считает «окнами в прошлое», то бишь в ту же историю, считает памятью культуры, а не религии. Она заводится, как говорят автомобилисты, с полоборота, если при ней отозваться неуважительно об этих иконах. Пока тетка Ирина говорит-доказывает, Никита верит, что дело это

важное. А как остается один, начинает сомневаться, уж так ли оно важно, и не лучше ли было ей заняться эпохой гражданской войны. Биографией Азина, например. Мало кто знает у нас об этом разведчике, а ведь международного класса был разведчик!

Девочки из Центральной детской комнаты толкуют Вадиму про совещание по несовершеннолетним, которое у них готовится. Не потому толкуют, что и минуты не могут прожить без труда на пользу общества.

Они бы, наверно, и рады хоть на вечерок забыть своих несовершеннолетних, с которыми возни и волокиты, пожалуй, побольше, чем со взрослыми нарушителями. Это Никита по собственному опыту знает.

А не забывают они об этом совещании потому, что смертно боятся и велико уважают замначальника управления Чельцова, под рукой которого работают. Чельцов их и на расстоянии по стойке «смирно» держит. Но и то сказать — так думает про себя Никита,— с девчонками иначе нельзя.

Сейчас Тамара рассказывает Вадиму про какую-то инспекторшу Вику, которая умна, культурна, в педагогическом учится, а к подросткам подхода нет. Старается, а ребята к ней не идут. Нет контакта...

— Что у тебя с рукой? — спросил Никита, которому наскучило слушать про старательную Вику и про контакты. Если о ребятах речь, старательность тут ни при чем. Ребята за сто метров эту самую унылую старательность чуют. Им живой пример подавай, да чтобы с огоньком. Цитатой их не пробьешь.— Что с рукой? — Никита только сейчас заметил на правой ладони Тамары свежий бинт. Забинтовано не по-домашнему.

— Да вот же, довелось чуть не в петле побывать.— Тамара повернулась к Никите. Громкость голоса у нее осталась та же, только волна переменилась. Наверно, и Тамаре наскучила ее неудачница.— В городе какой-то половой психопат появился, на женщин нападает без различия возраста.

— На вашей шейке я триангуляционной борозды не вижу. А город при чем?

Никита с удовольствием ввернул слово, которое долго перевирал, за что и был неоднократно осмеян. Народ в спецшколе подобрался грамотный.

— А при том город, что он сначала в Москве орудо-

вал, а потом от Петровки подальше в область перебрался.

— В нашем районе ни о чем таком слуху не было. Взяли?

— Взяли, конечно. Не напоминай мне!

Чувство физического омерзения выразилось на красивом лице Тамары. Она даже поежилась и быстрыми глотками допила свое вино.

Никита пожалел, что затеял этот разговор, и подумал: мало все-таки ценят они, мужчины, своих милицейских девчат. И из детских комнат тоже. Каждодневная их работа по знаменитой этой профилактике преступлений — дело трудное, незаметное. Писанины и ответственности хоть отбавляй, а прав маловато. Папа-мама сынка не сумели вырастить, а инспектор — та же Тамара — в ответе. Изволь пробуждай в нем нравственное чувство, коли ему завтра восемнадцать и он в драке с Никитой справится.

А ведь кроме всей этой работы, если потребуется, надо и в операциях участвовать. Такое твое дело, старший лейтенант милиции...

Тамара резким движением отерла губы и снова поморщилась, когда вспомнила...

Вот ведь знала, что все должно именно так произойти, все было заранее отработано. Она шла и прислушивалась, как приближались сзади по лесной тропинке шаги. Потом он, как видно, очень широко шагнул, потому что велосипедная цепь захлестнула ей шею все-таки неожиданно. Он рывком рванул ее к себе, в это мгновение цепь чуть ослабела, Тамара успела просунуть под цепь руку, и цепь содрала ей кожу с пальцев. Из-за деревьев выбежали Игорь и Николай. В общем все получилось нормально.

Тамаре не однажды приходилось участвовать в операциях, но именно в этот раз она поняла, почему женщины на вопрос: «Что же вы не кричали?» — нередко отвечают: «Голоса не было».

Вот и знала, что ребята рядом, а голоса действительно не было...

Вадим подлил Тамаре вина, ловко, розочкой, очистил апельсин от шкурки.

«Старайся, старайся! — подумал Никита.— Можно подумать, и не слышишь, как тебя супруга честит».

Галя оттанцевалась, сидела у стола, обмахиваясь игрушечным веером из бумаги и палисандра. Раскраснелась, щеки розовые, глаза голубые, юбка короткая, совсем не похожа на серьезную врачиху. Говорят, ее в больнице уважают и побаиваются.

— Нет, вы подумайте, мой-то! — говорила Галя жене Морозова, скорбно кивая на Вадима.— Привезли гарнитуры, сам видел. Так в очереди на запись простоял шесть часов! Нет того, чтоб пойти в форме. Не досталось, конечно!

Никита слушал, посмеиваясь. Ясное дело. У Морозовых уже гарнитур, а у Гали нет. Вадим предлагает ей сборную мебель купить, она ни в какую.

— Буду я об гарнитур форму марать,— не оборачиваясь, сказал Вадим.

— Где уж тебе! Ты у нас единственный из будущего.

— Кончай о форме, ребята, перешли к содержанию! — раздался сочный бас Борко.

Голос у него командирский. Да и самого, конечно, за делопроизводителя не примешь. Воинская выправка в человеке неистребима. Никита частенько давал себе задачу: узнавать бывших кадровых военных в гражданском обличье. Из тех случаев, когда удавалось проверить, почти всегда он оказывался прав.

За столом шумно, такой момент, когда рассказывать хочется всем, а слушать — никому. Однако ж Иван Федотович всех своим басом поприжал.

— ...я от них депутатом. Хоть раз в месяц обязательно приезжаю. И привык, знаете, что каждый раз приходят на предмет улучшения жилплощади гражданка Щукина и еще там одна, фамилии не помню. А тут приехал, веду прием — их нет. Сразу не сообразил, что я же два года хлопотал и они наконец площадь получили. После приема пошел по их старому адресу. Дом идет на слом. Открыл дверь, комнатушка пустая, ветер гуляет, стол кухонный скучает, брошенный, другие шмутки, какие в новый дом не сгодились. Так мне радостно стало, захотелось даже пойти по новому адресу, узнать, как они там... Да ведь всегда у нас почему-то времени нет. Куда оно девается, это время?

Если б Никита мог увидеть себя сейчас со стороны, он, наверно, поразился бы доброй, даже нежной улыбке, с какой глядел на Ивана Федотовича. Встречались они

не часто, а Никита любил Борко, и любил в нем перелом, который всегда наступал в середине праздничного застолья.

Поначалу, выпив первую стопку, Иван Федотович поглядывал и разговаривал с этакой благостной грустинкой во взгляде и в голосе — бывший чекист, бывший военный...

Никита сердился на Борко в такие минуты. Областную школу в городе Светлом прошел каждый милиционер, каждый участковый инспектор Московской области. Без десятилетки не поступишь, программа разнообразнейшая, несколько недель напряженной учебы. Практика, экзамены. Никита был рад и горд, закончив школу, а Борко вроде бы обесценивал ее своими вздохами, вроде бы за дело не считал.

Но в середине праздника словечко «бывший» Борко уже к себе не клеил, разговоры велись о живом, о сегодня, а то и о завтра. Борко-депутат много доброго сделал для жителей родной местности. Если строго говорить, благодаря ему выросла и окрепла птицефабрика, теперь уже Птицеград, куда он сосватал директором своего фронтового друга, бывшего пехотного комдива Пашкина.

Птицеград процветал, народу возле него работало, кормилось и училось немало. Пашкина и Борко знали все.

Был же расчудесный случай, о котором Никита узнал от своих ребятишек на «границе».

Когда Пашкин слег в инфаркте, по окрестным деревням поднялся стон. По заказу многих и многих старух священник, молодой и весьма приглядный отец Виктор, недавно окончивший семинарию, по всем правилам отслужил в сельской церкви молебен о здравии раба божия Петра Пашкина, директора птицефабрики, члена обкома партии.

Пашкин в доме Лобачевых иногда бывает, и тогда уж никто не станет болтать, все захотят слушать, рассказчик он отменный. А если Пашкина нет, Борко вспомянет его обязательно. Ну... Так и есть!

— ...Петр школу отгрохал двухэтажную, но не в этажах счастье. Учителей настоящих, отличных нашел, условия им создал. Теперь из Мокшина, из Штакова ребят к нему за пять, за шесть километров посылают, а не

в Завидово, куда и ближе, и удобней. А в Завидове текучка, ничем людей не обеспечивают, люди и бегут. Было б у нас в районе, я бы добрался до них, а тут неудобно вроде. Тоже скажут, старая затычка под все бочки...

— Удобно, Иван Федотыч, вам все удобно! — вставил Никита.

Очень нравился ему во второй половине праздника Борко. Он был еще вполне, черт возьми...

Но подумав так, Никита вдруг вспомнил жену Борко. Жена Борко была ни безобразна, ни стара. Она была мертвая. Она умерла со своими погибшими на войне сыновьями.

Как это трудно, наверно, Ивану Федотовичу жить одному живому среди троих неживых... Жена всегда с мертвыми сыновьями. Она только о них думает, говорит. У Борко в доме душно, как на кладбище.

— Кит! — вдруг услышал Никита шепоток.

Маринка тихонечко прокралась, подползла под столом к его коленям, никем не замеченная уселась на полу, Никита даже вздрогнул, так неожидан был шепоток с пола.

— Ох и дитятко ты еще! — сказал Никита под стол, поглаживая гладенькие Маришкины волосы; в полумраке и то они золотились.

Рядом с Маришкой Никита чувствовал себя большим, старым и ответственным.

— Дай конфетку «Белочку»,— шептала Маришка, словно бы на ее месте, за столом, ей бы не дали этой конфетки.

— Нарушаешь! — тоже шепотом сказал Никита, опуская Маришке конфету.— Сейчас мать меры примет.

Но Галя мер не приняла. Она опять танцевала с Морозовым. Музыка была рваная, резкая, а получалось у них хорошо. Потом пошли Тамара с Вадимом.

Никита с Маришкой пересели на диван под филодендроном. Танцоры растопались, и огромные резные листья чуть подрагивали.

К ним подсела тетка Ирина. С ней одной, кажется, Никита не побеседовал еще сегодня ни мысленно, ни въявь. От нее, как всегда, пахло духами. Никита потянул носом.

— Не старайся, не сопи, духи французские,— усмехнулась тетка Ирина.— Куда ты все хорошеешь, Кит? Девицы небось падают?

Веер из палисандра и бумаги был теперь у нее в руках. И ей он подходил. С седыми волосами и орлиным профилем, вся она была не из нашего времени. Из нашего времени были только солдатская грубоватость речи, которой незнакомые люди немало дивились.

— Не все падают. Через одну,— сказал Никита. Он считал, что тетка Ирина подсмеивается над ним.

Девушки вниманием его не обходили. Но ведь так оно и бывает. Если не одна-единственная, то остальных ты просто не замечаешь.

— Через одну падают,— повторил Никита.— А у тебя что слышно, тетя Ира?

— А у меня в общем-то неважно, Кит,— ответила она неожиданно серьезно. Игрушечный веерок сложил крылышки с печальным шелестом. Ирина сидела в профиль к Никите и Маришке. Палисандровую створочку веера она, задумавшись, поднесла к своему с горбинкой носу. Говорят, палисандр навечно сохраняет аромат.

— Дай мне, тетя Ира! — попросила Маришка, взяла из протянутой через Никиту руки веерок и тоже стала его нюхать, шумно втягивая воздух кругленькими ноздрями.

Руки тетки Ирины теперь покойно лежали на коленях. Маникюр у нее, конечно, сделан, но руки морщинистые, старые, суставы раздались. Когда Никита был маленький, она носила бриллиантовый перстень на среднем пальце, а теперь для среднего он тесен, перебрался на безымянный.

— Неважно, Кит, потому что я как-то недовольна собой. Мне кажется, я стала слишком быстро соглашаться. Раньше я этого за собой не замечала.

— Так раньше ты была...

Он запнулся, не мог сразу подыскать замену слову. Мысль получилась грубая, но, похоже, верная. У молодых всегда задору больше.

— Ты хочешь сказать, что раньше я была молодая и потому, дескать...— спокойно продолжала тетка Ирина.— Не думаю, чтоб тут была вся правда. Во-первых, посмотри на Ивана Федотовича, а во-вторых, такие ли кремни все молодые?

Непонятно как, но Борко тотчас услышал, что Ирина произнесла его имя и отчество, и посмотрел на нее через стол. И Никита не в первый раз подумал, что если б не мертвая жена Ивана Федотовича...

Она никогда не умрет, потому что знает: без нее никто не будет так помнить ее убитых мальчиков. Она — мать, она будет жить вечно.

И поэтому у Ивана Федотовича с теткой Ириной никогда ничего... Нет, кое в чем они умеют не соглашаться, эти старики.

Никите стало грустно от прикосновения к чужой тайной печали.

— Тетя Ира,— предложил он,— выйдем на крыльцо, хорошо сейчас на улице.

— Выйдем, маленький мой, выйдем,— вздохнув, сказала тетка Ирина.

Они вышли тихонько, втроем.

В саду было свежо, душисто пахло талой землей. Праздник уже выплеснулся из домов на улицу. Прошел баянист, провел за собой песню, пока еще на удивление стройную. По времени уже можно было бы возникнуть и разноголосице. Приятно было думать, что не один их дом, а вся улица, весь город и дальше, дальше по стране — все празднуют.

ГЛАВА ВТОРАЯ

сно»,— сказал Борко, когда незаконнорожденный рублик, завернутый в марлю, спрятался в кармане Вадима. На самом же деле все еще весьма неясно. Все начальство подозреваемого уверено в его невиновности так же твердо, как Вадим с Бабаяном в его вине.

Очень желательно было сделать обыск на квартире. По расчетам Вадима, обыск должен был дать вещественные доказательства, улики прямые и неопровержимые. Но все-таки расчет мог и не оправдаться, и тогда не только бесполезно будет травмирован человек, но и горой станет за своего работника очень высокопоставленное начальство.

Совсем другое дело, если сначала получить призна-

тельные показания, а уж на их основании брать санкцию на обыск.

Лежит на столе не особо толстая папка — «Уголовное дело № такой-то... Том первый». Иногда их много набирается, этих томов...

Вадим приехал сегодня в Москву с поездом не 7.30, как обычно, а 6.45. Галя заметила, что скоро он не только в дни дежурств, а и во все прочие будет ночевать в управлении. Но говорила она без раздражения, без той обреченности, с какой обычно отзывались о своей судьбе многие жены работников милиции. Что и говорить, Галина молодец. Без нее было бы много труднее.

В половине девятого в управлении еще тихо, еще не выстроилась у подъезда вереница машин со шторками и без шторок. В безлюдной тишине вестибюля выступают от стен мраморные, до потолка, плиты. На них золотыми строчками звания, отчества, имена. Одна — в память погибших на войне. Такие есть во многих учреждениях. Другая — погибшие при исполнении служебных обязанностей. Таких в гражданских учреждениях не встретишь.

Когда Вадим после окончания института пришел сюда, в нижней части второй доски мрамор был чист. Вадим остановился перед доской и почему-то страшно удивился, увидев в начале первого столбца вертикальной шеренги свою фамилию, вернее, фамилию и инициалы отца. Он испытал тогда странное чувство близости, доверия к этому большому дому, ко всему, что его здесь ждет.

И еще. Было ощущение, что мрамор и золотые строки на нем — памятник прошлому, в котором все неизменяемо, уже не связано с живыми. А в чистом правом углу плиты всегда останутся видимы серо-голубые прожилки.

У Вадима была цепкая зрительная память. Он привык, проходя через вестибюль, замечать эти прожилки.

Но, помнится, в том же году было вырезано на мраморе еще одно имя. И еще... Мрамор этот жил.

Вадим предъявил знакомому постовому милиционеру многажды знакомый пропуск. Вместе с постовым его приветствовали с фотостенда лучшие люди управления, в том числе и начальник его третьего следственного подполковник Владимир Александрович Бабаян, ради встречи с которым Вадим и приехал сегодня пораньше.

Они встретились бы, конечно, и получасом позднее, но хотелось захватить Бабаяна хоть на пятиминутный разговор до того, как навалятся на начальника дела всего отдела.

На фото Бабаян был, как положено, в парадной форме, в погонах, при орденах.

В обычные рабочие дни Бабаян не носил формы. Он считал, что форма мешает контакту с тем, кого приходится вызывать. В безукоризненной нейлоновой сорочке, широком галстуке, в очках, сухой, сдержанно подвижный и элегантный, Бабаян прекрасно сошел бы за модного физика-теоретика, каких несколько лет назад писали, рисовали, играли. Расположение свое Бабаян дарил не запросто, но, поверив в работника, защищал его всегда и перед всеми, а в работе следователя с постоянно сопутствующим ей немалым риском эта защита как перед вышестоящим начальством, так и — что случалось чаще — от сторонних организаций бывала весьма и весьма нужна.

Сопутствующий риск... Как наивен был молодой Вадим, предвидя оный риск лишь как возможность угодить на мраморную доску! Мраморная доска, естественно, не исключалась, но работа следователя оказалась чревата и многим другим...

Бабаян был много старше своих «мальчиков», как он называл и Вадима, и Утехина, и Морозова, но между ними пролегла не только разница лет — их разделял перевал эпох.

«Мальчики» встретили войну малыми детьми, а Бабаян участвовал в параде войск на Красной площади в ноябре сорок первого, когда впервые за историю советской власти Сталин сам принимал парад.

Бабаян не то чтобы любил вспоминать об этом — он вообще редко и мало говорил о себе. Но уж если вспоминал, то по глазам, по голосу ощущалось, что воспоминание это хранится у него не в памяти — в сердце.

Как у многих старших офицеров управления, у Бабаяна был позади юридический факультет МГУ и следовательская работа в прокуратуре. В шестьдесят третьем году, при реорганизации МВД, он из прокуратуры попал в Управление внутренних дел Московской области. Далеко не для всех юристов эта стыковка с органами ми-

лиции, непосредственный контакт с работниками угрозыска и ОБХСС осуществлялась легко.

Практически перемены заключались в следующем. До шестьдесят третьего на место происшествия выезжали только инспектора угро, эксперты, проводники с собаками. Только они собирали по горячим, а случалось — как и теперь, впрочем, случается — по несколько остывшим уже следам все данные. Словом, проводили самостоятельно работу огромного объема, которая всегда предшествует тому моменту, когда может быть начато непосредственно следствие.

Теперь же следователь включался в работу одновременно с оперативниками, на место происшествия выезжали они вместе, работали бок о бок.

Бабаян считал перестройку добрым делом, лишь с легкой ревностью подчеркивал всегда нелогичность оставления части особо опасных преступлений за прокуратурой. Он считал, и, вероятно, не без основания, что его «мальчики» справятся с любым делом.

Отдел их размещался на первом этаже. Вместе с Вадимом сидели Карпухин и Морозов, еще один стол стоял под машинкой, на которой все они довольно бойко отстукивали свои бумаги. У каждого — по сейфу.

В кабинет Бабаяна надо было проходить через комнату следователей.

Вадим вошел в пустую еще комнату, распахнул форточку. Окно выходило на улицу Белинского, тихую, как окраина.

На столе лежала записка от Карпухина: «Скажи начальству, до обеда сижу в тюрьме».

«Сиди, сиди»,— с оттенком зависти подумал Вадим о Карпухине. Дело у Карпухина катилось к завершению. Обвиняемый пойман был с поличным и озабочен, надо думать, главным образом, статьей — сколько дадут.

Вадим закурил первую сегодня сигарету, достал из кармана тепленький фальшивый рубль, поглядел на него с упреком и досадой, как на арестованного, с которым нет, все еще нет контакта.

Так все-таки... Удастся или не удастся? Должно, по идее, выйти. А если?..

Он смотрел на рубль, курил, на сигарете выросла маленькая надолба пепла.

— Думаешь?

Дверь у них открывалась без скрипа. Бабаян вошел бесшумно и, отпирая свой кабинетик, мельком, но пристально оглядел Вадима.

— Заходи.

Владимир Александрович, как обычно, был в гражданском. Он расстегнул пиджак, сел за стол, откинулся на спинку стула, положил на стол обе руки и, постукивая подушечками пальцев по стеклу, теперь уже не мельком смотрел на Вадима. Глаза его через стекла очков казались больше и напряженней.

— Когда наш подопечный выезжает? — спросил Бабаян.

Вадим посмотрел на часы.

— По идее, или в час, или в два. Игорь позвонит, тогда и мы выедем.

— Не торопись,— сказал Бабаян.— Точно рассчитай время. Ты предупредил, если все получится и он будет требовать, чтобы по его поручению позвонили...

— Ну! — сказал Вадим.

Бабаян убрал руки со стола, обхватил себя за локти. Вадим увидел, что он тоже думает, нелегко думает обо всем этом необычном, трудном деле. Уж это у Бабаяна есть, не отделяет себя от своих «мальчиков».

— Не хочу нагнетать тебе тяжести, Вадим Иванович,— сказал Бабаян,— но не могу и не напомнить. Ты знаешь, какой плюх сделает из нас,— подчеркиваю, не из тебя, а из нас,— начальство этого типа, если подозрение не подтвердится? Ты знаешь, сколько уже скандала идет в адрес управления только за то, что посмели, так сказать, заподозрить?

Все это Вадим знал. Давно знал, с самого начала. Лишь только вышел на этого, как Бабаян говорит, «типа».

Это тоже риск, сопутствующий их профессии. Они не имеют права ошибаться. Так же, пожалуй, как хирурги. Если человек будет попусту оскорблен, никакие объяснения не помогут.

Если дело «развалится», оно не просто ляжет на полку нераскрытых, глухих, и будет, словно спящая красавица, ждать богатыря, могучего, сверхмыслящего следователя.

Ведь есть достойные, влиятельные, честные люди, которые только и ждут, чтобы оно, это дело, развалилось.

Они уверены, что дела нет, что эта папка — плод воспаленного воображения милицейского работника, что за необоснованную компрометацию советского инженера надо... И так далее, и тому подобное.

Сраму будет необоримо, может звездочка с погонов слететь, а может, и отстранят.

Предложи сейчас судьба Вадиму операцию по ликвидации особо опасного рецидивиста, где грозила бы ему пуля или нож, сменялся бы без звука.

— Вот так, мой милый,— Бабаян вздохнул.— Это тебе не бандита брать, когда кругом сочувствуют, а то и помогают. Впрочем, все эти вздохи не приближают нас к истине. Итак, еще раз обоснуй: почему считаешь, что он ввяжется?

— Уже в бытность инженером он имел две драки. Нет, не пьет. В трезвом виде. Увлекается самбо. Производит впечатление человека жестокого. Физически сильный.

— А если не ввяжется?

— Нет так нет. Значит, не встречусь с ним сегодня вечером, и только. Тогда придется...

Вадим хотел пошутить, но шутки не получилось, потому что встретиться с «типом» было крайне желательно.

— Ну, допустим, он ввязался. Вы встретились. Как дальше?

Что-то неуловимо изменилось в выражении глаз, в лицах их обоих, и каждый это почувствовал.

— Вариант есть. Говорить не хочешь,— утвердительно сказал Бабаян, поднятой ладонью остановив Вадима, который действительно решил не говорить и хотел только попытаться объяснить свое нежелание.

Вчера и третьего дня он еще подумывал, не лучше ли получить у начальника «добро» на свой вариант. Потом решил молчать. Ему хотелось хоть здесь, в стенах этого кабинета, поберечь Бабаяна. Он нравился Вадиму, этот строгий, душевный человек.

Всего проще переложить ответственность и, в случае неудачи, виноватить старшего, нежели принять право ответственности на себя.

Бабаян посмотрел на часы.

— Через пять минут начинаем летучку. С этим делом, считаю, покончено. Наполеон сказал: генерал, ко-

торый уж слишком заботится о резервах, непременно будет разбит. Не будем уж слишком заботиться о резервах. Что у тебя еще?

— С Ивановой заканчиваю. А летучку проводить не с кем. Карпухин до обеда в тюрьме сидит, Морозов — в Раздольске.

— Как у него там?

— Пока плохо. Сбыта нет.

В переводе на русский язык это обозначало, что не обнаружены пути, по которым идет сбыт краденого.

Морозов в Раздольске вел большое трудоемкое дело по хищению моторов с завода швейных машин. Виновные в хищении были установлены, заключены под стражу, сознались.

Один только оставался еще на свободе, маленький, жалкий человек, который обреченно шел через следствие и ждал суда.

В преступную группу он затесался по пьянке, не помнил даже толком, сколько вынес моторов и кому их передал. У Морозова никак не поворачивался язык сказать этому пришибленному, кругом виноватому человеку, у которого дома жена и двое детей, что причитается ему не два-три года, как он покорно рассчитывает, а все двенадцать — пятнадцать.

Крал не один. Преступная группа. Многоэпизодное, как говорят следователи, дело. Сбыт организован дельно, до Баку моторы шли. Какой-нибудь вполне респектабельный директор магазина принимает их, сбывает за полцены, в карман кладет хорошую прибыль. И государство обворовывает, и комар носа не подточит, пока Морозов не установит этот самый канал сбыта.

А жалкий, к ужасу своему, после многонедельного пьянства протрезвевший человек, дети которого и следа ворованных денег не видели, получит двенадцать лет колонии.

Морозов собирается по этому делу писать особое представление о никудышной охране готовой продукции, о том, что не только рабочие, но и мастера, случается, приходят на работу «не качается, конечно, но с запахом», как выразился, кажется, этот человечек.

А вот «тип» не пьет.

Летучки, значит, не будет. Бабаян ушел к начальству. Вадим вернулся к своему столу, к рублику. Важно,

как печать, рублик лежал на первом и пока единственном томе дела.

В управлении набирал ход обычный рабочий день. За стеной у следователя Максимова заказывала машину ехать в Шатуру. Ожил телефон. Вадим привычно ответил кому-то, что Карпухина нет.

Каждый звонок все-таки задевал по нервам, потому что могли позвонить ребята с завода: а вдруг «тип» не поедет? Вдруг заболел?

Вадим вынул еще сигарету, затянулся, глядя в глаз серебряному рублику, совершенно похожему на настоящий. Это рублик из тех, самых первых, с которых все началось.

А началось все с того, что в управление сообщили о появлении в области фальшивых монет рублевого достоинства.

Киоски, аптеки, все торговые точки, закончив работу, сдают свою выручку в банк. Принимают деньги эксперты. Опытнейшими экспертами незаконнорожденные монеты были обнаружены без особого труда.

Если потереть по бумаге — мажутся, могут попачкать пальцы, несколько не тот вес, немного не та твердость.

Что ж, за годы следовательской работы Вадиму приходилось определять на глаз довольно тонко подделанные паспорта, а по первому году службы и вульгарное травление могло остаться незамеченным.

Теперь даже участковых инспекторов в областной школе у Борко обстоятельно обучают распознаванию подделок. Поднялся, конечно, уровень и требований, и подготовки.

Итак, появились рубли, и пошел Вадим с товарищами по их следам. Но легко обнаруживаемые следы рубли оставляли только на пальцах. Началась работа кропотливейшая, дотошная. Всплывало постепенно великое множество людей, встречавшихся с этими рублями.

«Впрочем, нет, стой!» — Вадим сейчас как бы снова шел по делу, вспоминая ход следствия, план расследования и медленно поворачивая листы не пухлой папки.

Ему почему-то захотелось сделать это сейчас, перед встречей, которая должна все же сегодня состояться.

Впрочем, нет! Они в первые же дни постарались составить хотя бы приблизительную карту распростране-

ния рублей. На север, на запад от Москвы они, например, не появлялись. Было только несколько случаев, но легко можно было допустить, что кто-то получил сдачу таким рублем и этот одиночный рубль уехал.

Зато на восток от Москвы, по направлению к Волге, рубли временами всплывали довольно густо и систематически, хотя и с какими-то аритмичными интервалами.

Значит, набросали карту. Началась работа с кассирами, торговцами киосков, всех торговых точек, в чьих выручках банк обнаруживал подделку.

Этим людям можно было посочувствовать. Работа кассира и без того нервна, а тут еще гляди, старайся запомнить тех, кто платит тебе серебряными рублями.

Этот «кто-то»... Ох как медленно возникал, выплывал из мути версий и догадок, шатких показаний свидетелей его облик. Ох как медленно!

Этот «кто-то» менял рубли, покупая обычно спички, сигареты и получая сдачу «честными» деньгами.

Высокий мужчина. В полупальто. С меховым воротником? Да... А может, и без воротника...

Словом, все расплывчато, все неточно. Словесного портрета и Бабаян бы не составил, хотя он мастер на такие дела.

Но уж, во всяком случае, мужчина.

И вдруг в Новогорске под Москвой задержали с двумя фальшивыми рублями женщину. Отпустили ее тотчас, после того как она показала на допросе, что рубли получены ею в сдаче в универмаге, где она накануне покупала джемпер.

Вадим вынул тогда сигареты, похлопал себя по карманам — где спички? — и вышел на минуту из кабинета. Позвонил в универмаг. Джемперы вчера действительно продавались.

Допрашивали женщину в районном отделе внутренних дел. Беседовал с нею Жарков, инспектор уголовного розыска, сдержанный в обращении, очень опытный, с «поплавком» юридического на кителе.

Вадима вызвали в Москву, как только обнаружились рубли, женщину задержали на часок, пока машина управления, взревывая сиреной, летела из Москвы в Новогорск.

Допрос вел Жарков, а Вадим сидел за соседним сто-

лом, рылся в папках. Ему было удобно наблюдать женщину в профиль, ей — неудобно на него оглядываться.

Впрочем, она, по-видимому, забыла о его присутствии после первого брошенного на него — как на стул, как на сейф — взгляда. Держалась огорченно, растерянно, в общем, так, как, наверно, держалась бы и Галя на ее месте. Да, она — инженер.

Жарков попробовал проверить уверенность ее: точно ли в универмаге могли быть получены рубли?

Да. Только там.

Она ушла, не особенно встревоженная. Нет, нет, что вы, она понимает. Дело, конечно, не в ней.

И вдруг, когда Вадим уже собирался уезжать, женщина вернулась. Опять звонки, опять пропуск. Вернулась и подала Жаркову в руки копию чека на джемпер.

Только теперь, глядя на ее разом просветлевшее лицо, Вадим понял, что она очень волновалась. В сущности, чек можно было и не приносить. Можно было, наконец, позвонить по телефону. Хотя... Она могла не знать телефона отдела. Решила, что сбегать быстрей?

Все-таки почему она уж так волновалась?

А потом произошло самое неприятное — прекратился сбыт. Не появлялись больше рублики. Может быть, изготовители почуяли, что наследили? Втихаря размножаются теперь в укромном месте рублики и ждут.

Но могут быть, конечно, и другие ответы на вопросы, почему они перестали появляться в кассах.

Была и другая проблема, над решением которой они с самого начала работали: каким образом рублики вообще родились на свет?

Нужен металл. Разумеется, незаконным образом изготовленный штамп. Может ли сделать его самостоятельно, скажем, слесарь или токарь? Нет, штамп не так уж прост, состоит не из одной детали, а работа токаря на станке ежеминутно легко проверяема.

Значит, этот штамп должен был изготавливаться по частям, по отдельным эскизам. Кто-то должен был их сделать. И — постоянно иметь доступ к металлу...

Обычно, когда следователь сталкивается с какой-нибудь технической проблемой, он пользуется услугами эксперта.

В данном случае эксперт не требовался. Обстановка

в цехе любого металлообрабатывающего завода была Вадиму отлично известна. До юридического он был мастером цеха на таком именно заводе.

В качестве сплава, в металле, создатель рубликов разбирался. В первых монетах он переложил свинца — они довольно заметно пачкали,— во всяком случае, на это в первую очередь наткнулись эксперты в банке. Позднее технология рубликов была грамотно улучшена.

Они искали, а время шло. На дело пришлось брать отсрочку, и это была одна из наиболее неприятных отсрочек. Как-никак не украденная курица — фальшивомонетчик.

Потом монеты появились опять. Обрадовался Вадим новым рублям несказанно. По карте их путь оставался неизменным. В основном Москва — Приволжск, промышленный город, линия железной дороги. В ресторанах поездов? Нет. Только пристанционные киоски, буфеты...

Можно было думать, обладатель рублей едет поездом и, естественно, не хочет проводить часы, а то и сутки неподалеку от своих, сданных в обращение, монет.

А по весне в том же Новогорске, прямо в городе, на едва освободившейся от снега темной земле газона было найдено сразу двенадцать рублей...

Вадим перевернул еще лист дела. Вот рапорт постового, нашедшего эти монеты.

Случайно нашел он их? Не совсем.

Есть версии, которые не запишешь ни в один план расследования, потому что уж очень трудно их обосновать, уж очень на интуиции построены.

Вадим без особой симпатии относился к этому слову, которое часто применяют всуе. Разумеется, без интуиции не обойдешься, но насколько же чаще проявляется она у опытного человека.

Что мог сказать Вадим о женщине, с которой при нем беседовал Жарков? Только то, что она слишком обрадованно принесла копию чека? И то, что в Новогорске существуют заводы, на которых в принципе мог бы быть изготовлен штамп. Но так или иначе работников милиции города он все-таки делом о рубликах «озадачил».

Одна точка — точка. Две точки — направление. Женщина и — двенадцать монет. Двенадцать рублевых мо-

нет без кошелька не обронят. Потерянными они быть не могли. Они были брошены. Или выброшены. Может быть, даже из окна?

Опять пошла кропотливая работа в двух направлениях: кто живет в окружающих сквер домах — домах многоэтажных, домах-башнях — и кто ездит из Новогорска в Приволжск. Планомерно ездит. Очевидно, в командировки.

Попутно Вадим поднял еще раз копию допроса женщины — Легостаевой и, помнится, уже не удивился, выяснив впоследствии, что окна ее квартиры выходят на сквер.

Из Новогорска не один, не два, около тридцати заводских работников разных специальностей и должностей ездили в командировки в направлении Приволжска. Постепенно отсеивались по разным причинам люди, все уже становился круг. Когда наконец Вадим остановился на одной фигуре, он не поверил сам себе. И Бабаян тоже не поверил.

— Только версия!

— Следственная версия — это возможное объяснение расследуемого события и его обстоятельств, которые используются для установления истины по делу,— скромненько заметил Вадим.

— Благодарю,— чуть склонив голову набок, сказал Бабаян. Посторонний мог бы поверить в искренность его интонации.— Благодарю за точность формулировки. По учебнику шестьдесят третьего года цитируешь?

Сколь ни была она невероятна, версия тем не менее встала на ноги и требовала отработки.

Нужно было выходить за стены не только отдела, но и управления и просить директора завода отправить человека в Приволжск еще раз.

Просто? Нет, очень не просто, если учесть, что директор — дважды Герой Социалистического Труда и, как положено, горой стоит за своих людей, а человек, коего надо вытащить в Приволжск, до сей поры ничем не замаран.

Помнится, это был второй час «пик» в этом долгом изнурительном деле. Вадим еще раз поехал в Новогорск. Поехал без всякой видимой надобности. Почему-то захотелось ему еще раз посмотреть газон, где обнаружились эти проклятые рубли.

Был конец рабочего дня. И он увидел Легостаеву под руку с тем, на кого они вышли.

Опять проверка. Оказалось: муж и жена! Просто разные фамилии.

Реденький пунктир, похоже, сливался в линию. И все-таки — только версия. Мало не только для ареста — для обыска мало. А как бы желателен был обыск!

— В общем, голубчик, к директору поедешь вместе со мной. Сам и докладывай,— сказал тогда Бабаян.— Я от его высказываний в наш адрес уже дымиться начинаю.

Обычно следователь собирает доказательства, улики прямые и косвенные и косвенные, переходящие в прямые. Весомая совокупность обстоятельств может подтолкнуть подозреваемого к признанию — хотя бы частично — вины. Ну, а следствие все равно будет продолжаться, потому что случается и самооговор. Бывает, что преступник отказывается в суде от собственного признания, если заметит, что в ходе следствия не закреплены объективные доказательства истинности его показаний.

Вадим рассчитывал найти в доме подозреваемого человека вещественные следы его подпольной, так сказать, деятельности.

— Так и будет он тебе штамп дома держать,— сомневался Бабаян.

— Мне нужен даже не штамп. Мне нужна металлическая пыль того же состава, что и рубли. Думаю все-таки, что он работает дома. Дачи у него нет, родственников нет, в чужую квартиру с таким делом не пойдешь. Если предположить, что он работает дома, где-нибудь непременно должна сохраниться пыль.

— Вам, металлистам, виднее,— сказал тогда Бабаян.— Допускаю пыль. Помни, Вадим Иванович, и не забудь на радостях, коль скоро пойдет он на раскол, хотя, убей меня бог, если я знаю, на чем ты сыграешь. Так вот, если он и расколется, не попадайся на общие фразы. Собирай как можно больше фактов, обстоятельств, деталей, которые могут стать обстоятельствами по делу! Пусть хоть все признает, надо тщательнейшим образом все конкретизировать и детализировать показания. Вспомни дело Кореева.

...Дело это трудно было забыть. Кореев убил жену.

На следствии в преступлении он признался. Сказал, что после убийства уехал за город, потом вернулся, спросил у соседей, не оставляла ли жена ему ключ.

Однако в этот момент его осенило, что ездил-то он без билета, а стало быть, не сможет доказать алиби.

Тогда он вернулся на Киевский вокзал, «достал» билеты, один от Москвы до пятой зоны, второй — от пятой зоны до Москвы. На последнем билете не была указана станция продажи.

И следователь допустил ошибку. Он не уточнил, каким именно образом попал билет Корееву, не записал это уточнение в протокол допроса.

Ошибка эта была Кореевым замечена. В суде он отказался от всех показаний, заявив, что жены не убивал, что билет куплен на станции Крекино, а раз он это знает, то, стало быть, он там и был, и алиби его несомненно. А на допросах, дескать, его принудили к самооговору.

Немалый труд пришлось потратить, пока установили, что билет Корееву дал участник экскурсии, возвратившийся со станции Крекино, который и рассказал, где купил билет.

Детали, подробности... К сожалению, в работе следователя весомость или маловажность их определяется лишь в конце работы. В конце не только следствия, но и судебного процесса, когда обвинительное заключение подтверждено, подтверждена и определена следователем статья...

Вадим сидел над делом, ждал телефонного звонка, а между тем рабочий день в управлении набирал скорость. Вернулся из тюрьмы довольный Карпухин. Принялся раскладывать в хронологическом порядке протоколы, показания, справки, запросы, авиабилеты. Сейчас сошьет он их в папку, и ворох документов превратится в аккуратно подшитое «дело».

Пришел старший лейтенант, кажется, из Раменского. Сам лейтенант молодой, портфель блестящий, новый. Лейтенант говорит, уважительно глядя на Вадима. Вадима он, очевидно, где-то запомнил. Вадим его — нет.

— Я хотел бланки протоколов у вас позаимствовать...

— Все понятно, тирьим-тирьям,— пропел ему на мотив «Атлантов» Карпухин, ища на свет приличную копирку.— Сейчас я тебе выдам.

Карпухин — парень на вид легковесный, сачковатый. Ему и дела-то какие-то необременительные попадаются.

Вот сейчас сидит у него в тюрьме вор. Странный вор — так его прозвали. Молодой парень. Покупал торт за рупь восемнадцать и банку варенья, забирался в частную дачу, пил там чай, устраивал полный хаос, брал хозяйскую вещь, к примеру пальто, взамен оставлял свое. На одной даче взял дерьмовый плащ, оставил нейлоновую — шестьдесят ре — куртку.

С Карпухиным у них не контакт, а загляденье. Один показывает, другой записывает. Плохо только, что парень путает, на какой даче что брал, приходится по два, по три раза вызывать людей для опознания украденных шмоток.

К перспективе колонии странный вор относится безбоязненно.

Говорит: «Протестую против рутины. Долго сидеть не буду. Убегу».

Все это было бы смешно, когда бы... не подсчитал однажды Вадим, во что обходится государству одно это нелепое дело.

Зарплата следователя, расходы на поездки для розыска похищенных и кому-то проданных вещей, вызовы потерпевших, свидетелей (все они тратят рабочее время), содержание этого трепача в тюрьме, а потом еще суд...

Однако ж Карпухин молодец. Видит, что Вадим читает полчаса короткую страничку в деле, и вот — прикрыл его от районного лейтенанта.

Теперь Вадим вспомнил. Да, парень этот из Раменского, Вадим выезжал с ним на происшествие. Там было убийство. Они проканителились всю ночь, чуть не пять километров, как лоси, бежали за собакой, но преступников к утру взяли, и лейтенант был с непривычки чрезвычайно поражен такой оперативностью.

Для этого парня старший следователь управления человек авторитетный, а для директора завода и начальник управления, видимо, не закон. Почему?

Не по злобе, конечно, а потому, скорее всего, что к работе органов...

— Тебя,— сказал Карпухин, который первый поднял трубку их общего телефона.

Игорь сообщил с вокзала, что садится в электричку

в Порохов. Это означало, что «тип» — Карунный его фамилия — едет с той же электричкой.

Вадим медленно опустил трубку, чувствуя, как на несколько единиц напряжение в нем спало. В конце концов в задуманную игру могли быть введены любые вводные, Карунный мог не поехать в командировку, мало ли что могло случиться. Сейчас начало положено. Карунный едет.

— Начинаете операцию «ы»? — спросил Карпухин, любуясь своим аккуратным, в меру пухленьким томом. Очень ему нравился этот том.

— Еще долга песня,— сказал Вадим, взглянув на часы. Он ощущал странный облегчающий подъем, чем-то похожий на обманчивую легкость дыхания в разреженном горном воздухе, когда дышится легко, но частит сердце. К нему всегда приходило это чувство, когда начиналась серьезно задуманная операция. Хотя, как любят пошутить в угро,— какие же могут быть операции у следователей? Операции — у оперативников, а следователь — что? Ему поймай да приведи...

Вадим вспомнил, как однажды услышал такую сентенцию из уст Маринки и как строго принялась ей выговаривать за это мать.

Ему стало смешно. Он вышел в коридор веселый, свежий, как будто и не было нескольких часов гнетущего, вязкого ожидания.

В коридоре на не длинных, без спинок диванчиках сидели несколько человек. Свидетели, потерпевшие — мало ли кого и зачем приходится вызывать для бесед нашим следователям. А какие интеллигентно-респектабельные сидят обычно перед кабинетами ОБХСС. Ох и трудно же с ними работать, ох и копотные же дела!

Вадим шел по коридору, удовлетворенно ощущая, что собственная задача уже не кажется ему особо трудной.

Столовая управления помещалась в подвальном этаже. Там всегда можно было встретить много народу из районов. Выбивая себе в кассе хвостик чеков, Вадим снова увидел лейтенанта из Раменского и сел со своим подносом против него. Лейтенант торопливо отодвинул тарелки со вторым и с первым. Вадим заметил эту почти юношескую предупредительность. Ему захотелось сделать парню приятное, он напомнил кое-какие

подробности из общего их выезда на убийство, подробности, из коих следовало, что лейтенант себя в ту ночь показал наблюдательным и смелым.

Вслед за подробностями в памяти всплыла и фамилия лейтенанта — Галушко, что окончательно расположило того к Вадиму. На Лобачева он смотрел сейчас так, как Вадим смотрел когда-то на Булахова, у которого проходил институтскую практику.

Розовощекий Галушко казался Вадиму недосягаемо молодым, и Вадим удивился бы, услышав, что сам он, в белой водолазке, в подзамшевой на «молнии» куртке, широкоплечий и поджарый, выглядел ненамного старше лейтенанта, несмотря на заметно седые виски. Сединой в этом зале трудно было удивить. Старых здесь не было, а седых — много.

Вадим ел борщ, слушал о раменских делах («...а поезд идет, идет на Порохов, вагоны подрагивают на стыках...»). Слушал о том, что у них в районе не особенно, а вот в Шатуре, говорят, дело поставлено, и отличный там, между прочим, проводник СРС — служебно-розыскной собаки, старший сержант. Целый самодельный питомник организовал.

— Скоро, скоро будет у нас свой большой питомник,— сказал Вадим, принимаясь за ромштекс, хотя слышал о грядущем питомнике вскользь от Никиты.

Слаб человек! Уж очень приятно видеть глаза, устремленные на тебя с искренним теплом и уважением и немножко с хорошей завистью снизу вверх. Перед такими глазами хочется быть авторитетным и осведомленным... («Неужели все-таки Карунный не ввяжется? Нет, должен ввязаться. Он не трус. Да трус и за рубли бы не взялся. На это тоже своего рода смелость нужна».)

— А вы знаете, товарищ капитан, тем бандюгам-то, убийцам, только по три года дали. У них адвокат Качинский был. Я в суде присутствовал. Ну же он и говорит! Ну и вяжет! Кого хочешь обвяжет!

«Качинский»,— мысленно повторил Вадим (на мгновенье замер поезд, идущий в Порохов).

Эту фамилию он недавно не мог вспомнить в разговоре с Бабаяном. Но не в этом дело. С чем-то коротко, неуловимо неприятным связана она в его памяти. С чем? Не с чем, а с кем... Так, так... С Никитой связана эта фамилия, и неприятное ощущение («Пусть, пусть по-

стоит еще поезд, иначе можно забыть, и вторично забытое уже не восстановишь»).

На какой-то даче была какая-то пустяковая кража. Никита был там. И без всякого сочувствия рассказывал о потерпевших, что ему вообще-то не свойственно. У него позиция четкая, размывов нет: вора лови, потерпевшему сочувствуй. У него иногда до примитива четкая позиция...

И вдруг Вадим вспомнил. Как-то по дороге на электричку Никита еще раз обмолвился об этой даче. И упоминал фамилию Качинского. И он, Вадим, все хотел спросить: в чем там было дело, да так и не спросил.

Что-то ему тогда не то чтобы не понравилось, но запомнилось в лице Никиты. Какой-то всплеск. Чего-то Никита не сказал. Ну ладно, теперь он уже не забудет и спросит.

Вадим привык доверять своим ощущениям подчас не менее, чем мыслям. Разве ощущение не предшествует мысли?

(«Поезд на Порохов снова набирал скорость».) Вадим вернулся к Галушко, к его словам о трех годах, которые получили убийцы.

Лейтенант был опечален, с его точки зрения, несправедливым приговором. Вадим подумал, что такие вот разочарования тоже входят в разряд издержек их производства.

— А вот скажите, адвокат любого преступника станет защищать? — с детской простотой спросил Галушко.

Наверно, это было первое убийство в его службе. Он ходил в суд и размышлял над тем, что слышал. Ни судьи, ни адвокаты не видели ни убитого — шея была перерезана почти от уха до уха,— ни его матери, когда ей сказали, что единственный сын ее убит.

А он видел. И ему — не по Уголовному кодексу, а по душе — не были понятны смягчающие обстоятельства и пухлые речи о молодости подсудимых: разве тот, кого он увидел на шоссе в черной, в остром свете фонариков, густой луже,— тот разве не был молод?

— Так ведь судебный процесс должен быть состязательным,— с такой же искренностью, несколько неожиданной для самого себя, отозвался Вадим.

Обычно с малознакомыми он бывал сдержан, в иных

случаях производил впечатление холодноватого человека.

— Но у меня тоже случалось,— подумав, сознался он,— когда никак не поймешь, ну зачем это, чтобы какой-то краснобай работу многих людей сводил на нет. А все-таки не может процесс не быть состязательным. В споре рождается истина.

— Нет! — тоже подумав, сказал Галушко.— Тут, по-моему, все-таки есть неправильность. Судьи же не получают деньги за каждое отдельное дело? Прокурор не получает? Вот и адвокаты не должны получать частных денег. В таком деле не может быть материального стимула.

Вадим с симпатией слушал Галушко. Он и сам любил подвергать сомнению истины. «Истину — под сомнение» — это же старый девиз физиков-теоретиков, и черта с два добились бы они чего-нибудь без такой крамольной указки.

Ромштекс и компот кончились («Пороховская электричка скрылась за поворотом»). Машин в управлении не такое изобилие, чтоб кто-нибудь умный и дошлый не смог перехватить предназначенную тебе у тебя же из-под носа.

— Нам никак нельзя против адвокатов,— уже вполушутку сказал Вадим, поднимаясь из-за стола.— Скажут, за свои огрехи опасаемся. А кроме того, знаю я случаи, когда и следователь и прокурор ошибались, и только адвокат помогал вынесению справедливого приговора.

— А если попробовать написать? В порядке полемики? От управления, конечно, нельзя, а если от себя самого? От частного, так сказать, лица. В порядке дискуссии?

Нет, он решительно нравился Вадиму, этот лейтенант.

— Слушай, Галушко,— сказал Вадим.— Вот тут у тебя ошибка. По молодости. На тебе погоны, ты работник органов, и ты никогда — пойми: никогда! — не можешь быть частным лицом. В этом, если хочешь, основа нашей работы. Мы некоторым образом всегда при исполнении служебных обязанностей.

Галушко оставил компот недопитым и шагал рядом с Вадимом. Очень ему не хотелось расставаться с капи-

таном Лобачевым, чей портрет в парадной форме красовался на стенде.

— А вы не слышали? — сказал он, когда Вадим помянул про служебные обязанности.— В Дмитрове лейтенанта Зотова убили. Участкового инспектора. Мы с ним в одном потоке в Светловской школе были. И ваш брат с нами был,— добавил он, как будто упоминание о брате в этой связи могло быть приятно капитану.

— На операции? — спросил, закуривая, Вадим.

— Да. Они бандита-браконьера брали. У него две судимости, сроки имел хорошие. По амнистии освобожден. А Зотов на первую операцию вышел. Бандит в него несколько пуль всадил, а потом себе в рот выстрелил. Ему при двух судимостях за убийство все равно бы вышка была. А его дружки-браконьеры чуть не с почестями провожали. Это, по-вашему, как?

«Похоже, этот Галушко мне сегодня в глобальном масштабе счет предъявляет»,— беззлобно подумал Вадим, медленно раскуривая от спички. Да, конечно, и Никита прошел через Светлово, и Никита носит ту же, что и Зотов, форму, и ему какая-нибудь сволочь может всадить пулю или нож.

— Бесстыдство браконьеров — это, по-моему, плохо,— сказал он, затягиваясь так, что скулы резко обозначились на чуть тронутом загаром лице. Загорать-то пока не приходилось. Вот если с Карунным дело замкнется и на Машку Иванову обвинительное сдать, Бабаян обещает отпустить в отпуск.

Господи боже ты мой, за пять лет работы в управлении это будет первый отпуск с Галей! Как только жены их несчастные терпят? Действительно: вечно при исполнении служебных обязанностей.

— Это плохо,— повторил Вадим, останавливаясь у дверей отдела. Похоже, Галушко и туда не прочь за ним последовать.— Не боятся, значит, браконьеры нас. А должны бояться! Закона бояться должны.

— Ничего они не боятся. Из них ни один срока не отсиживает.

— Так и есть, в глобальных масштабах ты мне счет предъявляешь, а у меня время истекло,— Вадим посмотрел на часы.— До другого раза, Галушко! Ужо все вопросы решим. Главное, быть бесстрашным и не бояться красавиц.

Оставив Галушко, несколько озадаченного таким советом, Вадим вошел в отдел спокойным и собранным. Почти веселое возбуждение его осталось на какой-то ступени беседы с лейтенантом.

Врачам, работающим на чуме, на оспе, делают прививки, труд их считается героическим.

Какую прививку можно сделать этому пока еще розовощекому лейтенанту, который обречен — нет, не то слово! — который решился всю свою жизнь находиться в контакте с преступностью, с моральной грязью, с социальной чумой, постоянно дышать отравленным воздухом?

Какую прививку можно сделать, чтоб весь мир, в конце концов, не стал казаться ему дурно пахнущим и ущербным, чтоб он не разучился верить в людей, чисто думать о них, иногда вопреки очевидным обстоятельствам? Почему пожизненно ратный труд этого мальчика не считается героическим?

— Фаэтон подан,— сказал Карпухин Вадиму. Мальчишество из него так и перло. И бобрик густой, как цигейка, без единого седого волоска, топорщился над гладким лбом.

— Чельцов не звонил? — со значением спросил Вадим, проходя к своему столу за спиной сидевшего перед Карпухиным пожилого мужчины.

Звонка от Чельцова никто не ждал. Вопрос служил лишь язвительным напоминанием о несчастном случае, когда Карпухин пошутил по телефону да нарвался на Чельцова.

Тот гаркнул: «Ко мне немедленно!» Карпухин вскочил по стойке «смирно» и тоже гаркнул в трубку: «Есть!»

Мальчишества в нем этот случай, однако ж, не убавил.

Сейчас Карпухин предъявлял для опознания вещи с кражи — того самого «странного вора»,— стол его был похож на барахолку; мужчина отказывался признать пальто своим.

— Да вы посмотрите, мне рукава по локоть!

Карпухин уже третьему потерпевшему примерял это пальто. Хозяина пока не находилось.

Вадим вынул из сейфа свой тяжелый — сегодня очень тяжелый — портфель, захлопнул, запер сейф, по привычке проверил ручку и вышел.

У подъезда, поближе к дверям, стояли машины начальства, чуть подальше стояла зеленая машина с решеткой в задней дверце; узнал Вадим и «Волгу» Борко. В этот час перед управлением всегда тесно. Метров за пятнадцать, почти в конце здания, дожидался Володя. Вадим сел рядом с Володей, и они поехали в Порохов.

Электричка должна была прийти туда примерно с час назад. Часа через два они приедут, пока — в отдел, пока — что, по времени примерно так и должно получиться. Если, конечно, вообще получилось, как задумано.

Машина вышла на улицу Горького. Утро было серенькое, хмурое, а сейчас разведрило, верхи зданий косо освещало солнце, стекла сверкали, оттого и внизу, на тротуарах, просторных до часа «пик», в легкой весенней тени казалось солнечно.

Красив и величествен был ярко освещенный солнцем красный Кремль на синем небе. Вадиму редко приходилось видеть его в эти часы.

Утром он выходил из метро спиной к Кремлю, да и солнце не бывало еще таким обильным. В седьмом часу вечера, если удавалось вовремя уйти с работы, в русле улицы становилось так тесно, что как-то не поднимались уже глаза на Кремль.

Вот и Кремль остался позади, по набережной Володя поднажал и тотчас схлопотал угрожающий жест жезла постового.

— Ты по городу-то полегче,— напомнил Вадим.

В городе и милиция городская. Область московским постовым не указ. Может и такой старательный найтись, что из принципа задержит: дескать, что нам ваши областные капитаны.

Задержка в расчеты Вадима не входила, не столько даже из-за потери времени (пусть Карунный подольше подождет, пусть), сколько из-за того, чтоб не сбить состояние ровное, даже спокойное, в котором он сейчас пребывал.

Они вышли наконец за черту города, и Володя отвел душу, поднажал. Какой-то «МАЗ» с прицепом, вольготно и неторопливо тащившийся по середине проезжей части, долго и нахально не желал потесниться, невзирая на короткие просьбы-гудки.

А чего ему бояться, этому «МАЗу», его никто не столкнет, не поцарапает, к нему под прицеп чуть не вся «Волга» влезет.

Володя обозлился, включил сирену. «МАЗ» спохватился, как базарная баба-спекулянтка, метнулся к обочине, только что подола не подобрал.

Разговор с Галушко несколько отвлек, притушил приподнятость настроения, но вместе с тем прибавил не то чтобы решимости перед предстоящей бескровной, жестокой схваткой — и того и другого и до Галушко хватало. Прибавил он уверенности в крайней необходимости всего, что надо сделать.

В самом деле, доколе? Вадиму запомнились браконьеры на могиле бандита. А не слишком ли многое стали мы прощать?

— Не торопитесь, что ли, Вадим Иванович? — спросил Володя.

Вадим понял вопрос. Если не торопиться, так почему не поездом? Вместо объяснения он молча похлопал по портфелю.

Порохов начался пригородами, дачными местами, почти повсеместно одинаковыми. В садах и палисадниках небывало буйно цвела сирень. Но кусты-букеты загораживали окна сельских домиков. Когда приходилось притормаживать, в кабину через полуопущенные стекла заплывал густой аромат, а у кустов стоять, наверно, голова закружится.

Потом потянулись тоже повсюду похожие дома, дома-башни... Володя на ходу помахал рукой постовому. Это была уже область, как говорится, своя епархия, машина их была знакома каждому милиционеру. Володя поэтому считал особым шиком ездить по Подмосковью, как говорится, на пределе, но без сучка, без задоринки.

Отдел внутренних дел города располагался в недавно отремонтированном здании, во дворе виднелись мотоциклы, в окнах цветы. Начальник ОВД — старый работник милиции, в войну командовавший в этих местах партизанским отрядом, любил культурное оформление. Во двор выходило зарешеченное окно камеры предварительного заключения.

Вадим почти физически ощутил холодок нетерпения, взглянув на это окно. Как только машина, круто затормозив, остановилась, к ним подошел Игорь, куривший на

скамеечке у входа в здание. Подошел вразвалочку, неторопливо, развернул локти, оперся на опущенное стекло, сказал:

— Здесь.

Володя знал, что придется ждать. Достал с заднего сиденья учебник и мгновенно погрузился в него. Весенняя сессия в автоинституте приближалась неумолимо.

Вадим взял портфель, вместе с Игорем они не спеша поднялись по трем ступенькам подъезда, прошли между каменными вазами, в которых пышно цвели анютины глазки, и вошли в отдел.

Вадима ждал инспектор угрозыска капитан Новиков, выросший в инспектора из постового милиционера, заочно завоевавший высшее юридическое.

Новиков был моложе Вадима года, наверное, на три, но опыта оперативной работы ему было не занимать стать. Чельцов его отлично знал, очень ценил и, случалось, посылал для помощи в другие отделы. Новиков выглядел и держался старше своих лет, хотя был приветлив, общителен и на шутку шел охотно.

Просто у него была большая семья из старых и малых, образование и передвижение в званиях дались нелегко, наверно, оно и сказывалось. Ему бы просто не пришло в голову дурачиться по телефону, как Карпухину, но ведь Карпухину-то, сыну высокообразованных родителей, институт легче дался. Вадиму иногда, грешным делом, думалось, что Карпухин на юридический пошел только потому, что на вступительных математики не требовалось.

— Здесь,— так же, как Игорь, успокоил Новиков Вадима, едва тот вошел к нему в кабинет (цветы на окнах, дощечка под стеклом, все как быть следует). Оба тотчас закурили. У Новикова на столе сидел черный галчонок с разверстым клювом. Вадиму он протянул на дерматиновый диван круглую пепельницу.

Новиков говорил ровно, как по бумаге читал:

— Приехал с модным портфелем. На ящик плоский похож, уж не знаю, что в него влезет. Сошел с платформы. Прошел через вокзал. На площади около выхода встретились пьяные. Ну, не пьяные, выпивши. Задели его. Даже не его самого, просто по портфелю проехались. Прицепились, но не дрались. Замах только сделали, с рубашки пуговицы спустили, удара не было. А он

дал. Хорошо дал. С ног сбил. Блямбу хорошую поставил. Силенка есть и уменье. Задержали всех. Сидит один. Часа полтора,— Новиков взглянул на часы на руке,— да нет, пожалуй, уж к двум близится, сидит.

— На завод звонил?

— А как же. Сейчас же предъявил удостоверение, потребовал телефон. Номер взяли ребята, сказали — позвонят, а ему, дескать, положено сидеть, начальство ждать.

— Спокоен?

— Да не сказать, что беспокоен. Обещал, конечно, что, если задержим, неприятности нам будут. Ну да ведь это все обещают, нам не привыкать. Пятнадцать-то суток, между прочим, он заработал честно. Парня он хорошо приложил. Самбо знает.

— Знает,— подтвердил Вадим.— Он тебя видел?

— Зачем ему меня раньше времени видеть. Ему сказано: ждать.

Вадим докурил, медленно придавил в пепельнице окурок. Посмотрел на бойко цветущий на окне бальзаминчик, щедро облитый заходящим солнцем. Прикинул расположение окон — в камере должно быть светло. Ему нужен свет, как можно больше света. Сдул пепелинку со своей снежно-белой водолазки.

— Значит, так сделаем, Дмитрий Иванович. Ты — начальство. В форме. Первым войдешь. Твое дело — нарушение, непорядок на улице. Но на завод ты по его просьбе, ясно-понятно, звонил. Тебя, допустим, на местный завод, куда он в командировку ехал, отфутболили. Я войду с тобой, но, может, я с этого самого завода, выручать его пришел. Ясно?

— Ясно,— сказал Новиков.— Подожди, бланк протокола возьму. Порядок так порядок.

Он взял телефонную трубку, позвонил в дежурную часть, сказал, что на час, наверное, отлучится. В отделе будет, но чтоб не искали, не беспокоили. Положил несколько бланков в папку, папку — в руки, открыл форточку — дым выпустить, и они пошли. Новиков впереди, Вадим с портфелем сзади.

Между прочим, именно этот, представительный, толстой кожи, солидно раздутый портфель непредугаданно и сразу расположил к нему Карунного. Карунный поверил, что этот спортивного вида, в модерновой водо-

лазке парень не из милиции, а пришел, очевидно, его выручать.

Не обратив никакого внимания на Новикова, поверх его фуражки, он немного сконфуженно и обрадованно улыбнулся Вадиму. Чуть подмигнув, улыбнулся ему и Вадим.

— Придется побеседовать,— безликим голосом сказал Новиков, усаживаясь на табуретку перед деревянным столом и доставая из папки бланк.

Вадим видел Карунного только один раз ранней весной около сквера, где нашли монеты. Карунный был тогда в шапке, и не выделялись так явственно тяжелые, мощные челюсти.

Странное лицо. Жевательный аппарат преобладает надо лбом, над всей верхней частью. Плечи мощные, на пальцах правой руки свежая ссадина. Новиков прав, сила есть, парню навесил крепко. На вопросы отвечает терпеливо, без виноватости, но и без задира. Знает, что на пятнадцать суток не посадят, птица крупная.

Спокойно объясняет: портфель, дескать, берег, документация важная. Ерунда, милый, ерунда! И послан ты по пустячному делу, и важную вашу документацию так не возят. Новиков молодец, помаленьку теплеет, вот пошутил даже. Есть контактик. Карунному можно думать, сейчас и кончится все, и отпустят.

Именно с таким выражением — погоди, дескать, сейчас! — Карунный еще раз коротко взглянул на Вадима.

Он совсем успокоился. Он позволил себе даже посмотреть на часы в широком кожаном браслете, чуть поднять брови и покачать головой.

Он сидел как раз против окна, в которое широким потоком вливалось закатное солнце. В потоке этом неспешно плыла тополевая пушинка.

— Ну что ж,— проговорил сидевший против Карунного Новиков, пододвигая к нему протокол и ручку.

Карунный чуть улыбнулся, пожал плечами. Ручки Новикова не взял. Привычным движением достал свою из кармана пиджака. Толстую, не нашу, с разноцветными стержнями. Не читая протокола, привычно, как на деловой бумаге, поставил свою подпись. Не глядя, вложил ручку обратно в карман и теперь уже открыто дружелюбно посмотрел на Вадима.

Новиков поднялся. Вадим шагнул к столу. Портфель его был давно расстегнут, правая рука — в портфеле. Одно движение, и — на стол хлынул водопад рублей. Тех самых, самодельных, фальшивых.

— Ну, а с этим как?

Прозвенев тускленько, последние монеты не удержались на столе, бросились врассыпную по полу и затаились по углам.

Карунный и Вадим стояли друг против друга. Вадим смотрел только на Карунного. Карунный только на монеты. Он был освещен солнцем, бесстрастным вечерним солнцем, и было видно, как мгновенно и страшно он побледнел.

— Я думал, что это все... в общем... забыто!

Вадим почувствовал неимоверную усталость, как после выжима штанги. Подавил в себе вздох облегчения, потому что переводить дыхание было еще рано. Это еще первый шаг, еще ничего не сделано, не закреплено. Нельзя ждать, пока Карунный придет в себя, подумает об адвокатах, о многом подумает...

Новиков стоит со своей папочкой, с протоколом о драке, по которому Карунному приходится пятнадцать суток. Хорошо стоит, пусть стоит.

Вадим пододвинул табурет, резко сдвинул, освобождая стол, мешавшие теперь монеты. Рублики ринулись со стола, ища спасения, но бежать им было некуда. Карунный глянул на них с омерзением и страхом, как смотрят некоторые люди на крыс.

— Садитесь! Говорить будете?

Карунный сел. Стал говорит все. Нижняя тяжелая челюсть его чуть подрагивала, но бледность уже уступала обычному цвету лица.

По науке если, то рекомендуется свободный рассказ. Ну, пусть будет свободный, хотя лучше бы и без свободного.

Что могло быть неожиданным? Только наличие сообщников. Их, как и думал с самого начала Вадим, не оказалось. Не нужны они были этому грамотному и располагающему возможностями инженеру. Он все мог сам. И по образованию, и по месту работы. Он сам и обходился.

Одного не мог пока понять Вадим: откуда взялась кучка рублей на газоне?

— ...когда жену задержали и привели в ваш отдел, она страшно испугалась. Да, она обо всем знала, но всегда боялась, и я ей обещал... Насчет последних рублей она не знала. Она прибежала домой, нашла еще монеты и вышвырнула их в форточку. Накануне выпал глубокий снег, и найти их практически было невозможно. Да если искать, само по себе могло возбудить подозрение... Окна же кругом. Идиотский поступок!

Когда Карунный произнес эти слова, Вадим даже оторвался от протокола, который вел с быстротою максимальной, чтобы взглянуть на Карунного — такая уже вполне трезвая злоба прозвучала в его голосе.

«Ну так и есть, он уже опомнился, уже думает, прикидывает. Идиотский поступок... Он уже не понимает, как мог так легко расколоться».

— Читайте! Подписывайте. Нет, каждую страницу. Так.

Карунный был оставлен в хозяйстве Новикова до завтра. По закону в течение строго определенного срока должно быть предъявлено обвинение. Не предъявите — извольте освобождать. Ну, ничего, до завтрашних шестнадцати часов предъявим.

Сейчас Вадиму некогда было возиться с самим Карунным, ему нужен был обыск, нужны были вещественные объективные доказательства признательных показаний.

Спору нет, хорошо, отлично, великолепно, черт возьми, что они есть вот здесь, в портфеле, в соседстве с рубликами, которые помог собрать с пола камеры предварительного заключения Новиков. Но грош будет цена этим показаниям, если Вадим не подкрепит их вещественными доказательствами. Этот тип с мощным жевательным аппаратом немедленно откажется от всего, еще заявит, что силой вынудили. Он уже пришел в себя к концу допросов. Насчет штампа сказал, что уничтожил, а так ли?..

Спокойно выйдя из КПЗ и сделав несколько размеренных громких шагов по коридору, уже с лестницы Вадим сбежал. Увидев его, Володя сунул под сиденье учебники. Можно считать, билета два-три он сегодня наверняка подготовил.

— Теперь жми, Володя,— попросил Вадим. Откинувшись на мягкую спинку, он позволил себе закрыть глаза,

расслабиться. Сейчас это было уже можно. И очень нужно.

Опытный Володя, покосившись на Вадима, ни о чем его не спросил, но сирены на шоссе не жалел, машины шарахались от них, и до города они доехали быстро. Вадим не открывал глаз, но не спал. До сна ему было еще далеко.

Он не рассчитывал застать в управлении Бабаяна, но тот был у себя. Ждал Вадима? Нет, он так не сказал.

Он нетерпеливо прочел показания Карунного.

— Санкцию на обыск сегодня получить не успеем.

— Все равно.

— Нарушение?

— Нарушение.

За нарушение Вадим тоже мог ответить, но это было уже каплей осложнений по сравнению с тем штормом, который мог бы обрушиться на него, если бы...

— Вот так,— сказал Бабаян, обхватив себя ладонями за локти. Пиджак за его спиной был надет на стул, в белой рубашке он казался моложе. Совсем как Вадим, если б не глаза.— Вот так, в таком плане и в таком разрезе. Считай, отбились, и звездочки твои целы. Ну, а если б, теоретически говоря, не пошел он на раскол? Ведь мог ты рассыпать свои заветные рублики, а он мог пожать плечами да спросить, что это за базар?

— Теория мертва, но вечно зелено древо жизни, так вроде?

Вадим видел: Бабаян доволен. Пока все шло по плану, все шло в цвет. А как могло бы быть? Ну что ж, их работа — без гарантий. В их работе гарантирован только риск.

— Кого берешь с собой? — спросил Бабаян.— Игорь здесь.

— Игоря. Понятых там возьму. Знато бы дело, санкцию бы на обыск взять. Прямо бы оттуда и махнули.

— Не нахальничай! — строго сказал Бабаян, но он понимал, что Вадим шутит. Ни тот, ни другой не страдали суеверием, однако ж, наверное, и Бабаян на месте Вадима не заготовил бы заранее санкцию, сколько бы ни был уверен в успехе задуманного.

Через десять минут Вадим с Игорем летели в Ново-

горск уже на другой, дежурной машине. Хотели заехать в магазин, купить что-нибудь поесть, но в Новогорск очень торопились, а когда возвращались, уже начинался рассвет.

От штампа нашли несколько деталей. Вадиму помог прошлый опыт металлиста, а то можно бы и не распознать детальки в ворохе металлического хлама. Но тем не менее детали нашлись. Не все, значит, уничтожил.

Металлическую пыль обнаружили на бритвенном приборе.

В управление Вадим вернулся, когда было уже светло.

Странно устойчивы в человеке бессмысленные, казалось бы, привычки. Войдя в вестибюль, измученный и голодный до тошноты, он, как всегда, машинально взглянул на нижний угол мраморной доски. Взгляд его споткнулся: не было привычных голубых ручейков, на их месте стояло золотом: «Младший лейтенант Зотов...»

Кто-то ночью вырезал это имя. Что ж тут было удивительного? Вадим просто не задумывался. Конечно же ночью высекают эти имена, а не днем, когда ходят люди.

Если бы он был в форме, он, наверно, снял бы фуражку перед этим последним именем. Оно запало в память, как будто было связано с чем-то родным. Может быть, потому, что Галушко упомянул погибшего рядом с Никитой. Или потому, что и Никита, и Зотов учились в школе у Борко?

Вадим прошел по тихому пустому коридору. Из их отдела сегодня никто не дежурил. А те, из других отделов, кто сегодня дежурные в оперативной группе, либо на месте происшествия в каких-нибудь Люберцах, либо спят мертвым сном на раскладушках. Может, у кого и есть что пожевать, да будить негоже. Сколько раз клялся вовремя покупать...

Ладно. Через четыре часа милостью божьей начинается рабочий день, но четыре часа поспать — сила.

Вадим запер в сейф портфель, принес раскладушку, байковое одеяло, думку, старый лыжный костюм, который хранился на нижней полке шкафа, водолазку развесил на стуле, куртку свернул под голову — не любил спать низко, лег — и как провалился, как под наркозом, мгновенно и без снов.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

ы должны помнить: вы родили и воспитываете сына или дочь не только для вашей родительской радости. В вашей семье и под вашим руководством растет будущий гражданин, будущий деятель и будущий борец. Если вы... воспитаете плохого человека, горе от этого будет не только вам, но и многим людям и всей стране.

...Не думайте, что вы воспитываете ребенка только тогда, когда с ним разговариваете, или поучаете его, или приказываете ему. Вы воспитываете его в каждый момент вашей жизни...»

— Верно! — вслух подтвердила Вика, словно бы Макаренко лично явился в детскую комнату милиции за этим подтверждением.

Она помассировала левой рукой замлевшие от долгого писания пальцы. Цитаты — одна одной краше, но длинны, спасу нет. А как сократишь, если все верно и всего жалко?

Тетрадка с записями пухла и пухла, и это было приятно Вике, потому что записи велись сверх программы, не по обязательной литературе. В красную «бархатную» тетрадку цитаты вписывались из самостоятельно выбранных книг, и свидетельствовали самой Вике, что читает она не только обязательное, и многое сверх того.

Года три-четыре тому назад Вика, наверное, очень удивилась бы, узнав, что педагогическая деятельность ее начнется с милиции. Пусть в детской комнате, но все-таки в милиции. Ей всегда казалось, что милиция — это штраф, ловля воров и автомобильные катастрофы. Теперь ей кажется, что главное в милиции — это детские комнаты и борьба с правонарушениями среди несовершеннолетних. А самое главное — профилактика, ранняя профилактика. Так называется то, что она делает. Нет, еще не делает. Учится делать.

Вика перечитала длинную выписку из Макаренко. Конечно же не для ребят припасались эти выписки. Бить ими следовало по родителям, по разным комиссиям, иногда и по руководителям предприятий.

Это просто удивительно, как действует на многих

людей цитата. Скажи те же слова от себя — слушать не станут, а со ссылкой на авторитет — совсем другой резонанс.

Однажды Вика схулиганила. Выдала слова Оскара Уайльда за высказывание Энгельса. И дуболом из ЖЭКа с важным видом закивал. Сказал:

— Как же, как же, мысль широкоизвестная.

Он измучил Вику, этот дуболом. Никак не хотел помочь с организацией спортплощадки во дворе, где ребятам буквально шагу не дают ступить пенсионеры.

Это была маленькая тайная месть Вики дуболому. К сожалению, тайная. Ведь он не догадывался, что ему отомстили.

В комнате тепло, даже жарко. Приходя на работу, Вика держит окна закрытыми — первый этаж, пыль. Солнце бывает здесь до полудня, зелень в горшках и ящиках на окне растет бойко, как в оранжерее. В углу стоит большой ветвистый фикус, невесть откуда перекочевавший в отдел. Сначала он стоял в ОБХСС, но когда организовали детскую комнату, его отдали Вике. Сказали, что детская комната должна быть самой красивой, самой уютной.

Это верно. Ребят повестками не очень-то навызываешь, ребята сами должны приходить. Надо, чтоб им хотелось.

Сначала Вика неприязненно отнеслась к фикусу. Очень уж много наговорили-написали про него нехорошего: он-де и мещанин, и такой он, и сякой. Побывав в лагере на юге и увидев магнолию, Вика зауважала обруганное деревце, как будто и на нем — только похожем — могли расцвести прекрасные чаши-цветы.

А насчет того, что ребят насильно ходить не приучишь, это точно... Ходят они в комнату не особо охотно. Но у нее хватает терпения! Чего-чего, а уж терпенья и настойчивости ей не занимать. Ведь добилась же она спортплощадки у дуболома. Походить пришлось, поругаться, но за все вознаградили слова дуболома, пущенные ей вслед, когда он думал, что Вика уже не слышит:

— Девка — глядеть не на что, но настырна. Кремень!

Кремнем она хотела быть. А что до первой половины фразы... От природы ей досталось всего ничего, и больше, ясно-понятно, ждать нечего, только воля и настойчи-

вость помогут ей найти место в жизни, это Вика поняла давно, очень давно. После того случая, память о котором камнем легла в ее детское сознание.

Камень больно ее ушиб. Сколько ей тогда было? Лет одиннадцать, не больше. Родители работали «на Северах», на Колыме, на Камчатке, на Сахалине. Не везде были школы, и Вике приходилось оставаться «на материке» с разными родственниками, с тетками и их мужьями, которые ей не нравились и которым она, несмотря на деньги и посылки, не была нужна.

В доме последней тетки к тому же и пили крепко. Зять добирался ночевать еле можаху, в сапогах и грязной спецовке валился поперек кровати, но долго не засыпал, и его почему-то приводили в бешенство глаза девочки, хмурые, неулыбчивые, которые она не хотела прятать. Он не бил Вику. Потом уж она поняла, что — не по благородству. По трусости он ее ни разу не ударил. За удар можно было ответить, а за разговоры не отвечают.

— Уродина ты,— сказал он ей тогда. Тихо, даже без злости сказал, кое-как подтянувшись на постели и упершись плечами в стенку. Толстый шматок глины с кирзового сапога свалился на пол, который Вика только что вымыла и застелила свежими половичками. Была суббота. По субботам она всегда мыла полы.— Осуждаешь меня, поганка, недоносок, а сама — уродина! Твои родители по Северам-то мотаются, чтобы приданое тебе... Без приданого на тебя никто не взглянет. Да и не от отца ты... Отец красивый. Ошпаренная ты кошка. Отворотясь, не насмотришься, а еще осуждает, поганка!

Тогда ему удалось сделать ей очень больно. Она инстинктивно схватилась за свое плечо, за руку — годовалую Вику обварили кипятком. Кожу навсегда стянуло голубоватыми шрамами.

Он понял, что ему удалось сделать ей больно, и ему это понравилось.

Тетка любила мужа, он был намного моложе ее, она прощала ему все и пила вместе с ним, и ей не казалось чем-то особенным его привычка — пошутить. От слов — не убудет.

Правда, чем старше становилась Вика, тем труднее было ему добиться смятения в ее глазах, которого он добивался со злобной тупостью алкоголика.

Всякое явление противоречиво. Может быть, именно этот камень, как балласт кораблю, сообщил ей устойчивость? Вика, во всяком случае, привыкла так думать. Она была не из трусливых. Она ни от чего не пряталась.

Если шрамы от ожога уж так безобразны... Она стала носить мужские рубашки, ковбойки. И так кстати ей милицейский китель... За один этот китель можно быть благодарной Ирине Сергеевне. Не за материю, конечно, а за то, что помогла с институтом и с устройством на работу в ДКМ — детскую комнату милиции.

Почему от чужих людей мы часто видим тепла и заботы больше, чем от близких?

А может быть, это потому, что от близких мы заранее требуем и ждем, а от чужих всякое даяние — благо?

— Ну, хватит психоложества,— строго, вслух сказала себе Вика.— Заполняй карточку на Карасика, готовь материал для Огневой и шагом марш на «Красную розу».

Карасик — не имя, это уличное прозвище, кличка, и заносится она в пункт десятый учетной карточки на несовершеннолетнего, поставленного на учет в детской комнате милиции. А всего — пунктов шестнадцать: приметы, индивидуальные особенности, с кем общается, где, когда и за что задерживался в прошлом, кто выявил, сведения об общественном воспитателе и шефе... И много-много пустых линеек, куда надо записать все, что можно будет сделать для этого Карасика, чтобы в конце карточки когда-нибудь написать не «оформляется в колонию», а «снят с учета как исправившийся». И подписаться: «Инспектор детской комнаты милиции Виктория Черникова».

Когда Ирина Сергеевна два года назад познакомила Вику — уже студентку педагогического — с Вадимом Ивановичем Лобачевым, а тот отвел ее к хозяйке Центральной детской комнаты Огневой, Вика еще сомневалась... Уж очень нереальным казалось сочетание понятий — милиция и педагогика. Детская комната и семнадцатилетние парни, которых, оказывается, нужно воспитывать, а не просто подыскивать приличествующую их поведению статью.

Тамара Александровна Огнева беседовала с Викой в Москве в Управлении внутренних дел Московской

области. Вике выписали пропуск, она прошла мимо огромных, в полстены мраморных плит, одна из которых показалась ей необычной: «Погибшие при исполнении служебных обязанностей».

Помнится, тогда Вику кольнула романтически-тщеславная мыслишка: уж не податься ли ей на юридический? Быть сыщиком, распутывать удивительно сложные, опасные дела. Все смотрят на тебя с уважением, немножко с завистью... И как-то совсем не думалось о слове «погибшие».

Тамара Александровна оказалась красивой, пышноволосой. Вике даже показалось странным,— она поняла это из телефонного разговора,— что у Огневой пятилетний сын.

— Вам действительно исполнилось двадцать? — спросила Вику Огнева.— Вы кажетесь моложе.

Вика была в мужской ковбойке, ворот застегнут под горлышко, и длинные, несмотря на жару, рукава. Косметики на ней сроду не бывало, волосы тоже без краски, светлые, подстрижены длинно, теперь это получается «под мальчика», ногти кругло-коротки, лак светлый.

Огнева рассматривала ее серьезно и нескрываемо, и Вика отвечала ей таким же откровенно испытующим взглядом.

На нее произвели впечатление и мрамор с золотыми именами, и множество людей в военной форме, работающих в этом большом здании. Повеяло никогда не виданным фронтом, всплыли мысли, которые не раз посещали ее и многих ее сверстников: прошла война, была Победа, подвиги были и Зоя Космодемьянская... А как же я? Что же осталось на мою долю? Неужели всю жизнь подшивать бумажки, как подшивала их до смерти на своем Севере мать?

— Вам приходилось сталкиваться с алкоголиками, с дебоширами? — в середине беседы вдруг спросила Огнева.

Вопрос был столь внезапен, что Вика вздрогнула и, кажется, покраснела. Покраснеть для нее означало— покрыться безобразными пятнами, которых нельзя было не заметить.

— Я спрашиваю потому, что очень часто причиной безнадзорности, причиной неполадок в судьбе подростка бывает алкоголизм родителей. Вам придется ходить

к ним, разговаривать с ними, влиять на них. Скандалы будут, мат будет.

— Все это мне знакомо,— сказала овладевшая собой Вика.— Мне приходилось иметь дело с алкоголиками.

Любопытно, что именно этот момент беседы оказался для Вики решающим. Она как-то сразу почувствовала себя ближе к тому, что ждало ее, хотя, казалось бы, ничего особенно радостного в обрисованной перспективе не было.

Позднее она разобралась в себе — она вообще старалась докапываться до источников своих чувств и мыслей. Ей как бы представилась возможность свести счеты с омерзительным, перегоревшим в алкоголе существом, которое она вынуждена была столько лет терпеть рядом. Возможность защитить других детей от подобных существ. Никогда, ни в словах, ни в мыслях, не воспринимала она алкоголиков как людей.

Защитить детей — ради этого уже стоило жить. Вика впервые в жизни ощутила в себе могучий прилив сил, какой рождается только от ясно видимой цели. От цели, которая велика и достойна. Пусть даже другим она не кажется таковой.

Самой большой неожиданностью оказались для Вики те, с кем она рассчитывала сразу и немедленно достигнуть взаимопонимания,— сами ребята, подростки.

Ведь со многими, как Вика считала, у нее схожая судьба, и они и она — потерпевшие, они легко найдут общий язык. И так естественно для них воспользоваться ее опытом. Но с удивлением и тревогой Вика очень скоро убедилась в том, что никак не может использовать этот самый опыт.

Кому интересно знать о ее детстве? Что толку с ее детства Карасику, мать которого водит к себе разных мужчин, пьет. Один из ее гостей избил Карасика, мальчик ушел из дому, попал под крыло к соседушке, у которого две судимости, приобрел наколку — рыбку и кличку. Школу бросил, с работы за хулиганство уволили.

Чем могут удивить или порадовать Карасика откровения Вики? Подумаешь, скажет он, обзывал не обзывал, так не бил же?

Те, кого могли бы тронуть Викины откровения, не попадали на учет в детские комнаты. А тех, кто состоит у нее на учете, теткиным мужем не удивишь.

Сила воли, самоусовершенствование, личный пример — в этом полагала Вика основу воспитания, влияния на подростков. Не было, наверное, дня и часу в дне, когда она не следила бы за собой, будь то очередь в магазине или кино. Впрочем, на кино времени не оставалось. Все же работа, институт...

Вика не раз думала, что ей повезло с работой еще и потому, что здесь очень многие учились без отрыва от «производства». Сопричастность этой воюющей в мирное время воинской части добавляла Вике силы и уверенности. Большие переходы в строю совершать легче, и редко кто способен проделать форсированный марш один.

Минут пятнадцать десятого — работа в отделе начиналась в девять — к Вике заглянул начальник отдела подполковник Фузенков. Если не было ничего особого на оперативке, он всегда обходил свое хозяйство. Это был крепко сбитый, плотный человек, всегда носивший форму, которая и сидела на нем как влитая.

Поначалу он показался Вике для такого большого поста молодым. Потом она узнала, что он провоевал войну.

В первой же беседе Фузенков подкупил Вику великим уважением, с каким относился к будущей возможной ее работе. Признаться, она даже не думала, что с ней будет говорить сам начальник отдела.

— Кабы вы ко мне в оперуполномоченные шли,— сказал подполковник,— я бы и то, кажется, меньше беспокоился. А то ведь вы на профилактику, воспитывать идете. Вы хоть понимаете, что предотвратить преступление часто труднее, чем раскрыть? И, между прочим, важнее. А несовершеннолетние для нас самый что ни на есть золотой фонд. Если мы из этого фонда не дадим преступному миру ни одной души, он же кончится, преступный мир.

Вика потом узнала, что Фузенков лично распорядился поставить в детскую комнату фикус, бальзамин и герани. И первое время, заходя к Вике, всегда пробовал пальцем землю. Потом перестал. Цветы росли исправно.

Вику он зауважал после отвоевания ею в ЖЭКе спортплощадки.

— Новые ребята на учете появились? — спросил Фузенков, с удовольствием пройдясь по большой, солнеч-

ной комнате, заглянул в одно, в другое окно — стекла чистые, солнце расстилает светлые половички по свежеокрашенным половицам.

— Да. Карасик. То есть не Карасик, конечно. Петя Шаблов,— быстро поправилась Вика. Фузенков не терпел, когда, пусть и заглазно, подростков называли по кличкам.— Года три тому назад он состоял на учете, потом исправился, его сняли. А теперь вот вернулся в город один дважды судимый. Они раньше были знакомы. Драка была, привод. Шаблова с работы уволили.

— Кто распорядился проверить?

— Сама с участковым связалась. У Шаблова наколка появилась. Я просто подумала, кто это мог сделать.

— Правильно подумала. Только на работу Шаблова ты все-таки сходи,— сказал Фузенков.— Поинтересуйся, между прочим, сначала привод, потом увольнение или наоборот. И видел ли кто там эту наколку. Да что говорить, ясно — видели,— поправил он сам себя.— Ну что ж, ставь на учет и гляди! С участковым связь не прерывай. Шефа серьезного подобрать надо.

— С шефом беда, Иван Герасимович! — решительно заявила Вика.— Нам всюду пенсионеров предлагают, а ребята хотят живого примера жизни.

— А по заднице они не хотят, твои ребята? — Фузенков взглянул на часы.— Налаживай с Шабловым контакт и давай по месту работы. Он где работал?

— На «Красной розе».

— Давай. Если что, доложишь.

До «Красной розы», небольшой галантерейной фабрики, было не так уж близко, но если не было крайности во времени, Вика транспортом не пользовалась. Быстрая, на грани бега, ходьба — Вика и побежала бы, да в форме бегать неприлично — тоже входила в программу самоусовершенствования.

День был почти жарким. Вика подумала, что скоро китель придется снять, но тогда к ее услугам будет форменная серо-голубая рубашка с длинным рукавом и воротником. Отличная вещь!

На «Красной розе», как, к сожалению, на многих других предприятиях, пропуска пришлось долго ждать. Что же делать, Вика уже привыкла, что инспектору детской комнаты нелегко пробиться к руководству. Руковод-

ство, оно думает, что его дело только продукцию давать, а воспитание молодежи это дело чье-то. Школы там, милиции. Чье хочешь, только не его.

В бюро пропусков Вика поколебалась, к кому ей пробиваться, в комитет комсомола или в партком. Решила — в партком. Ей всегда было легче разговаривать с людьми взрослыми, солидными. Она объясняла это тем, что сама выглядит человеком зрелым, рассудительным, что от подростка она стоит дальше, нежели от взрослых людей. Она не догадывалась, что выглядела подчас даже моложе своих двадцати, но холодноватая собранность, которую Вика тщательно пестовала в себе, многим сверстникам ее казалась высокомерием — свойством, которое юность менее всего склонна прощать.

Однако в парткоме ее встретил парторг значительно более зрелый, чем бы ей хотелось. Во всяком случае, Вика сразу поняла, что в разговоре с ним отказываться от шефа-пенсионера будет трудно.

— Чем могу быть полезен, товарищ инспектор? — спросил он, равнодушно скользнув взглядом по Вике, по ее погонам.

Ведь уж сколько раз встречали ее с подобным холодком, и все-таки не могла Вика к нему привыкнуть. Значит, и здесь она будет доказывать и пробивать, а хозяин кабинета протестовать и отбиваться! Как будто об ее детях разговор идет, как будто ей они больше всех нужны, ребята с неприятной кличкой «трудные».

Скрытое раздражение, как всегда, придало Вике уверенности. Она коротко рассказала об обстоятельствах Петра Шаблова и — вопреки совету Фузенкова действовать осторожненько — спросила прямо:

— Неужели только за один привод, за то, что видели в дурной компании, подростка с очень трудной судьбой можно уволить с работы? Куда же он теперь должен, по-вашему, идти? А пьяниц ваших вы тоже сразу увольняете за приводы?

Вика понятия не имела, что не далее как вчера парторгу был представлен скорбный листок с именами рабочих фабрики, излишне темпераментных во хмелю и побывавших в вытрезвителе. Поэтому она отнесла за свой счет тень гнева, коротко мелькнувшую по лицу сидевшего перед ней пожилого человека, и несколько струхнула.

Однако, когда парторг обратился к Вике, в глазах его не было ни гнева, ни равнодушия.

— А вы уверены, что Шаблов уволен именно за привод? — спросил он.

— Уверена.

Ох, она совсем не была сейчас в этом уверена! Несколько минут, которые пришлось ждать, пока пришел вызванный товарищ из отдела кадров, Вике стоили... Она торопливо прикидывала, как вывернуться, на что, как говорится, жать, если чертова Карасика никто не увольнял, а просто закрутился он со своим рецидивистом. Чтоб этому рецидивисту нового срока выпало не меньше десятки...

— Когда вы уволили Петра Шаблова и за что? — спросил кадровика парторг. И — о радость! — кадровик, парень молодой, на вид сурово непререкаемый, несколько задержался с ответом. Впрочем, замешательство его тотчас прошло. Невидящими глазами он скользнул по кителю Вики и ответил с оттенком некоторого упрека в голосе:

— Шаблов имел привод в милицию. Кроме того, он открыто дружит и появляется на людях с вором-рецидивистом, которого в нашем рабочем районе многие знают. Мы же боремся за звание предприятия коммунистического труда, Сергей Константинович!

— И вам безразличны средства, которыми мы достигнем этого звания? — тихо спросил парторг, глядя в лицо стоявшего перед ним молодого человека.

— Уволен он абсолютно законно, Сергей Константинович. У этого многообещающего подростка был прогул и несколько опозданий.

— Боюсь, что в данном случае вы ошиблись,— бесцветным голосом, уже не глядя на кадровика, сказал Сергей Константинович.— Пока можете быть свободны. Я позвоню.

— Шаблов сам вам пожаловался? — обратился он к Вике, когда они остались одни.

«Если бы он мне пожаловался!» — подумала Вика. Вслух она сказала:

— Они редко приходят с подобными жалобами. У них у всех самолюбие большое. Но я думаю, вам не надо объяснять, что Шаблова сейчас никак нельзя уволить. Нельзя его оставить без работы, без людей.

— Так ведь вы на этом не кончите,— с шутливой безнадежностью сказал Сергей Константинович.— Потом вам шеф для него понадобится, потом на учебу его устраивай. В общем, все по схеме блудного сына.

— Простите, но в подробностях не представляю себе этой схемы,— сердито сказала Вика. Как-то не солидно заканчивался серьезно начатый разговор.

— А подробности простые. Было у отца два сына. Один хороший, работал-трудился, склок не заводил, но никаких особых благодарностей ему за это не выпадало. А второй всю жизнь прогулял-пробесчинствовал. Бос и наг к отцу вернулся, тот кинулся сынка обнимать-целовать и в честь его лучшего тельца заклал. Не так ли у нас с вашими «трудными» получается?

Как всегда, всерьез затронутая какой-то мыслью, Вика начисто отключилась от окружающего, от собеседника. Это странное свойство нередко ввергало ее в неловкость. Хорошо, если подумают, что у нее неприятности или она болезненно рассеянна. К сожалению, чаще такой уход Вики «в себя» расценивался как элементарная невоспитанность.

Однако ж Сергей Константинович не осудил Вику. Напротив того, он смотрел на нее с возросшим интересом, и глаза у него веселели с каждым мгновением ее напряженного раздумья. Если б Вика могла увидеть себя его глазами, перед ней предстало бы довольно забавное существо: высокая девушка, но рост как-то неприметен из-за хрупкости, почти худобы. Девушка закована в китель, как в латы. Трудно даже предположить, какова она под этим кителем. Странное лицо... Его можно было бы счесть привлекательным, если бы не какая-то навязчивая хмурость, обостренность черт, нередко свойственная светловолосым людям.

— Вы всегда так вольготно размышляете? — спросил Сергей Константинович. Негромко произнесенные слова прозвучали в кабинете так, словно до них очень долго царило здесь молчание.

— Извините! — сказала Вика вызывающе сердито, словно бы он подглядывал за ней.— В самом деле, как это пришло мне в голову поразмышлять в вашем кабинете. Действительно, нашла место! И шефа — не беспокойтесь! — не буду просить у вас. Шефов нам надо молодых, комсомольцев, чтоб живым примером увлекали, а

ваш вон, кадровик, только и думает, как бы чистеньким выйти, о трудных не замараться. А вообще-то это неправильно, что для ваших же подростков мы должны шефов у вас просить. Вот вы за звание предприятия коммунистического труда боретесь. А какое вы коммунистическое предприятие, если у меня девять человек ваших трудных на учете? Родители, значит, в ударниках, а дети вот-вот срок схватят, это что — дело? Личное клеймо, знак качества! А на детях какое клеймо будет стоять? А ну как уголовники их поставят?

— Ого! — сказал Сергей Константинович.— За вами, товарищ инспектор, не заржавеет. На сегодня, пожалуй, хватит. Фузенкову привет передавайте.

Вика мгновенно поднялась, с отвращением чувствуя, что краснеет. Сколько раз давала себе зарок держаться в пределах допуска. Вот тебе и воля в кулаке. А этот тип еще и Фузенкова знает. Накапает как пить дать.

Глядя на ее физиономию, Сергею Константиновичу не так уж трудно было угадать и мысли.

— С Фузенковым мы были в одном партизанском отряде. Привет передаю в прямом смысле,— сказал он, протягивая руку за пропуском Вике.— А список наших подростков, какие у вас на учете, прошу мне дать. В закрытом конверте, мне лично. Через бюро пропусков. Всех благ!

Пока добралась до проходной, Вика успокоилась и решила, что вообще-то неизвестно, может, все и к лучшему. Что отделу кадров всыплют, это бесспорно. Следующий раз поостерегутся ребят увольнять.

На улицу Вика вышла без следов румянца, более уверенная в себе, чем час назад, когда шла штурмовать «Красную розу».

Вика особенно была горда тем, что не спрашивала, как советовал Фузенков: сначала, мол, привод, а потом увольнение или наоборот. Прямо поставила вопрос, и вот как все зорко-проницательно получилось.

Откуда было Вике знать, что такие игры в «орла-решку» к большим промахам в милицейском деле приводят. На интуицию, как говорится, опираешься, но без знаний и опыта не шагнешь.

Довольная собой, Вика не замечала, что в узком коридорчике проходной ее уже второй раз настойчиво и грубо подталкивают в спину. В дверях на выходе толк-

нули так, что уже нельзя было не заметить. Вика обернулась и увидела маленькую по сравнению с ней девушку. Даже странным показалось, откуда у той сила взялась на довольно-таки ощутимые тычки.

Не грубость — нас, к сожалению, трудно удивить,— Вику поразило выражение откровенной злобы, даже презрения в опухших, заплаканных глазах этой простенькой, видать, фабричной девчонки.

— Что с вами? — как можно мягче спросила Вика, поклявшись себе, что, хоть бы синяков наставили, второго срыва сегодня не будет. Она посторонилась и шла теперь рядом с девчонкой. Та сначала шагала быстро, потом, покосившись на Вику, на форму ее, пошла медленнее, а когда они вместе свернули к бульвару, прислонилась к витому столбику чугунной ограды и горько заплакала, хлюпая носом и вздрагивая, как видно, не в первый раз за этот день.

— Что с тобой? — спросила Вика. Не трудно проникнуться сочувствием к человеку, который так горько плачет.

— Отойди! — вдруг с ненавистью проговорила сквозь зубы девочка, подняв зареванное лицо.— Отойди, богом прошу!

Опять она смотрела не на Вику — они не знали друг друга,— а на погоны, сначала на правое, потом на левое плечо, словно погоны были самостоятельными, живыми, ненавистными ей существами.

Ну нет! Лично за себя Вика, может быть, и не вступилась бы, но милицейские погоны она в обиду не даст.

— Хоть ругайся, хоть нет,— сказала Вика, крепко беря девчонку за локоть,— а я тебя не оставлю. Пойдем посидим на лавочке, и ты мне все-все расскажешь.

Девчонка было рванулась, но Вику бог силой не обидел, а драться на виду у прохожих девчонка не решилась — все же милиция. Они вошли в ограду, на бульвар, как мирно беседующие подружки.

Беседа длилась недолго. К концу ее девчонка успокоилась, достала из сумочки пудреницу, белой пудрой припудрила мокрый красный носик. И печально следила, как Вика записывала шариковой ручкой в блокнот ее имя, фамилию, адрес. И адрес общежития, и деревенский, постоянный, на случай, если ей не удастся прописаться, уйдет она с фабрики и уедет в деревню. Фамилию

участкового Вика не спросила, узнается без труда. Про обстоятельства кражи Люба сама подробно расскажет, когда вызовут.

— А вызовут? — спросила Люба, со слабенькой надеждой глядя на Вику, когда та кончила писать.— Уж найти-то теперь не найдут?

Она вздохнула прерывисто и горько. Уж так ей хотелось думать, что вернется к ней ее черное шерстяное платье, воротничок гипюровый; кофточка розовая, чистая шерсть, не стирана ни разу; юбка тоже шерстяная, юбочка-мини, заграничная, по случаю купила, два больших таких кармана напереди...

— А вот вполне могут и найти,— веско проговорила Вика, пряча во внутренний карман блокнот и ручку.— Ты даже представить не можешь, как часто находят. Следователь же обязан не только вора поймать, а и похищенное найти. Вещи до суда вернут тебе под расписку, только и всего.

— Он прямо с собачкой пойдет и найдет? — усомнилась Люба.

— Сейчас уже навряд ли, поздно с собакой,— авторитетно заявила Вика, не имея решительно никакого представления, когда можно, когда нельзя с собакой.

С каждой минутой почтительная заинтересованность Любы возрастала. На погоны Вики она теперь поглядывала с теплом и надеждой. Когда они расстались, обе довольные встречей, столь неудачно начавшейся, магазины уже закрывались на обед. Вика решила не делать своей привычной полупробежки и прибегнуть к услугам общественного транспорта — полдня ее нет в комнате, а еще надо подготовить сводку для Огневой.

И уж обязательно придется зайти к начальству с несколько неожиданным материалом.

Неожиданна не сама кража. Ну, обокрала какая-то негодяйка фабричных девчат. Что ж, к сожалению, еще бывает. Неожиданно все остальное. До сего часа Вике не приходилось слышать столь конкретных и грубых обвинений в адрес своих «однополчан», людей, как и она, одетых в форму цвета маренго. Ее учили, и она привыкла верить, что святая обязанность работника милиции — бережно относиться к человеку, от любого гражданина принять заявление, жалобу...

Ей думалось, что излишне нянчимся мы с иными жа-

лобщиками, склочниками, пьяными дебоширами. Ну, разве не обидно хорошему парню, старшему сержанту Коле Фомину, у которого, как и у нее, десятилетка и два курса института за плечами, который знает, когда возникло и когда перестало существовать государство Урарту,— разве не оскорбительно ему волоком тащить до спецмашины заблеванного хулигана, который сопротивляется, а утром еще и жалобу напишет, дескать, грубо его в машину грузили?

Каждый день, каждому наряду внушают: к пьяным самбо не применять. А собственно, почему?

Жалко! Вике жалко чистых, хороших ребят постовых, участковых, патрульных, обреченных в прямом смысле этого слова возиться в мерзости, в грязи.

А тут вот — неожиданное...

От автобуса до отдела рукой подать. Несколько шагов Вика пробежала, потом решила, что это несолидно — вбежать в кабинет начальника.

Кабинет Фузенкова помещался на втором этаже. Внизу около дверей детской комнаты сидела женщина с подростком. У Вики екнуло сердце — давно ли сидят и видел ли их Фузенков? Пусть хоть двадцать раз была она занята делом — замечание влепят. Такая уж в этом доме, в том числе и в детской комнате милиции, работа.

Редко приходят сюда люди в состоянии покоя, рассудительной готовности к беседе. Чаще человек прибегает взволнованный; то ли событие его потрясло, то ли решил что сгоряча, гложет его сомнение, а то и охватывает страх. Не встретишь его в нужную минуту, не угадаешь со словом, необходимым ему в трудный миг, и — уйдет человек, унесет с собой беду, ставшую вдвое тяжелей оттого, что не помогли ему, как он надеялся. А ведь беда может и трагедией обернуться...

Так вот, у дверей детской комнаты Вика увидела очень бледного мальчика лет четырнадцати. Даже здесь, в неярком свете, было видно, как он бледен. Мальчик сидел прямо, не касаясь спинки стула, не опираясь на подлокотники, весь напружиненный, не поворачивая головы, словно ее уже придерживали металлические захваты для спецфотографии.

А женщина — наверное, мать, они были здорово похожи — обмякла, расслабилась, заполнила все кресло, словно с трудом добралась до него, как до последнего

прибежища. Мать и сын не смотрели, не касались друг друга. Мальчик коротко взглянул на Вику, не шевельнувшись, и снова опустил глаза. Женщина же, с неожиданной после ее безвольной позы легкостью, вся подалась навстречу Вике, глядя на нее с нетерпением и надеждой.

— Я прошу вас извинить меня,— обращаясь к матери, сказала Вика.— Я прошу извинить меня. Я сейчас к вам спущусь, и мы поговорим. Ну, буквально через десять минут...

— Я подожду,— сказала женщина, с облегчением откидываясь опять на деревянную спинку.— Это даже хорошо. Я приду в себя, а то сейчас я и говорить, наверное, не смогу.

Подлинное страдание выражалось на ее заплаканном лице, и Вика, тщетно стараясь подавить в себе это чувство, ощутила неприязнь к сидевшему рядом с матерью мальчику. Они говорили как бы поверх него, а он сидел, ни единым движением не выдавая своей сопричастности к теме разговора.

«Завидная выдержка»,— не с добром подумала о нем Вика. И мальчик и мать были с достатком одеты. Пострижен он коротко, аккуратно, на хипеныша не похож.

У Фузенкова, по счастью, никого не оказалось. Он говорил по телефону, когда Вика, постучав, заглянула в его большой кабинет. Не оставляя трубки, он кивнул ей, рукой показал на кресло у перпендикулярного стола.

— К нам от соседей Лобачев едет... Ну пока еще участковый, а вообще-то его в угро берут...— Фузенков говорил, повернувшись к окну. Свет падал прямо на него. Волосы были еще густые, гладкие, плотно зачесанные назад. На лбу белела узкая полоска незагорелой кожи. Много времени он проводил вне отдела, ездил по отделениям, бывало, сам ходил и по постам.

Вика передала Фузенкову привет с фабрики. Сейчас она сидела на стуле немногим свободнее мальчишки внизу. Фузенков не был с ней строг, но она его побаивалась. Фузенков ответил на ее слова приветственным кивком.

— ...парень способный, это точно,— говорил он в трубку.— Посмотри там, чтобы Никитин был на месте. Пусть пошуруют, может, у нас что аналогичное найдется. В общем, чтобы в контакте...

— Между прочим, он и к вам зайдет,— опуская трубку, сказал Фузенков.— Северцева что-то посылает...

— Лобачев ко мне? — удивилась Вика.— Тот самый Лобачев?

Лобачев был известный по области старший следователь из управления, из Москвы. Вика знала, что именно через Лобачева Ирина Сергеевна, тетя Ира, в свое время рекомендовала ее Огневой.

— Не тот самый, а брат его. Участковый инспектор из Новосильцева. Насмотрелись передач, вам всем теперь только Знаменских подавай. Я недавно книжку прочел, так там следователи и личный сыск ведут, и преступников особо опасных лично задерживают. Только что на постах не стоят. Ну на постах стоять им, конечно, скучно.

Вика улыбнулась, а то подумает, что она на шутку не идет. Однако за любимых авторов ее заело. Она сказала:

— А книжка-то хорошая.

Фузенков вдруг заулыбался, закивал:

— Хорошая! Сам до синих окон читал.

От шутки в голосе и глазах Фузенкова не осталось и следа, едва Вика изложила суть случайного разговора с Любой Прохоровой.

Суть заключалась в следующем. В общежитии «Красной розы» в двух комнатах совершены кражи. У троих пропали деньги, но не все, подозревают поэтому своих. У двоих пропали вещи. У Любы Прохоровой платье черное, шерстяное, воротничок гипюровый, кофточка розовая, чистая шерсть... Девочки, как им посоветовали добрые люди, пошли в отделение. Участковый сказал, что придет в общежитие, разберется, но заявлений им лучше не подавать. Что дело покажет, еще неизвестно. Бывает, кто сам виноват, тот для показу и крик поднимает. Опять же на фабричное общежитие пятно ляжет, а они, если сознательные, должны знать, что фабрика за звание предприятия коммунистического труда борется.

А девочки, между прочим, непрописанные живут? Непрописанные. Ну что это за разговор — что с пропиской тянут, что они не виноваты. Не прописаны, значит, виноваты. И между прочим, в любую минуту можно их из Подмосковья в двадцать четыре часа. Вот так.

Вика представить себе не могла, что за какую-нибудь

минуту может так измениться лицо человека. Ей вспомнилось: лейтенант Закиров из угро как-то говорил, что Фузенкова панически боятся рецидивисты, хотя он сам никогда не допрашивает, а уж если случится вести дознание, то держит себя сдержанней и корректней любого следователя.

Фузенков, очевидно, забыл отпустить Вику. Он говорил сейчас со своим заместителем майором Несвитенко. Надеясь уличить самого себя в незнании района, уточнял, на чьей территории находится общежитие «Красной розы».

— На границе районов? — переспросил он.— Что значит на границе? Овраг там проходит. Знаю. Застроили, знаю. Дом-башня и три пятиэтажки. Да не гляди ты на карту, без карты знаю. У нас это общежитие. Заварухинское отделение. Участкового немедленно ко мне вместе с начальником отделения!

— А вы что ждете? — потирая ладонями виски, Фузенков взглянул на забытую им Вику.— Правильно сделали, что обратили внимание. С потерпевшей повели себя в целом правильно. Не надо было только обещать, что вещи найдут. Время упущено. Можем и не найти, и человека обманем дважды. Мы меньше, чем кто-нибудь, имеем право обманывать. Но в общем правильно. Идите.

Вика сбежала вниз, чувствуя себя нужной, бодрой, способной сделать если не все, то многое. А впрочем, почему же не все? Нечеловеческих задач перед ней служба не ставит, а для выполнения посильных нужна только воля. Волю — в кулак!

Она сбежала вниз по деревянной крашеной лестнице, устланной широкой дорожкой, похожей на домашний половичок. Когда мама была жива, свежевымытые полы всегда застилались половиками, воздух в доме становился чуть прохладным, и казалось, ни одна пылинка не затанцует в солнечных лучах, беспрепятственно проникавших в незавешенные окна. Занавесок мама не любила.

Мягко протопав по дорожке, Вика еще не успела подумать, что сегодня мама была бы ею довольна. Мама была громкоголосая, веселая и людей любила крепких, веселых. Ей надо бы жить долго-долго...

Мальчишка сидел так же каменно, не глядя на мать.

«Господи, шевельнулся ли он за эти четверть часа?» — подумала Вика, снова, помимо воли, ощущая неприязнь к здоровому парню, который, видимо, не имел и капли жалости к своей до истерики доведенной родительнице. Впрочем, женщина за это время пришла в себя, и, приглашая их войти, Вика подумала, что разговор пойдет в тонах более спокойных, чем можно было поначалу ожидать.

В комнате было тихо и солнечно. Цветущие бальзаминчики и гераньки, домовитый фикус, раскрытая клетчатая доска на маленьком столике. Шашки потертые, видно, что в них играют. На стенах плакаты по самбо и служебному собаководству. Стол инспектора поставлен немного боком, лишь бы не по-казенному...

Посоветовала сделать все именно так Евдокия Михеевна Северцева, самый, можно сказать, знаменитый по области инспектор ДКМ. Да и не только по области. Абы кому ордена Октябрьской Революции не дадут.

Евдокия Михеевна специально приезжала поглядеть, как обосновался самый молодой ее соратник. Комнату одобрила, но тут же строго предупредила:

— Не в том дело, как стол поставишь, а как работать будешь!

А Вике так мечталось как можно скорее добиться видимых результатов, чтоб ребята исправлялись, возвращались в школы либо работали, чтоб в конце кофейного цвета карточек на «трудных» выстраивались бы четко заполненные последние графы: «Снят с учета».

Вика усадила женщину и мальчика на диван, сама села за стол. Поскольку он стоял немножко боком, получалось не особенно официально. Как раз в меру. И пусть этот большой парень, который доводит до горя мать, не думает, что с ним будут тут только цацкаться. Он, по-видимому, из интеллигентной семьи, должен понимать, что надо вести себя посерьезней. Волю надо воспитывать.

— ...у нас никогда ничего не пропадало,— рассказывала женщина.— У меня деньги всегда лежат в одном месте, все домашние знают, в гардеробе, на третьей полке, в белье. Лежало двести рублей, не одна копеечка. И вы можете себе представить — сотни нет!

— Я не крал! — громко проговорил мальчик.

Он и на диване сел поодаль от матери и сидел так же

деревянно. По стойке «смирно» сидел, напряженно не глядя ни на мать, ни на Вику. На свету он казался еще бледнее, веснушки темными пятнышками выделялись на носу и на скулах.

— Сколько тебе лет? — спросила Вика, первый раз обращаясь непосредственно к мальчику. Он не был похож на разболтанного, уже осознавшего свою защищенность перед законом подрастающего хама, каких Вике приходилось встречать. Пожалуй, она была бы склонна даже поверить ему, если б не бессердечие его к матери.

— Четырнадцать. А какое это имеет отношение?..

Мальчик ответил, не поднимая головы, а потом резко вскинул голову и заглянул прямо в глаза Вике.

Он сделал это настолько неожиданно, что Вика не успела скрыть выражения печального недоверия. Какое-то мгновение они смотрели друг другу в глаза, и как бы развело, оттолкнуло их друг от друга это внезапное мгновение. Мальчик опустил голову, словно дверь захлопнул. Теперь он сидел уже отчужденный и от матери, и от Вики.

— Может быть, все-таки имеет отношение? — насколько могла мягко сказала Вика.— Ты уже большой, у тебя могут появиться и знакомые...

— Я не крал,— ровным голосом повторил мальчик.

— Костя, не лги! — снова накаляясь, вскрикнула мать.— Это же не мог быть чужой вор. Вор взял бы все.

В эту минуту в дверь постучали, и, не ожидая разрешения, в комнату вошел высокий, красивый человек в новой, с иголочки, на славу отутюженной форме; о складки брюк можно было порезаться, две звездочки на погонах сияли, как будто под ними было два просвета, а не один. И — что чрезвычайно удивило Вику — на ногах у лейтенанта красовались моднейшие серые «вельветы». У него были чистого золота волосы, каких даже на крашеных женщинах не встретишь,— нет, видно, такой краски. И темные хмурые брови, и веселые синие глаза. Он показался Вике настолько красивым, что она даже растерялась. Такое лицо, такая походка — тигр, вставший на задние лапы,— такая совершенная свобода движений — все это возможно было на экране,

но никак не у нее в ДКМ. И потом, эти «вельветы» на лейтенанте милиции...

«Ну вельветы-то с тебя снимут!» — мстительно подумала Вика. Но «вельветы» были единственным, чего могли его лишить... Вика, сердитая на собственную растерянность, сдержанно поблагодарила за письмо от Северцевой. Она не хотела ничего сейчас, лишь бы удалился этот не располагающий к серьезному делу посетитель.

А пока все это происходило, мальчишка дважды успел повторить, как будто пластинку в нем заело:

— Я не крал.

— Начальство с Москвой говорит, можно я у вас посижу? — спросил Лобачев и опять, не дождавшись разрешения, уселся на стул у стены, совершенно по-фузенковски попробовал пальцем землю у бальзаминчика («Уж ему-то какое дело?»), взялся руками за сиденье стула, на котором сидел, вытянул и скрестил длинные ноги в «вельветах» и с благожелательным интересом стал слушать идущую по замкнутому кругу беседу мальчика, матери и Вики.

— Ведь никого же нет в квартире, только ты да я, — втолковывала мать.

Сын еще раз повторил свое «я не крал», а потом вдруг спросил не мать, не инспектора ДКМ — на Вику он больше ни разу не взглянул. Он спросил высокого веселого лейтенанта, похожего на разведчика из кино «Сатурн», он его спросил:

— Ну, а если бы папа не в командировке, ты бы на него подумала?

— Как ты можешь так говорить? Как это я могу на отца подумать?

— А на меня, значит, можно, потому что я не могу в командировку?

Вопросы он задавал матери, а смотрел прямо в глаза лейтенанту. Подводный разговор шел между ними, и, видно, до чего-то они договорились. Лейтенант достал блокнот, маленький, несерьезный, написал, вырвал крохотную бумажку, положил ее перед Викой на стол, всем улыбнулся, мальчику особенно щедро, пожелал скорее разобраться со всеми недоразумениями и вышел с таким видом, словно направился не к подполковнику на второй этаж, а отдыхать и развлекаться.

Не прерывая беседы, Вика прочла: «Думаю, он не крал».

То ли приход Лобачева как-то разрядил обстановку, то ли вопрос относительно отца, довольно ядовито поставленный мальчиком, озадачил мать, но во всяком случае Вике было ясно, что она уже не столь уверена в своем предположении. Призналась она, что побила сына.

— Я прошу вас обязательно сделать заявление о краже,— сказала женщине Вика.— Очень жаль, что вы не сделали этого сразу. А тебе,— обратилась она к мальчику,— не надо бы так замыкаться, надо бы понять маму. Мама у тебя одна. Ты и представить себе не можешь, как плохо без мамы. Ты маму беречь должен...

Вика от души старалась внушить все, в чем была убеждена, все, что пережила горько, но почему-то безоговорочно ясное для тебя труднее всего доказывать. Фразы тянулись вязкие, как пластилин, вей их хоть до вечера, скульптура не родится.

Женщина, прощаясь, поблагодарила. Кажется, искренне. Мальчик промолчал, так и не взглянув на Вику.

Она вышла проводить их в коридор. Вышла не потому, что так полагалось. Не хотелось оставаться сейчас в комнате, пахло здесь поражением.

Вика решила пойти в столовку пообедать, а уже потом посидеть над материалами для совещания. Если хоть пять минут дадут, она найдет, что сказать. Какое может быть предприятие коммунистического труда, если там ни к черту работа с подростками? Какой может быть ударник, передовой человек, если у него сын — правонарушитель?

Вика и вышла бы на улицу, если б не услышала прямо над собой, на площадке второго этажа, куда вела деревянная лестница, знакомый уже, веселый голос:

— ...посадили птенца-альбиносика в мундире. Ну какой из нее воспитатель?

— Не такой уж птенец.— Это Фузенков.— Два курса института, между прочим, учится отлично, и пробивная сила у этого птенца дай бог. Деловитая девчонка.

— Это взрослых можно деловитостью подкупить, а детей не обманешь. Детям горячая душа нужна, дети веселых любят, а она у вас такая, бедняжка, унылая. Старательная и унылая. От нее спать хочется.

— Тише ты! — прикрикнул Фузенков.— Нацепил вот обутку модерновую и — несешь! В старании я беды не вижу.

Отойти, не скрипнув. Только бы не заметили. Волю — в кулак! Как мужественно звучали эти слова еще час назад, а сейчас какая в них трескотня пустая. Что ты можешь? Ты ничего не можешь...

Выбравшись из-под лестницы, как из-под лавины, Вика вернулась к себе прямая, глядя только вперед, словно шоры на нее надели, пуще всего боясь увидеть себя в зеркале. Мимо зеркала, как мимо врага.

Предстояли еще четыре рабочих, четыре долгих часа, которые надо было продержаться.

И она не только продержалась — честно проработала. Карточки подготовила. Из ЖЭКов были посетители. Старуха двоих мальчишек привела, требуя для них чуть ли не высшей меры за разбитое стекло.

А потом был довольно долгий путь домой, конечно, пешком, чтоб не встретить в автобусе никого, с кем пришлось бы рядом стоять и разговаривать. Вика рвалась в свои четыре стены, как побитый пес в конуру.

А городок весь светился в оранжевом солнце, такой присмотренный, приветливый, благополучный. Но Вика не видела ни юных многоэтажных башен, ни крепко сбитых, заново окрашенных домиков в кружевных наличниках, с сиренью в палисадах, ни асфальтовых тропок — тротуаров, которые все дальше ручьями растекались по окраинам, ни стеклянного кубика кафе «Белая сирень», которым гордился городок. Ни даже огромного неба в розовых облаках...

Какое счастье, что есть на свете равнодушные люди!

Хозяйка квартиры, где Вика снимала комнату, наверное, затруднилась бы сказать, какого цвета глаза у ее жилицы. Никем ни о чем не спрошенная, Вика прошла к себе и заперлась.

Ну вот. Как хорошо, что солнце уже ушло, густеют сумерки, и если все-таки захочется чаю, то мимо зеркала можно пройти беспрепятственно. Их, оказывается, слишком много, но не занавешивать же зеркала, как при покойнике.

Вика надела халат и легла на постель поверх одеяла, сказав себе, что абсолютно ничего не произошло. Просто она сегодня очень устала. Она полежит, спокойно вы-

тянувшись, тридцать минут — Альберт Швейцер именно так рекомендовал отдыхать своим сотрудникам в Африке в середине рабочего дня. Эти тридцать минут возвращают людям работоспособность. Она вернет себе работоспособность, напьется крепкого чаю и сядет заниматься.

Но стоило ей лечь, как у нее хлынули слезы. Просто непонятно было, откуда они брались, и так тяжко было дышать, и безудержные рыдания сотрясали ее. Вика упрямо лежала вытянувшись. Слез были уже полны уши.

Но что же в самом деле произошло? Ведь Фузенков заступился за нее. Радоваться надо! Конечно, Вика — не Северцева. Северцева толстая, с большим животом и большими грудями, грубоватая, сугубо домашнего вида, не молодая, ее и в кителе-то никогда не увидишь.

Но как же умеет она с этими самыми, ради которых все,— с детьми!

Скольким она помогла не в пустяке с разбитым стеклом — в жизни. Надо же быть и слыть такой, чтобы несчастный восьмилетний малыш-сирота, брошенный отчимом, из другого города, не зная адреса, прислал ей по почте самодельное, треугольником, письмо: «Лично в руки милиционерке Северцевой...»

Вика привыкла докапываться до первоисточников. Ну, а если бы все то же самое говорил не Лобачев, а кто-нибудь другой? Не такой, чтоб хотелось зажмуриться, когда он вошел в комнату?

«Нет, все равно было бы обидно»,— ответила себе Вика, и это была правда. Почему он так легко подглядел то, чего никто не заметил? Никто, кроме тех, для которых все, кроме ребят...

Вика видит сейчас вопрошающий, требовательный взгляд мальчика. Взгляд, как стук в дверь, за помощью. А ведь остался стук безответным. Не сумела она открыть ему дверь. Потому что не сумела поверить. А вот Лобачев все и сразу сумел. Как смотрел на него мальчик! Как на Северцеву! Вот так...

Самым неукротимым слезам приходит конец. Постепенно оставляло Вику удушье безысходности, уступая место печальному облегчению. Она взглянула на часы, по Швейцеру надо было полежать еще четыре минуты. Достала из кармана халата платок, вытерла мокрые уши.

Есть, конечно, обстоятельства, против которых бессилен человек. Ну хорошо, мальчик, контакта пока нет. Это она согласна. Но у альбиносов, кажется, красные глаза?

В комнате стало уже совсем темно. Когда Вика зажгла настольную лампочку, в открытую форточку валом повалили мохнатые ночные бабочки, вблизи похожие на маленьких сов. Они бились о лампу, шелестели и бегали по страницам. Вика старалась их осторожно отпихивать — Альберт Швейцер не терпел убийств.

Интересно, как бы Швейцер решал вопрос с пьяницей-зятем. Его безобразная ухмылка, между прочим, тотчас возникла перед Викой, когда, стоя под лестницей, она слушала голос Лобачева.

«Довольно! — вслух, строго, как всегда, пресекла себя Вика.— А ну-ка волю — в кулак!» Нет, все же в этих словах было не одно пустозвонство.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Знай Никита, что давний, еще до Майских праздников, мимолетный разговор в электричке о дачной краже остался у Вадима в памяти, ему стало бы чуть не по себе. Во всю жизнь он не имел от брата секретов. Строго говоря, он не имел секретов ни от кого, душа его еще не нуждалась в замках. В то утро в электричке ему и в голову не приходило, что пустяковая подробность, малозначащее в ходе службы событие может иметь продолжение, обретет значение в его бытии.

Началось с того, что у ответственного, с персональной машиной, владельца обокрали дачу.

Произошло это в канун Майских праздников, когда обычно покидаемые на зиму дачи вновь обретают хозяев, к вящему удовольствию местной милиции, которой забота об этих, как правило, недешево обставленных домах стоит немалых нервов. К каждой даче пост не поставишь, а обворуют — милиция в ответе. Вот и стараются участковые да патрульные урвать минуту, лишний раз пройти мимо дачевладений.

За четыре года в милиции Никите довелось поработать на разных участках. Пожалуй, он знал все службы, кроме ГАИ, хотя, конечно, отлично водил мотоцикл —

этому обучали в Светловской школе каждого — и машину — этому он обучался у Борко.

Демобилизовавшись из погранвойск, Никита твердо знал, что пойдет по следам отца и брата работать в органы, но не представлял себя нигде, кроме как в угрозыске, поскольку в те годы был уверен, что краеугольный камень в системе милиции — угрозыск, и только он.

Если б кто-нибудь в ту пору произнес при младшем Лобачеве слово «профилактика», Никите в голову не пришло бы как-то соотнести его с собой, со своим делом. Профилактика — это дезинфекция помещений, прививки, белые халаты...

Теперь Никита переходит в угрозыск,— как говорится, решено и подписано. Самому удивительно, но в какие-то минуты ему жаль покидать свой участок, свое налаженное хозяйство, где стольких людей он знает и сотни людей знают его; где в стольких судьбах принимал он участие; где понял, что кроме профилактики заболеваний существует еще и профилактика преступности... Случалось, Никита не в шутку подумывал — уж не в работе ли участкового инспектора тот самый краеугольный камень? С годами так усложнилась, так возросла по значению роль участкового инспектора — как, впрочем, и всей милиции в целом,— что неслучайно родилась поговорка: участковый должен знать все пять служб и... все, что может сверх того понадобиться.

В работе участкового, как в капле под микроскопом, отражается многообразие жизни района. Ты должен отлично знать людей — хороших и плохих, проживающих на твоем участке. На хороших ты можешь опереться, от плохих обязан защищать. Главная твоя задача даже не задержать преступника, хотя и это ты обязан сделать, если придется, не щадя себя. И ты в равной степени ответствен, если применишь оружие не по праву или не применишь и по твоей нерешительности бандит уйдет.

Основное — не дать совершиться преступлению, а это значит — уметь анализировать обстановку, уметь наблюдать и делать выводы из подробностей, которых новый на участке человек может и не заметить.

Погода... Даже погоду ты должен учитывать, не оставить без внимания человека, который в теплый летний день идет по улице в теплом, не по сезону пальто.

Ты должен быть очень внимателен к подросткам, за-

ходить в школу, если нужно, хотя тебе далеко не всегда рад иной неумный директор, которому важно одно — чтобы было тихо! Во что бы то ни стало — тихо!

Тех, кто вернулся из мест заключения и живет на твоем участке, ты тоже обязан знать. Если нужно — помоги устроиться на работу; нельзя, чтоб случайный проступок гирей висел на человеке. Но и строго следи, чтоб блатная зараза не перекинулась на здоровых ребят. На твою совесть ляжет пятно, если уголовник, освобожденный, но неразоружившийся, перетянет под свою лапу слабого или неприсмотренного подростка.

Ты должен сделать службу на участке интересной для постовых, посоветовать правильно расставить посты, продумать маршруты патрулей.

Если произошло убийство, нанесены тяжелые телесные повреждения, совершено разбойное нападение или кража, к кому обратится прибывшая из Москвы опергруппа? К участковому инспектору.

К тебе будут приходить люди по самым разным делам, от квартирных склок и потери паспорта до исчезновения ребенка.

Ну, и ты должен, конечно, привыкнуть к тому, что на участке — если ты работаешь честно и грамотно — тебя будут не только уважать, но и ненавидеть. Тебе будут угрожать по телефону — из разных автоматов, реже — анонимками. Где-нибудь в толпе, на рынке, возле комиссионного или винно-водочного магазина ты иногда, как на колючую проволоку, наткнешься на чей-то взгляд. Бывает, услышишь шепотом произнесенное в спину словечко:

— Мусор!

Ты — участковый инспектор, офицер милиции, человек, облеченный властными полномочиями, представитель советской власти...

День, когда обнаружилась кража на даче, Никита, как обычно, начал с пробежки. Утро начиналось рано, в пять часов окрепшее солнце уже заглядывало в окно. Он вышел в заднюю калитку и побежал прямо по росной траве, оставляя темные следы. Было прохладно, бежалось легко, острохвостые ласточки проносились низко над землей, едва не касаясь серебристых трав тугими грудками. На кустах акации тревожно стрекотали воробьи. Ну, так и есть! Кошка!

Воробьи и ласточки. Так близко держатся к людям, а в неволе не живут. Можно сделать обобщение? Нет, нельзя. Скворец также близок к человеку, а в клетке может прожить годы.

Никите очень хотелось, однако, кое-что обобщить касаемо ответственности взрослых, на примере ребят со спиртом.

Ох, уж эти ребята со спиртом! Но, кажется, он все-таки не опоздал.

Отхлынула утренняя беззаботность. Никита взглянул на бегу на левое запястье — пора.

Наскоро допивая чай, он уже думал только о предстоящем дне, о своих последних делах на участке. Вот и уходит Никита в угро, сбывается его мечта, а ему немного грустно. Все же если жив человек, он должен привязаться к своей работе, ему должно быть дорого все, им содеянное. А у Никиты на участке сделано немало, есть с чем расставаться, от того и грусть.

Так что же еще нужно доделать, чтоб в полном ажуре передать участок Федченко?

Не забыть специально ориентировать патруль на вечерний маршрут станция — магазин «Гастроном».

Дом, достроенный, незаселенный, тоже представляет оперативный интерес. Пока жильцы не въедут, кто хочешь там гостеприимный кров найдет.

Обязательно проверить у постовых свистки. Кое-кто считает, что свисток себя изжил, а свисток — великое дело, Никите по собственному опыту известно.

Ну и, конечно, еще и еще раз подробно поговорить с Федченко.

Никита никуда не уезжал, оставался работать в своем ОВД, и все же у него было странное чувство, что уж скоро ни поговорить им с Федченко, ни посоветоваться, если не дай бог что стрясется на его участке. И опять же становилось немного печально от мысли, что участок уже не «его».

Федченко, сменявший на участке Никиту, был молодой милиционер, пришедший в органы после армии по комсомольскому призыву. У него десять классов — без десятилетки теперь в милицию не берут. В Светловской школе у Борко он проучился положенные рядовому милиционеру тринадцать недель. Теперь его вернут в ту

же школу, где он пройдет курс подготовки участковых инспекторов,— еще восемнадцать недель.

Когда Федченко пришел к Никите, Никита специально ездил в Светлово, знакомился с его отметками, с листами по практике. С лейтенантом Исаковым, который преподавал самбо, тоже поговорил. Все у Федченко было хорошо.

Но что-то в нем Никиту не удовлетворяло. То ли Федченко не интересно. То ли не осознал он еще, что в их деле нельзя быть не любопытным, без выдумки, надеяться только на начальство. Придет случай, когда рядом ни радио, ни телефона. Тебе решение принимать, тебе и выполнять за считанные секунды.

Говорят, на войне всегда мало времени. А у милиции его много? И совсем не простое дело организация работы участка. Особенно если учесть, что каждый день непохож на предыдущий с того самого момента, как участковый инспектор, придя в отделение или в отдел, проанализирует всегда меняющуюся оперативную обстановку.

Никита, как обычно, явился в отдел спозаранку. Сегодня были две телефонограммы. Одна от соседей — ищут злостного алиментщика, другая — по всесоюзному розыску. Количество совершенных преступлений — пять краж. Нераскрытых три. В КПЗ один задержанный.

Как это на лекции в школе звучало: «Задержание есть краткосрочный арест в силу неотложных обстоятельств без санкции...»

То-то вот, что без санкции. Тамара ездила с делегацией и рассказывала, что в Венгрии полицейский своей властью на тридцать суток посадить может, а у нас попробуй! Хорошую с тебя стружку снимут.

— Ништо! — заверил Никиту насчет задержанного лейтенант Петров, дежурный по отделу.— Взят на месте происшествия, вещественные доказательства есть, очевидцы есть. Разбойное нападение на женщину. В состоянии легкого опьянения.

— Кто задержал?

— Федченко.

— Да ну? — Никита искренне обрадовался.— Рад, ей-богу, рад. Я, значит, недооценивал этого парня.

За пятнадцать минут, как положено, явились все, кому в наряд, каждый побрит, почищен, поглажен. Прибыл замначальника ОВД, провел инструктаж, поставил

задачу общую и конкретную... Проверено, у каждого ли служебная книжка: в нее постовой обязан заносить все происшествия, делать записи обо всем, что сделано им лично...

В специально отведенной комнате раздача оружия и заряжание. Без досылки патрона в патронник.

Построение и — команда:

— На охрану общественного порядка в городе... приказываю заступить. По постам — шагом арш!

Никогда, никому, даже брату, Никита не говорил, что независимо от того, отправлялся ли он сам на пост, или, став офицером, отправлял других, его странно волновала эта минута.

Однажды он удивительно отчетливо представил себе: в соседних районах, в Москве, в других городах, по всей стране становятся на посты люди в одинаковой с ним форме, выходят на линию огня внутренние войска, для которых нет мира и в послевоенное время.

Дежурная часть никогда не спит, всегда в боевой готовности опергруппы; следователи, случается, неделями не бывают дома, и оперативников семьи не видят подолгу,— все это не выходит за рамки обычной работы милиции и давно уже стало жизненной нормой для самого Никиты.

Но почему-то именно на утренних разводах, слушая команду, так и не ставшую для него привычной, Никита испытывал волнующее чувство своей боевой пожизненной спаянности со всеми, на ком была форма цвета маренго.

Об этом чувстве никому нельзя было сказать, потому что получалось напыщенно. Но разве обязательно обо всем говорить? Разве не хорошо, если с годами сохраняются в жизни минуты, к которым нельзя привыкнуть?

Люди ушли на посты, Никита подсел к свободному столу, вытащил блокнот. Под жирным первым номером значилось: «Ребята со спиртом».

История эта была такова. Дня три тому назад Никите сообщил знакомый парень, что группа из двух-трех, как он выразился, пацанов собирается украсть в районной поликлинике спирт. План у них разработан грамотно. Поликлиника располагается в нескольких одноэтажных домиках в саду. Спирт хранится у старшей сестры,

Когда она уходит на обед и где хранится ключ от шкафа, пацанами установлено. В общем, дело на мази. Спирт будет похищен и зарыт в саду до Дня Победы.

Тотчас, бросив все дела, Никита отправился в поликлинику и убедился, что спирт только ленивый не украдет. Договорился с сестрой, чтоб переиграли место хранения ключа и спирта.

Когда Никита почти бежал к этой рохле-сестре, он более всего боялся, что опоздает и спирта уже не окажется. Найти-то он его найдет, но — уже дело, суд, первый рубец на сознании и биографии подростка.

Возвращался он успокоенный, однако не до конца. Ну, хорошо, кража не совершится. Но ведь только эта кража. А нужно, чтобы эта намеченная, несостоявшаяся кража оказалась у ребят последней.

Фамилии несостоявшихся похитителей известны. Один четырнадцатилетний, двоим по пятнадцати. Одного, постарше, Никита знал. Отца нет, мать — одиночка, низкооплачиваемая. Парень хороший, замкнутый только немного. Учится, в ДКМ на учете не состоит. Состоящих на учете Никита всех помнит. Спирт, кстати, они не собирались пить. Они собирались продать его к празднику.

Разговор Никита начнет с тем, кого знает,— со Щипаковым. Хорошо, если бы он сам назвал двух других.

Где лучше говорить? Прийти к Щипакову домой? Нет. Во-первых, квартира коммунальная, Никиту многие знают в лицо, сама Щипакова женщина усталая, не очень выдержанная. Может нашуметь, вздуть сына, и весь молебен, как говорится, в грязь вляпает. Парень замкнется, озлобится и — прости-прощай контакт.

Самое лучшее, пожалуй, попытаться встретить Щипакова на улице как бы невзначай...

Вошел Федченко, хлипковатый на вид, белесый, веснушчатый парень. Загар к нему не приставал, а потому Федченко выглядел подчеркнуто интеллигентным канцелярским тружеником. Однако сейчас его интеллигентный облик был попорчен изрядным синяком на левом глазу. Левый глаз заплыл кровью, правый глядел весело.

Федченко делать в отделе было нечего. Ясно-понятно, пришел показаться Никите. Чтоб начальство похвалило.

— Ого! — сказал Никита.— За задержание хвалю, за блямбу выношу порицание. Ты ж вроде в школе по самбо хорошо, даже отлично шел.

— К пьяным самбо не применять,— напомнил Федченко то, что твердят перед выходом на пост каждому милиционеру.

— И по улице так пойдешь?

Федченко вынул из кармана черную нашлепочку на резинке. Надел. Под нашлепочку, как по заказу, упрятался весь синяк.

— Молодец! — одобрил Никита.— Оперативность, быстрота и натиск. А насчет пьяных и самбо... Не для широкой огласки. Устав не догма, а руководство к действию. Советской милиции с синяками ходить тоже не пристало. А свисток у тебя с собой был?

— Не было,— сознался Федченко.

— Так вот, за решительность еще раз хвалю, а за халатность крыть буду. Федченко, никак вы не можете понять, что свисток иногда ничто не заменит. Был у меня случай, я только что принял участок. Танцплощадка. Возникла драка. Трое на одного. Я в гражданской одежде был. Свистнул два раза и руки в карман. Избиение прекратилось. Разбежались в разные стороны, только наблюдай, кто куда девается. Постовой подошел, я его и направил.

— Насчет этой танцплощадки я поинтересовался, товарищ лейтенант. Кассиршу там надо потрясти. Рассчитано на сто человек, а билетов продают двести, да еще и пьяных пускают. Там без драк никак нельзя.

— Молодец, Федченко! — серьезно сказал Никита.— За танцплощадку дважды молодец. Вот это и есть мать-профилактика, без которой грош нам с тобой цена...

В эту самую минуту в дежурную часть вошел мужчина, назвавшийся шофером владельца дачи на улице Красных зорь, и положил на стол Никите перепечатанное на машинке заявление этого владельца о том, что дачу его обокрали.

Шофер оставил заявление и уехал. Никита почесал затылок и стал звонить начальнику ОВД майору Соколову, благо тот с утра был на месте. Федченко надел на глаз черную крышечку и гордый пошел отдыхать.

— Уже знаю,— ответил Соколов.— Второй экземпляр у меня. Зайди,

Никита поднялся на второй этаж. Как и в хозяйстве Фузенкова, внутренняя лестница у них была деревянная. Никите вспомнилась унылая деваха из фузенковской ДКМ и мальчишка, которого он видел у нее, замкнувшийся, ожесточенный. Вспомнился бесцветный, как в кулак зажатый его голос: «Я не крал».

Голос-то был бесцветный, а вот происшествие в семье, похоже, приходилось Никите в цвет. В блокноте номером вторым после «ребят со спиртом» у него значились «кражи с остатком». Он хотел сегодня спокойно обдумать этот второй номер, да вот поди доберись до него...

— Вот они где у меня сидят, эти дачи! — Соколов тоже пошлепал себя по затылку.— Не могу я у каждой дачи пост ставить. Хоть бы жили они там, что ли, поплотней, а то наезжают, как птички на перелетах. А обстановочка модерновая, всякие там серванты, ковры-хрустали стоят в ожидании. Хоть бы обстановочку какую попроще на дачное-то время держали... Ну-ка, дай твой экземпляр,— Соколов взял заявление у Никиты, сверил со своим листом.— Ну да. У тебя третья копия, у меня вторая. Есть такая мода у некоторых. Первый экземпляр не дают. Намекают, а может, он, дескать, куда повыше послан.

Инспектора угро Тишечкина на месте не оказалось. Уехал на место происшествия, то самое, где Федченко задержал грабителя.

— Что-то ему там не нравится дровяной склад,— сказал Соколов, в задумчивости похлопывая по спинке телефонную трубку.— Говорит, на этом месте аналогичный случай ограбления был. Ну, ладно. Давай поезжай на дачу. Там народ, видать, настырный, того гляди, телегу на нас двинут. А ты все равно вроде бы уж и угро. Если что — звони оттуда. У них там на этих дачах у всех телефоны есть. Это тебе не мы, сотрудникам добиться не можем... Если что — звони, Тишечкина пришлю. В крайнем случае сам приеду. Не ходи пешком. Возьми хоть мотоцикл, все приличнее будет. В коляску кого-нибудь из ребят.

В последнюю декаду апреля солнце пригрело основательно, земля подсохла. Никита с шиком развернулся и, как вкопанный, затормозил у ворот дачи. Забор был невысокий, штакетник. Дача, стоявшая несколько в глуби-

не участка, хорошо просматривалась с улицы, некоторые окна были открыты, терраса играла на солнце разноцветными стеклами. Сада как такового не было, навряд ли были тут даже цветы. На участке сохранились вольно растущие лесные деревья, и это как-то расположило Никиту к обитателям дачи. Он нажал кнопку звонка у калитки, уверенный, что вылетит с лаем собака. Но все было тихо.

Из открытого окна раздался женский голос:

— Калитка не заперта. Входите!

— Подожди меня здесь,— сказал Никита своему спутнику, который с удовольствием грелся на солнышке, вольготно расположившись в коляске. Бросил ему в коляску перчатки, взял планшетку с бумагой и бланками и пошел.

Шагая по асфальтовой дорожке к даче, Никита немного нервничал. В заявлении говорилось, что дачу обокрали в отсутствие хозяев, что хозяева только что переехали и обнаружили... Слово «кража» повторялось в заявлении несколько раз.

Однако после первых же слов хозяйки Никита почувствовал некоторое успокоение.

Собственно говоря, «обокрали» было излишне громко сказано. Как выяснилось, похищен был только компас-барометр, висевший на террасе с разноцветными стеклышками. Судя по описанию, данному хозяйкой, барометр был старый, она даже не помнила, предсказывал ли он погоду.

Осматривая, как положено, террасу и примыкающие к ней комнаты, Никита про себя подивился, откуда вообще взялся в этом доме компас-барометр. Ни флотом, ни путешествиями, ни морем тут не пахло, если не считать курортного типа фотографий, портретов женщины, где она была снята на фоне моря и пальм, в большой белой шляпе с полями и без шляпы, в ореоле густых волнистых волос, растрепанных ветром. Всюду только голова крупным планом, в лице все ярко, контрастно — брови, глаза, зубы...

Итак, пропал со стены компас-барометр. Со стены на застекленной террасе. Унесли его трогательно просто. Выдавили одно стеклышко у двери, вот осколки так и лежат на полу. Дверь, ведущую в комнаты, изнутри запертую, по всей видимости, даже не пытались открыть.

Унесли компас — на стене осталось от него невыгоревшее пятно,— да еще и дверь террасы за собой опять на задвижку закрыли.

— Мы полагали, вы приедете с собакой,— сказала хозяйка дачи, высокая, сухая, пожилая женщина в шуршащем, до пят халате и пуховом платке.

— Для собаки слишком поздно,— мягко пояснил ей Никита.— Уже несколько дней. И дожди прошли.

— А почему вы уверены, что не вчера?

— Потому что и вчера был дождь, асфальт к террасе не подведен, на полу осталось бы хоть что-нибудь, а пол — вы видели, я проверил — совершенно чист. Ведь тому, кто взял компас, нужно было пересечь всю террасу к противоположной стене.

— Мы оставили стекла для вас,— сказала хозяйка.— Может быть, на них сохранились отпечатки... Если уж без собаки...

Никита с трудом сдержал улыбку. Множество детективных романов возымели свое действие, подобно журналу «Здоровье». Великое множество людей почитают себя сведущими в криминалистике, как и в медицине.

— Разумеется,— серьезно сказал Никита.— Я возьму эти стекла, но я уверен, что отпечатки, если они и есть, вряд ли будут идентифицированы нашими экспертами. Я думаю, что на террасе вашей побывал не вор...

— То есть как не вор? — Брови женщины сошлись к переносице, отчего лицо ее, и без того холодновато-высокомерное, стало жестким, почти жестоким.— Если украли барометр, могли украсть все, что угодно. При всех обстоятельствах, факт кражи налицо, и мы полагаем...

Она выжидательно, с неодобрением смотрела на Никиту, а ведь он только успокоить ее намеревался, хотел дать понять, что история с компасом более похожа на озорство, нежели на попытку ограбления. Но ей, очевидно, нетерпим сам факт пребывания неизвестного человека в ее доме. Ее можно понять...

— Вы можете быть совершенно спокойны,— со всей искренностью заверил женщину Никита,— мы будем искать барометр так же, как искали бы любую другую вещь, и я надеюсь, что сможем вернуть его вам.

Выражение лица ее несколько смягчилось.

— Я попрошу вас пройти со мной по дому,— без тени просьбы в голосе сказала хозяйка.— Посмотрите наши замки и скажите, стоят они чего-нибудь или нет.

Не ожидая ответа, она прошла с террасы в дом. Никите ничего не оставалось, как проследовать за ней.

Да, в этом доме было много вещей поприглядней барометра, если с умом подойти. Замков на дверях хватало. Они прямо-таки делили дом на отсеки, как в подводной лодке. Замки были разные. В пятерку ценой — к ним из двадцати пяти ключей один обязательно подойдет. И понадежнее были.

Никита подумал, что какой ни будь замок, порядочному вору он не помеха, но для порядка посоветовал все же некоторые сменить.

Путешествие их по дому закончилось на первом этаже в просторной многометровой комнате, где Никита увидел первый в своей жизни — не на сцене театра, не в кино — живой, пылающий камин. И фонарей, похожих на старинные, уличные, он в жилых квартирах еще не встречал. Весь пол был застлан зеленым немецким паласом. Ну, паласы-то он видел.

В кресле, стоявшем боком к камину, Никита увидел женщину, чьи портреты в шляпе и без шляпы попадались ему чуть ли не во всех комнатах. В действительности она оказалась не так уж ярка и хороша и постарше, чем на портретах. Она почти полулежала в кресле, от шеи до лакированных туфель укутанная пушистым мохеровым пледом, хотя камин дышал жаром, да и с улицы в распахнутые окна щедро вливалось солнечное тепло. Порывами ветерка доносило аромат разогретых сосен.

Против женщины в таком же кресле сидел очень пожилой человек, почти старик, незаметной наружности, неприметно одетый. На такого было бы затруднительно составить словесный портрет.

Мысль о составлении словесного портрета, видимо, вызвала вспышку заинтересованности в глазах Никиты, потому что старик, не меняя спокойной, даже несколько расслабленной позы, чуть улыбнулся и спросил:

— Мы где-нибудь встречались с вами, молодой человек?

В наблюдательности старику не откажешь!

— Боюсь, что нет,— ответил Никита, мысленно поставив себе единицу. Лицом надо владеть.

— Это наш участковый,— сказала хозяйка.

Казалось бы, ничего необычного, тем более криминального не было в этих словах. И тем не менее, впервые за все время службы участковым инспектором они прозвучали для Никиты оскорбительно. Наверно, в этом доме совершенно так же говорят: «наша машина», «наш телевизор»...

Хозяйка указала Никите место за стоявшим в стороне круглым столиком с изогнутыми ножками, безусловно перекочевавшим в этот модерновый зал не ближе, чем из начала прошлого века. Теперь, говорят, модно поселять рядом новорожденные и старинные вещи.

И вот Никита расположился со своими бланками за столиком, хозяйка сидела против него и с терпеливым равнодушием, следя за движением его ручки, отвечала на стандартные вопросы, а двое в креслах — Никита кожей чувствовал — рассматривали его как вещь.

— Мама, вели поставить чай, я никак не могу согреться,— проговорила женщина в кресле, и Никита сразу понял, кто настоящая хозяйка этого владения с фонарями и камином.

— Региночка, я сейчас, сейчас! — встрепенулась старуха, оглянувшись на дочь. Потом она посмотрела на Никиту, и, пожалуй, только сейчас в глазах ее, обращенных к нему, мелькнуло человеческое, просительное выражение.

— С вашего разрешения — только подписать,— сказал Никита молодой хозяйке, которую не грело ни весеннее солнце, ни живое пламя. Может, больная? Глаза у нее были красивые. Глубокие, блестящие.

Никита, слава богу, закончив свою нехитрую — писать-то не о чем! — писанину, дал старухе расписаться где нужно, с удовольствием думая, что сейчас уйдет из этого несимпатичного ему дома. Ему к Щипакову надо, там судьба парнишки решается.

Никите доводилось заниматься кражами. И всегда он испытывал острое чувство обиды и гнева за обкраденных людей, чувство личной ответственности, даже вины, за то, что эта кража совершена. Было два случая (украли на свадьбе в ресторане пальто и обворовали продуктовую палатку на его участке), когда он сам и воров задержал, и похищенное нашел, и возвратил по принадлежности.

Очень Никита гордился этими случаями! За найденное на следующий же день и возвращенное на свадьбу пальто он, между прочим, был премирован фотоаппаратом.

Странным образом, в этом доме он совершенно не воспринимал хозяев его в качестве «потерпевших». Не только потому, что его несколько удивлял глобального масштаба шум, поднятый из-за злосчастного барометра, которому, по всей видимости, грош цена. Не мил, не родствен был ему весь этот дом. Никита даже обеспокоился: уж не завидует ли он камину и ленинградским фонарям? Да нет, сроду он не уличал себя в зависти.

Конечно, не в цветных стеклах и фонарях было дело, а скорее всего в том, что очень потребительски к нему самому здесь отнеслись. Вероятно, служебно-розыскная собака, встав на задние лапы, заслужила бы не больше, но и не меньше внимания.

Пряча в планшетку бланки, Никита думал о том, что барометр этот тем не менее надо найти, и как можно скорее, иначе эта плеяда горло переест. Он был почти уверен, что кража дело рук подростков. Какому взрослому, хоть из последних алкашей, влетит в лоб красть вещь, на которую придется полгода искать охотника? Паршивый коврик, лежавший на той же террасе, и тот хоть за десятку, да быстро нашел бы покупателя. Не перевелись еще любители приобретать вещи с рук, не интересуясь их происхождением.

Никита с облегчением застегнул ремешок планшетки, поднялся и в эту минуту услышал голос женщины в кресле. Она говорила по-английски:

— Он очень мил, этот бравый бобби, по росту он бы и в лондонскую полицию годился. Он что, офицер считается?

Вопрос был адресован старику. По выражению лица старухи, с нетерпением следившей за руками Никиты,— видимо, хотела его проводить,— Никита поручился бы, что она не поняла. Но этой мадам в кресле даже в голову не приходит, что он-то ее понимает. И он ответил ей по-английски же:

— Да, в советской милиции лейтенант считается офицером, миссис. С вашего разрешения, я посоветовал бы вам поработать над звуком «ти — эйч». У вас хромает произношение.

— Ого! — в удивлении воскликнула вполне по-русски женщина.— Это уже любопытно!

Никита тоже смотрел на нее в упор, с удивлением: неужели она не понимает, что допускает бестактность одну за другой?

— Вы считаете чем-то из ряда вон выходящим элементарное знание английского языка лейтенантом милиции?

Никита никогда не выражался столь книжно, но пусть съест.

— Ну, знаете, молодой человек,— вступил в разговор старик.— Мне приходилось иметь дело со многими лейтенантами милиции, но должен вам заметить, далеко не все они, даже и с тремя звездочками, владели иностранным языком. Это, как говорится, не типично. Вы, простите, действительно участковый?

— Да, я действительно участковый инспектор,— подтвердил Никита, решив про себя, что старик типичная сволочь, но неудобно интересоваться, где это помогло ему встречаться с таким множеством офицеров милиции. Каждый вопрос его Никита воспринимал как оскорбление. Оскорбительным казался ему и взгляд женщины, которая по-прежнему куталась в шарф, хотя солнце уже лилось в окна и становилось жарко, и, полуобернувшись в кресле, откровенно разглядывала Никиту с головы до ног. Оскорбительно было и то, что он стоял, а они сидели. Впрочем, стояла и старуха, явно недоумевая, почему ей не дают проводить этого участкового, который даже без собаки приехал.

— Знакомьтесь же наконец,— протяжно проговорила молодая, словно бы давно порывалась познакомить гостей, да все ей что-то мешало.— Это известный адвокат Семен Яковлевич Качинский.— Кивок в сторону старика.— Это участковый инспектор лейтенант...— Улыбка Никите, яркая, контрастная, почти как на портретах.— Надеюсь, фамилия не засекречена?

— Лобачев, Никита Иванович.

Никита намеревался сам подойти к креслу: что бы ни было — старик без малого годился ему в деды,— но Качинский поднялся неожиданно легко и предупредительно шагнул навстречу.

— Я все время думал, где я вас видел. Оказывается,

вас я не видел, но вы чем-то похожи. Капитан Лобачев ваш брат?

Вблизи Качинский не показался Никите уж таким бесприметным. Под кустистыми нависшими бровями глаза у него были свежие и зоркие. Наверно, хорошо еще видит, на переносице нет следа дужки очков.

Крепко пожав руку Никите, старик сделал широкий жест:

— Ну, а это наша Региночка, Регина...— Он назвал фамилию владелицы дачи.— Обладает умом и прекрасными глазами, что редко сочетается. Кроме того, талантливый журналист.

— Не пытайтесь вспомнить фамилию,— сказала Регина.— Слава еще не приосенила меня своим крылом. Надеюсь, вы не откажетесь от чая? Или предпочитаете что-нибудь покрепче?

Качинский, благодушно улыбаясь, поглядывал то на Лобачева, то на Регину. Оба смотрели сейчас на нее сверху вниз, и глаза ее, в которых поблескивали блики пламени, казались особенно глубокими.

Никита никак не мог понять, чем вызвана такая перемена в обращении с ним. Не английским же языком. Он счел это следствием уважения старика к Вадиму. Вадима многие юристы знали.

Но все равно Никите хотелось как можно скорее уйти из этого какого-то ненастоящего, на декорацию похожего дома. Ему надо делом заниматься, у него нет времени на болтовню. Парень его в коляске небось спит давно, разогрелся на солнышке. Соколов в отделе диву дается: ни Никиты, ни звонка.

— Извините,— сказал он твердо,— я должен ехать. Между прочим, надо барометр ваш искать.

Качинский не поддался на шутку.

— Если вы действительно участковый, то искать, очевидно, придется не вам. Это только Анискин все Министерство внутренних дел заменяет.

— Извините, не могу,— повторил Никита.

— Если вы торопитесь, я отвезу вас,— сказала Регина.

— Разумно,— тотчас отозвался Качинский.

— Извините, у меня мотоцикл. И ждет наш товарищ.

— Вот и прекрасно,— чуть громче и чуть резче ска-

зала Регина.— Пойдите и отпустите и мотоцикл, и товарища. Я отвезу вас.

— Разумно! — повторил Качинский

И Никита побоялся вызвать раздражение у этих людей. Сам раздраженный до крайности и растерянный, он вышел за ограду, разбудил действительно крепким сном спавшего парня и отправил его в отдел с сообщением Соколову, что на даче ничего особенного нет, присылать никого не надо, Никита будет минут через тридцать и лично обо всем доложит.

Когда он вернулся, простенькая девушка, очевидно домработница, ставила чашки на тот самый столик с изогнутыми ножками.

— Извините,— в который раз повторил Никита, оттянув левый рукав и поглядев на часы.— Но я должен ехать немедленно. Меня ждут по вашему же делу.

— Я же сказала, я отвезу вас, Никита,— сказала Регина.— Надеюсь, не сердитесь, что без отчества? Помоему, вам пока так же не пристало отчество, как мне известность.

Регина встала, одним движением сбросив шарф, и стало понятно, почему она так долго и упорно в него куталась. Почти от шеи бесформенное тело ее тонуло в жиру. Жалко выглядели маленькие узкие ступни ног, похожие на ножки рояля. И руки были маленькие, выхоленные и — тоже ни к чему. Это просто удивительно, когда успела эта не старая женщина так заплыть салом?

С детства привыкший к спортивному тренингу, считавший спортивную форму обязательной, как чистоту, Никита относился к людям физически, как он считал, запущенным с некоторой долей презрения. Разговорам о болезненном ожирении он веры не давал. Что-то среди колхозников мало больных такого рода.

Качинский занимал Никиту вежливым разговором, пока с улицы не донесся короткий требовательный сигнал.

Боковое стекло Регина опустила и ждала Никиту, положив руки на дверку, а подбородок на руки. И руки и голова красивы, ничего не скажешь. Купчиха из окошечка. Кустодиевская? Нет. Регину и за версту за русскую не примешь. Отец у нее, судя по фамилии, с Кавказа. А мать? Мать тоже не из славян,

У Регины было большой красоты лицо, кабы не жесткость выражения, излишняя цепкость взгляда. Красота библейская была. Библейской отрешенности не хватало.

Машину она вела классно, чуть заметными движениями баранки, небрежно и мягко переключая скорости. Правда, когда выехали на шоссе, Никите пришлось попридерживать ее на обгонах. Не хватало еще, чтоб своя же ГАИ зацапало частника, рядом с которым сидит офицер милиции.

Разговор велся обо всем и ни о чем. Правда, узнав, что у них в области есть «самодельный», как выразился Никита, питомничек служебно-розыскных собак и организовал его и командует им чудесный сержант, бывший пограничник, Регина выразила желание посмотреть этот питомник, обещала написать о нем.

Что поделаешь, екнуло у Никиты сердце, когда подумал, что появятся в прессе хоть два слова об их питомнике. Да что — Никита? Когда он докладывал полковнику Соколову обо всей этой суматошной истории с «ограблением дачи», полковник и тот поскреб затылок и велел питомник показать, коли мадам не раздумает.

— Не напишет, ну и ладно с ней. А вдруг напишет? Риску-то нет. Критику, полагаю, наводить не будет. Все-таки как бы по блату должна сработать...— так рассудил Соколов.

— ...Говорите, куда вас,— спросила Регина, подъезжая к центру городка, старому парку.

Никите почему-то никак не захотелось подъезжать с ней, на ее машине, в отдел. Он попросил высадить его у какого-то дома, сказав, что должен еще зайти именно в этот дом.

Очевидно, она поняла его нежелание, чуть прищурилась, темный глаз прикрылся пушистыми ресницами.

— Так не забудьте про собачек,— сказала она вместо прощания. Никита сказал, что не забудет. Твердо ли он обещает? Да, он обещает твердо.

«Волга» лихо развернулась и ушла. Никита остался, ощущая тягостную клейкость. Так бывает, ляжет на лицо невидимая паутинка, и не вдруг ее сотрешь.

Потом не раз будет он вспоминать это предостерегающее чувство, которым пренебрег.

ГЛАВА ПЯТАЯ

За свежевымытым к празднику окном аудитории, на самодельном, уже подсохшем футбольном поле мелькал красный свитерок будущего Яшина, или кто там у них теперь в славе. Ирина никогда не «болела» футболом, чем вызывала почти жалость у семьи Лобачевых и даже у Борко, и в памяти ее сохранились лишь имена футболистов, которые теперь, наверно, только в «козла» резались.

Очень хорош был этот свитерок — огонек, мелькающий сквозь нераспустившиеся еще кусты. На березах набухали сережки, ива давно украсилась зеленоватыми пушками-барашками, но по ночам еще схватывали заморозки и деревья мудро поджидали надежное тепло.

Ирина открыла окно. Ветерок донес — на расстоянии даже приятно — ребячьи вопли и смел у кого-то из студентов на пол листки.

— Придавите чем-нибудь,— попросила Ирина.— Так хочется весеннего духа.

— Сейчас придавим, Ирина Сергеевна,— отозвался студент Трофимов. Как и все остальные, он писал контрольную.

Ирина взглянула на часы. Время у Трофимова еще есть. Она сплела пальцы за спиной и снова медленными шагами направилась от окна к старинному застекленному шкафу. Из глубины шкафа навстречу ей выходила седая женщина, даже в стекле выделялась яркая на висках седина. И все-таки это была она, та самая медсестра, которую в роте когда-то звали Иринкой, без отчества, а теперь сторожиха кличет без имени Сергеевной. Это только Борко может искренне уверять, что Ирина ничуть не изменилась. Но ведь и он не кажется ей стариком, а когда-то, когда погиб Костя Марвич, она никак не могла простить ни в чем не виноватому командиру полка Борко того, что он, старый, жив, а Костя — молодой, Костя — счастье ее! — погиб.

Приблизившись к стеклу, Ирина увидела, что Трофимов за ее спиной еще ниже сгорбился над столом, тупо подперев большими кулаками голову.

Сколько ему, Трофимову? В институт он сдавал дважды, два года проваливался, с третьей попытки поступил, среди первокурсников перестарок. А может, и

в своей сельской школе второгодничал. Послевоенным ребятишкам в деревне немало досталось и голода, и труда.

Сейчас он старше Кости. Но сколько бы ни досталось трудностей Трофимову, живой Костя был неизмеримо старше его. Перед тем как стать прославленным командиром артдивизиона, Костя был гордостью и надеждой МГУ, говорили — из Марвича прорезывался Курчатов...

Из Трофимова, считает Ирина, может прорезаться Сухомлинский или Корчак. Но пора бы уж им хоть на грамм и сегодня прорезаться...

Ирина снова взглянула на часы, неделикатно повернувшись спиной к седой обитательнице шкафа. Трофимов все сидит, сидит... Только бы не наведался замдекана Качинский! Одной фразочкой он может окончательно сбить парню настроение. У них счеты старые...

Вспомнив о Качинском, Ирина, естественно, подумала о том, что ее все-таки огорчало и тревожило в последнее время, о судьбе своей книжки. (Она такая маленькая, что даже наедине с собой Ирина не называла ее книгой.)

Ирина снова и снова делает свои семь больших и девять малых шагов от окна к шкафу, настойчиво добиваясь полного понимания от женщины в стекле.

Забавно спросил Борко: исторический очерк — это люди или история?

Если уж Иван Федотыч чем-либо заинтересовался, то не для внешней показухи, он искренне старался разобраться и постичь. Он долго с любопытством разглядывал макет обложки — затушеванные временем очертания темных фигур на темном фоне, смутно видятся нимбы над головами, слепые старые иконы, не иконы уже — доски.

И вдруг на такой доске как бы квадратное окошечко, окно в другой мир, в далекий век, в солнечный день, где все так ясно видно и понятно. Они немножко по-детски нарисованы, эти кони, движения их небывало округлы и плавны, и все-таки это обыкновенные живые лошади под живыми всадниками.

— Вот так их очищают, освобождают постепенно от времени, от копоти, а то и от более поздней бездарной мазни.

— Считаешь, важно это? — без иронии, просто, по

делу спросил Борко, следя по репродукциям за объяснениями Ирины. Он с любопытством рассматривал и вполне мирскую подушечку, положенную под ноги богоматери Одигитрии, и гусят, которым художник тоже нашел место, и они спокойно кормились в углу иконы.

Гусята умилили Ивана Федотовича.

— А уточек тут не бывает? — спросил он, когда Ирина уже отложила Одигитрию и показывала ему тщательно выписанную художником материю на франтовских штанах молодого парня — святого Дмитрия Солунского.

Ирина даже обиделась. Ей хотелось, чтоб Борко понравился макет ее книжки.

— Не можете вы от Пашкина с птицефермой абстрагироваться,— сказала она с досадой.— Гусь — птица сказочная, его чаще изображали. Но встречаются у старых мастеров и ваши любимые утки. В Троице-Сергиевой лавре, между прочим, одна из башен стоит под уточкой. Так и называется Утицкая башня.

— Пашкин уток не держит,— тоже с некоторой обидой сказал Борко.— Сколько я вам всем толкую, что у него куры. Про уточку потому я вспомнил, что в деревне нашей тоже мастер был, из деревянных чурок чудеса творил. Расскажу когда-нибудь. Ну, а когда же книжка эта твоя выйдет? Уж раз макет, так я полагаю...

— А кто ж его знает, Иван Федотович,— сказала Ирина, грустно поглаживая глянцевитую обложку своего макетика.— Вот вы спрашиваете, важно ли это? Помоему, нужно. У нас очень мало популярных книг о древнерусском искусстве. Специалисты, знатоки пишут не всегда понятно и интересно для широкого читателя. А широкий читатель, русский читатель, должен знать, что славянская культура — культура России. Изобразительное искусство, живопись имеют очень глубокие корни. Посмотрите, как берегут историю свою Армения, Грузия, среднеазиатские республики. А у нас подчас както невнимательно, что ли, относятся к прошлому Руси. Во всяком случае, можно точно сказать, что немногих писателей, которые целеустремленно занимались древнерусской живописью или зодчеством, столь же целеустремленно били за это на страницах многих газет и журналов. Сейчас и ярлык повесят: некритическое отношение, призывы к патриархальности и все такое прочее.

А по мне, так им надо в пояс поклониться за их упорство. Вот недавно прочла я маленькую книжечку про древнего нашего художника Дионисия. Ну, ведь как хорошо! И нужное же, конечно... Это очень плохо, это опасно, если человек не знает своей истории, не любит ее, не гордится ею...

Они разговаривали тогда у Ирины в большой ее комнате на первом этаже, в молодом жилом массиве. Помнится, было тоже начало лета, и виноград, укоренившийся в ящике на балконе, только-только набирал почки. Из открытых окон пахло дымком сжигаемой прошлогодней листвы, и было странно думать, что и виноград, и запах дыма — все это в Москве, в каких-нибудь тридцати минутах от Красной площади и Василия Блаженного.

Слушая Ирину, Борко почему-то вспомнил именно этот храм, такой затейливый, ни на какой другой не похожий. А вот он идет себе, идет через века. Ирина права. Не всякий и москвич, наверно, знает, как он создан и сколь грозна судьба его творца. И того не знают, что в тяжкую годину войны хотели купить его у нас, вот так целиком, с узорчатыми крылечками, пухлыми куполами и куском московского неба над ним. Слава богу, сохранили памятник, хотя люди голодали в те годы... Ирина права! Надо, чтобы знали.

— Но ведь ты-то историк,— сказал тогда Борко.— Это ж, наверно, искусствоведы должны...

— Ну вот еще и вы так говорите! А я уверена, что искусствоведы потому и не пишут популярно, что очень глубоко знают предмет. Им просто скучно писать популярно.

— Тебе отказали, что ли?

— Не отказали. Даже обещали и обещают. Но вот все как-то так: более важное находится, бумаги нет, типография занята.

— А твое начальство помочь не может.

— Профессор Качинский, наверно, смог бы.

— Большое начальство?

— Ну, не такое уж головоломно большое, но он всех знает и его все знают.

— Связи. Блат, иными словами. Сила великая! Как он там насчет кирпича, не в силах? Пашкину кирпичик бы не помешал.

— Насчет кирпича навряд ли. Смеетесь вы, Иван Федотович,— сказала Ирина, пряча в стол свой обиженный макетик с прифрантившимся Дмитрием Солунским. Кажется, она и сама обиделась.

— Дурочка! — встревоженно сказал Борко.— Я посмешить тебя хотел.

Ирина посмотрела на Ивана Федотовича. И как всегда, когда они — случалось это редко — близко заглядывали в глаза друг другу, что-то в них дрогнуло. Ирину как током пронизало чувство света и тьмы, счастья и опасности недозволенного. Молния вспыхнула, и — погасло все.

Борко поднялся с дивана несвойственным ему резким движением и отошел к окну.

— Эх, Иринушка,— тихо проговорил он, стоя к ней спиною.— Если б мог, напечатал бы я тебе десять книжек.

— Но вы не можете, Иван Федотович, дорогой,— подхватила Ирина, и все стало на свое место.

...Полтора часа отведено студентам на контрольную. За полтора часа, даже подходя к столам, проглядывая листки, а иной раз и задавая вопросы, многое может преподаватель передумать.

Вышагивая от шкафа к окну, прогуливаясь меж столами, Ирина с горьким чувством недовольства собой вспомнила беседу с Качинским по поводу ее очерка. Беседа — короче некуда. У Качинского разыгрался радикулит, она поехала к нему с факультетскими делами. У него оказалось очень неплохая коллекция икон, «северных писем», однако он задал Ирине вопрос, сходный с вопросом Борко:

— А вы действительно считаете нужной эту вашу брошюрку? Что она вам дает? Это даже не по специальности, стало быть, о диссертации...

— Диссертация здесь абсолютно ни при чем,— перебила его Ирина.— Я считаю, в моем возрасте пора подумывать, что через какие-нибудь пять лет место надо для молодых освобождать, а не диссертацию двигать. Но вот вы же увлекаетесь «северными письмами». Почему же молодежи этим не интересоваться?

Вся стена большого холла была затянута холстом, на холсте старинные доски, все как быть следует... Но он же ученый, не объяснять же ему, что любая икона — окно

в жизнь, выходящую далеко за пределы евангельских сюжетов. Что слишком долго отворачивались люди от тщательно выполненных, а то и гениальных работ когда-то живших художников. А они — бедняги! — стесненные канонами, как же пытались они из глуби веков достучаться к потомкам, рассказать о своем житье-бытье и даже о том, чего сами не видели, о чем только слыхом слыхали. Чего стоит хотя бы слон Андрея Рублева с его кошачьими лапами и когтями.

Ирина и Качинский, опершийся на палку, стояли возле отличной копии Дионисия Глушицкого из Кирилло-Белозерского монастыря. Стена виделась битая, с изъянами, и чудом уцелел на ней старичок с удивительно пытливым, добрым взглядом.

Блоковский болотный попик. Сгорблен. Ручки уже сухие. По вечерам, наверно, подолгу сидит один на каменной скамеечке у кельи, смотрит на вечернюю зарю, пока не смеркнется и не пролетит над ним, мягко взмахивая крыльями, большая птица — сова на ночную охоту.

Да, пожалуй, с того и началось, что Качинский без стеснения — как все он делал — дважды щелкнул старика по носу.

— Должен вам сказать, что моя приверженность «северным письмам» мне в копеечку влетает,— он усмехнулся.— И мне не совсем ясно, как смогут увлекаться сим предметом наши студиозиусы. Да и нужно ли им...

Качинский сделал какое-то неуловимо-презрительное движение плечами, и — да, да, именно в эту минуту! — Ирина поняла, как сильно изменилась она, какую опасную терпимость принесли ей годы, как старается она не спорить. Но ведь в том беда, что когда ты устал, когда ты даже вправе хотеть покоя, от многого можно сторониться...

Если б раньше, если б моложе — разве стерпела бы она эти щелчки?

Старичок смотрел пытливо, сложив высохшие ручки. Многое вытерпел. Вытерпит и это...

Однако скрытое смятение Ирины не укрылось от Качинского.

— Впрочем, это ваше дело. У каждого свое хобби,— сказал он, и голос его, хорошо отработанный голос лектора, на этот раз прозвучал почти сочувственно и уважительно.— В конце концов, если мне нравится собирать

древнюю живопись, почему вам не может нравиться писать о ней?

Они расстались вроде бы и не поспорив, но воспоминание о битом Дионисии Глушицком из Кирилло-Белозерского монастыря с тех пор не раз тревожило Ирину.

...Еще десять малых шагов от окна к шкафу, от шкафа к столам. Как там Трофимов?

В первый раз Трофимов почти срезался на русском сочинении. Он получил тройку за орфографию, и было непонятно, зачем он экзаменуется по другим предметам.

Историю принимала Ирина и сам Качинский, подменивший заболевшего преподавателя. Качинский с вялым любопытством так и спросил Трофимова:

— А зачем, собственно, вы сейчас тратите время? С такой орфографией вас самое детальное знакомство с эпохой Грозного не выручит. И выньте, пожалуйста, руки из карманов.

Трофимов уже готовился отвечать по билету, но споткнулся о вопрос профессора. Вынул из кармана левую руку. На ней не было трех пальцев и рубцы стягивали тыльную часть ладони.

На Трофимове были новенькие востроносые туфли, каких в Москве уже не носили. Довольно долго он молча глядел на их рыжие носы, потом решительно вскинул русую лобастую голову и все-таки стал рассказывать про Ливонские войны и про князя Андрея Курбского.

На красивом лице профессора выражались равнодушие и терпение, он сам любовался своим терпением. Оживился он лишь при нелестной характеристике, данной Трофимовым пресловутому князю.

— А почему, собственно, вы уж так настаиваете на его подлости? — спросил Качинский.— За спиной Курбского удельная Русь стояла. Тут, знаете ли, не так-то просто приговоры выносить.

После безжалостного замечания Качинского об орфографии Ирина даже отвернулась, чтобы не видеть экзаменующегося. В самом деле, на что надеется Трофимов? Он не лодырь, пришел не на «авось», это сразу видно. Он просто не привык с детства слышать правильную речь. Он изучает русскую грамматику, как иностранную, это не всем легко.

Трофимов упорно рассказывал об Иване Грозном, победы которого сейчас ничем не могли ему помочь. Он был похож на отставшего бегуна на длинную дистанцию. Далеко впереди готовится разорвать грудью ленточку победитель, за ним второй, третий... Их ждут фотообъективы, телевидение, только им адресован восторженный гул стадиона. А далеко позади бежит последний. Его никто не замечает, он никому не нужен, но он не позволяет себе сойти с дорожки. Он тоже бежит.

Заметив однажды такого отставшего, Ирина закаялась ходить на состязания, потому что с тех пор только его и видела. Ведь всегда есть отставший.

С чувством такой же жалости, смешанной с досадой, слушала она тогда на вступительном экзамене Трофимова, стараясь не глядеть на его по-деревенски прочно загорелое лицо со светлой полоской в верхней части лба, лицо, от смущения казавшееся простоватым.

Однако туповатая напряженность покинула его после реплики профессора о Курбском. Трофимов посмотрел на Качинского с удивлением, но и вопрошающе, как бы на равных.

— Так что ж с того, что удельная? — спросил он, откашлявшись.— Родину-то бросать нельзя. Это нет надобности, что удельная.

— Поверхностность быстрого вынесения приговоров столь же противопоказана историку, как и врачу. А скажите,— Качинский заглянул в ведомость.— Скажите, Трофимов, почему вы все-таки хотите преподавать именно историю? Почему не что-нибудь с животноводством связанное, с механизаторством? По математике у вас хорошая отметка. Или рука мешает?

Трофимов покраснел, двупалая кисть его привычно потянулась под защиту кармана, но он пресек ее попытку. Он чуть подумал. Он вообще говорил медленно, взвешивая каждое слово:

— Помочь-то она, пожалуй, нигде не поможет. Ну, а что до математики, так после института мне в первых классах все предметы вести придется. Школа у нас пока маленькая.

— Вот это уже интересно! — воскликнул Качинский, откидываясь на спинку стула. Он окинул взглядом Ирину и других студентов, приглашая их убедиться в том, что это действительно интересно — человек явно не

набрал проходной балл, а рассуждает, что будет делать после окончания института.

Абитуриент за последним столом засмеялся. Ирина решила, чо непременно задаст этому весельчаку дополнительный вопрос, чтоб впредь не гоготал так синхронно вслед профессуре.

Этот абитуриент, между прочим, единственный не проявлял особой тревоги. Над билетом он поколдовал немного, но его больше интересовали голуби за окном. На широком жестяном козырьке голубь с тупой важностью поворачивался, красовался перед голубкой, но оскользался на плоскости и взмахивал крыльями, обретая равновесие. Голубка пятилась, он водружался попрочнее, и все начиналось заново. Терпения у голубя хватало.

Однако ж, следя за голубями, абитуриент удивительно чутко реагировал на малейший оттенок шутки в голосе профессора. Потому что без смеха публики — как же? Без встречного смеха любая шутка погаснет.

У голубя терпенья хватало. Ирина не вытерпела. Подойдя к столу «голубятника», она сказала вполголоса:

— Не надейтесь. Козырек покат. У голубей скользят лапки.

Абитуриент очень удивился и покорно опустил глаза на лежавший перед ним билет.

А Трофимов сидел прямо против профессора. Он не принимал шуток, но и не раздражался, словно неуместный смех не относился к нему. Он хотел поступить в институт, как пловец стремится достичь берега. Ему не до того, как он выглядит. У него жизнь решается.

Но все-таки и он попробовал с полным добродушием пошутить:

— У меня отец историю нашего колхоза пишет, может быть, поэтому?

— Наследственное, значит. Гены виноваты. Ну и как? Все пишет или о чем-нибудь и умалчивает? Как, например, у него с раскулачиванием? Головокружения от успехов не было? Или он еще тогда в колхозе не состоял?

— Ну, как же не состоял? Он же и раскулачивал. Он первый коммуну организовал, только она потом распалась. Инвентаря не было, и лошадей ядом потравили,— объяснил Трофимов. Качинский медленно-медленно покивал.

— Так вот почему вы, молодой человек, так легко приговоры выносите. Ах, гены, гены!

Трофимов, кажется, только сейчас понял, что откровения его профессору не шибко кстати.

А может, вспомнились ему послевоенные годы, когда тоже было голодно и он однажды принес из амбара полные валенки зерна. Все мальчишки норовили тогда поиграть возле амбара, а потом расходились, переставляя ноги осторожно, как ходули.

Он думал, отец, инвалидом вернувшийся с войны, похвалит за прыть, а отец избил пребольно и — еще того хуже — приказал самолично отнести в амбар украденные жмени ячменя.

В другой раз Шурик Трофимов догадался отдельными зернышками проторить уцелевшим четырем курицам, пятому петуху тропку к тому же амбару, благо усадьба их была через дорогу. В амбаре сыздавна существовал лаз для кошек. Петух их сроду был смекалист, а с голоду и вовсе все стал понимать. Он запросто усек Шуркину затею, на рассвете только и ждал Шуркиного призыва и тихонько вел свою похудавшую семейку на кормежку в амбар.

Кур отец заприметил, заворотил с бранью, но Шурика бить мать не дала. Ведь ей было тошнее всех, за ее юбку цеплялся и гундосил младшенький, на ней был и скотный с не приведи бог какими коровами и свои сотки. Все — на ней, потому что у отца уже начали отказывать застуженные в болоте ноги, уже появились в сенцах пугавшие поначалу костыли. По дому отец еще передвигался кое-как, хватаясь за стенки, за печь, за притолоки...

Может быть, и это, и многое другое вспомнил Трофимов, слушая Качинского.

— Насчет генов не знаю, а насчет раскулачивания, думаю, отец правильно поступал. У нас в селе никто ему кулаками в глаза не тыкал,— сказал Трофимов, снова откашлявшись и прогнав невнятную хрипоту.

«Давай, давай, огрызайся! — мысленно взмолилась к Трофимову Ирина.— Хватит щеки подставлять. Мне этика мешает вмешиваться, а тебе терять нечего».

И вдруг эта точная мысль поразила ее тогда откровенным цинизмом. Ну, а если б было что терять, значит, подставляй щеки?

Между прочим, последняя фраза Трофимова о кулаках, неожиданно оказавшаяся двусмысленной, разом погасила пикировку.

— Само собой разумеется, в стенах нашего института вам никто ничем в глаза не тычет. Более того, я ставлю вам тройку, хотя ответ того не стоит и проходного балла вам все равно не добрать. Сейчас очень модно рассуждать о любви к Родине, но, право же, необходимо в этом случае хотя бы знать родной язык!

Трофимов положил свой напрочь исписанный листок в портфель и вышел. Подхалим с заднего стола уже садился к Качинскому, но Ирина, честно говоря, думала сейчас только о том, как Трофимов спускается по потертым каменным ступеням. Спускается по лестнице, по которой так стремился подняться.

В ней не угасало вспыхнувшее чувство вины, но что конкретно могла она сделать? Попытаться выспорить четверку? Все равно не хватило бы очков, орфографию не перепрыгнешь.

Подготовка у парня, конечно, слабовата, хотя готовился он добросовестно. Ни один источник сверх программы-минимума явно не использован, но ведь сельский парень может просто не знать о существовании многих книг. Исторические события и даты связываются для него пока лишь непрочной нитью механического запоминания. Он шагает из века в век с уверенностью слепого, который твердо выучил дорогу из артели к дому, но не дай бог с нее свернуть.

— Да не поедет он ни в какое село, ваш пастушок, я вам говорю,— втолковывал ей часом позднее в преподавательской комнате Качинский.— Не поедет, если б и поступил, и окончил. Постарается осесть и осядет, черт возьми, где-нибудь в Москве, как минимум — в Подмосковье, как будто мало тут взыскующих приличного снабжения шестикантропов. Но настойчивость у них бывает, надо сказать, адская. Пока, конечно, не сопьются.

— Почему вы так уверены? — спросила Ирина.— Не поедет. Обязательно сопьется. А по-моему, он-то как раз и поедет.

— А потому, дорогая Ирина Сергеевна, что некого ему будет просвещать в вашей богоспасаемой деревне. Необратимый процесс. Умирает она, эта ваша деревня, которую модно толковать как некий кладезь вековой пре-

мудрости, подходи да черпай. Кому это надо? Старикам и старухам, которые по избам доживают, и тем не надо. И Трофимову вашему все это до лампочки, трамплин, так сказать. И устроится он в Москве, помяните мое слово. То есть не устроится,— быстро поправился он.— Не устроится, потому что в институт не поступит. Сама природа, так сказать, ограничила. Пусть себе в совхозе на тракторе джигитует.

Ирина ненавидела сейчас в Качинском все: тонкую руку, унаследованную от родителей и дедов, не знавших ни косы, ни сохи, ни топора, и совершенную уверенность в том, что именно он вправе решать судьбы Трофимова и российской деревни, хотя нипочем не отличить ему гладкого пшеничного колоса от простоватого усача-ячменя.

— А я вот уверена, что Трофимов поступит,— сказала она, пока не представляя себе, что же можно практически для этого сделать.

Потом она просмотрела тоненькую папку абитуриента Трофимова. С фотографии глядел светлый русый мальчик, с взглядом пытливо-доверчивым и живым, что редко бывает на маленьких, для документов, снимках. Мальчик смотрел жадно, верил миру, а вот поди ж ты, как жестко обошелся с ним на первом же этапе мир.

Отец-инвалид, мать — доярка, младший брат... При самостоятельных опытах по химии потерял пальцы, потому не взяли в армию...

Ирина от имени комитета комсомола отправила Трофимову посылку с книгами. В комитете ребятам понравилась идея насчет шефства над будущими студентами. Ирину обещали не выдавать. Объяснила она свою просьбу просто: если придется ей принимать у Трофимова экзамен, пусть не чувствует себя ни обязанным, ни знакомым.

И все-таки в следующем году он опять не вытянул на проходной.

Ирина увидела Трофимова в вестибюле, у доски со списками. По его лицу было видно, что он читает список второй раз. Вернее, уже не читает, просто медлит отвернуться, подойти к скамье, на которой сидит женщина, еще не старая, в немодном габардиновом пальто, в капроновых чулках, лицо дотемна загорелое, со светлыми лучиками-морщинками. Особенно густо легли они у глаз,

да и от носа к углам рта пролегли глубокие светлые борозды. Его мать. Он смотрит на доску со списками, она — на его спину.

Трофимов оторвался от списков резко, привычно сунул левую руку в карман, подошел и остановился подле матери. С полминуты, наверно, они молчали.

Она сказала тихо:

— Шурик, поди погляди еще. Может, ты проглядел от волнения? Это очень просто даже может быть.

Ей-то, как никому, были известны и бессонные ночи его, и старанье.

— Дранки достала? — спросил Трофимов. Сдавая экзамены, он жил в общежитии в Москве, и теперь им обоим, наверно, казалось, что не видались они давно.— Отец как?

— Достала, Шурик, достала! И задешево достала. В Завидове теперь мастерская своя. Очень даже просто достала. А отец, что ж... Велено ему какую-то бычью кровь прикладывать. Не знаю — поможет, не знаю — нет, ну да уж чтоб не думалось.

И про дранку, и про бычью кровь она говорила громко, как говорят люди, большая часть жизни которых проходит на открытом воздухе, говорила почти весело, спеша отвлечь сына от его беды, скорее утешить его, что, мол, ничего, дома все идет толком, и живут же, мол, люди и так...

— А председатель велел передать, чтоб ты не больно убивался, если что. Механизатором тебя поставят. Нам две новых «Беларуси» дают...

Ох, как же вспыхнул Трофимов! Как же глянул исподлобья по сторонам, словно в этом гудящем вестибюле кто-то мог понять, что председатель загодя не верил в его экзамены.

Мать догадалась, что зря сказала, не к месту пришлось ее утешение, и сникла. Молча глядела на левую руку сына, укрытую в кармане.

Кто знает, может, когда по детской дурости схлопотал Шурик увечье, она не больно-то и убивалась — в армию не возьмут, учиться пойдет. А теперь ей могло думаться: с целой-то рукой уж бы из армии вернулся — которые с действительной, тем легче поступать. А вот в машине ковыряться без пальцев будет потрудней...

— Ну, ладно, мама, пойдем.

Он проговорил эти слова тихо, спокойно и так же спокойно двинулся вперед матери, через толпу к выходу. И — странное дело! — именно в эту минуту, глядя на его широкие, медленно удалявшиеся плечи и крепкий затылок, подбритый коротко, не по-городскому, Ирина почувствовала, что он вернется. До тех пор будет возвращаться, пока не поступит.

И в прошлом году он поступил. Сочинение вытянул на тройку, а остальные экзамены на четверку и две пятерки, в общем набрал проходной балл. Он так и не узнал, что историчка Ирина Сергеевна, которую любили студенты и чьи лекции он с доверием слушал, знает его куда больше, чем он ее.

Зимнюю сессию Трофимов сдал сравнительно прилично. Во втором семестре ему показалось труднее. Сейчас он пишет контрольную. Сама по себе контрольная не бог весть какое имеет значение, но ему-то надо ее непременно написать, иначе не с тем настроением пойдет он и на зачет, и на экзамен. Слишком живы еще в его памяти тяжкие провалы на вступительных в институт.

Приблизившись к шкафу, Ирина вдруг увидела, что Трофимов за ее спиной, опершись локтями на стол, мерно и бесшумно ударяет себя по вискам сжатыми кулаками.

— Ну-ну! — строго сказала Ирина шкафу, обернулась и поняла все отчаянье Трофимова, которого в стекле не разглядишь. Его только в глазах увидеть можно.— Ну-ну...— успокаивающе повторила она, неторопливо подойдя к Трофимову.— Оглянись не во гневе и без паники. Ты же деревенский, ты все умеешь сам сделать и подручный материал привык использовать. Пошарь в памяти, перебери, что у тебя подходящего к вопросу есть, в соседнее время загляни, так и к ответу подберешься. Когда в боевой обстановке, в глухой темноте надо какой-то предмет увидеть, никогда не надо пялиться только в ту точку, где ты его предполагаешь. Присмотрись кругом, постепенно переводя взгляд к предполагаемой точке, и почти всегда нащупает глаз очертания... Время у тебя есть.

Ирина опять ушла в свой маршрут, искоса поглядывая на Трофимова. И — о радость! — он подумал-подумал и стал писать. И довольно быстро забегал шариковой ручкой по бумаге, придерживая листок двумя пальцами левой. Пишет-пишет, вскинет голову, подумает,

опять пишет. Лицо высоколобое, открытое. Сейчас, избавившись от унижающего страха провала, он стал почти красив. Иванушка-дурачок омылся в живой воде уверенности и стал Иваном-царевичем.

Она тут же прочла его контрольную, сказала, что ставит ему четверку, сделала отметочку в журнале.

Отметка не по работе? Да, была бы вполне допустима и тройка. Не педагогично? А вот же нет! На второй курс он должен перейти во что бы то ни стало, а там его уже ничто не собьет. Ему надо напрочь забыть о том, как он с позорным, может быть, по его мнению, упорством дважды резался на вступительных.

Другие студенты признаков отчаяния не проявляли, но, между прочим, все еще сидели и писали.

— Вы, наверно, с Волги? — спросила Ирина.— Я по говору сужу, северное «о». Какая у вас школа?

— Я с Калининской,— быстро и охотно отозвался Трофимов.— У нас совхоз птицеводческий, директор Пашкин школу построил отличную, не хуже московских. Поменьше, конечно, но качество высокое. Вот только физический и химический кабинеты надо обязательно на второй этаж, а то малышня к окнам липнет. Им ведь все опыты подавай.— Трофимов усмехнулся.— Ну и библиотека пока еще бедновата. Свои книги по истории, которые мне ваши комсомольцы прислали, я передал туда, но еще надо, еще!

Ирина с удовольствием слушала его волжское «о», несколько смягченное близостью с московской «акающей» областью. Трофимов поглядывал то на нее, то на журнал, где уютно расположились результаты его контрольной, заслужившей ему заветную четверку. Он даже чаще взглядывал на журнал. Все у него было загодя обдумано, не раз и не два мысленно примерено, и про библиотеку, и про малышню. Нет, она правильно поставила ему четверку...

Распахнулась дверь, и все-таки вошел Качинский, прихода которого Ирина теперь не опасалась.

— Не пора ли вашим первокурсникам честь знать и контрольные сдать. Без малого два часа. Хотя,— он заметил и, разумеется, узнал Трофимова,— у нас меньше, чем с двух попыток, не сдают. Правда, Трофимов?

— Нет, неправда,— сказал Трофимов.— У меня четверка.

Вместе с Качинским в аудиторию вошел Олег Кремлев, тот самый студент, который когда-то, экзаменуясь вместе с Трофимовым, на вступительных хихикал синхронно. Теперь он был на два курса старше Трофимова, однако и сейчас улыбнулся точно вслед шутке профессора. Но Трофимова было уже не сбить. Он, как положено, поклонился Ирине, потом Качинскому и вышел.

— Я вас очень прошу, Ирина Сергеевна, в порядке личного исключения,— сказал Качинский вполголоса, не отвлекая студентов.— Не могли бы вы принять у него курсовую? Его руководитель — заболела. С деканом, с ректором договоренность есть. У него появилась возможность поехать за границу, вот почему он торопится. Я прошу вас. В порядке исключения. Уверен, что с ним вам два часа возиться не придется.

— Хорошо,— согласилась Ирина. Больше ей ничего не оставалось. Руководитель семинара — живой человек, вправе заболеть. Да и настроение у нее после Трофимова было отличное.— Хорошо, садитесь.

Качинский ушел. Она собрала контрольные у своих, студенты отправились восвояси. Кремлев отдал ей курсовую, чуть улыбаясь. Спокойный, уверенный в себе человек.

Курсовая работа — это своего рода статья, как бы «маленькая защита», репетиция дипломной. Работа Кремлева была отпечатана на машинке, на хорошей бумаге, через два интервала, с полями, все как быть следует.

Разворачивая листы, Ирина успела подумать, что сегодня непременно надо написать Вике, договориться о лете. Пусть девочка вместе с ней поедет в Сочи, раз в жизни отдохнет, море увидит.

Она задумалась, глядя на листы и не видя текста. Деликатное покашливание вернуло ее в аудиторию. Олег Кремлев глядел на Ирину с благодушной готовностью.

— Извините, все-таки устала за день,— сказала Ирина столь же благодушно. Бывают дни, когда всем желаешь добра.

Она начала читать. И вдруг, с первых же страниц, насторожилась, словно бы из второго эшелона ее неожиданно перебросили в бой. Знание можно скрыть, невежества не скроешь. Рассуждал этот студент литературно, грамотно, даже витиевато, с непостижимой ловкостью

уходя от существа вопроса. А если отбросить его словесные фиоритуры, право же, получалось нечто похожее на давнишнее юмористическое стихотворение: «татарский воин Чингисхан погиб от огнестрельных ран... Для выяснения вопроса к ним прибыл Фридрих Барбаросса...»

Сама себе не веря, Ирина начала задавать ему вопросы и слушала его терпеливо. Не менее терпеливо, чем слушал когда-то Качинский Трофимова. Он говорил-говорил, потом вдруг сразу умолк, глядя ей прямо в глаза с прежним выражением добродушной доверительности.

— Послушайте,— не скрывая удивления, спросила Ирина.— Честно говоря, я просто в растерянности. Не стоит и говорить. Вы же просто ничего не знаете?

Однако ни доли растерянности не вызвали в нем ее слова, хотя он, интеллигентный юноша с третьего курса, не мог не понимать, что добрых полчаса порол ерунду.

— Ирина Сергеевна!— Кремлев обратился к ней уважительно, сочувственно, совершенно в интонации Качинского. Честное слово, это он ей сочувствовал, как будто не он, а она проваливала курсовую.— Ирина Сергеевна, я очень плохо себя чувствую, видимо, переутомился. У меня произошел какой-то психический сдвиг, но, уверяю вас, все это временно и вполне поправимо.

Ирину долбило выражение его глаз, совершенно здоровых и веселых. Без тени тревоги, с юмором взирал он на создавшуюся ситуацию. Он действительно ей сочувствовал, ему было познавательно интересно, как она выйдет из создавшегося положения. Он ни минуты не сомневался, что задача будет решена в его пользу.

— Я не принимаю вашей курсовой и сейчас сообщу в деканат свое мнение по поводу вашей подготовки вообще. Я сделаю это в письменном виде!

Вот теперь с его физиономии сошла приветливая улыбка. Он был крайне удивлен и глядел на нее столь же недоуменно, как смотрела на него она, слушая его ни с чем не сообразный ответ. Да, значит, решение задачи было известно заранее, и он никак не предполагал, что оно может быть иным.

— Желаю приятного круиза!

Ирина первая быстро вышла из аудитории. Она прямо-таки боялась, что не сдержится. Но в конце концов, разве в этом молодом наглеце было дело? Почему Качинский привел его именно к ней? Правда, Колыхалов

тоже на бюллетене... А что, если Качинский все-таки на нее надеется?

Качинский ждал ее на кафедре. А может, и не ждал, просто курил? Нет! Уж очень быстро встретился он с ней взглядом, едва вошла она в дверь.

— Он ничего не знает, этот Кремлев,— сказала она.— До наглости ничего не знает. И я напишу об этом в деканат.

Ирина уселась против Качинского на диванчик. Самое тяжелое на фронте — последние минуты перед неминуемым боем, а когда войдешь в бой, как ни странно, уже легче. Сейчас ей было легко, даже злобно-весело. Сейчас ясно — не видать света ее «Окнам в прошлое», может, туго придется и ей, но Трофимова со второго курса уже никакая сила не сдвинет. Главное — верить в то, что делаешь, и тогда сделаешь то, что надо.

Мыслей промчался рой, а Качинский только и успел, что торопливо придавить в пепельнице недокуренную сигарету.

Он испугался! Черт возьми, он явно испугался! Ирина чувствовала себя сейчас той давней, молодой. Ей улыбался ободряюще Костя Марвич, не убитый, прославленный смелостью комдив.

— Ирина Сергеевна! — с непривычной поспешностью заговорил Качинский.— Даю вам честное слово, если б я мог предвидеть нечто подобное со стороны Кремлева, я никогда не доставил бы вам таких неприятных минут. Это перспективный студент. Ну что ж, бывает, и мы ошибаемся. Ошибся же я в вашем Трофимове. Я чувствую себя кругом виноватым перед вами, я так задержал вас, на вас лица нет...

Вот тебе и раз! А ей-то казалось, что сейчас она полна молодости и сил.

— На вас лица нет,— повторил он.— Я на машине. Ради бога, разрешите, я отвезу вас домой.

Да, действительно, она, оказывается, страшно устала. Конечно, она предпочла бы вагон метро, где ни с кем не надо разговаривать, но ведь до метро надо еще дойти.

— Ну вот и отлично, дорогая моя,— быстро перебил ее короткое раздумье Качинский.

Машину он вел не так лихо, как Борко, но с уверенностью частника, который не держит шофера. Да и в моторе, подняв капот на институтском дворе, он покопался

привычно. Все это несколько расположило к нему Ирину. Ей почему-то думалось, что у такого барственного и обеспеченного человека непременно должен быть шофер.

— А все-таки плохо, что все мы встречаемся только на кафедре да на коллективных вечерах, с которых торопимся разойтись по вечерам семейным,— говорил Качинский, привычно глядя на двадцать метров вперед.— Мы, в сущности, мало знаем друг друга, и это в общем-то не помогает делу. Я очень виноват перед вами,— с нажимом повторил он,— но уверяю вас, я был спокоен за его подготовку.

Машина шла неспешно по летней вечереющей Москве. Движение ощущалось лишь по легкому ветерку, залетавшему в открытое боковое стекло.

Ирине не часто приходилось ездить в частных, красиво комфортабельных машинах. Подумалось, что это все-таки приятно и усталость незаметно снимается. Сначала она почти не слушала Качинского, подсознательно ощущая отсутствие вопросительных знаков в его плавно текущей речи. Только когда он немного резко затормозил перед поворотом, она поняла, что Качинский приглашает ее побывать за городом в интересном доме, что они сговорятся на субботу или воскресенье, он заедет за ней, и она отлично отдохнет на воздухе.

А скорее всего, и не тормоз пробудил ее внимание, а фраза об энтузиастах-реставраторах...

— ...Отец связан с художниками: какого-нибудь искусствоведа, специалиста по древней живописи нашей или зарубежной, художника-реставратора за обедом обязательно встретишь. И книги на полках, которых запросто не купишь...

Их и не запросто не купишь. Они просто не попадают на прилавок. Музей Андрея Рублева, великолепный том на русском и английском. Двадцать пять тысяч тираж, казалось бы, не так уж и мало, а пойдите купите...— Качинский рассмеялся.— Такие книги, дорогая Ирина Сергеевна, не покупают, а достают. Но в этот дом они поступают без махинаций. Говорю по-честному, если хозяина заинтересуют ваши «Окна», он кое-чем снабдит и вас. Он ценит каждого, кто разделяет его хобби. Находясь в одиночестве, он, наверно, почел бы свое увлечение делом несерьезным и, чего доброго, стал бы скрывать.

И еще этот дом хорош тем, что там каждый сам по себе. Есть старая хозяйка древнего строгого облика. Я люблю смотреть, как она молчит. От отца припахивает раблежанством, но при всем при том он крупный, ответственный, деловой человек. Есть дочь, молодая, чуть не полмира объехавшая журналистка. Вы замечали, в давно образовавшихся семьях все чем-то похожи друг на друга? А здесь все разные — никто ни на кого не похож...

Ирина сроду не бывала в чужих, хоть и самых интересных домах, но какая-то пригодная для отказа минута была упущена, а вот уже и дом ее, и Качинский, повернувшись к ней всем корпусом, опять извиняется за этого Кремлева.

— Не отказывайтесь, Ирина Сергеевна, слушать не хочу,— быстро перебил он ее, когда они прощались.— Честное слово, будет хорошо, а нет — скажете, что голова заболела, той же дорогой отвезу домой. Чем рискуете? Может, поговорите с хозяином и о работе вашей, может, я чего-то недопонимаю. Еще раз: ну, не угадал же я вашего Трофимова, но, во всяком случае, согласитесь, ошибки свои я умею признавать.

Машина ушла. Бабки, бессменно караулившие в эти часы на лавочке у дома, согласно прервали беседу.

— Кто это тебя так, Сергевна? — спросила главная бабка.

— Начальник,— сказала Ирина.— Я сегодня план по зачетам перевыполнила. Грамоту дадут.

Ей-то в ее годы было все равно, ей бабки ничего не могли причинить, но куда деваться от мерзкой сплетенной жадности молодым? Подумав о молодых, она, естественно, вспомнила о Вике. Надо непременно сегодня написать. Плохо, что у Вики дома нет телефона.

С каким облегчением вошла она в свою тихую квартиру, еще в прихожей сбросила туфли — ноги к вечеру отекали,— погладила кота, не сиамского, обыкновенного беспородного умнягу, и разделась, и легла в халате на диван, а кот прыгнул бесшумно и сел рядом, урча и глядя ей в глаза круглыми, как луна, глазами.

— Ну вот мы и дома, Васенька,— Ирина лежала на боку, одну ладонь положив под щеку, другой поглаживая гладкую серую спинку.

Усы у кота были длинные, уши целые, хороший кот,

не задира, не дуэлянт. «А что, если все так и есть просто, как профессор говорит, а я просто от нашей родной рабоче-крестьянской милиции подозрительностью заразилась? Хотя они-то, черти, как раз ничуть не подозрительны. Мнительный человек не может быть врачом.

А может, все-таки поехать? Ведь книжку никто не ругает, ее все хвалят. Ее только не печатают. А Качинский помочь может. Человеком слова он бывает не всегда, но человеком дела — во всех случаях, когда считает это нужным...»

Потом Ирина отвернулась от злосчастных своих «Окон» к Вике. Сейчас, сию минуту она встанет и напишет. Еще она подумала, что хорошо бы все-таки познакомить ее с семьей Лобачевых, с Галей и Мариной. Пусть бы у Вики был семейный дом, куда она могла бы пойти.

Ирина так и собиралась сделать, когда просила Вадима рекомендовать Вику Тамаре Огневой, но из этой затеи ничего не получилось. Вадим при первой — мельком, в управлении — встрече показался Вике таким сухим, к ней безразличным, что она наотрез отказалась ближе знакомиться: «Я очень трудно новых людей перевариваю».

Вадим наверняка и фамилию ее забыл, а ей тоже не нужно. Работает, и слава богу, больше ей ничего не нужно. А что нет контакта с этими трудными, так тоже не смертельно. Опыт, контакты — дело наживное. Летом отдохнет, может, и контакты будут.

Зазвонил телефон. Стоял он далеко, на полке книжного стеллажа, Ирина в который раз ругнулась на самое себя, зачем до сих пор не нарастила ему хвост подлиннее.

— Ирина Сергеевна, это я! — послышался в трубке чистенький голосок Вики.— Как вы себя чувствуете, Ирина Сергеевна? Как здоровье?

— Викочка, здравствуй! — Ирина потянулась за стулом.— Здоровье отлично, дай только сесть. Села, слава богу. Писать тебе сегодня хотела. Что у тебя?

— На работе как обычно, контрольные все сдала.— Трубка чуть помолчала.— Ирина Сергеевна, я действительно альбинос? Альбинос же — это когда красные глаза.

— С вами не соскучишься. Кой черт сказал тебе, что ты альбинос и какое это имеет значение?

Трубка задумалась.

— Какой-то дурак сказал, а ты...

— Ну уж нет,— живо отозвалась Вика.—Не дурак!

— Значит, ты его знаешь?

— Во всяком случае, его не считают дураком.

— Ну вот что,— сказала Ирина.— Могу тебе выдать справку, что никакой ты не альбинос. Из-за такой ерунды не стоило меня поднимать. Вика, надо, чтоб ты как-нибудь приехала, чтоб мы договорились о лете. Ты знаешь, я к долгим телефонным беседам не приспособлена. Коротко так: у моей подружки в Сочи две комнаты общей площадью, как моя кухня, но на площадь там — наплевать, там под инжиром живут. Она, как водится, едет в отпуск на Белое море, в Соловки, а мне надо на Черное, на Мацесту. Донимают проклятые конечности. Ты поедешь со мной?

— Поеду.

— Добро. Если тебе уж очень сомнительно, покрась ресницы, но я бы не советовала, грубо будет. Всех благ! Мы с Васькой пошли долеживать.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Доложив полковнику Соколову об ограблении дачи, Никита приказал себе тотчас, напрочь переключиться на историю со спиртом и ребятами. Там судьбы человеческие решались. А кроме того, чем дольше обдумывал Никита нелепое похищение компаса, тем более склонялся он к мысли, что не мог нормальный взрослый человек совершить подобную кражу. Но в конце концов бывают и ненормальные. Достаточно вспомнить дело «странного вора».

Итак, Щипакова крайне не желательно было вызывать из школы или идти к нему домой. Однако встретить его на улице Никите удалось только через четыре дня.

Кончились уроки в первой смене. Щипаков шел сначала по направлению к дому, потом довольно резко повернулся и пошел в сторону. Это был невысокий, не особо сильный на вид мальчик. Меньше всего он производил впечатление дебошира, хулигана. Он был слишком сосредоточен, погружен в себя, а в любом хулиганстве не-

пременно есть доля истерики. Хулиган не может без внешнего эффекта, хулигану зрители нужны.

Щипаков шел, не обращая ни на что внимания, непроницаемо и, пожалуй, невесело задумавшись. Может быть, он уже знает, что обстановка у рохли-сестры изменилась и спирта к Дню Победы им не взять?

Нет. В эти дни рохля-сестра не дежурила, Щипаков может узнать об изменившейся обстановке в поликлинике только сегодня вечером. Но хотелось бы, чтоб он сознался до того, как узнает, не под давлением обстоятельств. Иначе что же даст ему самому признание?

«Но куда же он все-таки шагает прямо из школы?» — с обострившимся интересом подумал Никита, уже смутно догадываясь куда.

Все-таки какое-то чутье к объектам, представляющим оперативный интерес, в нем постепенно вырабатывается. Наметил же он особо предупредить постового и патруль. Можно поставить китайские кеды против дохлых котят, что Щипаков сейчас свернет к новому незаселенному дому. У них наверняка там база.

Нельзя дать ему туда свернуть. Пусть об этой базе он тоже сам расскажет.

Никита все время шел по другой стороне улицы, параллельно Щипакову, и мальчик его не видел. Потом он легко обогнал Щипакова, первым оказался на перекрестке, вышел навстречу Щипакову, и они столкнулись почти у перехода лицом к лицу.

В двух школах своего участка Никита бывал нередко. По нарушению ребятами правил уличного движения, а случалось — и по более серьезным поводам. Участкового инспектора школьники знали как популярного хоккеиста, легкоатлета, пользовался он авторитетом и по Клубу юных собаководов. Словом, сама по себе встреча с ним не должна была быть неприятной для мальчика, если, конечно...

— Павел, привет! — окликнул Никита, много ожидая от первой реакции Щипакова.

Мальчик почти столкнулся с Никитой. Никита был много выше, и он поднял голову. Вблизи у него были заметны темные тени под глазами, но белки не красные, не мутны. Похоже, пить еще не научился. Бледноват, худоват, да ведь на их бюджет особенно не разжиреешь. Видным парнем Щипакову не бывать, но в его простом,

насмешливом лице, в несильной, но ладно сбитой фигурке было какое-то подкупающее простодушие, он не задумывался, как выглядит со стороны. Такая независимость от мнения окружающих свойственна лишь старикам да детям. Очень редко ею обладают подростки. Подростки обычно ревниво следят за тем, какое производят впечатление.

— Привет, Паша,— повторил Никита.— Очень кстати я тебя встретил, и очень бы надо мне с тобой поговорить. Ты не мог бы на полчасика зайти? Как здоровье матери? Что-то я ее давно не видел?

— Она болела, Никита Иванович, даже в больнице лежала. Воспаление легких.

Смотрел он открыто, разговор поддержал с готовностью, словно рад был случаю оторваться от своего раздумья. А когда Никита позвал его зайти, после еле заметного замешательства в глазах его мелькнула веселая искорка.

— Помчались, Никита Иванович. Я, честно говоря, не располагал, но уж если так дак так. Нашу родную советскую, которая нас и те де и те пе, как не уважить...

Щипаков переложил портфель из правой руки в левую, и они зашагали рядом. Белая рубашка Щипакова была стирана-перестирана, но, отглаженная по крахмалу, выглядела отлично. А штопка на вороте! Вышивка. Филигрань.

— Мать давно вернулась? — спросил Никита.

— Позавчера.

«Ну вот она тебя и привела в божеский вид»,— подумал Никита, представив себе хрупкую, тоже не из видных, мать Щипакова, женщину одинокую, смирную, во всех общественных делах безотказную. Муж ее бросил давно, если вообще был. Кроме сына и работы, ничего у нее в жизни не было. Родительские собрания она непременно посещала, на фабрике была на хорошем счету. Ее однажды даже в дружинники выделили. Курам на смех дружинник, которого мизинцем перешибешь. Но выделяли ее, между прочим, не на смех, потому что упорство, характер в ней есть. Есть он и в сыне. Куда он только повернется, этот характер...

«Куда повернешь, дорогой товарищ,— пресек свои абстрактные раздумья Никита.— Тебе, между прочим, не для красоты плечи погонами-звездочками украсили...»

К полудню солнце припекало изрядно. Они проходили сейчас мимо молодых каштанов с крупными сочными почками, из которых вот-вот вылупятся пятипалые лапки-листья. Каштаны были посажены вдоль новой улицы имени Курочкина, милиционера, погибшего в схватке с бандитами. В прошлые годы школьники шефствовали над каштанчиками-новоселами. На тоненьких стволах поначалу даже бирки были развешаны, кто за какой в ответе.

— Смотри-ка, могут в этом году и зацвести,— предположил Никита.— У тебя тоже, по-моему, дерево было?

— Вроде было.

В ОВД Щипаков вошел привычно-спокойно, и Никита в который раз мысленно одобрил себя за то, что приучил ребят участка не считать посещение милиции чем-то необычайным, а тем более непременно зазорным. Он и ребят из Клуба юных собаководов к себе под разными предлогами не раз приглашал, и по воскресникам-субботникам к нему заходили подростки.

Повседневное общение, ставшее привычным для всех, наладило контакты с ребятами и в серьезных случаях помогало от лишних слухов и травмирующей болтовни великовозрастных сплетников.

Щипаков зашел, спокойно уселся на дерматиновом диванчике. Тепло было здесь, тихо, пылинки в лучах кружились. Пашка Щипаков разглядывал «вельветы».

— Заграничные? — с уважением спросил он.

— А тебе заграничные вещи нравятся?

Пашка засмеялся.

— Вещи их мне без надобности. Мне ихние пути-дороги нравятся. Ну что, сидишь, сидишь в нашем уважаемом родном городе. Что тут увидишь?

Пашка сидел на диване, как пай-мальчик, положив руки ладонями на сиденье, и объяснялся с «вельветами». Никита устроился на диване сбочку, правую руку поместив на спинку, а левой опершись на колено. Сидел он вполоборота, и ему хорошо было видно Пашкино лицо.

За «уважаемый родной город» он на Пашку обиделся и не счел нужным скрывать обиду. Наверно, это было непедагогично.

— И куда же направишь ты свои уважаемые стопы?

Пашка усмехнулся снисходительно. Взгляд его оторвался от «вельвет».

— У меня уже несколько маршрутов разработано. У меня и туристский путеводитель, и карты есть. Пока отечественные. Я бы сначала попутешествовал, а потом в круиз. Вообще-то путевка...— При слове «круиз» его маленькие глазки засветились.— Хотя нет. Все-таки путевка сильнее того...

— Паша, сколько тебе лет? — спросил Никита для верности. Что-то близко-близко ему засветило, и он насторожился, боясь упустить ниточку, потерять мелькнувшую искру.

— ...Ну, так ты же должен понять, что до шестнадцати ни в какой круиз без матери не можешь. А матери вроде еще не до круизов.

— Пока до круизов я бы съездил на море поглядел,— трезво начал излагать свои соображения Пашка.— Я ведь моря не видал. И ни одного корабля. Да и не я один не видал.

— А кто еще не видал?

— Толя Кусков, Валера Дольников тоже не видали.

«Список точный». Ничего определенного еще не было в руках, но уверенности прибавилось.

— Если по-честному, Павлик, так и я еще моря не видал,— сказал и не соврал Никита.

Это Пашку удивило. Он посмотрел на Никиту с некоторым сомнением, перешедшим в неодобрение. В его представлении участковый инспектор, лейтенант милиции был, очевидно, столь неординарным, что не повидать моря и корабли мог только в силу собственного нежелания.

— Да знаешь, все как-то так получалось. Отпуск я из-за хоккея старался брать зимой. Действительную служил на Севере. Там озер и болот много, а моря нет.

Пашка смотрел на него все еще испытующе, но Никита чувствовал, что с помощью хоккея оправдался.

— Море и корабли — моя мечта. Я буду только моряком,— тихо, непреклонно проговорил Пашка, глядя далеко сквозь стену, сквозь город.

— Это хорошая мечта, Паша. Но мечта должна быть прочной. Чтоб не порвалась, когда будешь жизнь к ней пришивать. Очень точно надо прикинуть маршрут к исполнению этой самой мечты...

Наблюдать за мальчиком было тем проще, что Пашка весь был сейчас на своем море, на кораблях, в лице

его появилась та же отрешенность, с какой шагал по улице, не видя ни улицы, ни прохожих.

Только у детей бывает такая вера в реальность мечты. Да еще, наверно, у людей творческих. Для них мир вымысла тоже оказывается реальней окружающей жизни.

Однако ж последние фразы Никиты дошли до Щипакова, и по лицу его прошла тень. Видно, мысли потянулись облачные.

— А о чем вы хотели говорить, Никита Иванович? — спросил Щипаков. Корабли ушли-растаяли, и ничего, кроме обыкновенных солнечных зайцев, не осталось на стене.

— Я хотел спросить тебя, Паша, кому вы собирались сбывать спирт и почему вы решили, что этих денег вам хватит на поездку?

— Почему же не хватит, если в школьные каникулы. Скидка же...— возразил Щипаков. Он даже пожал плечами, посмотрев Никите в глаза. Он не сразу сообразил, что значит заданный ему вопрос.

А когда сообразил, понял, уже — поздно.

Щипаков так испугался, как будто спирт был уже украден и зарыт. Ему даже в голову не пришло, что преступление-то еще не совершено, а стало быть, и отвечать не за что.

Понадобилось время, чтобы Пашка пришел в себя и мог членораздельно рассказать.

Денег, по их прикидке, должно было хватить на билеты с лихвой, потому что спирт они решили продавать не в первый день праздника, а в конце второго. Когда магазины закрываются, спирт задорого пойдет. Кроме того, имелась кое-какая договоренность...

— С кем?

Адресу Никита не удивился. Вернулся из мест заключения, под административным надзором сидит, а за подростков исподволь принимается. Не уследил — смотришь, а преступная группа — вот она! Сбиты. Из колоний ныне модно благостные документы писать. Перевоспитался и все такое прочее...

Разговор стоил Пашке недешево. На лбу у него и на верхней, детски нежной еще губе выступил пот. Платка носового у Пашки не оказалось — у мальчишек они вообще редко водятся,— Никита протянул ему свой.

— Утрись. Мокрый ты. А как же вы не подумали, что из-за вас сестра пойдет под суд?

— Зачем же она пойдет, если ее обворовали?

— Но ведь ключ-то вы собирались на место повесить, чтоб за вами не кинулись. Как же она докажет? А за расхищение социалистической собственности, как за кражу, срок полагается, Паша. Тюрьма.

Щипаков молчал, завороженно следя теперь за каждым словом Никиты, за каждым жестом. Пока они вели невеселую беседу, далеко уплыли его корабли. Солнечные зайцы и те покинули комнату.

— Вот так,— сказал Никита.— Значит, нескладно получается, если мечту с жизнью не соотносить. Ну ладно,— Никита посмотрел на часы.— Будем считать, что спирт остается на месте. С Валерой и Кусковым я еще поговорю, да и с тобой тоже. А сейчас у меня к тебе еще один вопрос. Последний. Барометр-компас вы в незаселенном доме держите?

— Да,— сказал Щипаков.— В подвале, налево.

— Когда ты шел...— У Никиты не повернулся язык сказать «на кражу». Он сказал:— Когда ты шел на террасу, ты специально за компасом шел? Откуда ты знал, что он висит на террасе?

— А там окна широко открываются. Я его еще в прошлом году часто с улицы видел. У них есть теннисный корт, они там играют. Мы с ребятами ходили смотреть. А подальше и пруд есть. Когда они в Москву уезжали, мы пускали модели-кораблики.

Раскрытие несовершенного преступления его потрясло. А о совершенной краже он говорил спокойно, словно бы так оно и должно было быть, ничего особенного не произошло, просто взял компас, который ему нужен в путешествии.

— Чтоб сегодня же был здесь этот компас! Не будет меня, передашь дежурному. У нас заявление о краже, ты соображаешь или нет? Павел, это же кража! Срок положен за нее. Что с матерью будет, ты соображаешь?

— Куда же мне теперь? — после долгого молчания спросил Щипаков. Он был бледен, выглядел очень уставшим, да и было от чего. Стоял покорно в старой, заштопанной, наглаженной матерью рубашке. У портфеля углы обтертые, рыжие. Самое время — в круиз!

— Домой иди. Я еще с тобой поговорю. Да не взду-

май пока матери рассказывать. Угробит ее это. Ты соображаешь?

Уже в дверях Щипаков обернулся. В маленьких глазках его царило теперь неприкрытое отчаянье.

— Я думал, они не схватятся. Они богатые, небось всюду ездят. На что им компас-барометр?

Проводив Щипакова, Никита сам почувствовал такую усталость, словно груз всех будущих лет сегодня лег ему на плечи. В прошлых недостало бы тяжести. Но о Щипакове и худенькой матери его, которую, кажется, все-таки миновала самая страшная беда, думать сейчас было некогда. День под гору, а дел невпроворот.

Едва Никита освободился, передали, что Тишков, инспектор угро, просил зайти — заявление о краже поступило. Опять в военном городке. «Похищены кольцо, серьги из туалетного столика, замки все целы...»

И Фузенков, человек обязательный, не ограничился личной беседой с Никитой. На запрос, посланный ему в свое время полковником Соколовым, ответил по всей форме телефонограммой: «Совершена кража. Следов взлома нет. В отдельной квартире похищена часть денег. Подозревают подростка-сына».

Никита решил, что перебьется без обеда — горкомовскую столовую, где все они кормились,— вот-вот закроют, скоро четыре.

Капитан Тишков был опытный оперативник, тоже в свое время работавший участковым. Тогда они еще назывались уполномоченными. Тишков окончил институт, отлично знал район, все контингенты населения. Не так давно ему предлагали перейти работать в управление, в Москву. Тишков отказался, и за это ему крепко досталось от жены.

Никите было приятно, что Тишков нередко советовался с ним, несмотря на разницу в образовании, опыте и количестве звездочек на погонах.

Когда Никита вошел, Тишков сидел, курил, торопливо затягиваясь. Воздух в комнате был еще пригоден для дыхания, и пепельница пуста.

— Устал, как собака,— сказал Тишков.— Голодный весь день, и сигарет не было. Садись.

Никита рассказал ему о встрече с мальчишкой в ДКМ у Фузенкова, о впечатлении своем. В глазах Тишкова появилась заинтересованность.

— В общем, я думаю, ты прав, Лобач,— сказал Тишков, докурив наконец сигарету, и с удовлетворением обновил окурком чистую пепельницу.— Я сегодня был в Новых домах. Картина та же. Взлома нет. Похищены деньги. Не все. В общем, одна рука. И опять сквозит твоя версия: деньги пропадают не все, потерпевшие подозревают близких, пока скандалят-выясняют, заявлений в милицию не подают, время уходит. Но в военном городке мы кое на что вышли...

Со своими соображениями по поводу ряда совершенных в районе краж Никита пришел к Тишкову месяца три тому назад.

Началось с того, что на его участке в трех семьях, где люди ранее жили дружно — в двух хорошо воспитывали подростков-детей, в третьей ребят не было,— в трех семьях вдруг начались скандалы. В одном случае ребенка побили. В другой семье встал вопрос о разводе. Не сразу, разумеется, но до Никиты дошло, что во всех трех случаях причина разлада — не полной суммой, частично пропавшие деньги. Во всех трех случаях заявлений не подавали, поскольку казалось неоспоримым, что деньги брал свой человек: замки целы и деньги взяты не все. Лежит, скажем, сотня или две — исчезают пятьдесят, восемьдесят, девяносто...

Никита сразу обратил особое внимание на эти кражи именно потому, что хорошо знал пострадавшие семьи. Не знай он ранее семей, мог бы не обратить внимания на внезапно возникшие скандалы. Ведь за пределы, как говорится, допуска они не выходили, никто никого не убивал, а мало ли почему могут скандалить люди...

Но Тишков сразу понял заинтересованность Никиты. И некоторое, пока еще туманное обобщение понял. И, подбирая аналогичные случаи, теперь опирался не только на поданные потерпевшими заявления, но и непременно выяснял у участковых — не замечались ли вдруг, неожиданно возникшие перемены в отношениях людей, в быту отдельных и коммунальных квартир. По его просьбе полковник Соколов обратился в соседние районы.

Между прочим, семь краж всплыли только при помощи этого метода.

— Ты знаешь, сколько уже эпизодов набралось? — сказал Тишков.— Только по нашему району одинна-

дцать. Случай у Фузенкова несомненно подходит. Будем считать — двенадцать. Из других районов еще сведений нет. Так вот, значит, в военном городке нам, кажется, что-то светит.

Перед кражей, точно не помнят, но меньше чем за неделю, в квартиру заходила девушка. Позвонила. Ей открыли. Спросила, не здесь ли живет учительница. Фамилия, имя-отчество учительницы правильные. Адрес девушке был указан. Однако в том же месяце в другом доме городка тоже побывала девушка. Тот же вопрос. Последующая кража.

— Та же девушка? — спросил Никита.

— Утверждать пока нельзя. Свидетель тоже ошибиться может. И все-таки вот сугубо ориентировочный, конечно, словесный портрет,— он протянул Никите листок. Никита поглядел, спрятал во внутренний карман.— Можно озадачить всех постовых, но зачем она пойдет к постовому? Надо с населением поговорить, разговор-то о кражах все равно идет. Надо бы актив привлечь. Но, конечно, со всей осторожностью. Чтоб ее не спугнуть. Если мы преступника насторожим и за пределы района выгоним, это не решение вопроса. У тебя на участке никто из мест заключения не возвращался?

— Женщин нет. Мужчина есть. Под административным надзором находится, и очень жаль, что под надзором, а не в колонии. Спирт у пацанов собирался покупать. Будет еще с ним мороки...

— Будет еще мороки,— согласился Тишков.— Но этим уже не тебе заниматься. А ты работай пока по этим кражам. Так вот. Что за девушка. Одна и та же? — пустил Тишков в воздух вопрос и за ним очередное дымное колечко.— Давай, Лобач, только осторожно. Не рыскай! Бессистемно не рыскай.

— Не буду. А по другим участкам какие преимущественно квартиры? — спросил Никита, пытаясь, как говорится, с ходу сузить круг расследования.

— Резонный вопрос. Квартиры малонаселенные. Одна, максимум две семьи.

Когда Никита вышел от Тишкова, время шло к пяти. По делам своего участка он сегодня принимать не предполагал, но его дожидались двое — куда денешься?

Один был председатель товарищеского суда с приглашением и личной просьбой непременно присутствовать

на заседании, где будет разбираться дело владельца собаки, проживающего там-то и там-то. Председатель, пожилой мужчина, обстоятельнейшим образом изложил давным-давно известную Никите историю вражды соседа по лестничной клетке с несчастным владельцем собаки.

Сосед без конца писал жалобы, требуя уничтожения собаки, как носителя всех видов заразы. Обладатель собаки терпеливо предъявлял справки ветлечебницы о том, что собака здорова. Случай этот относился к числу тех, когда Никита всерьез опасался потерять однажды самообладание и взгреть, как быть следует, жалобщика-соседа.

Председателю суда чрезвычайно нравилось произносить слово «суд» без определения «товарищеский». Никита смутно пообещал быть на суде, если служба не помешает.

Спровадил наконец председателя. Осталась печальной известности старуха. Старуха пришла за защитой. И чтоб участковый помог ей написать жалобу. Утесняют ее, соседи утесняют, совсем сживают со света. Но она этого так не оставит. Она тоже не лыком шита. Она найдет ходы и выходы.

Никита успокоил ее, записал адрес, обещал разобраться.

Преотлично он знал эту старуху и посочувствовал Федченко, к которому она, конечно, явится одной из первых. Перед прошлыми выборами, дня за четыре, старуха заявила, что ежели ей не побелят комнату, голосовать она не пойдет, потому что ремонт ей делать обязаны, она тоже не лыком шита, она найдет ходы и выходы, теперь не старые времена.

Когда и старуху удалось спровадить, постовой Пелипенко, приводивший в порядок какие-то записи в своей служебной книжке — в его присутствии шла беседа,— сказал индифферентно:

— Порошку им надо давать.

У каждого милиционера, выходящего на пост, должна быть служебная книжка. В нее заносится все, что сделано, что произошло за время нахождения на посту. По книжке участковый или какое другое начальство всегда может проверить постового.

В свое время была такая книжка и у Никиты. А теперь он вел блокнотик сам для себя и к концу дня про-

верял его непременно. Сегодня многое осталось без «птички». Вот и нового работника с такой самой книжкой не проверил. Завтра надо сделать это обязательно. (Для очистки совести слово «обязательно» подчеркнуто дважды.) Не в том даже дело, чтобы непременно поругать или похвалить, а в том, чтоб заметить. Чтоб человек с первых дней знал: за книжкой его следят, службой его интересуются, он не обсевок в поле, а солдат со своей задачей, своим оружием и маневром.

Значит, книжка и многое другое на завтра, а сейчас — поблагодарить судьбу за то, что пока нет происшествий,— и домой. Кончается время участкового инспектора, начинаются часы студента, вступает в строй свободно растущая — до вызова, который может последовать в любую минуту,— вольно мыслящая личность.

Дом теперь оставался запертым — топить не надо,— и, войдя, Никита первым делом распахивал окно, впуская в прохладную тишину комнат домашние звуки полусельской окраины и оглушающий к вечеру запах сирени. Сирень цвела в этом году небывало бурно.

Итак, распахнуть окно и — прежде всего — решительно отбросить от себя все, чем был наполнен день. Если не уметь переключаться, мало что усвоишь по теме судебной медицины, хотя, казалось бы, не такой уж далекий от работы его предмет.

И, конечно, капитальная зарядка именно во второй половине дня.

Никита разделся, вышел через заднее крылечко в сад. При маме здесь был еще огород, но теперь сорняки бушевали вольно. Черная смородина, которая ранее скромно обитала, ограниченная деревянными планками, пошла в наступление на бывшие грядки. Из культурных трав уцелела, размножилась самосевом, никому не поддалась только бораго — огуречная трава. Ее еще римляне употребляли для бодрости.

Солнце пока светило и грело. Ласточки лепили под крышей новое гнездо, видно старое прохудилось. Никиты они не боялись, хотя он и прыгал, и бегал, и руками махал. Привыкли. Вот если б он сюда от случая к случаю, тогда — другое дело.

Не ахти какой загар в такие часы, но все же немножко потемнеешь. Летом неприятно выглядит белая кожа.

Никите вспомнилась девчонка в ДКМ у Фузенкова.

Какая там может быть у нее пробивная сила? И за версту было видно, что мальчишка не врет. Матери он ответил здорово.

После зарядки душ в самодельной кабине, тут же в лопухах. Нельзя сказать, чтоб температура воды была комнатной, но оно и лучше. Растираясь досуха, Никита услышал из-за забора голосок соседского Петьки. Забор для десятилетнего Петьки был высоковат, но он не погнушался, вывертел все сучки и получил прекрасный обзор.

— Товарищ инспектор! Товарищ старший лейтенант! — подобострастно взывал Петька. Цену звездочкам он отлично знал и ошибался из чистого подхалимажа.

— Что тебе, горе мое? — по Ильфу и Петрову отвечал Никита.

— А Фралинины опять шесть кил песку в магазине покупали. Варенье не с чего варить. Самогон гнать будут.

— Бремя доказательности лежит на авторе версии. Не повторяй чужих слов, не болтай на людей, — стоя спиной к забору, сказал Никита. Не оборачиваться же на дырку от сучка.

Экое счастье, что Петька и его склочники-родители — на другом участке. Это похуже старухи, которая ходы и выходы знает. Высказывают при мальчишке всякую пакость, мальчишка доносчиком растет. А попробуй поговорить по душам с такими родителями, тебя же и обвиноватят, скажут, ты — милиция, должен прислушиваться к сигналам масс.

Петька подпортил настроение. Чтоб не утерять окончательно радости от солнца и воздуха, Никита спасся бегством в дом.

На крыльце его ждало козье молоко в крынке и в поллитровой банке с пластмассовой крышкой козий же творог. Коза, доставлявшая эти блага, была коварна. Никита побаивался ее после того, как она однажды принародно наподдала его сзади. Пустяк дело, а у ребят вполне можно авторитет потерять. Соседский Петька, конечно, при сем присутствовал и хохотал громче и дольше всех.

...Впереди — свободный для занятий вечер. Дом на противоположной стороне улицы оранжевый от солнца,

а в комнате Никиты — голубоватые сумерки, еще полчаса, и уместно будет зажечь настольную лампу. Придется закрыть окно, чтоб не налетела армада толстомясых ночных бабочек. Начинаются тихие, полные значения часы.

Многие считают важными вехами в жизни только мгновенья особо активного действия, видимые поступки. А что, если самое важное происходит в человеке, когда на него сиюминутно не действуют внешние обстоятельства, когда как бы предоставленный самому себе человек может с пристрастием допросить свои мысли и чувства, оценить прошедшее. Задуматься о будущем.

Для Никиты это были драгоценные часы внутренней тишины, кратковременной полной оторванности от мира, когда он старался рассмотреть и оценить свои поступки и чаяния, как смотрит на Землю из космоса космонавт.

Впрочем, определение «часы тишины» неверно. Иногда они бывали весьма бурными, приносили неожиданные открытия в познании мира и себя. Случались и разочарования.

Только почувствуешь себя первооткрывателем, а тут и наткнешься на четко сформулированное собственное «открытие» в какой-нибудь книге издательства «Знание» или «Мысль».

Только в первый раз Никита огорчился такому совпадению. Что с того, что человечество прошло путь от неолита до выхода в космос? Каждый ребенок все равно учится ходить. Не изобретать деревянных велосипедов, но и не пользоваться готовой мыслью. Чужие взгляды могут быть подобны чужим очкам. Не торопись перенимать привычку. Не всякая привычка — убеждение, свое убеждение надо вырабатывать. Взятое напрокат, оно может оказаться не по росту.

В такие часы Никита осмелился однажды усомниться в привычной формуле — «делать жизнь с кого». Показалось ему, что не столь уж всеохватна во времени эта формула. Если верно, что бытие определяет сознание, то как же можно делать жизнь с человека, жившего в другое время, в другом бытии?

А времена, ах как быстро меняются времена!

Взять того же Пашку Щипакова. Отца нет, мать занята с утра до вечера. Едва ли можно считать мальчиш-

ку присмотренным. Была беспризорщина и во времена Феликса Дзержинского, но тогда ребят на улицу, на кражу гнал голод.

В прямом смысле слова Пашка не голоден. Но перед глазами беспризорников прошлого не было дач, от которых болит голова у полковника Соколова. То есть, может быть, они и были, но заборы стояли высокие, компас-барометр разглядеть было нельзя.

Сам факт, что дач становится больше, хорош? Хорош. Что заборы не глухие, а штакетник — хорошо? Уже неизвестно. Что Пашка ходит в «их» поселок, на «их» теннисные корты только посмотреть, что велик разрыв между «ними» и его матерью — хорошо? Плохо. Плохо потому, что истину нашего времени — от каждого по способностям, каждому по труду (не по желаниям, а именно по труду), далеко не все понимают, а мы подчас стесняемся почему-то о ней напоминать.

Принято думать, всем эта истина ясна. Так ничего же подобного! Ее надо разъяснять да втолковывать, как и Уголовный кодекс.

«Вставали подобные вопросы, к примеру, перед Павлом Корчагиным или даже Николаем Островским? Нет, совсем другие вопросы перед ними вставали. Так как же мне с них жизнь делать? Этак можно делать жизнь и с Джордано Бруно.

Хорошо делать жизнь с того, кто живет со мной в одном времени. Чтобы он впереди, но мне его видно, я могу его рассмотреть».

Зелененькое насекомое прилетело и ударилось о толстый учебник криминалистики. Наверно, комарик крепко ударился. Лапки его были так тонки, что не разглядеть их на сером картоне. Такие же и крылышки, а тельце-фюзеляж сияюще-изумрудного цвета. Комарик свалился набок, поник печально. Никите не хотелось его давить, пачкать обложку «Криминалистики». Он осторожно поддел комарика носиком шариковой ручки. А комарик вдруг подхватился и полетел как ни в чем не бывало.

Толстая «Криминалистика» по программе, строго говоря, не требовалась, но однажды, полистав у Вадима эту книгу, Никита увлекся, выпросил у брата, и с тех пор «Криминалистика» жила у него.

Наверно, о каждом деле можно написать поэтично, так написать, чтоб потянуло тебя к этому делу. О геоло-

гии так писал Ферсман. Не только «Рассказы о камне», но просто учебник.

И как интересно бывает получить в таком учебнике сведения, потребные в каждодневной твоей практике. Взять хотя бы вопрос о свидетелях.

Вот размышляли они сегодня с Тишковым, какова из себя девушка, заходившая в две квартиры, что говорят свидетели, как составить словесный портрет.

Одна старуха, например, утверждала, что девушка очень тихо говорит. А на поверку выяснилось — старуха глуховата. Кому каким кажется цвет глаз, волос. Старый и молодой человек обязательно по-разному определяют возраст. Как может влиять на впечатление скудный свет на лестничной клетке...

Никита конспектировал, наверно, часа два, рука у него мучительно замлела. Всегда он удивлялся, как это у Вадима и вообще у следователей хватает сил часами писать протокол допроса. Да ведь не просто ручкой водить, что само по себе утомительно. Каждую формулировку взвесь, да и реакцию допрашиваемого ни на секунду не упускай из виду. Теперь хоть, слава богу, чаще стали магнитофон применять.

В комнате стемнело, хотя за окном еще голубой вечер, небо светло и просторно, ни одна звезда не зажглась. Никита щелкнул выключателем настольной лампы. Теплый свет широким полукругом лег на тетрадь, на раскрытую книгу, не прочитанные еще толком газеты. На большие статьи ни утром, ни днем не хватало времени.

Очень неожиданно прозвучал звонок. «Неужели происшествие?» Никита быстро прошел к двери, открыть не успел, услышал гулкий шепот:

— Ты, пожравший мясо предков, дикий, желтый невежа, почему не звонишь нашим?

— Ты очень распустилась, Марина! — строго сказал Никита, открывая дверь.

— Ослепительный прислал меня, крошечную и маленькую, к тебе, великому шаману.— Марина скромненько протянула Никите бумажку, сложенную фронтовым уголком.

— Ну, это еще более-менее подходяще. «Батыя» и «Чингисхана» изрядно цитируешь. А в общем засоряешь себе мозги зряшной информацией.— Никита взял письмо.— Что это отцу за спешка?

— А это от мамы.— Марина вынула из сумки целлофановый мешок и, распустив ему горло, поднесла к носу Никиты. Пакет изнутри запотел. Пирожки были еще теплые.

— С капустой? — спросил Никита, потянув носом. Марина закивала. Она знала, дядя Кит любил с капустой.

«Зашел бы, братику,— писал Вадим.— Или коль до угро возвысился, так со следователем и не скинешься?»

— Заводила,— сказал Никита.— Позвоню сейчас, да чай станем пить. Или молоко?

— Не звони. Папа ночь не ночевал, сейчас спать лег. Знаешь, Кит, они с мамой собираются вместе в отпуск. Это ж с ума сойти, что за работа! — вдруг заговорила Маришка совершенно материнским говором. У них с Галей были схожие голоса. По телефону их нередко путали.— Это ж с ума сойти, за девять лет ни разу не провели вместе отпуск! Какая семья устоит?

— Трепачка! Не боишься, влетит за треп?

Они сидели на кухне за круглым столом и пили чай с козьим молоком и пирожками. Все было почти как в детстве. Только не было Маринкиной бабушки. Впрочем, Маринка плохо помнила бабушку, ей было три года, когда Алевтина Павловна умерла, в три года многого не упомнишь. Маринке Никита был за бабушку.

— Кит, а ты помнишь, как я Мишке уколы делала и как мне от мамы попало? — вспомнила Марина.

Никита покивал, улыбаясь. Все были очень заняты, даже Маринка. Им не часто доводилось вот так, уютно, чаевничать вдвоем. Но уж если — то оба, не сговариваясь, любили вспоминать детские годы, Маришкины игры...

Маринка всегда с великим уважением относилась к медицине, лечила своих кукол и зверей и счастлива была непомерно, получив от матери в подарок старый шприц. Вскоре в доме возникло нестерпимое зловоние, и все с ног сбились, ища причину. Не вдруг догадались, что всякий раз, как в доме мыли мясо, Маринка делала переливание крови своему медведю в опилочное брюхо, и загнил он, бедняга, безвозвратно.

За окном чуть покачивалась черная на синем небе молодая березка, посаженная Никитой после возвращения его с действительной. Березка крепко взялась уже,

в самые жаркие дни обходилась без полива. Маринка исправно уплетала пирожки, скуластенькое личико ее выражало полный покой и довольство. Она покосилась на маленькую зеленую гусеницу, невесть откуда взявшуюся на ее немного загорелом уже плечике, переложила пирожок в левую руку, а правой взяла гусеницу и выбросила в окно. Маринка не боялась ни гусениц, ни мышей. Детские игры ее были населены воображаемыми животными. Под столом стояло блюдечко с водой для тигра, в старой птичьей клетке жил лев.

— А помнишь, как ты не велел мне покупать слона, потому что даже воображаемый слон займет много места? — вспомнила Марина, разделавшись с гусеницей.

В тишине резко прозвонил телефон, Никита даже поморщился — не часто приходилось им сидеть не торопясь, вдвоем, не хотелось возвращаться из мира Маринкиных игр.

— Кто говорит? — с раздражением, почти грубо переспросил он, когда незнакомый женский голос назвал его по званию.

— Не забудьте, вы обещали показать мне ваших выдающихся собак. Ну и попутно, не нашелся ли уже наш компас-барометр, дорогой Холмс, Пуаре, Мегрэ? Кто вам больше нравится?

Никита так растерялся, разобравшись наконец, кто говорит, что не нашел ничего уместней, как спросить, откуда она знает его домашний телефон.

Регина рассмеялась.

— Ну, мой молодой друг, вы еще не настолько большая птица, чтоб позывные ваши были засекречены. Узнала без особого труда. Не забывайте, журналисты — народ дотошный.

— А компас ваш найден и в ближайшие дни будет возвращен, как положено,— не без гордости сообщил Никита.

Зачем ей знать, что не потребовало больших усилий раскрытие этой кражи.

— Ну да?!

Возглас прозвучал несколько по-базарному. Так же вскрикнула она, узнав, что участковый понимает по-английски.

Но она, видимо, сама знала за собой эти режущие слух ноты и тотчас вернулась к речи плавной, несколько замедленной. Голос ее звучал сейчас искренне-задушевно.

— Никита,— сказала она.— Вы молодец, но давайте договоримся: сначала собаки, потом торжественное вручение похищенного. Честное слово, я думаю, что мама недельку-другую без компаса проживет. У нас на всей даче замки, по вашей рекомендации, меняют.

— Я не советовал на всей даче,— машинально возразил удивленный Никита. Что за странный народ! То шофера с тремя заявлениями гонят, то и компас не нужен... Может, это все от старухи...

Слушая ее болтовню, он глядел на черную березу поверх головы Маринки, которая стояла рядом с ним и не спускала с него глаз. Ей слышно было, что говорит и смеется женщина.

— Значит, договорились, сначала собачки. Спокойной ночи, Холмс!

— Спокойной ночи,— повторил Никита.

Чем-то неприятен был ему этот назойливый звонок, а чем-то и льстил. Ему виделась сейчас не Регина, а портреты ее на стенах дачи. Ничего себе — дача! В Москве не у каждого номенклатурного такая квартира.

Ему вспомнились канделябры и подсвечники. Такое теперь поветрие на эти подсвечники пошло, что в нужник, наверно, и то при свечах ходят. При электричестве не модно.

Но неужели она все-таки напишет об их рабочих собачках? Ну, да как полковник Соколов говорил, риску-то нет...

— Кит, кто это?

Никита рассказал Маринке все, как есть, и даже с подробностями.

— А почему ты весь изменился? — печально и требовательно допытывалась Маринка.

Никита посмотрел на часы.

— Давай я провожу тебя, Маринка,— сказал он.— Поздно уже. Я тебя до автобуса провожу. И позвоню маме, чтобы встретила.

Маринка, ничего не сказав, покорно оделась. Даже не предложила, как обычно, помыть посуду.

Что-то испортил, что-то очень испортил этот звонок.

Внутренне поеживаясь от чувства непонятной вины и неловкости, Никита подумал, что надо скорей показать этой даме собак, а компас поскорее вернуть, и будь они неладны, эти дачники.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Дельце было еще тоненькое, хлипкое, тощая бумажная папочка даже без скоросшивателя. Никак не похоже, что в иных случаях из такой папочки могут вылупиться толстые тома, на чьих страницах пересекутся судьбы десятков людей, останутся их, пришитые к бумаге, слова, а то и портреты, снимки казенных помещений и сараев, панорамные фото, случатся и окурки в конвертах — вещественные доказательства,— авиабилеты, схемы маршрутов...

Их бывает и два, и три, а иногда и двадцать томов, если дело многоэпизодное — такие, как правило, проходят по ОБХСС,— в нем замешано много людей.

В конце каждого дела будет выжимка из него, не длинный документ, впитавший в себя многомесячный подчас труд следователя, оперативных работников, экспертов — обвинительное заключение. Тома пойдут в суд, снова и снова будет проверяться каждый факт, оценка факта, взаимосвязанность его с другими событиями и вывод, сделанный следователем из цепи этих событий.

Если в приговоре будет записано «Преступление по такой-то статье квалифицировано правильно»,— значит, следователь справился, отлично провел предварительное расследование. Ну, а если вернут на доследование — это уже брак в работе, пятнышко на репутации.

На памяти Вадима третий следственный таких возвратов пока не имел.

Вечерело. Вадим и Корнеев сидели в чистеньком номере гостиницы, которая, кажется, не имела названия в этом подмосковном городе,— пусть невелик, а городком не назовешь, больно древняя и приметная история. Ресторан при гостинице назывался «Колос». Их номер помещался над рестораном, но дом был старый, надежный, купеческой кладки, звуки не проникали ниоткуда, а стало быть, и не доносились никуда.

Вадим еще раз проглядел первый в папочке документ

на листке из общей тетради: «Начальнику... Подполковнику... Рапорт. Докладываю, что такого-то мая 19.. года в 20 часов неизвестный преступник, угрожая оружием, совершил ограбление квартиры священника местной Лавры. Квартира расположена на площади Революции города Колосовск. Дежурный... капитан милиции... Число».

Есть протокол осмотра места происшествия на бланке. «В процессе осмотра места происшествия производилось фотографирование помещения с прилегающей к дому местности. Изъят слепок протектора автомашины, изготовленный с помощью...»

Фото эти лежат сейчас на столе перед Вадимом и Корнеевым. Вот еще снимки. Общий вид площади, что за окном. На снимке идут по ней какие-то девочки. Вид из окна, вход в сад, в глубине которого стоит дом. Труп убитой преступником или преступниками собаки.

Именно так сидели женщины — старуха, сестра священника, и не старая еще, во всяком случае в перманенте, их услужающая, теперь они уже именуются свидетелями,— так они сидели, когда к ним вошел преступник.

На снимке у обеих — как обычно на подобных снимках — какие-то оглушенные, недоумевающие лица, глаза покорно и прямо устремлены в объектив.

Ну и, наконец, последний документ, от которого — увы! — никуда не уйдешь. На хорошей бумаге по всей форме постановление: «Принять дело к своему производству и приступить к предварительному следствию... Копия постановления — прокурору Московской области.

Следователь Лобачев дело к производству принял...»

Вадим вздохнул, быстрыми затяжками добил сигарету и поискал, куда бы ее воткнуть. Корнеев взял похожую на дикобраза пепельницу, вытряхнул в корзину для бумаг.

— Говорят, в западных гостиницах столов нет. Хороши б мы с тобой были,— сказал он.

— На обеденном бы управились. Прямо не знаю, как Гале сказать.

— Как семь лет говорил, так и сейчас скажи,— рассеянно посоветовал Корнеев, рассматривая свои схемки.

Корнееву — что. Он холостяк. Его пилить некому. Впрочем, Галя не будет пилить. Она смолчит-стерпит.

Но лучше бы уж пилила. С Маринкой на лето все тоже придется переиграть. Надо, чтоб они вдвоем поехали, но в санаторий Маринку не пустят, а в какой-нибудь туристский лагерь сумеет ли он срочно путевки достать? Это ведь только в кино следователи и инспектора угро роскошно разъезжают в прикрепленных к ним машинах, девиц подвозят и в быту у них все образуется посредством волшебства. Плохо, если не достанет он путевок. Да и когда теперь этим заниматься?

— А мне, между прочим, тоже мечталось летом в отпуск,— сказал Корнеев, отрываясь от своей довольно-таки красиво, с разноцветными пунктирчиками — а где и сплошняком,— вычерченной схемы возможных путей отхода преступника. Корнеев любую схему умел сразу начисто изготовить, хоть в дело подшивай. Недавно они — тоже вместе — закончили расследование дела по угону машин, так корнеевскими схемами даже на Огарева любовались.

Сейчас Корнеев прикидывал эти самые возможные пути отхода, опираясь на те, пока небольшие, но все же данные, какие удалось получить на допросах первых свидетелей Лобачеву и какие добыл он сам по своим оперативным каналам.

Уже второй день они сидели в Колосовске. Итак, коротко — с чего же началось. Вадим собирался в тюрьму допрашивать Карунного. Расколовшийся в первую же их встречу, оглушенный результатами обыска и заключениями экспертов, Карунный ни от чего не отказывался, а поскольку сообщников у него не было,— если не считать жены,— то и расследование шло без особых задержек, дело катилось к завершению, и Вадим твердо рассчитывал на летний отпуск.

Однако в тюрьму на сей раз он не попал. Срочно вызвали к Чельцову. Там уже были Бабаян и Новинский. Значит, что-то новое.

Чельцов сказал: «Вот ознакомьтесь» — и протянул пространную бумагу со штампом, впервые попавшим Вадиму на глаза, письмо поступило из Совета по делам религии. Речь в письме шла об ограблении квартиры священника в Колосовске.

В письме излагались обстоятельства ограбления так, как их обычно излагают непричастные к юридическим делам люди, а именно ничего путного для следствия в

этой части письма нельзя было почерпнуть. Интереснее была вторая половина письма, где говорилось о похищенном. Не деньги, не вещи — грабители взяли икону и картину, представлявшие, судя по письму, огромную ценность.

За последние годы, с тех пор как возник интерес к древнерусскому искусству, а следовательно, и интерес к иконам, в Московской и ряде северных областей всплыли дела по ограблению церквей. Но церквей, а не квартир священнослужителей.

Конечно, разные бывают священники. Надо думать, здесь чин ограблен немалый, коли имел в квартире такие ценности. А деньги он не дурак дома держать...

— Ну как? — спросил Чельцов, когда Вадим положил на стол бумагу.

— Икона и картины действительно представляют собой ценность?

— Да. Говорят, такие со специальной охраной перевозят. Ты по этому самому древнему ничего не знаешь?

— Нет,— с облегчением ответил Вадим.

Любопытно... Еще лет десять — пятнадцать тому назад такой вопрос прозвучал бы насмешкой, а теперь какими только учебниками не вынужден обкладываться по ходу возможных дел следователь!

Вадим покосился на часы. Он все еще надеялся успеть в тюрьму.

— Вам не ясно, почему мы так озабочены этим письмом? — спросил Новинский, заметив нетерпение Лобачева. Бабаян молчит, только пальцами по столу постукивает. Очевидно, был уже у начальства не короткий разговор.

— Мы озабочены потому, что это, по-видимому, не обычное ограбление,— продолжал Новинский, не ожидая от Вадима ответа.— Заметьте, по двум ограблениям церквей мы писем таких не имели, хотя, казалось бы, логичнее было больше тревожиться о церквах. Но есть еще обстоятельство. Вы не слишком внимательно читали письмо, а и там есть ядовитый намек, что, дескать, милиция не особо ретиво защищает церковное имущество от бандитов, что одно ограбление до сих пор не раскрыто. А верующие, на чьи средства существуют храмы, советские граждане. Вам ясна подоплека?

— Теперь ясна.

— Поезжайте немедленно,— тихо, как всегда говорил, сказал Чельцов.— Похищенное необходимо вернуть в кратчайший срок. Подумайте и об ограблении церкви в Нелидове. Нельзя ли примерить. На всякий случай берите опергруппу. Ограбление произошло вчера, как видите, с письмом не задержались, с нарочным отправили. Осмотритесь и доложите.

Лобачев вопросительно поглядел на Бабаяна.

— Карунный подождет,— сказал Бабаян.

Садясь в оперативную машину, Вадим все еще не думал, что дело придется вести ему, и размышлял о происшествии с полной объективностью незаинтересованного человека.

Машина, часто поревывая сиреной, летела в Колосовск. Эксперт Николай Васильевич, толстенький и лысый, то и дело вытирал платком шею, в машине было душновато. Проводник СРС, что в переводе на русский означало служебно-розыскную собаку, Женя Борисов, сидел на самом краю скамьи, где больше трясло, пристроив между колен своего Акбара. Акбару тоже было душновато, он вывесил длинный мягкий язык и хакал, но не суетился, не мешал никому, умнейший, заслуженный пес.

И не в первый раз Вадим подумал, что всегда стеснительно ведут себя — а наверно, и чувствуют — в оперативной машине проводники с собаками, и как же это несправедливо по отношению к проводнику, чей труд нелегок и необходим, и к собакам, которые понимают все, что от них требуется, но не знают того, что в известных обстоятельствах заменить их никто и ничто не может. Не только в розыскном деле, но и на той же границе.

Вадим решил во что бы то ни стало на обратном пути как-то приветить добрым словом отличного парня Женю Борисова и его Акбара. Но после разговора с Москвой обратно он с ними уже не поехал.

Второй день они с Корнеевым в Колосовске. В чем же, как принято формулировать, событие преступления?

В восемь часов вечера в квартиру священника, открыв дверь ключом, вошел высокий молодой человек с бородкой. Доселе никто в доме его никогда не видал. Очевидно, он знал расположение комнат, потому что сразу прошел через сенцы и две проходные в последнюю,

где стоял киот и где обычно сидела у окна в большом кресле своем старуха, сестра хозяина дома. Окно выходило на площадь. Со старухой в комнате находилась ее услужающая, говоря по-современному, домработница.

Молодой человек пригрозил женщинам пистолетом, не раздумывая, прошел к киоту, так же не раздумывая, вынул икону — ту самую. Положил икону в спортивную сумку и — ушел.

По-видимому, преступник был точно осведомлен, что хозяина дома в этот час не будет, хотя обычно старик священник по вечерам бывал дома. Так же точно, по-видимому, было преступнику известно местоположение иконы и картины. Киот большой, икон много, однако, кроме похищенной, весьма небольшой по размеру, не взята ни одна. На стенах комнаты, откуда похищена картина, остались еще три полотна. Проведено ограбление дерзко, точно, в гангстерских традициях.

Как теперь уже выяснено, стоимость иконы и картины, вместе взятых,— сумма огромная. По Уголовному кодексу РСФСР получается хищение государственного имущества в особо крупных размерах. От восьми лет до вышки. Но это государственного...

Однако ж понятия «государственное» и «частное» в этом деле оказались, если не формально, то по существу, почти однозначными.

Когда машина с опергруппой пришла в Колосовск, старик священник был дома. Впоследствии выяснилось, что он вообще в редчайшие дни дома не бывал. Естественно, Вадим заранее озаботился узнать его имя-отчество (не называть же «батюшкой» или «святым отцом»!). Звали его Николай Евлампиевич Вознесенский. Фамилия староцерковная, отчество, очевидно, тоже. Во всяком случае, ранее Вадиму с таким встречаться не приходилось. Разве что в святцах уцелели такие имена — Евлампий, Павсикахий, Анемподист...

Подъезжая к дому потерпевшего, Вадим по первому своему из письма впечатлению был готов увидеть добротный, типа современной модерновой дачи, особняк, с надежным забором и не менее надежным цепником типа кавказской овчарки, которая неизвестно почему чуть ли не среди белого дня — ведь в восемь еще светло — позволила себя без всякого шума убить.

Забор оказался глухой, но старый, кое-где похилившийся и столь невысокий, что мало-мальски тренированный парень мог запросто подтянуться и через него перемахнуть, не беспокоя калитку. Да и калитка, очевидно, с давних пор не запиралась.

А собака? Собака лежала на боку. Над ней уже кружились мухи, но она не выглядела безобразно, потому что была очень худа. Ей проломили голову чем-то тяжелым. Надо думать — сразу, потому что шерсть ее не запачкалась ни землей, ни песком, которым была посыпана дорожка к дому. Почему-то она не сопротивлялась.

Вадим задержался около собаки. Ему хотелось проверить себя, и он спросил Женю Борисова:

— Ну что ты насчет собаки?

Женя Борисов сказал, с участием и уважением глядя на собачьи останки:

— Очень старая, Вадим Иванович. Посмотрите, морда совсем белая, ресницы и те седые. По-нашему, крепко за шестьдесят. Счет у нас один к семи. Вполне могло быть, что и глухая. Они, бывает, тоже к старости глохнут. В общем, никакая не защита. Одно слово — пенсионер. Вы спросите там, сколько ей было.

«На собаку не надеялись, на калитку-забор не надеялись. На что же надеялись? Может быть, просто не боялись?»

Так подумал Вадим, когда, оставив позади собачий труп, Женю с Акбаром и Николая Васильевича, он подошел к дому и на минуту задержался, оглядывая его. Это отнюдь не был добротный особняк, резиденция богатого церковного деятеля, который ожидал увидеть Вадим. Это был старый-престарый бревенчатый дом. Наверно, когда-то, много десятков лет назад, он считался большим и красивым на площади, имел вид. Сейчас дом похилился, как и забор, окружавший участок. Другие строения все же, видно, не раз омолаживались, и обшивались, и красились. Как могли подстраивались к недавно выросшим молодым домам. Этот старик без прикрас, не скрывал своей ветхости, готовый к сносу, как к смерти.

На крыльце Вадиму пришлось перешагнуть через прогнившую, углом обломившуюся вниз половицу. Не пахло здесь ни богатством, ни частыми посетителями, И молодых рук, как видно, в доме нет.

В дверях Вадима встретил старик, правильнее было бы сказать — старичок, так он был невелик и сух, с редкими длинными седыми волосами, с поредевшей, тоже седой бородой, в темном одеянии, которое Вадим окрестил про себя рясой. (Позднее, читая книгу о знаменитом художнике, чье полотно было похищено из этого бедного дома, он узнал, что эта одежда, так сказать, домашняя одежда священников, называется «подрясник».)

Вадим решил, что это кто-либо из прислуги, и, показывая раскрытым свое удостоверение, сказал:

— Я следователь. Я хотел бы поговорить с самим священником Вознесенским.

— Я священник Вознесенский,— ответил старик, глядя на Вадима выцветшими, некогда голубыми глазами.— Меня зовут Николаем Евлампиевичем. Проходите, пожалуйста.

В минуту первой этой встречи они, кажется, поняли друг друга. Да, не «батюшка», не «отец», но и «товарищ» не подходит. Старик — молодец. Мгновенно и деликатно ликвидировал могущую возникнуть неловкость.

— Вы извините, я — вперед, укажу вам дорогу,— сказал Вознесенский.— Мы теперь только наверху, в теплой половине живем, внизу полы надо перестилать. Так что обойти придется...

Голос у него был неожиданный для старого хилого тела, звучный, хорошо поставленный. Чувствовалось, что некогда голос этот мог заполнить собой церковь. Он сохранился, уцелел, избежал старости. Так у кадровых военных в неуловимом чем-то сохраняется строевая выправка.

— Вы... служите еще, Николай Евлампиевич? — спросил Вадим, шагая за стариком по длинным полутемным сенцам. Он помедлил несколько, не зная, правильно ли выбрал глагол «служить», но оказалось — правильно.

— Теперь уже редко. Служу, только если подменить кого из молодых приходится,— ответил Вознесенский.

Вадима позабавил его ответ. Совершенно так же мог сказать старый врач или токарь — «подменить», «из молодых».

— А так-то я безвыходно дома. С сестрой мы тут...

Сенцы наконец кончились, они поднялись по лесенке

и вошли в комнату, небольшую, невысокую. Из нее виднелась дверь в следующую, и там слышались женские голоса, примолкшие, едва вошли Вадим и хозяин.

Да, пройти по этим сенцам, по лестнице, найти дорогу в жилые комнаты человеку, незнакомому с домом, нечего и думать.

— Николай Евлампиевич, я хотел бы посмотреть, где висели похищенные вещи,— сказал Вадим.

— Да, конечно,— печально отозвался старик. И вдруг у него вырвалось затаенное, о чем он, очевидно, только и думал после происшествия.— Это бог меня наказал! Нельзя было мне, старому, только для себя хранить такие сокровища. О боге надо было думать, а я свой дух услаждал...

Тоска и покорная искренняя вера звучали в его голосе, отражались в бесцветных глазах. А вообще-то ничего не было в нем от святости, от какого-то людьми придуманного ритуала, кроме одежды. Обыкновенный был старичок-лесовичок. Таких трое сидят на картине Нестерова «Лисичка». Даже не картину — репродукцию с нее однажды увидел в книжке маленький Вадим, но запомнилась она ему на всю жизнь. Сидят три старика, называются «пустынники». И так они сродни лесу и небу, что к ним выбежала лисичка и рассматривает безбоязненно. И они улыбаются, тоже смотрят.

— Николай Евлампиевич, давайте сядем поговорим,— насколько мог мягко предложил Вадим. Они сели у овального столика, накрытого самодельной, простенько подрубленной мережкой холстяной скатеркой. Вадим вспомнил мать. Она, бывало, так подрубала салфеточки, скатерки, занавески. У Никиты в доме они и посейчас сохранились. В новых квартирах таких не найдешь, считается, что мещанство.

— Почему вы так себя укоряете? — спросил Вадим.— Это мы себя должны...

— А потому укоряю, сын мой,— с внезапной силой, как видно искренне забыв, кому отвечает, перебил Вадима Вознесенский,— потому я себя корю, что давно надо было, как и завещал, отдать. Да очень уж трудно было мне с образом расстаться. От прадеда, деда и отца моего он ко мне перешел. Детей нам с покойной матушкой бог не дал, вот я и завещал образ. Так же и полотно незабвенного друга моего, покойного Василия Панкрато-

вича. Не дело было одному мне этим творениям радоваться...

— Простите, Николай Евлампиевич, кому же завещали вы?

— Образ — храму нашему завещал, а Василия Панкратовича полотно — галерее, государству. А вот до смерти все при себе держал, расстаться все не мог. Думал, вот-вот, не сегодня-завтра, отдам богу душу, да видите — пережил! На горе свое, на нещадное раскаянье — пережил!

Об иконе, о картине похищенных он говорил как о погибших, в чьей гибели виноват.

«Икону храму нашему завещал»,— повторил про себя Вадим. Ну вот и причина столь быстрой реакции церковного начальства. В сущности, хлопочут они о своем, о кровном, о церковном имуществе.

— Известно было о завещании вашим наследникам? — спросил Вадим.

— Конечно. И в храме у нас все знали. И в галерее.

«Галерея почему-то не потревожилась. Поспокойней народ, что ли? А может, не знают, что картину увели?»

Вадим мельком окинул взглядом комнату. На стенах висело несколько пейзажей или натюрмортов — он не знал, как это называется. Ну, березки, трава — это точно пейзаж. А вот стена, кусок даже стены церкви — в верхнем углу виден купол башни с крестом,— это тоже пейзаж?

— Скажите, а это картины вашего друга? — спросил Вадим.

— Это? — переспросил Вознесенский и впервые за весь их разговор улыбнулся.— Ну что вы! Это мои наброски.

«Ну ладно,— подумал несколько уязвленный его улыбкой Вадим.— Пусть я не все понимаю, но это все-таки настоящая живопись».

Он так и сказал, забыв на мгновенье о цели своего приезда сюда и о быстротекущем времени. И спросил:

— А почему вы, Николай Евлампиевич, не занялись живописью всерьез?

Надо сказать, до сего мгновенья покорно-умиротворенной выглядела по-старинному наивная скатерка, про-

стая железная кровать с никелированными шариками, которые давно облезли и ничего теперь не отражали. На кровати этой, очевидно, священник и спал, вон стоят его войлочные шлепанцы. Но тревожное дуновение прошло по комнате, едва коснулась речь пейзажей на стене. В потухших глазах старика вспыхнул огонь, и стало видно, что некогда горел он в этом человеке ярким пламенем. Но свет вспыхнул и — угас.

— Я не должен был, не мог посвятить себя мирскому делу,— ровным уже, безогневым голосом проговорил Вознесенский.— Отец мой и дед были духовными лицами. Я говорил уже вам, образ этот еще прадед оставил нашей семье... У нас принято было сыну наследовать отцовский сан и приход.

Мысли Вознесенского неминуемо возвращались к иконе и картине. Ясное дело — ценность похищенного определялась для потерпевшего отнюдь не в рублях.

Вадим беседовал со стариком, выясняя нужные ему подробности распорядка в доме, а подспудно думалось: «А что, коли погиб в тебе художник не меньший, чем твой прославленный, давно умерший друг, хотя, может быть, и безграмотно так предполагать. Его имя всему миру известно, и в музее отведен ему зал. Вот когда ни Вадима — да что там Вадима! — революции еще не было, подружились вы, и он, вольный, светский, как тогда говорилось, человек, уговаривал тебя растить талант, не ломать своей судьбы. А ты не мог. Ты из духовной семьи. У вас, значит, по наследству. И ты задушил в себе художника. А до конца-то и не смог!

Потому и вспыхнули твои поблекшие глаза, потому и горюешь ты непомерно. Не ценности у тебя украли. Слово «ценность» в прямом смысле давно для тебя умерло, если когда-нибудь и существовало. Кусок душевной плоти твоей из тебя вырвали... А это хоть и на краю смерти — все равно больно».

Окна были закрыты, но звук колоколов недальней Лавры легко проник в дом. Вадим подумал, что так же легко проникает сюда зимний ветер. Поди, вся шпаклевка давно истлела.

— Николай Евлампиевич,— произнес он нечто совершенно не относящееся к делу,— неужели не может похлопотать ваше начальство, чтоб дали квартиру потеплей?

Вознесенский несколько сконфузился. Он не мог, естественно, уловить связь привычных ему колокольных звуков с квартирным теплом. Он помедлил, потом решил, видно, что этот молодой человек в цвета маренго рубашке мыслит какими-то недоступными ему путями и наверно, так ему и положено. Но этот молодой человек с большим, сильно развитым лбом не понимает простых вещей.

— Здесь жили отец мой и дед,— снисходительно и вразумляюще проговорил старик.

Вадим еще расспросил его о распорядке в семье, о приходах и отлучках, немного о знакомствах (их попросту не оказалось уже), старики остались последними из когда-то большого круга близких им людей. Они проводили всех. Их провожать некому.

Вадим подумал, что, не будь Вознесенский священником, никогда не оказался бы он в старости столь одиноким. Ему хотелось как можно больше необходимых подробностей выяснить у Вознесенского здесь, в ограбленном, но все-таки родном жилье, где ему стены помогали, чтоб как можно меньше держать его потом на официальном допросе с неизбежными предупреждениями о даче ложных показаний и прочем. Во-первых, ему было просто жалко старика, а во-вторых, он немного и опасался, не получилось бы неприятности. Когда человеку восемьдесят три, а внутри такая магма страстей не остыла, взволнуй его еще разок — инфаркт запросто схватит.

Неспешно, казалось, беседуя, он подошел к стене, откуда сняли картину. Она висела на двух не особо серьезных гвоздях, стало быть, рама была не тяжела, не было надобности торопиться и с риском повреждений вырезать полотно.

— Да. Это было небольшое полотно в плоском багете,— подтвердил Вознесенский. Однако некоторую торопливость вор все же проявил. Поскольку гвозди в бревенчатую стену были вколочены на века, веревку с них сматывали торопливо. Много серых шматков осталось на гвоздях. Ну что ж, плоский предмет таких габаритов вполне мог уместиться в спортивной сумке.

Потом они прошли в комнату, где находилась прежде икона. Эта комната была уже знакома Вадиму по снимкам. Она была довольно велика, чем-то еще более близкая прошлому веку, может быть, тем, что в ней было

больше старинных вещей. Наверно, раньше они располагались по всему дому и теперь, собранные вместе, как-то по смыслу и назначению не особо вязались меж собой. Массивные кабинетные часы у стены, прямые и мрачные, как в торец поставленный гроб, а рядом с ними на стене резной веселый шкафчик-поставец, обеденный стол со слоновыми ногами и девичья кроватка с накрахмаленными бантиками и домашней вязки подзорами до полу. Странно было думать, что на этой девичьей кроватке и сейчас спит древняя старуха, сидящая в глубоких креслах у окна. На нее падают солнечные лучи, и видно, как она стара.

Старуха молча повернула лицо к вошедшим, но Вадим ясно видел, что взгляд ее направлен куда-то между ними. Ну так и есть, глаза подернуты мутной пленкой, почти неотличим зрачок. Катаракта, наверно. Видит она плохо, и с нее, как говорится, много не возьмешь.

Несколько поодаль от окна, лицом к старухе, а сейчас тоже повернувшись к вошедшим, сидела женщина. Этой было лет сорок, а может, и больше. Обе выглядели совершенно как на снимке, испуганно-застывшими. Так они смотрели, вероятно, и на чужого, внезапно вошедшего к ним человека.

— Вот там был образ,— проговорил старик, каким-то неуловимо поучительным движением руки указав на угол. В углу стоял высокий киот с темными ликами икон. Иные были в окладах золотых (позолоченных, конечно), другие в серебряных, а один прямоугольник был пуст, как на лице пустая глазница.

Вадим мельком глянул на старика и понял, что киот этот для него отныне слеп и пуст.

Вадим попросил женщин еще раз рассказать, как было. Ясно же, что со старухой на допросе в официальной обстановке тоже пришлось бы туго.

Вадим с разрешения хозяев придвинул стул к стене так, чтобы лучше видеть женщин, с которыми беседовал. Ну, ясно, по иссеченным морщинами вдоль и поперек лицу старухи уже катились слезы, и она прервала Вадима, опять-таки глядя куда-то мимо его глаз:

— А вам сказали, что нашу Ладу убили? Она давно оглохла, и зубов у нее не было, она никого не кусала. Мы выпустили ее до вечера на солнышке погреться...

Она всхлипывала, всхлипывала и успокоилась насилу, после долгих уговоров брата.

У старухи свое горе — Лада.

Ну, а домработница, Марья Григорьевна, которая тут же находилась, что может сказать?

Она рассказала почти только то, что было уже известно Вадиму из первых, до него составленных протоколов. В этой комнате они так сидели. Без шума, без стука вошел молодой человек с бородкой. Она его сроду ни здесь, нигде в другом месте не видала. Сразу вынул пистолет, она и обомлела и толком больше не помнит ничего. Выдрал (она так и сказала «выдрал») икону с киота, в сумку положил. Велел им не шевелиться пятнадцать минут, а то их с того дома, с крыши, из ружья убьют. И — ушел.

— Мы так не знаю сколько сидели. Потом Ольга Евлампиевна говорит мне: «Что же мы сидим, Марья? Беги сзывай народ!» Сказала мне, чтоб я не боялась, что разбойника этого небось и след простыл. Я и пошла.

— Нет, не сразу пошел он к киоту,— вдруг твердым голосом сказала старуха.— Он сказал: «Здравствуйте, минуточку внимания!» И велел, чтобы ты ко мне ближе села. И что-то еще насчет жизни говорил, но как-то невнятно. А уж потом велел нам не шевелиться и пошел к киоту. Шаги у него большие, решительные, такие у высоких людей бывают. И не ружье, он сказал, а винтовка с каким-то, я не поняла, прицелом... И не долго вовсе мы сидели. Я скоро тебя послала.

«Ай да старуха!» — мысленно восхитился Вадим. Эту старуху с ходу не возьмешь, после смерти Лады маленько успокоится, так, гляди, еще что-нибудь вспомнит. Она плохо видит, частично поэтому, вероятно, и пистолета меньше испугалась. Может, она его второпях вообще не разглядела. А слух у нее, как у многих плохо видящих, обострен. Запали же ей первые слова вошедшего «Минуточку внимания!» и широкий шаг.

Старику и его сестре преступник оставил по отдельному большому горю. Домработнице он оставил только страх. Да, пожалуй, неверно было бы считать эту Марью Григорьевну домработницей. Живет она у них более пятнадцати лет, как рассказывает старик, в совершенном доверии, у нее своя комната с пропиской, трудовой стаж ей идет, до пенсии доберется.

Вадим беседовал с Марией Григорьевной насколько мог успокоительней. Ее-то неминуемо придется вызывать, и надо, чтоб страх из нее выдохся, а то невозможно будет с ней работать...

Итак, Вадим и Корнеев уже второй день сидели в Колосовске.

— Давай с самого начала все еще раз по порядку,— предложил Вадим, растирая левой рукой замлевшие от бесконечного писания протоколов пальцы правой.— Берем показания домработницы Завариной. Сумела, значит, кое-что припомнить...

Вот что она показывает: «Вошел человек лет тридцати в темном плаще. Он остановился и сказал: «Здравствуйте, минуточку внимания!» После этого из правого кармана плаща он вынул оружие. Утверждать, «наган» это или нет, не могу, потому что не разбираюсь, но оружие было металлическое. Он сказал: «Я надеюсь, что вам обоим жизнь дорога, а мне терять нечего». Он велел мне сесть рядом с Ольгой Евлампиевной, чтобы тоже против окна. Я осталась на своем месте. Он тогда повышенным тоном: «Я же сказал, пересаживайтесь...» Лицо у него строгое, как на иконе, очень красивый».

Вадим читал мерно, громко, как чужой документ. И Корнеев слушал внимательно, как будто в первый раз.

— «Вопрос. Предлагая пересесть, он оружием грозил?

Ответ. Нет. Вообще убрал оружие в карман».

Корнеев сказал:

— Я, между прочим, через своих ребят поинтересовался: кто в городе знал, что в доме священника Вознесенского имеются ценные произведения искусства. Оказывается, каждый пятый знал. Кое-кто даже вопросу такому удивился. Как же, мол, в своем-то городе не знать, не гордиться, что у нас такие редкости есть? Простота нравов! Хоть бы сторожа какого к редкостям поставили.

Вадиму вспомнились убитая собака и глаза старика, глядевшего на ослепший, пустой для него киот («Вот так-то, дорогой, хоть и покорился ты духовной своей стезе, а не всякий, как ты говоришь, образ близок тебе и дорог»), он отложил не раз перечитанный ими протокол и сказал:

— А вот знаешь, что печально. Болтать болтают, а

ведь никто, наверно, не поинтересовался взглянуть, познакомиться с хвалеными редкостями. Ручаюсь, старик любому бы с радостью не отказал. Рад бы был. Это все равно как в туристические в «загранку» все стремятся, а спроси такого, свои чудеса видел ли, ему и сказать нечего.

— Кто-то однако ж поинтересовался. Не наобум лазаря шел. Да еще по таким переходам,— сказал Корнеев, тоже побывавший в доме Вознесенского.

Оба помолчали.

— Ну ладно, поехали далее,— сказал Вадим.— В день ограбления в ресторане был банкет, обмывали чью-то диссертацию, но никто из пировавших не имел ни плаща, ни бороды. Корнеев проверил маршруты колосовцев, которые могли в этот день и час проходить мимо дома Вознесенского или неподалеку от него.

— Тут кое-что было,— напомнил Корнеев.— Женщина шла к магазину номер два, находящемуся на одной стороне с домом. Не доходя до Вознесенских, встретила быстро идущего навстречу ей мужчину. Высокого роста, в возрасте двадцать восемь—тридцать. Одет был то ли в пальто, то ли в плащ, какого цвета, не помнит, но верхняя одежда была не светлая. Борода была какая-то всклокоченная, а волосы темного цвета.

— И еще было,— Вадим перебрал на столе бланки свидетельских показаний.— Вот. Женщина возвращалась с работы. На Почтовой улице из такси вышел мужчина с бородой и спортивной сумкой и стал стучаться в калитку углового дома с глухим забором. Брови у него были густые и лохматые, лицо очень бледное, глаза глубоко запали. Но, может быть, это так казалось потому, что на лице очень выделялись брови. Обратила внимание потому, что такси здесь бывают редко.

— На Почтовой был. В доме сказали, что никто к ним не приходил, кто свой приходит, знает, где звонок. Дом в глубине, собаки нет, стука не слышно.

— ...Ну что ж, могло быть и так: человек вышел из такси на пустынной улице, рассчитывая никого не встретить. Встретив, постучал в первый попавшийся дом.

Фото слепка со следа протектора они отложили. Машину нашли быстро, раскланялись с водителем и ушли. Машина городского «мэра».

Опрос водителей автобусов, троллейбусов, местных

таксистов ничего не дал, хотя не опрошенным не остался ни один. К поиску подключилась вся милиция Колосовска, курсанты местной милицейской школы, дружинники. Да и все население не такого, в сущности, большого городка было относительно в курсе событий и по имеющимся данным весьма бурно реагировало на дерзкое ограбление.

Не обошлось за эти дни и без курьезов. Как ни мало было оснований думать, что преступник в неизмененном, так сказать, виде рискнет появляться на улицах города, все-таки решили проверить всех бородачей. Лет десять тому назад такая операция не потребовала бы много времени, но нынче... мода.

Вчера Вадим вырвался пообедать только к вечеру — не хотелось вызывать людей на допросы в их свободное время, да многие и жили далеко от центра.

В ресторане было уже людно, но Вадиму отвели постоянное местечко в углу возле рабочего столика официанток. Отсюда виден был весь зал. Поглощая окрошку, он заметил, как вошли сосредоточенно-серьезные пареньки, оглядели помещение и медленно направились к столику, за которым уютно расположился молодой краснощекий бородач, жизнерадостность которого растаяла, едва он увидел стеснительно приближавшихся к его столику пареньков.

— Да Иночкин же я, Иночкин! — горестно воскликнул он, отложив вилку и запуская руку во внутренний карман пиджака.— Вы меня третий раз проверяете! Я уж без документов не хожу. Иночкин я! Побреюсь, право слово, завтра же побреюсь! Жизни нет!

— Ну бывает,— сказал Корнеев, когда Вадим посетовал ему на ретивых исполнителей.— Ще со школы, ще молоды дитыны.

— Вот влепят за этих дитын...

— В нашем деле без риска не проживешь,— Корнеев прикрыл ладонью зевок. Ему высыпаться в эти дни тоже не приходилось.

Еще было небезынтересное показание начальника Управления коммунхоза. Он тоже видел мужчину в плаще с зеленой сумкой через плечо.

— «Лицо чистое, холеное, незагорелое,— читал Вадим.— Впечатление, что подолгу находится в помещении и на солнце бывает редко. Борода торчком. Я встреча-

юсь в городе со многими людьми, но такого не встречал».

— И все-таки считаю возможным предположить, что он в Колосовске не чужой. Не до Чикаго же, в самом деле, дошла слава об этих редкостях. Опять же абсолютное знание расположения комнат...

— Ранее судимых по городу проверил,— сказал Корнеев.— Есть один под адмнадзором. Из дому не выходит. У другого железное алиби.

Корнеев потянулся, взял протоколы, в которых говорилось о приметах человека с бородкой, с сумкой, в плаще.

Ну что ж, все трое говорили примерно одно и то же. О впалых глазах, правда, говорила только женщина с Почтовой, но улочка эта в высоких деревьях, при ярком солнце — темнее тени. В контрастном освещении глазницы вполне могли показаться глубже, чем они есть.

— Слишком он разговорчив,— сказал Корнеев, откладывая показания.— Не серьезный какой-то у него треп. Минуточку внимания, да если жизнь дорога, да мне терять нечего... Ну про оптическую он, может быть, и к месту ввернул. Окно не просматривается, да бабам откуда про это знать.

Корнеев посмотрел на Вадима. Тот медленно, утверждающе покивал:

— Вот-вот! Какой-то дешевой самодеятельностью тут пахнет. И манера эта специфическая — «Минуточку внимания!» Кому эта борода показалась приклеенной? А если допустить вероятность предположения, что она и была приклеена? И зря мы Иночкина сбрили?

— Ништо ему, новую отрастит,— безжалостно проговорил Корнеев.— О бледности, обрати внимание, говорят все. Допустить волнение? Навряд ли. Очень уж точно по времени — старик в редчайшие дни из дому уходил. И нагло — заметь! — оружие в карман положил. На двести процентов уверенности. Начкоммунзав, по-моему, правильно определил — не бледное, не загорелое лицо. В помещении много находится. Незагорелые летом всегда бледными выглядят.

— Минуточку внимания, минуточку...— задумчиво повторял Вадим. Он встал из-за стола и, обняв себя за локти, прогуливался по комнате. На Корнеева он не глядел, они вроде бы и говорили порознь, но думали вместе.

Это здорово, когда сработались и можно думать синхронно. Получается не простое дублирование мысли, а возведение мысли в квадрат.— Да. Тут пахнет сценой. На невысоком уровне. Настоящий артист в жизни играть не будет, он себя в ролях вычерпает. Не шибко художественной самодеятельностью тут пахнет.

— Ты думаешь...

— Ну, давай уж по науке.— Вадим вернулся к столу, взял чистый лист бумаги, написал сверху привычные со студенческих дней слова «План расследования по делу...», подчеркнул, опустил сверху несколько вертикальных линий, разбив лист на пустые пока столбцы. Слева пошли номера, подзаголовки столбиков. Версии, подлежащие исследованию, вопросы, подлежащие выяснению. В скобках — что надо выяснить. Следственные действия, подлежащие проведению — каким путем выяснить, как получить доказательства. Сроки проведения, отметки о выполнении... Формальность? Нет. Ни Вадиму, ни Корнееву лист этот не показался данью бюрократизму. Оба были опытными работниками и знали: никакие надежды на несложность дела — тем более что дело, которое им предстояло распутать, отнюдь не выглядело простым,— не могут оправдать отсутствия письменного, непременно письменного, плана расследования. Самое простое на первый взгляд дело может осложниться до чрезвычайности именно в результате того, что расследуется без плана.

Вадим писал на листе. Корнеев выводил одному ему понятные вавилончики и пунктиры в своей записной книжке. Версия за номером первым — о принадлежности преступника к миру клубной сцены — несла ему и его ребятам необоримое количество хлопот. Проверить десятки кружков самодеятельности, клубов, домов культуры, в первую очередь непосредственно связанных с Колосовском. Трудно представить себе, какую кипу личных дел работников культфронта придется переворошить.

Когда заходит речь об угрозыске, представляются непременно засады да схватки с преступником. А не угодно ли до бессонницы, до красных глаз копаться в ворохах бумажных лент, отыскивая чеки магазина, где орудуют расхитители?

Или обходить, один за другим, пятиэтажные дома без

лифта, чтобы выяснить, из какой квартиры похищена куртка. Куртка у воровки изъята, а заявления о краже нет — не все верят в эффективность розыска, а время, чтоб помочь оному розыску, тратить не хотят. Ну что ж, оно им тоже дорого.

Или вот сейчас, опять же по бумагам (сначала по бумагам, а засады и задержание весьма активно сопротивляющегося вооруженного преступника будут, так сказать, на десерт), опять же по бумагам ловить хвостик нити, по которой они выйдут, в конце концов, на этого бледного позера.

— «Мне терять нечего»,— сердито проговорил Корнеев, предвкушая огромность и волокитность работы.— Трепач типичный. Ручаюсь, срока не тянул, а то трепался бы меньше.

Вадим дописывал «№ 1». Он покачал головой.

— И все-таки все точно, все дерзко. Рука несомненно опытная. Хотя...

Вадим вдруг задумался.

— Ты что? — тотчас расслышав паузу, спросил Корнеев.

— Пока ничего.— Вадим помолчал, снова встал, прошелся по комнате. Не только рука уставала от бесконечного писания. И сидеть-то, мягко говоря, надоедало.

Да, пока ничего. Пока только ощущение, предшествующее мысли, мелькнуло в нем, и он не торопился навязывать его товарищу. Если в этой скрытой, даже не высказанной пока версии есть смысл, Корнеев тоже дойдет до него. Две порознь найденные точки наверняка дадут точное направление. Многое должна прояснить и волокитнейшая работа по проверке всего связанного с самодеятельностью.

— Значит, проверим клубы-кружки.— Вадим поставил жирную точку в конце строки номера первого.

Домработнице Завариной надо предъявить для опознания оружие.

Продолжать опрос населения, всех, кто обычно проходит по этой площади, кто мог проходить в день ограбления. Продолжать в темпе, пока у людей может быть свежо воспоминание. Не исключено, что кто-нибудь мог видеть преступника уже вдвоем. С кем-нибудь же должен был он встретиться. Не мог он оставаться долго наедине с сумкой, в которой сверхценные вещи.

— Теперь насчет проживания,— размышлял вслух Вадим.— Колосовский он или нет? Если местный, постоянно ли здесь проживает? Какие-то связи с городом должны же быть. Не кажется мне, что гастролер. Для гастролера-рецидивиста опять же слишком он болтлив. А может, кто-то раньше проживал да уехал, а связи остались. Может, и судимость есть, да их не по Колосовску искать надо.

— С Бораненковым и другими участковыми поговорю и по своим каналам проверю насчет выбывших. Я тоже считаю, на гастролера не похоже,— согласился Корнеев.— И от сумки должен был он отделаться. Если только машина поблизости не ждала.

— И еще интересно... Каналы сбыта. Куда уедет икона, куда картина...— Корнеев вздохнул мечтательно, словно бы на преступника они уже вышли и только и осталось каналы сбыта выяснить.— Парень молодой, сбывать поторопится, денежки между пальцев потекут. На деньгах они сидеть ох не любят. Деньги им языки показывают.

— Были б в избытке, они б и нам с тобой показали. Может, только тем и спасаемся, что избытка нет,— вполне серьезно проговорил Вадим, не отрываясь от листка-плана.— Номер четвертый. Домработнице Завариной предъявить для опознания оружие.

— Ну уж это, надо думать, не сейчас,— решительно заявил Корнеев.— Я сейчас сам бледный, не плоше того типа, да и побриться,— он провел ладонью по щекам,— не мешает. К утру как раз и будет клоками и нелепая.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

На следующий день утром, до вызова свидетелей, Вадим снова медленно прошелся по Почтовой улице, где, можно было предполагать, шел молодой красивый человек с некрасивой бородкой.

Кому-то он должен был отдать сумку. Если не ждала его машина. Коли не ошибаются свидетели — а их по Почтовой уже двое,— молодой человек не вошел, а вышел из такси, и машина ушла. Может быть, в такси остался кто-то, с кем ушла сумка? Но почему тогда молодой человек не уехал в этом же такси, а вместо того

вышел и, по первому впечатлению, бессмысленно «наследил»? Если это вообще тот самый...

Опрос водителей автобусов, машин частных и казенных грузовиков и легковых ничего не дал. Никто не приметил схожего с описаниями пассажира.

Кое-кто из встречных прохожих оглядывал Вадима с заинтересованностью. В маленьком городе слухи — те самые, что «не могут учитываться, как источник доказательств»,— распространяются со скоростью звука, а то и преодолевают звуковой барьер. О том, что в Колосовске работают люди из Москвы, многие горожане, конечно, знали, а Вадима, надо думать, и узнавали: скольких уже он допросил!

Нужды в такой популярности не было. Если принять за вероятное, что преступник не «гастролер», то содержание вопросов следователя, а значит, и направление, в котором ведется поиск, могут стать ему известны.

«Не ему. Им,— мысленно поправил себя Вадим.— Один он быть не мог. В доме священника его раньше никто не видел, и тем не менее он совершенно уверенно прошел всеми этими путаными сенцами, лестницами и коридорчиками. Кто-то побывал здесь до него и точно его проинструктировал, если не принять версию о том, что попросту навела Заварина...»

Казалось бы, легче всего было предположить последнее. Но не слишком ли сверху лежит эта версия? Опять-таки ведь «кого-то» ей надо было навести, а Вадим мог бы поручиться, что ужас, отражавшийся на тупом лице этой женщины, едва она вспоминала об оружии, был неподделен. Нет, похоже, она не врет и преступника видела впервые. Да, в конце концов, если б она знала о готовящемся грабеже, разве не проще бы ей оказаться хотя бы в саду на эти несколько минут? Нет, она не врет.

Такие ограбления в одиночку не совершаются. Кому-то должен был он передать сумку. И кто-то должен был точно указать ему дорогу в доме и местонахождение иконы и картины. Все свидетели обращают внимание на неестественность бороды. Скорее всего, наклеена. Значит, он все-таки боялся, что его узнают?

Боялся, что узнают в доме Вознесенского? Нет, там, в двух-трех шагах от женщин, такая нехитрая маскировка его бы не спасла. Полуслепая старуха узнала бы

по голосу, а наболтал он много. Нет, в доме он был впервые.

На улице, во время трех-четырехминутного перехода, допустим, до машины, бородка могла иметь какой-то смысл...

А собака? Обыскали весь сад. Не нашли камня или какого-либо предмета, каким ей проломили голову.

Возвращаясь к гостинице, Вадим опять прошел мимо дома Вознесенского, миновал обшарпанный сарай, почему-то уцелевший на чистенькой, довольно нарядной улочке. Похоже, держали в нем уголь. Пора бы уж и снести, теперь углем никто не топит.

С неосознанным сожалением расстался Вадим с чистым утренним небом, свежим воздухом, неусталыми лицами людей, чья кожа была уже тронута ранним сельским загаром. Среди них, идущих на свои рабочие места, были молодые и старые, добрые и злые, но все они были сродни Лобачеву и Корнееву. А молодой человек с бородкой и те, пока неизвестные, с ним — это были люди другой породы, живущие в другом нравственном измерении. Между прочим, очень нелегко постоянно, всю жизнь иметь с ними дело.

В первые же дни расследования был, как положено, изготовлен фоторобот. Прямо в Колосовск со своей, несложной в общем-то, аппаратурой приехал Борис Львович Вичугин из научно-технического отдела, расположился в горотделе, к нему поодиночке вызывали свидетелей, видевших, предположительно, одного и того же человека.

«Волосы гладкие, прилизанные?» — «Нет»,— порознь, но уверенно ответили все четверо.

В изображении на экране утвердилась не курчавая, но густая темная шевелюра.

«Нос? Глаза, вы говорите, шире поставлены? Брови — вот так? Нет? Хорошо, с изломом... Так примерно?»

Вадиму хотелось еще раз прослушать живое описание внешности предполагаемого преступника. Он пришел в горотдел, но со свидетелями здесь не встречался, стоял позади у приоткрытой двери, слушая их поправки и следя за постепенно возникающими на экране чертами предполагаемого лица.

Работник коммунального хозяйства города его поза-

бавил. «Мертвый сезон» недавно повторным экраном прошел в Колосовске, афиш еще не сняли. Свидетель, наверное, чувствовал себя, по крайней мере, Савушкиным, будущим героем-разведчиком, который по памяти дает портрет крупного военного преступника. На вопросы Бориса Львовича он отвечал с очевидным волнением и натворил перед экраном примерно в два раза больше, чем было записано в протоколе у Вадима.

Четыре отдельных наброска соединены в один, этот один сфотографирован. Фотографии разосланы по отделам и отделениям милиции. Вадим считал — им крупно повезло. Удалось уговорить известного художника Карпова дать по показаниям свидетелей рисованный портрет. Карпов чрезвычайно редко соглашался удовлетворять такие просьбы. Он говорил — и ничего удивительного в его словах не было,— что терпеть не может рисовать бандитов.

Уговорили его на сей раз, только сообщив, что похищены ценные произведения живописи.

И вот в руках Вадима фотография уже рисованного «портрета» человека с сумкой. Ну что ж, Заварина не ошиблась, он красив. Лоб высокий, не вьющиеся, чуть волнистые темные волосы над высоким гладким лбом. Брови густые, глаза под такими бровями всегда выглядят несколько запавшими. Вот он с бородкой, вот без бороды. Кому же и где ты передал сумку?..

Миша Корнеев в этот час уже беседовал с завклубом колхоза «Победа». Клуб самый большой и богатый в районе. Можно бы его и дворцом культуры назвать.

Завклубом была молоденькая, хорошенькая, с утра синева на веках, шиньон залачен насмерть, упадет — покатится. Присмотренная такая, не безхозная девочка.

Корнеев, в белоснежной водолазке, в костюме — матерьяльчик с выработкой,— ей понравился. Она документов не спросила, приняв за корреспондента, он не стал ее разочаровывать.

— У нас ставка на доверие,— сказала завклубом.— Нашей самодеятельностью вообще интересуются. Мы считаем себя народным театром. Не что-нибудь, «Лес» Островского недавно ставили. Конечно, в костюмах, в гриме. У нас модерны в сукнах не уважают. Грим, парики, усы, бороды я сама в ВТО на улице Горького покупаю.

— И часто бываете вы на улице Горького? — спросил Корнеев с искренней заинтересованностью, за которую был вознагражден оживлением, мелькнувшим в подсиненных глазах.

— Нет надобности,— сметая со стола невидимые соринки, сказала завклубом.— Грима сразу беру много, а бороды, парики — это ж, можно сказать, навечно. Если б не разворовывали! — вдруг рассмеялась она, показав ровные, мелкие зубы.— Просто беда с этой модой! Володя Скребнев, наш бывший баянист, на выступление бороду попросил, а, ручаюсь, просто так носит. Ждет, пока своя вырастет. А как же она под клеем вырастет?

— Надо думать, близкий ваш знакомый, если казенный реквизит доверили,— укоризненно заметил Корнеев.— Все же не полтинник цена. Не грех бы и отобрать.

Завклубом немного встревожилась таким оборотом беседы.

— Что вы, что вы! — сказала она.— Я его совсем не знаю. Только и знаю, что Володя Скребнев из Чернолукского клуба. Да он, кажется, и уехал из района. Как же я у него отберу? Надеюсь, что сам отдаст.

Корнеев с трудом подавил зевоту. Почти всю ночь он со своими ребятами просматривал личные дела людей, близких районной самодеятельности. Был среди них Скребнев.

Корнеев поднялся, завклубом вышла из-за большого стола попрощаться с товарищем корреспондентом, проводить. Оказалась росточком чуть повыше корнеевского плеча. Корнеев со значением пожал ей руку, неторопливо вышел из клуба. Дойдя до угла, обернулся. Она стояла у открытого окна, глядела ему вслед и не успела отпрянуть.

Зайдя за угол, Корнеев резко прибавил ходу. Что-то начинало «светить». Очень быстро добрался он до отдела.

Из отдела он позвонил в Москву, в управление, запросил материал на Скребнева Владимира Сергеевича, проживающего там-то. Да. Как можно скорее.

Положив трубку, потер виски. Очень хотелось спать, и никак не тянуло продолжать проверку актива самодеятельности, беседовать с участковыми, собирать све-

дения от курсантов, продолжавших работу над маршрутами жителей, которые могли по тем или иным причинам проходить в день ограбления поблизости от дома Вознесенских.

Очень заманчиво было думать, что на Скребнева они вышли правильно, Но Корнеев привычно отодвигал от себя надежду, готовую оформиться в уверенность, и продолжал работу так, словно бы о Скребневе сроду ничего не слышал.

Поиск преступника не только не исключает, предполагает и поиск доказательств. Может быть, кто-нибудь из колосовцев, сам того не ведая, владеет интересными для них сведениями.

Велика цена вещественных доказательств. Недаром они с Лобачевым так торопились обнаружить на квартире Карунного родственную фальшивым монетам металлическую пыль. Редко, но случается у опытных преступников: возьмут да и откажутся на суде от собственных показаний, заявят, что вынудили у них признание. Предположительно мог и Карунный, оправившись от растерянности, заявить, что рублями он сроду не баловался. От пыли не откажешься.

А показания свидетелей! Сколько в них бывает неверного, ошибочного — отнюдь не по злому умыслу. Одним мешает объективно высказаться повышенная возбудимость, другие начисто лишены необходимой доли воображения. Прежде чем заложить в блокнот, в память чьи-то слова, обязательно составь себе хотя бы ориентировочное мнение о том, кто их произносит.

Корнеев сидел в кабинете замначальника отдела, окно выходило во двор, солнце сюда не попадало, в комнате было почти прохладно, и странно выглядели покрасневшие от жарких лучей физиономии курсантов, докладывавших Корнееву.

Среди них было много совсем молодых, недавно рекомендованных в органы общественными организациями. Для них задание по маршрутам, может быть, было первым практическим поручением. Старались они истово. Корнеев давал каждому обстоятельно выговориться, чтоб парень вышел с чувством личной причастности к серьезному делу. Это очень важно, чтоб человек, выполняя отведенное ему поручение, сознавал себя ответственным за успех операции в целом. Понравился Кор-

нееву последний вихрастый паренек. Этот постарался чуть не на всех опрошенных словесный портрет составить. Старался. Ничего не скажешь. До того забавно получалось, что у Корнеева даже сон отшибло.

Из участковых инспекторов первым пришел Виктор Петрович Бораненков. Разговора с ним Корнеев ждал, потому что по различным делам встречался не раз и не два, и всегда с толком.

Виктор Петрович, высокий, грузноватый, носил на погонах две малые звездочки, хотя было ему под сорок. В органы он попал по призыву лет двадцать тому назад из подмосковной шахты, служил сначала постовым, попутно учился, потом принял участок, полусельский-полугородской, по контингентам разнообразный и трудный. У населения честно завоевал доверие и авторитет. Когда по району идет, едва ли не каждый третий его приветствует.

— Здравствуйте, дядя Витя!

— Привет, Виктор Петрович!

Теперь на бывшей полусельской территории Виктора Петровича вырос новый район колосовских Черемушек, как его называют местные. От Москвы до Курил всюду есть свои Черемушки.

Виктору Петровичу Корнеев поднялся навстречу и с удовольствием пожал его мягкую большую руку. Рядом с Бораненковым Корнеев как-то переставал ощущать собственные габариты. Корнеев все-таки костюмы покупает в магазине, а по плечам Виктора Петровича готового платья не взять. Нарядить васнецовского богатыря в пальто цвета маренго — вот и будет Виктор Петрович.

На долгие приветствия и расспросы Бораненков тратить время не стал. Он знал цену и своему и корнеевскому времени. На стуле утвердился, не развалясь и не сутулясь. Глаза ярко-синие, белки чистые, как у ребенка, волосы волнистые, с проседью.

— Ребят своих я соответственно озадачил,— сказал Виктор Петрович.— В поселке у геофизиков, в Степанькове и Никольском насчет приехавших, убывших проверять. У меня убыло трое. Задолго до происшествия. Одни с семьей в загранку. Женщина-пенсионерка к дочери уехала. Вот насчет третьей, Михаил Сергеевич, пока точных сведений представить не могу. Тем более с му-

жем они площади еще не имеют, снимают комнату. Муж — научный работник, скоро площадь должен получить. Живут не очень чтобы дружно, хотя он мужчина тихий, не пьющий. Знаю, бывали у них и скандалы, но без нарушений. Старухи по дому болтают, вроде она от него ушла. Может, и ушла, не выписалась. Это точно...

— Ну и что? — осторожно понукнул Виктора Петровича Корнеев, внимательно слушавший его ровную, обстоятельную речь. Из-за одних семейных ссор Бораненков не обратил бы внимания на молодую пару.

— А вот что,— так же осторожно продолжал Виктор Петрович.— Еще подростком была она в колонии несовершеннолетних, вернулась, вышла замуж. Ничего предосудительного за ней не замечалось. А в последнее время что-то изменилось. И пьяную я ее встречал. По-моему, какая-то компания у нее завелась. Пошел от нее душок. Доказать, Михаил Сергеевич, не берусь, но чувствую.

Сказав это, Бораненков поднял на Корнеева свои синие очи, словно бы извиняясь за такое несерьезное метафизическое объяснение, однако же в Корнееве ссылка на чувство не вызвала внутреннего противодействия. Да, да! На вооружении электроника, химия, фотография, мощная разнообразная техника, но все это, вместе взятое, не исключает интуиции, своего рода нервного чутья, без которого немыслима оперативная работа.

— Молодая? — спросил Корнеев.

— Молодая. Можно проверить. Волкова Раиса Васильевна. В разговорах при знакомстве представляется Инной.

— Так она уехала?

— Люди говорят. Но я ее в городе после происшествия видел. Это точно. Домой приходила или нет, не знаю, а в городе была.

— У кого снимают комнату?

— У Краузе. Он из латышей, но у нас еще с до меня живут. Я с ней недавно встречался. Обменивались мнениями о происшествии.

— К тебе на участке небось каждый пятый с обменом мнений. Ты же у них за министра.

— За министра,— вполне серьезно согласился Бораненков.— И потому, поверишь, Михаил Сергеевич, от отпуска бы отказался, ночи с вами сидел, только бы

раскрыть поскорее. Если происшествие случается, очень от людей неудобно.

Это не был упрек. Это была досада соратника, однополчанина, который не может кардинально помочь соседнему подразделению, ведущему тяжелый бой.

— Раскроем, Виктор Петрович,— тоже без шутки пообещал Корнеев.— Вроде бы наклевывается кое-что.

Вслед за Бораненковым прошли другие участковые, многих из них Корнеев не знал, разговоры были короче, данных, могущих представить интерес, не было.

Потом опять люди, ходившие по возможным путям продвижения преступника. Нет, не встречали. Нет, не видели...

Усталый, почти отупевший, Корнеев устроил себе двадцатиминутный перерыв — двадцать минут в тишине, с закрытыми глазами, это уже нечто. Ему опять подумалось, каким скучным, едва ли не бесполезным мог показаться этот день постороннему человеку. Ни погонь, ни перестрелок с непременной победой инспектора угрозыска.

Может быть, так и надо, с точки зрения воспитательной, показывать только победы, но откуда же тогда прибавляются имена на мраморной доске управления? Да и сыграл же Михаил Жаров Ковалева, которого убили в самый-самый последний перед уходом на пенсию день.

Вот Зотова недавно вписали в мрамор. Зотова Лобачев знал, знал его и Корнеев. Надежный, перспективный был парень. С группой преследовал злостного браконьера. А тот в прошлом две судимости имел и сейчас лесника ранил. Видно, решил — терять нечего. Отстреливался из своего дома, а в доме женщина, ребенок. По окнам не ударишь.

Зотов с ребятами подползали, подползали, а потом метров десять открытой лужайки осталось, Зотов поднялся в рост и пошел.

Корнеев очень хорошо представил себе, как этот видный, высокий парень, в новенькой форме, встал и просто пошел на дом. И с пяти метров получил из двух стволов в живот. Бандюга — будь он проклят! — потом выстрелил себе в пасть. После Зотова ему бы все равно не миновать вышки.

Их хоронили в один день на одном кладбище. И со-

вершилось на похоронах гнусное дело. Корнеев пока на отсутствие выдержки не жаловался, но тут едва не сорвался.

Пришли провожать бандюгу его дружки. Почтить, так сказать, память. В толпе заворчали. Валя, молоденькая жена — вдовой назвать язык не поворачивается — Зотова, вскрикнула и заплакала в голос. Однако ж никто тех не тронул, ушли они нагло, не опустив голов.

Корнеев покинул кладбище с чувством горьким и тошным, словно бы способствовал постыдному делу. А может, так оно и есть? Пусть не по закону, но по совести-то надо было, чтобы хоть один человек подошел и плюнул в глаза этим дружкам. Так ведь закон не позволяет. А помимо закона и — боятся. А Зотов не боялся. Он встал и пошел.

Сейчас Валя Зотова попросилась на смену мужу, на работу в милицию. Это уже не первый такой случай. Валю приняли, аттестовали, направили в школу. Она носит форму. Ох, как гордо она ее носит!

— Я каждый день специально прохожу мимо домов, где живут эти люди. Я всегда смотрю на их окна,— говорила Корнееву Валя.

Вот уж не думал Михаил Сергеевич, что за считанные дни может так измениться человек. Смешно сказать, что двадцатилетняя женщина постарела. Валя даже не похудела, но у нее обострились черты лица, в чем-то изменилась — а может быть, это от формы, от погон? — походка. Жестко, круто шла она сейчас по жизни. За двоих шла.

Закончив свой двадцатиминутный перекур, Корнеев подумал, что непременно надо посмотреть эту Волкову. У Бораненкова интуиция? Конечно, интуиция. Только она, эта интуиция, к человеку без опыта вряд ли придет.

Итак, Раиса Васильевна Волкова, год поставили условно, пятидесятый. Можно еще пометить «Инна».

Дан в Москву запрос. Просил к утру. На проводе поворчали, но безотказно. Колосовским делом управление интересовалось. Чтоб маленько поразвлечься, соединился с Копыловым. У того завершалось дело «странного вора».

— Ну как там у вас? — спросил Корнеев.— Обвинительное на своего дурака составил?

— Составил,— сказал Копылов.— Надоел он мне до

умопомрачения, а куда деваться, как бабка скажет? На одно пальто так и не сыскали владельца, а он, подлец, забыл, где взял. А вас, между прочим, завтра, кажется, Чельцов на ковер вызывает, давайте набирайте там что-нибудь.

— Наберем. Один уж том, считай, набрали, без дела не сидим, бумажками обрастаем,— невозмутимо ответствовал Корнеев.

Сонливость с него как рукой сняло. Вызов «на ковер» к заместителю начальника управления безусловно обещал полновесную выдачу дельных советов. Чельцов недаром тридцать лет в управлении и прошел долгий путь от районного оперуполномоченного до генерал-майора милиции. Советы будут. Но вначале последует печальное, точными формулировками обрамленное утверждение того факта, что девять дней господа сыщики собак гоняют, сло́ны продают, а преступник гуляет себе на свободе.

— Я пошел спать,— сказал Корнеев.— Завтра с утра опять по клубам.

Он посмотрел на часы: позвонить, сказать Вадиму, что в белокаменной по них соскучились? А зачем? Только настроение испортишь. В том, что Лобач часы зря не сидит, сомневаться не приходилось. А может, он и спит. Корнеев не стал звонить.

Но Вадим не спал. В ушах мельтешили обрывки бесед с людьми об одном и том же, об одном и том же... Директор ресторана, где был в день ограбления банкет, официантки, гардеробщица... Нет, день был теплый, ни одного посетителя в плаще не было. Из окна ресторана дом Вознесенского виден, но ни одно окно не просматривается, Вадим сам проверил.

Домработница Вознесенских от беседы к беседе заметно приободрялась. Помня ее истеричный перепуг первого дня, Вадим умышленно приглашал ее не на допрос, а на беседу, название же документа ее не беспокоило. В памяти ее постепенно всплыли кое-какие подробности, но хотя эта тупая баба не вызывала в Вадиме чувства симпатии, он по-прежнему был уверен, что она не врет. Да она и не путалась, хотя к одним и тем же деталям он возвращался неожиданно и с разных позиций.

Ей предъявляли на опознание оружие — пистолеты системы «ТТ», пистолет Макарова, револьвер системы «на-

ган». Вроде бы наиболее похожим показался «ТТ». Однако Заварина более или менее уверенно сказала, что оружие преступника имело грани на стволе («на стаканах такие бывают»), а ствол был вроде немного потоньше, чем у «ТТ». («Он как пистолет вынул, я обомлела, только на пистолет и смотрела. Он в карман его положил, так я на карман смотрела...»)

Трудно, конечно, было рассчитывать, что перепуганная баба со столь мощным интеллектом, сроду не державшая в руках оружия, даст точное описание, но все же...

Вадим пометил на завтра: «Предъявить вальтер, браунинг». Подумав, приписал: «стартовый пистолет». На женщин и его бы хватило, а преступник знал, кто встретит его в доме.

Вадим был один. Максимально отрешившись, он, как чужие документы, перечитывал свои протоколы, когда из Москвы, почему-то по его телефону, пришел ответ на запрос Корнеева на Владимира Скребнева. Никакой компры на Скребнева не было, а кроме того, бедный Скребнев погиб в мае месяце сего года, будучи пассажиром в коляске мотоцикла. Видно, Корнеев кого-то, как ему показалось, подходящего, зацепил, да оборвалась ниточка...

Вадим посмотрел на часы: уже одиннадцать. Скорее заказать Москву, пока Галя спать не легла. Бабаян позвонил ей, конечно, сказал, что Вадим задерживается в области, но от этого ей не легче. Опять погорел общий отпуск. Бедные их жены! Только подумать — вечная война, вечный фронт!

Вадим заказал разговор, подошел к окну, распахнул рамы. В комнату вошла немыслимая в Москве тишина. Городок спит. Высокое над ним стояло небо, чистые светились звезды. Вадима вдруг взяла за душу почти физическая тоска, так захотелось ему увидеть под черным южным небом ночное море с лунным Млечным Путем на воде. Еле светится горизонт, и кажется, что огромное море выше земли. Оно пахнет йодом, дышит теплым туманом. Вадим с Галей сидят на пустом пляже у самой кромки прибоя, но прибоя нет, только чуть слышно шелестят-звенят под волной мелкие камешки. Галя в сарафанчике. Вадим прикрыл ее курткой, обнял. Она согрелась и молчит.

Так было, когда они поженились. В их первый медовый год. А познакомились они — не всякому так удается! — на парашютной вышке. Оба увлекались парашютным спортом, оба неплохо прыгали. Потом уже не с вышки, а с самолета по команде: «Пошел!»

Вадим понял, что любит Галю, когда она впервые прыгнула при нем, и он смертельно, до дрожи испугался.

Кажется, целую вечность он ждал ее на земле. Ему казалось, что эта крохотная на синем небе под белым куполом фигурка никогда не приземлится. А когда Галя все-таки приземлилась, он ни с того ни с сего, совершенно неуместно, принародно, бросился бежать к ней через все поле, и с этого все началось.

Теперь Галя уже врач, со стажем, с авторитетом. И Маринка уже большая — «краковская колбаса», «русская некрасавица». А он изо дня в день стоит лицом к лицу с человеческим отребьем, и это становится иногда тяжело. Недаром к сорока годам следователь нередко расстается со своей работой.

Ах, как им с Галей хотелось — если это вообще возможно — пережить еще раз и море, и шелест гальки, и густую влажную тьму! И опять — нет.

Раздался звонок. Галя тотчас отозвалась, и голос ее, измененный расстоянием, был совершенно похож на голос той, молодой Гали.

Ну конечно, она была в курсе и сумела — как всегда умела — сделать так, что трудное начало разговора не стало трудным.

— Но ты же приедешь? — сказала Галя.— До нашего отъезда ты неужели не приедешь? Неужели мы тебя до отпуска и не увидим?

— Клянусь, приеду, Галочка! Между сутками двадцать пятый час найду и приеду.

Потом Галя рассказала что-то непонятное про Никиту. Сказала — ей очень хочется, чтоб Вадим приехал, с Никитой поговорил.

— Влюбился он, что ли? — переспросил удивленный Вадим.— Так, во-первых, пора, а во-вторых, дело житейское.

— Я житейские дела не хуже тебя знаю, я врач. А тут и тетка Ира говорит...

— Галка, не бойся, Галочка,— ясным голосом, скрывая смех, сказал Вадим,— Никита ж не дурак. Я при-

еду, все мы выясним. Поцелуй Маринку. А при чем тут тетка Ира?

— Да была она там, на этой даче, с которой компас украли.

И только помянула она дачу с компасом, как Вадиму вспомнился не столько мимолетный разговор с братом в электричке, сколько легкое, намеком, ощущение тревоги, с которым вспоминался ему этот разговор в день, когда он ехал на первую встречу с Карунным. Что-то там было, что-то его уже тогда зацепило.

Но потом был Карунный, потом Колосовск. Никита тоже не сидел без дела.

«Ну ничего. Женщины, похоже, заняли круговую оборону»,— успокоил себя Вадим.

А что он мог сделать сейчас, кроме как приказать себе успокоиться и заниматься только своим делом?

Вот так и получается. Галя опять едет одна, до Никиты руки не доходят, и где ты, двадцать пятый в сутках час, и запасные нервные клетки?

Кончился разговор, Москва отключилась, ушла далеко-далеко, опять небывалая, прошлого века тишина сомкнулась вокруг Вадима. Он ощутил ее вдруг и остро. И подумал, что людям, постоянно обладавшим благом тишины, наверно, жилось и работалось легче. Впрочем... Все мы безжалостно не замечаем, не ценим именно простые блага.

В незапертую дверь без стука вошел Корнеев.

— С позволения сказать, пожрать нечего? — спросил он устало.

Вадим выложил на стол початую коробку килек, половину булки, поставил чайник с холодным чаем.

— Может, потерпишь, подогрею? — спросил он, глядя в серое лицо Корнеева.

Тот отрицательно покачал головой. Он уже наливал себе холодный коричневый чай в граненый стакан.

— Опять селедкины дети,— сказал Корнеев, накладывая кильку на хлеб.— Наживем мы язву. Хорошо, если одну на двоих, а ну как сепаратно каждому?

— Спаржу тебе, артишоки! Огорчить могу. Если ты на Скребнева Владимира надеялся, то он в мае сего года пассажиром на мотоцикле погиб.

— Вот потому он и бороду не отдал.

Корнеев поглощал селедкиных детей с головами и хвостами, во рту у него только похрустывало.

— Ну и я тебя не обрадую. Говорил с Копыловым. Михалыч нас завтра на ковер. Подшивай хоть протоколы, изобрази первый том.

Вадим принял шутку. Чельцову тома не нужны, он их и смотреть не станет. А ведь бывает же, наедет кто-нибудь неумный с проверкой. Тот ни Лобачева, ни Корнеева не знает, тому подавай тома, чтоб по бумагам удостовериться: идет-таки расследование, не зря люди погоны носят, булки-кильки едят.

Корнеев подробно рассказал Вадиму о разговоре с Бораненковым, о запросе, посланном на Волкову.

Вадим тоже знал Бораненкова.

— Может быть, и потеплеет с этой Волковой,— сказал он, раздумывая.— Я, пожалуй, вызову завтра, у кого она квартирует. Краузе, говоришь? — Он записал на краешке постеленной на столе газеты.— С другой стороны, если Волкова представляет интерес, не хотелось бы и спугнуть.

— Знаешь что,— Корнеев зевнул.— Будет день, будет и пища. Давай ложиться. Мы, между прочим, имеем право на сон и до того, как дело будет закончено расследованием.

— Это если по науке, по чертежу, так сказать. А практически ни на что мы не имеем права, и Чельцов завтра тебя в этом убедит.

— Не в первый, не в последний,— сказал Корнеев.

Вадим видел, у него еле достало сил раздеться. Лег он как-то неудобно, толком не укрывшись, хотя ночь была прохладная, и тотчас уснул. Лицо его с закрытыми глазами и синими тенями в глазницах выглядело сейчас непривычно беспомощным, как и руки, бессильно легшие поверх плюшевого одеяла. Он так и не успел загореть, на белой коже плеча синел изрядный рубец от ножа. В прошлом году это был еще красный выпуклый келоид. Корнеич заработал его, когда брал... Рубца этого он, между прочим, стеснялся, говоря, что застолбил свое невладение самбо.

Вадим смотрел, как тихо, по-детски дыша, спит Корнеич, и почему-то подумал, что многие из управления носят на себе такие меты, считают их делом обыденным,

чем-то вроде трудовых мозолей. В том числе и те, у кого на широких золотых погонах генеральские звезды.

Вот вызовет их завтра «на ковер» Чельцов, человек добрый, деликатный и заботливый. Лет девятнадцать тому назад, говорят, осенило его податься в рядовые сотрудники милиции. Из интеллигентной семьи, присмотренный мальчик. Оперуполномоченный, инспектор угро, школа такая и этакая, юридический... Область он знал, как другой квартиры своей не знает. Вадим всегда удивлялся его памяти на местность, на обстановку. И еще — чутью к людям и вере в людей.

Даже внутренне, даже в мыслях Вадим страшился громких речений, а уж слова «вера в людей» прямо-таки грохотали жестью штампа. Но ведь внутри всякого штампа заложено зерно истины, иначе не из чего прорасти и штампу.

«Неплохо бы и Чельцову еще денька три поверить в них с Корнеичем без ковра»,— подумал Вадим и мгновенно возвратился из чужого прошлого, полного преодоленных трудностей и частных заслуг, в свое весьма хлопотное настоящее.

Ничего еще конкретного, однако любой день может, должен что-нибудь выдать...

Корнеев, не просыпаясь, повернулся, потянул на себя одеяло. Вадим встал и прикрыл окно.

Так вызывать или не вызывать завтра Краузе? Наблюдения Бораненкова всегда заслуживали всяческого внимания, а в деле с иконой несомненно чувствовалась опытная рука. Преступник с опытом чаще всего имел и судимость. Волкова молода, вряд ли сама много стоит, но если она действительно побывала в колонии, мало ли с кем могла оказаться связанной... А если эта Краузе, старая женщина, ей верит, чего доброго, опекает, она вполне может и предупредить. Разве мало еще, к сожалению, случаев, когда вполне достойные люди считают недостойным доносом предупредить милицию о чем-либо в поведении соседа, что им самим кажется подозрительным.

Вечному осуждению подвергнут Пилат, по библейским слухам, простым омовением рук предавший Христа. А разве мало людей, сберегая свой покой, умывают руки, дают совершиться преступлению?

Словом, о Краузе: до ответа на запрос о Волковой, во всяком случае, вопрос открыт.

Вадим разулся, чтобы не топотать, и по привычке, раздумывая, принялся ходить по комнате, держа себя за локти. Полы в гостинице были старинные, крашеные, ног не холодили.

Почему он добавил на опознании стартовый пистолет... Да потому, что, хотя все ограбление было подготовлено и проведено вполне квалифицированно, сам преступник все время вызывал у Вадима ощущение какого-то дилетантства, что ли. С его нелепою болтовней вполне монтировался стартовый пистолет.

Еще пометил себе сегодня Вадим. Вероятно, они сделали ошибку, не начав в первые же дни искать каналы сбыта. В этом деле канал сбыта имеет особое значение. Икона, картина — не мех, не драгоценность, к обыкновенному барыге с ними не пойдешь. Здесь нужны очень определенные руки, и, кто знает, может быть, эти руки заранее ждали спортивной сумки с похищенным. Надо немедленно поднять дела на всех, кто так или иначе был связан со сбытом, именно со сбытом, продажей-покупкой похищенных произведений живописи, особо — икон. Фарцовщики тут могли быть замешаны, возможен незаконный вывоз за рубеж. Многое возможно.

Обо всем этом, планируя завтрашний день, Вадим тоже начеркал на полях газеты. В минуты усталости его иногда настигала мысль: все! Он выработался, он ничего не запоминает.

Хорошо у Маяковского насчет вялой воблы воображения. Но поэт может дать отдых своей вобле, она отоспится и завертит хвостом, а следовательской вобле отдых не положен и времени не дано. Следователь обязан думать быстро. День — да что там день! — час, минута способствуют исчезновению доказательств, работают на преступника.

Все так, но сегодня он больше работать не может. Надо было ложиться.

Когда приходилось ночевать вне дома, Вадим настороженно ждал этой минуты. Не бессонницы он боялся. Засыпал он легко и мгновенно, как Корнеев. Боялся он кошмаров, которые мучили его в особо напряженные дни.

Почему-то никогда не снились убитые. Снились преступники. И грозили они в бредовых снах не ему — за

себя он и во сне не боялся,— они преследовали Никиту, только не теперешнего большого, а Никиту маленького. Во снах Вадим был нынешний, взрослый, а Никита оставался мальчиком, с головой золотой, как одуванчик, с высоким гладеньким лбом. Он хорошенький был, как девочка, и терпеть не мог, когда ему об этом говорили.

В кошмаре — всегда одном и том же — на Никиту медленно шел преступник, мужчина тридцати с чем-то лет, убивший женщину и двоих детей.

Трудно было объяснить, почему именно его лицо врезалось в память. Ведь встречались, казалось бы, куда более злобные, антипатичные лица. Этот выглядел довольно даже благородно, если б не скользкий, убегающий назад крысиный подбородок и — глаза. Особенно глаза, с неестественно острыми маленькими зрачками, белые глаза наркомана. Во сне он всегда медленно двигался на маленького Никиту, а Вадим, стеная от бессилия, рвался и не мог успеть, никак не мог успеть...

— Вадим, проснись! — видно, не в первый раз окликал его с дивана Корнеев.— Мычишь на всю галактику.

Вот так. А Галя как-то умела погладить его в такую минуту по лбу, и кошмар уходил, а Вадим не просыпался.

Перед тем как вновь заснуть, Вадим подумал о телефонном разговоре с Галей, о том, что завтра, кровь из носу, после управления, если вызовут, он заедет домой.

И чем это их Никита встревожил? Не думает же Галя, что такой парень вовсе без женского внимания окажется. Это вам, как говорится, не пустыня.

Ну, а с чем же все-таки — если завтра — к Чельцову?

Но «завтра» оказалось не таким уж пустым.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

— Ну, вроде все,— сказал старший сержант Андрей Петров, с удовлетворением оглядывая вольеры, посыпанную песком дорожку к кухне и красные углы кирпичей, огораживающие место выгула. Кухня тоже сверкала чистотой, и ни одна не вилась над ней муха. Отсутствие мух сразу подтвердит опытному глазу, что чистота здесь обыденна,

Коль мухи привыкли кормиться, одним чистым днем их не проведешь, будут и будут кружить — ждать отбросов.

Собаки с утра были выкупаны в речке, выгуляны, вычесаны. Дик, Амур и Буян сидели как именинники, разложив пушистые хвосты, следя из вольера за хлопотами Андрея, их проводника, отца и командира, самого близкого им на свете существа. Как известно, из всего живого на свете одна собака любит человека превыше самой себя. Найда, спокойная старательная сука, несколько флегматичного нрава (загоралась она только в работе, но уж тогда откуда что бралось!), приготовлениями к встрече гостей не интересовалась, улеглась себе спокойно спать в домике на деревянных полатях, на свежей соломе.

Как все собаки, круглый год обитающие на свежем воздухе, овчарки вовремя вылиняли, новая шерсть лоснится, лишнего жира нет, когти сточены,— опытный глаз опять же отметит, что движенья в достатке.

Нет, за собак решительно можно быть спокойным. Вид имеют. Но главное конечно же не вид, главное — работа, а тут, как говорится, порядок в танковых частях.

Теперь в области создается большой, образцовый питомник, из него будут распределять по районам хороших, говорят, даже подращенных щенков. Но ведь это теперь, а три года назад, когда Андрей Петров, почти в одно время с Никитой Лобачевым вернувшийся с действительной, с границы, принялся на пустом месте с благословения майора Фузенкова создавать свой самодельный питомничек, мало кто и верил, что будет польза от нескладных голенастых щенков.

А щенков вырастили, щенков отдрессировали. Это в их отделе первыми по области патрульные пошли по ночным маршрутам не по двое, а по одному, но с собаками. Спокойно пошли.

Вот Дик, костистый кобель с рыжеватым подпалом, как бог несет конвойную службу. Нет надобности сажать в машину с преступником милиционера.

Найда отлично работает по следу. Не так давно прибежала в отдел бабка в слезах и расстройстве — украли пуховых кроликов. Бабка не из состоятельных, для нее пропажа ох как чувствительна. Найда взяла след, сделала немалый круг и вернулась, можно сказать, чуть ли не к дому той же бабки, в сарай, к соседу, где и были

упрятаны до времени в мешке похищенные пуховые кролики.

Амур, Буян... Собак в городе знают по именам и делам, ими гордятся. О Клубе юных собаководов говорить не приходится. Андрей Петров для них, разумеется, не Андрей, а Андрей Борисович или товарищ старший сержант. Им невдомек, что Андрей Борисович мог бы думать и об офицерском звании, оторвись он от любимого дела и места, от своего питомника, мог бы подумать о лейтенантской звездочке, о большем окладе. Но он остается старшим сержантом потому, что выше звания проводнику СРС не положено. Его жена Любочка, которая учится в медтехникуме, мужа за это не корит. У них подрастают двое детишек, и для них нет большего праздника, как побывать на речке вместе с собаками. Амур, Дик и Найда приходят в радостное волнение, когда видят детенышей своего бога-проводника, хвосты ходят ходуном. Ни самому Андрею, ни собаководам из КЮСа в голову не придет бояться, что собаки обидят детей. Доведись, что не с кем бы детей оставить, Андрей смело запер бы их по вольерам под собачью защиту и ответственность и спокойно ушел бы по своим делам.

Вся семья Петровых, включая деда и бабку, местные старожилы, ребята из КЮСа, да и само начальство отдела — все хотят, чтобы об их питомнике несколько добрых слов сказали в газете. В местной «Заре» о них однажды писали, а тут такой соблазн, чтобы не только в местной...

О приезде московской журналистки Фузенкову позвонил полковник Соколов и сказал примерно то же, что в свое время Никите:

— Ну, не напишет, и ладно с ней. А вдруг да напишет? Риск-то невелик.

Фузенков так и передал Андрею, но начальству легко говорить — риск не велик, оно все-таки от собачек подальше, не так переживает.

— Ну, вроде все,— еще раз повторил Андрей, и кажется, в эту самую минуту бежевая «Волга» подрулила к калитке в невысокой сетчатой ограде и остановилась, лихо затормозив. Аж запищали тормоза. Ну да Лобачев же знал дорогу, им незачем было заезжать в отдел.

— Ух ты! — вполголоса воскликнул помощник Андрея по клубу юных, Вовка Васильков.

Вовка Васильков в свое время был из самых «трудных» подростков. Когда создавался питомник, замполит майор Несвитенко сразу посоветовал создать вокруг нового дела подростковый актив, отвлечь ребят от улицы-подворотни. Поначалу Андрей принял это предложение скрепя сердце. Думалось: питомник — одно дело, перевоспитание подростков — другое. Мухи отдельно, котлеты отдельно. В первую свою группу он набрал и хороших, успевающих ребят, и «трудных». Без «трудных» группу создавать незачем, а с одними «трудными» с ума сойдешь.

На оргсобрании будущего актива постановили ребят с двойками в четверти к работе в питомнике не допускать. Вовка к двойкам привык и, схватив очередную, тем быстрее отправился в питомник, чтобы, как он говорил, развеяться.

Между прочим, именно деланная его веселость, которой сопровождался всякий провал в школе, навела Андрея Петрова на мысль, что мальчик страдает от своих неуспехов, а стало быть, озорство и хулиганство неглубоко еще проникли в его суть.

Вовка прибежал, и Андрей, собрав всю свою решимость, встретил мальчика суровыми словами:

— Постановление оргсобрания тебе известно, сам присутствовал. Двойка по математике. К работе в питомнике допустить не могу.

А мальчик уже вошел, Дик уже приветствовал его, бегая в вольере из угла в угол. Хвост Дика работал часто и ровно, как маятник. Честный пес не мог понять, почему друг не подходит, не потреплет его за ухом.

Вовка, видимо, не сразу поверил, что так вот просто его действительно не пустят в питомник. Он довольно долго, никак не веря, смотрел в глаза старшего сержанта, и только сам Андрей знал, чего стоило ему не дрогнуть под отчаянным, умоляющим взглядом мальчика.

Вовка наконец поверил. Выражение растерянности, поначалу даже веселой, сменившейся тревожной надеждой, уступило на его лице место полному отчаянию. Он повел глазами по вольеру, как будто Дик мог ему помочь. И вдруг, не скрываясь, заплакал, повернулся и пошел, потом побежал прочь. Громко всхлипывая, аккуратно закрыл за собой сетчатую калиточку, побежал от питомника.

Но не к дому. Самое страшное показалось Андрею в том, что слезы-то были не детские. Взрослого, отчаявшегося человека были слезы.

Вовка был из тяжелой алкогольной семьи. Сколько раз приходил он дежурить и убирать вольеры вне очереди. Это значило, что у отца опять запой, он дома и буянит. Случалось, в теплое время Вовка и уроки готовил, усевшись на деревянной скамеечке, которую он сколотил, привалившись спиной к вольерной сетке. С другой стороны впритык усаживался Дик, сопел Вовке в затылок и время от времени безуспешно пытался лизнуть его в ухо. С Диком они особенно дружили.

Ну, а потом Андрей связался с детской комнатой, выяснил домашнюю обстановку Вовки, нашел ему добровольного репетитора из старших классов. Потом в отметках Вовки появилась первая за все школьное бытие четверка. Потом он окончил курсы, стал общественным инструктором-дрессировщиком служебных собак. Теперь ему недалеко уже до армии. Он хочет угадать в Душанбе, в ту школу, которую кончал когда-то Андрей Петров. Так что не простой подробностью стал в жизни Вовки Васильева малый районный питомничек, заслуги которого никак не преуменьшатся, когда войдет в силу новый, большой питомник на всю область.

Андрей полностью оценил прозорливость замполита к концу года, когда четверых «трудных», в том числе и Вовку, сняли с учета в ДКМ, а у самого Андрея обнаружились дельные, надежные помощники по питомнику, уже не удивляющиеся тому, что на свете существует «кинология», наука отнюдь не о кино, а о собаках, что лекции и научные статьи о них имеют исходным пунктом утверждение: наличие разума у собак в настоящее время не вызывает сомнений, собака обладает начатками конкретного мышления.

Добравшись однажды до этого самого конкретного мышления, Вовка спросил Андрея, как же понять это самое «конкретное».

Андрей тщательно следил за сохранностью своего авторитета в глазах ребят, поскольку это был не его личный авторитет, это был авторитет дела и службы.

В питомнике они, не считая собак, были одни, да и собаки трудились над мисками, надо думать, не подслушивали.

— Я так считаю, Вова,— сказал Андрей.— Конкретное мышление — это значит, они понимают то, что их непосредственно по жизни касается. Значение слов по этому конкретному понимают, порядок, ну да ты сам знаешь. А насчет теории относительности, к примеру, они, наверно, не поймут. Так ведь, если по-честному,— Андрей понизил голос.— Я ее тоже не особо понимаю.

...— Ух ты! Потрясно, товарищ старший сержант! — глядя на «Волгу», гулко прошептал Вовка, не то призывая Андрея восхититься, не то ища в нем опоры перед грядущими событиями.

А Петров и сам был до крайности удивлен, увидя за рулем женщину, как ему показалось, шибко молодую и шибко нарядную. Никак не ждал он корреспондента в таком обличье.

Риск невелик... Начальству легко, у начальства дел много, а у Андрея все дела, а значит, и все сердце его тут.

Увидев даму-корреспондента, Андрей оторопел и странно порадовался, что Вовка рядом. Чем мог помочь Вовка? Да ничем. И все-таки это очень важно, когда в трудную минуту рядом человек, который чувствует с тобой одинаково.

Любопытно, что Никита Лобачев, в общем-то свой в доску парень, пограничник, собаковод, сейчас не воспринимался как рядом стоящий. Наверно, потому, что он эту даму привез.

Между прочим, когда женщина вышла из машины, она показалась Петрову более серьезной, что ли. При ближайшем рассмотрении она и с лица не показалась особенно красивой. Так уж, по честному сказать, до некоторых городских девчат ей было далеко, толста, старовата и вообще...

Но именно это обстоятельство расположило Андрея и его помощника в пользу приехавшей. Ей уж в самый раз заниматься серьезным делом. И со всем доверием они повели ее по своему маленькому, образцово налаженному хозяйству.

Ни имени, ни фамилии — и то и другое не русское — Андрей с ходу от волнения не усвоил, а потому и величал ее «товарищ корреспондент», что ей, похоже, не было неприятно.

Никита, чуть приотстав, шел следом за ними тремя,

внимательно следя за объяснениями Андрея, готовый в любую минуту прийти к нему на помощь. Никите очень хотелось, чтоб корреспонденция о питомнике появилась. Во-первых, дело того стоило. Во-вторых, Никита считал себя в какой-то степени ответственным за время, потраченное уже несколькими занятыми людьми, за какие-то, может быть, опрометчиво зароненные надежды, наконец, за волнение, испытываемое сейчас чудесным парнем Андреем и помощником его, которого Андрей с помощью этого же питомника вырвал из алкогольного омута родительского дома.

Оглядев кухню (без мух!), дрессировочную площадку (с лестницей, барьером, штакетником, бумом и даже канавой!), все трое подошли к вольерам с собаками, чьи хвосты на сей раз выражали не восторг, но настороженность: чужие люди, они и есть чужие, хоть и со своими пришли.

Андрей («Прямо-таки молодец,— отметил про себя Никита,— все же сказывается преподавательский навык») не длинно, толково рассказывал об обязанностях и работе каждой собаки. Как всегда, с особым удовольствием Андрей говорил о Найде. Он очень любил следовую работу.

— Пуховые кролики,— обернувшись к Андрею, перебила его Регина. Никита увидел, что она улыбается.— Но, товарищ Андрюша,— можно мне вас так называть? — вы же второй раз рассказываете мне о пуховых кроликах. Ну, а какое-нибудь более серьезное преступление вашей Найде доводилось раскрывать?

Андрей явно растерялся. Еще секунда — он обернулся бы к Никите, но Никита был начеку, потому что и его удивили довольно наивные слова корреспондентки.

Да, Петров дважды упомянул о пуховых кроликах, но оба раза по делу. Когда говорил вообще о следовой работе и когда помянул о впечатлении, произведенном образцовой работой милицейской собаки на население. Конечно, для хозяйки дачи с каминами пуховые кролики пустяк, но для одинокой старухи с малой пенсией они единственное средство подработать. И наконец...

— А у них в районе за последнее время нет опасных преступлений, и они вправе гордиться этим,— заметил Никита.— Кроме того, когда собака хорошо берет след, она одинаково точно приведет вас и к мешку с кролика-

ми, и к убийце или к трупу, без коего некоторые читатели не мыслят себе очерка о милиции. Что ж делать, нет у них в городе трупов.

Впервые за время знакомства Никита говорил так. Регина поняла, что он всерьез рассержен.

— Ну-ну, товарищи, не сердитесь,— миролюбиво сказала она, обращаясь ко всем троим, в том числе и к Вовке. Парень был немало польщен и тотчас ответил ей улыбкой.— Нам, журналистам, отлично известны несколько примитивные взгляды читателей, но что ж поделаешь, иногда приходится потрафлять.

Она с удовольствием произнесла последнее слово, а Никите оно показалось куда как некстати в ее литературной, вполне современной речи.

Андрюше Петрову немного было нужно. С радушной готовностью он принялся рассказывать о конвойной службе Дика, о том, что молодые сотрудники, выходя в патруль, наперебой просят в напарники Амура. Заговорил он было и о том, что собаки многим «трудным» помогли, но тут на Вовку напал такой кашель, что даже Андрей, готовый ради поднятия собачьего авторитета на все, даже он догадался.

Да и Регина, едва заслышав словечко «трудные», посмотрела на часы.

Никита подивился про себя: скольким даже и разумным людям то ли кажется незначительным дело воспитания подростков, то ли они склонны считать, что дело это чье-то, но уж никак не их обязанность, хотя зачастую речь идет об их собственных детях.

— Я очень вам благодарна,— сказала Регина Андрею и Вовке.— Вы не удивляйтесь, что я не записывала, но память у меня профессиональная, а кроме того,— она оглянулась на Никиту,— лейтенант Лобачев на обратном пути не откажется повести машину, а я кое-что замечу себе, ладно?

Она честно старалась, чтоб все были довольны, но Никита видел ее не первый раз, помнил ее дом и заявление о компасе и ее близких. А потому замечал и это ее старание.

Она поняла, что он заметил.

— Ну, хорошо, товарищ Андрей,— несколько протяжнее, чем обычно, проговорила она, все-таки вынимая блокнот из замшевой куртки с многими «молниями».—

Давайте запишу родословные данные по вашим питомцам и, пожалуй, все.

— А у них нет родословных,— просто сказал Андрюша Петров.— Родителей их мы знаем, но у этих щенков родословных нет.

— То есть как нет? — Блокнот опустился. На этот раз Регина была непритворно поражена.— То есть как это нет родословных? А как же вы их выставляете?

— Мы их не выставляем,— сказал Андрей. Погасли глаза его и голос.

— Почему же вы не взяли в ДОСААФе приличных щенков с родословными?

— Потому что щенков выращивали наши любители, а многим дорого тридцать пять рублей за щенка платить. Да и за такие деньги достать непросто. Заводчики не любят в область продавать.

— Но как же писать о каких-то беспородных собаках?

Она возмущалась с полным сознанием своей правоты. Никита смотрел на умолкших Андрея и Вовку, на их непризнанных питомцев, у которых начатков конкретного мышления вполне хватало, чтоб понять — их отцам-командирам приходится туго, чужая на них нападает. В широкой груди Дика зарождалось глухое ворчание, которое пока слышал только Никита. Никита подумал, что Дик вот-вот закипит, да и облает-обложит, как следует быть, приезжую, а та как бы не обозлилась. Ну как ославит на всю Россию, что их собаки дурные?

За волнением, за перепалкой никто не заметил, что неподалеку за ними стоит и слушает Фузенков. Подошел он пешком — надо думать, сказали, что «Волга» проехала в питомник. Ветерок дул на него, собаки не учуяли, да они его и хорошо знали.

— А вы, товарищ корреспондент, на выставках с показом работы служебных собак бывали? — разом вступая с середины разговора, спросил Фузенков.

Неожиданное появление, полковничьи погоны, ряды орденских планок на кителе, а главное, хозяйски-спокойная манера держаться и говорить произвели впечатление на гостью. Никита это усек и возликовал в душе.

— Так вот, если бывали, то могли заметить. Ваши аристократы с родословными на рингах покрасуются,

медали схватят да домой, по диванам отдыхать. А к площадкам привезут машину метисов, беспородных, как вы выразились, они и показывают народу, как должна работать служебная собака.

Едва подал голос Фузенков, все четверо повернулись к нему, оказавшись как в одном строю, весьма, впрочем, разнокалиберном. Собаки на знакомый голос замели хвостами по половицам. Дик приветственно слегка подвыл.

— Я ничего не хотела сказать плохого о ваших собаках...— спрятав минутную растерянность, широко улыбаясь, начала было Регина.

— А так случается иногда, не хочешь, да скажешь,— спокойно перебил Регину Фузенков.— Словом, если дополнительная консультация понадобится, милости просим, всегда пожалуйста. А то и так можно, чтоб вам себя не утруждать. Коли надо, и в Москве в управлении проконсультируют. Там питомник большой у нас организуется, там и наш опыт, между прочим, по другим районам области распространяют.

Фузенков сам проводил ее до «Волги», сам за всех поблагодарил. На Никиту взглянул мельком, в его адрес лишь коснулся фуражки двумя пальцами. В коротком взгляде его Никита — увы и ах! — увидел насмешливые огоньки и понял: если не будет этой злосчастной корреспонденции, на всю область обсмеет его полковник, да, пожалуй, есть за что.

«Волга» ушла. Фузенков запер калиточку, вернулся к своим ребятам, которые стояли около вольеров, как оплеванные.

— Чего понурились? — добро и строго спросил Фузенков, равняя в эту минуту старшего сержанта и мальчика.— Все у вас управно и не за что вам краснеть! Собаки наши — достойные рабочие собаки. Я за Найду и Дика двух медалистов не возьму. Продолжайте службу, и впредь без меня никого постороннего в питомник... Сегодня я сам виноват. Понадеялся.

Вспомнив, как поглядывала эта корреспондентка на Лобачева, как усаживала его рядом с собой на переднем сиденье, Фузенков сердито подумал: «Дурак молодой! Нужны ей собаки... Уж коли на то пошло, вез бы прямо в лес, благо погода теплая, подсохло». Вслух сказал:

— Понимает она в собаках... На кой леший он ее привез?

Тут высказался Вовка:

— Не он ее привез, она его привезла. За рулем-то она. А собаки наши точно нужны ей, как мне стригущий лишай.

Фузенков прищурился на Вовкину поправку. Заметил непонятно:

— Если она за рулем, тогда дело хуже.

Бежевая «Волга» тем временем летела из города как ошпаренная. Никита на этот раз не возражал против предельной скорости. В питомник они приехали поутру, сейчас на черном циферблате значилось одиннадцать ноль-ноль, но Никите казалось, что позади остался целый рабочий день. Как манны небесной ждал он минуты, когда выйдет наконец из этой «Волги» и вернется к нормальным делам, которых всегда невпроворот.

За городом начались леса, вплотную подступавшие к шоссе. Весна выдалась богатая дождями, и молодая листва прямо-таки сверкала на солнце.

— Давайте-ка передохнем,— не спрашивая согласия, сказала Регина и свела машину на самый край обочины, к кювету.

Что он мог сделать? Не мог же он сказать ей, что торопится и пусть она, в крайнем случае, высадит его у любой будки ГАИ.

Мотор затих, стал слышен лес и птичье пенье.

— Сделаю я заметку о ваших псах,— с ленивой досадой сказала она, положив на опущенное стекло левого окна локоть и легонько постукивая по баранке пальцами правой руки с длинными перламутровыми ногтями. В моторе с такими ногтями не покопаешься. Ну, надо думать, у папаши механик для этого есть.

— Сделаю я заметку,— повторила она.— Не для того же я потратила полдня, чтоб просто с вами покататься.

— Ну что вы! — искренне воспротивился такому предположению Никита.— Кто же бы мог такое подумать?

— Ну и зря! — резко оборвала она.

Тоскливая тревога уже не в первый раз овладела Никитой. Не умел он поддерживать этот странный, по видимости шутливый, а чем-то колючий разговор.

Он смолчал. Она взглянула на него. Какие-то чертики заплясали в темных глазах. Она сидела сейчас очень близко от него. В комнате, даже за столом редко окажешься в такой близости. Свет в кабине был рассеянный, она выглядела моложе, чем под открытым небом на беспощадном солнце. Какое-то напряжение исходило от нее.

— Можете вы хоть на пять минут отвлечься от ваших собак? — сказала она почти просительно. Нагнулась, достала откуда-то из-под коврика журнал большого формата, в броской, яркой глянцевитой обложке. Никита прочел — «Плейбой».

О журнале этом — развлекательном, для мужчин — он читал когда-то в «Литературке», увидеть, естественно, нигде не мог, ему стало любопытно, он отвлекся от собак да заодно и от своей соседки.

Никита не так давно овладел радостью свободного, без словаря чтения на английском и по привычке погрузился было в первый попавшийся текст на обороте обложки.

Она рассмеялась.

— Ну, мой милый, если вы будете упражняться в чтении, наш перекур несколько затянется. Смотрите иллюстрации. Их полиграфия стоит того.

Она сама перевернула несколько страниц.

Примерно в середине номера, на развороте, в великолепных красках была изображена голая женщина. Она была так прекрасна, что не могла, подумалось Никите, возбудить никаких эмоций, кроме чистого восхищения. Как статуя. Неужели такая красота существует на земле? Так наверно же существует. Ведь это фотография.

— Да оторвитесь от этой красотки, в других номерах есть и попикантнее. Если интересуетесь, можете полистать у меня подшивку,— с легким нетерпением сказала Регина.— Откройте следующую страницу. Там эта же девица, так сказать, в действии.

Он открыл. Много небольших четких фотографий, одна за другой. Как слайды. А может, это и есть слайды...

— Что-что, а в выдумке не откажешь, не правда ли?

Никита отнюдь не был стеснительным мальчиком, однако от слов этих горячая волна румянца залила его

лицо, уши, шею. Он почувствовал, что за ним, за его впечатлением от этих снимков — ведь это же фотографии! — жадно наблюдает женщина, а это было противно.

— Ну, для первого раза, кажется, хватит!

Она рассмеялась коротким хрипловатым смешком, взяла — слава богу! — у него из рук журнал и снова сунула под ковер.

Когда Никита взглянул на нее, его поразило беспокойно-алчное выражение лица, обычно столь самодовольного. Какую-то секунду она смотрела на него выжидательно. Он понял это по-своему и, показав на часы, сказал:

— Поехали, поехали! Я как-то не подумал, что все это дело столько времени потребует. Вы меня высадите у первого ГАИ.

— Вы прелесть, Никита,— сказала она после некоторого молчания, поворачивая ключ.— Ну ничего. Понемножку, понемножку, как говорила бонна о своем восьмилетнем воспитаннике, да? — Она опять посмеялась коротким смешком. Машина уже выбралась на асфальт и неспешно — неплохо бы и прибавить газку — шла к Москве.

Никита не знал, кто такая бонна, и плевать ему было на эту бонну с ее воспитанником. В окна залетает лесной ветерок, дышать стало легче, и скоро наконец его епархия. ГАИ она проехала, видно, считает долгом до места довезти. Скорее всего, сама на дачу едет, сегодня суббота, тогда ей по дороге.

— Ну, а как же компас? — не поворачиваясь, спросила она.

— У меня уже, у меня ваш компас! — с радостью объявил Никита.— Все в порядке, цел он и исправен. Вернем вам ваш компас. Все, как я и думал. Никакой это не вор, а так пацан, глупость детская.

— А вы можете сегодня же мне его вернуть? Вернее, не мне,— поправилась она,— а маме. Вещи — ее сфера. Мы заедем сейчас, вы возьмете компас и вручите его маме. Идет?

У Никиты сердце упало. Он устал. Неизвестно от чего, но устал смертельно.

— Я должен получить разрешение начальника отдела.

— Насколько мне известно, найденные вещи возвращаются владельцам.

— Разумеется. Только мы вызываем потерпевших к себе, проводится опознание, оформляются соответственные документы...

— Потерпевшая — старый человек. Неужели нельзя дополнительно не трепать ей нервы вызовом в милицию?

Никита подумал, что заявление подписано отцом Регины, но пусть уж полковник решает, как деликатнее закончить эту затянувшуюся, копеечного значения эпопею. Ох, Пашка, Пашка, наделал ты хлопот со своими круизами и кораблями!

Надо думать, полковнику Соколову Фузенков уже звонил, потому что начальник встретил Никиту словами:

— Ну, с журналистки твоей навряд ли толк будет. Не показались ей наши собачки.

На вопрос Никиты он ответил:

— Отвези, вручи, будь они неладны, да не забудь оформить. Хорошо бы покончить с этим делом добром и как можно скорее.

На даче они вошли опять в ту же комнату-холл с камином, Регина впереди, Никита за ней, держа компас-барометр в руках бережно, как чашу с дарами. Опять там был адвокат Семен Яковлевич, запускавший песенки с магнитофона. Только камин не горел, да из-за дверей доносился повелительный голос старой хозяйки и еще женские голоса. Изъяснялись довольно громко, легко можно было понять, что в доме готовятся к приему гостей.

Никита с облегчением водрузил компас на тот же овальный столик, вынул из кармана кителя припасенный бланк расписки. Семен Яковлевич приветствовал его как старого знакомого. Регина прошла куда-то, вернулась уже без куртки, в длинном, до пят, шелковом черном платке с кистями и вышитыми белыми цаплями.

Никите вспомнилась мать с ее нехитрыми мережками. Где ж было ей вышить, ей хоть бы поглядеть таких белых выпуклых цапель на черном шелку.

— Все так, как я и думал,— ответил Никита на вопрос старика относительно найденной пропажи.— Это не воры. Пацаны-подростки.

Старик усмехнулся.

— Многообещающие пацаны.

Он был прав формально.

— Вы знаете,— живо отозвался Никита,— тот, кто брал, он неплохой мальчик. Он еще не испорченный, в нем до удивления много детства. Кроме того, вся эта ребятня в правовом отношении совершенно безграмотна. Им кажется, что взять такой компас-барометр — это пустяк, это не значит совершить кражу. Он еще гордился, что ничего на террасе не попортил, не повредил...

Никита коротко рассказал Качинскому всю нехитрую историю Пашки Щипакова, рассказал про его мать. Сказал, что она отлично работает, сейчас получает большую премию, мечтает выхлопотать путевку на Южное побережье, пусть парень посмотрит море.

Никита рассказывал охотно. Уж кому-кому, как не старому юристу знать, сколь разнообразны бывают изгибы человеческих судеб.

Никита так и сказал:

— Вы-то понимаете. Мы с вами одно дело делаем.

Старик опять усмехнулся, на сей раз в его усмешке было больше яду.

— Не совсем одно,— сказал он, прищурясь на Никиту.— Я в основном защищаю людей, а вы в основном, простите за жаргон, сажаете.

— В основном сажаем?..

Никита опешил и примолк.

Пока они разговаривали, Регина бродила по комнате, вся спрятавшись под черный шелк, обеими руками придерживая платок под подбородком. Похоже, Пашкина история ее совершенно не интересовала, но она все же слушала, потому что, едва Никита замолк, она подошла к дверям и, распахнув их, крикнула:

— Мама, идите же, получайте свой бесценный барометр.

Старуха вошла не сразу. Матовая желтизна ее лица сейчас сменилась ярким румянцем, наверно, только что от плиты.

— Эта девка ничего не может,— с сокрушением сообщила она дочери.— Если б не тетя Соня, не знаю, что б я делала. Ну, так что же у вас, молодой человек? — Она села к овальному столику.— Значит, все-таки нашли? Это хорошо.

В отличие от дочери, она с вниманием выслушала историю исчезновения и возвращения компаса.

— Ну что ж, отлично,— сказала она.— Значит, вы возбуждаете уголовное дело.

Она не спросила, она констатировала непреложный для нее факт.

— То есть как уголовное дело? Против кого? Нету тут оснований для уголовного дела. Вот компас. Я же объяснил положение. И Семен Яковлевич, он юрист, подтвердит. Мальчику можно сломать всю жизнь. А мать? Я уверяю вас, он уже получил страшный урок, зачем же огласка...— сказал оторопевший Никита.

— Молодой человек, вы удивляете меня,— спокойно прервала его старуха.— Если уж вы, сотрудник милиции, не считаете себя обязанным соблюдать закон, то я от него не отступлюсь ни при каком положении. Вся эта лирика меня мало интересует. Совершена кража, и вор должен быть наказан.

— Мальчик наказан! Я слово вам даю, он уже жестоко наказан. Да и дело-то не стоит выеденного яйца. Вещь возвращена.

— А где же закон? Мы во всяком случае заявление подадим и не намерены защищать от огласки вашего вора,— неумолимо проговорила старуха.— Что до матери, то пусть не воспитывает преступников.

Впервые в жизни Никиту обуял подлинный ужас. Ведь он сам, можно сказать, своими руками, отдал Пашкину судьбу этой старухе, от которой не дождаться ни пощады, ни прощения. Можно было бы просто вернуть проклятый компас как найденный, ни о чем не оповещая.

Но разве он мог предположить? В дурном сне не могло ему явиться, что в таком положении, в таком доме Пашку Щипакова и его мать обязательно захотят обесславить.

Семен Яковлевич ни словом не участвовал в разговоре, перебирал магнитофонные кассеты, нет-нет да и ставил какие-то песенки. Регина так же неторопливо прохаживалась по холлу.

Холл был такой большой, что даже она, высокая, крупная, здесь как-то скрадывалась. Особенно в черном платке. Никита сейчас смотрел ей в спину, нетерпеливо ждал, когда она повернется, пойдет назад, в его сто-

рону. Не могла она не слышать всего, что было говорено. В этом холле, наверно, во всем этом жестоком доме, только она могла помочь семье Щипаковых. Не к хозяину же идти, Никита его никогда и не видел. Да и хозяин — муж этой старухи,— чего от него можно ждать?

Со всей силой отчаяния смотрел Никита в шелковую с цаплями спину. Наверное, она почувствовала.

Повернувшись, она сразу посмотрела на Никиту, приняла его молчаливый вопль о помощи. И через всю комнату улыбнулась ему ободряюще, как руку протянула. Если судить по лицу, она просто была счастлива.

Если б Никита оглянулся на Семена Яковлевича, он увидел бы, что тот с немалым интересом рассматривает свою племянницу. Но Никита боялся оторвать глаза от Регины, боялся оборвать ниточку надежды.

Все с той же счастливой, гордой улыбкой она кивнула Никите, подошла к матери, на миг положила ей руку на плечо и проговорила негромко:

— Мама, мы не будем ни о чем писать!

Говорила матери, а смотрела на Никиту.

За все их знакомство это была единственная минута, когда душа его с добром, благодарностью и уважением открылась ей навстречу. Он ощутил себя виноватым, что видел и подозревал в этой женщине только плохое, виноватым в том, что только заметка о собаках ему от нее нужна...

Старуха сначала опешила, потом возмутилась.

— Ты с ума сошла! — закричала она, снизу вверх глядя на дочь. Не будь на ее лице кухонного жара, она, наверное, покраснела бы, как кумач. Она крикнула, и в ее довольно низком, монотонном голосе неожиданно прорезались резкие, визгливые ноты: — Ты с ума сошла! Об этом же будут говорить люди. Этот проклятый байстрюк сам будет хвастаться. С места мне не сойти! Если их не учить, завтра они растащат полдачи!

— Тише, мама! — чуть слышно проговорила дочь.— Вы слышали, что я сказала? Писать мы ни о чем не будем.

— Разумно! — вдруг донеслось от камина.

Услыхав любимое словечко брата, старуха притихла. Недвижно, ни на кого не глядя, она посидела с полминуты, потом молча поднялась, сказала уже обычным своим ровным голосом:

— Надеюсь, ты не забыла, в шесть часов у нас гости.

Подписала бумагу и ушла, разумеется не попрощавшись с Никитой.

Никита был счастлив, как только может быть счастлив человек, которому в одночасье и объявили и отменили жесточайший приговор.

— Ну, а теперь, когда благодаря нашей Региночке гуманность восторжествовала и страсти могут утихнуть, расскажите мне толком о вашем подопечном и его матушке,— с отеческой теплотой обратился Семен Яковлевич к Никите.— Давайте-ка сюда, к камину, он хоть и не горит, а все равно уютно, люблю около него сидеть. Магнитофончик на отдых до вечера.— Он опустил аппарат со стола на пол.

— Дядя Сема! — воспротивилась было Регина.

— Региночка, мы с Никитой Ивановичем оба юристы, и нам это интересно. Вопрос несовершеннолетних один из краеугольных, так ведь? — это к Никите. Никита кивнул с готовностью. Старик был прав на все сто.— Да мы быстро.— Это к Регине.— Я просто несколько вопросов задам, мне хочется для себя уточнить некоторые психологические детали. Так вы считаете,— это к Никите,— что ваш Пашка и его мать могли иметь неприятности?

— Конечно, могли,— несколько удивленно подтвердил Никита.— Комиссия по делам несовершеннолетних вполне могла бы заинтересоваться...

— Вы считаете, все это дорого бы обошлось его матери?

Никита усмехнулся, ему стало холодно при одной мысли, что могло бы произойти в маленькой семье Щипаковых.

— Дорого обошлось...— повторил он.— Вы не представляете, что бы с ней было. Она за своего мальчишку жизнь отдаст, не то что...

— Вы с ней хорошо знакомы? — спросил Семен Яковлевич.— Не заочно, не по трафарету характеризуете ее?

— Нет. Она относится ко мне с доверием. Знаете, ко мне на участке вообще родители неплохо относятся,— рассказывал Никита. Он действительно не раз думал, что на какую бы работу его начальство ни поставило,

пока он живет в своем районе, родители все равно с ребячьими делами будут ходить к нему.

— Не зря же относятся, вы, наверно, и выручаете своих подопечных?

Семен Яковлевич посмеялся. Посмеялся и Никита.

— Только вы не думайте,— спохватился он,— что такие случаи, как с компасом, у нас часты, у нас такое редко случается, все же профилактика...

— Значит, мать за своего — Пашкой его зовут? — жизнь отдаст, Волга впадает в Каспийское море, и так далее,— задумчиво проговорил старик.— А что, простите, кроме жизни, ей за него отдать? Зарабатывает-то она всего ничего...

— В общем-то, конечно, так,— нерешительно поддакнул Никита, хотя до сих пор заработок Щипаковой не представлялся ему уж таким ничтожным. Многие так зарабатывали и обиделись бы, если б их сочли бедняками. Но в этом холле с камином понятия о материальном благосостоянии ощутимо менялись.— А сейчас она премию получила,— вспомнил Никита.— Я говорил тут, если вы слышали. Мечтает парня в лагерь послать, сюрприз ему сделать.

— Ну какая там премия,— протянул Семен Яковлевич.— Хотя для нее это, может быть, и ощутимо.

Никите становилось все неприятнее говорить о Щипаковой, как о какой-то обиженной-неимущей. В который раз мысленно посулил он черта Пашке, столько из-за паршивца мороки создалось.

— Она месячный оклад получила,— сказал Никита.— Такая сумма не только для нее, но и для меня, холостяка, была бы ощутима.

— Как, как вы сказали? — Семен Яковлевич оживился.

— Я сказал, что не так уж мало она зарабатывает и такая премия и мне бы, и многим кстати бы пришлась, не столь она и мала,— со странным чувством нарастающей обиды не только за Пашкину мать сказал Никита.

— Знаете, мой друг, если вы будете всех малых грешников покрывать, вам, боюсь, не видать премий.

Старик засмеялся, как видно, его забавляла горячность молодого собеседника.

— Ну уж как-нибудь,— примирительно сказал Никита.— Сладится все. Главное, чтобы без огласки. Ну что

парню трещину в биографии делать? Разве нельзя без этого обойтись?

— В общем, вы, по-видимому, правы,— погасив ладонью внезапный зевок, подытожил Семен Яковлевич их, на взгляд Никиты, беспредметную беседу. Старик нагнулся, снова вытащил на свет божий магнитофон.— Теперь послушаем песенки?

— К черту песенки! — объявила Регина, поднимаясь.— Пройдемте ко мне, Никита. Здесь Семен Яковлевич никак не может забыть, что вы юристы, а мне тоже хотелось бы выяснить кое-какие психологические детали.

Никита довольно неловко попрощался со стариком и побрел за ней понуро. Только и грело его сознание, что в кармане лежит бланк с подписью неумолимой старухи. Ох, и старуха! Такой не попадайся на пути, переедет и в землю вдавит, как танк.

Комната Регины оказалась, к счастью, тоже на первом этаже. Никита бешено устал, он непереносимо устал от этого суматошного дня и хотел только одного: как можно скорее очутиться если не дома, то хоть в отделе, чтоб кончилась наконец эта пустопорожняя суета.

Войдя в комнату, он даже не садился, встал у дверей, искренне недоумевая: ну что еще от него нужно? Он старался сделать все как лучше, что еще от него надо? Но к Регине он испытывал доверие и благодарность за бесценную поддержку в трудную минуту.

— Бедный вы мальчик! — проговорила она негромко и протяжно, разглядывая Никиту.— Вас подвело как от болезни, даже тени под глазами легли. Ну можно ли так себя тратить?

В голосе ее звучала забота и участие, но если б Никита пригляделся, он увидел бы в лице и выражение алчности, смутившее его сегодня в машине.

— Понимаете ли вы, по крайней мере, что я подарила вам судьбу вашего Пашки? — после некоторого молчания спросила она. Теперь уж и в голосе ее появились нетерпеливые нотки.

Он нелепо стоял у двери, не зная, что отвечать. Не благодарить же казенными словами, а других у него не находилось. Да не всюду и нужны слова.

Он хотел это сказать, но не успел.

— Вы вообще хоть что-нибудь понимаете? — шепо-

том крикнула она. Никита не представлял себе, что без голоса можно так крикнуть.

Они стояли близко друг к другу, глаза в глаза.

Только теперь Никита понял. Понял все, с первой их встречи до журнала в машине, до Пашкиного спасения. Он мог бы, кажется, ударить эту женщину, если б не ее взгляд. Все пройдет, и многое не сохранится в памяти, но никогда не забудет Никита отчаянной мольбы, обнаженного, обжигающего желания, с каким звала его эта женщина.

Никита тяжело, трудно отвернулся от нее, вышел из комнаты и почти побежал по коридору, благо не первый раз был в доме и пластмассовые подошвы не грохотали. По аллее к калитке он тоже почти бежал, как будто и здесь, под вольным небом, его жгли, преследовали зовущие глаза.

Да так оно и было. Распахнув оконные занавески, она смотрела ему вслед. Ненужный теперь платок упал, белые цапли смялись.

Когда мать окликнула ее из коридора, она вышла не горестная, нет. Она понимала: так убегают от того, кого боятся, а боятся того, кто может победить.

Скоро должны были съезжаться гости, они с матерью прикинули, кого с кем посадить. Только неучи думают, что достаточно поставить на стол выпивку-закуску, а остальное приложится. Людям нужен хороший собеседник-сосед и интересная тема на всякий случай, чтобы не через весь стол кричать.

Но на этом ее хозяйские заботы закончились. Она пришла снова к Семену Яковлевичу, села в кресло, разложив на подлокотники руки. Руки отдыхали от надоевших платков. А самой ей не хотелось отдыхать, не хотелось расставаться с возбуждением, с уверенностью, которая пришла к ней сегодня, сначала в машине, а потом в комнате.

— Как вы относитесь к такой мысли, дядя,— сказала она,— убегают от того, кого боятся, а боятся того, кто может победить?

— Разумно,— одобрил Семен Яковлевич.

Магнитофон с лентами был наготове, стол, судя по затихающим в глубине дома голосам, тоже.

...А Никита в это время докладывал полковнику Соколову, что дело кончено добром и миром, парню био-

графии не попортят. Словом, обо всем, что касалось дела и семьи Щипаковых, он доложил.

Полковник задумчиво смотрел в открытое окно, за которым еще бушевал долгий июньский день. Сплетя пальцы, Соколов положил руки и грудью оперся на стол. Лицо у него было утомленное, сегодня, как видно, и ему досталось, даром что суббота и мирные, так сказать, граждане спокойно гуляют с утра.

— Какой же вывод? — вслух размышлял полковник.— Раз уж решили поберечь Щипакову и будущие отношения ее с сыном, а это правильно решили, ей ничего не говорите. Однако ж добиться, чтоб никаких развлекательных путевок парню не доставала. А то, гляди, не понравилось бы ему. Он, значит, уже при коммунизме живет, по чужим квартирам шарит, чужие вещи, как свои, берет, а его не только что в колонию не отправляют, а еще и путевкой поощряют. С парнем разговор жесткий провести, чтоб понял, что к чему, чтоб оценил и, как говорится, усек. Это первое.

Второе. Необходимо подростков с правовыми нормами знакомить не от случая к случаю, а систематически, чтоб результативно. Они ведь многого не понимают, думают, раз они подростки, так к ним и доступа нет. Правовые знания внедрять необходимо. С этой точки зрения по щипаковскому случаю мне докладную со всеми соображениями напиши. Вот так.

Полковник откинулся от стола, выдвинул ящик, достал новую пачку сигарет. Взгляд его упал на ноги стоявшего сбоку Никиты. Брови полковника поднялись.

— Это что? — Указательный палец, как пистолет, был направлен на Никитову обувку.

Поскольку палец указывал, а полковник ждал, пришлось отвечать.

— Вельветы.

— Вижу, что не кирза. Вы бы, товарищ лейтенант, еще золотой галстучек в шелковых рыбках к форме присовокупили.— Когда начальник поднял глаза на Никиту, ни во взгляде его, ни в голосе не было ни тени шутки.— Смотрите, Лобачев! Вы мне вообще сегодня не нравитесь. На операции не были, а помятый какой-то. Может, пили?

— Ну уж нет! Чего не было, того не было!

— А что, значит, было, то уж было? Так вот, чтоб это было в последний раз!

Никита выбрался наконец и из отдела. Голова у него распухла, и поверх всего сегодняшнего сумбура прочно легла одна мысль: «Завтра же, немедленно купить самые что ни на есть старомодные, узконосые. В уцененных товарах да найду. Чтоб я еще...»

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

День начался с неприятного. С боли. С напоминания. Не то чтобы Ирина не терпела боль, она как раз умела справляться в болью. Из четырех с лишним лет, проведенных на переднем крае, почти два года Ирина провела в госпитале, но выдержке научил ее не только опыт собственного страдания, сколько люди, которые безропотно терпели и умирали вокруг нее. Они не позволяли себе роптать, жаловаться, мешать окружающим. А если они могли, значит, это вообще возможно.

Преследовавшая ее ныне боль была неприятна тем, что ее нельзя было просто перетерпеть. С ней, видите ли, надо было считаться, о проявлениях ее требовалось докладывать врачу, делать рентген коленной чашки и бедренной кости и анализы крови и... Ох! Как же это тошно и скучно! Боль терпеть Ирина умела. Она не умела болеть.

В этом семестре у нее по субботам не было в институте часов. В прежние годы сдвоенные выходные дни она непременно проводила в маленьких пеших путешествиях, с рюкзаком, с ночевками в незнакомых деревнях, а то и в лесу, если позволяла погода. Такие «выходы на землю», как называла она свои прогулки, могуче возвращали ее в молодость, она не уставала, а набиралась сил.

Не обязательно по Московской только, Ирина на дальних автобусах выбиралась и в другие области. Побывала в Калининской. Верховья Волги, удивительной красоты рельеф земли. Сюда достигают отроги Валдайской возвышенности. С холмов, то полого-зеленых, то малиновых от цветущего иван-чая, можно и малую речку видеть далеко-далеко во многих излучинах. Особенно красива бывает она в раннеутренние часы или на закате,

когда в цветущих либо поблекших, смотря по времени года, берегах, как бы не связанных меж собою единым течением, отдельно и ослепительно пламенеют в водной глади солнечные костры.

Земли тверские, новгородские, Ростова Великого и дальше, дальше на север, по Двине и до Пундоги, и до самых Соловков Ирина знала хоть и не так, как хотелось бы, но все-таки хорошо, потому что пешком исходила немалое множество километров, благодаря судьбу за то, что война сохранила ей ноги, неутомимые, как у крестьянской лошади или пехотинца.

Ей думалось, художники ходят же по музеям, а историку — вся земля музей, время оставляет на земле следы, их можно открыть не для людей, так для себя. Не под каждым холмом лежит Троя, но без веры не вскроешь того холма, где Троя лежит.

Кто же думал, что через тридцать без малого лет, когда побледнели, слились со здоровой кожей рубцы от ранений на виске, на ногах, на левой руке,— была у нее такая дурацкая бабья привычка заслоняться под обстрелом левой рукой,— кто бы предположил, что через столько лет аукнется ей бой за Житомир, и сквозное пулевое бедра в этом бою, и касательное — коленной чашки. Все аукнется. И будет много бессонных ночей, а раньше она спала как сурок. И будут случаться месяцы в гипсе, и будет болеть под мышками от костылей. А самое главное, с чем не сразу — ох не сразу смирилась она, да и смирилась ли? — закроется для нее вольная земля под ногами, речные излучины, росная трава, по которой из всех людей ты первая прошла этим утром.

Поначалу вспышки болей, гипс и костыли она восприняла как нечто единовременное. Потом пришлось понять — заболевание хроническое, с ним жить.

Галя Лобачева, работавшая к тому времени в клинике, говорила с Ириной без скидок.

— Костное разращение — это что: приличный синоним неприличного слова «опухоль»? — спросила Ирина.— И почему я должна регулярно проверяться?

— Потому что единый бог, как говорила моя покойная свекровь, знает, что получится — и получится ли? — из этого разращения. Но что бы ни получилось, я полагаю, вы захотите об этом знать. И между прочим, с посторонним мне больным я побоялась бы говорить

столь откровенно. Многие склонны к панике, но я знаю, тетя Ира, вы не из их числа. Все-таки наш брат, медик.

— Ты меня не улещивай. Все равно не буду я к тебе ездить через всю Москву,— сварливо возразила Ирина.— Не люблю я будок с пропусками, и хлопот, и всего такого прочего. Да и вообще. Старый человек — как старый дом. Не ковыряй его, он и простоит сто лет, начни венец менять — весь в труху рассыплется. Старому что ни меньше по врачам ходить, то лучше.

Ирина догадывалась, конечно, что неполадки с ее злосчастной ногой вызвали великий перезвон в семье Лобачевых-Борко. Иван Федотович тогда же дал ей слово, что никуда за пределы семьи разговор о ее хвори не пойдет («С этими самыми раками — слово-то какое, того гляди, обговоришься! — все с ума посходили. Только похожим забрезжит, сейчас весь институт начнет вздыхать и жалеть, на двух ногах в гроб вгонять»). В этом подходе он был совершенно с Ириной согласен.

Но Ирине хотелось, чтоб и свои забыли о ее неполадках, а они не забывали. Она толковала про старый дом и венцы, Галя слушала ее с профессиональным терпением врача, отметив мысленно, что слова эти тетка Ирина, как видно, не по разу уже говаривала себе и своему Ваське, а стало быть, нога ее тревожит, сколько бы она ни оборонялась от врачей.

Через несколько дней после этого разговора Галя позвонила и сообщила что через всю Москву ездить не придется, не будет и будок с пропусками. В районной поликлинике, которая по прямой в восьмистах метрах от Ирининого дома, работает хирург Михаил Николаевич, по фронту знакомый Борко, так уж будьте любезны, тетя Ира...

Чем старше человек, тем труднее вписывается он в габариты новых знакомств, а вот поди ж ты, и с Михаилом Николаевичем Потаповым, и с его пышной и пышноволосой биологичкой-женой Ирина сошлась легко, чему немало способствовала член их семьи — доберманчик Гера, которую за узкую длинную морду Ирина прозвала «утюгом» и «муравьедом».

Потапов, бывший начальник фронтового госпиталя, обрел у Ирины прочный авторитет после первого же их разговора касательно сердечных снадобий. Разговор Ирина завела по совету-предписанию Гали.

— Бывает одышка и сердцебиение. Что принимать, кардиамин или кардиовален?

— Можно кардиамин. А можно и ничего не принимать.

В общем, взгляды у них оказались примерно схожие, к Потаповым Ирине было легко ходить, здесь ее не ждали сочувственно оберегающие слова и взгляды, от которых здоровому сделается знобко.

— А чего тебя жалеть? — сказал однажды Михаил Николаевич, рассматривая на свет свежий снимок коленного сустава.— Мы с тобой все равно вторую жизнь живем. А все-таки брось фасонить, матушка, без эластичного бинта на колене не рекомендую. По анализам ты здоровый человек, старайся не падать, палкой не пренебрегай, не под венец тебе.

— Это вы тонко подметили,— сказала Ирина.

Болело так же, а настроение исправилось. Хитро устроен человек.

Она шла из поликлиники, до дома было действительно рукой подать. Прошла мимо кинотеатра, в котором демонстрировался фильм «День рождения», и вдруг прямо-таки с испугом вспомнила, что сегодня же день рождения Вики, а она девочке даже телеграмму не послала.

«Дозвонюсь до телеграфа или нет?» Дозвонилась. Заказала срочную.

— Вы знаете, что слово стоит десять копеек? — спросила женщина с телеграфа.

— Знаю, знаю,— рассеянно успокоила ее Ирина. Что ей десять копеек, что ей лишний рубль? Какие у них с Васькой особые траты? — Знаю,— подтвердила она и почему-то добавила как разъяснение: — Я старуха уже.

— Богатая старуха,— не то с иронией, не то осуждающе сказали в трубке.

Позвонила вторая девушка, которая печатает текст, судя по голосу, совсем молоденькая. Ирина продиктовала ей длинную поздравительную телеграмму и вдруг услышала почти вскрик:

— Да что же вы делаете, вы же на три рубля шестьдесят семь копеек надиктовали? Ведь десять копеек слово!

Здесь уже было нечто, мимо чего не пройдешь, забо-

та, участие в человеке, которого ты, может быть, никогда и не увидишь. На двух концах провода очень разно воспринималась сумма — три рубля прописью, шестьдесят семь в цифрах.

— Вы не удивляйтесь, девушка.— Ирине страшно хотелось оправдаться, врала она самозабвенно, голос звучал убедительно.— Я своей племяннице посылаю, она у меня одна, я вот опоздала, все хотела дойти до почты и не смогла. Вы не беспокойтесь, у меня пенсия хорошая, я уже старая, я, может быть, последний раз ее поздравляю.

— Что вы, что вы! — успокоительно в ответ кричала трубка.— По голосу вы еще бодрая, вы еще проживете! Вы слушайте, они даже испугаться могут, если срочную получат, а на местной почте содержание прочтут, вполне возможно, сегодня и не доставят. Это с ума сойти — такие деньги! Я вам красивую карточку с цветами подберу, пошлем простую, а вы себе лучше апельсинов купите!

— Деточка моя, спасибо за участие. Но вам же двойная работа.

— А я уже все! Я уже перепечатываю! — радовалась трубка.— Вы попросите кого-нибудь, чтоб вам апельсинов купили.

— Слушайте, милый человек, скажите вашу фамилию, я благодарность вам напишу,— второпях дотягиваясь до ручки, попросила Ирина.

— Нет, нет, я этого не люблю,— строго ответила трубка.— Вы купите апельсинов и не беспокойтесь, вы долго еще проживете. Спасибо, спасибо, вам тоже всего хорошего.

Сухой щелчок аппарата разъединил их. Но это ничего не значило. Вот так, оказывается, еще одна добрая, заботливая душа обитает где-то неподалеку.

Можно, конечно, узнать фамилию, но не получилось бы неловкости. Надо же будет указать профессию свою, может выплыть и сумма заработка. Девочка поймет, что в данном случае не проблема ни три шестьдесят семь, ни апельсины, и не показалось бы ей смешно-ненужной проявленная забота о безвестной старухе. Она же не знает, что их разговор — Ирине подарок из ценнейших. Когда возможен такой разговор, значит, все не зря, все оправдано и правильно.

«Молчи, дура! — строго сказала Ирина ноге.— По-

болишь-поболишь, никуда не денешься! Недаром болишь. Есть тут и наша крупица».

Ирина посмотрела на часы. Скоро уже ехать на званый обед, но даже эта мысль не вызвала в ней недовольства, тем более не пешком, не в автобусе, не в празднично-дачной давке.

— А вот мы анальгинчику, а бинтоваться не будем.

Кот привык к их несколько односторонним беседам и спокойно следил за хозяйкой. Днем глаза у него были янтарные, с поперечными, как у козы, чуткими зрачками.

— Как хорошо это с телеграммой, Василий, как прекрасно!

Анальгин Ирина принимала редко, а потому он быстро подействовал. Качинский приехал за ней точно четверть шестого, коротко посигналил. Сказал, что давно уж Ирина Сергеевна так хорошо не выглядела.

— Начался-то день хмуренько, это потом разведрило,— засмеялась она и — чего уж давно не бывало — поехала к чужим людям с доверчивой готовностью беспечно и тепло провести в их доме вечер.

— Ну и у меня эта неделя не без радости,— сказал Качинский, весело прищурясь. Ирина подумала, что профессор жмурится, как сытый Васька, когда ему за ухом чешешь, а он песенку свою заводит. Видел-то Качинский прекрасно, очков не носил. Ну что ж, молодость. В его годы у Ирины тоже в стеклах надобности не было.

— По институту?

Он покачал головой.

— Что там институт. Такую иконку видел!

Слово «иконка» напомнило Ирине о щелчке по носу Дионисия Глушицкого, но она отвела от себя эту тень неприятного воспоминания. В конце концов, все коллекционеры, каких доводилось ей видеть, ревниво требуют от посторонних почтительного отношения к своим сокровищам, а сами подчас обращаются с ними подчеркнуто по-хозяйски, даже несколько свысока, как будто не просто нашли ценности и хранят, а сами их и создали. Ирина про себя посмеивалась, что чем-то напоминают такие хоббисты мальчишек-голубеводов, у которых считается высшим шиком небрежно, как неодушевленный предмет, засунуть в карман голубя.

— Расскажите,— попросила Ирина с не праздным

любопытством. О скульптуре или чеканке она бы так не спрашивала.

— Ох, да я и забыл, что вам это дело не чуждо! — пошутил Качинский.— Тогда подожду хвастать.

В другой день слова его о не чуждом ей деле хоть легко да укололи бы. Но сегодня они и не тронули. Ну почему в самом деле все должны денно и нощно помнить о дорогих ей «северных письмах»?

— Ну хоть какой век? — допытывалась Ирина.

— По-до-жду,— серьезно проговорил Качинский.— Никому еще не показывал. Не уверен даже, что у меня останется. Тут, знаете ли, пахнет...

О деньгах расспрашивать неинтересно, нога угомонилась, жить хорошо...

— О вашей книжке вы, между прочим, попробуйте закинуть удочку хозяину дома,— сказал Качинский.— Связи у него гигантские, есть ход в областные типографии, а это, между прочим, иногда оказывается важнее ученых рекомендаций.

— Рекомендаций-то у меня хватает,— сказала Ирина.

— Попробуйте,— повторил Качинский.— Только уж как пробовать, этого и я вам подсказать не могу. И помогать не берусь. Человек он жесткий, да и поустал от всевозможных просьб.

— Нечего сказать, похоже на меня, чтоб я к незнакомому человеку обращалась с просьбами!

— Ну, а если б с чем серьезным понадобилось?

Еще укол. Неужели он не понимает, что книжечка для нее — серьезное? Однако у многих, даже чутких людей так. Когда кто-нибудь страдает, окружающие поспешно стремятся выяснить: из-за чего? И каждый, в меру собственных взглядов, определит отношение. Коли найдет исток страданья весомым — посочувствует, а то и поможет. А не найдет, так еще и осудит. Как будто это не все равно, от чего человеку больно, от бревна или от палки. Между прочим, еле заметное повреждение — иголка под ноготь — доставит большую муку, чем нож в бедро.

Объяснять Качинскому? Смешно. Да и неизвестно, не ответит ли чем-нибудь едким, а день, начавшийся праздником — разговором с телеграфной девочкой,— не должен быть испорчен.

— Нет, и за серьезным бы не пошла,— благодушно ответила Ирина. Но она промолчала дольше, нежели требовалось для такого однозначного ответа, и Качинский покосился на нее умным глазом.

— Не до конца верю, милейшая Ирина Сергеевна. Все-таки смотря по важности цели средства применяет человек.

«Ну, заяц, погоди! За «милейшую» и я на тебя комара напущу»,— чувствуя в себе пробуждение бойцовского духа, подумала Ирина. И с чрезвычайным любопытством вглядываясь в маячившую обочь дороги указку, спросила рассеянно:

— Кстати, о средствах и целях. Как ваш подопечный с курсовой, вернее, без оной? Убыл-таки в круиз?

Комар сработал. Ехидные морщинки у глаз Качинского разгладились, голос утерял небрежную ленцу.

— Не напоминали бы уж, Ирина Сергеевна,— истово попросил он,— по сию пору понять не могу, как он меня вокруг пальца обвел. Обычно я их подвохи из-за угла за километр вижу. Но мы, между прочим, подъезжаем. Я уверен, вам понравится, но, если что, только мигните, голова, мол, болит, машина к вашим услугам. Я тебя привез, я тебя и увезу. По Гоголю.

«Нет, голубчик, не обвел он тебя, знал ты, что он ни в зуб. Но и меня вы оба не обвели»,— с ехидным довольством подумала Ирина, выходя из «Волги» навстречу ожидавшей их молодой женщине и каким-то броско одетым молодым людям.

Машина подошла вплотную к широко распахнутым дверям террасы с разноцветными стеклами, солнце ярко освещало красноватый песок широкой аллеи подъезда, на крашеных ступеньках стелило радужные блики. Двери с террасы в дом были распахнуты, по дому свободно бродили душистые из сада — цвели купы мелких белых роз — ветерки, из комнат доносилась негромкая песня — магнитофон или пластинка. Только летом, только на даче в праздничный день бывает такое ощущение беззаботности и обманно-прочного слияния всех городских благ с запахами земли и чистым солнцем.

— А мы ждем уже вас,— низким, певучим голосом проговорила женщина, встретившая их.— Вы последние.

Качинскому она подставила щеку, а Ирине протяну-

ла руку с неправдоподобно тонкими пальцами, одухотворенными, как на старинных иконах. До бестелесности красивая рука странно не гармонировала с лицом женщины, ярким и чувственным. Вся она искрилась, вся горела...

«Наверное, счастлива,— с доброй радостью старого за молодое подумала Ирина.— Горе можно скрыть, счастья не скроешь. Оно — как свет, во все щели...»

Начался обед в огромной, отделанной под дерево комнате, где и пятнадцати, коли не больше, гостям не было тесно, хватало воздуха и пространства.

Все присутствующие, по-видимому, были между собой хорошо знакомы, разговоры быстро растекались свободными ручейками, почти не сливаясь в общий малотолковый гомон, как это нередко случается в многолюдном застолье. Впрочем, хотя стол пестрел многими нарядными бутылками, пили здесь не взахлеб. Подналег на бутылку с изображением белой лошади только один из молодых людей, встречавший Качинского с Ириной. Случайно или нет, он оказался рядом со старой хозяйкой, она поглядывала изредка на мелевшую бутылку и на молодого человека, поглядывала без осуждения, поделовому,— перепьет, незамедлительно его уберут, застолья никому не испортит.

Второй молодой человек, с длинными, аккуратно причесанными волосами, рассказывал о Чехословакии, о том, что у Калика по-прежнему дают посетителям эти милые жетончики и картонные кружочки с изображением доброго любителя пива с пенной кружкой. Такие прелестные картоночки, и сносу им нет, дочка их водой с мылом моет, щенку кости на них дает.

— ...Ну, а почему обязательно через Чехословакию? Есть же и другие маршруты...— промолвил уже не без труда поклонник «Белой лошади»...

А кто-то припомнил поездку в Египет. Видел пирамиды, в одну лазал и жаловался теперь, что очень тесно и неудобно лезть: пока лезешь, весь трепет иссякнет.

Ирина прислушивалась с интересом, без зависти и с упреком самой себе. Все или почти все, сидевшие за столом, повидали куда больше, чем она, а кто виноват? Если покопаться, только она сама и виновата, прекрасно могла бы и она покарабкаться в пирамиде. Тяжелы мы на подъем. И нечего противопоставлять любимую свою

Нерль и Покров-на-Нерли пирамидам и Градчанам. Целеустремленности, собранности нет, на все могло и должно было хватить времени...

Обрывки разговоров о путешествиях она слушала с жадностью, и, когда старая хозяйка, пододвигая ей семгу, осведомилась, не скучно ли ей, Ирина с неподдельной горячностью возразила: нет, нет, интересно, хорошо, не скучно, она рада знакомству.

Старая хозяйка Ирине особо понравилась.

Она ценила в людях дисциплину, манеры, правильность выправки. Старуха держалась на стуле прямо, как на табурете. Не только за «Белой лошадью» — за всем столом она следила зоркими, как у хищной птицы, глазами. И голоса-то ее не было слышно, а домработница появлялась, едва возникала в ней нужда.

Хозяин, малоразговорчивый, с грубыми чертами лица человек, сидел поодаль от жены, ел исправно и пил, но коньяк не оказывал на него действия.

Молодой человек с красивой прической заговорил с ним о выставке, о привезенных из Чили эскизах, Ирина вспомнила недавнее интервью в «Литературке» и только тогда, сопоставив фамилию, поняла, что это известный художник. Чтоб попасть на его выставку, Ирина простояла более трех часов в очереди под зонтиком и дождем. Это был талант, как говорили в старину, милостью божьей, и он понимал толк, этот молодой человек с зыбкими светлыми глазами, он тоже немало черпал в древнерусской живописи.

Талант — это вершина в горной цепи, это пирамида. Однако, к удивлению своему, Ирина заметила, что художник не без почтения разговаривал с хозяином, видимо, считался с этим человеком, у которого грубое, неподвижное лицо, немыслимый акцент и явные ошибки в самой обычной разговорной речи.

Только один раз лицо его ожило, осветилось внутренним огнем, когда через весь стол, как в лесу, он окликнул:

— Эй, эй, Гинка, цыпленок, слушай! Игорь спрашивает, нужны тебе билеты или со мной поедешь на открытие?

А дочь ответила ему явно пренебрежительно, вполоборота:

— С тобой поеду. Хотя... Пусть оставит два!

Ирине вчуже стало обидно за отца. Цыпленку Гинке не мешало бы хоть обернуться. При ближайшем рассмотрении хозяйская дочь не показалась Ирине молоденькой. Молодая, но не молоденькая, да еще старит ее тучность.

Едва ответив отцу, Регина нетерпеливо вернулась к беседе со старшим братом Качинского, кажется, известным адвокатом, сидевшим напротив нее.

— Почему примитив? — спросила она, продолжая, очевидно, прерванную фразу.— Дядя Сема, вы просто завидуете красивым крепким людям! В вас комплекс неполноценности зудит.

Это было сказано со смехом, но старик не принял шутки.

— Это так, Региночка,— серьезно сказал он.— Молод я был, но красив и крепок никогда не был. И разные самбо всегда были не по мне. Но разве я даю тебе из ряда вон выходящий совет? Я советую тебе только одно: не теряй возможности на любое событие кинуть взгляд из Галактики.

— Из Галактики — это скучно, дядя Сема. Надо поближе, надо в руках подержать.— Она подвигала над столом своими гибкими пальцами, словно медленно сжимала, разжимала кулаки, мяла воздух, ловя в пустоте что-то одной ей видимое.

«Ух ты, батюшки! — подивилась Ирина.— А лапки-то хищные...»

— ...Мы постепенно, дядя Сема. Слышали анекдотик из детских? «Понемножку, понемножку...» — говорила бонна...

Адвокат рассмеялся.

— Ну, тогда я спокоен. Кстати, где «Плейбой», последний номер, я не видал еще?

— В машине.

— Ну, ну.— Теперь оба они посмеялись.

Регина сама налила себе коньяку, секунду молча подержав налитую рюмку, ни с кем не чокаясь, выпила. В глазах ее возникло сухое, алчное выражение, в истоках которого нельзя было сомневаться, лицо стало грубо-сосредоточенным, она сгорбилась, в отличие от матери, полузаметно обвисла на стуле, она вся сейчас была не здесь, ни до чего, кроме одного-единственного, ей не было дела, она прислушивалась только к ощущению,

которое точило ее в эту минуту как нестерпимый голод, неутоленная жажда...

Если б не перламутровые коготки, щупавшие воздух, если б не анекдотик про бонну и соответствующее выражение глаз, Ирина готова была бы ей посочувствовать: вот и богатство, и обожающие родители, и цветение роз за окном, а кого-то единственного нет. И не просто сейчас нет рядом, у них с дядей в шутках — подтекст.

Словно подслушав Иринины мысли, Семен Яковлевич вернулся к своему совету, выразившись на этот раз без обиняков.

— Страховка никогда не мешает, Региночка,— сказал он, задумчиво глядя на почти нетронутую куриную ногу в своей тарелке.

Обед был в разгаре. Ирина сидела близко от старой хозяйки, а та, очевидно, занимала свое привычное место, откуда, как с командной высоты, просматривался весь стол. Старуха следила и за Ириной, предлагая ее вниманию то одно, то другое блюдо, гостья ела исправно — здорово все-таки после холостяцкой кормежки на этакое домашнего приготовления пиршество. Словом, они были друг другом довольны.

Поклонник «Белой лошади» исчез так корректно, что Ирина даже не заметила. Откуда-то слышались негромкие синкопы, несколько пар танцевали. Молодая хозяйка еще пила коньяк, но пьяна не была, ей принесли уже третью чашку черного кофе. Сплетя пальцы, она положила локти на стол.

— ...да, страхуюсь,— ответил ей адвокат.— Больше всего опасаюсь внезапностей и от них страхуюсь. Ну вот, например. Возможна встреча с человеком, с которым в давние времена у меня было столкновение. Я не знаю даже, помнит ли он о том, что столкнулся именно со мной, но я буду действовать так, как будто бы он помнит. Поняла?

Она не хотела понимать. Она оторвалась от адвоката, советы которого ей были не впору, и вломилась в разговор матери с Качинским-младшим. Младший дядька ее выглядел ненамного старше племянницы, и Ирина снова подумала, что женщина эта не так уж молода, наверняка ей за тридцать.

— Леня, а ты слышал, что нас ограбили? — спросила она, навалившись тяжелой грудью на сплетенные руки.

— Все слышал, Региночка, все знаю! И что компас украли, и что нашел компас красавец милиционер, и что, найдя компас, он потерял свое сердце. Так?

— Когда дядя Сема успел! — поразилась Регина, но вся расцвела, заискрилась. Вот это ей хотелось слышать, а не призывы к какой-то страховке.

— А что, действительно красив? — с ленивым любопытством осведомился Леонид Яковлевич.— Но на публику-то его уж, наверное, нельзя?

— Можно! — Регина играючи, как маленькая девочка, показала ему язык.— Вполне даже можно. Он по-английски говорит.

— Ну, сдаюсь! — Качинский-младший развел руками.— Такого милиционера только ты и могла обнаружить.

Хозяйка заметила, что Ирина покончила с едой. Старуха все замечала.

— Сандро,— окликнула она мужа,— пока подадут кофе, покажи нашей гостье сад.

Хозяин тотчас поднялся. Ирине ничего не сставалось, как встать вслед за ним, хотя, по правде сказать, ей больше хотелось бы посмотреть, а если удастся, то и послушать художника. Однако художник, подхватив, как вещь, какую-то бесцветную даму, отправился танцевать.

Ирина с хозяином вышла на просторную пустую террасу и не пожалела, что ее увели. За столом почти все, кроме хозяек, молодой и старой, курили. Здесь широкие разноцветные окна были настежь, за окнами буйно пахли бесчисленные маленькие белые розы. Иные уже осыпались, и подножья кустов белели в вечернем воздухе, словно припорошенные снегом. Так же ослепительно белы, зрели на ветках новые бутоны. За розами теснилась сирень. Недавно и она цвела-бушевала, на кустах осыпалось великое множество бурых, дозревающих в семена гроздьев.

— Обрезать надо,— машинально посоветовала Ирина.— Как хорошо у вас тут!

— Хо! — удивился хозяин, наверное, впервые за весь день оглядев Ирину.— Вы в хозяйстве понимаете? У вас тоже дача?

«О муже не спросил. Раз приехала одна, подразумевается — мужа нет».

— Ни дачи, ни детей,— сказала Ирина, отнюдь не пытаясь окрасить ответ веселым колером.— Но я люблю всякую зелень, и у меня есть друзья за городом. От них и знаю ваш сельскохозяйственный календарь.

Наверное, беззащитная правдивость ответа расположила к ней хозяина.

— Я-то ничего не знаю. Садовник знает,— отмахнулся он от роз, от сирени.— Мое дело — деньги, машины, путевки... Садитесь! — Он пододвинул Ирине соломенное плетеное кресло, себе — второе, первый сел. Но во фразе о деньгах и путевках мелькнул некий оттенок, и так они уселись друг против друга, овеваемые розовым духом, под незатейливую вечернюю песенку какой-то птички, два весьма пожилых человека, чем-то взаимно расположенные.

— Вы жалеете, что у вас нет детей? — грубо, совершенно в соответствии со всем своим обликом, спросил хозяин. Ирина, слава богу, вспомнила его отчество — имя подсказала старуха.

— Да, жалею, Александр Христофорович,— так же в лоб ответила она.— Неудачно сложилась жизнь. Близкий мой в войну погиб. От любого-каждого рожать не станешь.

Они разговаривали, как двое мужчин, как два пассажира, случайно встретившиеся за столиком вагона-ресторана. Такие разговоры, известно, чреваты откровенностью.

Хозяин задумался, постукивая толстыми волосатыми пальцами по столу, но и стол был соломенный, глушил звуки. Сидел он развалясь, как купчик, колени врозь, но в его топором сработанном лице вблизи Ирина обнаружила не только обычную усталость, пусть даже и усталость лет. Была в нем затаенная горесть, и в который раз за жизнь Ирине подумалось: не у каждого свое счастье, у каждого своя печаль.

Ну, а у этого богатого, сильного, влиятельного, с несомненно любимой семьей — какая душевная язва? Конечно, только душевная. Здоровья наверняка не занимать стать. Ни седины в густых волосах, ни лишнего жира. Такие на его родине не охнут, через сотню перешагнут...

— Ну, а почему уж так-таки нельзя от любого-каждого? — с внезапной надеждой вдруг спросил он.— Ну,

пусть он не ай-яй-яй. Ну, пусть муж не подарочек, так зато будет ребенок. Как же без ребенка? Вы простите, как вас звать?

— Ирина Сергеевна,— подсказала Ирина. «Ну вот и открылся твой ларчик, бедный ты человек. Не нужен тебе ни стол, который от яств ломится, ни песенки магнитофона, ни знаменитый художник. Внука тебе надо...»

Но, поняв это, Ирина легко и не на циничной волне для себя одной продолжила свою мысль: почему же его нет, внука?..

Часы на стене, веселые ходики с кукушкой, отбивали минуты-километры их случайной встречи. Постукивает на стыках поезд, сейчас разойдутся два человека по разным станциям...

— Гинка... Цыпленок,— проговорил он с нежностью необычной.

Ну, конечно, он видит не рано расплывшуюся женщину, от которой уходит молодость, он видит ее такой, какая она была,— прелестный, пухленький ангелочек.

А ангелочек вполоборота и довольно раздраженным тоном отвечал отцу, и это тоже понятно. Она, наверное, не глупа, понимает, как смешно звучит этот «цыпленок». Она, наверное, и образованней его: такой папа всю жизнь положит, лишь бы вырастить свое детище по максимуму, а теперь детище, чего доброго, стесняется его грубости, его неправильной речи...

— Я обеспечу этого мужа всем,— сказал, как отрубил, хозяин.— Я все ему дам: специальность, диплом. Он должен сделать Гинку счастливой. А там... А там видно будет.

Участие, которое испытывала Ирина к хозяину, пока он тосковал по внуку, от его последних слов несколько стаяло. Претила бесцеремонная властность хватки. Тут пахло не надеждой на счастливую судьбу дочери, а решением — купить.

— Да, наверное, это очень плохо — без детей,— сказала Ирина, задумавшись о себе самой.— Я привязываюсь к своим студентам, у меня есть девушка, с которой я, смею думать, дружу, и я надеюсь, что я ей нужна, друзья есть настоящие, но все это, наверное, не то...

— Вот! Вы понимаете! — воскликнул он с облегчением.— Плохо без детей, еще хуже, когда плохо детям.

Слушайте! Я опять забыл, как вас звать. Вы же старый человек, я что-нибудь могу для вас сделать?

«Как привык ты, бедняга, за все платить,— подивилась Ирина.— С женой ты, наверное, о дочери не говоришь, это все равно что с зеркалом беседовать. Чистым случаем родилась у тебя минута доверия, и вот ты уже торопишься за нее рассчитаться. Что ж, по-своему, ты, наверное, честный человек, но в общем-то пора мне из этого дома...»

— Вы же одна, вы совсем одна! — Он искренне хотел ей помочь, почти обрадованный тем, что эта женщина, ученый человек, преподаватель института, оказалась еще несчастнее, чем он. У нее не только внука, у нее и детей нет.

— Мне ничего не надо, уверяю вас. Я много зарабатываю, а потребности малые...

— Сандро! Ирина Сергеевна! Кофе пить! — раздался из комнаты голос хозяйки.

— Ну, ладно, ладно! Я что-нибудь вам сделаю,— щедро пообещал хозяин, подымаясь с кресла. Он выговорился, ему стало легче, и мечта о внуке, наверное, казалась сейчас вполне достижимой. Да, честно говоря, Ирина так и не могла понять, что в ней такого недоступного. Тоже поднявшись, она прямо и спросила:

— Убейте, не могу понять, что так тревожит вас? Я думаю, все в свое время...

— Уходит время! Свое, чужое время — все уходит! Люди от меня ей не нравятся, а ее люди...

Он не договорил, но Ирина наконец поняла. За диплом, за специальность и еще, вероятно, за многое, что мог отец, словом, «за» — дочь не хочет. А без «за»? Как говорится, и хуже, да находят же свою судьбу... Но есть что-то неприятное в этой женщине, какая-то обнаженная, цепкая алчность. И вряд ли она добрый человек.

На столе, на камине, в настенных бра горели свечи, в живых бликах мерцающих огоньков лица казались теплей и оживленней. Над чашками подымался пахучий кофейный парок, народу за столом поубавилось, видно, кое-кто из гостей, и художник в том числе, уехали.

Ирине показалось — они с хозяином долго пробыли на террасе, а села она к столу, так как будто и не уходила. Регина все так же перешучивалась с Леонидом Яковлевичем по поводу какого-то потерявшего сердце

в этом доме и так же, не пьянея, пила коньяк, кофе, опять коньяк. К удивлению Ирины, любитель «Белой лошади» снова занял свое место за столом и даже не выглядел особо помятым. Он принял участие в беседе о влюбленном милиционере, заявив, что нынче милиции даны слишком большие права, штрафуют направо и налево, потому что им отпускают на штрафы жесткий план, государству деньги нужны.

— Лучше бы уж вы пили,— презрительно бросила Регина.— Мама, дайте ему еще коньяку!

— Ну-ну, цыпленок! — весело поддержал ее отец. Как же слышал он каждое ее слово! — Милиционеры — отличные ребята!

— Да он, собственно, не милиционер. Он офицер милиции,— думая о чем-то своем, серьезном, поправил всех адвокат.— А брат его весьма известный старший следователь Лобачев,— добавил он без видимой надобности.

Ирина вздрогнула и довольно громко поставила на блюдце чашечку с кофе. Теперь уж не хозяйка, сам хозяин обратился к ней с заботливым словом:

— Что, Ирина Сергеевна? Вам нехорошо?

Она не смогла бы объяснить, почему ей захотелось скрыть свою близость к семье Лобачевых, но, во всяком случае, ей это удалось.

— Все в абсолютном порядке,— сказала она чуть виновато.— У меня после контузии бывают иногда внезапные головные боли. Вот, схватило голову.

— Все! — решительно поднялся Леонид Яковлевич.— Хорошенького понемножку, мне мои кадры дороги, поехали, Ирина Сергеевна!

— Подожди. Провожу тебя до машины, подашь к террасе,— сказал ему хозяин. Поднялся. Они вместе вышли. Минут через десять, шипя покрышками по песку, к террасе подошла «Волга». В темноте летней ночи и проплывающих отсветах окон коротко блеснувшая черным боком «Волга» была похожа на субмарину.

— Все знаю! — со значением, совершенно непонятно для Ирины, проговорил хозяин, крепко пожимая ей руку.— Все знаю и кой-чего могу.

Ирину аж трясло, так хотелось ей скорее уехать из этого дома; она и не расслышала толком, что он сказал.

— Я желаю вашим внукам здоровья, ума и сча-

стья,— сумела она вымолвить, сумела и тепло улыбнуться. В конце концов, что плохого сделал ей этот преуспевший и несчастный человек? Старался как мог.

Но только машина отъехала, она даже глаза прикрыла на миг, так ей стало обидно. Она была оскорблена за себя, за Лобачей, за Борко, за всех близких. Эта алчная женщина и — Никита! Маленький Кит, Китенок, добрый, честный мальчик...

Ей вспомнилось, как маленького Кита — лет пять или шесть ему было — собирались отправить на лето к родственникам под Сумы. А он не хотел. Он вообще не любил уезжать из дома. Кит тихонько плакал, Ирина взяла его — тяжелый уже был — на руки, и они вместе смотрели фейерверк салюта в День Победы.

— А можно мне взять с собой хоть одну салютинку,— вдруг попросил притихший покорно Кит.

— Салютинку нельзя, а луну можно,— сказала Ирина.— Ты приедешь туда и с собой привезешь ломтик луны. Она у тебя там даже вырастет...

Так это Никите Сандро-хозяин собирается давать специальность и диплом?

Выехали на шоссе. Качинский спросил сразу с полной заинтересованностью:

— Откройте, ради всего святого, секрет. Как вам удалось так расположить к себе этого деловитейшего человека? Он же сам расспрашивал меня, чем бы вам помочь, я сказал ему о вашей брошюрке. Но чем вы все-таки его взяли?

— Я заподозрила, что он живой, и выслушала его.

Не до книжки, обозванной брошюрой, ей сейчас было. Сандро-хозяин с его возможностями и печалями начисто истаял из памяти, вся она сейчас была захвачена тревогой за Кита: что, если есть в этой слюнявой болтовне хоть грамм правды? Лесть, богатство, желание, как купленная шуба, расстилаемые под ноги,— разве не многим кружили они головы?

Едва войдя в квартиру, не раздевшись еще, Ирина подумала: кому звонить? Уж конечно не Никите. Ей казалось — а может быть, она и права была,— что каждый день и час могут иметь значение. Несмотря на позднее время, решила поднять Галю Лобачеву. Вадим в области, это она знала.

Ирина начала без предисловия.

— Никита попал в дурную компанию... Да нет, какая там подворотня. По-моему, подворотня бы лучше...

— Ну, тетка Ира, это вы уж слишком! — забывшись, Галя назвала Ирину так, как молодое поколение только заглазно ее величало.— Кит не дурак. Авось уж в подоле не принесет.

После разговора с Галей Ирина поуспокоилась, обмякла. А ну как и правда заблудилась она в неоправданных страхах?

— А ну как и правда я — старая дура? — спросила она у Васьки. Васька молчал, зрачки были ночные — черные, круглые.— Но кое-чему надо бы и поучиться у этих людей,— закончила свои размышления Ирина. Хотя бы не утерянной в дебрях цивилизации звериной привязанности к детям. Она забыла поздравить Вику с рождением, а хозяин Сандро нипочем бы не забыл...

А Гале после их разговора неожиданно стало как-то не по себе. Вспомнилось однажды на лету брошенное слово Вадима, а уж она знала цену его мимоходом брошенным словам. У него слово «буек», коли поставлено, значит, есть что-то под водою.

Вспомнилось, как недавно Маринка вернулась от Никиты опечаленная. «Звонила какая-то, и дядя Кит весь переменился».

Словом, выговорив тетке, Галя пришла к теткиному же выводу — в таком деле день может решить. И сделала то, что сроду не сделала бы по своим личным нуждам. Когда позвонил из Колосовска Вадим, поделилась с ним опасениями.

Вадим обещал приехать и «навести порядок в танковых частях». Однако вскорости приехать ему не удалось, потому что обстановка в Колосовске оживилась.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Да, «завтра» в Колосовске оказалось не таким уж пустым. Когда наскоро перекусив — прямо-таки физически ощущалась каждая минута, приближавшая разговор у Чельцова,— Вадим вернулся в номер, намереваясь продолжать пока еще нудный, почти наугад поиск — с досады думалось иногда: не поиск, а рысканье! — в коридоре навстречу ему поднялась старая, чистенькая женщина с некра-

шеной сединой. Она нервничала. Когда заговорила, на дрябленьких щечках выступил румянец, пальцы сжали старомодную сумочку-ридикюль, словно Вадим сейчас ее вырвет и унесет.

Какое-то мгновение женщина разглядывала Вадима несколько растерянно, словно ожидала увидеть его другим.

— К этому товарищу вам. Это он из Москвы,— подтвердила из-за своего стола коридорная.

— Пройдите, прошу вас! — Вадим предупредительно распахнул перед посетительницей дверь номера. Старушка безусловно относилась к числу тех, кого следует перед беседой подбодрить. А то ведь случаются и такие активные, что вопроса задать не дадут. Наговорят на три тома, а подумаешь — и записать нечего.

Вадим усадил старуху в кресло, повозился с бумагами, дал ей возможность осмотреться и освоиться. В Колосовске она первая пришла к нему по собственному почину. Хорошо, если по делу, а может, с какой-нибудь жалобой? Да и вообще удивительно, почему пришла она в гостиницу, не в отдел. Как нашла?

Съест время благообразная старушка, и не вдруг выпроводишь. Совсем ни к чему, чтобы среди колосовцев у него создалась репутация равнодушного чинуши.

Вадим неторопливо уселся против старухи, вроде бы никуда и не спешил, все — по науке.

— Я не знаю, имеет ли это какое-нибудь отношение к ограблению дома священника Вознесенского, но я все-таки сочла своим долгом к вам прийти,— неожиданно твердо и размеренно начала старуха.— Моя фамилия Краузе, мы с мужем пенсионеры. Мы сдаем комнату молодоженам Волковым. По паспорту она Раиса, но зовут ее все Инной, теперь у молодых мода на прозвища. Вы понимаете, мне бы очень не хотелось... Может быть, все это пустяки...

Побледневшие было дрябленькие щечки опять слегка окрасились.

Как только Краузе произнесла фамилию Волковой, Вадим отбросил опасения о зряшной трате времени. Похоже, лучи прожекторов сошлись, что-то попало в перекрестье. Старуха стесняется начать разговор, вероятно, считает свой приход неэтичным. Надо думать, ей нелегко далось решение прийти сюда. Ей наверняка чудится, что

весь город смотрел ей вслед. Да, впрочем, если сегодня и не весь город смотрел, то завтра о визите к московскому следователю знакомые старухи наверняка оповещены будут. Значит, старуха в своем роде отважна и есть нечто, что ее в самом деле беспокоит.

— Вы расскажите, что вас тревожит,— мягко предложил Вадим.— Вы имеете право сдавать комнату, в чем же дело?

— Ну, разумеется, разумеется! — закивала Краузе.— Мы всегда все оформляем аккуратно и вовремя.

Разговор о комнате подбодрил ее, тут у нее было все в порядке, так что?

— Может быть, попались беспокойные жильцы? Молодые все-таки, часто, вероятно, музыка...— Вадим продолжал беседу так же неспешно, словно не уходили одна за другой драгоценные минуты.— Может, вам бы постарше кого в жильцы?

Старуха вздохнула, выпрямилась. «Решилась бабуся»,— подумал Вадим и — точно. Краузе заговорила коротко, дельно, хоть бланк протокола вынимай да записывай. Однако Вадим пока не торопился это делать.

Суть заключалась в следующем.

С января прошлого года у Краузе проживали супруги Волковы, Владимир и Раиса. Теперь модно менять имена, Раиса сама переименовала себя в Инну. Образ жизни у нее нечистоплотный, мужа она обманывает. В Москве она встречается с неким Евгением Громовым, он и в Колосовск приезжал. Редко, но приезжал. Здесь у него были какие-то дела, он организует концерты. Инна часто с ним разговаривала по телефону, от мужа свое знакомство с Громовым она не скрывала, муж, наверное, не знает только, что она с Громовым живет. Она раньше бедновато одевалась, а в последние дни у нее появились новые дорогие вещи, то и дело меняет платья. У них с мужем получился из-за этого скандал, он стал допытываться, откуда вещи. Дом новый, стены сами знаете какие, все слышно. Инна объяснила, что костюм и другие вещи ей подарила мать Громова. У Громова мать артистка. Волков позвонил ей, мать сказала: да, действительно подарила.

— Ну, а что ж тут такого особенного? — осторожно перебил ее Вадим.— Наверное, и подруги знали о ее связи с Громовым, и о подарках могли знать. Ситуация,

к сожалению, не такая уж редкая. Есть же у Волковой близкие подруги, бывают, наверное, у нее?

— Она довольно часто встречается с Черновой, с Машей Черновой. Маша довольно приятная девушка, она, правда, тоже ужасно красится, но она, мне кажется, гораздо приличней Волковой. И она, и ее мать, по крайней мере, работают...

— Ну и что же Чернова?

— У Черновой в последнее время случились какие-то неприятности. Она приходила, плакала. О деньгах каких-то горевала, какая-то машина у ее знакомого разбилась. Но, между прочим, Маша тоже удивлялась, откуда у Громова могут быть средства. Да, да, вспомнила! — обрадовалась Краузе.— На кухне они шашлык из кулинарии жарили. Маша говорила, откуда у него средства; подумаешь, администратор Москонцерта, восемьдесят рублей получает, да еще алименты...

«Борода, борода...— мысленно повторял Вадим.— Борода, возможная самодеятельность, Москонцерт... Что-то локатором засечено, точка на экране есть, но пусть старуха уйдет спокойная. И все вокруг нее пусть будут спокойны».

— Может быть, все это не имеет отношения...— сама перебила свои воспоминания Краузе. Снова чувство неловкого сомнения, недовольства собой выразилось на ее сухоньком опрятном личике. Видно, ее мучила совесть, не оговаривает ли она людей — Наш участковый с нами вчера выяснял насчет прописки. Волкова действительно уезжала. Потом вернулась. Я бы, может, не обратила внимания, но когда она вернулась...

Старуха замялась, но тут уж Вадим ее не понукал. Напротив того, с наивозможной непоспешностью похлопал себя по карманам, ища заведомо лежавшие под бумагами сигареты, нашел, закурил.

— Она вернулась после происшествия, дня через два — через три, наверное, точно не помню, но помню, что после, потому что спросила меня, сколько может стоить картина, которую украли.

— Почему же она именно к вам с этим обратилась? — с долей недоумения в голосе спросил Вадим, покуривая.— А Волкова имеет отношение к живописи?

— Ну что вы? — обиделась за живопись старуха.— Не могу представить, как она имя художника запомнила.

Она совершенно, она убежденно темный человек! Но она знала, что я многие годы работала редактором в издательстве «Искусство».

— Ну и что же вы ей сказали?

— Я сказала, что, на мой взгляд, этому полотну нет цены. В общем, объяснила, что это музейная вещь. Сейчас она опять уехала. Мне прямо жалко ее мужа. Он работает и учится, это истинный подвижник.

Тревога в глазах старухи нарастала. Она выговорилась, но никак не могла решить, правильно ли поступила, отважившись сюда прийти. Может быть, все-таки зря?

«Вот пусть так пока и думает».

— Мы вам очень благодарны,— не кривя душой, сказал Вадим.— Вы поступили совершенно правильно, товарищ Краузе, и мы вам очень благодарны. Думаю, почти уверен, беспокоиться вам с вашим супругом нечего. Жилица вам, похоже, попалась не из самых достойных, но в конце концов это дело ее мужа. Об ограблении она могла узнать от подружек; что ценой интересовалась, так есть же заземленные люди, которые и луну рады бы оценить. Мужу можно посочувствовать, но не вы ее сватали. У него-то никаких обнов не обнаружилось?

— Какое там! — Краузе махнула рукой.— Рад до смерти, что брюки без манжет стали носить. Обрезал манжеты, а то бахрома образовалась. В дни зарплаты покупает запас пакетов «суп пюре», тем и живет. Когда к ней подружки приходят, он черным хлебом уши себе залепит, так и занимается.

— Выбирал бы жену,— подытожил Вадим.— Давайте-ка, товарищ Краузе, я вам все-таки выпишу повестку. Чтоб не донимал вас никто, как вы решились, да почему и с чем к следователю пошли. Я многих для беседы вызывал, ну, считайте, и вас вызвал.

Старуха просияла, когда Вадим вручил ей повестку. Ясно-понятно, стеснялась расспросов, боялась прослыть доносчицей, да и по существу опасалась навлечь подозрение на безвинных людей.

— Если поинтересуются, о чем был разговор, скажите, спрашивал, не проходила ли второго числа мимо дома Вознесенского, не встретился ли молодой человек с бородой. А кстати, жилец ваш и Громов не бородатые?

— Что вы, что вы, оба аккуратные, оба бритые, а Громов очень хорош собой, красив, ходит как струна.

Сравнение ее не отличалось точностью, однако ж видно было, что Громов и на нее, вполне интеллигентную, близкую к искусству старую даму, произвел впечатление.

— Вы спрячьте повестку в сумочку,— посоветовал Вадим. Старуха держала листок в руках, как подарок.

Еще раз поблагодарив, он проводил Краузе до двери. Она ушла успокоенная: гражданский долг выполнила и ни на кого не донесла, поскольку жиличка ее хоть и без нравственных устоев, но к ограблению отношения не имеет, раз ни о чем таком следователь не спрашивал.

«Что ни говори, старуха принципиальная и в своем роде отважная»,— подвел черту Вадим, закрывая за ней дверь.

Быстрыми шагами вернулся он к столу. Кажется, теплеет, теплеет, точка на экране локатора обретает объемность. Белый лист, жальце шариковой ручки. Сейчас — для себя, потом он еще раз вызовет Краузе — уже для протокола.

Итак, Раиса, она же Инна Волкова. Бораненков и Краузе... На Волкову послан запрос. Чернова Мария, местная жительница, подруга Волковой. Евгений Громов — любовник Волковой. Связь свою с ней от родителей не скрывает. Администратор Москонцерта, живет в Москве. На него немедленно запрос. Сейчас же найти и вызвать Чернову, пока ей, а следовательно, и Волковой не стало известно о вызове Краузе, пока каждая — сама по себе. Чернову — сейчас же. Местная жительница, служащая, время рабочее.

Пока искали начальника отдела внутренних дел района Шурыгина, Вадим записал на листке: «Несчастье? Ссора с другом, кто друг? Машина? Чьи деньги?»

Майора Шурыгина — за годы службы они не первый раз встречались — Вадим попросил:

— Петр Фомич, как можно побыстрей, только не напугайте. Чтоб работать с ней можно было. Не в курсе, где Корнеев?

Шурыгин сказал, что сам собирался звонить Вадиму. Материал на Волкову пришел, и Корнеев остался доволен. Во вторую половину дня будет в гостинице. Сегодня опять работал с Заввариной.

«Зацепили»,— уже уверенно подумал Вадим.

Видимо, что-то подходящее, «в цвет», как они говорят, есть.

Что даст Чернова? Не может быть, чтоб она, подруга, знала о Волковой меньше, чем старуха хозяйка. Конечно, лучше было бы сначала посмотреть материал на Волкову, а потом говорить с Черновой, но, во-первых, надо быстрей, уже как можно быстрее, а во-вторых, абсолютно не исключено, что не только подруга, но научный муж и тот может не знать о прошлом этой Инны-Раисы. Сколько таких случаев известно. Не времена трех мушкетеров, плечи красавицам не клеймят.

Очень скоро позвонил Шурыгин, сообщил установочные данные на Чернову. Лет девятнадцать, родилась в Колосовске, кроме как на выходные в Москву, никуда не выезжает, живет с матерью, работает в ветнадзоре. Минут через тридцать — сорок придет. Нет, не забеспокоилась. В городе многих вызывали, а у нее подходящий маршрут.

Есть, значит, свободных тридцать — сорок минут. Теперь Вадим позволил себе задуматься над тем, что, пожалуй, глубже всего заинтересовало его в рассказе Краузе,— о вопросе Волковой касательно цены картины.

Вадим поднялся и пошел — пошел шагать по номеру.

Пригодно ли объяснение, подсунутое им старухе: малокультурные люди нередко стремятся все оценить в рублях?

Единственно ли возможно оно? Ничуть. Кроме всего, почему вопрос задан не сразу, после распространившихся по городу слухов об ограблении, а через несколько дней, когда у постороннего человека интерес к происшествию мог бы и поостыть?

Хорошо, на несколько часов отложим этот примечательный вопрос. До ознакомления с прошлым Волковой. А с чем мы выходим на ее подругу, на Чернову? У нее какие-то неприятности. Возможно, с другом. Кто он? Какие деньги ее беспокоят? С чьей машиной авария?

В учебниках подробно объясняется, как следует допрашивать очевидца, потерпевшего, подозреваемого, обвиняемого. Любой следователь, каждый инспектор угро без конспекта прочтут об этом небольшую, но вполне грамотную лекцию.

Вот сейчас Вадим пойдет в отдел, и к нему явится для беседы девица. Кто она, очевидец или участница преступления? Кто-то же взял у бородатого красавца спортивную сумку с иконой и картиной. А может быть, все-таки была машина? Говорила одна из опрошенных о такси. Если Чернова через Волкову связана с преступниками, то какие, с кем неприятности, почему слезы? Пока у них — у тех, кого Вадим, Корнеев, вся группа ищут сейчас,— пока у тех все вроде бы идет хорошо...

Чернова пришла вовремя. Спокойная. «Почти спокойная»,— поправил себя Вадим. Девушка типичная, провинциальная копия с далеких, недосягаемых образцов. Но, в общем, все почти так же, как у тех: синие тени на веках, оловянная помада на губах, длинные, прямые, дикорастущие волосы. Волосы даже лучше, чем у тех, столичных, гуще. И ноги лучше. Немного потолще — были бы грубые, немного потоньше — были бы модные, а так — в самый раз. Уже загорела, без чулок. Одета крикливо, но очень-очень недорого.

— Садитесь,— сказал Вадим, указывая на стул напротив стола. Она села, сразу прошлась взглядом по бумагам, увидела бланки. На все первые вопросы — имя, отчество, предупреждение о даче ложных показаний и так далее — отвечала с невозмутимой готовностью.

Вадим писал, редко и коротко взглядывая на Чернову. Он не мог бы сейчас сформулировать, в чем ощущались ее напряжение и настороженность, но поручился бы, что они были.

Разве что в подчеркнутом спокойствии. В девятнадцать лет на первом в жизни допросе, может быть, следовало хоть чуть взволноваться? Тем более, нервозность должна быть повышена, у нее не все ладно, она часто плачет.

Вадим положил ручку, удобно оперся локтями на подлокотники. Теперь они смотрели друг на друга. Но Вадим оглядывал ее кофточку, юбку из кожзаменителя, сумку модную, с бахромой, руки большие, некрасивые. Она следила только за его взглядом. Он задал ей вопросы, которые задавал многим колосовцам: каким маршрутом ходит да не видела ли в тот день... Наверняка она слышала от кого-нибудь о таких его вопросах. И ответы получил такие же, как от многих: ходит по Га-

гаринской, про кражу слышала. Про то, что многих вызывали, тоже знает.

Вадиму показалось, с каждой фразой она становилась естественней, проще, видимо, успокаивалась. Можно думать, к ограблению отношения не имеет. Откуда же первоначальная настороженность? Или она опасалась чего-нибудь другого?

— Ну, хорошо,— помолчав, сказал Вадим.— А как теперь с машиной?

Чернова ответила очень не сразу. Она растерялась. Но если вопрос слишком не в цвет, ей бы удивиться и переспросить: какая, мол, машина?

А если в цвет, то не надо давать ей времени. Пойдем дальше.

— Да, так как же вы считаете теперь получится с машиной? — уже настойчиво повторил Вадим.— И есть ли, по-вашему мнению, какая-нибудь связь между машиной и деньгами?

Вадим ждал. Опять-таки она могла удивиться, не понять, переспросить и о машине, и о деньгах.

Чернова как-то осела на стуле, сгорбилась, что ли. Отвела от Вадима глаза, но, совершенно очевидно, не с целью скрыть их выражение. Она приняла вопрос как должное, неприкрыто обдумывала что-то, и размышления были не из веселых.

В какой-то момент Вадима взяло опасение, не начала бы плакать, истерить. Кто знает, куда попадают его вопросы, в царапину или в рану. Только несведущие полагают, что от человека, потерявшего контроль над собой, легче получить ценные показания. Не дай бог допрашивать расслабленного или перенапряженного истерика. Такого может наговорить, что потом никакие свидетели на истину не выведут.

Нет, к счастью, обошлось без истерики, Чернова подобралась. Вадим откинулся на спинку стула, с удовольствием закурил. Подумал: «Все идет, кажется, нормально, но хватит уже ей размышлять», и в эту минуту, подняв на него глаза, Чернова сказала печально:

— Ну как же нет связи? Машину-то разбил, а деньги он где теперь возьмет? Правда, машину когда брал, говорили, что машина старая, да надо в капремонт, да такая вообще не нужна.

— Да ведь это одно дело обещать, а другое дело, когда разбил...— вставил Вадим.

Чернова невесело оживилась:

— И вы так думаете? Вот и мама боится. Неужели могут взыскать?

— Подождите, Маша, насчет взыскания,— по-деловому, но с внимательным расположением, как говорил бы нанятый ею адвокат, сказал Вадим.— Есть ли с чего взыскивать? Он же немного зарабатывает?

Вопрос такой смело можно было задать. Ничтожен шанс, что машину разбила женщина. Человек, разбивший машину, как-то близок Черновой, а судя по ее наряду, состоятельных близких у нее нет. Кроме того, согласно старому афоризму, все довольны своим умом, никто не доволен своим состоянием. Словом, определение «немного зарабатывает» должно подойти.

Но тот, кого подразумевала Чернова, должно быть, уж очень немного зарабатывал, потому что она, забыв про окружающую обстановку, истово возмутилась:

— Ерунду он зарабатывает и заработать не стремится. Как с армии вернулся, пять мест переменил. Баянистом в Доме культуры взяли, ну и пусть бы баянистом, так нет же! Все думает — он большой артист, его ждут великие дела! А сам денег у людей нахватал-нахватал, весь в долгах. Матерям и то должен...

«Все-таки слезы у нее близко,— подумал Вадим.— Надо поосторожней».

— Сколько же у него матерей? — улыбнулся Вадим.

Она улыбки не приняла. Лицо у нее пошло пятнами.

— Ну пусть бы у своей, уж она несчастная, ее все соседи жалеют. У моей двадцатку не погнушался. У меня восемьсот сорок занял, а теперь где ж их...

Голос ее оборвался, она все-таки потихоньку заплакала, как, очевидно, плакала, едва вспоминала о деньгах. Вадим ей не мешал, она достала из сумки платок, вытерла покрасневший нос, успокоилась.

— С чего завязалось дело с машиной? Почему вы не отговорили его? — попробовал Вадим.

— Я бы, может, и отговорила, если б не Женя. Все вообще с Жени и началось. Женя для него бог.

— Это Громов, что ли? Из Москонцерта? Красивый парень, не отнять.

— С лица не воду пить,— со своей колокольни оценивая события и не отвергая вековую мудрость, быстро возразила Чернова.— Громов вот обещает-обещает, а я пока толку не вижу. Уж на что рестораны люблю, а знала бы такое дело, не пошла бы тогда в ресторан.

— Ну что такого особенного было,— сказал Вадим, вытряхивая в корзину пепельницу и только для Черновой взглянув на часы. Для себя-то он знал, что разговор только начинается.

Она отметила взгляд, и напоминание о времени ее не обрадовало. Она намеревалась, очевидно, извлечь из их разговора какой-то свой интерес, касающийся пока неизвестной Вадиму машины и примерно определившихся денег. Она начисто забыла, по какому поводу ее вызвали, для нее все шло по принципу: голодной куме хлеб на уме.

— Особенного вроде и не было,— согласилась она.

— Вы вспомните да расскажите потолковее, а то мне тоже трудно мнение свое составить.

— С Женей они познакомились в Доме культуры. Володя как-то приходит и мне рассказывает, что познакомился с представителем Москонцерта, замечательным человеком, у него мать артистка, квартира в Москве. Он угостил Володю пивом в буфете, Володя ему рассказал, что баян у него так, для времяпрепровождения, а вообще-то он хочет учиться петь. Представитель, дескать, пообещал, что подумает, у него большие связи.

Ну, Володя сказал, я мимо ушей пропустила, мало кто что обещает. А Женя еще приезжал по своим делам, опять они встречались. А потом оказалось, что Женя с Инной дружат. В Колосовске Женя с Инной вместе никуда не ходили, все-таки у нее муж. А потом, это уже по весне было, Женя повел Володю в ресторан «Колос», вот он внизу,— Чернова для убедительности пальцем указала на пол.— В тот раз они меня взяли. Стол был богатый, мне очень понравилось, водка «Экстра», сардины, шпроты, каждому по шашлыку, всего-всего было. На Женю все девочки смотрели, он парень хоть стой, хоть падай, одет шикарно.

У них, видно, еще в Доме культуры разговор начался. Все выпили-закусили, Женя говорит:

«Вот так, мой друг, ты человек интеллигентный, должен понять, что все под этим небом можно сделать, толь-

ко для всего деньги нужны. А деньги у тебя есть, петь ты можешь».

Я слушаю, опять ушам не верю — неужели правда есть шанс в артисты выйти?..

— Бывает,— серьезно заметил Вадим.— Вот Шаляпин...

— Вот, вот! — встрепенулась Чернова.— Я прямо так и подумала про Шаляпина, а ещё про Лемешева в картине «Антон Иванович сердится». Женя сказал, за консультацию, да чтоб записали на прослушивание, да за то да се пятьсот рублей надо, а без этого и хлопоты нечего начинать. Потом вторую «Экстру» принесли, я с работы была, немножко окосела. Помню, Женя все шутил, что, работая, любой дурак проживет, а надо уметь прожить не работая. Тогда и о машине разговор зашел. Женя сказал, что у него мать артистка, можно ее машину взять. Можно подучиться и левачить. Я пьяная-пьяная, а удивилась, как это так — доверить машину, когда человек только в армии грузовик водил, а на легковушке сроду не ездил. А Женя ответил, опыт дело наживное, а права пока у кого-нибудь можно взять, карточку сменить, а потом подучиться. А оно вот как получилось. Говорят, ремонт в сколько-то сот встанет...

— Бывает, сами насмерть калечатся.

— Нет. Он только капотом и левым крылом к «МАЗу» приложился. Женя рядом сидел, сразу руль взял.

— Ну, а что ж Инна во всей этой истории?

— А что Инне? Она с мужем жить не собирается. Она с ними поднялась да и махнула гулять в Ленинград, а мне теперь и в отпуск поехать не на что...

Опять вот-вот прольются слезы.

— Ну, вот что, Маша,— построже, но вместе с тем уже как добрый знакомый, как старший младшей сказал Вадим, пододвигая к себе бланк.— Так мы с вами долго проговорим, а деньги нам языки казать будут. Давайте по порядку. Значит, с Женей вы познакомились...

— В прошлом году зимой.

— С матерью его, с артисткой, чья машина, не знакомы?

— Сроду не видала.

— Есть у Жени друзья-товарищи? Кто бы мог на мать повлиять?

— Знаю только Джексона.

— Фамилия?

— Скворцов.

— А вашего как? Если доведется поговорить, может, и артистка вас только по прозвищам знает.

— Может, она и по фамилии помнит,— с надеждой и сомнением проговорила Чернова.— Барон — Володя Шитов, а так — Барон.

«Похоже, законтачили,— Вадим с привычной быстротой записывал ее ответы.— Они в Ленинграде гуляют. Кто о н и и почему в Ленинграде?»

— Вы говорите, Громов на вашего Барона влияние имел. Почему вы с ним о деньгах поговорить не пробовали? Он давно здесь был?

— Женя? — Чернова задумалась.— Ну вот, до того, как попа обокрали, он в городе несколько раз был, концерты устраивал. А потом я его не видала.

— А Инна?

— Инку видела часто. Она вообще любопытная очень, а тут такое дело на весь город. Приезжала, расспрашивала, что, да как, да может кого поймали. Она не серьезная, Инка.

«Ограбление Чернову явно не интересует. Хорошо, вернемся к ее Барону».

— Вы говорили, Барон — извините, Владимир Шитов — у матери деньги брал. У чьей матери?

— Да у моей, и у своей! — «Да. Ее тревожит только Шитов и деньги».— Его даже подозревали, что и крал, когда с армии вернулся. Он и до машины вечно в долгах был.

— Как же вы-то ему такую сумму доверили? — поинтересовался Вадим. Ему это действительно было интересно. Горячей любви, судя по всему, девица к своему Барону не испытывает, а сумма немалая.

Чернова вдруг сконфузилась, даже покраснела.

— Женя все обещал его в артисты... Вроде голос у него хороший, то да се. Я подумала, может, он действительно... Ну вот, решила подождать...

Ну что ж, ясна нехитрая дипломатия. Вдруг все же станет артистом... В общем, пыталась поставить ставочку на завтрашний день,

— Так, может, Громов еще и сделает,— быстро ведя протокол, неторопливо говорил Вадим.

Чернова оказалась на редкость коммуникабельна. Очень подогревали ее то ли навсегда, то ли еще не навек утерянные восемь с лишком сотен.

— И почему вы уж так уверены, что в Ленинграде они гуляют? Может, концерты дают. Может, еще заработает, да и долг вернет.

Чернова сначала очень обрадовалась такому предположению, но надежда ее быстро слиняла:

— Боюсь, и заработает, да не отдаст. Ну ладно, пусть в марте там, в апреле денег у него не было, это точно. А вот дней, наверное, десять тому назад магнитофон шикарный у него появился. Он вообще о всякой музыке с ума сходит. Это на какие тыщи? Говорит, в долг купил, Да кто ему такую вещь в долг поверит?

— Сами магнитофон видели?

— Сама видела! Не видела б, не говорила.

— А все-таки почему не поговорили с Громовым? Ну пусть он сюда не приезжал, почему в Москву к нему не могли поехать? Или он вас на московскую квартиру не приглашал?

«По ее словам, Громов живет в Москве, но она может и не знать адреса».

Чернова приняла вопрос так, как Вадим и рассчитывал. Обиделась. Как же это так, ее не приглашали?

— Да чтой-то не приглашал? Да мы у него были. «Экстрой» угощал, осетриной, креветками. Комната одна, а большая, богатая, балкон-лоджия во всю стену.

— Это где такие однокомнатные с лоджиями? — усомнился Вадим.— В Москве живу, а что-то я таких не видел.

— А что ж, что вы не видели, а вот есть! — с некоторым превосходством заявила Чернова.— На Реутовской возле гастронома новые дома. На втором этаже еще нет, а на третьем уже лоджии. Стены такие пупырчатые, очень красиво.

— Он и сам красивый,— не отрываясь от протокола, еще раз забросил удочку Вадим. «Свальный грех у этих Джексонов и Баронов или все-таки парные сожительства?»

— Красивый,— опять без энтузиазма согласилась

Чернова.— Инна для него что хочешь сделает. Какой никакой муж есть, а она и не смотрит.

«Невысоко ценят тебя в этой компании, ученый человек»,— посочувствовал Вадим Волкову с его наглухо залепленными ушами.

Чернова с крепнущим доверием следила за ручкой Вадима. Страх перед возможным взысканием за машину и робкая надежда вернуть безнадежно, казалось, утерянные восемьсот сорок напрочь заглушили некоторую тревогу, которая проснулась было в ней, когда приезжий следователь проявил незаурядную осведомленность в ее сугубо личных делах. Однако растекаться мыслью по древу Черновой не было дано, мысли водились у нее куцые и не в избытке. О деньгах так о деньгах, все остальное сейчас не задерживало ее внимания.

— В общем, думаю, за машину никто с вашего Барона взыскивать не будет,— сказал истинную правду Вадим.— Хозяин же, можно сказать, рядом сидел. Я этого, между прочим, не знал. Какие тут взыскания? Но вашему Володе урок. Надеюсь, что в Ленинграде он заработает, вернется и деньги вам отдаст.

— Уж не знаю, как бы и рада была,— тоже с полной правдивостью сказала, вздыхая, Чернова.— Инка из Ленинграда на один, не то на два дня приезжала, говорила, они все потом в Гагры или в Сочи поедут. Женя музыкальную бригаду подбирает. Из Москвы, кроме Володи, кажется, еще одного музыканта берут.— Подождите! — Чернова порылась в бахромчатой сумке.— Вот. Инка очень торопилась, она меня просила этому музыканту позвонить. Прямо на билете телефон написала...

Чернова достала авиабилет, Вадим взял его. Шереметьево — Ленинград, серия, номер, маршрут, рейс, время отправления...

— Ну и позвонили вы?

— Дозвонилась, только какая-то женщина подошла. Сказала, что болен, аппендицит ему сделали, никуда не поедет. На электрогитаре он, кажется, играет.

— Как же теперь они?

— Ну! — Чернова победно тряхнула длинноволосой головой. Как видно, будущее представало перед ней во все более радужном свете.— Женя — да не найдет!

— Видите,— Вадим вздохнул облегченно,— вполне

может быть, что заработают. Юг все-таки, курорт. У артистов, сами знаете, как. Лиха беда начало.

— И я так маме говорю, а она меня ругательски ругает, зачем деньги дала,— окончательно воспряла духом Чернова.— Вы посторонний человек, а понимаете... А откуда вы, товарищ следователь, знаете и про машину, и про деньги? — вдруг и наконец-то осенило ее.— Значит, артистка эта все-таки хотела взыскать?

— Здесь, Машенька, я вопросы задаю,— веско сказал Вадим.— Во всяком случае, как видите, ничего вредного для вас из моей осведомленности пока не проистекает.

Чернова поспешно, с готовностью покивала, всем своим видом подтверждая, что нет-нет, ничего вредного. Очень не хотелось ей терять контакт с таким душевным, внимательным следователем, а уж если следователь думает, что деньги не совсем пропащие...

— Вы можете оставить у меня этот билет? — спросил Вадим.— Мне ничего не стоит, я попробую до самого музыканта дозвониться, может, он кого порекомендует.

Конечно, она могла оставить, зачем ей этот билет?

Чернова пыталась было не читать каждую страницу своих показаний. Он настоял. Она каждую прочла и подписала. И протокол о добровольной выдаче билета.

Чернова ушла, ничем не встревоженная, даже подкрепленная надеждой. Вадим почувствовал смертельную усталость. Допрос продолжался около четырех часов, но теперь уставать было некогда. И по воздуху пройтись — эх, как бы хорошо! — некогда.

Вадим встал, энергично прошелся по кабинету, от стены к стене, раз, два... десять... Распахнул окно. На дворе было солнечно и много теплее, чем в комнате. Вот-вот должен прийти Корнеич, но, конечно, может и не прийти, планы у них обязательные, однако зыбкие. Обстоятельства вносят свои поправки, а уж от обстоятельств всего можно ждать. Хорошо бы пообедать до Корнеича, а то — оставить ему записку, пусть и он подойдет, наверняка еще не кормился.

Вадим написал Корнеичу записку. Опять взял лежавший на протоколе авиабилет.

Допрос оказался урожайным,— по воде пошло много кругов, даже больше, чем ожидалось,— однако ж о каком бы всплывшем обстоятельстве ни размышлял сейчас

Вадим, его не покидала подспудная мысль, возникшая мгновенно, как только он услышал о музыканте, которого ждали, ищут и который не может ехать.

Над музыкантом и его связями надо работать, это ясно, но это не все. Интересно, что скажет Корнеич и как отнесутся Бабаян и Чельцов к идейке Вадима. Без начальства такое не решишь.

Корнеев подошел в ресторан к концу обеда, на удивление Вадиму, сытый и с портфелем, чего за ним сроду не водилось. Округлая щекастая физиономия его источала довольство собой и жизнью. Вадим в который раз подумал, что Корнеич до удивления не похож на человека своей профессии, и даже трудно представить, сколь подвижен и крепок оказывается в нужную минуту этот тяжеловатый на вид увалень.

— Сияешь, как таз медный, свеженачищенный,— сказал Вадим Корнееву.— И обюрократился вконец.— Последнее относилось к портфелю.

— Пошли-ка наверх, похоже, наша бочка под гору двинула, рассиживаться некогда,— ответил Корнеич. Энергия из него так и рвалась, в темноте бы искра пробивала.

— То-то мы рассиживались,— оставляя деньги на столике, сказал Вадим.

Но он разделял ощущение Корнеева.

Уже без малого десять дней велась нуднейшая, изматывающая работа: маршруты, однотипнейшие показания десятков людей, клубы, драмкружки, опять маршруты, люди, живущие поблизости, знакомые живущих поблизости, те, кто могли пройти поблизости... До одуряющей усталости одно и то же.

Может показаться смешным постороннему человеку, но по показаниям одного из опрошенных сочли нужным — и провели — проверку шестидесяти тысяч зрителей в Лужниках. Проверяли так, чтоб не встревожить толпу. И не встревожили.

Может показаться не нужным по нескольку раз перечитывать множество однозначных протоколов, как в лупу отыскивая в них могущие пригодиться крупицы обстоятельств. Однако следователь, как и сыщик, должен уметь не только мгновенно реагировать, оба они обязаны обладать и библейским терпением рыболова.

Вадим тоже застолбил сегодня движение бочки под

гору. Хороший круг на воде дала Краузе, однако после Черновой сомнений в возникшем движении уже не было. Корнеев не знал ни о Краузе, ни о Черновой, стало быть, он зацепил что-то еще, значит, потеплело, кончится поневоле беспредметное рысканье, пойдет целенаправленная работа.

Борко хлебом не корми, дай сослаться на фронтовой опыт. Бывает, говорит он, ведешь огонь по площадям — никакого интереса. А появятся координаты, нащупаешь цель, тут уж возникает интерес, пойдет ювелирная работа. И хотя в представлении Вадима такой грубый инструмент, как пушка или там гаубица, никак не вязался с понятием ювелирной тонкости, мысль Борко ему нравилась.

В номере Корнеев извлек из портфеля канцелярскую, не новую, по виду не пустую папку.

— В оперативности начальству не откажешь,— сказал он.— Не что-нибудь, Бабаян целое дело Волковой из Суздаля получил. Еще раз убеждаюсь, есть у Бораненкова чутье, сиречь возникающая на основе опыта интуиция. Вот, полюбуйся!

— А ты пока этим займись.

Вадим подал Корнееву краткую запись своей беседы с Краузе и подробный протокол допроса Черновой.

Мотыльком спрохнул с бумаг авиабилет, Вадим ловко подхватил его в воздухе и снова заключил в папку. Мыслишка, связанная с музыкантом, все прочнее обосновывалась в его сознании.

Итак, дело Волковой — фамилия еще другая, девичья — из суздальской детской воспитательной колонии. По своей обычной привычке Вадим прежде всего остановился на фотографии.

Со стандартного прямоугольника девять на двенадцать на него смотрел коротко остриженный мальчик. Мужская рубашка типа военной гимнастерки с нагрудными карманами, мужская короткая стрижка, спокойное, печальное выражение лица.

Фото? Беспристрастнейшее специальное фото. Глаза — зеркало души и все такое прочее? И да, и нет. По Ломброзо, преступные наклонности имеют с внешностью человека непосредственную связь?

Чушь. Какие прелестные юноши обитают в личной фототеке старшего следователя Лобачева! Спортивны,

интеллектуальны, все бы хорошо, да только особо опасные преступления совершены этими интеллигентными красавцами.

Значит, печальный мальчик... А дальше бумаги, документы, тоже своего рода фотографии, только не лица, а поступков, сторон характера, отрезков судьбы.

В школе учиться не захотела. («Ну пусть, это у подростков бывает. Стремление к самостоятельности».) Поучилась на курсах, стала стажироваться на мужского парикмахера. Вот справка с места работы: «...была невнимательна, непослушна, уходила с работы без разрешения мастера, обучалась очень долго». («Может быть, были с ней грубы? Не учли, что нет еще навыка дисциплины?»)

Из отпуска на работу не вернулась. Довольно значительный перерыв во времени, и вот уже документ из милиции: «...восемнадцать лет, за аморальное поведение направляется в колонию...» В материалах есть и подтверждающие факты, алкоголь, отнюдь не платонические связи с мужчинами.

Ну, а дальше... Человечное, теплое письмо матери о Раисе, мать просит выписать дочь к ней, начальство колонии ходатайствует в милицию по месту жительства, просит помочь девушке с трудоустройством, специальность у нее есть.

Заявление самой Раисы. Она осознала ошибки, она хочет работать и учиться в девятом классе.

А вот и характеристика, выданная в колонии.

«...Вступила в комсомол. Можно использовать девочку на любых общественных поручениях. Их она выполняет с большим желанием и охотой». («Дай бог к девятому классу моей Маринке такую характеристику!»)

На характеристике Вадим задержался не потому, что удивился несоответствию ее с нравственным обликом нынешней Раисы-Инны. Он задержался потому, что, к сожалению, нередко приходилось ему сталкиваться с вопиющей непреложимостью документа к человеку.

Какие прекрасные характеристики поступали иногда на расхитителей, дебоширов, взяточников да просто на молодых разбойников в прямом смысле этого слова, чьи родители скорее готовы были поставить под сомнение все производство кропотливейшего расследования, нежели принять доказанную вину их чада.

Всегда приятнее подписать радостный, если можно так выразиться, документ. Ведь отрицательная характеристика на совершившего преступление нередко означает, что к человеку относились спустя рукава те, кто его окружали. Так не легче ли умыть руки, то есть похвалить?

А из колоний детских и взрослых разве мало исходит таких вот радужных бумаг. Перековали, дескать, перевоспитали. Перевоспитанный за зону выйдет, петух прокукарекает, а там — хоть не рассветай...

И уж совсем непонятно, как же можно спешить с таким делом, как принятие в комсомол, вручение комсомольского билета.

Где ты теперь, комсомольский билет Инны-Раисы, билет с заветным профилем на обложке? Ответит ли кто-нибудь из давших рекомендацию этой старательной девочке, которую можно использовать на любых общественных поручениях, и она выполнит их с большим желанием и охотой?

Девочка даже не регистрировала нигде свой билет, он не нужен был ей на воле. Где он брошен? Где он потерян? Нет, нельзя спешить с вручением комсомольского билета...

Корнееву досталось больше читать, он и читал дольше. Прочел. Разумеется, папиросы, дымки и на некоторое время полная тишина в комнате.

Первым ее нарушил Вадим.

— Все ясно, но я не вижу, чем эта папка могла тебя особенно заинтересовать.— Так он начал.— Бораненков знал, что она была в колонии. Она там действительно была. Ну и что из этого? Вела себя сверхпохвально, характеристика — дай бог Маринке. Короче, не понимаю, что конкретно в этом материале заставило тебя просиять.

Подоплека такого зачина была понятна. Сейчас они будут испытывать на прочность, оспаривать, пытаться опровергнуть любой вывод, любое предположение, любую версию. Остаться в плане расследования должно то, что не сможет быть оспорено, устоит, выдержит испытание на прочность.

Корнеев не знал ни о Краузе, ни о Черновой. Что же в папке Волковой привлекло его внимание? А если привлекло, то, может быть, там есть нечто, пока ускользаю-

щее от внимания Вадима. Вот этого «нечто» и добивается Лобач.

Но над папкой как таковой им толковать не пришлось.

— Не от папки я просиял,— сказал Корнеев.— Я с домработницей Вознесенских, с Зavariной, кое на что вышел. Ох и дура же! Небывалая дура, сокрушительная! Поистине лучше с умным потерять. С дураком не рассчитаешь. Но это потом, а сейчас давай объединим, сопоставим, потому как при всем при этом,— он кивнул на материалы Вадима,— вроде и папка может оказаться к месту.

— Ну и у меня есть кое-что на потом. Давай сопоставлять и решать, что в первую очередь двигать.

В первую очередь в Москву ушел срочный запрос на Шитова и Громова. Можно было быть спокойными: начальство и в этом случае проявит оперативность. Многое зависело от результатов запроса. Чернова?

Нет, Чернова пока не вызывает подозрений. На Волковой задержались основательно.

Само по себе пребывание девушки в колонии ничего не решало. Кто-кто, а уж они, работники органов, сколько знали людей с изувеченным прошлым и безупречным настоящим. О таких судьбах написать — поучительная книга получится. Пока жив человек и не сгинула в нем совесть, не примеряй к нему понятия безнадежности.

Не колония и даже не нынешний незавидный быт Волковой, а вопрос о возможной цене похищенного, внезапно и как-то не к месту заданный ею хозяйке квартиры, вот над чем — касаемо Волковой — надо было думать, и думать быстро.

Случайность? Бывают, конечно, случайности. Встретил же случайно Пушкин Кюхельбекера в Залазах, по дороге в Сибирь. Но на случайность расчет зыбок, надо ловить закономерность, как говорят инженеры, испытывающие новый агрегат. Правда, на определенной стадии испытаний они имеют возможность устанавливать закономерность, когда испытуемое изделие закреплено на стенде. Жизнь на стенде не закрепишь.

Волкова появилась в Колосовске после ограбления (смотри показания Черновой и Бораненкова), об ограблении знала (многие в городе знали), любопытствовала,

не поймали ли кого. Почему тогда же ее не заинтересовала стоимость?

А если теоретически допустить возможность хотя бы частичной причастности... Тогда не исключена следующая связь. Ценности похищены.

Вряд ли будут они долго ожидать сбыта. Нестандартный товар, к барыге не понесут. Скорее всего, икону и полотно ждали. Скорее всего, они сразу ушли и сразу же должны были быть оплачены. Сумма могла показаться недостаточной, как это нередко бывает, главные распри между участниками группы возгораются при дележе.

Вопрос неосмотрителен? Предельно. Но Волкова не производит впечатления опытной. Колония в Суздале детская, с преступниками она там не общалась. Ей исполнилось восемнадцать, ее имели право направить в обычную колонию. Очевидно, направили в колонию для несовершеннолетних, именно желая уберечь от опасных связей со взрослыми заключенными, пока что позади у нее только аморалка...

Тогда почему возможно допущение мнения о причастности?

Осторожней, осторожней! Мнения о причастности еще нет. Однако же «только аморалка» может послужить крепким фундаментом для многого. Колония не научила Волкову ничему, кроме уменья притворяться. Она не стала жить с матерью, пренебрегла «каким ни на есть» мужем. «Она для Жени Громова сделает все» (смотри показания Черновой).

Кто такой Громов? Завтра будет известно хотя бы, имеет он судимости или нет. Пока подойдем к нему с оптимистической гипотезой. Все видевшие его отзываются о нем как о заметном, красивом, впечатляющем человеке. Из состоятельной семьи, мать артистка. Может быть, это и дает ему возможность жить не по средствам. На восемьдесят рублей — минус алименты — знакомых по ресторанам не поводишь.

Без уважения относится к официальным документам? Посоветовал Шитову воспользоваться чужими правами водителя? И тут ничего особенного, к сожалению, многие так поступают.

Не совсем понятно поведение в машине? Сидел рядом, знал, что Шитов новичок, почему не предотвратил

аварии? Опять ничего особенного. Мог понадеяться, зазеваться.

Хорошо, с Громовым — до завтра, но при всех обстоятельствах интересно, что эти трое делают в Ленинграде.

— Есть у меня в Ленинграде дружок,— задумался вслух Корнеев.— Свиридов, капитан, двенадцать лет в органах. Тоже из инспекторов родился. Сейчас начальник отделения. Вместе учились. Позвонить если пока попросту, без запросов?

— Позвони, Корнеич! Может, по дружбе оно еще скорее окажется.

Позвонили Шурыгину, тот посадил на провод дежурного, связались с Ленинградом, удачно разыскали дружка. Обещал помочь. Шурыгин, между прочим, сказал, что был в Москве, присутствовал на оперативке. Чельцов одобрительно отозвался о работе группы.

— Спасибо, товарищ начальник,— поблагодарил Корнеев.— Стараемся, стараемся при вашей поддержке. Значит, на ковер пока не грозит?

— Пока нет.

— Приеду в Москву, таких Копылову навешаю! — положив трубку, смачно пообещал Корнеев.

Нелогично устроен человек. Давно ли Вадим был готов поставить Чельцову в вину некоторую поспешность, долю сомнения, что ли, которую, с его точки зрения, проявлял Чельцов, собираясь оторвать их от колосовских дел вызовом для доклада в Москву.

А теперь самому хотелось встречи, разговора по плану расследования, особливо по пункту, касающемуся авиабилета и телефона музыканта.

Не только Лобачев — и другие работники следственного аппарата УВД считали, что им крупно повезло — иметь куратором Чельцова. Профессиональной памятью он владел феноменально. Поначалу, если доводилось идти к нему на доклад, Лобачев готовился напоминать о подробностях в ходе расследования по тому или иному делу, да и не только о подробностях.

У заместителя начальника управления не один следователь, не только его, этого следователя, дела.

Однако быстро выяснилось, что в напоминаниях нет нужды. Более того, был случай, когда Чельцов поправил Вадима, напомнив, что не в Кобулети предполагалась

встреча с женой крупного мошенника Месхия, а в Тбилиси, соответственно менялся и расчет времени.

От Чельцова Лобачев всегда уходил с надежным чувством общности интереса к находящемуся в производстве делу, а уверенность в общности рождала и великое чувство локтя.

Сколь ни мощна система, непрестанно обновляющаяся техника, научные достижения, на которые опирается следственный аппарат в целом, вряд ли можно найти следователя, который не испытывал бы порой трепета угрожающего одиночества: преступник и ты, и ты — один.

У оперативников такие минуты ощущаются особенно остро. Оно и понятно. Оперативник, как разведчик, будет находиться в метре от тебя, и взглядами встретитесь да разминетесь, не узнавая. Он — отрезанный ломоть, он живет другой жизнью, бывает, что он — не он, и не дай ему бог забыть об этом обстоятельстве. Какая обстановка сложится, а то — многим бывает чревата непредусмотренная дешифровка...

«Так как же все-таки решим с музыкантом? Положим, решать будет начальство, но какой вариант мы предложим?»

Мыслишка крепла, свила себе в сознании Вадима прочное гнездо. А вообще-то они с Корнеевым обсуждали сейчас каналы сбыта. Обоих очень интересовали каналы, по которым могут уйти икона и полотно. Да, такой товар к барыге не понесешь. Пусть Москва проверит, есть ли сейчас в городе кто-либо из занимавшихся ранее скупкой и перепродажей. Может быть, не перепродажей, просто передачей. Вор, похищающий ценности такого рода, редко бывает связан непосредственно с покупателем. Покупатель тут особый, птица, как правило, немалая, а случается, ниточка и за рубеж уведет.

Недавно в центральной газете было опубликовано фото. Иконы,— надо думать, не современными богомазами изготовленные,— пытался тайно перевезти через границу человек, сменивший подданство. Ну, да в таможне тоже не лыком шитые сидят.

— А почему, собственно, только Москва? — размышлял Корнеев.— Я, между прочим, когда с народом беседовал, заметил, из Колосовска многие семьи исстари

к Ленинграду тяготеют, у многих там родня. И эта троица в Ленинград подалась.

Вадим подумал. Медленно покачал головой.

— Это еще неизвестно, почему троица туда подалась. Может, именно потому, что город чужой и никто их там не знает.

— Это — если допустить возможность причастности и так далее...

— Это — если допустить.

На удивление быстро (каких-нибудь три-четыре часа прошло, луна светила в окно в полную силу, и они работали) Корнеева вызвал Ленинград.

Нормальные люди спали, подразгрузились линии связи, была хорошая слышимость. По лицу Корнеева и его нечастым репликам Вадим легко улавливал смысл разговора.

— Голуба! Да что ж ты сам? Послал бы кого,— виноватым голосом проговорил Корнеев.— Мне бы и в лоб не влетело, тебя самого...

— Не угрызайся, Михаил Сергеич,— без веселья, без шутки ответил Свиридов.— Я сейчас без снотворных все одно не сплю, а привыкать к этой пакости не хочется. Ну, а при деле-то вроде и не от бессонницы не спишь.

— То-то у тебя дел нет! — поразился такой несбыточности Корнеев.

— Да вот представь. Сегодня с дежурства, и можно бы спать.

Корнеев в недоумении слушал пустой, ровный голос. Робот мог бы так говорить. Свиридов ему не дружок — это только говорится для легкости. Свиридов друг настоящий, были у них совместно прожитые и пережитые, с непреходящим уважением хранимые в памяти дни.

Вдруг Корнеева осенило. Он испугался, спрашивать ли? А ну как, на счастье, он ошибся? Спросишь — и нехорошо получится. А ну — будь что будет. Спросил.

— Да нет, Миша, не ошибся ты,— таким же бесцветным голосом прервал его Свиридов,— ушла Надежда. Совсем ушла.

Оттого, что имя жены обладало двояким смыслом, слова Свиридова прозвучали подчеркнуто безнадежно.

— ...вот так и ушла. Сказала, что не может вечно ждать и переживать. Сказала, что это не жизнь, а висе-

лица с протягом. Где уж она вычитала такое, не знаю. Ну, так ты, в общем, слушай про твоих подопечных. А то что ж я, понимаешь...

— Давай, давай, Витенька, родной, давай! — засуетился Корнеев, обрадованный, что в голосе друга обнаружились некоторые признаки жизни.

— Значит, так. Вся троица прописана в «Европейской», мужчины вдвоем, девушка отдельно, все, как надо, не придерешься.

Свиридов подключил уже кое-кого из своих. Громов держится скромно, не пьет, возвращается рано. Шитов и Волкова каждый вечер в ресторане. Пьют и едят дорого.

— Шитова видел сегодня сам,— сказал Свиридов.— Пьян не был, но долго торговался со старшим из оркестра, чтоб ему дали спеть с эстрады. Заплатил двадцать рублей. Спел. Голосишко есть, поет плохо, кое-как не освистали.

— Витя, спасибо! — проникновенно втолковывал в трубку Корнеич. Вадим понимал, что не за Шитова с его эстрадными потугами сейчас тревога Корнеича и беспомощная забота.— Завтра, Витя, вам законная бумага, может, телефонограмма от нашего управления уйдет. Ты уж там подмогни с твоими ребятками, проследи, Витя!

Корнеев печально глядел на утихающую трубку.

— Вот так, Данилыч, как говорится, пики козыри. Вовек не женюсь! Нельзя оперативнику жениться! — с сердцем проговорил он.

— А чем следователю лучше? — возразил Вадим, думая о Гале, пытаясь увидеть себя, Корнеева, Свиридова глазами женщин, обыкновенных хороших женщин, которым хочется, чтоб муж вовремя приходил с работы, чтоб у него бывали свободные вечера и выходные дни, чтоб с ним можно было поехать в отпуск. И чтоб ночью, когда он на дежурстве, не надо было бояться телефонного звонка.

— Вот пишут в газете о Вале Зотовой,— говорил Корнеев.— Ничего не скажу, правильно пишут. Валя молодец, смелая девочка, на место мужа и голубь в облака. Но ведь и так можно подумать, если не для газеты. Достойно поступить в память убитого мужа, может быть, легче, чем постоянно заботиться о живом. О Вале пишут, а почему о такой Надежде не напишут?

— Как судить женщин? — сказал Вадим.— Как их осуждать за то, что они — живые и хотят нормальной семьи?

— Они, значит, живые, а мы пластиковые, что ли? Стервы они! — отрубил Корнеич и спохватился, вспомнив о Гале.— Ох, извини, пожалуйста!

— Ладно, замнем для ясности,— миролюбиво предложил Вадим.

Немножко его встревожил гневный пыл Корнеева: если только за Свиридова, не слишком ли горячо? Не становится ли Корнеичу поперек личного пути их нелегкая работа, аналогий искать не долго. Воспротивились же напрочь его собственной невесты родители, узнав, что жених — следователь. Вадим никогда не забудет горьких слез жены и ее решимости. Но что греха таить, по сию пору он внутренне противится, когда Маринку забирают погостить на Украину. Умудрилась ведь теща, культурная женщина, в прошлый приезд, потчуя Вадима маринованными баклажанами, высказаться:

«Вот уж не думала, не гадала, что из следователя такой будет зять! Кушайте, Вадик, кушайте, голубчик!»

— Мы обсудим этот вопрос на твоей свадьбе, Корнеич,— предложил Вадим.— У кого-то из древних восточных читал я: кто сказал, что любовь счастье,— солгал. Любовь — казнь, но тот, кто не готов идти каждый день на эту казнь, недостоин имени человека.

— Смотри ты! — искренне подивился Корнеев.— У них, кажется, женщины ходили занавешенные, какая там могла быть любовь? Одна казнь.

— Не у всех занавешенные. Так давай вернемся к нашей троице. Чай кончается, и вообще пора прерваться, вздремнуть минуточек хоть двести. Рассвет скоро.

Вадим поднялся, подошел к окну.

Рассвет уже наступал на городок. В ощутимой близости к Ленинграду июньские ночи стояли здесь светлые, северные. Как будто не с бледнеющего неба исходил свет, а от самой земли, из тенистых заводей заросших улиц подымался голубой мерцающий сумрак и таял на глазах, оставляя спящим людям помолодевшие, омытые росой сады и домики.

На не видном за зданиями горизонте, в блекнущем небе занималась заря. Отсюда, из гостиницы, ее можно

было увидеть только в узенький просвет между большими деревьями и новым домом на улице, которая вела к высокому обрыву, к оврагу, отделявшему старую часть Колосовска от молодого центра города.

В одну из ночей Вадим заметил этот теплевший с каждым мигом розовый глазок новорожденного дня и привык по-детски загадывать — проглянул он через облака, значит, сутки будут удачными.

Нынче глазок горел ярко. Как видно, ветер раскачивал дерево, и, казалось, юная зорька приветственно сигналит.

«Сейчас скажу про музыканта»,— подумал Вадим. Отошел от окна в удивительный, всякий раз заново рождавшийся мир, вернулся к столу. Хорошо летом! Даже в их бессонном обиталище воздух свеж.

— Итак, вернемся к нашей троице,— повторил он, снова поудобней располагаясь в кресле.

Стол завален протокольными бланками, около Лобачева и Корнеева по пепельнице — обзавелись хозяйством — и по граненому стакану с черным осадком разбухших чаинок на донцах. Не чай, почти чифир. А спать все равно хочется.

Покосившись на пузатый электрический чайник на тумбочке, Вадим подумал с надеждой, что сегодня они больше не будут заваривать.

— Двадцать рублей за собственное выступление — это уже интересно. Непохоже на заработок, похоже на страсть.

— А может, на публику прорывается, аплодисменты сорвать, авторитет заработать.

— Не думаю,— сказал Вадим.— Все-таки если б были у него данные, в местных клубах больше бы было шансов прорваться. Он же местный. А здесь он в баянистах застрял. Уж как-нибудь бы выдвинули. Да и двадцать рублей для некредитоспособного...

— Почему? — перебил Корнеев.— Перед Ленинградом появился дорогой магнитофон (смотри Чернову). Есть деньги. Откуда? Другой вопрос.

— Дуре Черновой, по всей видимости, их не видать, и все-таки — да, откуда?

— Чернова — дура? — воскликнул Корнеев.— Вадим Иванович, ты заелся! По сравнению с Заввриной твоя Чернова — Эйнштейн. Эйнштейн в любви.

По отчеству, да еще с произнесением всех слогов Корнеев величал Вадима лишь в редких случаях. Что-то должно было последовать.

— Нашелся ведь, кто раньше приходил к Вознесенским. То есть он еще не нашелся, но он наметился.

— Давай, давай!

Развалившийся было в кресле Вадим подобрался. Даже спать расхотелось, и крепнущий свет зари зазвучал как начало рабочего дня. Недаром, значит, глазок подмаргивал.

— Преамбула тебе известна, кто-то должен был быть, а из этой сокрушительной ничего я не мог вытянуть. И пошел я по соседям. Под видом — собираюсь снять приятелю комнату на лето, то да се. И представь, наткнулся — не знаю, как тебе, а мне первые такие попались — на остервенелую семейку, которая рада до смерти, что старика обокрали.

Исходное положение у них понятно: религия — опиум для народа. А дальше ход рассуждений таков: если ценные вещи открыто держали, то сколько же у них попрятано. А раз попрятано, так за деньги что хочешь можно. К ним сантехник два раза приходил, а у нас водопровод не в порядке, к нам не дозовешься.

«А у них,— спрашиваю,— водопровод тоже не в порядке?» — «А черт, говорят, их знает, а только к ним ходит. Два раза был, сами видели. Машку ихнюю спросили, она сказала, что сантехник. А почему к нам не заходит?» — спрашиваем. «А это, говорит, дело не мое».

Я опять к Завариной, а она мне на полном серьезе: «Так вы про знакомых спрашивали, а он какой же знакомый? Он сантехник».

— Наша недоработка,— щадя самолюбие Корнеича, сказал Вадим.— Иначе вопросы надо было ставить.

Но Корнеич не принял поблажки:

— Сам знаю. До удивления просто, а прошляпил. Короче говоря, месяц с лишним тому назад, до Майских праздников, точнее не помнит, к Вознесенским пришел сантехник, под плащом халат, чемодан потертый с должным снаряжением. Старика, заметь, дома не было. Проверял краны, в одном сменил прокладку. Попутно пощелкал выключателями, сказал, что скоро придут проводку по дому проверять. Заварина сама спросила, не

может ли он сразу и проводку. Он сказал, что смочь-то сможет, но очень занят. Она пообещала пол-литра. Провела по коридорам, по комнатам. В комнате у старухи он задержался с одним выключателем, не велел пользоваться, объяснил, что с собой нет, но в следующий раз будет рядом, зайдет и сменит.

В следующий раз пришел. Старика опять не было. С выключателем долго возился, посылал ее за молотком, сказал, молоток забыл.

— Выключатель на шурупах. А по отношению к старухиному креслу где выключатель?

— За спиной. У постели, аккуратно за спиной. Весь киот просматривается. Когда уходил, дал Завариной расписаться в книге, книга обтрепанная, много всяких граф.

— В коммунхозе?

— Мог бы и не спрашивать. Был. Никакого сантехника к Вознесенским не посылали. Кто ходит по домам, видел, старенькие, страшненькие. К Вознесенским приходил молодой, видный, по словам Завариной, обходительный и — ни в одном глазу, а с этими рядом постоишь — на огурец потягивает. Соседи утверждали, что перманент сделан после сантехника.

— Не исключаю, не исключаю,— в раздумье повторял Вадим.— И все-таки она не врет. Если навела, то по глупости и сама того не ведает. Портретик наш показывал?

— Отвергает наотрез.

— И без бородки показывал?

— Отвергает.

— Значит, все правильно.

Вадим погасил настольную лампу. Было уже светло, но город еще спал, только птицы, пробуждаясь, начинали перекликаться.

— Значит, как мы и предполагали. Первым дважды — как минимум дважды, тут Заварина может соврать,— прошел... назовет его Сантехник. Заметь, оба раза хозяин отсутствовал, хотя вообще, как мы знаем, отлучается редко. Осведомленность полная. Вероятнее всего, не от Завариной.

Сантехник, прошедший дважды, мог информировать второго, с бородкой, о расположении комнат. Кто-то из них двоих должен разбираться в иконах и живописи. Похищенная икона в киоте одна из пятнадцати — двадца-

ти и отнюдь не занимала центрального положения. Пейзаж на стене тоже был не один. Я, к примеру, погорел на пейзажах.

Вадим рассказал о своей беседе со стариком о прошлом, о том, что по сию пору трепещет в Вознесенском творческая жилка, не сумели ее увидеть до конца.

— Беда вот так-то,— не сразу отозвался Корнеев.— Промучился, наверно, бедолага, всю жизнь, никакие обедни не спасали. И это, между прочим, не суть важно, большой талант или маленький. Одна блоха, да спать не дает.

Лобачев работал «в паре» с Корнеевым уже не один год, а ведь далеко не всегда удается следователю и оперативнику выиграть, а точнее, выработать такое взаимоотношение, синхронность восприятия и метода мышления. Нередко люди не срабатываются, хотя каждый в отдельности вполне способен действовать грамотно и результативно.

А вот к неожиданности корнеевских формулировок Вадим так и не смог привыкнуть, доводилось и позавидовать.

Сейчас не особо эстетичный образ, использованный товарищем, мощно перенацелил мысли с деликатно-печального старика на троицу, развлекавшуюся в Ленинграде.

— А двадцать рублей за разрешение спеть песенку при окладе баяниста — это, считаешь, блоха?

— Считаю, уже клоп.

Они еще раз вместе просмотрели показания Черновой.

— Громову из Москонцерта Шитов зачем-то нужен,— рассуждал Вадим, стараясь вспомнить Чернову, подробно каждое ее слово, интонацию, от которой порой так меняется смысл.

Когда уже можно будет полностью перейти на магнитофонную запись! Ведь далеко не в одной физической усталости дело, пишешь — неминуемо отвлекаешься от допрашиваемого, перестаешь видеть человека. Стремясь максимально сохранить смысл показания, можешь упустить отдельное слово, паузу, а в них-то, бывает, и таится искомый эмоциональный акцент.

Корнеев тотчас опробовал на крепость протянутую ниточку:

— А если Шитов нужен Громову как певец?

— Нет. Как видишь, за эстраду Шитов сам готов платить, только бы пустили. Простая дружба, без подоплеки?

Корнеев подумал.

— Если судить по протоколу, Чернова относится к Громову немножко снизу вверх,— сказал он.— Возможно?

— Точно. По сравнению с Волковой Чернова в этой компании вообще на вторых ролях.

— Но ей доверяют. Телефон музыканта, поручение...— Корнеев проверил авиабилет.— А что у тебя было на «потом»? — вспомнил он.— У меня была Заварина, а у тебя?

Вадим помедлил, облачко сомнения все же бросило тень на его замысел.

— Знаешь, Корнеич, завтра! — решил он. Почему-то ему казалось, что завтра они основательно продвинутся и все тогда решится.

А впрочем, ничего странного в этом ожидании не было. Прошедший день дал много. Корнеев, хотя и с опозданием, просиял не зря. Появился проводник человека с бородкой, появился Сантехник. Странно звучит — «появился»? Да, его еще нет. Но есть, кому его опознать. Они найдут его. Появится он и во плоти. Важно, что он предугадан. Это как в таблице Менделеева. Еще не открыт элемент, но уже известны его свойства и место в системе.

— Может, он и не только проводник,— снова вернулся Вадим к Сантехнику, и Корнеев понял это.— Кто-то из них двоих ведь должен был определить икону и картину?

— Иваныч — хватит! Вот-вот солнце вылезет.

Наметили на завтра: договориться с управлением о подключении Ленинграда. Начать проверку музыканта. Выяснить по сберкассам, не поступали ли за последние десять дней вклады от троицы, поскольку у Шитова и Волковой внезапно обнаружились ценные вещи, а Громов живет не по средствам и близок им обоим.

— Ну, а теперь минуточек двести вздремнуть.

Три часа до подъема простирались заманчиво-долгие, как ночь. Постельное белье встречало приятным холодком. Есть же на свете люди, не испытавшие счастья за-

лечь вот так, на целых три часа! Вот она где прорезалась, теория относительности.

Мысли уже блаженно сливались. Вадим успел только спросить себя: почему не сказал Корнеичу о своей вариации касательно музыканта? Раздумал? Вадим проверил. Нет, идейка та цела, живет, гнездо свила. Просто он поопасился спугнуть — сглазить версию, крепнущую в целом. План его приемлем только в том случае, если троица или хотя бы двое из нее станут прицельно подозреваемыми.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Утром они поднялись на диво свежие, словно бы проспали ночь. Корнеев брился первый. Жужжа электробритвой и подпирая щеку языком, он поглядывал на стоймя приставленную к зеркалу бумажку с набросанным вчера планом мероприятий. Была у него такая привычка. Он вычитал где-то, что при изучении иностранного языка слова лучше запоминаются, если их крупно записывать на карточках, а потом расставлять карточки в самых неожиданных местах и снова, и снова прочитывать.

Насчет иностранного языка положение оставалось неясным, но касаемо непосредственной работы Корнеев утверждал, что зрительное восприятие записи помогает ему сосредоточиться.

Что до Вадима, то все, связанное с изучением иностранного языка — в студенческой судьбе ему достался немецкий,— вызывало в нем неловкие воспоминания. Он до сих пор кровно ненавидел этот язык. Нелюбовь ни в малейшей мере не была связана с военными событиями.

Но что в самом деле за язык! Читаешь длинную фразу: я сел на велосипед, я поехал к моей бабушке, я ел у нее сыр.

А потом в конце обнаруживается «нихт», и в результате — я не сел на велосипед, я не поехал к бабушке, я не ел у нее сыра.

Однажды, в первые годы знакомства, когда дружба их только завязывалась, Вадим в случайном разговоре изложил Корнееву свои соображения насчет немецкого.

Но Корнеев в отдельных случаях мыслил как-то однозначно. Он поинтересовался, не достиг ли Лобачев бо́льших успехов в английском или, скажем, французском? А еще бы лучше — в итальянском. Беккариа, Ломброзо как завлекательно почитать в оригинале!

Оказалось, Лобачев не достиг.

Зато обстоятельства, сопутствовавшие сдаче экзамена по иностранному языку студентом юрфака Лобачевым, Корнееву пришлись весьма по душе и в известной доле способствовали укреплению их взаимопонимания.

Уж какими правдами-неправдами был сдан злосчастный экзамен, об этом история Московского государственного университета умалчивает. Но перед сдачей в волнении пребывал не только Лобачев, по остальным предметам за все годы учения имевший только пятерки. Беспокоились товарищи, и руководство факультета, и даже ждал результата Бабаян, потому что хотел взять в отдел хорошо показавшего себя на практике, приглянувшегося ему студента.

В присутствии однокашников студент Лобачев положил зарок: если сдаст немецкий...

Экзамен был сдан. И вот в четыре часа пополудни из дверей юрфака МГУ, что на улице Герцена, несколько наискосок от здания УВД, вышла и двинулась вниз к Манежу небольшая (дабы не привлекать излишнего внимания) группа молодых людей. Двое тихонько пощипывали гитарные струны, а Лобачев, босиком, пританцовывая, возглавлял шествие.

День был ярко-солнечный, ни разу в том году не был Вадим на пляже, и собственные голые ноги казались ему омерзительно бледными, как у покойника. Ну и вообще под людскими взглядами он чувствовал себя не вполне вольготно, однако слово дано, что делать.

Как раз напротив УВД у перекрестка его поманил пальцем постовой. Товарищи остались на тротуаре. Вадим подошел. Постовой потянул носом, присмотрелся. Все в порядке.

— Вам сколько лет? — спросил.

— Двадцать семь.

— Не поздненько ли взыграли?

Вадим рассказал все как есть.

— И далеко вам еще танцевать?

— До метро.

Постовой молча повернулся спиной к Вадиму. Процессия в темпе благополучно добралась до здания Библиотеки имени Ленина, где Вадим обулся. У метро их мог встретить не столь прогрессивно настроенный милиционер.

Историю эту Вадим рассказал Корнееву от скуки, на каком-то бестолковом ночном дежурстве, когда и происшествий особых не было, и спать не пришлось. То хулиганов привели, то спекулянтку из туалета Казанского вокзала. Спекулянтка, баба неопрятная, скандальная, кричала, что ее в Поварове чуть не изнасиловали и обокрали. Пришлось ехать с ней в Поварово, шалман искать. В общем, дуриком проходила ночь.

Корнеича более всего потрясла реакция постового.

— Неужели ты не нашел потом, не поблагодарил? — мечтательно и с упреком спрашивал он.

— Думал, Миша, думал, да стыдно показалось. Наоборот, долго побаивался, не узнал бы он меня. Ну да где ж ему в лоб влетит узнать под офицерскими погонами.

К удивлению Вадима, Корнеев нашел в смешной истории с экзаменом не смешное. Во всяком случае, он едва ли не с сожалением высказался, что теперешний студент, если который отличник и активный и все такое прочее, подобной клятвы не даст, а даст — так не выполнит.

— Такое ли они теперь вытворяют...— удивился Вадим.

— Не такого сколько хочешь, а такого не сделают...

Вадим всерьез обеспокоился его странным сочувствием к случаю из молодости.

— Ты смотри, Михаил Сергеич, не брякни кому-нибудь! До полковника Белова дойдет, он и с давностью не посчитается, возведет в квадрат...

Был в управлении один полковник, по должности незначительный, по характеру тяжкий, чьего выхода на пенсию дружно дожидались все пять этажей.

— Насчет гитариста-музыканта я своим ребятам поручу,— сказал Корнеев, кончив бритье и освобождая штепсель для Вадима.— Прочитал вот и вспомнил пляску твою про Герцена. Никита черта с два бы пошел. Нету в них романтики.

— Хороша романтика! А ты знаешь, я тогда похож

был на Никиту. Сохранилась карточка где-то. Найду — покажу.

Молодой и еще раньше, юный, он в самом деле был похож на брата. Только Вадим всегда выглядел старше своих лет. Для их семьи те годы выдались трудные, ответственности на старшем было больше.

Да и во внешности братьев таилось различное, все ярче проявлявшееся с годами. Никита весь удался в маму — красив. У Вадима лоб был выше, крупнее, как у отца, рано обозначились залысины. Глаза яркие, как у Никиты, под тяжелыми надбровными дугами казались темнее и холодней. И улыбка была какая-то внезапная, не свойственная сурово вылепленному лицу. Но на старых карточках видно, что в юности большое было сходство.

Они успели позавтракать, когда позвонил Шурыгин. Из управления пришел материал. На Шитова ничего, на Громова есть справка.

— Сейчас пришлю,— сказал полковник.

Пятнадцати минут не прошло, переполошив на тихой улочке кур, мотоциклист с шиком вылетел на площадь и затормозил у дверей гостиницы.

И вот справка у Вадима в руках. Евгений Громов, 1939 года рождения, две судимости. В пятьдесят шестом имел двенадцать лет сроку. Разбойное нападение на заведующую магазином сельпо Лавринович. В группе. Через пять лет освобожден досрочно со снятием судимости. Далее. Приговорен к пяти годам... В шестьдесят восьмом неотбытый срок заменен на ссылку...

За что? «...с г. Уваркиным путем незаконных обысков пытался грабить служителей церкви...»

Справка была составлена чуть подробнее, чем обычно делается. Чувствовалось в этом внимание и поддержка Бабаяна, а то и кого повыше.

Именно подробности, которых в данной справке могло и не быть (обычно сообщат о судимостях и — только), несколько слов о завмаге Лавринович, о незаконных обысках священников вдруг зацепили в памяти Вадима нечто давнее, нечто поразившее в свое время его внимание.

Резким движением он отложил справку и, как всегда в минуты напряжения, желая сосредоточиться, поднялся и стал ходить. Корнеев знал эту его манеру и не мешал,

ждал. Ему справка не сказала ничего, что цепляло бы прошлое, но зато недвусмысленно ориентировала в настоящем. Для небольшой, не слишком обнадеживающей компании из трех человек двое ранее судимых — не густо ли?

Вадим ходил, крепко сжимая себя за локти и чуть подавшись вперед, как будто тяжесть давила на плечи. Какое-то пригодное к моменту воспоминание лежало в памяти, он это знал и мучительно напрягался, стремясь оживить его и оформить.

С чем воспоминание связано? Почему для Вадима не новы подробности в этой справке? Фамилия Громова? Нет, он манипулирует с этой фамилией уже несколько дней, и сама по себе она осталась для него индифферентной.

Что, кроме фамилии Громова, есть в справке? Лавринович... Разбойное нападение на женщину...

— Миша! Я начинаю вспоминать,— разом остановившись, с облегчением сказал Вадим.— Фу ты, даже устал, до чего свербило вспомнить. Ну, да! Это дело Суриков вел. Ну, тот, который потом в министерство перешел. Да ты его знаешь, он еще кодовые названия смерть любил придумывать.

— Знаю,— сказал Корнеев, не понимая еще, чем так обрадовало Лобачева воспоминание о Сурикове.— А что, я ему хорошие названия подсказывал. Красный Беспощадник, например. Чем плохо?

— Да, да, Суриков вел дело Громова,— тянул пойманную ниточку Вадим, прислушиваясь сам к себе.— Не первое. Второе. По незаконным обыскам. Но Суриков парень дотошный, правильно дотошный. Он изучил и материалы по первому делу. И он как-то рассказал мне одну детальку из допроса, которая его задела. Обвиняемый Громов, ну да, Громов, сказал, что сам два раза ударил Лавринович по голове, не надеялся на товарища...

— Осмотрителен,— отозвался Корнеев. Он говорил серьезно. Он понимал, что из сотен вопросов и ответов, записанных в каждом деле, такая деталька могла-таки запасть в память не только Сурикову, но и Лобачеву.

— Знаешь что, Михаил Сергеич,— Вадим посмотрел на часы, было десять утра.— Я сейчас возьму у Шуры-

гина машину, если нет «Волги», пусть хоть мотоциклиста с коляской даст, в гражданском седле как-то несподручно, и двину прямо в архив. Хочу узнать о Громове все, что возможно. Похоже, мы правильно на него вышли. Уж больно все в цвет.

— А в управление не заедешь?

— Заеду потом. И с Белинки тебе позвоню. Но сначала в архив. Ты не забудь, выясни по сберкассам, не было ли вкладов.

Договорились: Корнеев в Колосовске займется всем, что они наметили по плану, а Лобачев немедля двинет в архив, о чем можно доложить начальству, если его будут спрашивать.

Шурыгин сказал, что «Волга» будет.

— Молодец мужик, помогает всесильно и не спрашивает ни о чем. В конце концов мог бы подумать, почему не из Москвы машину, коли надо в Москву... По званию мог бы и поинтересоваться.

Вадим закладывал в портфель толстый деловой ежедневник. Ему почему-то нравилось делать выписки, заметки для памяти в таких толстых, отлично переплетенных тетрадках-книжках нестандартного формата с разграфленными страницами. Большие записи располагались на многих страницах без учета дат и дней, но все-таки потом, при надобности, а то и просто так было легко проверить, с чем связан тот или иной прошедший день. За несколько лет у Вадима накопились такие ежедневки, своего рода дневники. На дневники настоящие всегда не хватало времени, и это было досадно.

Вадим сменил стержень в ручке, положил и ручку в портфель, опять посмотрел на часы, до машины оставалось еще минут десять — пятнадцать.

— А теперь послушай, Михаил Сергеич, садись да послушай,— попросил Вадим, застегнув на портфеле «молнию».— Вот теперь я скажу тебе, что у меня было на «потом», а ты на свободе обдумай, может, какие советы присовокупишь.

Корнееву полагалось логично огрызнуться за упоминание об ожидавшей его свободе для размышлений, что он и сделал бы, если б Лобач не обратился к нему по имени да еще и по отчеству. Без шутки они не часто обращались друг к другу.

Сейчас они сидели друг против друга серьезные, и

если б кто третий поглядел со стороны, то не бог весть какие и молодые. У обоих морщины, а у Вадима и седина пробилась. До сорока еще три года, но в их деле у многих так. Старых нет, а седых много.

— Так вот,— сказал Вадим.— Ситуация с музыкантом тебе ясна. Он ехать не может. Что ты выяснишь по нему в данном случае, значения не имеет. Им в группу нужен гитарист. Подводка очень удачная. Считаю подходящей кандидатурой Никиту. Думаю, не будешь против. Обмозгуй подробности, и давай предлагать вместе.

— Знаешь, Вадим,— после ощутимой паузы заговорил Корнеев.— С тобой, как говорится, не соскучишься. Насчет хорошей подводки ты, вероятно, прав. Да нет, не вероятно, а безусловно прав. Я просто еще не подумал об этом. Но почему... Никита? Ну, почему, например, не Игорь?

Вадим улыбнулся своей внезапной, недолгой и доброй улыбкой.

— Хотя бы потому, Корнеич, что Игорь на гитаре ни в зуб ногой, а Никита играет хорошо. Странно, если бы мне не пришла в голову именно эта кандидатура. Выдвинули в угро, так пусть и доказывает свое соответствие.

Так же без тени шутки Корнеев смотрел в глаза друга-товарища, и взглядами они вели совсем другой разговор. «Вадим, Громов, по всему, матерая штучка, а у Никиты опыта...» — «А как опыт без опыта приобретешь?» — «Вадим, тут ведь всяко может быть, если сорвется...» — «А ты как начинал?» — «Вадим...»

— Не морочь мне голову, Корнеич! — вслух проговорил Вадим, прекращая безмолвную, совершенно понятную обоим беседу.— Не делай из парня привилегированного братика-сынка, не срами корпорацию. Ты думай, как лучше сделать. Тут тебе библиотека в руки.

Под окном просигналила «Волга». Корнеев так и не выдал никакой хохмы, он был озадачен и озабочен, но по существу не мог ничего возразить, и оба это понимали.

Теперь что скажет начальство, не в их компетенции такой вопрос самостоятельно решить.

Лобачев уехал, Корнеев из окна поглядел «Волге» вслед, растерянно поглаживая куда как чисто выбритый подбородок. Лобач его все-таки растревожил, хотя предложение, честно говоря, подходящее. Кабы не был это

Никита, Корнеев с искоркой, с изюминкой уже сочинял бы для него «легенду». Времени не то что мало, а может быть, всего ничего. Когда троица сорвется на юг, кто ее знает. Ясно, что долго тянуть не будут...

«Ну ладно,— оборвал себя Корнеев.— Может, еще начальство не одобрит». И тут вдруг вспомнилось ему, что кто-то, чуть ли не тот же Копылов в телефонном разговоре, помянул походя, что в Светлом скоро созывают на семинар старших инспекторов угро, а молодых на сколько-то дней уже собрали и молодой Лобачев там.

Корнеев возрадовался, подумав, что Борко, как клушка цыплят, защищает своих семинаристов: он к учебе как к святыне, для него семинары превыше всего. Говорят, он свой институтский диплом до сих пор по выходным обмывает, черта с два он отпустит Никиту.

Но в целом Лобач прав, подводку грех не использовать. И, занимаясь намеченными мероприятиями, Корнеев с удовольствием обдумывал, как целесообразней организовать это дело.

А Вадим почувствовал облегчение, поделившись своим решением с Корнеевым. Они слишком знали друг друга, чтоб Вадим не заметил, как мгновенно оценил его идею Михаил. Это уже вторичное — зачем Никита? И «зачем» не должно иметь места.

Разделив с Корнеевым свое намерение и — скрывать нечего! — неминучую тревогу за своего младшего — сумеет ли, не совершит ли опасного промаха? — Вадим смог сейчас отодвинуть от себя эту мысль, изрядно досаждавшую ему после допроса Черновой. Отодвинуть и думать о том, о чем ему непосредственно требовалось думать.

Следователю, как, впрочем, и оперативнику, важно не просто думать быстро. Крайне важно еще точно определить, над чем конкретно должен ты размышлять в тот или иной отдельно взятый момент. Сейчас Вадиму надлежало трезво обмыслить, что, в сущности, он ждет от архива.

В гостинице, когда он читал справку, ему подумалось: не Громов ли в образе сантехника посетил квартиру Вознесенских? Как представитель Москонцерта он мог быть связан в Колосовске с довольно узким кругом людей, к которым ни Вознесенские, ни Заварина, несо-

мненно, не имели отношения. Никаких клубов, домов культуры в районе не существовало.

Но после того как в памяти всплыл Суриков и кое-какие оттенки, не столь уж часто встречающиеся в уголовных делах, Вадим склонен был отказаться от этого допущения.

А оттеночки были. Ну хотя бы снисходительное отношение к этому календарно-молодому, но уже незаурядному преступнику. Первые двенадцать лет обернулись пятью годами, по второму приговору неотбытый срок заменен ссылкой. Кто ему ворожит?

Может быть, и об этом не скажут, так намекнут тома уголовного дела.

Но отнюдь не только истоки поблажек, даже главным образом не они интересовали сейчас Лобачева так, что едва ли не день решился он потратить. На что потратить? На прошлое. На давно прошедшее. (Есть, кажется, в пресловутом немецком такое время?)

Лобачев чувствовал, теперь он был почти уверен в том, что с Громовым им придется столкнуться и завяжется у них бескровный, изнурительный бой.

Сейчас они бок о бок с Корнеевым, потом Лобачев останется с таким Громовым (да и не только с ним) один на один.

В прошлом отдельного человека, как и всего народа,— корни настоящего. Готовясь к будущей схватке и предвидя сложность ее, Вадим хотел потрогать корни своего преступника. Суриков был следователь талантливый, с воображением и глубиной мышления, не может быть, чтоб в деле, которое он вел, не было ничего, кроме сухих, стандартных, подчас так мало дающих именно благодаря стандартности содержания и формы бумаг.

Ну, вот и Селиверстов, 5. «Волга», груженная ворохом благодарностей в адрес полковника Шурыгина, ушла в Колосовск. Вадим поднялся по ступенькам в неприметное с виду здание, где ему и раньше приходилось бывать.

Попав впервые в архив, Вадим, тогда еще начинающий следователь — явился он сюда по совету Бабаяна,— испытал своеобразное чувство уважительного волнения. Такое же примерно, как при первых посещениях Ленинки, куда ходил заниматься в студенческие годы.

Не сразу стало ему ясно различие между светлыми, в прямом и переносном смысле, залами всемирно известной библиотеки и сумрачными помещениями их архива.

Всякая библиотека, древние манускрипты и книги нашей эпохи — это ведь тоже своего рода архив, тоже тесно связанный с действительностью и несущий в себе все краски спектра человеческой жизни.

Тома из архива были однозначны, как истории болезней, которые недаром же назывались в прежнее время «скорбные листы».

Человек неопытный, посторонний мог бы вынести из знакомства с уголовными делами только ощущение скорби. Но доведись ему поработать здесь серьезно, не в единовременном заходе, у него родилось бы чувство уважения к огромному подвижническому труду, вложенному в толстые, молчаливые, не типографским способом сброшюрованные книги. А труд всегда жизнеутверждающ.

Да полно, молчаливы ли эти книги? С их в большинстве рукописных страниц вопиют человеческие судьбы, изуродованные по чужой, а чаще по своей вине, и встают судьбы светлые — вопреки многому. Тут можно проследить историю падения, разложения души, узнать о гнусном, немотивированном преступлении и можно прочитать короткий рапорт о том, как юноша девятнадцати лет, безоружный вышел на двух бандитов с ножами, защищая незнакомую ему женщину...

Вадим не был особенно честолюбив, хотя честолюбие само по себе не казалось ему отрицательным свойством. Честолюбие — любовь к чести. Не тщеславие, которое можно расшифровать как тщетное, незаслуженное стремление к славе.

Но все-таки в результате окрепшего знакомства с архивом Вадим пришел к несколько обидной мысли: почему имя какого-нибудь преступника бывает известно широко, а имена тех, кто обезвредил убийцу, никогда и никому, кроме товарищей по работе, не будут известны?

В свое время Вадим, писавший тогда обвинительное заключение как раз по делу об убийстве, имел неосторожность поделиться этими своими соображениями с Галиной. А она, бесстыжее создание, насмеялась над ним, да еще и сказала, что скромность — лучшее украшение

большевика, но есть, мол-де, большевики, которые так скромны, что обходятся даже без этого украшения...

Ну вот, сигарета докурена в коридоре, окурок выброшен в урну, Вадим остался за столом наедине с делом. Читает он быстро, привычно находя и отбирая нужное.

Итак, откуда же взялся Евгений Громов, тридцати четырех лет, из коих семнадцать ему полагалось бы отсидеть? Может быть, он — дитя военных лет, нищета, горькое сиротство, дурные влияния?

Насчет дурных влияний подождем, а нищета и горькое сиротство отпадают. Громов — сын актрисы малоизвестной и киноактера, когда-то очень известного. Вадим его уже не застал на экране, но в старых журналах видел кадры из картин, и мать вспоминала. Была такая картина «Мисс Менд».

Но об актере сказано и забыто. Мальчик усыновлен мужем матери, муж матери — генерал... Дальше что? Дальше Суворовское училище. Вот показания Громова. «В Суворовском воровал, за это меня исключили». Значит, Суриков тоже интересовался прошлым, детством, истоками.

После Суворовского обычная школа. Денег на мальчика, по-видимому, не жалели, дома обучали языкам. «Надо же,— не без зависти подумал Вадим.— Свободно владеет английским, разговаривает по-французски». Дальше школа полярников. В это же время, в каникулы, крадет у отца пистолет системы «браунинг».

Да, Суриков подробно интересовался первым делом, разбойным нападением на пожилую женщину, заведующую сельпо. Вот собственноручные показания Громова: «На даче у меня гостил мой товарищ. У нас зародилась мысль совершить какое-нибудь преступление... Нас больше привлекал ход самого дела, а не деньги, хотя и деньги, конечно, не мешали... Мы знали, что Лавринович из магазина. Мы дождались ее в Переделкине, в лесу... Она поравнялась с нами, я взял ее за талию и повернул к товарищу, который ударил ее кулаком в лицо. Потом я ударил ее по голове пистолетом. Она упала. Ощущение в руке было странное, как будто бьешь по мягкому».

Откинувшись на спинку стула, Вадим смотрел на листы, написанные ровным четким почерком интеллигентного человека, человека с уравновешенным характером.

Да и сам стиль показаний отдает эпической невозмутимостью.

Дальше... А вот очень интересный моментик! (Вадим записал в ежедневник.) «О пистолете у меня знает мать».

Ну что ж, первое дело от следователя особых трудов не потребовало, Громов и его сподвижник недолго запирались и дали горячие, признательные показания. Раскаяние полное.

Но пожилая женщина могла и не оправиться, разбойничье нападение с целью ограбления доказано, психологические изыскания молодых людей в части интереса к «самому ходу дела», то есть избиения, вряд ли располагают к снисхождению... Так в чем же...

Ах, вот, по-видимому, в чем дело! Вот длинное письмо матери к начальнику управления. Ну письмо, обычное в этих случаях: мальчик, мол, по глупости, первая ошибка. («А какая же первая, если за воровство исключили из Суворовского. Да и пистолет украден. Правда, она не знает о его показаниях».)

А вот уже совсем интересно! Приложить, так сказать, к письму матери. Ходатайство на машинке, на отличной — такой в магазине не купишь — бумаге. Подписанное... Бог мой, Вадим поразился, увидев подписи, их было шесть. Нет, семь. Автографы размашисто-небрежны, но следом в скобках, как положено, машинопись, не ошибешься. Всей стране, да и за ее пределами известные имена, талантливейшие артисты-труженики, общественные деятели, хорошие люди!

Вадим поразился и задумался горько. Пожалуй, еще горше, чем над суздальской характеристикой на Волкову.

Значит, мать пыталась повлиять на ход следствия — не вышло. Можно не сомневаться, что это ходатайство пошло в суд. Наверное, и отец, усыновивший, воспитавший, владелец пистолета, которым били женщину, поднажал. Ну, а там кассация, пересмотр...

Однако, продвинувшись на несколько листов, Вадим наткнулся на еще одно покаянное заявление обвиняемого, в котором тот клялся, что не посрамит больше памяти внезапно скончавшегося отца, советского полководца, героя, защищавшего Родину. Писать молодой человек умел, для слога большинства адвокатов слишком индивидуально.

Ну что ж, внезапная кончина такого отца тоже могла

быть использована как козырь. Может быть, живой, этот военный и не подписался бы под ходатайством, но вы-то, владеющие могучим талантом перевоплощения, артисты, проникающие в извилины душ человеческих,— как же вы прошли мимо души старой, честно трудившейся женщины, которую двое сытых молодых людей били кулаками в лицо и рукояткой пистолета по голове?

Молодые люди не рассчитывали, что залитая кровью, потерявшая сознание женщина очнется и сможет их опознать. Добавим: не побоится их опознать.

Ходатаи за преступника, как не подумали вы не только о телесной, но и душевной травме этой женщины, у которой (смотри справку), между прочим, позади и фронт, была санитаркой в медсанбате. Как ей теперь жить на земле, которую и она защищала?

А он, молодой, обеспеченный, образованный, какую уверенность обрел, узнав на свидании от матери или от адвоката — такие без адвокатов в суд не выйдут,— узнав, кто встает на его защиту.

В его позиции тоже моральный фактор срабатывает. Коли такие люди его поддерживают, значит, ничего особенного не произошло?

Кто знает, может, не создайся такая обстановка снисходительного сочувствия, не будь пересмотра, не отделайся молодой человек пятью годами, возможно, не совершилось бы второе преступление...

Но совершилось и второе, то самое, которое непосредственно расследовал Суриков. Тут уже был размах и выдумки не занимать стать. Что говорить, голова у Громова работает.

Общая картина складывалась такая. После возвращения из лагерей Громов в скором времени обзавелся личной машиной. В лагерях он вел себя отменно, поступил на курсы шоферов, закончил с отличием, трудился за баранкой, снискал благодарность начальства. («Это ж не преступники, это прямо ангелы!» — мысленно пошутил про себя Вадим, опять вспоминая характеристику на Волкову.)

Итак, личная машина Громова.

«Не та ли самая, которую теперь дали разбить Шитову?»

Вадим поймал себя на мысли, что уже не сомневается в активном подспудном воздействии Громова на Шито-

ва. Правда, пока еще не ясна цель этого систематического давления.

«Почему систематического? Потому что (смотри Чернову) Громов же толкает Шитова на мысль об артистической карьере, хотя Громову лично это ничего, кроме хлопот, не сулит. Выросший в артистическом окружении, интеллигентный и образованный — теперь, спасибо архиву, всплыл уже громовский облик,— Громов не мог не понимать, что Лемешев из этого баяниста вряд ли получится...»

Значит, «Победа» Громова была перекрашена в милицейскую. Подобралась преступная группа. Идеально были подделаны удостоверения МВД. «Друзья» наблюдали за комиссионными магазинами, наводили на крупных спекулянтов. Громов с помощником «арестовывал» спекулянта, предпочтительнее на улице, зачем в квартирах лишним людям предъявлять свои физиономии. Спекулянта везли на Петровку, 38, по дороге обычно предлагалась взятка, взятку брали.

Был случай, задержали крупного спекулянта на отдельной квартире, поскольку не достигли взаимопонимания в отношении суммы. В качестве орудия возможного устрашения спекулянту был поставлен на голую грудь включенный электрический утюг.

Все эти подробности вытекали из показаний однодельцев Громова, сам Громов держался сдержанно и умно, не допуская ни бессмысленного запирательства, ни показной истерики. Будь такой солдатом, в строю, или оставшись в одиночестве, он и отступал бы без паники, борясь за каждый метр.

Вскоре группа оставила спекулянтов в покое. Ни один из ограбленных, в том числе и претерпевший угрозу утюгом, в милицию, по понятным причинам, не заявил. Однако крупных деятелей подобной категории в Москве не такое великое множество, между собой они общаются, разумно было допустить возможность разоблачения. Машина-то одна, и люди в ней одни и те же.

Со следующего листа Вадим с повышенным интересом стал вчитываться в дело. Состав группы Громова несколько изменился, прибавился некий Кнутов, которого использовали в качестве наводчика. Кнутов происходил из семьи священнослужителей и сам некоторое время учился в Загорской семинарии. Вот его фотография, сде-

ланная во время следственного эксперимента. Длинноволосый, тихого, благородного облика юноша. Ломброзо, Ломброзо, где ты?

В заранее намеченных домах священников, а то и церковных старост Громов производил незаконные обыски с изъятием ценностей и наличных денег. В одном доме он изъял довольно крупную сумму наличными и пригрозил священнику возбуждением уголовного дела. Намекнул, что в случае подходящего отступного дело можно не возбуждать. Священник оказался несколько знаком с юриспруденцией и торговался долго и грамотно. Однако когда Громов в условный день приехал за обусловленной суммой, на выходе его взяли мальчики с Петровки, взяли с деньгами, с тут же проведенной магнитофонной записью, с фотоснимками — видеомагнитофона тогда еще на вооружении не было,— и от священника Громов ехал уже в машине естественной милицейской раскраски.

Вот и его портрет. Не казенный, не в кресле с подголовником, в фас и в профиль. Те казенные фото могли иметь ценность для эксперта-криминалиста — форма уха, расстояние то и это... Вадиму они не давали почти ничего. В них не было выражения, свойственного человеку, движения; игрой лица чем-то напоминали они посмертную маску.

Громов был сфотографирован на местности. За ним виднелась часть строения дачного типа, снимок был любительский, не похоже, чтоб во время следственного эксперимента. И не в момент задержания. Громов снят не в форме офицера милиции, он в гражданской спортивной куртке, без головного убора. В объектив смотрит с благорасположением, чуть усмешливо, вот-вот улыбнется. Он, по-видимому, шатен со светлыми глазами. Лицо крупное, очерчено резко, но без грубости. Чем-то оно напоминало виденный однажды портрет молодого Джека Лондона. Но то лицо было добрым.

Чего-чего, доброты в лице Громова нет. Вадиму вспомнилось определение, данное старухой Краузе: «Ходит как струна». Да, это лицо трудно представить в состоянии депрессии, расслабленности. Доброты не ищите, но силы воли хоть отбавляй. Надо думать, не одна Волкова — и подороже женщины стелются.

Вспомнив свое предположение, не был ли Громов Сантехником, Вадим начисто от него отказался: «Нет, этот сам не пойдет. Предъявим на всякий случай Завариной, но уверен — не он. Этот во главе угла будет».

Смотрели-смотрели они друг на друга, примерялись. Похоже, как говорит Иван Федотыч, огонь по площадям кончился, начинается прицельная стрельба. Когда и она закончится? С арестом? Ничуть не бывало. Этот петушок — птица стреляная, он на раскол нескоро и нелегко пойдет, его уже не удивишь ни мерой пресечения, ни следственным изолятором. Тем более, он одиноким себя чувствовать не будет, поддержка обеспечена. Отец богу душу отдал, но мать-то (смотри Чернову) жива?

В том, что мать жива и не утеряла способности действовать весьма активно, Вадим убедился буквально через несколько страниц.

В дело подшито заявление матери о том, что на лично ей принадлежащей даче, где лишь изредка проживал ее сын, произведен незаконный обыск. «К нам на дачу ворвался Суриков со своей бандой...» «Вот, значит, так, товарищ Суриков, попали вы в бандиты...»

Но, между прочим, если сын на даче не проживал, то почему же «к нам»? Пойдем дальше. Ну вот и ясненько. Мадам вдовела недолго. Имеются показания ее нового мужа.

На установочных данных Лобачев задержался. Любопытно. Громову около тридцати, мадам около пятидесяти, а новый супруг ее на год моложе сына. Ну, это их личное дело, пошли дальше...

Как и любому следователю, Лобачеву не раз приходилось изучать дела, которые вел до него кто-то другой. Либо начато дело в районе, а потом передано к производству следователю УВД. Либо поступило на дорасследование, одно из «глухих» — нераскрытых преступлений.

Как часто, вчитываясь в материалы такого дела, испытываешь чувство досады, неудовлетворенности: вот в этом допросе явно не прояснены такие-то обстоятельства, а свидетель, упомянутый в показаниях такого-то, вообще остался недопрошенным, а в таком-то случае совершенно непонятно, почему не проведена трасологическая экспертиза.

Причина такой неудовлетворенности отнюдь не все-

гда проистекает из низкой квалификации или малого опыта того, кто вел дело до тебя. Просто он вел его иначе, чем вел бы ты сам.

Как не бывает в следовательской практике абсолютно одинаковых характеров, судеб и преступлений, так же невозможно и существование двух абсолютно одинаково мыслящих следователей.

Работа эта совершенно творческая, она попросту не может строиться на готовых трафаретах, ибо живые люди не по готовым трафаретам созданы.

Идя по следам действий Сурикова, Лобачев досады не испытывал. В одном только месте Лобачев подумал: надо бы взять след протектора машины. Но через несколько листов появился и снимок этого протектора.

Когда Вадим покончил с делом, большой солнечный заяц, поначалу вольготно располагавшийся на его столе, убрался из комнаты. За окном еще бушевал солнечный жаркий день, в архиве было прохладно и полусумрачно.

Вадим пролистал свой изрядно насытившийся ежедневник, положил его в портфель и с теплым чувством подумал, что придет сейчас на Белинку, где дней десять уж, наверное, не был, поговорит с Бабаяном, с которым дней десять только по телефону и говорил.

К удивлению Лобачева, в отделе за собственным Вадима столом его дожидался Корнеев.

— Откуда ты, прелестное дитя? — спросил, отирая пот со лба, Вадим.

— Да все из той лощины. Только ты уехал, звонок, обоих вызывают. Я сказал, где ты, однако не дернули,— усеки уважение к действиям. В общем, совещание у Новинского, но ковром вроде не пахнет. Утрись посуше да пошли. Что-нибудь интересное нашел?

Вадим позвонил полковнику Новинскому, начальнику управления уголовного розыска. Полковник сказал, что ждет их в шестнадцать тридцать. Вадим посмотрел на часы, в их распоряжении оставалось двадцать пять минут.

— Может, пообедаешь? — предложил Корнеев.

— Жарко, Миша, не хочется,— сказал Вадим, с удивлением ощущая, что напряженный поиск по суриковским тропам дался не просто, он устал.

— Нашел, значит,— уже с утвердительной интонацией повторил Корнеев, глядя на Лобачева. Кабы оказа-

лось не в цвет, Лобач без эмоций перелистал бы дело и управился бы скорей.

Вадим потянулся, распахнул форточку, выходившую на провинциально-тихую Белинку, с нее ни шума, но уж в жаркий день и ни ветерка. Включили вентилятор, стало полегче. В комнате пусто. Копылов, которому обещался навешать Корнеич, в тюрьме.

— Нашел, Миша,— на серьезной ноте ответил Вадим.— Тут сошка не из мелких, преступник ловкий, умный, хладнокровный. И мамаша еще с этим самым существует.

Вадим рассказал накоротке о деле и о заявлении матери Громова по поводу «Сурикова с его бандой».

— Ну, значит, быть и нам в бандитах,— тоже без шутки сказал Корнеев.— Выберу как-нибудь времечко, взгляну со стороны и на дачку, и на нее. Значит, ты уверен, что Сантехник не он?

— Спорю на армянский три звездочки.

— Тогда кто же?

По-прежнему не хватало Вадиму четвертого. И Корнеев понимал, что, похоже, среди установленных не хватает еще какой-то фигуры.

Работа оперативника-сыщика в принципе не противоречит труду следователя. Борко, как всегда идя от войны, высказал однажды такое соображение: оперативник решает тактическими приемами тактические задачи. Следователь — более стратег. Если утрировать для ценности, то, еще строя модель предполагаемого преступника, следователь уже обдумывает, как будет строить его допрос.

Корнеев соглашался с Лобачевым. Из того, что им пока известно о Шитове и Волковой, ясно: ни он, ни она провести по дому и точно указать бородатому, что в доме брать, не могли. Корнеев тоже был склонен поначалу предполагать Громова, но если не Громов, без четвертого все равно не обойтись.

— Может быть, Семинарист? Который наводил в дом с обысками?

Пожалуй, было почти «тепло». Но обсудить эту версию не успели, раздался звонок, секретарша сказала, что полковник ждет.

Новинский был человек сугубо штатского облика, не только хорошо, можно сказать, изысканно одетый. Если

верить классикам литературы, истинно светские люди никогда не шли точно в ногу с модой, они на полшага отставали от нее. Галстуки у Новинского были широки, но не слишком, шелковые, но не блестящие. Странно было представить его в форме, однако ж те, кто видел его в кителе и погонах, могли посчитать, что только военное ему и к лицу. У него было два высших образования, одно специальное и юридический. Ромбика-поплавка он не носил, наверное, хранил его вместе с орденами. На фронте Великой Отечественной войны по возрасту не был, но за гражданку награды имел. И с людьми Новинский обращался под стать облику — мягко. И личность его была без наигрыша. Ведь если человек привык дома селедку руками есть, он и в гостях с вилкой-ножом обращаться свободно не будет. Свой собственный образ на всю жизнь не смоделируешь.

Кроме Лобачева и Корнеева, в их совещании принимал участие начальник следственного управления Александр Евгеньевич Булахов, непосредственный руководитель Бабаяна, Лобачева и многих других. Под его началом Вадим работал уже несколько лет, встречался с ним часто.

Вадим доложил о ходе расследования по делу, о возникших предположениях и выводах. Ни для Булахова, ни даже, по-видимому, для Новинского ход действий Лобачева и Корнеева не оказался полностью внове. Очевидно было, что за колосовским делом в управлении следят, а раз так, то по самим запросам, поступавшим в УВД из Колосовска, можно было многое представить.

— Почему решили поехать в архив? — спросил Новинский. Искорка любопытства мелькнула в его глазах, хотя ничего из ряда вон в поступке Лобачева не было. Другие следователи так же могли поинтересоваться.

— Справка дала кое-какую ориентировку,— ответил Вадим, отметивший искорку.— В справке были кое-какие детали. Обычно составляют посуше.

Новинский улыбнулся, кивнул.

— Благодарите Чельцова. Он вспомнил дело «Церковников», так, кажется, оно было закодировано? Там в адрес руководства интересные заявления поступали. Он посоветовал дело поворошить.

Все они лишний раз подивились чельцовской памяти.

Александр Евгеньевич рассказал, что в Ленинграде

люди работают, не сегодня-завтра поступит материал. Громов в ресторанах почти не показывается, в Филармонии не был, можно предположить, что делового подтекста в его выезде в Ленинград нет. Связи Шитова устанавливаются.

И он, и Новинский согласились, что четвертый в группе должен быть.

— Мы попросили выяснить по Семинаристу,— сказал Лобачев.— Вполне допустимо предположить его кандидатуру в этой роли.

— Логично,— сказал Новинский, тут же нажимая соответствующие кнопки.— В каком году осужден? Срок?

Вадим полистал ежедневник, выдал требуемые даты.

Ко всеобщему удивлению, совещание их еще не закончилось, как раздался звонок относительно Семинариста.

— Это уж, называется, повезло,— после первых фраз, прикрыв трубку рукой, сказал Новинский.

Докладывали ему долго.

— Прелестно, прелестно,— приговаривал полковник, машинально поворачивая востроносую, похожую на вдруг устремившуюся ввысь пирамиду-модель взлетающего корабля. Потом он спохватился, нажал еще кнопку, и все они слушали последнюю историю Семинариста, который оказался поистине ушлым парнем.

Срок по делу «Церковников» он получил, естественно, меньший, нежели сам Громов, да тут еще и амнистия подоспела. Словом, отсидев свои три года, Кнутов не склонен был переквалифицироваться в работягу. Занялся спекуляцией. Петровка, 38 привлекала его по делу группы спекулянтов кримпленовыми изделиями. У него отобрали подписку о невыезде. Вызывают на допрос — нету. Туда-сюда — пропал. Чуть не объявили во всесоюзный розыск. Выясняется, что сидит в Солнечногорске в камере предварительного заключения, задержан с поличным при перепродаже книг возле Книготорга. Сборник стихов Мандельштама вместо рубля сорока семи чуть было не успел продать за шестьдесят целковых.

— Есть же любители! — вздохнул Корнеев, и не ясно было, кого он подразумевает, то ли необратимого Семинариста, то ли поклонников Мандельштамовых стихов.

— Так что можете побеседовать,— сказал Новин-

ский.— Маловероятно, но не исключено, что юноша работает, так сказать, по совместительству. Если оперативной нет, возьмите мою машину.

Булахов долго, внимательно слушал.

— Совместительство маловероятно,— сказал он.— Громов вряд ли разрешит своим исполнителям рисковать. Ни по каким поводам попадать в милицию они не любят.

— Не проверить ли, с кем Громов сидел и с кем освобожден? — предложил Корнеев.

— Логично,— сказал Новинский.— Главное, с кем сидел. Освобождены могут быть в недалеко отстоящие, однако же разные сроки. Логично. Посылаем.

Потом они обсуждали эти самые особо важные в таком деле каналы сбыта. Лобачев и Корнеев были готовы к нуднейшему изучению справочника, в котором перечисляются скупочные, комиссионные магазины и приемные пункты, куда поступают от населения самые различные вещи, начиная от фарфора и мехов, кончая книгами. Корнееву пришлось однажды побить ноги, разыскивая нужный магазин, с тех пор справочник получил постоянную прописку в его сейфе.

Однако ж оказалось, что Булахов уже позаботился. В реставрированной старой церкви на улице Разина, где скупались иконы, побывали. Иконы, хотя бы отдаленно сходной с похищенной, в скупку не поступало.

— Спасибо, Александр Евгеньевич,— поблагодарил Корнеев. Ноги бить в основном пришлось бы ему.

Касаемо каналов пришли к общему мнению: если икона осела вообще, то только в частной коллекции. Однако, вполне вероятно, что такая ценность может иметь окончательного адресата и в весьма отдаленном пункте. Стало быть, поговорить с коллекционерами, с кем будет удобно, и тщательно заняться всеми перекупщиками — бывшими, действующими и возможными.

— У меня есть еще предложение,— сказал Лобачев. Корнеев быстро и коротко взглянул на товарища. Никогда никому бы он в этом не сознался, но, восприняв облик Громова, встающий из двух первых дел, Корнеев внутренне резко воспротивился подключению к колосовскому делу Никиты.

Лобач не прав, Корнеев менее всего склонен пестовать маменькиных сынков-братиков, но нельзя же забы-

вать и то, что парень только-только переходит в угро, он толков, он грамотен, но у него просто нет еще личного опыта. Это ведь не шутка — выходить на такого матерого, как Громов, это не в тире по мишени отстреляться, это не квартирную воровку выследить и отловить.

Когда Вадим коротко и точно — все у него, у черта, не раз обдумано, вплоть до формулировок,— изложил и обосновал свое предложение, Корнеев сразу же высказался против. В его словах тоже была логика. Он сказал, что надежнее бы подключить к группе его самого: кроме громовской бригады, на юге никто из колосовцев может не быть, да и не так-то уж он, Корнеев, в Колосовске примелькался.

Корнеев говорил, не глядя на Лобачева, зато Лобачев смотрел на него в упор и откровенно посмеивался.

— Да на чем ты, Михаил Сергеич, умеешь играть? — спросил он, едва Корнеев умолк.— На чем, кроме чужих нервов?

— Насчет нервов оставим,— вмешался Новинский. Родственная связь Лобачевых была ему известна, а потому понятна и подкладка возникшего полускрытого спора.— А предложение ваше...— Он перевел взгляд на Вадима, какую-то долю секунды молча смотрел на него. Полковник тоже учитывал, что подключение к громовской группе не игра в кошки-мышки.— Предложение ваше я считаю разумным и весьма перспективным. В каком районе работает ваш брат? Так. Никогда не бывал в Колосовске. Отлично!

— Между прочим, он в настоящее время на семинаре в Светлове,— выложил свой последний козырь Корнеев.

— Ничего,— сказал полковник,— отзовем, потом доучится. Борко я сам позвоню.

Полковник имел представление о том, с каким пылом отстаивал Иван Федотыч слушателей. Борко со своей колокольни прав. На его совести повышение квалификации Никиты Лобачева и прочих Никит всех званий, Борко борется за порядок в своей епархии. Уголовным делам и надобностям, как известно, конца не бывает.

В колосовском деле младший Лобачев был действительно подходящей кандидатурой. Утверждая недавно его назначение инспектором угро, полковник знакомился с личным делом; кроме того, Булахов подробно рассказал ему, как удачно, с выдумкой разобрался младший

Лобачев в деле о квартирных кражах в военном городке. Сопоставить внезапно возникающие в крепких семьях скандалы с действиями воровки — это интересно, в этом есть воображение. А какой сыщик, какой следователь без воображения?

— Но уж продумайте все,— весомо проговорил полковник, обращаясь ко всем троим, и, пожалуй, особо к Булахову.— Я бы советовал не нажимать на них в Москве. Пусть встретятся в аэропорту, в самолете. Не больше! Паспорт, легенда — все нужно очень быстро и точно, времени может не быть.

Обычно Новинский не вникал в подробности, и сейчас Вадим был благодарен ему за внимание. Это было именно внимание, потому что они втроем продумали бы все и сами, и полковник это знал. Знал и Булахов и не обиделся, когда Новинский попросил познакомить его с их соображениями. Это был тоже добрый жест внимания к старшему Лобачеву.

Вадим посмотрел на часы. Договорились, что он едет в Солнечногорск, Корнеев занимается всем необходимым к отъезду младшего Лобачева. Из Солнечногорска Вадим докладывает о результатах и, скорее всего, возвращается в Колосовск. Фото Громова предъявить Завариной для опознания. Установить дополнительно связи Шитова. В случае возвращения из Ленинграда попытаться увидеть его естественно, не вызывая к себе. Вне зависимости от результатов встречи Лобачева с Кнутовым из Москвы направить запрос в места заключения, где отбывал последний срок Громов.

Лобачев и Корнеев вышли первыми. Новинский встал, настежь распахнул окно, чего обычно не делал, потому что в солнечные дни кабинет его был прохладнее улицы. Но сейчас здесь было накурено, а он, один из немногих в управлении, не курил.

— Напомнили бы, Всеволод Васильевич,— упрекнул не Новинского, а себя Булахов. Он тоже свою лепту дыма внес.

— Ну как напомнишь? — сказал Новинский.— Без малого полтора часа. Защемит покурить, отвлекать будет. А Вадим Иванович все-таки молодец. Кроме него, никто не взялся бы предложить этого парня. Подыскали бы какого-нибудь не родственника. Но уж вы там с Бабаяном досконально все, Александр Евгеньевич...

И, знаете, я бы все-таки имя ему не менял. Как ни кинь, первый, как говорится, выход на публику, а вживаться некогда. На гитаре он действительно хорошо играет?

— Хорошо! — с чувством подтвердил Булахов.— Слышал я как-то на вечере самодеятельности. Отпускать не хотели. Старинные романсы и песенки эти модерновые — все играет! Играет и притоптывает. В общем, все, что нужно.

— Ну так тому и быть,— подытожил Новинский.

— Ну что, спокойней тебе стало? — сердито спросил Корнеев, едва закрылась за ними дверь тамбура кабинета.— Вот погоди, тебе еще Галина даст!

— Даст,— серьезно и печально согласился Вадим. Теперь, когда затверждено было все, что он считал необходимым по делу, можно было позволить себе немножко расслабиться.

Как хотелось ему сегодня хоть на полчасика заехать домой, но буквально до последней минуты, до безжалостных слов Корнеева он как-то не догадывался, что сегодня и в самом деле нельзя показываться Гале на глаза. Соврать ей он не сумеет, а за правду она ему действительно выдаст. Потом она поймет, что он не мог иначе, а сразу тревога за Никиту в ней верх возьмет. Разве Никита для нее инспектор угро? Он для нее маленький Кит. Баба какая-то рядом забрезжила, Галя и то в панику впала.

Услышав погасший голос Лобачева, Корнеев на ходу заглянул в лицо товарищу и раскаялся в своей бесцеремонной резкости. Но ведь ударить всегда просто, боль от удара снять куда сложней.

Молча прошли они по коридору, на лестнице надо было расходиться, Лобачеву — вниз, в машину, Корнееву — наверх, к Булахову.

— Слушай! Ты не беспокойся,— виновато сказал Корнеев, тронув руку Лобачева. Они остановились на площадке.— Ты не тревожься, все подготовим, комар носу не подточит. Никита же умняга, он же все сделает! Ну?

— Да ведь и мы не за тридевять земель будем,— охотно подхватил Лобачев.— В случае и подсказать можно?

— О чем речь?

Оба прекрасно понимали, что случаются в работе опе-

ративника повороты, когда, кроме него самого, никто ему не подскажет и не поможет.

Машину Новинского, по счастью, брать не пришлось, очень не любил Вадим ездить в чужих машинах. Оперативная воспринималась как своя, в особенности если дежурил Володя, а он-то как раз сегодня и дежурил.

— Куда, Вадим Иванович? — спросил Володя.

— В Солнечногорск, Володя, и знаешь что, я, пожалуй, сзади сяду да попробую подремать. Что-то сегодня умаялся.

— Вполне,— одобрил Володя.

В машине было жарко и душно. Вадим снял фуражку, вытер мгновенно взмокший лоб, снял и китель, уложил и то и другое к заднему стеклу, а сам полуулегся на сиденье, прижавшись виском к подлокотнику.

По улицам города «Волга» шла мягко и, казалось, медленно. За чертой города Володя поднажмет, там и тряхануть может, но к этому времени Вадим уже разоспится. Он с облегчением чувствовал, как наплывает на него жаркая сонливость. Устал. Так разве от одного этого дня он устал? Вот тебе и отпуск с Галей. Не жизнь — мечта на дорогах...

Выехав на шоссе, Володя оглянулся. Лобачев спал, подперев подбородок кулаком, чтоб голова не сползала с подлокотника. У спящего особенно крупным, даже тяжелым казался лоб, покрытый мелкими бисеринками пота. Володя опустил было стекла дверцы, чтоб Лобачева пообдуло, да побоялся, как бы не простудить, и оставил только щелочку. Ничего, обратно поедут, в машине будет уже попрохладнее.

Прохладнее стало еще в дороге. Они нагнали тучу с грозой, недолгий, но крупный дождь охладил воздух, прибил пыль, дышалось легче. Вадим проснулся перед Солнечногорском почти отдохнувший, сел по-человечески, пригладил волосы. Попросил Володю:

— Ты погляди, не слишком физиономия помялась? А то был у меня случай, ехал вот так-то зимой, на щеке отпечаталась пуговица. Так с пуговицей и пришлось допрашивать.

— Вадим Иванович, без лести, как огурчик!

— Кстати, насчет огурчиков. Я постараюсь недолго, а ты пока купи что-нибудь пожевать. Глупость спорол, в столовой не пообедал. Я сейчас...

— Есть у меня деньги,— сказал Володя.— Чего уж будет, куплю.

Кнутова по просьбе Вадима доставили в кабинет начальника отдела, сообщив ему, что с ним хочет побеседовать товарищ из Москвы.

Семинарист оказался высоким, благообразным, весьма располагающим на вид молодым человеком. Длинные волосы его и о семинарии напоминали, и старомодными не были. Несомненно, он производил хорошее впечатление, знакомясь с церковнослужителями. Деликатная манера обращения, неожиданная у молодого человека эрудированность в вопросах религии...

Задавая первые незначащие вопросы, Вадим с любопытством приглядывался к Кнутову.

Примерно такой же неутоленный интерес испытал он, столкнувшись однажды с нестарым еще мужчиной, свидетелем по одному пустяковому делу. Вадима поразило несоответствие монашеского платья с сугубо гражданской, если не строевой, выправкой. Так оно и оказалось: перед ним сидел бывший летчик. Неудобно было расспрашивать, но впоследствии, безотносительно к делу, Вадим постарался узнать стороной об этом человеке. Оказалось, ведает хозяйственными делами церковников и сам живет обеспеченно, женился, имеет дом, среди служителей культа пользуется уважением и авторитетом, имя его и историю нередко поминают в проповедях.

В противоестественной судьбе бывшего летчика, ныне крупного церковного хозяйственника, Вадим мог принять любое объяснение, кроме одного: что человек стал истинно религиозным. Пожалуй, это единственное, что Лобачев отвергал напрочь.

Что до Кнутова, то здесь дело обстояло несомненно проще. Вероятнее всего, поверил в грядущие доходы при малой затрате сил, а оказалось, и в духовной семинарии не только дают, но и спрашивают. Но надо отдать Кнутову справедливость, полученные в семинарии знания он пустил в оборот умело.

Кнутов держался с Вадимом приветливо, несколько озабоченно, но не более того. Примерно так вел бы себя любой человек, вызванный из отпуска в неположенное время. Сидеть он готовился не в первый раз, задерживался, наверное, и того чаще. Несмотря на вторичную судимость, большого срока не опасался, поди уж, и гряду-

щую амнистию прикидывал. Все они амнистии ждут, как тиража золотого займа. Загодя вычисляют даты съездов, юбилеев, годовщин.

Беседа текла легко и без толку, пока Вадим не задал первого вопроса о прошлом деле и о Громове.

С Кнутова как будто ветром сдуло почти домашнюю беспечность, которой он, похоже, сам любовался. В глазах мелькнуло выражение потерянности, куда девалась неспешная манера говорить.

— Громов сел опять, что ли? — спросил он.

Вадим возразил с полной правдивостью и даже удивлением, как будто Громов сейчас был дальше, чем когда-либо, от возможности сесть.

— Меня интересует, собственно, не Громов, да и Громова нет сейчас в Москве,— сказал Лобачев, и опять-таки все им сказанное было истинной правдой.— Меня интересует кое-кто из его старых друзей. Ну, правда, Громов человек молодой, и особо старых друзей у него нет. Скажем так, речь идет просто о друзьях. Его нет сейчас, а у меня время не терпит.

Кнутова, видимо, несколько обнадежило то, что непосредственно о Громове его не спрашивали. Пока Лобачев беседовал с Кнутовым, товарищи из отдела выяснили с Петровкой, 38 даты вызовов Кнутова по делу спекулятивной группы, день взятия подписки о невыезде. Этот день, кстати, точно совпадал с последним приходом Сантехника к Вознесенским, так что алиби Кнутова в этом случае можно было считать установленным. А раз так, ничтожна вероятность нанесения им и первого визита.

Вызванный из кабинета телефонным звонком, Лобачев вернулся уверенный, что Сантехником Кнутов не был.

Собственно, можно бы и расстаться на этом, но Лобачева тянуло еще разок проверить реакцию Кнутова на имя Громова вообще. Ведь они все же были в какой-то степени связаны. В таких операциях, как ограбление священников, наводчик играл весьма значительную роль и должен был пользоваться доверием.

— Так что не тревожьтесь о Громове,— индифферентно заметил, возвратившись в кабинет, Вадим. Взялся за портфель, положил туда принесенную папку, в которой имелась одна-единственная ненужная бумажка с датами, поглядел на часы. Ну, потом, уж так и быть,

решил выкурить еще сигарету. Предложил Кнутову. Тот с достоинством поблагодарил, вытащил свои.

— Тут культурно,— сказал он.— Попросил — принесли.

— Ну, не знаете так не знаете,— закончил разговор о друзьях Громова Вадим.— Себя тоже в друзьях не числите?

Нет, вспоминать о Громове решительно не доставляло Кнутову удовольствия, хотя с чего бы, казалось? Если судить по протоколам их общего дела, друг друга они не топили. Но тень тревоги опять явственно прошла по лицу Семинариста.

— Не держатся у Громова долго ни девчонки, ни друзья,— высказался он неопределенно и притушил в пепельнице недокуренную сигарету, из которой получился бы преотличный бычок. Напрасная расточительность в его положении.

«Он боится Громова,— решил Лобачев.— Либо активно не симпатизирует, либо боится. Эти два чувства, между прочим, всегда взаимосвязаны. А ведь Громов его не топил,— мысленно Вадим еще раз вернулся к делу.— В чем подоплека кнутовской фразы? Громов ли отталкивает или от него уходят? Ясно, что, упомянув девчонок, Кнутов вовсе не имел в виду женщин. Длительные связи в этой среде вообще редкость».

Кнутова увели. Лобачев позвонил Бабаяну, доложил о непричастности Семинариста, просил форсировать ответ из мест заключения.

— Уже,— сказал Бабаян.

Лобачев спустился вниз, вышел на улицу. Томительной жары уже не было. В машине Вадима ждали бессменные рыбные консервы в томатном соусе, которые Володя сумел предусмотрительно открыть, и хлеб, и бутылка ситро, тоже открытая. Даже алюминиевая чайная ложка была. Ай да Володя!

Вадим поел не с аппетитом — с жадностью.

— Не за что, Вадим Иванович! — с гордостью принял довольный Володя благодарственную речь Вадима.

Они выехали из Солнечногорска. Вадим вынул было неизменный свой ежедневник, стремясь не утратить ни минуты драгоценного часа с лишним, выпадавшего ему на дорогу. Но взглянул в окно и вдруг не смог оторваться от земли, которая быстро у обочины и медленно в от-

далении лесными полянами и березовыми рощами уплывала назад, назад...

Вадима настигла неожиданная глубокая тревога о самом себе. Не останется безнаказанным, что подолгу он отрывается от земли, что забыл, как ложатся на ней росы и как распевают лягушки на болотах.

За стеклом в пыльных каплях высохшего дождя рождался вечер, без каких-либо особенных красок, обыкновенный подмосковный вечер. Вадим подумал, что раньше, когда он был в возрасте Никиты, такой вечер представлялся обязательно вдвоем. Теперь же ощущение красоты, доступности и вечности этой красоты столь пронзительно, что, может, даже лучше быть одному.

Это почти мучительное чувство бессилия перед чудом земли впервые он испытал еще в детстве, в лесу около деревни Рябинки, где побывал маленький, с матерью по грибы, и вот до сих пор помнит этот лес.

Рябинки... Неизвестно даже, почему названа так деревня. Она стоит в дремучем лесу, ели там огромные, шапка упадет глядеть, огромные сосны, полумрак-полусвет. Если солнечный луч пробьется сюда, он не пляшет, не резвится, как в березовых рощах. Здесь деревьев лиственных нет, ветер тут не властен, луч лежит, как косая колонна. И медленно, неприметно продвигается: утром — сверху вниз, вечером — снизу вверх. Словно солнце хочет запомнить лес на ощупь...

Если уж нельзя побыть дома, если уж нельзя ни на день оторваться от преступников, которых постепенно вытягиваешь на свет из надежной, как мнится им, затаенности, если нельзя и долго еще не будет можно отдохнуть, чувствуя себя свободным от работы завершенной, то хоть на четверть часа остаться наедине с тишиной, землей и лесом, хоть это — можно?

Вадим непредугаданно для самого себя ожесточился.

— Володя, притормози! — попросил он. — Минут на пятнадцать пойду пройдусь по лесу, прочищу мозги. А то рассохся я, как бочка: обручи, доски — все отдельно.

— Есть, Вадим Иванович! — с полной готовностью отозвался Володя. Поставил машину и тотчас вытащил учебник. Ему не до свиданья с лесом, у него сессия.

Вадим приказал себе забыть о том, что минут только пятнадцать, быстро зашел за первые кусты орешника, за березы, по-мальчишески пробежал, лавируя между де-

ревьями, оглянулся — шоссе уже и не видно, и лес сомкнулся за ним, как вода.

Он встал под стройной высокой березой, спиной и затылком прижался к стволу, полуобняв его отведенными назад руками, ствол был сухой и теплый от солнца. Видно, гроза прошла стороной или растеряла дождь по дороге. Но береза не обижалась, еще не ударила жара, влаги хватало, березовые ветви и травы у подножья были зелены и свежи.

«Так что же плохого?» — думая только о себе, молча спросил Вадим у березы.

«Ничего,— вполшелеста ответила береза.— Нет ничего плохого, ты все сделал правильно. И твоя Галя потом все поймет. А кроме того, почему обязательно...»

«Да как же это мне самому в голову не пришло? — Вадим так обрадовался, что даже глаза открыл и вновь увидел лес, листьями мерцающий на закатном солнце, как море. Начиная разговор с березой, он глаза закрыл. Подумалось в темноте, в полном мраке, когда не отвлекает ничто, они скорее договорятся.— Не только не обязательно, а не надо ей ничего говорить. Пусть Никита будет для нее на семинаре, в командировке легкой и безопасной. Как же это я решился было ее попусту волновать».

«Ты просто очень занят,— рассудительно сказала береза.— Тебе некогда думать сейчас о своих личных делах».

«Но я все сделал правильно,— утвердительно повторил Вадим, потому что его все еще не покидало сомнение, а вдруг в конце этой фразы стоит вопросительный знак? — Отец на моем месте сделал бы так же».

«Я знала твоего отца,— сказала береза. Вершина ее шелохнулась, каждый лист теперь шелестел, ветер переносил шум и шорох от дерева к дереву, весь лес шуршал, шумел.— Мы знали твоего отца, мы вместе были в партизанах, отец сделал бы так».

Вадим вышел к машине омытым от пыли и усталости, короче — вернулся в строй.

— Поехали,— сказал он, доставая свой ежедневник и взглянув на часы. Пятнадцать точно, ни минуты, как говорит Борко, в самоволке.— Теперь, Володя, жми!

На следующий день был получен ответ из мест лишения свободы, где отбывал срок Громов.

Одновременно с Громовым были освобождены шестеро. Перечислялись фамилии, приводились краткие биографические данные. И был еще список на освободившихся ранее, но вместе с Громовым отбывавших срок. Вот из этого списка одна фамилия привлекла внимание Лобачева.

— «Иванов Григорий Мануилович, 1946 года рождения, 30 апреля 1968 года был осужден по ст. 206 части II УК РСФСР на 2 года лишения свободы»,— прочел Вадим.

Корнеев удивился.

— Чем это он тебя привлек? За хулиганство осужден, а у нас квалифицированное ограбление.

— Тут, мне кажется, в биографии есть любопытный штришок. Смотри: «Ранее привлекался по перепродаже валюты и предметов антиквариата. Был приговорен к одному году работы на стройке народного хозяйства».

Корнеев штришок оценил и согласился, что проверку Иванова Григория необходимо организовать немедленно.

— Если подойдет,— сказал Вадим,— будем считать боекомплект полным.

Завариной предъявили фотографию Громова. Как и ожидал Лобачев, Сантехника она в нем не признала.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Небольшая асфальтовая площадка на территории Светловской школы. Площадка не для танцев. Здесь тоже движутся пары, но один нападает, а другой защищается. На штакетнике, огораживающем асфальт с неширокой травяной кромкой, аккуратно развешены кители и фуражки курсантов. Несколько поодаль на рельсе красуется фуражка преподавателя, лейтенанта Николая Исакова. Исаков — чемпион «Динамо» по самбо. Ему нет еще тридцати, но за его плечами два вуза, инфизкульт имени Лесгафта и педагогический институт.

Потаенно Никита признает в себе педагогический талант. Он считает, что у него есть контакт с ребятами, да, пожалуй, он и прав. Однако он всегда уважительно удивляется исаковскому терпению.

С Исаковым они дружески сблизились еще давно, ко-

гда рядовой милиционер Никита Лобачев прибыл в школу на первоначальную подготовку, на тринадцатинедельный учебный сбор. Программа занятий была составлена более чем плотно, личного времени у курсантов практически не оставалось, у Никиты выдавались на неделе редкие свободные часы, потому что в погранвойсках он хорошо овладел мотоделом и по стрельбе имел отличные показатели.

Когда часы совпадали, Никита с Исаковым уединялись где-нибудь на отлете от курильщиков — оба классные спортсмены, ни табаком, ни спиртным они не грешили — и пытались за очень короткое время решить возможно большее количество наиболее важных проблем. Оба были еще очень молоды и верили в реальность однозначных решений.

После первых же занятий Никита спросил у Исакова, трудно ли дается тому его несгибаемое терпение.

Беседовали они под огромной черемухой, которая высилась на школьной территории. До встречи с этим прекрасным деревом Никита не представлял себе, что черемуха может быть такой могучей. Тогда была весна, дерево, как снегом, покрылось белыми гроздьями и пахло одуряюще.

— Сначала очень трудно,— говорил Исаков, вычеркивая прутиком ромбы на песке дорожки.— Но мне сразу повезло, я получил жестокий урок. Хотя в данном случае, наверно, бесчестно говорить о везении. Мне попался один удивительно неспособный парень. Старательный, а быстроты реакции никакой, телом ну никак не владеет, ритма, темпа движения не чувствует. И знаешь, мне стало его жалко. А может быть, и себя. В общем, я его выпустил. И его буквально через неделю, что ли, как к работе приступил, ранили ножом. Вот тут-то я покрутился ночью на коечке! Хорошо хоть не до смерти зарезали, а то бы на моей совести было. Конечно, в вашем деле всякое и с опытными может случиться, мне никто ничего не сказал, да ведь сам от себя куда денешься? С тех пор хоть разорвитесь, голубчики, а пока качества не добьюсь...

Исаков засмеялся и похлопал Никиту по спине.

Следя сейчас за работой Николая с молодыми курсантами, Никита сам удивился, как далеко позади осталось то время их первых бесед под черемухой.

Правду говорят, относительно следует понимать это самое время. Пусть оно течет медленно, насыщаясь стремлениями и задачами, оно с каждым днем набирает скорость.

Исаков в тот год учился на первом курсе педагогического, спал, как говорится, через день, но не ложился в постель без Амоса Каменского, Ушинского, Сухомлинского. После очередного выступления в центральной прессе к этой компании присоединился еще и Соловейчик, чьи статьи о воспитании обязательно прочитывал, вырезал, хранил в папке для вырезок и Никита.

Никита был холост, ему в самый раз проводить ночи с корифеями педагогики, а Коля Исаков женат. Никита поинтересовался однажды вроде бы шутливо, а на самом деле всерьез:

— Слушай, а как жена к такой утрамбованной житухе относится? Не ропщет?

Николай понял вопрос его на серьезе.

— Думаю, только тем и спасаемся, что оба в одинаковой позиции. Она тоже учится и работает. Поэтому мы синхронно вздыхаем и синхронно ждем конца учебы, надеемся дождаться нормальной жизни. Жизнь станет нормальной, когда для личного обнаружится время.

«Опять время, всюду время! — думал Никита.— Казалось бы, вечная, а на деле самая подвижная, вроде — призрачная, ан самая что ни на есть реально существующая категория».

И ведь сбылось! Исаков с женой закончили свои институты и впервые в семейной жизни отправились в туристскую поездку по Закарпатью. Николай был так потрясен самой возможностью такого вояжа, что письменно оповестил всех знакомых. Никита тоже получил от него открытку, полную восторгов и удивления.

Отправляясь на нынешний пятидневный семинар младших инспекторов угро в Светлово, Никита был рад побыть в хозяйстве Ивана Федотовича. Светловскую школу он воспринимал как свою alma mater, да так оно и было в его профессиональной судьбе. С удовольствием предвкушал он и встречу с Исаковым.

Сейчас он наблюдал за работой Исакова на площадке с глубокой заинтересованностью понимающего, но не обязанного к выполнению человека. Непосвященный многого не оценит, когда сам занимаешься, не до обобщений.

На лавочке, простой, деловой лавочке без спинки рядом с Никитой лежат деревянные, закругленные, до блеска отшлифованные дощечки-макеты ножей и деревянные же подобия пистолетов. Ребятишкам они показались бы безынтересными, простоватые самоделки — не больше!

Поверх всего этого макетного великолепия — журнал 3-го взвода, обыкновенный, уже обтерханный учебный журнал. Никита и в журнал заглянул — молодость вспомнить. Да... Ни в разнообразии тематики, ни в глубине постановки тем не откажешь. Тут тебе политическая, юридическая, специальная и военно-физическая подготовка, основы криминалистики, и оперативная техника, и средства связи...

Особо записана тема по этике поведения. Есть лекция «О культуре речи работников милиции». Подпись преподавателя: И. Борко.

Никита помнил историю создания этой лекции. Именно создания, а не только прочтения.

Никаких подсобных материалов по такой теме, естественно, не было. Материалы сколько-нибудь пригодные были рассыпаны по десяткам различных книг, собирать их приходилось, как пчелам — нектар, а где же найти начальнику школы время для такой кропотливой работы?

Ивану Федотовичу помогал весь лобачевский клан, а главным образом — тетка Ирина. Ну уж зато лекция получилась на славу, с тех пор для скольких потоков читана. Восемнадцать авторов были привлечены в плане-конспекте этой лекции, от В. И. Ленина до Державина и Карамзина.

— Экой какой эрудит я выхожу! — веселился Иван Федотович, читая со вкусом подобранные цитаты.

Теперь-то Никита понимает, что не зря Борко хлопотал о лекции именно на эту тему. Ведь с самыми разными людьми приходится вести беседу работнику милиции: дети, взрослые и старики, колхозники и студенты, инженеры и военнослужащие. Люди бывают в самых разных психологических состояниях: очевидцы, свидетели, потерпевшие, просто пришедшие посоветоваться. Надо уметь кратко и точно доложить, надо уметь пользоваться профессиональной терминологией. Многое требуется сейчас даже от рядового милиционера в смысле культуры речи...

Теперь это Никита понимает, а тогда исподтишка посмеивался: и старик, дескать, отдал дань творческим исканиям.

Но ведь поначалу и самбо воспринималось только как некий физкультурный комплекс. Спасибо Исакову, он быстро вышиб из Никиты эту недооценку ценностей.

«Вышибет и из вас, братцы-новобранцы, если кто недопонимает»,— с дружелюбным единством однокашника думал Никита, следя внимательно за работой площадки. В этом деле никогда не вредно лишний раз проверить и свою подготовку. Николай обещал выбрать к концу семинара время, поработать часок с Никитой на площадке.

«Ничего, ничего, осознает! Вон тот в третьем ряду, кажется, весьма с прохладцей действует».

Движения самого Исакова по площадке были непроизвольно и великолепно свободны. Невысокий, легкий, даже в работе приветливый. Почти, а то и просто ровесники курсанты выглядят рядом с ним мальчиками, и не только потому, что в нем за версту виден мастер, а в них — неумехи новички. В обращении его с ними, в каждой мелочи сквозит странная для возраста, подлинно отцовская терпимость и забота. Слова, которые могли бы звучать холодно и официально — многих он называет «товарищ курсант»,— у него лишены казенной безликости, не от равнодушия это обращение, он просто не знает еще имен.

На площадке отрабатывались приемы защиты и задержания. Худенький молоденький курсант старался изо всех сил — они ведь только внешне выглядят легкими, эти приемы. Форменная рубашка на нем сидела свободно, только при резких движениях обрисовывались под ней острые юношеские лопатки, и хоть нежаркий был день, на спине темными пятнами проступал пот.

Исаков убыстрил свой плавный шаг по площадке, когда присмотрелся издали к отчаянно напряженным движениям паренька.

— Поспокойней, поспокойней! — проговорил он негромко и протяжно, остановив борющихся легким прикосновением к плечу.— Вы — спокойней. Восстановите свое дыхание.— Исаков положил ладонь на плечо курсанта. Это что, весь дрожит! — Поспокойней, зря спешить ни в жизни, ни в самбо не надо. Вы зафиксируйте кисть...

Курсант постепенно успокоился, заметно стал ровнее дышать.

— Ну, проверьте стойку, помните — правильный захват кисти. Внимание! Делай защиту. Раз!

Исаков не пожалел, наверное, и трех минут, простоял рядом, лишь мельком взглядывая на другие пары, где исправно нападали и защищались. И паренек поймал ритм приема. На лице его сразу выразились радость и облегчение. Как у человека, который долго и страшно барахтался, но наконец вода ему покорилась, и он поплыл.

Исаков идет дальше, от пары к паре. Один защищается, другой нападает. Потом они меняются местами.

— ...Сразу смотрите на положение ножа. Удар снизу, сверху, наотмашь. Удар сбоку.

Когда он показывает, в движениях — ничего лишнего, замах только необходимый. То и дело курсанты слышат:

— Не спешите!

Совет может показаться странным. Преступник-то нападает с настоящим ножом и медлить не будет. И все же секунда, потраченная на принятие верного решения: «Смотрите на положение ножа!» — оправдает себя. Тем более, что впоследствии и она не потребуется. Правильная реакция станет рефлексом.

— ...До конца выбивайте нож! Руку до конца вперед. Точнее! Точнее и — не спешить!

— ...Товарищ курсант, вы сделали неправильный захват кисти. Четыре пальца сверху и один снизу точно на запястье.

— ...Помните! При защите не сближаться с преступником. Увеличивать расстояние при защите. Шаг назад — иначе возможен удар в бок.

У одного рослого, несколько полноватого парня защита получалась неважная. Досталось бы ему, будь против него не макет и не товарищ по взводу.

Исаков и тут остановился, однако на лице его выразилось не сочувствие, а неодобрение, да, пожалуй, и с холодком.

— Вы, товарищ курсант, кажется, три пропуска занятий имеете? Обратите внимание на самоподготовку. У вас очень запоздалая реакция. Кисть надо сжать в кулак, будет напряжение мышц, и удар может не пройти. А через расслабленную мышцу пройдет обязательно.

На Никиту никто не смотрел. Кто и любопытствовал поначалу, все про него забыли. Ему было очень хорошо сидеть на знакомой лавочке, наблюдать за отличной работой товарища и убеждаться, как легко поддаются широким обобщениям правила такого, казалось бы, специального предмета. Не спешить. В любом положении не спешить. Следить за положением ножа...

Никиту пронзило острое воспоминание своего ужаса, когда он не уследил за этим самым положением и чуть было сам, своими руками не отдал дурака Пашку на беду. Он коротко и злорадно подумал, как звонит телефон в его пустом доме. Слава богу, развязался со всей этой оторопью.

— Защиту сделали. Задержали,— словно припечатав мысли Никиты, объявил Исаков. Прохаживаясь перед курсантами, он поглядывал на них с лукавым интересом.— Задержали. Ну и что? Вы преступника держите, по всем правилам держите. Прием болевой, уйти он не уйдет. А перед вами нож лежит, бросать его нельзя — вещественное доказательство. Смотрите, как его надо поднять...

— Вот так они и жили,— сказал Исаков, когда кончились занятия. Он подошел, тоже уселся на лавочку. Ему-то перед следующим часом следовало отдохнуть.— Значит, преуспеваешь, Лобач? Из участковых в инспектора угро?

— А я, между прочим, не считаю работу участкового простым делом,— ревниво отозвался Никита. Он очень дорожил своим рабочим прошлым, многое нелегко далось, все было дорого. Сразу он подумал о своем участке, о Федченко с подбитым, замаскированным глазом. Ну да Федченко теперь поднаторел, окреп, надо думать, в грязь лицом не ударит.

— И я не считаю,— спокойно согласился Исаков.— Кстати, если б не твой опыт участкового, тебе бы, пожалуй, и в голову не пришло установить связь семейных скандалов с кражами.

Никита поразился, обрадовался, и гордость его взыграла. Одно дело — взять воровку, другое дело — убедиться, что слух о твоей операции даже до Исакова дошел.

— Да ты-то откуда знаешь? — спросил он, еле сдер-

живая счастливую улыбку, глупо расплывшуюся по физиономии.

Ход его эмоций нетрудно было разгадать.

— Маленько тебя огорчу,— сказал Исаков, отраженно улыбаясь.— Листовок об этом еще не выпустили, и капитан Жаров в свои лекции это дело в качестве положительного примера еще не включил. А был я случайно в кабинете начальника, и говорил он по телефону с Москвой, по-моему, с полковником Новинским. Тот, как видно, рассказывал, а наш кое-что повторял, вот я и понял.

Ну что ж, радость Никиты от такой справки не умалилась. Коли сам Новинский упоминал...

— Будет минута — расскажешь?

Исаков поднялся, время их словесного перекура кончилось, к площадке направлялся очередной взвод, и Никите пора было на занятия. Его ждала новая техника, увлекательнейший предмет.

Занимались они пока еще в старом здании, мрачном, малосветлом, с давящим сводчатым коридором. В свое время от большой нужды оно было приспособлено под школу. Теперь уже вольготно раскинулись на территории новые красавцы корпуса, на следующем семинаре там будут заниматься.

Когда Никита впервые попал сюда на сбор, как раз закладывалась новая школа, в фундаменте лежит обращение к молодежи, комсомольцам XXI века. Все было торжественно и хорошо, но Никите показалось, что XXI век что-то уж очень близко, меньше чем через тридцать лет. Ну Борко, естественно, не дожить, но Никите-то будет меньше, чем сейчас Ивану Федотовичу. Тут не то что обращаться к этим самым потомкам торжественно, впору бы не перессориться.

Новая школа — красавица, но Никита испытывал сыновье тепло к унылому старому строению. Ни в чем не виновны стены, их тоже строили человеческие руки, и строители бы порадовались, узнав, сколько молодых, здоровых юношей здесь учились, сколько хороших, нужных людей вышло из этой старой школы в жизнь...

Никите нравилось, что и большое здание, уцелевшее от церкви, не сносят, переоборудуют в музей милиции Подмосковья. В музее будет история, будет и современность, как в Музее криминалистики на Садовом кольце

в Москве, будут и материалы из некоторых интересных дел. А чем черт не шутит, может быть...

«Так и жди! — мысленно рявкнул на себя Никита.— Так сейчас твою Светку — под объектив! Тоже мне Сонька — Золотая ручка».

В музей не в музей, но на радость он имел право. Вот же и полковник Новинский... Без малого полмесяца Вадим в области сидит, а то, наверное, и он похвалил бы. Вадим — молодец, не считает, что воспитывать можно только унылой строгостью, не гнушается лишний раз подбодрить, похлопать по плечу.

У воровки оказалось красивое имя и знатная фамилия. Светлана Вяземская. Вот так. А встретилась она, к своему несчастью, с Никитой при следующих обстоятельствах.

Месяца два-три назад Никита обратил внимание на то, что на его участке, да и на соседних — как выяснилось из разговоров с другими участковыми — в некоторых дружных до этого семьях начались скандалы. Кое-где испортились отношения с детьми-подростками. Один такой случай Никита подсмотрел в отделе у полковника Фузенкова, у белоголовой этой девчонки — инспекторши детской комнаты случайно.

Хотя почему же случайно? Он же и приехал к Фузенкову по этому делу, пошуровать, нет ли аналогичных случаев. Наряду с внезапно возникшими скандалами квартирные кражи продолжались, все — похожим почерком, все без следов взлома. Некоторые потерпевшие показали, что деньги пропали не полностью. В одной квартире, например, в ящике туалетного столика лежало полторы сотни рублей, а взяли только сто. Потерпевшие из этой квартиры сказали, что с неделю примерно не заявляли в милицию, все сомневались, не кто-нибудь ли из своих: чужой вор, дескать, взял бы все.

Все эти показания и навели Никиту на мысль, что, во-первых, не обо всех кражах известно в милиции. Если вор и в других случаях берет не все, а люди на этом основании подозревают близких, они вполне могут в милицию не заявлять.

А во-вторых, не странные ли пропажи денег и ценностей нарушили мир в некоторых семьях? В двух квартирах, где были подростки, ему удалось вызвать родителей на откровенность, и предположения его подтвердились.

Несколько краж было в военном городке. Никита обошел не только потерпевших, он побывал во всех без исключения квартирах пяти, занятых военным ведомством, домов. Пять пятиэтажных домов по шесть подъездов без лифтов. Если хотя бы по десять минут на каждую квартиру?.. А ведь во многих квартирах, в особенности если женщины, то хотят и вообще с участковым поговорить, и различные соображения высказать. И спаси бог спугнуть, и спаси бог обидеть невниманием: контакт с людьми наладить непросто, а потерять — пара пустяков.

Но в результате этого бесплодного, казалось, кочевья по подъездам и этажам кое-какие пузырики на водной поверхности появились.

В две квартиры в разных домах — обокрадены они не были — заходила, судя по описанию, одна и та же девушка. Она звонила в дверь, ей открывали, она извинялась и спрашивала, не знают ли адрес женщины, учительницы местной средней школы. Называла имя и отчество. Называла правильно. Говорила, что училась у этой женщины и хотела бы повидать. Люди или не знали, или направляли ее в школу.

Приходила она днем, в рабочие часы, когда мужчин нет никого, да и многие работающие женщины отсутствуют.

Может быть, услышь Никита о девушке в одной квартире, он не обратил бы внимания, но один и тот же вопрос был задан в двух домах. Он побывал в школе. Да, учительница с таким именем работала здесь года два назад, потом уехала. Нет, в школу никто не приходил, никто учительницу эту не спрашивал.

На основании показаний трех женщин, видевших девушку, попытались составить словесный портрет. По домам Никита ходил с Федченко, глаз у него тогда еще был без маскировки, а познакомиться подробней с населением участка ему — без пяти минут участковому — было полезно.

Ну и помучились же они с этим портретом! Особых примет никаких. Одна старуха говорит: «Совсем молодая, лет тридцать, не больше». Десятиклассница считает, что девушка уже не молоденькая, ей, наверное, уже двадцать. Так же и с ростом. Одежда? Ну что может дать одежда, особенно в межсезонье.

Тем не менее какие-то крохи наскребли, ориентировали людей, особо поговорили с неработающими, поскольку в обоих известных случаях девушка приходила в рабочие часы.

О кражах многие слышали, к просьбе отнеслись серьезно, ну а если почва подготовлена, то и семечко случая быстрее прорастает...

Словом, немного времени прошло, в милицию звонят из городка: «Приезжайте скорей, поймали!»

Никита с Федченко на мотоцикл — и ходу. Приезжают, на третьем этаже толпятся, гомонят женщины, дверь в одну квартиру колышком закрыта. По-деревенски, сквозь ручку, продет колышек, крепко получилось, не то что девушке — мужчине изнутри не открыть.

На лестничной площадке шум великий, в квартире мертвая тишина.

Время летнее. Никита подумал, что если это действительно воровка, то как бы не сиганула в окно.

— Федченко,— сказал он.— Пойди проверь под окнами, насчет балкона там, трубы водосточной!

Федченко сбегал, вернулся. Балкона нет, труба далеко. Под окном асфальт, и поскольку третий этаж...

— Навряд ли,— подытожил Никита. Он вынул крепко забитый колышек — нашлась у баб силенка.

— Чем забивали? — поинтересовался.

— Топорищем,— с готовностью объяснила жилица квартиры, женщина рослая, по повадке решительная.— У соседей взяла. Топорищем и забила. А колышек вот она,— палец указал,— с палисадника принесла. А пока она принесла, так мы двое дверь держали.

— А та, кого вы задержали, пыталась выйти?

— Вроде бы сначала подергала раза два, а потом ничего, тихо сидит.

Когда Никита с Федченко вошли, тишина в квартире была полная. Первой комнаткой налево по коридору оказалась кухня, и в ней на табуретке сидела девушка.

Она ничего не успела здесь украсть, и с ее точки зрения, погорела на случайности. В трехкомнатной этой квартире жили две семьи, в одной комнате супруги, в двух других муж с женой и дети. Как водится, к сожалению, у многих, ключи от квартиры обычно «прятали»: одна семья — на ящике с электросчетчиками, дру-

гая — в еще более «потайном» месте, под резиновым половичком у дверей.

В этот день одна хозяйка пришла раньше, поставила, забыла и сожгла кашу, распахнула двери и окна выветрить чад. Вторая, войдя в открытую дверь, машинально захлопнула ее за собой. Ключ ее остался под половиком. Из-за чада и залитой горелки на кухне немедленно возник достаточно пылкий конфликт. Увлеченные им женщины не расслышали звонка и отвлеклись от плиты, только услышав звук распахнувшейся и вновь закрытой кем-то двери. Они выскочили в коридор, увидели незнакомую девушку.

По-видимому, в первое мгновение растерялись все трое. Услышав какие-то слова об учительнице, женщины кинулись к выходу, опередив девушку. Ну, а дальше — кол, топорище и милиция.

Ключа, спрятанного под резиновым половичком, естественно, не оказалось. Его нашли потом.

Пока составляли первый протокол, девушка держалась вполне корректно, в меру взволнованно. Она сказала, что вошла в раскрытую дверь. Женщины утверждали, что дверь была закрыта.

— Ну, а зачем же вам понадобился ключ? — спросил Никита.

— Какой?

Вот это слово она уже сыграла плохо. Корректность ее начала в чем-то неузнаваемо линять.

— Тот, которого нет под половиком.

Но все дальнейшее уже не было делом Никиты и Федченко. Подъехала Нина Сергеевна Дробот, дежурный следователь из их отдела, провела опрос свидетелей.

В машине по дороге в отдел с задержанной окончательно сошла пленка благовоспитанности и стала она тем, кем, как впоследствии выяснилось, и была — блатная без примеси.

Это была хорошенькая девушка со свежим круглым личиком в милых легких веснушках. Некрашеные длинные волосы, лицо без косметики, юбка не короче, чем у многих, руки холеные, с хорошо отделанными ногтями, вещи на ней не дешевые, не кричащие. Но вместе с тем неумолимо прорезалась в ней защитная ожесточенность существа, окруженного врагами.

— С чего это взахались они? — грубо, в воздух, спро-

сила она, достав из кармана спортивной куртки и закуривая без разрешения сигарету. Сигареты и спички ей оставили. А тому, что сумочку при задержании взяли, она не удивилась. Никита посмотрел, как она войдет в машину. Вполне привычно вошла, чуть подтянулась за поручни, вовремя подвернула юбку. Да. Вполне привычно.

— Какой учительницей вы интересовались? — спросила Нина Сергеевна. Вопрос ее прозвучал более чем естественно, поскольку кражами этими она не занималась и предыстория задержания Вяземской пока не была ей известна.

Вяземская, видимо, уловила эту искренность интонации, приободрилась, то есть стала вновь обеспокоенной, деликатной пай-девочкой.

— Я слышала, она где-то здесь не то работает, не то живет. Училась у нее. Разве нельзя повидаться?

«Не знает, что ключ нашли»,— подумал Никита.

Никита зашел потом к Нине Сергеевне, полюбопытствовал. Она его похвалила, сказала, что дело, по-видимому, многоэпизодное, что Вяземская совершала кражи в Москве, ее перевели в Москву и расследование ведет следователь Гиреев из управления.

Может быть, и полковник Новинский знает об отношении Никиты к этому делу...

Вот ведь родной брат — следователь. Никите отлично известно, сколько знаний, сколько нервно-напряженного труда должен положить капитан Гиреев, чтоб отработать каждый эпизод воровской эпопеи Вяземской, чтоб припереть к стенке обвинительного заключения эту изворотливую и, несмотря на молодость, опытную преступницу.

Никита знал все, а вот поди ж ты, сейчас было у него такое чувство, будто все главное с Вяземской уже сделано.

Ведь поймал! А без правильного расчета разве бы поймал? Это вам не компас-барометр изъять у Пашки из подвала.

Вспомнив о компасе, Никита опять испытал приятное удовлетворение: отделался он от этой липкой дачи с ее загребущими обитателями, чтоб ему никогда больше о них не слышать! Не так уж плохо управился он и с компасом.

Римляне, что ли, придумали поговорку: победителей не судят? Не дураки же были римляне.

В отменно хорошем настроении, довольный миром и собой, Никита копошился с видеомагнитофоном, когда прямо с занятия посыльный вызвал его к начальнику школы.

Борко сидел в большом кабинете за большим столом. После яркого солнечного дня здесь было сумрачно и прохладно. Никита вошел, приветствовал, доложился, все как положено, хотя в кабинете, кроме их двоих, не было никого. Уж в чем, в чем, но в дисциплине ему не откажешь, в плоть-кровь и привычку вошла, из условного рефлекса безусловным стала. И тем не менее в каждом движении и взгляде Лобачева светились довольство, неиссякаемая радость бытия, непотраченные силы и незнакомство с усталостью. Как будто не с семинарских занятий пришел, а с танцплощадки. Иван Федотович даже вздохнул: эка брызжет из парня молодость!

Спросил почти неодобрительно:

— Гуляешь, значит?

— Гуляю.

— Считай, отгулялся.

— Как понять?

— Так понять, что в Москву отзывают. Сдавай книги и постельные принадлежности и кати в управление.

Борко зорко глянул на Никиту. Нет, не огорчился парень, что с учебы срывают. Конечно, им что! Им — учеба дело десятое.

Громко двинув стулом, Борко поднялся, вышел из-за стола, прошелся по кабинету. Насупился. Руки в карманах — значит, сердит.

— Конечно, им что! — вслух повторил Борко.— Им — чтобы все разом и голубь в небеса. Шерлоки Холмсы, дескать, без семинаров, на одной дедукции работали.

Борко вымещал досаду. Никита разобрался в ситуации и стоял покорно. Даже не переминался. Команды «вольно» не было.

— Вольно! — сказал Борко.— Уж не тянись. Ценю и отмечаю. Большое задание получаешь. А не зеленоват ты для большого-то?

— Я хоть тленом покройся, вам все равно буду зеленоват.

Никита вышел из покорности.

«Обиделся, сейчас засопит»,— подумал Борко, прощаясь с досадой.

— Которые тленом, те напрочь зеленые. Ты-то еще не видал, а я нагляделся. Им, конечно, учеба — десятое дело...— все-таки кинул он еще камушек.

— А кому это «им»? — невинно спросил Никита. Как-никак в присутствии младшего по званию обсуждать приказы начальства не положено. Не зеленые же с тленом имеются в виду.

— Ишь ты, какого яду набрался, источать осмелился,— безгневно уже подивился Борко.— Ладно, беги сдавай постельные. Не терпится небось. Ни семинары, ни школы не цените, только бы удрать.

— А вот и ценим! — вдруг неподкупно искренне вырвалось у Никиты.— В этот раз как приехал, Иван Федотович, все мне так дорого показалось, особенно что сами строили. Летние наши классы. Они мне сейчас такими хорошими кажутся.

Парень не криводушничал, сущую правду говорил, и за его сыновье тепло к самодельным, честно отслужившим свой век строениям школы Иван Федотович с благодарным жаром простил ему и языкатость, и легкий гонор, который прорезался от первых успехов, как гребешок у цыпленка-петушка.

Что уж это были за летние классы! Обыкновенные навесы, из цветных, волнистых, под шифер, листов, с деревянными столами и лавочками, с дощатым полом и невысокими стенками. Но делали-то их сами курсанты, и только благодаря этим классам удалось разместить слушателей.

А как украшали территорию! А как...

— Ладно, Никита,— растроганный Иван Федотович обнял Никиту, по плечам похлопал, расцеловать хотел, да постеснялся. Главное, от души парень говорит, не врет, это уж видно, есть в нем сердечное тепло, это уж точно так.— Ладно, вот вернешься, мы с тобой как-нибудь для молодежи в новом здании вечер воспоминаний устроим. Давай езжай, ни пуха тебе...

Никита действительно не кривил душой. Страшно опечаленный, сдавал он учебники, освобождал койку. Как будто навсегда покидал школу. В сущности, так оно и было. На следующем семинаре их уже поселят в новом здании.

О школе взгрустнулось, но думал он только о том, что ждет его в Москве, ведь первый раз так срочно вызывают. Дело Вяземской сразу сникло, поблекло, погрузилось в прошлое. «И погордиться-то как следует не успел»,— уже усмешливо, как о маловажном, давно минувшем эпизоде, подумал Никита обо всем, что было связано с Вяземской.

А Борко, проводив Никиту, тоже разволновался. За Никиту он был спокоен. Он верил в способности и подготовку парня. Да и с чего бы младший представитель лобачевской семьи оказался вдруг слабее старших. Сильнее должен быть. Кровь тоже весит. В биологии Иван Федотович не был силен, но о том, что генам наследственности вышла некая амнистия, слышал.

Уж если Никита вспоминал о школьной стройке, то Ивану-то Федотовичу было что вспоминать. Без малого двадцать лет, с пятьдесят седьмого года, его жизнь была связана с этой школой. Тогда еще и школы не было, учебный пункт,— вот как это тогда называлось. Только в семидесятом году по приказу министра пункт преобразился в областную школу, в учебное подразделение области...

Самым трудным оказалась не самодеятельная зачастую стройка, не приведение в гожий вид строений, никоим образом не надеявшихся стать учебным заведением. Самым сложным оказалось создать школе прочный авторитет как в глазах большого начальства, так и в сознании слушателей.

Случались среди прошлых начальников и такие, что искренне считали всю затею с организованной учебой, потоками, семинарами и прочей «политикой» делом излишним. А если начальство так мыслит, то уж оно способ противодействия найдет.

И со слушателями на первых порах пришлось нелегко. На базе школы, кроме основных, постоянно действующих потоков, проводились тогда — как и сейчас — сборы различного профиля. На три недели, а то и на три дня, в общем, по-разному начали съезжаться уже старшие офицеры, капитаны, майоры.

Поди-ка внуши такому контингенту, что в школе они, как рядовые и сержанты, обязаны дисциплину соблюдать.

Бывало, кое-кто из увенчанных званиями приедет, ну

и считает, что тут вроде на курорте, и водочки в любое время можно, и с заправочкой не обязательно.

Приходилось некоторых и по стойке «смирно» ставить, и перед строем акафист читать.

Бывали нарушения и среди рядовых. Случилось же однажды: несколько слушателей без всякого порядка ворвались в столовую прямо в шинелях, тогда еще пальто не было, старая форма была. Ворвались, расселись и давай кормиться.

Борко пришел в бешенство. Всех, кто был в шинелях, выгнал.

Остальных выстроил.

— Вам что, нормы не хватает? Не хватает, можете подойти к нашей Клавдии Филипповне, дадим добавку, а безобразия не потерплю.

Был еще случай. По-хорошему обратился курсант: так, мол, и так, товарищ начальник, я — сельский участковый, привык в день по пятнадцать — двадцать километров ходить, ну и есть соответственно.

Ясно-понятно, дали ему добавок, но чтобы в шинелях в столовую!..

Иван Федотович сейчас об этих шинелях спокойно вспомнить не может, а уж тогда... Как это Маринка Лобачева говорит, когда крайнюю степень возмущения выражает: «У меня слов нет, одни буквы остались».

А что, ведь приструнил-таки всех, и с малыми звездами и с большими. Те самые, которые, приехав в школу, не сразу сориентировались, говорили потом про Борко: «Он свирепый, но добрый...»

Теперь Иван Федотович на невнимание к школе не жалуется. Одно новое здание — Борко подошел к окну, полюбовался на белую красавицу, так он про себя величал новую школу,— одно новое здание чего стоит. Надо думать, руководство не мало энергии положило, чтоб выбить такую махину там, где положено махины выбивать.

Очень нравилась Борко и идея создания музея подмосковной милиции именно на территории школы. Корни, корни в прошлом, история... Пусть молодые видят, убеждаются, осязают, что не на голую пустошь пришли, что от них уже требуется — не уронить традицию.

Борко надел фуражку, привычно, по-военному прикинув, на месте ли кокарда, и, как всегда, покидая ка-

бинет, взглянул на маленький, покрытый стеклом столик. Столик не был приставлен в торец к большому, как в кабинетах высокого начальства. Борко нравилось, чтобы попроще, да и не смог он привыкнуть проводить совещание сидя, все похаживал по кабинету. К этому привыкли.

Привычной стала и бумага, легко читавшаяся под стеклом,— столик в любое время был обдуманно освещен. Свои прочли не по разу, всему суждено примелькаться, но, впервые приходя к начальнику школы, люди непременно задерживали внимание на бумаге.

Небольшой плакат «Памятка-правила» был вывешен в приемной Ленина в Совнаркоме в первые годы советской власти. В памятке значилось: «Мы проводим на работе лучшую часть своей жизни, нужно научиться работать так, чтобы работа была легка и чтобы она была постоянной жизненной школой».

Плакат этот где-то разыскала, как она честно созналась, похитила и подарила Ивану Федотовичу Ирина.

Никита приехал в Москву, сдав постельные принадлежности и не пообедав, голодный, бодрый и заинтригованный. Возле вокзала у толстой носатой хозяйки будки-ларька с обувной фурнитурой счистил с туфель — черных, кожаных, неприметных — густую сельскую пыль и явился, как было велено: прямо на третий этаж к полковнику Булахову.

В кабинет к Вадиму он не зашел, зная, что брат в области,— звонил однажды Маринке, она сказала. А Вадим и Корнеев ждали его у Булахова. О Булахове Никита много слышал, можно считать, знал его, а потому и чувствовал себя сейчас просто и позволил себе улыбнуться и покивать приветственно Вадиму, по брату он соскучился. Чуть ли не месяц они не виделись.

Вадим ответил ему кивком. Но вместе с тем Никита сразу ощутил, что все трое смотрят на него как-то испытующе. Так иногда смотрят на человека, от которого либо выходки ждут, либо новость предполагают услышать.

Естественно, Никита не позволил себе ответить вопрошающим взглядом. Он просто доложился и ждал.

Всем троим, неизмеримо старшим по опыту, а не только по званию, было понятно, что молодой лейтенант сам любуется сейчас собственной выдержкой и несуетливостью.

— Ну, так,— сказал Булахов, тем самым снимая обязательность уставных норм обращения.— Садитесь, Лобачев. И вы, Вадим Иванович, Михаил Сергеич, давайте поближе.

Не по уставу, да. Но брат и Корнеев здесь заслуженные, испытанные, свои. Никита второй раз в этом кабинете. Ну, ничего. Заслужит и он имя и отчество.

Вадим коротко, но исчерпывающе доложил фабулу колосовского дела.

— Значит, вы, Лобачев, днями вылетаете на Черное море. Подробно вас сегодня проинструктируют. Не только сегодня. Вероятней всего, у вас еще будет дней пять или шесть. Я знаю, что вы владеете гитарой. Насколько знакомы вы с фотоделом?

Сколь ни напрягся внутренне Никита после первых слов Булахова, его позабавил оборот «владеете гитарой»,— об оружии так говорят. Само ощущение, хоть и короткое, смешного сняло напряжение. Дальше он слушал с интересом, пожалуй, нарастающим, но — по-деловому, как если бы ему просто давалось задание по соседнему участку.

— Простые, дешевые аппараты я знаю. Снять я сумею, с проявлением, с печатанием — хуже.

— На юге проявителей на каждом шагу. Главное — самой техникой съемки вы должны владеть, это ваше хобби. И аппарат у вас не из дешевых. Вот эти фотографии делали вы. Это ваша коллекция.

Булахов вынул из приготовленного большого конверта и ловким движением, как колоду карт, разметнул на столе перед Никитой крупные, двенадцать на двенадцать, фотографии.

«Ни себе чего!» — мысленно присвистнул Никита, проглядывая снимки и невольно вспомнив при этом недоброй памяти «Плейбой».

— С девицами осложнений быть не может. Одна в заключении, вторая на свободе, адрес известен, бывать вы там могли. Не обязательно, чтобы все без исключения фотографии были сделаны лично вами. Могли и

прикупить. Вы коллекционируете, но при удобном случае за хорошие деньги и приторговываете.

— Но обязательно, чтобы большая часть фотографий была сделана аппаратом, который у меня будет.

Фраза прозвучала как замаскированное под вопрос утверждение. Никита постеснялся сказать определенней.

— Хорошо,— одобрил Булахов. Кивнул и еще раз добавил: — Хорошо!

Глянул коротко на Вадима, на Корнеева. Булахов был доволен. Он всегда стремился к тому, чтоб человеком двигала задача, а не приказ. С этой минуты не лейтенанта инструктировали, а совещались вчетвером.

— Документы готовы,— сказал Корнеев.— Обшарпать только надо. Имя тебе оставили.

Никита понял. Все-таки опасаются, что не вживется. Ну что ж, спасибо, времени и правда мало. Но он позволил себе заметить, что в сельских местностях, да и в небольших городах у людей молодых это имя — редкость. Оно все больше в отчествах.

— Нет, нет,— пояснил Булахов.— Вы из интеллигентной семьи, у вас мать — учительница, поклонница Толстого. Теперь как быть с динамиком? Везет он с собой динамик или там думает купить, в оркестре призанять, на худой конец?

— С динамиком возня, а я все-таки любитель, дилетант, первый раз еду. Можно денег взять. Немного. Может быть, Громов согласится, поможет.

— Ты только не суетись,— втолковывал Корнеев.— Главное дело — не суетись, не дави на него, не торопи.

— Но вообще-то это неплохо, если он у Громова одолжится,— размышлял Булахов.— Вы как к этому, Вадим Иванович?

Вадим внимательно всех слушал, меньше всех говорил, однако ему нравилось, как ведет себя Никита, нравились его не частые, но к месту соображения, и хотя операция только зачиналась, на душе у него с каждой минутой становилось все спокойнее.

— Я бы на твоем месте не стал навязывать Громову хлопоты с динамиком,— сказал Вадим.— Он может подумать, что ты неприспособленный рохля. Попробовать деньжат призанять — можно. Но опять-таки Михаил Сергеич прав: не спеши, не торопи! Дай им с тобой осмотреться.

«Не», «не» — Вадим подчеркивал отрицания, но он обращался к брату на равных, и в Никите тоненько, никому не слышно запела душа.

— Значит, помните. Любовь к тряпкам, страстная погоня за шмотками, барахолка, спекулянты. Отсюда — базар. Может, дать ему что-нибудь с собой на продажу, а? — обратился Булахов к Вадиму и Корнееву.

— А деньги у меня откуда? — памятуя мать-учительницу, поклонницу Толстого, запротестовал Никита.— А как насчет стипендии? И вообще, как я учусь? По-моему, за вычетом вот этого,— он щелкнул по голому пупку девицы на фото,— я учусь хорошо. Мне же действительно нужна стипендия.

— Ну и получай ты свою стипендию,— успокоил его Корнеев.— Учишься ты, между прочим, в своем же институте, только на очном, так что тебе и книги в руки. А насчет барахла, товарищ полковник, так что же ему дать такого, чего бы на базаре в Сочи не было? Денег-то у него действительно не навалом.

— Но он же ушлый,— вступился Вадим.— Он ушлый, видный парень, из литературы может ввернуть. Нет, у него вполне могут быть ходы к продавщицам.

— Эй, Лобач! — вдруг обрадованно перебил его Корнеев.— Давай дадим ему Мандельштама, которого у Кнутова отобрали? Он его купил, он его и перепродаст! Вот тебе и динамик!

— Ну сколько дадут ему за того Мандельштама? — спросил Корнеев. Предложение не показалось ему серьезным.

— Сколько? Забыл ты! По номиналу рубль сорок семь, а продавал его Кнутов за шестьдесят рублей!

— Подработайте этот вариант,— сказал Булахов.— Мне кажется, тут есть смысл. Только вы,— обратился он к Никите,— Мандельштама не читайте. Вы именно его не читайте, чтоб в голову не пришло, что книга, скажем, мамина. Только предмет купли-продажи, ясно?

— Хоть и прочту, так не ввяжусь же в дискуссию,— уверенно возразил Никита.

— Ты не бери на себя больше, чем надо,— сказал Вадим, и фраза эта прозвучала чуть строже.— Тебе и так мало не будет.

Он сделал замечание сам, чтоб не сделали другие. Булахов понял.

— Вадим Иванович прав,— мягко поддакнул он.— Запомните, Лобачев, в нашей с вами,— позолотил он пилюлю,— в нашей с вами работе невидимая пылинка может обладать непредугаданным весом. Вы не слышали о случае с Золотницким?

Никита не слышал. Ему рассказали. Обстановка у Золотницкого сложилась примерно схожая. Находясь в компании с участником преступной группы, молодой сотрудник должен был сойти за местного. Он благополучно числился в местных уже около двух недель, все шло хорошо, но однажды, глядя на великолепный восход за Даугавой, ахнул и сказал:

— Хорошо тут у вас.

Ему сунули локотком под бок, он выкрутился, дав более точное содержание этому «у вас», но...

— С экипировкой сами проследите, Лобачев,— сказал Булахов.— Помните: вещи вам не безразличны. Каждый свитерок для вас играет. Или нравится, и вы в нем красуетесь, или не нравится, тогда вы к нему отрицательно активны. Вы не можете позволить себе большой гардероб, поскольку у вас мало денег. Поэтому вы особенно старайтесь, чтобы все модно, пестрые там рубашки, вельветы...

Никита обмер. До такой степени обмер, что допустил на мгновение идиотскую мысль: уж не розыгрыш ли все это перед последующим нагоняем. Вот до чего плохо пришлось ему тогда у полковника Соколова!

Ни одна жилка в его лице не дрогнула, однако какие-то флюиды напряжения, должно быть, ощутились в самой паузе, потому что Булахов, оборвав фразу, посмотрел на Никиту вопросительно.

— Я что-нибудь не в цвет? Может, вельветы уже не модно?

— Модно, товарищ полковник,— авторитетно подтвердил Никита.— Модно. Есть вельветы.

— О женщинах с фото не забудьте его проинформировать.— Это уже Корнееву и Вадиму.— Подумайте, может, есть смысл заключенную ему показать. Ну, в общих чертах примерно все. Уточнения, дальнейшая разработка за вами тремя. Перед отъездом вы еще у меня побывайте.— Это Никите.— А теперь, Лобачев, пойдемте к полковнику Новинскому, он хотел вас видеть.

Булахов поднялся, за ним — все.

— Когда освободишься, спустись ко мне,— сказал брату Вадим.— Мы будем ждать.

Никита скоро спустился. Новинский действительно хотел его только видеть. И не только Новинский. Замначальника управления тоже был в его кабинете. Никита впервые разговаривал с Чельцовым. Из-за легкой косины у него был странно скользящий взгляд.

Оба они задали Никите несколько теперь уже малозначащих вопросов — все основное было если не решено в деталях, то затронуто и намечено в булаховском кабинете. Никита понимал, что здесь дело не в вопросах-ответах. На него просто хотят посмотреть, увидеть, как он держится, в этом нет ничего обидного, ничего необычного. Ему слишком многое — и впервые — доверяют.

Чельцов спросил — голос, его манера разговаривать оказались мягкими, почти домашними; когда молчал, он выглядел холодноватым.

— Вы уже много лет носите военную форму. Как вы почувствуете себя в гражданском? Ведь вам желательно быть даже немножко разболтанным. Вы ж студент, и, кажется, не из лучших?

— Учту, товарищ комиссар!

Чельцов сказал точно. Это не просто — военному человеку разом облачиться в рубаху с заплатами, в штаны с бубенцами. Надо подумать, не использовать ли в какой-то степени, хоть на время первого знакомства, костюм стройотряда с нашивками, все не так разителен будет переход. А вообще-то надо как можно скорей переодеваться. Кроме всего прочего, надо бы проверить и загар на шее. Рубашка-хаки закрывает грудь, а студенты свои распашонки чуть не до пупка распахивают. Сегодня же проверить, если светла кожа...

Озабоченный соображениями насчет границ загара, Никита и вошел в отдел, где в бабаяновском кабинете — Бабаян был в отпуске — его дожидались Вадим с Корнеевым.

Не бездельно, конечно, дожидались. С ними был давно знакомый Никите Юра. Сам отличный фотограф и знаток всех и всяческих фотоаппаратов, Юра ведал в управлении фотоделом. Юра должен был подготовить Никиту, а сейчас они подбирали аппарат и не больно дорогой, и не особо сложный, и чтобы с ним можно было

сделать хотя бы несколько фотографий из тех, что повезет с собой Никита.

Они, кажется, сторговались, когда явился Никита со своими соображениями по загару. Вадиму они с ходу показались не особо серьезными, но Корнеев также с ходу прислушался.

— Вадим, стой,— сказал он.— Парень дело говорит. От загара, вернее, от белой кожи в случае чего не отбрешешься.

Тут же посмотрели, прикинули. расстегнутый воротник гражданской рубашки. Решили, что вообще-то Никита, слава богу, загорел, помогли зарядки на задворках. Но шею и верх груди между ключицами хорошо бы все-таки маленько подпалить. Можно сделать несколько сеансов кварца в своей же поликлинике, как раз по вырезу рубашки и будет.

— Молодец, Никита! — сказал Корнеев.— Мелочи — великое дело, из тебя будет толк.

Юра ушел, назначив Никите время на завтра.

Вадим с чувством некоторой неловкости стал объяснять Никите, что Галина не должна даже отдаленно догадаться о цели его отъезда. Никита удивился:

— А с какой это стати надо докладывать? Чернышевский что говорил? Чернышевский говорил, не всякая правда всегда и везде нужна.

Вадима даже задело такое детски-мудрое решение вопроса.

— Чужой жене врать, конечно, просто,— заметил он, несколько даже обиженно. Корнеев молча веселился.

— Авось и своей как-нибудь...— неунывающе ответил Никита, но тут же, видимо, выбросил из мыслей жену чужую и грядущую свою, потому что с лица его сошло выражение забубенной лихости, которое и впрямь было бы вполне органично любому студенту-забулдыге.

— Вадим,— просительно обратился Никита к брату,— послезавтра в Колонном зале слет. Нельзя бы мне туда хоть на часок пропуск?

В первый момент Вадим подумал, что это очередная хохма, и готов был рассердиться, но увидел, что Никита серьезен. Серьезен и чего-то стесняется.

Никита смотрел на него во все глаза, надеялся, что его поймут без расспросов.

Ну, пусть старшие над ним подшутят, если это смешно, но перед первым его большим делом ему хочется побывать еще раз в Колонном зале на слете.

Но старшие, переглянувшись, его приблизительно так и поняли и шутить не стали. Вадим только посмотрел на часы и спросил:

— С тобой, братику, не соскучишься, но уж коли тебя осенило, так чего ж ты до сих пор молчал? Спросил бы сразу у Булахова или у Новинского? Мы-то откуда тебе пропуск возьмем? Не в кино ведь — в Колонный зал.

— Я постеснялся,— хмуро объяснил Никита, опустив глаза.

— Дело ясное,— сказал Корнеев.— Что по мелочи, преступников там ловить или что, это они могут. А чуть где посложнее, это уж за братниной спиной... Позвони ты ему,— попросил Корнеев Вадима,— а мне в Колосовск пора, а то бросили мы чуть не на сутки свои палестины...

Покачав головой — с Никитой действительно не соскучишься,— Вадим взялся за трубку. Объяснил Булахову как мог.

Булахов сначала тоже поудивлялся. Потом сказал:

— Ну, раз хочет, пусть идет. Кого-либо из преступной группы он на этом слете вряд ли встретит. Поздно только. Ну, я попрошу Шишкова. Может, по старой памяти уважит.

Подполковник Шишков, недавно назначенный начальником отдела политико-воспитательной работы управления, до этого был следователем, специализировался по ОБХСС, делу, как известно, особенно сложному, кропотливому и трудоемкому. Это был человек недюжинных литературных возможностей, который, выкраивая двадцать пятые часы в сутках, написал несколько очерков-воспоминаний, опубликованных в областной газете.

Читатели заваливали газету письмами, требуя продолжения, газета тормошила автора, Шишков уже не рад был и успеху и задался целью подобрать коллектив авторов из числа сотрудников управления, чтоб обеспечить газету добротным очерковым материалом по работе подмосковной милиции.

— Вот пусть он мне очерк о слете и напишет,— как о деле решенном сказал Булахову Шишков.

— Василий Николаич, насчет очерков темно. Он тебе на гитаре сыграет.

— Цыган уже, значит, к тридцатилетию Победы разводить? А пропагандой работы органов внутренних дел пусть, значит, Пушкин занимается?

В результате Булахов перезвонил Вадиму и сказал, что подполковник Шишков обещал поставить Никиту дежурным при президиуме. Пусть пробудет там, сколько ему нужно.

Традиция... Хорошая добрая традиция — великое дело. Такой традицией уже стали ежегодно слеты-совещания отличников милиции Подмосковья, лучших людей отделов внутренних дел, командиров комсомольских оперативных отрядов. Дом Союзов отдает в эти дни подмосковной милиции свой Колонный зал.

В Колонном зале Никита был за жизнь трижды. Первый раз, когда Вадиму — он работал мастером в цехе — удалось достать билет на новогоднюю елку, и мама повезла маленького Никиту в Москву. Но тогда он даже колонн не заметил, столько было сверкания, музыки, такая огромная была елка. Красивая, как на картине, Снегурочка сказала Никите гадость. Сказала, что он хорошенький. Зато Дед-Мороз дал подарок в расписанном картонном чемоданчике. Сразу стало ясно, что в этом чемоданчике, когда съедятся конфеты, а это можно сделать быстро,— в чемоданчике можно хранить запасные карабины к собачьему поводку и другие ценные вещи.

Выйдя с праздника на Манежную площадь, Никита прижал чемоданчик к груди, чтоб прохожие не помяли. К радости его, на улице праздник не кончился, потому что кругом было много детей с подарками, все были довольны, все заботились о подарках, и так Никита узнал, что праздник не зависит от стен, праздник там, где тебя окружают другие довольные люди.

Подходя к метро, Никита оглянулся и был поражен — Дом Союзов совсем маленький на этой площади, окруженной огромными домами. Как поместилась в нем гигантская елка?..

Через много лет, уже взрослым, проходя мимо Дома Союзов, Никита нередко ловил себя на том же чувстве доброго, чуть снисходительного удивления: какой же ты маленький, Дом Союзов!

Иван Федотович рассказывал — и не раз — о том, сколь огромным казался этот дом, когда в Колонном зале лежал Ленин. Не было вокруг ни здания Совета Министров, ни гостиницы «Москва», казалось, навеки вросли в землю приземистые сооружения охотнорядцев.

Ваню Борко в нескончаемом людском потоке вели прощаться. Очередь им подошла ночью, было темно и очень холодно. Дом Союзов высился, как скала-усыпальница, и в черном небе над черными же очертаниями безысходно металось на морозном ветре горестное пламя Вечного Огня.

Ваня Борко никогда не видел такого огня и потом не забыл. И вспоминал, когда пожилым уже человеком глядел на немеркнущий костер в память Сталинградской битвы, на скорбное пламя Пискаревского кладбища и могилы Неизвестного солдата.

Несть пророка в своем отечестве. Что греха таить, иной раз, слушая на семейных праздниках все те же воспоминания Ивана Федотыча, Никита тихонько пощипывал гитарные струны да вкупе с Маринкой посмеивался — ох и любят же старики вспоминать!

Но однажды — было это не так давно и не случайно — Никита всерьез задумался над тем, какой неизмеримый путь одолела страна за жизнь только одного поколения.

Борко помнит, как по старому Арбату взад-вперед ходил трамвай, а пешеходам было просторно. Такси не было совсем. Цокот копыт звонко раздавался на Красной площади над шеренгами войск, когда молодой Ворошилов выезжал на коне принимать парад из ворот под Спасской башней. И Мавзолей тогда был не из красных гранитных плит, а просто деревянный.

Иван Никитич Лобачев работал с Дзержинским, лично знал Феликса Эдмундовича. Теперь Феликс Дзержинский — в истории, в книгах, в длинной шинели на пьедестале на своей площади. Для пионеров Герой Советского Союза Лобачев — тоже памятник, тоже история, а ведь он жил совсем недавно, он же отец Вадима и Никиты. Жизнь идет, идет, и каждый живущий несет в себе частицу прошлого...

Второй раз Никита попал в Колонный зал уже после армии, на концерт. Может быть, потому, что концерт был

какой-то случайный, не собранный, у Никиты осталось неприятное ощущение несовместимости посредственных песен и плясок с этими колоннами и стенами. Он любил эстрадную музыку, но не здесь хотел бы ее слушать.

А в третий раз, два года назад, он был послан на слет как лучший участковый инспектор. Они прошли тогда торжественным маршем по Красной площади мимо Мавзолея. Перед слетом Никиту наградили знаком отличника милиции. Знак был похож на орден, и удостоверение на него было как орденское, и красная коробочка.

После марша по Красной площади, войдя в Колонный зал не с покупным билетом, а с именным приглашением,— каллиграфическим почерком выведены были на глянцевом прямоугольнике его имя, отчество и фамилия, со штампом на обороте «партер»,— Никита волновался и потратил всю выдержку на то, чтоб это волнение скрыть. Так занят был собственной персоной, что немногое заметил и запомнил.

Теперь он стоял спокойно у подмостков сцены, ему хорошо был виден и президиум и зал. Оказывается, он очень красив, этот зал, когда смотришь в глаза ему. Голубовато-серые кителя, оттененные алым бархатом ковров и кресел, во множестве отсверкивали серебром, золотом и пурпуром орденов. Красные знамена проплыли величаво. Красные галстуки пионеров, пушистые гвоздики в цвет галстукам. Могучий красный цвет, цвет жизни, царил в зале, и на это весеннее цветение дышали прохладой мраморные белые колонны.

«Что же ты хотел от этого слета?» — спросил себя Никита. И ответил, не задумываясь: «Я хотел еще раз побыть в этом зале. Я хотел увидеть сразу и много лучших солдат армии, в которой я служу. Молодых и ветеранов, новичков и прославленных. Я хочу вместе со всеми услышать простые и высокие слова, подышать торжественным воздухом общего праздника, потому что скоро я окажусь в совсем другом мире, где будет душно, где говорят на другом языке. Перед тем как нырнуть, хочу надышаться».

С подмостков молодых приветствовали ветераны. Они стояли ровной шеренгой, уже пожилые люди, старшие офицеры, среди них две женщины, тоже свыше четверти века прослужившие в органах внутренних дел. С трибу-

ны их представлял Василий Игнатьевич Жучков, старший инспектор уголовного розыска.

Никита видел его сейчас совсем близко. Среднего роста, крепкий, сухой, Жучков сам был человеком из легенды. Девятнадцати лет добровольцем он ушел на фронт, служил сапером, ставил и обезвреживал мины. Он кавалер орденов Славы трех степеней. Кроме Славы, у него много других боевых орденов и медалей. Жители Дмитрова называют его героем Отечественной войны и милиции. За службу в милиции у него орден Ленина.

Михаил Корнеев обучался у Жучкова. У Корнеева заведена особая небольшая, но постоянно пополняющаяся картотека. Он хранит ее в палехской шкатулке, которую подарила ему Галя ко дню рождения. Галя предназначала шкатулку под сигареты, но Корнеев сказал, что много чести для табака.

В числе других в шкатулке есть карточка — личный счет, как говорит Корнеев,— майора Жучкова. На ней несколько цифр: «Предотвращено более 100 преступлений. Розыскано 198 опасных преступников. Найдено 60 без вести пропавших. Обучено более 30 человек».

— В том числе и я,— с гордостью сказал Корнеев, пряча карточку.

— А почему вы не заносите сюда награды? — спросил Никита. Сама идея картотеки ему понравилась. Она работала против идеи безвестных героев, которая всегда вызывала в Никите чувство протеста. Безвестность хорошего поступка исключает едва ли не все три основных слагаемых всяческого соревнования: гласность, сравнимость, эффект.

Никита изложил тогда свои соображения Корнееву.

— Я с тобой совершенно согласен,— сказал Михаил Сергеевич.— Но ордена все-таки производное, а потом, у таких, как Жучков, наград много, заполнят всю карточку.

Никита смотрел сейчас на ветеранов, о которых рассказывал Жучков. Да, знаки отличия долго считать. Многих из стоящих сейчас по стойке «смирно» Никита никогда не видел, но уже его малого личного опыта службы хватало, чтоб понять, сколько драматических историй, трагических судеб, сколько напряженной работы стояло за каждым таким знаком отличия.

О тяжести повседневного милицейского труда могли

бы рассказать те, кто незримо продолжает здесь строй ветеранов.

Николай Михеев, бывший следователь, потом начальник отделения службы Коломенского ОВД. Он возглавил оперативную группу, получив сообщение, что в окрестностях города скрывается опасный вооруженный преступник. Михеев обнаружил преступника, пошел с ним на сближение и был ранен смертельно...

Шариф Закиров, молодой, веселый парень, только начавший службу. Проходя по мосту, он увидел — в реке тонет ребенок. Закиров прыгнул с моста, а по реке шел лед и было трудно плыть. Было очень трудно плыть, но ребенка он спас. Из последних сил, последним усилием подтолкнул к берегу, где собрались люди.

А самого его накрыло большой льдиной. Первая и последняя награда Закирова — золотая строка на мраморной плите.

Стоит в шеренге ветеранов и Лобачев Иван Никитич, вернувшийся с войны Героем и тоже павший при сближении с преступником.

Что же поделаешь, искореняя преступность, иногда все-таки приходится сближаться с преступниками...

— А зачем вам эта картотека? — все-таки полюбопытствовал Никита у Корнеева, провожая взглядом лаковую шкатулочку. Он очень ценил в Корнееве способность уважительно относиться к любому вопросу собеседника. Не всякий проявляет это качество в разговорах с молодежью.

— Если мне что-нибудь не удается и настроение поганое, я смотрю на такую карточку и представляю себе, сколько раз не удавалось у такого Жучкова прежде, чем удалось. Думаю, как лепил он себя прежде, чем стал нынешним самим собой. В нашем деле воля и собранность неотъемлемы. А это враки, Никита, что они от рождения даются. Какие-нибудь задатки, предпосылки, может быть, и даются, а вообще-то надо воспитывать, тренировать. Ты видел когда-нибудь, как для карате крепость вот этого,— Корнеев потрогал свою большую, совершенно мягкую ладонь,— крепость ребра ладони вырабатывают?

— Видел. Страх смотреть! — Никита даже поежился.— Этим самым ребром да изо всей силы по березе. Упражняется у нас один тип.

— Не пробовал, но приятного, наверное, мало. Однако ж ладонь становится-таки стальной,— сказал Корнеев.— Я карате не занимаюсь, но метод верен.

Метод верен. Ребро ладони можно сделать разящим оружием. Выработанное спокойствие перевести в безусловный рефлекс. Они нигде письменно не застолблены, эти положения, но они претворены в жизнь лучшими опытными работниками, о которых говорит сейчас Василий Игнатьевич.

Никите подумалось, что справедливо находится он сам между залом и подмостками. До ветеранов ему далеко, но он уже и не новичок. На его кителе серебряно-лучистый знак отличника милиции, знак доверия, задаток, который нужно еще оплатить. Никак не воспринимал его Никита как награду за прошлое, потому что не было у него еще такого прошлого. Ему доверили задание — вот и все.

Стыдно будет не решить задачу на «отлично», за плечами Никиты армия, опыт работы на участке и специальная подготовка.

В президиуме сидит, стесняется паренек, чем-то похожий на того, которого подбодрял на отработке защиты Исаков. О пареньке только что говорил с трибуны секретарь обкома партии. Парень служит первый год, на его счету две благодарности и личное задержание преступника. В схватке он был тяжело ранен и все-таки задержал.

Секретарь обкома обернулся с трибуны к президиуму, когда говорил о пареньке, Аксаков его фамилия, попросил:

— Встаньте, пожалуйста!

Аксаков встал. Если б не форма, по виду он вполне сошел бы за шестнадцатилетнего. Он, наверное, знал, что выглядит моложе своих и без того невеликих лет, и от этого стеснялся ужасно.

— Как видите, не богатырь, однако ж...— сказал секретарь обкома, снова поворачиваясь к залу и продолжая свое выступление.

Аксаков сидел в каких-нибудь двух-трех метрах от Никиты. Каким-то странно ощупывающим движением он потрогал под кителем рубашку. Никита понял: повязку поправляет. Взгляды их встретились. Аксаков торопливо

отвел глаза. Все в этом зале казались ему важнее его самого. И это было понятно Никите.

Вот так. Кто знает, что суждено, что положено совершить этому молодому человеку...

Никита смотрел на поспешно отвернувшегося Аксакова с чувством доброго уважения и участием старшего, потому что по всем параметрам он был уже старше.

Это ощущение ответственности, старшинства завершило для Никиты день. На концерт он не остался, его еще ждал в фотолаборатории Юра, и с Михаилом Сергеевичем надо было повидаться, если он в городе. А вечер предполагалось провести с Вадимом. Если в Колосовске не произошло ничего непредвиденного, Вадим обязательно будет дома.

Пока Никита был в Колонном зале, Вадим с Корнеевым разбирались в материалах, полученных от Свиридова из Ленинграда.

Свиридовскому оперативнику удалось встретиться за одним столиком и толково провести время с оркестрантом из гостиницы, где проживала троица. Оркестрант Емельянов, уже немолодой, семейный, умеренно пьющий, производил приятное впечатление. К нему первому обратился Шитов, когда хотел спеть с эстрады. Шитов завязал знакомство с Емельяновым, от имени Громова говорил о возможности совместной поездки на юг.

В первый вечер Емельянов серьезно отнесся к разговору, так как был не против подработать во время отпуска. Шитов угощал его, с деньгами не считался, но поначалу это не задевало внимания Емельянова. Шитов сказал, что получил наследство после богатой бабушки.

Во вторую встречу Шитов крепко выпил и проговорился, что Громов ругает его, зачем он тратит много денег. Когда расплачивался, Емельянов увидел у него пачку десятирублевок в портмоне.

На третий вечер Шитов сказал, что хочет купить некоторые музыкальные инструменты, в том числе электроорган. Емельянов ответил, что орган такой как раз продается, предложил поехать посмотреть. Шитов сказал: «Это все неважно. Ты там проверь одним пальцем». И, можно сказать, не глядя купил орган.

— Ну уж после покупки этого органа мне не по себе

стало,— сказал Емельянов.— Я понял: хоть бабка, хоть дед, а деньги у него какие-то странные.

Емельянова Свиридов потом пригласил к себе, и тот подробно рассказал о своем знакомстве с Шитовым и о своих сомнениях. Громов с Емельяновым не встречался, хотя, как понял Емельянов, набирает группу именно он.

Из этого Емельянов делал вывод, что Шитов ссылается на Громова, говорил о поездке на юг только с целью завязать знакомства, попеть с эстрады — один раз Емельянов ему это устроил за двадцать рублей — и приобрести музыкальные инструменты.

— Деньги, видимо, получены немалые,— сказал Вадим после того, как они вдвоем прочли и перечитали ленинградские материалы.— Как ты считаешь, Михаил Сергеич, по-моему, они в Ленинграде не делали решительно ничего. Главарь почти наверняка Громов. Обрати внимание, он предупреждал Шитова о лишних тратах. Полагаю, не хотел, чтоб посторонние знали о больших деньгах.

— Значит, допускаем, что поездка в Ленинград — стравливание пара, чтоб котел не лопнул. А почему не сразу на юг? Обычно эта братия сразу на юг катит?

— Ну, у всякого свои заботы...

Только посмотрел Вадим на часы: «Уж пора бы Никите заканчивать духовную зарядку, Юрий ждет»,— как вошел Никита.

Вошел, как всегда, веселый, приветливый. Корнеев сидел, развалясь небрежно, и беззаботно покуривал, но втихомолку оценивающе оглядывал Никиту. Сейчас он Корнееву нравился. Ушла появившаяся в первые дни после получения задачи напряженность. В напряженном состоянии работать нельзя, ненадолго хватит. А если задача требует времени, надо, чтобы при малейшей возможности мускулы расслабились.

— Хорошая получилась традиция,— задумчиво проговорил Никита. Это была последняя его мысль в адрес слета и всего со слетом связанного.

— А плохие традиции бывают? — спросил Вадим.

— Бывают. Тогда их называют предрассудками,— подумав ответил Никита. Теперь уже он посмотрел на часы.— Если нет других указаний, отбываю в подвал к Юрию.

Других указаний не было. Подготовлено все. Еще раз звонил Чельцов, напомнил, чтобы не жали с ходу на Громова, создали бы ему видимость выбора: сводить или не сводить знакомство.

Никита должен был лететь одним рейсом с группой. Вадим и Корнеев вылетают через день-два. Они снимут койки в частном доме в городе, где обоснуется группа. Никита предположительно сделает то же самое, а впрочем, в зависимости от обстоятельств. Первая встреча его с Корнеевым — всего вероятнее, и последующие тоже — на базаре.

Как только группа вылетит, в московской квартире Громова будет сделан обыск. Прописан он точно там, где побывала Чернова. Санкция прокурора получена. Этот обыск и задерживал Вадима и Корнеева в Москве.

— Уверен, что дача мамаши ему не менее близка,— сказал Вадим, получив справку о прописке.

— Ох и мамаша! — Корнеев покачал головой. Он выбрал-таки время и прошелся мимо дачи актрисы, матери Громова.— Ты не видал, а я-то видал. По сведениям, артистка никакая, даже ни в каком театре, но баба...

— Да ведь ей лет?..

— Вот так. А мужу тридцать два. Помянешь мое слово, с этой бабой мы еще примем. Не плоше Сурикова. Громов там часто бывает, ночует, девок возит.

— Он пьет? — спросил Вадим. Очень ценил он в Корнееве уменье загодя, то есть вовремя, обрастать информацией, которая постороннему человеку могла показаться беспредметной сплетней, а для них оказывалась в нужную минуту ценным подспорьем.

— Пьет редко, умеренно. Пьяным никогда не бывает,— со значением проговорил Корнеев. В данном случае неплохо бы нащупать в противнике слабинку склонности к спиртному. Но не было этой слабинки.

Вадим с утра договорился с Никитой, что брат заночует у него. Давно, очень давно они не проводили вместе вечера. Галина сегодня дежурила в своей больнице, и Вадим впервые был доволен, что ее не будет дома. Ему хотелось побыть с Никитой вдвоем. Маринка не в счет, в это время будет спать, хоть форсаж включай над постелью.

С Ленинградом поговорили по телефону. Троица из

Ленинграда выехала поездом. Шитов, Волкова могли и в Колосовске сойти.

Корнеев собрался в Колосовск. Распростившись с Вадимом, он зашел к себе. Звонки услышал еще в коридоре. Вошел, взял трубку.

Звонила Галя Лобачева.

— Что случилось? — встревоженно спросил Корнеев. Подумалось, не с Маринкой ли что-нибудь, а Галя боится сказать Вадиму.

— Ничего, ничего, у нас все в порядке,— поторопилась успокоить его Галина.— Миша, голубчик, я чувствую, у вас там какие-то сборы. Я звонила Никите, бабка Катя подошла. Он ей велел филодендрон поливать. Я нарочно дежурство взяла, пусть они вдвоем. Миша, если что, вы уж там... Кит все-таки очень еще...

— Галя, о чем речь? — с полной беспечностью, слегка укорил Корнеев.— Вы меня даже огорчили. Боя не предвидится, а у вас артиллерийская подготовка на штурм Берлина. Вадим как раз хотел с вами побыть...

— Мишенька, голубчик, не морочьте мне голову, и вообще мы на дежурствах тоже работаем, языки чесать некогда, а потому — всех благ!

Корнеев медленно, нехотя опустил трубку, как будто она была живым звеном связи с хорошим человеком. Он думал сейчас о Надежде Свиридовой, которая ушла от мужа, потому что ей трудно его ждать. А вот Гале приходится ждать двоих — тогда как?

Поздним вечером Вадим с Никитой уселись наконец на кухне, в окружении сверкающих шкафчиков и полок польского гарнитура, который был куплен без помощи милицейской формы.

Маринка, конечно, спала. Вопреки запретам она, как и все грешные, читала в постели. Сон ее валил прежде, чем она спохватывалась погасить ночничок. Никита тихонько поднял с пола упавшую книгу, тыняновского «Пушкина».

— Ни себе чего! — сказал он, как всегда говаривал, когда внезапно удивлялся.— А не рано, Вадим?

Вадим беззвучно посмеялся и потянул брата от спящей Маринки. На кухне, закрыв дверь, они заговорили в полный голос.

— Можно подумать, братику, ты спрашивал, что тебе

читать? — сказал Вадим.— Себя-то я в этом аспекте не помню, да и не до моих книг было матери...

Окно на кухне открыто, смотрит в него просторное небо девятого этажа, здесь не чувствуется город, близки звезды и легкое перистое облачко, неторопливо проплывающее мимо луны...

Вадим доставал из холодильника нехитрую, общую для всех квартир снедь. Однако снедь оказалась разнообразней, нежели обычно, и уж совсем неожиданно из целлофанового пакета выплыла на тарелочке разделанная, разложенная, разукрашенная зеленым луком селедка.

— Ну, братику, повезло нам,— сказал Вадим.— Галя, наверное, гостей ждала.

— Все возможно, все возможно! — напевая некий игривый мотивчик, Никита прошелся по кухне. Но настроение у него было отнюдь не смешливое и не игривое. Хорошее, какое-то глубокое настроение.

Сначала Никиту несколько стесняла проникающая во все подробности задания забота о нем многих людей, от Корнеева (это не удивило) до Чельцова (этого он не ожидал).

Самолюбие Никиты ворохнулось: что же он, компьютер, что ли, своего рода Каисса, которая жива только чужими интеллектами?

Но в первый же день эта полудетская обиженность уступила место спокойствию сталевара, машиниста или летчика, на полет которого работают многие-многие люди. В специальности Никиты эта коллективная заинтересованность просто более наглядна. Она налагает на Никиту большую ответственность, и только.

Вадим включил маленький черный транзистор. Этим транзистором недавно премировали Галю, и, хотя в доме имелся важный многокнопочный приемник, маленький «Алмаз» стал для всех Лобачевых любимой игрушкой. Маринка заряжала его чуть не через день.

Вадим пил коньяк, Никита, как обычно, ничего не пил, но на еду приналегли оба, и некоторое время Эдита Пьеха пела в нерушимой тишине.

На стене низко над столом горела матовая раковина.

— А бабочки к вам не залетают,— заметил Никита, вспоминая армады мохнатых существ, атаковавших его в часы ночных занятий.

— Кит, а ты хоть эти шлягеры — песенки знаешь? — спросил Вадим.

— Знаю, знаю в избытке, не беспокойся.

— Успел, значит?

— Представь, успел...

Диктор повторил, что выступают ленинградские ансамбли, Вадим подумал о троице. Кто же все-таки у них четвертый? Появится ли он на юге? Если об этих троих Никита получил определенную информацию, то Сантехник до сих пор оставался в совершенной тени и сам тени не отбрасывал, о нем — глухо. Касательно Никиты как будто все предусмотрено...

Умолк Ленинград. Шла передача «Юности» для бойцов студенческих отрядов. Под гитарный щебет молодые голоса пели хорошую песню. Никита прислушался с удовольствием и жестом остановил Вадима, хотевшего порасспросить насчет шлягеров.

«...Уходит бригантина от причала, мои друзья пришли на торжество, и над водой как песня прозвучало: «Один за всех, и все за одного».

— Это я тоже знаю,— сказал Никита.

Такой он был сейчас довольный, спокойный, сытый. Он любил Галины салаты, и ему не часто доводилось их едать.

Вадим улыбнулся.

— Кит, но это же не для них песня.

Никита глянул на брата, покивал:

— Да, конечно. Понимаю и учту своевременно.

При мягком рассеянном свете, без кителей, оба в полурасстегнутых рубашках с отложными воротниками, братья были сейчас очень похожи. Даже седина Вадима не выглядела сединой, так — припорошило дорожной пылью волосы.

— Кит, а ты часто вспоминаешь маму? — вдруг спросил Вадим.

Вадим спросил только о матери. Отца Никита не мог помнить. Он родился уже после того, как отец был убит. Погиб при исполнении служебных обязанностей...

Растила их мать, одна мать. Когда стало известно, что отцу ставят памятник, в доме Лобачевых состоялось печальное торжество, пришли соседи, поминали добрыми словами Ивана Никитича.

Помимо службы, отец был отличным мастеровым, умельцем на все руки. После войны многие дома остались без хозяев, и многим осиротевшим семьям Иван Никитич в редкую свободную минуту помогал по хозяйству: где в калитке доску пришьет, где водосток подлатает. Работал он на совесть, поделки его держались долго.

На площади, пока говорили речи, мать стояла тихо, держа за руку маленького Никитку, который один был весел и доволен в этот день. Но когда с памятника упал холст, с матерью сделалась истерика. Ей показалось, что рот отца мучительно перекошен.

А Вадим как-то сразу принял в душу бронзового Лобачева, обрадовался встрече с ним. Он не часто ходил на отцовскую могилу, слишком разделяла их земля. Земли было много, Вадим запомнил это, когда она падала и падала на гроб и никогда, казалось, не заполнится эта ненасытная яма.

А сейчас пусть в бронзе, но Вадим увидел отца, его густой чуб, густые надломленные, как крылья у чайки, брови. Сам Вадим тогда так не сказал бы и не подумал. Это отец однажды показал ему чаичьи крылья, когда катал его на моторке по Московскому морю.

Отец сказал:

— Смотри на чайку, сынок. Наша мать на нее похожа. Мы с тобой мужики грубые, а мать у нас красавица.

Тогда Вадим не понимал, позднее понял, что мать у них и вправду красавица. В ней текла латышская кровь, у нее были золотые, в руку толщиной косы и небесной синевы глаза.

Вадим становился юношей, когда до него стали доходить добрые — от души! — разговоры соседей о том, что Алевтине Павловне, женщине молодой и самостоятельной, негоже одной век вековать, что за нее сватается хороший человек, хочет жениться, а два сына ее никому не помеха, у них пенсия, да старший уже кончает техникум, на заводе вот-вот получит разряд.

Вадим уже понимал: матери трудно и неправильно быть одной. Он радовался, вернее, принуждал себя радоваться, что мать не будет одинокой. Но именно в эти дни ему все думалось, что отец на площади один и мокрые снежные хлопья падают на его непокрытую голову.

А решалось дело весной. В одно из воскресений человек этот пришел к ним с большим букетом черемухи, Никите принес конфет. Никита охотно, как всегда, принял от него конфеты, потому что чувствовал искреннюю ласку и благорасположение.

Вадим знал, что дом их — гулкий, как барабан, из угла в угол каждое слово слышно. Он увел Никиту на курячий — тогда у них водились куры — двор, под навес, в бывшую отцовскую мастерскую, где еще стоял верстак, обильно изукрашенный птичьими вавилонами.

Вадим старался не показать братишке, что ему грустно, принялся что-то мастерить из первой попавшейся досочки. Весь столярный инструмент отца, как и при нем, хранился в самодельном деревянном шкафчике.

Недолго пришлось ему мастерить. Даже под навес донесся из дома крик:

— Но ведь он же умер! Умер!

Гость спустился с крыльца, уже без черемухи, убитый, раздавленный. Больше они его никогда не видали. Наверное, он сильно любил мать.

А вслед за ним на крыльце показалась и мать. Слезы текли по ее лицу, она их не утирала. Она плакала, но в глазах, во всем ее облике не было горя, наоборот, появилась просветленная успокоенность. Что-то, видно, свершилось в ней, кончились сомнения, началась другая жизнь.

— Где вы, дети мои? — позвала она с крыльца. Еще сияющие слезами глаза улыбались навстречу ее мальчикам, его сыновьям, которым она принадлежала отныне единственно и навечно.

Никитка, услышав крик еще под навесом, не понял и все допытывался у Вадима:

— А кто умер-то?

Вадим вывел его навстречу маме. Никитка собрался было и ей задать вполне приличествующий случаю вопрос, однако Вадим уследил и, сжав его ручонку, беззлобно, но грозно прошептал:

— Молчи, дурак!

Так и остались они жить. Не втроем. Вчетвером. Всепоглощающая верность матери помогала и сыну не отпускать живой образ отца в блеклую страну воспоминаний. Вадим добивался, чтоб и для младшего бронзовый памятник на площади не был чужим. Вадим любил

пройти мимо памятника поздно вечером — это редко удавалось, он занимался на вечернем,— когда площадь пуста и можно остановиться, даже немного поговорить.

В один из таких поздних вечеров-свиданий и произошел случай, который не забылся, никогда не был забыт, никогда забыт не будет.

Вадиму исполнилось восемнадцать лет, он уже работал на заводе, им лучше, вольготней жилось. Стояла дождливая осень, но площадь недавно заасфальтировали, ходить было чисто. Подходя, Вадим с удивлением увидел у памятника две мужских фигуры. Стояла осень, и маленький цветничок у постамента уже повял.

Двое молодых людей в хороших пальто, в ботинках на каучуке, оба старше Вадима, судя по голосам, не очень-то и выпивши, привалившись к постаменту, старались приклеить к бронзовым губам окурок.

Вадим бросился на них. Один легко отбросил его на асфальт сильным грамотным ударом в солнечное сплетение. Тогда Вадим не знал ни бокса, ни тем более самбо и даже в простых уличных драках не имел решительно никакого опыта.

Кое-как собрав силы, он поднялся и молча бросился опять.

Тогда его стали бить умело и безжалостно. Зубы ему оставили в целости, но, как впоследствии выяснилось, повредили шейные позвонки. И отец, закованный в бронзу, смотрел, как били его сына. И было пусто и тихо на площади. И не было свидетелей, кроме отца.

Потом послышались гулкие на мокром асфальте шаги, стали чаще, приближались. Кто-то бежал.

Неверно сказать, что Вадим обрадовался этим шагам. Боясь потерять сознание, он воспринял эти шаги как спасенье, как справедливость. В темноте он не разглядел ни тех, кто бил, ни того, кто подбежал. Он только понял по голосу, по дыханию, что подбежавший был много старше.

— Вы с ума сошли,— сказал этот третий, тяжело переводя дух и оглядываясь.— Вы просто идиоты, вас нельзя на минуту оставить. Перестаньте сейчас же! Вы с ума сошли! Кто это?

Они перестали бить. Вадим кое-как поднялся на ноги.

— Какой-то местный жлоб,— ответил один из бивших.— Мы не виноваты, он сам на нас бросился.

Вадим мог бы уйти, но ему и в голову не пришло это сделать. Теперь кто-то мог подтвердить...

— Пройдемте в отделение,— с трудом проговорил он.

— Ах, вот как? — удивился третий. Площадь плохо освещалась, и резкий, как еще один удар, луч электрического фонарика в лицо заставил Вадима зажмуриться. Его не спеша рассмотрели.

— Хорошо, что физиономия у него относительно цела,— по-деловому, как об отсутствующем, сказал третий.— Если он хочет в милицию, тогда вот что.— Несколько фраз он проговорил быстро и тихо. Голова у Вадима кружилась, слов он не расслышал. Понял только короткое: — Ведите!

В результате не он привел оскорбителей в отделение, а его привели.

После темной площади свет в комнате дежурного показался ослепительно ярким. Нестерпимо болело под ложечкой, и вывернутая рука болела, и главное — затылок. Молодые люди стояли смирно, как культурные потерпевшие, говорил только пожилой:

— В моем присутствии этот хулиган затеял драку. Более того, он допустил выражения, за которые его следовало бы привлечь как антисемита. Я юрист и обращаю ваше внимание на то, что антисемитизм в Советском Союзе карается по закону. Есть статья УК РСФСР.

...Да. Вадим не отрицал, что он ударил первым, но оскорблений он не произносил.

Так и вышло: шишка под глазом, которую удалось поставить одному из парней, перевесила все. Мужчина пообещал Вадиму, что сообщит о его поведении на работу, антисемитам в нашем обществе не должно быть места.

Их было трое, а Вадим один. Они не состояли между собой в родственных отношениях и могли свидетельствовать.

Вот когда испытал Вадим всю тяжесть понятия «бесправие». А что он мог сделать? И он остался еще благодарен дежурному, который просто выгнал его, пригрозив и отругав. А те трое сидели и слушали.

В ту темную осеннюю ночь, с трудом добираясь домой, избитый и униженный, Вадим поклялся себе, что он будет владеть Законом и Закон в его руках никогда не послужит во зло.

Кажется, на следующий же день... Или нет, через день, когда он работал в ночь, Вадим поехал в Москву узнавать насчет подготовительных курсов и вступительных экзаменов на юридический. Математики там, по счастью, не было.

— ...Кит, а ты часто вспоминаешь маму? — спросил Вадим.

Он спросил, а Кит задумался, немножко вбок склонив голову. Он был очень похож на мать.

— Знаешь, Вадька, я не вспоминаю ее,— неторопливо, выбирая слова, заговорил Никита.— Это неправильно было бы сказать, — вспоминаю. Вспоминать можно то, что для тебя перестало существовать, что ты только иногда вызываешь из небытия. А маму я постоянно чувствую. Я как-то все к ней примеряю. Наверное, это потому, что я живу в нашем доме?

— А может быть, и потому, что ты отца не знал. Вся душа у тебя пала на мать. Да, впрочем, мать того и стоила. Какая это была женщина!

Оба они подумали сейчас не об ее красоте, которой, это свойственно детям, не замечали, а о безмерной любви и верности, пример которой оставила в их памяти всегда приветливая, немногословная, работящая мать. Как удивительно умела она всегда оставаться в тени, не обращать на себя внимания, вовремя не обидно пожалеть... Ей повезло. Она даже умереть сумела тихо, не причинив остающимся долгих напрасных страданий.

— Такую бы тебе девушку найти,— мечтательно сказал Вадим.— Хоть отдаленно такую.

— Таких теперь не бывает,— вполне категорично ответил Никита.— А из отдаленных ты последнюю взял.

Никита улегся на диване. Уснул он на диво быстро и легко. Как провалился. А Вадиму и с коньяком никак не спалось. Он походил, посмотрел на своих спящих ребят, младшую — Маринку, старшего — Кита. Ох, и спали же они оба!

Вадим вышел на кухню, покурил в открытое окно. Он как-то не обращал внимания, а Кит вот заметил — действительно, воздух пуст, никакая крылатая живность сюда не поднимается.

В эфире шла передача «Музыкальная программа после полуночи». Неизвестные Вадиму прекрасные голоса, и прекрасная тихая музыка, и стихи Пушкина... Вадим

подумал, как жаль, что никогда прежде не слушал эту передачу. Она и называется хорошо — в эфире после полуночи... Посмотрел на часы. Небо в окне было огромным и темным. Сильно вызвездило, воздух похолодал, внизу на землю ложилась роса.

Вадим улегся, погасил свет, небо безмолвно вошло в комнату.

На рассвете — еще солнце не поднялось — его разбудил телефонный звонок. Аппарат, по привычке, с вечера, вернее, с ночи поставил на полу рядом с кроватью и, еще не проснувшись толком, так же привычно ощупью поднял трубку.

Говорил Корнеев. Голос свежий, звонкий, отчетливый:

— Летят сегодня все трое из Внукова на Адлер, рейсом сто пятнадцатым. Шитов только что получил от Громова телеграмму. Билеты заказал по блату мамашин муж. Судя по всему, он. Никита у тебя?

— У меня. И барахлишко, и гитара — все у меня. Галина вчера, наверно, гостей ждала, нам с Китом селедка досталась с ума сойти!

— Ждала, ждала...— как-то неопределенно поддакнул Корнеев.— Ты за свою Галину бога моли. Ну ладно, я выезжаю.

За полчаса до отправки самолета Корнеев и Вадим были во Внукове, но в ожидающей публике не толкались, сидели в диспетчерской будке. Сквозь стекла большого фонаря просматривалось все летное поле. С чемоданчиками прошли к самолету летчики экипажа, заканчивалась погрузка почты. В будке-фонаре диспетчер ровным голосом отдавал в микрофон свои команды-распоряжения, приземлялись и взлетали машины.

— Большое у вас хозяйство,— уважительно заметил Корнеев диспетчеру.

Тот улыбнулся, кивнул и опять наклонился к микрофону. Хозяйство действительно было большое и сложное, требовало неусыпного внимания.

Объявили посадку на рейс сто пятнадцатый. Подвезли пассажиров, подан трап.

Корнеев поднес к глазам принесенный в портфеле бинокль.

— Вот Никита! Лезет довольно-таки нахально, как в субботнюю электричку. Кому-то... Да. Кому-то гита-

рой своей заехал. Стой, это он Громову заехал! Тот, кажется, недоволен.

— Ну что ж, может быть, в этом есть сермяжная правда,— сказал, поднимаясь со стула, Вадим. Во всяком случае, Громов гитару должен был заметить, а там что бог даст. Поехали, Корнеич. Спасибо, шеф!

Диспетчер покивал, поморгал приветственно и продолжал изрекать свои невозмутимые команды.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

— Дитятко, вы задели меня по лицу вашей гитарой,— вполголоса, но внятно проговорил Громов, когда вслед за опередившим его Никитой шагнул с площадки трапа в самолет.

— Извините.— Никита отозвался с готовностью, однако без излишней любезности, озабоченно ощупывая свою гитару, как будто соприкосновение с громовской физиономией могло повредить именно ей.

В том, что обладателем физиономии был Громов, Никита не сомневался. В зале ожидания корнеевские мальчики показали ему Громова, Шитова и Волкову.

Громов был в светло-сером костюме, в голубоватой рубашке. Почти пурпурный галстук на ней пламенел. Громов высок, элегантен, очень хорош собой. «Девки должны падать,— уверился Никита, невольно позавидовав небрежной сдержанности манер и неброскому шику эпикировки.— Ничего не скажешь, породист, гад».

Волкова и Шитов шли сзади. Никита ими пока не интересовался, до них еще достанет время. Зато Громов его, во всяком случае, заметил. И его, и гитару.

Место Никиты оказалось непосредственно у борта, у окна, чему он был безотносительно дела рад. Он же не соврал Пашке Щипакову. Он сроду не был на юге, и ему не хотелось упустить ничего из двухчасового перелета.

Гитара была в чехле, да еще в целлофан укутана. Никита удачно пристроил ее у стенки. В багажном отделении не оставил. Для него гитара не игрушка, он на этой гитаре еще и поработает, а в багажном долбанут чемоданом, и спрашивать не с кого. Он так и стюардессе громко объявил, когда она предложила гитару оставить. Хорошо, что не взял динамика. Возись тут.

«Неужели там не куплю? Не может того быть. Куплю! — успокоил он сам себя. Что бы он, ушлый парень, да не купил?.. Мандельштам, как надежное прикрытие, ждал своего часа в чемодане. Неужто восемьдесят ре дадут? Вопреки совету Новинского, Никита полистал книжку, пока сидел в зале ожидания. «Нипочем бы не дал шестидесяти».

Громов сидел по другую сторону прохода несколько впереди. Рядом с ним Волкова. Теперь Никита видел ее. Видел и затылок Шитова, тот сидел один, так же как и Никита, у борта. Уселся, положил голову на мягкий подголовник кресла и, судя по неподвижной позе, задремал. Надо думать, после Ленинграда не очухался. А может, и полета боялся. Некоторых, говорят, укачивает на взлете и при посадке.

Волкова вела себя неспокойно. Часто заговаривала с Громовым. Тот отвечал ей, не поворачивая головы. Она обернулась назад, бросила взгляд вдоль прохода. Никита подумал, уж не подобрали ли они четвертого.

Когда Волкова обернулась, Никита разглядел на ее лице темные пятна, которые она тщетно попыталась скрыть румянами и пудрой.

«Беременна. В каком направлении и в какой степени это будет иметь значение?»

Волкова с подчеркнутой любезностью поблагодарила стюардессу за леденцы. Была в ее движениях какая-то нервозная суетливость.

На полпути сделали посадку. Пассажиры вышли размяться, покурить. Никита тоже вышел. День был солнечный, здесь было много жарче, чем в Москве. Из степи волнами наплывал на аэродром горячий сухой воздух.

Громов и его спутники держались вместе, все трое курили. Волкова не просто дымила сигаретой, как делают многие девушки, затягивалась по-мужски, без дураков. Она была бы недурна, даже несмотря на пятна, если б не выражение искательного подобострастия, появлявшееся в лице ее всякий раз, как только она взглядывала на Громова.

Шитов был одет, может быть, и не дешевле Громова, но вещи к нему не льнули. Дорогой костюм был отдельно, а обладатель его, несколько худосочный, весь какой-то не расправленный, невидный колосовский женишок,— сам по себе. Никите очень хотелось проверить сходство

его со сделанным по фотороботу портретом, но от этого пришлось пока отказаться, лицо отечное, неподвижное. Как видно, ресторанные кутежи и те требуют тренировки.

Особо разглядывать не следовало даже издалека. Никита отвернулся и прогулочным шагом медленно побрел по короткой и жесткой, как стерня, выгоревшей траве. Самолет сел на самом краю летного поля, близка была степь, поражавшая бескрайней, казалось, ровностью. Деревья недалекой лесополосы, щедро припорошенные белесой пылью, мало рознились цветом от окружавшей их степи. Земля, тусклая зелень, блеклое небо — все излучало сухой, устоявшийся жар.

Никита прохаживался, чувствуя себя без формы непривычно легко. Мурлыкал невнятное себе под нос и вспоминал последний корнеевский совет, «решающий, завершающий, определяющий», как окрестил его сам Михаил Сергеевич.

«Работать все время в полном напряжении, в чужом облике — немыслимо. Обнаруживай островки совпадений, минуты искренности, где можно быть самим собой, и на них отдыхай. Без уменья хотя бы на миг расслабить мускулы ни один боксер и раунда не выдержит».

Сейчас — островок совпадения. Реально не существующий обладатель паспорта, который греется в нагрудном кармане спортивной куртки с эмблемой студенческого стройотряда на рукаве, Никита Сорокин мог бы ощущать лично то же, что Никита Лобачев: радость от полета, от южного ветра, от предвкушения первого свидания с морем; легкое беспокойство по поводу грядущего приобретения динамика, юношеское презрение к отсутствию жилья,— говорят, можно исхитриться заночевать и на лежаке на пляже.

«Коли лежаки такие, как на клязьминской водной станции, то вполне можно»,— и эта мысль равно могла осенить и Сорокина, и Лобачева.

Когда Никита повернулся, Громов с его подопечными явно глядели в его сторону и говорили о чем-то, его касающемся, может быть, и о нем самом. Никита двигался назад таким же беспечно-прогулочным шагом. Да, Громов, очевидно, говорил о нем, потому что не отводил от Никиты глаз и, похоже, ждал его приближения.

Никита не торопился. Он не замечал этого ожидающего взгляда. Он задумался и заметил Громова, только

подойдя близко. Когда заметил, то чуть смутился. Все-таки при посадке он действительно с непривычки спешил и толкнул этого человека. Извинился, конечно, но все-таки получилось по-глупому...

Улыбаться наперед не хотелось, а то еще подумает, пижон, что перед ним заискивают, но и самому хвост подымать вроде не с чего.

Все эти сложные переживания явственно отразились на лице Никиты, когда под громовским взглядом он невольно замедлил шаг.

А в светлых на загорелом — когда он только успел? — лице, в глазах Громова читалась откровенная усмешка. К нему нерешительно приближался парень, бесспорно красивый, из небогатеньких и напыщенный. По первому взгляду — не умен. Глупость и в походке видна. Все по моде, а шика нет, куда руки девать — не знает...

— Где же, дитятко, ваша гитара? — осведомился Громов, неторопливо и четко выговаривая слова. Дикция у него отличная, голос приятный. Из всей троицы он один решительно импонировал Никите Лобачеву. Никита-то Сорокин не больно разбирался во всех этих тонкостях, ему просто не хотелось ссориться с таким шикарным парнем.

От неожиданного вопроса он несколько растерялся, даже встрепенулся настороженно, как будто уже похитили его заветную. Потом сказал успокоенно:

— В салоне. Где ж ей быть? Из салона-то не сопрут, надеюсь?

Он честно старался быть поразвязнее и улыбнулся Громову, благодарный, что за неловкость, совершенную при посадке, на него не сердятся.

В ответ слегка усмехнулся и Громов. Он мог позволить себе роскошь не завидовать ничьей красоте.

— Остограммиться бы хорошо,— с подлинной тоской в голосе, но и не без желания тоже показать свободность в обращении сказал Шитов. Голос у него был хрипловат, он откашлялся.

— Хватит пока, — не глядя бросил ему Громов. — Дай связкам передышку, а то будешь хрипеть, следующий раз с тебя за «Спасибо, сердце» тридцатку слупят.

Все трое засмеялись. Никита не мог знать, о чем речь, и не смеялся, стоял смирно, думая, не пристойней ли вообще отойти.

Может, Громов и сказал бы ему еще что-нибудь, но радио объявило посадку, пассажиры двинулись к самолету. Теперь уж Никита у трапа вежливо посторонился и пропустил Громова вперед, но не его пару гнедых! Шитова он легко и не обидно оттеснил плечом, а Волкову просто не заметил. В общем, Громов на него впечатление произвел, а эти невзрачные — нет. Все по принципу: разделяй и властвуй.

А потом Никита позволил себе роскошь до конца рейса забыть о всех троих; сидят по своим креслам и — ладно.

Еще раз он порадовался, что место его у окна. Под крылом вдруг показались горы. Горы были так близко, что Никита удивился, не пошли ли уже на посадку, но стрелка прибора на стене салона показывала все те же шесть тысяч метров. Самолет шел высоко, а горы медленно-медленно проползали под его крылом.

Впрочем, не под крылом. Они почти равнялись с ним. В половине салона, где сидел Никита, стало сумрачней, как будто даже холоднее, потому что горы заслонили собою слепящее синее небо. И вот — Никита вздрогнул, увидев то, о чем только слышал и знал,— появился Казбек. Двуглавый, он был неподвижен, не уступал пути, и долго-долго летел самолет мимо его угрожающе близкой раздвоенной белой вершины.

Казалось, так будет всегда — застывшая в воздухе машина, маленькие люди, молчаливо приникшие к стеклам, и Казбек, неподвижный и величественный, как вечность, как спящий сфинкс.

А потом под крылом снова возникло небо, и в тумане, легком и прозрачном, стремительное, как ветряная рябь на нем, встало море. Легко, воздушной стеной поднялось до половины иллюминаторов, и только бледная, но точная линия горизонта отделяла его от неба.

Заныло от неудобной позы плечо, но Никита все не мог оторваться от окон, от моря — а вдруг оно исчезнет? Но оно все было... И когда самолет пошел на посадку в аэропорту Южном, и Никита вышел на землю, такую красивую, такую нарядную, что в нее не верилось, в нем уже жило прекрасное чувство близости моря, для которого только и существовала эта земля со всею ее красотой.

Воздух не был ни сухим, ни жарким, потому что им дышало море.

Оно должно было быть где-то очень близко, Никита даже огляделся в надежде увидеть непомерную голубизну.

Его настиг врасплох уже знакомый голос:

— Что ищешь, дитятко?

Никита обернулся на голос и ответил без секунды промедления:

— Базар.

Это даже Громова удивило.

— Для начала неплохо,— сказал он.— Базар я тебе покажу, но зачем тебе базар? И вообще, что ты тут собираешься делать со своей дурацкой гитарой?

— Гитара, между прочим, вполне приличная, играю я будь спок. А на базар надо податься кое-что спустить и пошуровать насчет динамика.

— Рассчитываешь, значит, деньгу подшибить?

— Рассчитывать Советская Конституция никому не запрещает.

— Меткое наблюдение,— сказал Громов без тени шутки. Разговаривал он вполне серьезно и столь же серьезно рассматривал Никиту. Он был один, спутники его, видно, пошли получать багаж, в самолете все трое были налегке.— Договорился уже с кем-нибудь?

— Нет,— сказал Никита.— Врать не буду, ни с кем не договорился. Я тут в первый раз. Думаю в филармонию податься.

— Пьешь?

— Умеренно и не часто.

— Если не врешь, то ты почти уникум. Ну вот что, завтра часикам к одиннадцати утра можешь зайти ко мне в гостиницу «Артек», спросишь там Евгения Громова. Зайдешь с гитарой. Послушаю. Если понравится, считай, что выиграл по трамвайному билету.

Никита так и посчитал, когда они расстались, и он пошел в указанном Громовым направлении искать базар. Базар нашел быстро, но решил Мандельштама сегодня не спускать. Он еще пригодится потолкаться на городском рынке. Именно там было намечено у Никиты первое свидание с Корнеевым.

Как и следовало из болтовни Шитова с Емельяновым в Ленинграде, группа, по-видимому, собиралась устраи-

вать свои концертные дела в городе на море. Громов уже обосновался, надо думать, свою гвардию он на улице не оставит. Словом, выходило и Никите немедля ехать в город искать себе пристанище. Искать по-честному. Если Громов им действительно заинтересовался, не исключено, что он захочет за Никитой хотя бы поверхностно проследить. Он должен быть очень осторожным, этот Громов.

То и дело, расспрашивая прохожих, как пройти, как скорее доехать, автобусом или электричкой, за сколько можно снять койку (о комнате студентику, ясно дело, не мечтать), Никита со своей гитарой и модным потертым, с заплатой рюкзаком — теперь только провинциалы ходят со свежими рюкзаками — отправился автобусом в город.

Автобус, стеклянный и просторный, шел по сказочной дороге. Слева — чаща неведомых деревьев, внезапно возникающее голубое море, справа — горными уступами белоснежные дворцы. Вот пальмы. Они здесь запросто, на свободе, их листья не колышутся, а трепещут, дрожат на ветру, как струны.

За поворотом показались кипарисы, похожие на гигантские темно-зеленые кусты можжевельника. Они стоят гордым строем, подставив ветру тугую грудь. Ветер колышет лишь далекие острые вершины кипарисов, они колеблются медленно, упруго, как бы в раздумье, и на ярко освещенном солнцем шоссе лежат неподвижные, плотные тени.

На одной из остановок Никита увидел и, как земляку на чужбине, обрадовался фикусу. Конечно же фикус! Его толстые гладкие листья. Но здесь и деревенский простачок фикус обернулся мощным многолистным деревом, увенчанным белыми коронами огромных цветов. Здесь фикус — магнолия...

Как и следовало ожидать, в этот день Никита ничего не нашел. То есть он нашел на окраине в маленьком домике у деда с бабулей, но койка освобождалась только с завтрашнего дня. Договорились, что Никита переночует где бог пошлет, а завтра после пяти может занимать. Хозяева предложили оставить вещи у них. То ли по-честному хотели помочь, то ли Никита не произвел на них впечатления особо кредитоспособного. Но Никита предпочел вещи взять. Он должен до смерти бояться по-

терять гитару, и он действительно боится потерять Мандельштама, будет очень с руки побегать с ним по рынку. Да и некстати, если кто-нибудь любопытный обнаружит в его рюкзаке фотоколлекцию.

Дед дал совет переночевать под лодочным навесом на пляже, указал, на каком. Там складывают лежаки, пляж бедненький, на отлете, милиция туда заходит редко. Городской милиции дед посоветовал остерегаться, город у них важный, курортный, иностранцев до черта. Если вид не серьезный, не внушающий, могут для ознакомления огрести, а это никому не на пользу.

Говоря такие слова, дед участливо оглядел Никиту и его багаж. Видно, парень, гитара и рюкзак «внушающими» ему не показались.

Кроме койки, предназначавшейся Никите (он отдал за нее вперед трешницу, чем весьма расположил к себе деда), в комнате стояло еще две. И в маленьком дворике под какой-то невесомой крышей обитали люди. Измазанная девочка, держа в руке объеденную красную косточку, кричала в удивлении:

— Ой, мама, я укусила персик до крови!

«С севера откуда-нибудь, сроду персика не едала, не видала кровоточащей его косточки»,— подумал Никита и сразу почувствовал себя старожилом если не города на море, то, во всяком случае, широт, где свободно продаются свежие персики, и пошел искать рекомендованный пляж и навес.

Он был даже рад, что пришлось идти со двора. Нисколько он не устал, хотелось ходить и ходить по этому необыкновенному дворцу-городу. Он шел, обо всем не стеснялся спрашивать, и ему охотно отвечали. Так он познакомился с эвкалиптом, пятнистая кора которого была бархатная даже на вид. Увидел гладкокожие молодые чинары. Восхитился большим белым цветком — целый букет на одном стебле! — но ему объяснили, что ничего особенного, это юкка, можно сказать, плебей субтропиков...

Он нашел пляж, нашел и навес. Тут действительно пустынно, можно надеяться скоротать ночь. Никита облюбовал лежак, уселся, освободившись от рюкзака и гитары, почувствовал, что все-таки устал.

Под шиферной крышей, в легкой тени, надежно отделенные от моря металлической решеткой, отдыхали

прогулочные лодки. Особняком от них с комфортом устроился катер. Он не чета лодкам, заслужившим только номера. У него, кроме четырех цифр, было еще имя — «Марс». Сейчас «Марс» обсох — наверно, у него сегодня выходной,— и видно, какая у него широкая, крепкая грудь. «Марсу» для удобства подложены старые автомобильные камеры.

Никита пододвинул свой лежачок с вещами почти под «Марс» и пошел к самому-самому морю. Никита никогда раньше не видел моря, он зачерпнул ладонью, попробовал воду. Что горько-солоно — к этому он был готов, но морская вода оказалась еще и странно маслянистa на губах.

Удивительно разнились камни — те, что прямо из воды и уже отъединенные от моря. Обсохшие, они теряют краски, они все безлики, одинаковы, по таким не жалко ходить.

Положи на него влажную руку — камешек очнулся, избавился от серой робы. Вот бок его уже и не серый, уже проглянула трепетная белая жилка. Наверное, камешек подумал, что наконец пришло за ним море.

Но солнце, хоть и заходящее, мгновенно с тупым старанием сушит его. Снова исчезли жилка и серебристый отлив, заволокло тусклой пленкой неровные грани, камешек погас, как гаснет глаз убитой птицы.

«И лежать тебе, лежать,— пожалел его Никита.— Лежать безликому, бездыханному. Наверно, до шторма лежать, пока наконец море возьмет тебя к себе. А может, и не возьмет. Вас, камешков, много, а море одно».

А с моря пошла волна. Она шла косо, зло и шумно вскипая белым гребнем, вдоль берега. Бурун бежал быстро, шипел галькой, словно пытался найти в береге слабину и прорваться на город.

Никита слушал, слушал и различал у моря два голоса: первый — сочный, густой шум самой волны, когда она разбивалась в пену; второй — шорох гальки, уносимой водой. Он напоминал постук очень крупного дождя по железной крыше дома.

Было видно, как мелкие камешки скачут вприпрыжку вслед уходящей волне. Да, никак не хотели они расставаться с морем.

А закат был малиновый. Собирались тучи, к ночи они казались низкими и тяжелыми, их темные хлопья навис-

ли над морем. Между морем и тучами пролегли малиновые полосы...

Море стало цвета потемневшего серебра, оно трепетало, и по нему шли розовые волны.

Всплыл тонкий бледный силуэт месяца. Кончики его рожек терялись в зеленоватом небе под яркой первой звездой. Он держался в стороне от заката. Он был даже брезглив немного. Он просто ждал, когда кончится это буйство красок. Он рано вышел, он еще слабенький. Вот море и небо затихнут, он останется в небе один, осветит сам себя — и ладно!

Всё бы смотрел и смотрел Никита. Но надо было оторваться и сколько-нибудь поспать. Завтра денек дай бог! Хорошо, как трамвайный билет окажется выигрышным и Громов им заинтересуется, а если нет?

Но сейчас не думать об этом. Генерал, который уж слишком заботится о резервах, непременно будет разбит. Не чьи-нибудь слова — Наполеона.

Поеживаясь от наплывшей с гор прохлады, Никита вытащил из рюкзака свитер, надел его вместо модерновой студенческой куртки. Куртку приспособил в изголовье. Вынул благоприобретенные бутылку кефира и булочку, поужинал и улегся под боком у «Марса», совершенно проникшись чувством предприимчивого бродяжки студента. Последней смешной мыслишкой было: «Посмотрел бы сейчас Пашка Щипаков на своего уважаемого участкового инспектора, вот бы удивился!»

Милиция, слава богу, не забрала, и рано утром Никита явился к деду, чтоб пристроиться к штепселю и побриться. Выспался он преотлично, хотя не сказать, чтобы лежак был очень мягок. Едва взошедшее солнце светило, море сверкало, Никита шагал, стараясь уже не отвлекаться от деловых размышлений, откладывая на будущее дальнейшее знакомство с этим баснословным городом. Как живут здесь люди? Как можно просто, обычно жить в этой слепящей роскоши?

Дед-хозяин в утреннем нежном свете выглядел еще более понурым и потертым.

Обут он был в чувяки и толстые овечьи носки с заправленными в них хлопчатобумажными брючишками типа «в полосочку недорогие», на голове шляпочка без полей, вроде тюбетейки. Плешь, наверное, мерзнет у деда. Лицо загорелое до черноты, в глубоких, как бороз-

ды, морщинах. Шея длинная, жилистая, до кадыка темная, ниже — белая; на пляжах дед не бывает.

Дом, с многими позднейшего происхождения разнокалиберными пристроечками, террасочками, навесиками, лепился у подножия поросшей кустарником горы, как бесформенно разросшееся осиное гнездо. Наверно, он был бы безобразен, если б не роскошные цветы, кусты и деревья, заполнившие собою всю глубокую долину, где в тропической зелени лепилось еще множество владений, подобных дедову, и в каждом из них в великой тесноте обитало великое множество приезжих.

Пройдя утром по этой долине-ущелью, Никита оценил услышанную в самолете хохму. Учительница грозит мальчику-первоклашке, что мать поставит его в угол за баловство, а мальчик отвечает: «Не поставит. Во всех углах дикари».

«А как здесь зимой? Наверное, и зимой прекрасно, ведь добрая половина этих зарослей вечно зелена...»

Дед провел Никиту на одну из террасочек, где, очевидно, обитал сам. Пока Никита брился, дед сидел на щелястой старой табуретке, выкрашенной в небесно-голубой цвет, и, как видно привычно, честил свою старуху, сообщив предварительно, что она уехала к источникам со сливами. Деду торговать старуха не доверяет.

Восхищенный тропическим буйством зелени, Никита поделился своими восторгами с дедом.

— А вот задует с юга ветер,— сказал дед,— и над морем нависнет серая туча. И висит, и висит. А дождик идет и идет...

Но на природе дед не хотел задерживаться. Снова занялся старухой, которая не доверяет ему торговать.

— Небось и пенсию отбирает? — посочувствовал Никита.

— Что — пенсию! Она челюсть отбирает и — под замок. Чтоб никуда и ни шагу.

Дед неожиданно сунул пальцы в рот, ловким движением выхватил эту самую вставленную челюсть и возмущенно потряс ею перед Никитой. Никите никогда не приходилось видеть отдельно такую розовую, полную зубов челюсть, на его глазах извлеченную из человека. Непритворное удивление выразилось на его свежевыбритой физиономии.

Дед остался доволен произведенным эффектом. Он так же ловко заправил челюсть обратно и, вновь обретя дар речи, поспешно попросил:

— Пока без старухи, дай вперед еще трешку, сынок. Мы с тобой при расчете смухлюем. А я тебе за то коечку, которая со шкафчиком, определю.

Никита дал трешку. Шкафик оказался прикроватной тумбочкой опять же небесного цвета.

— Мал твой шкафик, для рубашек основания нет,— сказал Никита, но тумбочку занял, положил свитерок, бритву и прочее имущество, включая фотоаппарат. Посмотрел на часы — к Громову рано. Дед тоже посмотрел на ходики с зеленой металлической грушей на длинной цепочке, но, наверное, и ему еще не подошло время реализовать трояк. Беседовал он обо всем ровно, невозмутимо и оживляясь только, если удавалось свернуть разговор на старуху и отлучение от торговли. Никита же уводил его от этой темы, боясь дублирования просьбы о трояке. Он спросил деда, бывает ли тот на пляже. Дед ответил:

— Не бываю. Они там все голые на песке в разврате.

— Молодец, дед, нравственный,— одобрил Никита, облачился в свежую модерновую рубаху, взял гитару, Мандельштама и фотоколлекцию и отправился на свидание с Громовым.

Громова искать не пришлось: он ждал Никиту у подъезда гостиницы, выходившей к морю фасадом, в белом кружеве бесчисленных балконов. В этом городе не было темных зданий — голубое небо, голубое море, а между ними белый город. Темные дома дребезжали бы здесь словно фальшивые струны.

Как выяснил вчера Никита, это была самая дорогая гостиница белого города, и пестрая толпа у ее белоколонного подъезда была дорогая, и несколько машин, с достоинством стоявших у лестницы, частично зарубежных, стоили дай бог. И швейцар с великолепной бородой был несомненно сыскан не за один день и не на один день поставлен.

— Ну как, устроился? — спросил Громов Никиту, пожимая ему руку и обойдясь на этот раз без «дитятки». Пожатие у него было крепкое, без истерики, надежное. Именно эта рука била рукояткой пистолета по голове старую женщину.

— Устроился в Ущелье, у деда,— с видом завзятого курортника ответил Никита.— Дом дерьмо, отдал два трояка авансу.

— Под лодками как спалось?

— Ничего и под лодками. Койка только с сегодняшних пяти часов.

— Знаю, Ник, знаю,— Громов, смеясь, похлопал Никиту по плечу.— Ты не удивляйся, у меня здесь знакомых полгорода, видели. Тут ведь как на пятачке в Кисловодске — все на виду. Ну, пойдем, пощипли проклятые струны.

«Полгорода — гипербола, а наблюдение, так сказать, за мной поставил, это симптом. Значит, опасается все-таки. Даже за таким бородатым швейцаром, в таком защитном окружении, опасается. Но коли намекнул, что следил, значит, меня опасаться перестал. Михаил Сергеич будет доволен».

Они поднялись в отдельный, тоже дорогой, номер на втором этаже.

— Заходи,— запросто, по-свойски пригласил Громов, распахивая незапертую дверь. Жест был широкий, подчеркивающий, что ничего скрытого в его жилье нет, любой из многих проходящих по коридору может заглянуть в комнату. Что до Никиты, то, видимо, самый первый этап знакомства закончился. Громов больше не ухмылялся, не подшучивал.

Так же неторопливо Громов закрыл за ним дверь. Закрыл, не запер.

Никита остановился, в одной руке гитара, в другой тощий рюкзак с ценным содержимым. Огляделся, сказал:

— Потрясно живешь, шеф. Обалденно потрясно.

Слова его прозвучали совершенно искренне, ему действительно не доводилось еще бывать в таких номерах. («Опять островок совпадений!») Однако самой прекрасной подробностью все-таки было море, голубой стеной вставшее за белой балюстрадой балкона. Отсюда море было выше, чем с набережной. Чем выше ты поднимешься, тем выше становится и оно. Что морю стоит? Была ж минута, когда оно одно заполнило собою окно самолета.

Невольно почтительное обращение Никиты Громов должен был заметить и оценить. Такой номер с таким морем не могли не подкрепить к нему уважение в этом

студентике, если на плечах у студентика не выеденный арбуз.

— Вот то-то,— одобрительно поддакнул Громов, снимая пиджак и аккуратно вешая его на спинку стула. В движениях его не было разгильдяйства, к хорошей обстановке он привык и естественно в нее вписывался.

— Вот то-то,— повторил он, чуть дольше, чем надо бы в обычной, без подтекста жизни, продержав Никиту стоящим с гитарой и рюкзаком посреди всего этого великолепия.— Да ты что стоишь? Клади свой багажик, присаживайся.

Никита положил прямо на ковер гитару, рюкзак. Вешички его, как приблудные котята, никли друг к другу.

Когда Громов с Никитой вошли, в номере была Волкова. Она сидела в углу дивана, поджав ноги. Возле нее не было ни книги, ни шитья, ни даже фруктов. И радио молчало. Она сидела просто так. На ней было красивое оголяющее платье-рубашка, белого лака босоножки на платформе, она загорела жидким загаром средней полосы, который немалым усердием добывается модницами на подмосковных пляжах. На севере загорают быстро и прочно, не хуже, чем на юге.

Словом, все было у Волковой как надо, но она в обстановку не вписывалась, сидела чужая всем вещам, вещи были к ней враждебны. Пустовало плетеное кресло на балконе, но Волкова сидела спиной к морю. Она смотрела на дверь. Она только ждала.

Когда Громов вошел, она даже прижмурилась, как будто в глаза ей ударило солнце, и сразу стало видно, что в лице ее играли только глаза. Без глаз лицо становилось невнятным, смазанным. По глазам она могла бы сойти за родню Громова, те же голубовато-серые, красивые льдинки.

Могла бы... Если б не различало их напрочь выражение. Громовские холодные прожектора могли ослепить. Волкова ничего не могла. Она только отражала.

Громов вошел. Она, не сделав ни одного движения, вся подалась к нему. Никита вдруг отчетливо вспомнил Регину, но — нет. Эта не смела даже желать. Она могла только ждать, пока ее пожелают.

— Ты, дитятко, иди погуляй,— сказал ей Громов.— Через час примерно,— он взглянул на часы,— займешь столик в «Чайке». Володька где?

При первых словах его Волкова встала и слушала, опустив тонкие руки, стояла, как солдат. Громов говорил не глядя.

— Я не знаю, Женя,— ответила Волкова.— Он говорил, что ты его в аэропорт послал...

Никиту кольнула тревога: а ну как да у троицы изменилось что-нибудь, они сорвутся — и поминай как звали! Но зачем тогда Громов позвал Никиту и тратит на него время?

— Если увидишь его, скажи, чтоб подошел в «Чайку».

У Громова был ровный, тихий голос. Никита подумал, что этот человек владеет не часто встречающимся даром спокойного принуждения.

Громов сел на диван, с которого поднялась Волкова, и диван тотчас подставил спинку под его вольготно раскинутые руки.

Никита никак не мог перестать замечать эти сильные, выхоленные руки, вернее, не мог забыть все, с ними связанное. Руки потенциального убийцы. Ведь совершенно не по вине Громова Лавринович осталась жива. И электрический утюг на голую грудь спекулянта ставили эти же руки.

— Ну, бери гитару, сыграй,— сказал Громов. Он опустил затылок на мягкую диванную спинку, прикрыл глаза.

Ударила первая минута еще одного «островка совпадения». Никита должен хорошо, по-настоящему сыграть. Кто б ни был Громов, сейчас он отбирает в свою бригаду музыканта.

— Я для начала сыграю одну очень старую песню, шеф, — серьезно сказал Никита.— Там есть где гитаре разойтись. А уж потом из последних шлягеров.

Громов кивнул, не размыкая век. Никита подумал: волей-неволей он тоже от многого отключился.

Старая-престарая песенка «Сиерра-Чикита», наверное, потому и давала разгуляться гитаре, что родилась в Латинской Америке, в краях, для гитары родных. Никите в детстве еще ее напевала тетка Ирина, а тетка тоже запомнила «Чикиту» с молодости, вот какая это была старая песенка.

Все, что играл, Никита играл по слуху, но гитара его говорила не только однообразными, на все случаи жизни, аккордами. Когда однажды его услышал на вечере

самодеятельности приехавший с концертом на заставу известный гитарист, он не поверил, что Никита играет и сочиняет самоучкой. Гитарист сказал, что Никите непременно надо учиться, дал свой адрес, велел явиться к нему после демобилизации.

Ему Никита тоже играл «Сиерру-Чикиту». С тех пор он ее еще усовершенствовал и очень гордился теми тактами, где эхо катилось в горах...

«...я сам бы змеей свернулся в лассо, цокнул копытом, чтоб только увидеть твое лицо, Сиерра-Чикита...» Это была мужская песня, песня тоски по родине, не какая-нибудь сладкая серенада. «Тысячу лет, тысячу лет катится эхо...»

— Добро, — спокойно проговорил Громов. — Годишься.

Он оборвал Никиту, даже не дослушав это самое прыгающее по камням эхо. Только секунда, но секунда все же понадобилась Никите, чтоб сдержать чувство обиды и удивления. Черт возьми, он же играл по-настоящему!

Глаза Громова были трезвы и холодны. О чем угодно, оказывается, он думал, только не о музыке. Может быть, даже не о бригаде. Если б думал о концертах, хоть на двух-трех модерновых песенках должен был еще Никиту проверить.

Никита сидел молча со своей неоцененной гитарой и ждал. Громов думал о чем-то, думал. Встал, прошелся по номеру, подсел к столу, посмотрел на Никиту.

— В городе у тебя кто-нибудь есть? — спросил он.

— Есть одна старуха.

— Местная?

— Москвичка. С матерью дружит. В институте преподает. Только не знаю, найду ли адрес. Вроде затерял.

Громов спросил о матери, об институте, о том о сем. Легкими вопросами-касаниями он как бы определял для себя Никиту. Пунктиром контур набрасывал. Набросал. И клюнул в сердцевину.

— Ну и какую же ты себе цель в жизни ставишь? Учителем, значит, в село? Бывшее Большое Бесштаново, ныне Заря Коммунизма?

— Приспичит — так и в Бесштаново пойдешь,— сердито отозвался Никита, одевая гитару самодельным футляром.— А цель... Какая может быть цель? Пенензы,

пиастры и прочие тугрики. Деньги нужны, шеф!—сказал он резко, разделавшись наконец с гитарой.— А кто говорит, что они, дескать, не нужны, тот врет. Это только моя мамаша богоданная в духовности погрязла. Она вот этого всего,— Никита обвел рукой высокую комнату, красивые вещи, балкон и море,— сроду не видала и не увидит.

— А ты бы провел среди нее разъяснительную работу,— посоветовал Громов. Никиту он слушал и рассматривал с вниманием.— Она ж не старая еще? Ты на нее похож?

— Проводил! — с надсадкой сказал Никита.— Втолковывал. Князья, мол, Мышкины нынче не в моде. Особливо если они в юбках, так их называют просто идиотками. Другие учительницы, какие ни на есть, подарки получают, а то и путевочку. А моя дура сидит на своих грошах, как квочка...

— Гроши, гроши, грошики... — вздохнул Громов, откидываясь на спинку стула и постукивая по столу пальцами вытянутой руки.— Кругом лежат грошики, надо только уметь их взять. Ну, а ты чем подкрепляешься?

Никита коротко, мельком оглянулся на дверь. Громов заметил его движение.

— Встань, запри,— разрешил он.— Но вообще-то ко мне без стука не входят.

«Дай срок, войдут».— мысленно пообещал Никита. Но это мысленно, а так-то он наклонился, развязал глотку тощему рюкзаку, извлек из него конверт, а из конверта фотографии и совершенно движением полковника Новинского метнул их, как карты, перед Громовым на столе. Он долго дома репетировал это движение.

— Прелестно! — одобрил Громов, перебирая фото.— Прелестно! Я так и думал. Если не алкоголь, а у тебя для алкаша морда свежа, значит, женщины. Ну и как? Дорого тебе обходятся эти цыпочки?

Никита рассердился:

— Ни хрена мне не обходятся эти цыпочки! Есть, которые еще и приплачивают. А тебе тоже не черта психологическими тестами заниматься, берешь в оркестр — так бери, а то я, пожалуй, и пойду, мне рассиживаться некогда.

— Беру,— без обиды и без шутки сказал Громов.— Беру тебя в оркестр. И чтоб не ныл, на̀ тебе четвертак

авансу.— Он достал из кармана пиджака пачку аккуратно согнутых пополам бумажек, отделил и протянул Никите двадцать пять рублей.

Никита поколебался было, но не смел скрыть радости. Не взял, а почти что ухватил бумажку.

— Видел я здесь у двоих ремни на джинсах потрясные,— сообщил он.— Спросил, говорят, на базаре кустарь какой-то делает. Я, пожалуй, оставлю у тебя пока свое барахлишко да подамся на базар, а?

— Ну, ясное дело,— Громов понимающе покивал.— Где цыпочки, там и тряпье. Позавтракаешь со мной,— сказал он чуть строже.— Познакомлю с Шитовым. Он — на баяне. Есть еще местных двое. Кажется, есть,— поправился Громов.

Никита чувствовал, что обо всем, связанном с оркестром, с концертами, Громов говорил без всякой заинтересованности. С Никитой и о Никите он говорил с безусловным интересом, но если не оркестр, то зачем ему Никита? И о чем он все время напряженно думает?

— Да ты не волнуйся,— сказал Громов Никите из зеркала, причесывая щеткой перед трюмо густые прямые волосы.— Четвертак твой при тебе останется. Сегодня я угощаю.

— Ну, коли так... — Никита повеселел, спрятал полученный аванс в задний карман джинсов, пятерней расчесал свою шевелюру и сказал: — Я готов, шеф.

В ресторане «Чайка» на открытой веранде крышей был виноград. До синевы темная, тяжелая зелень не пропускала горячего полуденного солнца, редкие зайчики, пробившиеся сквозь переплетение побегов и листьев, мерцали, как оранжевые огоньки.

Темные, непрозрачные, тугосбитые подвески Никита принял поначалу за фонарики, удивился бессистемному их расположению и, только подойдя вплотную, узнал виноград. Виноградные кисти свисали и зрели на его глазах. Вот они, уже темно-сизые, как вишни, не в бумажных пакетах, не в ящиках, а просто на лозе.

— Что, брат, здорово? — спросил Никиту наблюдавший за ним Громов, когда Никита замер, задрав голову.

Никита оторвался от винограда. Ему не надо было прятать своего восторга, выпал еще один «островок

совпадения»: Никита Сорокин тоже в первый раз в жизни видел бы живой, несрезанный виноград.

— Здорово! — сознался Никита.

— Вот и надо, милый мой, летний сезон на юге проводить, а не в Клязьме твоей лягушек распугивать.

За столиком у самых перилец, ограждавших веранду, сидела Волкова, но не одна. Рядом с ней сидел пожилой человек в добротном, но отнюдь не парадном костюме, к тому же темном, не подходящем ни к сезону, ни ко времени дня. На босых ногах пластмассовые сандалии, сорочка аккуратно выглажена, без галстука, расстегнута на одну пуговичку. Лет не меньше пятидесяти, приехал недавно — загар его не коснулся. Руки большие, разработанные, немало потрудившиеся на своем веку.

На его широком добродушном лице выражался тот же восторг, с каким Никита разглядывал виноградную гроздь, только это выражение, вполне соответствующее юному лицу, лицу пожилому сообщало оттенок едва ли не глуповатости.

И уж до трогательности неуместна была маленькая белая розочка, сорванная с вьющегося куста. Из таких роз Никита видел в городе беседки, ограды, аллеи. Что городу на море белая розочка? Полевая ромашка на лобачевских задворках.

За неимением петлицы розочка была помещена в маленький нагрудный карман.

Для Никиты характеристикой человеку послужили его руки, и он не понял, что может быть общего с компанией Громова у обладателя таких рабочих рук. Хотя, конечно, всякое бывает...

Но общего не оказалось. Подойдя к столику, Громов тихо и грубо спросил Волкову:

— Почему не предупредила, что столик занят?

— Она предупредила,— тотчас и приветливо отозвался человек с розочкой.— Но я просто подумал, столик большой, все мы отдыхающие, никому не в смену... Можно и познакомиться. Я тут один отдыхаю. С Подмосковья. Шахтер.

Он улыбался с готовностью то Громову, то Никите, ожидая в ответ приветливого слова.

Громов сел, не оборачиваясь, пощелкал в воздухе пальцами. Из-за его спины отделилась от буфетной стойки и мгновенно приблизилась к нему официантка. Он

велел принести меню. И только после этого посмотрел в глаза человеку напротив.

Тот уже не улыбался. Он попытался спросить о чем-то Волкову. Та не ответила. Она видела только Громова.

— А вы на озере Рица были? — обратился человек к Никите.— Вот уж где красота! А горы какие!

Это была его последняя попытка поговорить, познакомиться.

Громов не дал Никите слова вымолвить.

— Были мы на озере Рица, и не по разу,— сказал он.— А горы здесь, кстати, копеечные, то бишь невысоки. А чего вы дрянь эту в карман посадили? Из них здесь беседки да изгороди лепят. Неужели не видели?

Громов так хлестал словами, что человек взглянул на розочку, словно с нее могли осыпаться лепестки.

— А я здесь первый раз,— сказал он, как бы извиняясь.— Я ничего этого не видел, мне, конечно, удивительно.

Перед ним стояла початая бутылка пива и бутерброд с колбасой на тарелочке, но ему, видно, расхотелось пить и есть.

— Вы по профсоюзной путевке? Тридцатипроцентная? Странно. Ваш брат обычно сюда в межсезонье попадает. Для вас тут ноябрь предназначен.

Слова сами по себе были гнусны, но ухмылка Громова, но оценивающий взгляд его, которым он прошелся по человеку!.. Вот когда Никите пришлось трудно! Вот когда он понял, в чем тяжесть его задачи — хоть на короткий срок, но вжиться в громовский быт, войти в доверие. На глазах Никиты — да куда там! — при его участии совершалась гнусность, а он не смел ни единым мускулом лица показать, что именно так расценивает происходящее.

Однажды в годовщину Победы в управлении выступал Герой Советского Союза партизан-разведчик, служивший переводчиком в гестапо. Его спросили, что было для него самым трудным. Он сказал: присутствие на пытках. Ему пришлось тайно раздобыть краску для волос и тайно же краситься, потому что от виденного он седел...

Никита отвернулся, скучающе поигрывая пальцами по столу, рассматривал молоденький бананчик за перилами веранды.

Шахтер молча поднялся.

— За пиво с бутербродами платят, а приличные люди еще и официантке дают,— не переставая ухмыляться, сказал Громов.

— Я заплатил,— сказал шахтер и пошел к выходу.

Никита оторвался от бананчика, коротко взглянул на Громова. Тот смотрел в спину уходившему так, словно шахтер был его лютым врагом. Впервые Никита увидел, как ненависть меняет человеческое лицо... А за что Громов ненавидит этого простоватого, пожилого, наверно, доброго? Да за то, что тот — существо другой породы, ему не надо бояться; за то, что как ни крутись, а хозяин — он с его руками. За то, что Громов — тифозная вошь. От вши можно умереть, но это не причина, чтоб стоять перед ней по стойке «смирно», ее надо уничтожать при всяком удобном случае, только и всего...

Все эти малооблегчающие соображения промелькнули в мозгу Никиты за недолгие секунды, пока Громов смотрел вслед человеку с розочкой, а Никита разбирался в нем самом.

Потом Громов как будто скорость переключил, вслед за ним тотчас заулыбалась и Волкова. Принесли меню, Громов стал заказывать, распорядился насчет коньяку.

— А ты тоже нашел чем любоваться,— между прочим, кивнул он на бананчик, и Никита отдал должное его наблюдательности.— Эту зелень ветер к осени в бахрому истреплет. Такими бумажными ленточками в нищих квартирах форточки от мух завешивают.

Было обидно за маленький бананчик, чьи нежные, беспомощные листья уподобятся антимушиной бахроме, но явилось и детское чувство облегчения, как будто плевок злобного цинизма, задевший и Никиту, мог поправить испорченное настроение ушедшему шахтеру.

Опять же впервые в жизни Никите доводилось пить коньяк, улыбаться, завоевывать расположение человека, который неукротимо ненавидел все, вызывавшее в Никите любовь и уважение: рабочие руки, рабочие квартиры, простые цветы и листья... Познавательно интересно: а любит ли что-нибудь он сам, этот Громов, где его добрая человеческая слабина? Должна же она у него в чем-то быть, не может же быть без этого человек.

— Да, мой милый,— задумчиво говорил Громов, проглядывая на свет густо-оранжевый в рюмке коньяк.— Видишь, вот подают к коньяку рюмки, а на гнилом Западе давно додумались до бокалов, чтоб наслаждаться ароматом. Я хочу пить коньяк из таких бокалов, а ты?

— Для начала пусть бы хоть коньяк был,— резонно заметил Никита.— Наши чувихи о таких бокалах, слава богу, не осведомлены, граненый стакан осушат, тоже не сдохнут.

— Циник ты,— покачал головой Громов.— Знаешь ли ты настоящих женщин-то, дитятко?

Уж не Волкову разумел он, соблазняя Никиту настоящими женщинами, и она это поняла. Покраснела, заметней стали пятна. До этой его фразы она исправно пила, мало закусывала, в разговор не вмешивалась. Наверно, так было у них заведено. Сейчас она хотела что-то сказать, но не решилась, однако ж пить больше не стала.

— Беда в том, что все настоящее дорого стоит. Деньги, они, как принято говорить, счастья не дают, но оному способствуют. Так вот, давай выпьем за то, чтоб они у нас водились!

Громов чокнулся с одним Никитой, они выпили. В это время к столику подошел Шитов. Сейчас он был не с похмелья и выглядел пригляднее, чем в самолете.

— Знакомьтесь, — сказал Громов.— Нико-гитарист. Барон-баян.

— Это имя такое? — полюбопытствовал Никита.

— Кличка,— засмеялся Громов.— Прозвище, вернее. Клички у блатных.

Шитов сел к столу, выпил, стал завтракать. Руки у него дрожали, с Громовым он держался хотя и не на равных, но и не так подобострастно, как Волкова. На портрет, сделанный по фотороботу, он был безусловно похож.

— Ну что? — спросил его Громов.

— Кажется, на той открытой веранде, где ты говорил, но пока еще не наверняка. Сходи, Женя, сам еще раз для верности, а то...

— Что — «а то»?

— А то, что магнитофон-то я загоню, а потом что?

— А потом — электроорган...— Громов беззвучно за-

смеялся.— Кому, между прочим, загоняешь, когда и за сколько?

— Местному. В среду вечером у той же веранды. Больше трехсот не дает.

— Я не любитель этих распродаж,— сказал Громов более для Никиты, нежели для других,— но искусство, оно, конечно, жертв требует.

Никита прикинул, успеет ли он предупредить Корнеева о предстоящей продаже. Получалось — успеет. С каждой минутой он все более уверялся в том, что судьба их музыкальной группы как таковой Громова мало интересует. Но что же тогда его интересует?

— Какая у Нико коллекция есть — закачаешься! — подмигнул Громов Шитову.

— Это что,— Никита вздохнул.— Вот в последнем номере «Плейбоя» видел я серию снимочков, это да!

— Ого! — Громов заинтересовался. — «Плейбой» у нас в частных киосках не продается.

— У одной журналистки, — небрежно пояснил Никита.— Дача у нее под Москвой. У камина сидели, рассматривали. И обстановочка, и снимки — все вполне.

— Ну что ж, для начала бедному студентику неплохо. Фамилия журналистки засекречена?

Никита неопределенно пожал плечами, мельком, как бы случайно взглянув на Волкову. Он не предвидел поворота с фамилией и хотел выиграть время. Сноска на Волкову могла обозначать общепринятое недоверие к женскому языку.

— Я — могила,— быстро сказала Волкова, с интересом слушавшая Никиту.

— Говорящая могила! — внезапно и резко оборвал ее Громов.— Твой вопрос о цене — шедевр непревзойденный, Инночка!

Она съежилась, как от занесенного кулака. Видно, уже доставалось ей за этот вопрос.

— Чего покупали? — спросил Никита, решив по этому поводу долить себе коньяку.

— Продавали,— сказал Громов.— Иконку одну продавали, так вот наша Инночка все беспокоилась, как бы не продешевить.

Он уже без резкости говорил, на Никиту не глядел, глядел на Волкову, не злым, а каким-то раздумчиво-оценивающим взглядом.

Никита подумал было тоже спросить об этой самой цене иконки, но воздержался. Все-таки первый день. Лучше недолюбопытствовать.

— А сколько может стоить динамик к гитаре? — спросил Никита у Шитова. Вопрос был вполне деловой и уместный. Никита человек новый, ему надо заработать, и дела нет до каких-то проданных икон. Теперь на иконах только ленивый не спекулирует.

Шитов отозвался с охотой. Можно было подумать, что пауза, возникшая за столом, была и ему неприятна.

Присоветовал динамик не покупать. Можно будет за недорого временно у местных позаимствовать. Зимой в Москве Нико выступать не будет, на черта ему динамик?

Договорились, какие шлягеры показать дирекции. «Сиерру-Чикиту» Шитов забраковал начисто — старье для бабок. Вот Шитова музыкальные дела интересовали. С Никитой он держался, как опытный музыкант с начинающим. Между прочим, уронил фразу о том, что несколько дней назад пел в Ленинграде, и Никите стоит разучить для него аккомпанемент. Дал здешний адрес, чтоб Никита зашел подрепетировать. Шитов тоже снимал жилье у частника, но комнату, а не койку.

К концу их бодрой беседы даже Инна приняла в ней некоторое участие и немножко оживилась. Вообще у Никиты создалось впечатление, что он пришелся весьма кстати всем троим.

На Инну и Шитова Громов бесспорно действовал угнетающе, а оба они его чем-то раздражали, хотя чувствовалось, что в отдельные моменты ему удавалось прятать раздражение. Причины этого раздражения Никита пока не улавливал.

— Когда за барахлишком можно зайти, шеф? — с уважительным оттенком благодарности за хорошую выпивку и закуску спросил Никита.— Я сейчас на базар подамся. А то не ушел бы мой поясочек. Ох, и ремень, ребята, я видел! Потрясное дело!

Громов смотрел на него с веселым снисхождением. Он тоже изучал Никиту и, как видно, застолбил себе необоримую любовь к тряпкам в этом красивом парне.

— А ты запиши номер и позвони,— сказал он.— В двадцатом веке, видишь ли, существует телефон. А сейчас жми на свой базар, подыши родным озоном. Да,

кстати! — остановил он уже поднявшегося из-за стола Никиту.— Ты на кассиршу в аэропорту не обратил внимания?

— Нет,— недоуменно сказал Никита.— Не обратил. А что?

— А ты улучи минутку от шмоток да обрати,— проговорил Громов, тоном подчеркивая нешуточность совета.— Я бы сам обратил, да вот...— Последовал кивок в сторону Инны.— А вообще-то,— это он уже говорил непосредственно Инне,— мы с Бароном сейчас направим стопы в дирекцию. Шла бы ты домой, Пенелопа.

Она молча поднялась и пошла.

— А твоя кассирша не из тех, которые становись задом, кажи товар лицом? — озабоченно осведомился Никита.— Меня это восточное многопудье с некоторых пор не возбуждает.

— Скажите, какой князь Юсупов! Ему обязательно, чтобы... Иногда, дитятко, и на горло собственной песне приходится наступать. Но в данном случае, повторяю, сам бы... В руки взять — переломится, ноги из подмышек растут. Говорю — обрати!

— Ну разве что...— без особого пыла согласился Никита и отправился на базар искать ремень и торговца масками, возле которого послезавтра должны они встретиться с Корнеевым. Шел и думал: «Зачем ему кассирша аэропорта?»

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

Маска Гиппократа, маска Гиппократа, необходимая деталь современного интерьера. Маска Гиппократа...— неторопливо повторял парень в джинсах, в рубахе навыпуск, в «вельветах». Цвета другие, а то бы копия с Никиты. Черные бачки еще у него были и волосы подлиннее. Волосы Никита не успел отрастить, ну да ему было простительно, все же он не из какой-нибудь шараги — из института, а мать учительница.

— ...необходимая деталь современного интерьера!

Слова произносились негромко, раздельно и четко. Так объявляют время по телефону с номера сто.

На лице парня застыло высокомерно-пренебрежительное выражение. Он не глядел ни на публику, ни на

свой странный товар, как будто ему было совершенно безразлично, купит ли кто-нибудь для своего интерьера эту необходимую современную деталь.

И ведь нашелся какой-то дядька из отъезжающих (физиономия загорелая, плетеная корзинка набита битком, поверх слив лежат цветы, каких Никита никогда не видал, малиновые, бархатистые, как турецкие гвоздики, странной формой похожие на петушиный гребень). Дядька приобрел маску — Гиппократ стоил три рубля,— положил его лицом вниз на сливы, сверху прикрыл цветами и пошел с базара. Больше покупать было некуда, а может, и не на что.

Никиту так и подмывало выяснить у парня, почему именно Гиппократ и нет ли в запасе кого-нибудь подальше от скучного дела медицины. Но до встречи с Корнеевым он на всякий случай поостерегся долго маячить рядом с этой скульптурной барахолкой, мало ли что тут и как у Михаила Сергеевича.

Парня с Гиппократом Никита обнаружил еще вчера, но сегодня на всякий случай снова прошел мимо, проверяя, стоит ли он на том же месте, чтоб потом прийти тютелька в тютельку. Михаил Сергеевич в работе был точен до скрупулезности. Но видно, место на деревянном прилавочке Гиппократ абонировал прочно.

Вчера Никита долго пробéгал по базару. Ремень к джинсам купил, но увидел джинсы гораздо лучше, чем у него, с бахромой и нашлепка на заднем кармане интересная, не стандартная. Никита решил свои продать, а те купить, с доплатой конечно. Но операцию эту надо было осуществлять одновременно, поскольку штанов в запасе не было.

Баба, которая продавала джинсы с бахромой, соглашалась денек подождать (говорит, джинсы племянника, но за версту видно, врет, спекулирует явно) и подобрать хорошего покупателя на джинсы Никиты.

Никита был в большом волнении, излагая все это Громову, к которому позвонил и забежал на минутку за гитарой; надо же было бежать репетировать с Шитовым. Времени на все про все в обрез.

— Понимаешь, шеф, совершенно, ну совершенно нестандартные нашивочки,— повторял Никита, шлепая себя по заду.— Лев там такой сделан, ну ни у кого я такого льва не видал!

— Надо же! — с участием покивал Громов. Он слушал и рассматривал Никиту с любопытством, как энтомолог неведомого доселе жука.

— Терпеть не могу ничего стандартного,— доверительно рассуждал Никита. Он уже забыл, что торопится к Шитову, стоял перед Громовым — гитара у ноги, как винтовка. Лицо Никиты светилось вдохновением.— Ничего стандартного! У меня такой девиз. Я и галстуки себе сам шью. Мать покупает парчу и холстинку, а я...

— Слушай, барахольщик! — не выдержав, прервал его Громов.— За большие грехи навязался ты на мою голову, дитятко, но ты мне нужен. У меня времени не хватает, а бригада моя — истерики разболтанные,— поправился он.— Вот тебе доплата за твои проклятые штаны, потом отдашь, но чтоб в четверг ты был в аэропорту. Она через день работает.

Громов отсчитал обрадованному Никите деньги, прошелся по номеру, засунув руки в карманы.

— Тут кое-какие предложения наклевываются, могут срочно понадобиться билеты, то да се,— говорил он, рассматривая носки своих замшевых туфель.— Стандарт, говоришь... Все нестандартное стоит денег, Нико. Больших денег. А самому шить галстуки — трудотерапия для идиотов.

Громов оторвался от туфель, испытующе смотрел теперь на Никиту. Очевидно — может быть, в последний раз,— проверял, не с полным ли дураком имеет дело. Некоторая доля глупости в партнере его безусловно устраивала, но чтобы без пересола. Круглый дурак в любом деле опасен.

И вот, несмотря на полученные деньги, с лица стоявшего перед ним бедняги студентика улыбка сошла.

— Странный у тебя характер, шеф,— сказал он, прищурясь на Громова.— Не любишь ты, чтоб людям весело было, что ли? Откуда я тебе на уникальные галстуки возьму? А я тоже человек. Мне тоже хочется. Ты вот с видом на море живешь, а я всю ночь дедово несварение желудка слушаю. Такие рулады выводит, хоть магнитофон у Шитова проси...

Теперь он смотрел на Громова в упор, смотрел не добро, не благодарно. Он завидовал Громову. Он тоже хотел всего и скорее. Чтоб не самому спекулянток на

базаре искать, а они б ему втихаря контрабанду домой несли. Вот так!

— Вот так! — удовлетворенно произнес Громов. Он почти любовался сейчас Никитой, как будто тот уже стал делом его рук. А свои руки держал в карманах и — как ни нелепо,— но Никиту это устраивало. Он сам понимал, что это нелепо, однако пальцы Громова, сильные, длинные, гибкие, всегда мешали ему сосредоточиться.

Когда Громов бил Лавринович по голове, он запачкал правую руку в крови и машинально обтер ее о костюм. Между прочим, это замытое пятно тоже послужило впоследствии уликой. Громов тогда еще был неопытен, не знал, что чем сильнее оттираешь кровь, тем сильнее она въедается. Так эксперты говорят, но и за триста лет до них леди Макбет не смогла же отмыть пятна...

— Вот так, Нико,— повторил Громов. Он не отступил перед бешеным взглядом Никиты. Он все понял, все принял и многое обещал.— Ты парень с головой, а жизнь любит головастых. На Барона много времени не трать, песни его никому не светят. Поедешь в аэропорт. Познакомишься. Да не в лоб. Не испугай. Девка, похоже, не с бахчи.

Никита уже стеснялся своего неуместного срыва. Никита стоял сейчас по моральной стойке «смирно», ему хотелось повиниться перед Громовым за неразумное поведение. Ему у такого Громова учиться, а не рычать на него.

— Бу сде, шеф! — сказал он один раз, но весомо. Ему можно было верить.

— Вернешься — доложишь,— сказал Громов.— И вообще звони, заходи, потреплемся. Будешь у Барона, узнай аккуратно, за сколько продал магнитофон. Сдается мне, он врет.

Это был уже кусок доверия. Никита ушел от Громова довольный.

...И сейчас он бродил по базару, с надеждой предвкушая встречу с Корнеевым. Пришел он загодя, не торопясь обтяпал дельце с джинсами, переоделся в туалете и теперь разгуливал, чувствуя себя курортником-аборигеном под защитой обосновавшегося на задней части тела льва.

Никите базар вообще-то чрезвычайно понравился. Он никогда не видал южного, и, наверное, поэтому внимание его приковывалось к предметам купли-продажи, а не к лицам торговцев, маленьких, несостоявшихся лавочников, которые на базарах всех широт выражают общее стремление — продать подороже, сорвать побольше.

Нравились не фрукты — красивы до того, что жалко есть, даже не цветы, хотя цветы удивительны. Вот мальчик продает один цветок, один-единственный цветок, но этот цветок с тарелочку. Никита уже знает: цветок зовут магнолия, лепестки мраморные, ослепительно белые на подножье толстых темно-зеленых листьев.

А вот тетка продает двух живых кур и петуха. Птицы невозмутимо сидят в плетушке, поглядывают по сторонам, не предвидя близкого пути в лапшу.

Около птиц остановилась парочка, оба молодые, оба в дешевых джинсах, оба в очках, оба симпатичные. Они довольны друг другом и всей вселенной. Уже хорошо потемнели под неукротимым солнцем, но еще не уезжают, в плетеной сумочке, здесь же купленной, немножко слив и рыжая раковина.

— Ты только посмотри, какой прелестный гребень! — сказала девушка, показывая на петуха.

Гребень был действительно редкий, большой, тяжелый, похожий на корону, с множеством ярко-алых зубцов, спускавшихся чуть не к самому клюву. Наверное, из-за этого гребня петух поворачивал голову с особым достоинством.

— Так я ж и говорю! — подхватила тетка.— И у его ж отца такой был. Зарежете, сварите, голову подадите — целое кушанье!

К удивлению тетки, молодые молча отошли.

— Вот так, тетка,— посетовал, проходя, Никита.— Не достигли, значит, взаимопонимания.

— Проходи, голота,— донеслось ему вслед.— Поналепили, прости господи, кошек на задницы.

По-настоящему пленил Никиту край базара, где продавались соломенные шляпы, свежие плетеные корзиночки всех видов и форм, самоделки из тяжелого дерева самшита, а главное — раковины. Раковины не огромные, не тигровые. Простенькие, но все же нарядные, оранжевые раковинки недавно вышли из моря, того

самого моря, которое по-хозяйски заглядывало на базар в пролеты между обыкновенными городскими домами. Недреманное голубое око... Наверное, морю не безразлична судьба его раковин.

Никита решил непременно привезти Маринке и себе по раковинке. И пожалел, что не научился нырять с аквалангом. Посмотреть бы своими глазами, какое море там, в глубине, как живут рыбы и ракушки в естестве, без помех, без свидетелей.

Но тут же подумалось: а хоть бы и умел, сейчас акваланг не в образе. Никита Сорокин — прагматик, у него без акваланга полно забот.

Никита взглянул на часы и, уже не отвлекаясь, фланирующей походкой отправился на свиданье с Михаилом Сергеевичем.

Он раньше услышал знакомые позывные «...необходимая деталь современного интерьера...», а уж потом увидел Корнеева, который рассматривал маски.

Вернее сказать, увидеть-то он его увидел, но, к удивлению своему, не сразу узнал, хотя никаким гримом, даже очками Михаил Сергеевич не прикрывался. На нем был балахонистый белый костюм, в каком Никита его сроду не видал, а главное, сам Корнеев как-то обвис, обмяк на жарком солнце, ни дать ни взять — Обломов, сердитый, что выгнали его на этот базар. Велели ему купить, ну он и вышел, в руке московская авоська, на голове полотняная панама. Так только старикам одеваться, да он ленив, ему наплевать...

Поглядел Гиппократа, отошел. Никита то — за ним, то — сбоку. Кругом народу хватает, но все не торопятся, особой толчеи нет. Пока свои несколько слов скажешь, можно за Корнеевым идти. А если послушать, удобнее немного опередить, случаем и полуобернуться на чей-либо лоток.

Никита сообщил о продаже магнитофона. О репликах по поводу иконы. Все коротко. В такой беседе не разболтаешься.

— ...В аэропорт ехать?

— Выполняй без лишней инициативы.

— К тетке Ирине?

— Можно.

Следующая встреча была назначена возле живописца, на другом конце базара. Живописца этого Никита

уже приметил. Отрывистые, почти закодированные указания Корнеева Никита счел нужным немедленно обмыслить, прочно уложить в памяти и соответственно наметить собственные действия. Нигде не бывает человек более одинок, чем в толпе, и Никита пошел на пляж.

Тянулись послеобеденные часы жестокого жара. Сейчас на пляже ни старых, ни санаторных, кроме нарушающих режим.

Тонкая, узкобедрая девчонка, заложив руки под затылок, крутила хулахуп. Штанишки крошечные, в обтяжку, с кружевцами. Узкий обруч ритмически подвигается вперед-назад, вперед-назад. Лицо у девчонки бесстрастное, дело свое знает. Перед ней на песке зрители, глаза замерли, как у кроликов перед змеей.

Никита навел на девчонку объектив, щелкнул, пошел дальше, нашел покинутый лежак, разделся и улегся, прикрыв глаза темными очками.

Итак, он должен отправиться в аэропорт и выяснить возможно больше относительно кассирши.

С Громовым все идет нормально. Себя не дешевить, но еще призанять денег можно. Надо, чтоб оба знали: скромный студентик, жадный студентик в шикарном представителе Москонцерта очень заинтересован.

Прикрывшись черными очками, Никита прикидывал, как ему выгоднее распределить время. Забавно, что времени этого не хватало, а ведь с завтрашнего дня три вечера в неделю уйдут на выступления. Контакт с Шитовым тоже потребует времени, Шитов любит долгие разговоры под водку, он истеричен, отношения его с Громовым явно их обоих не удовлетворяют, но почему?

Легкий вечерний бриз прошелся по Никите. Никита снял очки, приподняв голову, огляделся. На пляже почти никого не осталось. Редкие урны задохлись от обилия отбросов, обрывки газет, бумажные стаканчики и кульки, дынные корки и сливовые косточки — неприглядный след царей земли... Да, впрочем, откуда следует, что человек — царь земли? Кто это сказал? Сам же человек и сказал. Сама гречневая каша...

Никите очень хотелось навестить тетку Ирину, но до поездки в аэропорт нечего было об этом и думать. А сегодня в плане Шитов. Он просил, настоятельно просил «прийти поаккомпанировать», манил, хвалился хорошим коньяком. Он был честно одержим своей беспоч-

венной мечтой о певческой карьере и уже дважды, с вариантами, рассказал Никите о своем успехе в Ленинграде.

Как все одержимые, он складно врал. Никита принимал на вооружение уменье, с каким можно использовать верные, действительно бывшие подробности, чтоб обойти никогда не существовавшее основное событие.

Никита чувствовал, что Громов не поощряет сближение нового гитариста с Бароном. Одного этого достаточно, чтобы сблизиться с Шитовым. Тем более, это было нетрудно. Нужно только не отказывать Шитову, который жаждет, добивается возможности работать с аккомпаниатором. Гитара осталась у него со вчерашнего вечера.

Никита оделся. Пуст был пляж, чисто море. На свободной поверхности его отчетливей виднелись буйки. Флажок справа, темный на ярком небе, чем-то напоминал одинокого мартына, сидящего на волнах.

Солнце не коснулось еще горизонта, но лучи его заметно ослабли. В небе стояли два легких длинных облачка. Таких легких, что они терялись, не были видны, пока за них не зашло солнце. Скрыв солнце, облака зарумянились. Они стояли косо над морем и, подсвеченные, стали странно похожи на длиннокрылых розовых журавлей. От них порозовело и небо, а море, хотя по нему все так же шли небольшие пологие волны, становилось все ровнее, все серебристее и спокойнее.

Молоденький месяц за эти дни окреп. Он напоминал сочный ломтик дыни. Только отрезали его неровно, верхний усик острей и длиннее нижнего.

Никита нехотя отвернулся и побрел от моря. Всегда не хотелось от него уходить. На него всегда можно смотреть. За вечность повторилось ли, было ли оно хоть миг неизменным?

Кипарисы, плакучие ивы и две пальмы на берегу стали темнее и больше. Яркий свет дня их слепил, а теперь они набухали густым цветом, и на отдыхающем небе резко очерчивались их величественные контуры.

Выйдя за ограду пляжа, Никита вступил в город, не помышлявший о закате, заходе, конце дня. Здесь не день кончался, здесь начинался долгий, под развлечения отведенный вечер, а впереди была еще ночь, много чего было впереди.

Как петухи, пробовали голоса оркестрики; в ресторане «Чайка», где Никита познакомился с живым виноградом, в густой зелени листьев вспыхнули первые лампочки...

Шитов снимал комату в старом двухэтажном особняке. У него был отдельный, с улицы, вход, чем он очень гордился, и даже две маленькие колонны у дверей. В комнате пышная постель, мягкий диван, большое трюмо. Все почти как у Громова.

В первую встречу их в этой комнате Шитов сказал, что зеркало даже лучше, чем у Громова. Гостиничные зеркала, вообще современные зеркала часто искажают.

В первую встречу Никиту Шитов встретил в махровом купальном халате, надетом поверх брюк и рубашки. Пояс с кистями, руки в карманах. А вот туфлями подходящими он не разжился, да и вместо купального халата больше бы подходил атласный или шелковый с бархатными отворотами.

Но Шитов и в купальном чувствовал себя достойно, и Никита оценил его жилье и наряд.

— Ни себе чего! — сказал он, оглядываясь. Позволил себе даже пощупать покрывало на кровати с пышными, под накидкой подушками.— Тебя, в общем, по шерсти Бароном прозвали, а?

Шитову понравилось. Против Барона он тоже не возражал.

Аккомпанементом Шитов остался чрезвычайно доволен, пел он перед зеркалом,— артист, да и только. Он был счастлив вчера.

Сегодня Шитов встретил Никиту в том же халате, и гитара расчехлена, однако ж — Никита сразу это почувствовал — атмосфера в комнате была другая.

Во-первых, Шитов был навеселе и, надо думать, выпил сегодня не те пятьдесят — семьдесят граммов, которых не хватало в стоявшей на столе откупоренной бутылке коньяка. Кое-как вскрытые рыбные консервы, белая булка, колбаса, нарезанная в магазине, с неободранным целлофаном.

— Что ж ты? — Никита обиделся.— После выпивки не пение, ты не какой-нибудь Ваня с Пресни. Музыкант. Должен понимать.

— Садись, Нико,— широким жестом пригласил Ши-

тов.— Ну, не пойдет, так не пойдет, что делать. Я сегодня не в настроении. Давай выпьем.

Выпили по граненой стопочке.

— Ты уж давай это, будь в настроении,— закусывая колбасой, сказал Никита.— Завтра гастроль начинаем. Как там с динамиком?

— Достал я тебе динамик — зазвучишь.

Шитов сразу налил по второй и выпил, не дожидаясь Никиты. Он был нервен, бледен.

— Ты у Жени был? — спросил он, хмелея на глазах.

— А как же! Шеф слушал, одобрил.

— Обещал тебе что-нибудь?

— Не то слово! Дал! Четвертной авансу дал! С таким не пропадешь.

— А мне вот обещал...— злобно и горестно сказал Шитов. Посторонний человек по бледному лицу его не подумал бы, что Шитов пьян, но Никита видел его не в первый раз и чувствовал, как нарастало в нем опьянение.— Мне обещал, а вот теперь ничего, и только я в долгах и в путах. Уже собственный «маг» свой продать не могу.

— Но ты ж продаешь,— успокаивающе говорил Никита, налегая на колбасу.

— Да, продаю! И за четыреста, а не за триста продаю! Но не в этом дело. Не в этом же дело! — с тоской проговорил Шитов, Никита подумал, что он, может, и много выпил, но не пьян. Он только очень взволнован.

— Да продавай ты на доброе здоровье,— добродушно сказал Никита.— Что ж ты думаешь, я шефу про сотню твою несчастную капну? Да на туда мне эта сотня. У шефа денег ого, сам видел.

— Про сотню не говори,— совершенно трезво спохватился Шитов.— Он отберет. Я ему должен.

— Будь спок,— заверил Никита, потянулся, взял гитару, подтянул колки, стал струны пощипывать. Вот и появилась у них с Шитовым тайна от Громова.

Шитов долил Никите, налил себе. Видимо, что-то произошло у них с Громовым. Шитов никак не мог мыслями от него оторваться.

— Я знаю, когда он меня запрезирал,— говорил Шитов. Коньяк он пил как самогонку, залпом. Тут уж не до широких бокалов, тут стопки граненые в самый раз.— Он меня запрезирал, когда я собаку убил,

— Ну это уж не туда Серка пашет,— усомнился Никита.— Что б такой потрясный парень из-за пса... Дорогая, что ли, была? Его собака?

Никита поддерживал разговор до крайности лениво, ничего ему это не интересно, ни собаки, ни ихние ссоры, да ведь нельзя же просто дохлебать коньяк и уйти. Как-никак товарищи.

— У одного его знакомого я... Случайно,— наскоро объяснил Шитов.— Тут не в собаке дело. Я от этого страшно расстроился, с собой даже не совладал... Вот он за что.

— Он — кремень! — уважительно подтвердил Никита.— За него я бы и чокнулся.

Чокнулись. Никита пригубил, Шитов выпил. За гостем он уже не следил. Он думал и говорил только о том, что его угнетало.

— Ни во что не ставит! Он и меня и Инку ни во что не ставит. Ему только Иван да Иван. Иван — культура да Иван — связи. А что этот Иван без меня?

— Тоже мне прозвище! — Никита поморщился.— А про связи ты зря. Блат все решает. Вот у нас в институте...

— А что блат без меня? — выкрикнул Шитов.— Я — в центре, а Женька...

И вдруг, услышав это имя, неуважительно произнесенное им самим, Шитов примолк. Сразу обнаружилось, какой он хлипкий и пьяный. Хмель все-таки овладел им. Он долго и безуспешно пытался управиться с сигаретой и спичкой.

Никита без опаски опорожнил свою стопку на ковер под столом, помог Шитову закурить и сказал, что ему пора — хозяева рано запирают, да пока доберешься...

На прощанье они целовались, обнимались, клялись — все, как положено. Шитов порывался снять халат, проводить лучшего друга, но Никита со всей силой убеждал и убедил, что в таком виде Шитову никак нельзя показываться на улице.

Это была истинная правда. Милиции, даже по самому ничтожному поводу, беседы в отделении при закрытых дверях, даже самой короткой, Громов испугается, может сорваться, раньше срока уйти.

Выйдя от Шитова, Никита постоял некоторое время,

подождал, не увяжется ли тот за ним. Нет, дверь не открывалась.

Тогда он дошел до ближайшего автомата. Громов откликнулся не сразу, в номере слышалась музыка, потом ее приглушили, кто-то у него был.

— Шеф, задание выполнил,— сказал Никита,— «маг» уйдет за четыреста ре.

— Не врешь? — в голосе чуть угрожающая нотка.— Проверю!

— Проверь, шеф, проверь.

— Если не врешь, считай, аванс отработал.

— Порядок, шеф.

— Завтра с утра в аэропорт. Знакомься. Оттуда ко мне. Жму лапу, Нико!

Последние фразы прозвучали тепло, дружески, ободряюще. Ничего не скажешь, голосом Громов владел, не зря мать — артистка.

— Ну вот мы с тобой и на службе! — Никита, как собаку, похлопал гитару по головке грифа, взял под мышку и вышел из будки.

Ночь была густая, южная. Глубокие тени и яркие лунные полосы, которых не в силах сгладить и свет фонарей, мерцали тускло, а пахли оглушающе маленькие белые соцветия на высоком кустарнике. И розочки с живой изгороди, одну из которых сорвал подмосковный шахтер, и большие розы с куртин. Аромат цветов наплывал волнами. Ветра не было, но в воздухе перемежались потоки тепла и влажной прохлады, стекавшей на проспект из темных аллей, уходивших в гору, наверх, к дворцам-санаториям.

Никита шел не торопясь, почти ощущая, как душистый мрак смывал с него миазмы дыма и коньяка, пропитавшие комнату Шитова.

Было странно думать, что в этом же городе, сравнительно неподалеку, тоже снимают комнату — две койки — Вадим и Михаил Сергеевич. Как печально Вадиму, что он не может вместе с Галиной слушать и смотреть эту черную, насыщенную запахами и безмолвным движением влажного воздуха ночь. Не может выйти с ней на мерцающую пустую набережную, увидеть спящее под месяцем море.

Говорят — синь-море, море синее. А Никита ни разу не видал его синим. Видел голубым, лазурным, малахи-

товым, серебряным с розовыми волнами, а синим еще не видел. Как это? «Приедается все, лишь тебе не дано примелькаться...» Пастернак не был в числе родных поэтов у Никиты, но некоторые его строки вломились в память и улеглись в ней навсегда.

Да — море, да — стихи, но он обязан думать сейчас о полярно противоположном, о далеком от прекрасного и на земле и в душе человеческой.

Итак, сегодня урожайный день. Можно не сомневаться, что собаку в Колосовске убил Шитов. Чем остался недоволен Громов? Пока не ясно, но ясно, что между Громовым и Шитовым брешь, которая изрядно расширилась благодаря утаенной сотне за магнитофон.

Никита нажил кусок доверия Громова. У Громова есть возможность проверить, очевидно, он имеет в городе своих людей. Проверил же кто-то первую ночевку Никиты, перед тем как Громов пошел на контакт. Громов уже приказывает Никите. Это ценно.

Появился некий Иван. Иван со связями, которого Громов ценит больше Шитова. О Волковой нечего говорить. Волкова Громову вообще мешает.

Иван — имя или кличка? Может быть, Иван — четвертый? Где сейчас Иван? Громов особенно ценит Ивана за связи. Очевидно, за особые связи, Шитов упомянул с завистью о «культуре».

И еще остается кассирша...

Кассирша с утра, и завтра же с утра передача полученного материала Корнееву. Передача срочная. До встречи у живописца. Сейчас есть чем заняться и Вадиму, и Корнееву.

Из ущелья резко пахнýло тяжелой влажностью, холодный воздух низвергался с гор. Никита впервые представил себе, какой неумолимой, всепроникающей сыростью оборачивается эта влага в зябкие осенне-зимние месяцы, когда серая туча висит и висит над морем, а дождик идет и идет.

В эти-то зябкие ноябри Громов хотел бы безвыходно запереть подмосковного шахтера, обладателя тридцатипроцентной путевки, то есть такой, за которую семьдесят процентов стоимости платит профсоюз.

Никита был грамотный, читал газеты, все понимал, и все-таки ему, как ребенку-нетерпехе, захотелось: скорее бы так, чтоб все соцстраховские путевки приходи-

лись на солнечные месяцы цветения, на лунную рябь теплого моря, на белые короны магнолий.

Интересно, скоро ли прошла обида у шахтера и куда он дел обиженную розочку? Хотелось думать, что не выкинул.

По Ущельной улице перед Никитой пробирался человек, между редкими здесь островками фонарного света, в темноте почти не видимый. Путь его отмечался скрипом палисадников, о которые он то и дело ударялся. Соответственно ритмично прерывалась и его песенка, которую он культурно, не тревожа покой улицы, напевал себе под нос: «Человек (пауза) проходит, как хозя (пауза) ин...»

В начале слова «необъятной» пешеход шлепнулся основательнее о столбушку, она не самортизировала, и он упал. Никита помог ему подняться, человек поблагодарил и продолжал свой путь и песню ровно с того места, на котором она прервалась. Получилось: «...необъят (большая, очень большая пауза) ной Родины...» — а дальше, уже за спиной Никиты, пошло опять ритмично и ровно.

Подгулявшим жильцам старуха отпирала сама, опасаясь, как бы припасенная на ранний опохмел чекушка или бутылка не нашли немедленного потребителя в лице деда.

Между прочим, старуха все эти дни присматривалась к Никите. Подозревала, очевидно, что человек не пьющий, не курящий страдает пороками тайными и, может быть, более опасными.

На сей раз старуха была вознаграждена. Постоялец легко качнулся на нее, пожелал доброй ночи и сделал энергичный выдох.

— Иди, сынок, иди, мой хороший, спать,— ласково напутствовала старуха Никиту, и он пошел спать.

Утром он был в Южном аэропорту. Стеклянная коробка вокзала пронизывалась солнцем. Сквозь наипрозрачнейшие до пола стекла видны были крупные-крупные капли росы на темных бархатных розах. Штамбовые розы, они росли на куртинах, как деревца с пышными кронами. При каждой — опорой для ствола высокая трость — палочка. На куртинах ни травинки, земля вспахана, разрыхлена, разровнена. Розы — ослепительные, розы — владычицы, розы — королевы в великом их мно-

жестве смотрелись так, словно не их высадили вкруг стеклянных стен, а здание сумело уместиться, чтоб не потревожить царственные кусты.

Никита обосновался в кресле, в углу у стеклянной стены, разглядывал темную, с пурпурным отливом розу, близкую, как рыбка в аквариуме. Казалось, сорви, и то не будет она ближе. Сорванная, она ждет смерти, на кусте она живет и, кто знает, может быть, тоже рассматривает большую рыбу — человека за стеклом?

Со своего места Никите хорошо был виден стенд с расписанием. Он решил, что сегодня встречает товарища из Москвы. Ближайшим рейсом. Он товарища не встретит. Потом ему надо узнать в кассе насчет билетов, пока только узнать, он же недавно приехал. Так что на вокзале ему придется некоторое время потолкаться, никуда не денешься.

Верный рюкзачок на сей раз остался дома, но Мандельштам был с ним. Всякий культурный человек, готовясь к ожиданию, берет с собой книгу. Тем более, если Громов не ошибся и девушка интеллигентна, автор должен произвести на нее впечатление.

В достаточном отдалении от кассы Никита медленно прохаживался по аэровокзалу. Косые потоки солнца пронизывали стеклянный дворец, синее небо, темного пурпура розы... «Островок совпадения». Еще несколько минут вполне можно медленно походить от стекла к стеклу, от роз пурпурных к розам чайным. Ни о чем не думать, видеть такую красоту, от которой даже беспокойно, какое-то счастливое удушье...

Прохаживаясь, Никита рассеянно окидывал взглядом аэровокзал, естественно, попадала ему на глаза и полустеклянная кабинка кассы. На расстоянии он видел каштановые волосы. Волос было много, под ними ничто не просвечивало, они не разделялись на жидкие ручейки, прямая их волна падала на плечи и на плечах заворачивалась крупным ленивым завитком. Челка была и накленные ресницы. Лицо, руки не особо загорелые, конечно, учитывая юг. Ну да ей когда же, ей только по выходным и загорать. А потом, местные — Никита это заметил — за загаром не гонятся.

Хвоста у кассы пока не было, выстраивались человека четыре-пять, а случались интервалы, когда и вовсе никого. В эти интервалы девушка немного отодвигалась

вместе со стулом от рабочего стола, челка свисала, закрывая лицо,— читала, книга на коленях.

«Детектив,— решил Никита,— с утра пораньше, да на работе — не стихи же? Если детектив, может здесь и не сработать мой Мандельштам».

Но в целом облик кассирши его как-то обнадежил. Грива с завитком, челка, ресницы. Неужто не законтачит?

До прибытия самолета из Москвы, когда Никите придется бежать встречать, осталось минут двадцать, у кассы трое, самое время.

Никита подошел, встал последним, положив руку с книгой на узенький барьерчик и оперевшись на него. Томик не толстый, очень удобно постукивать в задумчивости корешком по дереву, благо звук мягкий, не раздражающий. Из книги торчит обрывочек газеты, читал человек, что-то отметил, заложил для памяти чем пришлось. Джинсы наимоднейшие, со львом, зато волосы вполне ортодоксальные, словом — на любой вкус. На ремне фотоаппарат не из дешевых. Многие девушки о фотоделе понятия не имеют, но в стоимости аппаратов прекрасно разбираются.

Книга, которую читала девушка, лежала сейчас на столе слева от нее, недалеко от Никиты, раскрытая. Книгу не прятали, несмотря на рабочее время. Было заметно издалека, что текст не сплошь покрывает страницу.

«Стихи», — приободрился Никита. Однако, когда двое пассажиров отошли, продвинувшись, Никита рассмотрел страницу, узнал домики квадратных корней. (Еще бы не узнать! Недешево обошлись ему в десятом классе эти клятые корни.) Длинные и короткие черточки, опрокинутые буквы в компании с цифрами. Учебник алгебры!

«Стихи горят»,— окончательно и бесповоротно решил Никита, но что делать — не убирать же обреченный томик! Последний перед ним пассажир ушел, и Никита оказался перед окном кассы.

Однако рука его с Мандельштамом, естественно, несколько выдвинулась из-за пассажира, очутилась перед кассиршей раньше. Закончив расчет, кассирша скользнула взглядом по обложке и, Никита видел, прочла текст. Отметила крестиком проданное место на лежа-

щей перед ней схеме салона самолета, и, прежде чем приступить к обслуживанию пассажира, еще раз, уже с интересом, взглянула на книгу.

Потом обратилась к пассажиру лицом.

Они глаза в глаза посмотрели друг на друга. И показались друг другу прекрасными. Оба от неожиданности растерялись, но каждый заметил только собственную растерянность, поэтому рассердился на себя и ощетинился на другого. Со стороны можно было подумать, что эти двое сейчас начнут ссориться.

К чести Никиты, он первым вышел из состояния некой невесомости. Он не спеша положил оба локтя на прилавочек перед кассой, наклонился к окошку, пальцы сплетены на книге. Полуулыбаясь, кивнул на алгебру.

— Неужели и после выпускного вечера потягивает?

— Выпускной вечер у меня был два года тому назад,— ответила девушка резко, с некоторой досадой. Ну да, в юности всегда хотят казаться старше, но Никита не комплимент делал, он действительно посчитал, что ей восемнадцать, и подумал еще: как это ее со школьной скамьи допустили на такое материально ответственное дело?

— Тогда совсем непонятно. Разве учебник не за десятый класс?

— Это вообще не учебник, но мне непонятно, почему это вам должно быть понятно? Вы что, из приемной комиссии?

Она хотела съязвить. Не вышло. Она еще не оправилась от смущения, и поэтому глаза ее злели с каждым словом.

Ресницы оказались не наклеенными, даже не накрашенными, они сами по себе были такие густые, загнутые кверху чуть не до самых бровей. А глаза, глаза с синеватыми белками — хмурые, черные полумесяцы рожками вниз. Кроме них, Никита так ничего и не увидел и оторваться от них не мог.

— Нет,— сказал он серьезно, покачав головой.— Я не из приемной комиссии. Я со второго курса.

Никита сказал это так непритворно просто, что девушка простила ему впечатление, которое он на нее произвел.

— Куда вам? — уже добрее спросила она.— Раз студент, значит, скидка. Давайте студенческий билет!

В ее интонации явно выразилось уважение к праву на скидку. Не громовская издевка над путевкой соцстраха.

Девушка ждала, ждали полумесяцы над махровыми ресницами-венчиками. Никита подумал, что на нее можно смотреть не отрываясь и бездумно, как на море...

Но думать надо, и быстро, потому как студенческого билета нет. Не пришло в голову, что может понадобиться...

На счастье, какая-то женщина подошла к окошку.

— Я сию минуту, я сейчас,— торопливо проговорил Никита и быстрым шагом, почти бегом ринулся к потоку пассажиров, проходивших через аэровокзал к выходу в город. Пристроившись, он вышел вместе с ними на привокзальную площадь. Оглянулся. Нет, кассирша не могла его видеть, да и зачем ей за ним следить?

Итак, студенческий билет не предусмотрели. Как быть? Ссылка на потерю непристойно примитивна.

Никита раздумывал недолго. Все, что касалось, жизни студенческой, ему нетрудно было вообразить. Пусть он проехал по своему билету, а отсюда заказным послал его в Москву товарищу, который только собирается поступать. Он и ждет. Побежал он сейчас, потому что показалось — знакомый голос. Но это пассажиры с другого рейса. А в кассе он хотел узнать, за сколько времени заказывать и бывает ли, что остаются от чьей-нибудь брони...

Никита остался доволен новорожденной версией, но ему никогда не приходилось путешествовать в каникулы, а потому он не знал, что студенческая скидка только во время каникул и существует.

Он вернулся в аэровокзал. У кассы несколько человек. Очень хорошо. Он опять смирненько встал в очередь. Кассирша заметила его, еще раз взглянула. Никита чуть улыбнулся, все-таки они уже немного знакомы. Никите показалось, она хочет ему что-то сказать, и он не ошибся.

Быстро обслужив тех, кто стоял перед ним, она перебила Никиту, едва он собрался изложить ей историю со студбилетом.

— Вы извините меня,— сказала кассирша.— Я совсем забыла. Ведь студентам скидка-то только в каникулы. Так что давайте полную стоимость. Вам куда?

— И вы извините меня, что я по второму, так сказать, разу. Но я тут товарища встречаю...— Конец версии остался пригоден. Получив ответы на все свои вопросы, Никита легонько вздохнул.— Вот станете сами студенткой, тогда и о скидке помнить будете,— сказал он с укоризной.

— А я уже стала! — вдруг вырвалось у нее.— Мехмат МГУ!

— Ни себе чего! — Никита искренне, до глубины, как говорится, души поразился. Такие ресницы, такие волосы — и вдруг математичка.— Как это вас осенило? — с той же подлинной заинтересованностью спросил Никита. Вот непредугаданный «островок совпадения»! Чтобы такая девушка из такого города сдавала именно на мехмат. Это не в образе. Ей бы в какой-нибудь ГИТИС.

Никита так и сказал. Она полупрезрительно пожала плечами, но упоминание о ГИТИСе ей не было неприятно.

— Вы все равно не удержитесь на вашем мехмате. То есть я не хочу сказать, что вас отчислят,— спохватился Никита.— Просто вам самой надоест. Это же сушь бесчеловеческая.

— Это же глупость несусветная! То, что вы говорите.

Она рассердилась, обиделась за свою математику и повысила голос. Из соседней стеклянной клеточки ее ровным голосом напоминающе окликнула пожилая женщина:

— Лида!

Девушка покраснела, опустила голову, благо очереди к кассе не было, и занавесилась челкой.

— Вы меня, пожалуйста, извините,— тихо и серьезно сказал Никита.— Я отвлек, да вам же и влетело.

Из-под челки показались черные полумесяцы.

— Ладно,— сказала девушка.— Переживу.

— А почему вы не сразу на мехмат? Два года все-таки сомневались?

— Два года не проходила по конкурсу.

— А почему...

— Молодой человек! — На сей раз голос из соседней кабины, уже несколько раздраженный, адресовался к Никите: — Кассирша — лицо материально ответственное,

имеет дело с деньгами. Хорошо бы вам ее от работы не отвлекать.

А девушка? Девушка промолчала, снова укрывшись спасительной челкой.

Никита вздохнул громко, отошел и сел в кресло для ожидающих, так, чтоб из кассы его можно было увидеть. До прихода самолета из Москвы еще оставалось время.

Никита думал, что же предпринять. Разумеется, сделано очень много (главное, девушка не поддержала выговора пожилой тетки), но все же знакомство еще не затверждено.

Девушка хороша, в курортном городе к ней, надо думать, каждый день набиваются со знакомствами, но Никита решил не отступать. Он и сам не предполагал, что ему придется так по душе задание шефа. Тем не менее — как дальше действовать? Скоро придет самолет, он никого не встретит, а дальше?

А дальше произошло нечто, на что Никита, честно говоря, не рассчитывал. Да, пришел самолет. Да, он никого не встретил, хотя тщательно проверил, стоя у выхода, всех прибывших. Снова вернулся в аэровокзал к часам и расписанию, уже сомневаясь, уместно ли будет ждать следующего рейса: слишком большой получался разрыв во времени. Опять уселся в надоевшее кресло, открыв Мандельштама и раздумывая, что предпринять.

И вдруг услышал над собой уже знакомый голос:

— Вы не обижайтесь на нее. Ее хлебом не корми...

Никита вскочил. Черные полумесяцы смотрели на него снизу вверх настороженно, готовые к самозащите. «Не воображай, пожалуйста. Я подошла просто потому...»— можно было прочитать в них.

— Нет, нет, что вы! — поспешно успокоил их Никита.— Я все понимаю. Честное слово, я ничего плохого не думаю. В конце концов, она же права,— вспомнил он наконец о тетке из соседней с кассой клетки.— Пойдемте отсюда,— сказал Никита решительно, догадавшись наконец, что у девушки обеденный перерыв.— Где бы тут перекусить? Я с утра голодный. Все встречаю его, а он все, негодяй, не летит.

Они вместе вышли из аэровокзала. «Теперь все,— успокоенно подумал Никита.— Теперь только обменяться именами, и — все».

На открытой веранде под полосатым тентом знакомая девушка официантка усадила их за рабочий столик. Как и всюду в этом городе, свободных мест в кафе не было. Как и всюду, люди забавно различались цветом кожи: гордые загаром уезжающие и вновь прибывшие, до голубизны бледные «дикари». Счастливые обладатели путевок уже разъехались по домам отдыха и санаториям.

Здесь кормились и служащие аэровокзала. Несколько человек поздоровались с девушкой, с ничтожной долей любопытства оглядев Никиту.

Никите показалось, что любопытства недостаточно, и эта мысль была ему коротко неприятна — значит, кассиршу часто видят с новыми людьми? Ведь в таких городках все всех знают.

Они ели яичницу и пили кофе с булками. Никита не ощущал в девушке ни развязности, ни смущения. Наверное, она так же держалась бы с Борко. В конце концов, Никита усомнился: и в первое-то мгновение встречи уж не показалось ли ему, что она смущена?

Ее зовут Лида. С седьмого класса она победитель на областных математических олимпиадах. Да, да, областных, а не районных. Грамоты с олимпиад в приемной комиссии мехмата очень понравились.

Ну и что ж, что она на работе читает «Занимательную математику» Перельмана. Это только гуманитарники думают, что математика не может быть занимательной. Еще вопрос, может ли так покорять людей какая-нибудь литература.

— Что значит покорять? — повторила она вопрос Никиты.— А вот что это значит. Вот жил давно-давно математик Ферма.

— Я знаю. Только не так уж давно он и жил.

— Вы знаете Ферми,— снисходительно поправила его девушка.— Ферми — физика. Ферма жил в пятнадцатом веке. Он был аптекарь.

— Ни себе чего, авторитет в точных науках,— заметил Никита, уязвленный не столько самой поправкой, сколько снисходительным тоном.

— Тогда аптекари были ученые. Но, может быть, вам неинтересно? Вы сами на каком? — поинтересовалась она наконец хоть чем-то, относящимся к Никите. Черные полумесяцы глядели вопросительно и строго.

Любопытно, а если сказать, что да, неинтересно? Согласится она после этого с ним встретиться?

Но Никита благоразумно решил воздержаться от психологических опытов.

— Лидочка, честное слово, интересно,— сказал он и почти не соврал. Очень уж увлеченно рассказывала она о своей математике.— А я, между прочим, с юридического. У нас тоже древности много. Я вам как-нибудь про Беккария расскажу. Ну так что там с Ферма?

Маленький крючок с Беккария не был отринут.

— А то, что теорему Ферма до сих пор пытаются решить. Этих людей так и называют — фермистами. Их, правда, уже и за сумасшедших считают, но ведь это неважно. А важно то, есть ли в гуманитарных науках точно поставленные, точно сформулированные задачи, которые не отпускают людей уже четыре века подряд?

Никита призадумался.

— Нет у вас таких задач! — с торжеством подытожила девушка.— У вас все зыблемо, все меняется, чуть не с погодой меняется.

Этого Никита уже не мог потерпеть:

— А у вас? Если по теории относительности, так вообще ничто твердо не существует. Сейчас блондин, сейчас брюнет!

— Какие-то странные у вас сравнения...— начала она, но в эту минуту две женщины проходили мимо них к выходу. Одна из них тихонько позвала: «Жук!» — и, когда девушка оглянулась, постукала ногтем по стеклу часов.

— Да, да,—кивнула ей вслед девушка, тоже взглянула на часы в широкой кожаной сбруе и мгновенно уплела остатки холодной яичницы.

— Боитесь, характеристику в МГУ не дадут? — спросил Никита, несколько задетый тем, что в эту минуту его собеседница явно была больше озабочена яичницей, нежели новым знакомым.

Она доела, обтерла рот бумажной салфеткой. Теперь только он рассмотрел и рот. Губы пухлые, даже толстоватые. На репродукциях гогеновских картин у таитянок он видел такие. Она положила на стол деньги и поднялась. Он — за ней.

— Ничего я не боюсь,— сказала она, когда они уже

подходили к вокзалу.— Я просто подводить не хочу. Я дорабатываю, пока новую кассиршу подыщут, а то бы мы с мамой на Украину к деду уехали.

— Вы долго еще будете дорабатывать? — как можно равнодушнее осведомился Никита, побоявшись в лоб попросить у нее адрес. «Островок совпадения» между тем разрастался в материк.

Девушка поднялась на первую ступеньку, они стали сейчас одного роста.

— Неделю, ну, две — сказала она.— Больше я просто не смогу. Мне ж собраться надо. За общежитие когда полагается вносить?

— Загодя,— решительно ответил Никита, хотя понятия об этом не имел.— Загодя вносят и оформляют.

— Ну вот видите! — озабоченно сказала девушка и заторопилась, как будто сейчас в стеклянной клетушке будет вносить и оформлять. Даже не попрощалась. Не очень-то вежливо. С головой утопла в математике, что ли?

Но как только она повернулась к нему спиной и пошла вверх по лестнице, Никита злорадно хмыкнул: «Нет, милая, не вся утопла. Ноги торчат. Из-под такой юбки торчат, что уж короче и желать нечего. Ноги приличные, ничего не скажешь, так ведь не все, что прилично, и показывать». Никита подумал, уж не свалял ли он дурака, не развесил ли уши. Может, этого Ферма надо было энергичнее побоку?

Когда ноги с плиссированной оборочкой из-под свитера скрылись за дверью, Никита вернулся к действительности и решил, что все в порядке. Знакомство завязано, по крайней мере неделя впереди, повод для посещения вокзала — встреча не прилетевшего сегодня приятеля — может быть использован в любой день. Ну, а что до дальнейшего, то Михаил Сергеевич запретил отсебятину.

Никита посмотрел на часы. Ему тоже пора на работу. Пусть Громов не думает, что он лодырь-неумеха, не сумел девку охмурить.

В автобусе с открытыми окнами жара не ощущалась, был удивительно душный, пахнущий морем и цветущими маслинами вечер.

Никите думалось: никогда он не привыкнет к красоте этой удивительной земли, к цветам и запахам к

морю и небу. Было только немного грустно: вот он приехал сюда впервые в жизни и не может вдосталь насладиться увиденным, не может просто смотреть на море, дивиться морю и больше ни о чем не думать.

Думать надо. Никиту беспокоил Шитов. Очень уж жался к нему этот истеричный Барон. Никиту даже брало сомнение: да он ли побывал у Вознесенских? Пусть хоть на двух женщин, но все-таки наставить пистолет — для этого надо иметь хоть каплю воли.

Но собаку убил, несомненно, он. Не может быть такого количества совпадений. Что же случилось с ним после убийства собаки?

Тоже диковато с непривычки — Михаил Сергеевич рядом, а не спросишь. Очень бы интересно узнать, как они расценили последние сведения от Никиты.

Снова сквозь левую стеклянную стенку автобуса море то виднелось в просветы сквозь заросли, то исчезало, и зеленая чаща казалась бесконечной, непроницаемой. Никита ехал к Громову, а Вадим в это время беседовал с пожилым спокойным человеком, директором ресторана-веранды, где с сегодняшнего вечера предполагались выступления бригады Громова: Шитов, Никита и трое настоящих, ни о чем не подозревающих музыкантов.

Лобачев просил еще несколько дней не выпускать их на эстраду. Не отказывать, но и не выпускать. Директор оказался не из любопытных, поглядев документы Лобачева и местных его коллег в гражданском, излишних разъяснений не потребовал.

— Это можно,— сказал он.— Меня по ряду чисто деловых обстоятельств это даже устраивает. У меня вообще создалось впечатление, что Громов не очень заинтересован в своей бригаде. Сам-то он человек и опытный, и серьезный.

Сказав так, директор взглянул на Лобачева, Корнеева и тех, кто были с ними. Директору и в голову не приходило, что сомнения может вызывать сам представитель Москонцерта.

— Случайные какие-то у него люди,— продолжал делиться наблюдениями директор.— Ну, у баяниста хоть документы есть, действительно работает баянистом. И музыкальные инструменты у него ценные, видно, не голодранец и музыкой интересуется. А вот гитарист —

какой-то несерьезный. Прямо скажу, подозрительный. Ну пусть ты даже и студент, так и быть, но ведь на гастроли же едешь, неужто не мог волосы отпустить? Только и заслуги, что не пьет. Побросает их Громов, помянете мое слово, вот тогда они запоют.

Насчет неразглашения — так директор не вчера родился, все понимает, все будет в ажуре.

— Вот видишь, и у директора впечатление, что вся эта музыкальная эксцентрика самого Громова мало интересует. И Никита так считает,— сказал Корнеев.

Опять они с Лобачевым сидели, колдовали-прикидывали, совсем как в Колосовске. Только сидели они за городом, на пустынном участке берега, куда не дотянулись еще щупальца строительных организаций. Берег здесь был пуст и чист, не загажен бумагами, объедками и окурками. Море без буйков и пока еще даже без прогулочных теплоходов, которые через какой-нибудь час начнут оглашать окрестности пронзительными воплями громкоговорителей. В тишине и сверкании, подрумяненный солнцем, бесшумно входит в порт величавый белый лайнер.

Несколько минут, забыв о Громове и директоре, полюбоваться небом, морем и лайнером — вот и все, что они могли себе позволить. Но оба были старше, опытнее Никиты, а потому их не тревожили мятежные мысли о том, что и под благословенными черноморскими небесами им нет места на веселом карнавале отпускников. Что же поделать, коли существуют странные закономерности: трупы, как правило, обнаруживаются после полуночи, преступлений больше совершается летом, а прокучивать награбленное преступники предпочитают на юге.

— Но Громов не кутит,— заметил Вадим.— Он скорее производит впечатление чем-то озабоченного человека. Пока не ясно, зачем он их сюда привез. И кассирша пока не ясна. Сегодняшняя встреча Никиты с Громовым должна что-то дать. Кому Шитов магнитофон продает, выяснили?

— Уже продал. Не только магнитофон. Он же Никите соврал. Вот протокол. Ребята тут орлы.

Корнеев достал из курортной сумочки с полотенцем заложенную в книгу бумагу.

«Протокол опознания личности... сего числа гр-ну

Сороке предъявлены три фотокарточки граждан под условным обозначением 1, 2, 3 для опознания... «У номера второго я купил магнитофон «Мрия» и приемник. Только одет он был иначе».

Вопрос. Как и при каких обстоятельствах приобрели приемник «Шарл» японского производства? Давно ли знаете хозяина, как был одет?

Ответ. Не знаю совсем... у комиссионного магазина... я поехал за деньгами... двести восемьдесят... приемник имеет номер 070506...»

Была и расписка Сороки, что обязуется сохранять...

— Чем ты тут, между прочим, интересуешься? — спросил Вадим, когда Корнеев заложил протокол обратно в книгу.

— «Определитель растений» Нейштадта. Формат удобный, большой, что хочешь заложишь. Толстая, в командировках платки носовые гладить удобно. Постираешь под краном, чуть просушишь на батарее или на солнышке, на ночь в книгу, утром — как из-под утюга. Ну и, на худой конец, эрзац снотворного.

— Гениально, Миша! — почтительно восхитился Вадим.— Мы женатики, все развращены, конечно.

Определитель лег под полотенце. Вернулись к раздумьям-заботам.

— Продает Шитов за бесценок,— размышлял Вадим, глядя на красавец теплоход, исчезающий за молом.— Почему он так торопится?

— Вероятно, Громов может наложить лапу. Деньги скрыть легче.

— Точно,— Вадим кивнул.— И совершенно ясно, что отношения у них плохие. Более чем плохие. Вдвойне не ясно, зачем он их сюда привез? Шитов его боится, зависит от него, смотри жалобу Никите на долги. Шитова Громов третирует при посторонних, он недоволен поведением Шитова после убийства собаки. Собаку, несомненно, убил Шитов, но зачем? Глухая, беззубая, не злобная собака. Они не могли этого не разведать. Громов предпочитает Шитову Ивана, со связями, с «культурой». Шитов считает, что его роль значительно более важна...

В отличие от Никиты, ни у Корнеева, ни у Вадима и минутных сомнений не было в том, что Шитов-Барон и есть человек с бородкой. Сходство с фотороботом,

с портретом, изготовленным по показаниям свидетелей, тоже надо уметь улавливать. Для Никиты в живой практике это был первый случай, а их опытному зрению сходство сразу показалось разительным.

Живого Шитова Вадим увидел в том самом ресторане, с директором которого они связались. Вадим не нашел в лице несоответствия черт, он споткнулся о несоответствие выражения: ни приподнятости, ни прорыва, какая-то жалкость, суетливая неустойчивость, сдобренная тщеславием. Как флюгер, всякий ветерок его колыхал. На чьи-то шаги он обернулся с такой поспешностью, что опрокинул чашку с кофе.

Еще он напомнил Вадиму шлак. Где-то в глубине, тяжелая и невидная, медленно течет сталь, а поверх бежит шлак, и такой он быстренький, легонький, лишний...

Иногда Шитов словно вспоминал какую-то роль, ему не дающуюся, и можно было понять прозвище — Барон. Но роль ему действительно не давалась. Он надувался, важничал, однако тут же в забывчивости сникал, как резиновая игрушка с вытащенной пробкой.

При обыске в квартире Громова был обнаружен мужской плащ-болонья, который предъявили матери Шитова, и она опознала его. В коричневом чемодане под ворохом всевозможных бланков Москонцерта нашли кисть, о которой на бланке сказано со всей непредвзятостью: «Кисть на деревянной ручке, на рабочей части имеется след бесцветного высохшего вещества, в котором имеются волосы».

Не слишком художественно, зато точно. Вот когда эксперты дадут свое заключение, тогда можно будет сказать: кисть со следами клея, которой, скорее всего, приклеивали Шитову бороду.

Много лет назад, присутствуя при разговоре Вадима с Борко об одном сложном законченном деле, тетка Ирина спросила:

«Но ведь вам все было ясно. Почему же нельзя арестовать?»

Относительно Шитова ясного вроде набиралось достаточно. Но ведь в ходе следствия, в обвинительном заключении для суда каждый факт, каждое утверждение следователя должно быть подкреплено неоспоримыми доказательствами.

Найден плащ у Громова? Ну что ж, они встречались. Убийство собаки? На «странные», как говорит свидетель Емельянов, деньги купленные, за бесценок проданные дорогие вещи? Да, тут уже теплее, много теплее. Потому они и охотятся за этими вещами и пришивают к бумаге их путь.

Но самое, пожалуй, основное — нет еще подхода к Громову, а в том, что он центр и главная направляющая, не сомневался уже никто из имеющих отношение к колосовскому делу.

Сама однокомнатная квартира Громова зияла необратимостью, хотя следов людского пребывания в ней было предостаточно. На столе без скатерти розовая груда креветочных объедков, целлофан с колбасы, бутылки из-под «Экстры» и коньяка. Чернова не соврала, Громов поил гостей не дешевым. На низком квадратном диване плед мохнатый, дорогой. Вместо подушек надувной резиновый матрас в самодельной наволочке из цветастого ситца.

В этой квартире не жили, в этой квартире пребывали какое-то потребное время. Никого не огорчали пятна томатного соуса, с пьяных рук испортившие чистую стену. Никто не радовался просторной лоджии, превращенной в склад стеклотары.

Странное чувство вины перед строителями испытал Вадим в этой загаженной, оскорбленной пренебрежением к ней, новенькой чистой квартире. Ее спешили строить, стремились сделать удобной и красивой, она предназначалась людям.

Любой зверь заботится о своей берлоге, согласно своему пониманию; рецидивист-вор, рецидивист-грабитель не знает чувства жилья. Жилье для него всегда временно. Это странно, если учесть, что преступник непременно надеется на удачу. Иначе он, может быть, не шел бы на преступление.

В коричневом чемодане лежала книга, в этой ситуации позабавившая Вадима. Серьезный труд доктора юридических наук Крылова «Как наука помогает раскрывать преступления».

Корнеева же книга привела в состояние сдержанного бешенства.

— Тоже мне дитя века, первенец научно-техниче-

ской революции! — проворчал он, косясь на понятых, чтоб не выразиться покрепче.

В кухне под раковиной, где полагалось бы быть помойному ведру, нашли скомканное направление к врачу в гинекологический кабинет, выданное гр-ке Волковой Р. Очевидно, Волкова бывала именно здесь. На материнской даче она вряд ли котировалась.

— Корнеич, до каких пор и когда вообще проступают пятна у беременных? — спросил Вадим. Лайнер скрылся за молом, море было сверкающе чистым.— У Галки никаких пятен не было. Не ясно, почему Волкова не сделала аборта? Младенец вряд ли их обоих устраивает.

— С пятнами милостью божьей дела иметь не приходилось. А что, если она, обалдев полностью, думает его этим привязать. Тогда легко понять, почему он на нее зол.

— Не только это,— сказал Вадим.— Не забудь, Волкова спросила Краузе о цене иконы и картины. Громов в присутствии Никиты попрекнул ее этим вопросом. Значит, не забыл.

Потом они оба так и этак прицениваются к Ивану, Ивану с «культурой», Ивану со связями. По всей видимости, в городе на море его не было, так или иначе он показался бы на поверхности. Вполне вероятно, что Иван и был искомым четвертым, тем, кто проторил путь в деревенской путанице дома Вознесенских и точно определил ценную икону среди других образов киота. Слова Шитова о связях Ивана вполне могли означать, что именно Иван сбыл похищенное.

Ложилось все довольно ловко и в цвет, если не считать, что пока оставалось неизвестным, кто Иван, где он и даже — имя ли это или кличка.

— Шитов может этого и не знать,— говорил Вадим, выстраивая пирамиду из камешков.— Шитов при Громове на вторых ролях, хотя он почти наверняка непосредственный исполнитель. Иван — на первых. Шитов Ивану завидует...

— Из Москвы пока ничего,— вздохнул Корнеев, следя за зыбкой пирамидой. Ненадежное сооруженьице, больно уж камни обкатаны.

И Вадим знал, что из Москвы пока ничего.

Как только Никита сообщил об Иване, они просили Москву ускорить получение сведений об Иванове, кото-

рый сидел вместе с Громовым, а ранее привлекался по делу... Москва пока молчит. Но не сквозь землю же провалился этот Иванов. Найдут.

— Ладно, пошли,— сказал, поднимаясь, Вадим.— Сегодня Никита в аэропорту, потом у Громова. Эта встреча должна что-то прояснить. Хотя бы в отношении кассирши. И в отношении Никиты. Зачем Громову Никита?

Корнеев искоса взглянул на Лобачева, несколько шагов они прошли молча, оскользаясь на крупной гальке.

— Я думаю, и это должно проясниться,— сказал Корнеев.— С кассиршей Громов Никиту торопит. Слушай, а не дать Никите роздыху вечерок? Пусть к Ирине Сергеевне сходит. А то я боюсь, с непривыку не приустал бы парень. Она его расспрашивать не будет?

— Ну что ты! — успокоил его Вадим.— Старуха благовоспитанная, но вообще-то, Корнеич, не опекай его. Честное слово, я на него надеюсь. У вас когда свиданка?

— К живописцу? Завтра.

Громов Никиту ждал, и ждал с нетерпением. На стук в дверь он отозвался тотчас. Наверно, он ходил по комнате, потому что встретил Никиту стоя, руки в карманы брюк, белая тенниска низко расстегнута на груди; высокий, очень прямо держащийся человек. Никите вспомнились слова в одном из протоколов: «Ходит как струна». Действительно, трудно представить себе этого человека сгорбленным, размагниченным. Сила есть, в силе не откажешь.

— Ну как? — сразу спросил Громов.

А Никита держался поленивее. Спешить ему некуда, на крайний-то случай стипендия идет, а день жаркий, а вместо того чтоб на пляже, он в этом чертовом аэропорту протолкался...

Он вытащил платок, из которого-то по счету кармана на джинсах, обтер лицо, шею. Тут только заметил нетерпение в хозяйских глазах и сразу подтянулся.

— Все в порядке, шеф. В обеденный перерыв пили кефир, вместях, удвох, как говорят хохлы. Зовут Лида, кличка Жук. Сдала экзамены на мехмат МГУ.

— Молодец! — коротко сказал Громов. Быстро подойдя к Никите, он легко похлопал его по плечу жестом барственным, как рублем подарил.— Садись, друг, орлов кефиром не поят.

И вот уже появился на столе коньяк, фрукты, розовая ветчина, хлеб и сардины. На подоконнике под салфеткой яства ждали и дождались своего часа. Никита почувствовал, что голоден, как бездомная собака, не заставил себя упрашивать, уселся к столу и принялся есть.

Минуты две или три в номере было совершенно тихо, если не считать приглушенной музыки с балкона, в соседнем номере работал транзистор. Первой рюмкой Громов чокнулся за успех общего дела, и теперь полегоньку потягивал коньяк, с удовлетворением глядя на жующего Никиту.

— Как работаем, так и едим,— сказал Никита, изрядно поубавив снеди на тарелках. Шеф доволен. Можно и похвастаться.

— Ну, теперь расскажи по порядку,— попросил Громов.— Какое впечатление, удобно ли тебе подкатиться вторично?

— Все так, как ты сказал, шеф, но много сверх того. Девка трудоемкая. На работе читает «Занимательную математику» Перельмана, на стихи ноль внимания.

— Какими ты там стихами размахивал?

— Мандельштамом. На черном рынке восемьдесят ре!

— Дурак ты! — беззлобно сказал Громов.— У таких Вознесенский идет. Главное — не тушуйся. Юбку видел? При этой юбке все теоремы — фиговый лист. Значит, по второму разу подойти сможешь?

— Будь спок, шеф! — Никита рассказал версию о товарище, которого необходимо встречать.

— Молодец! — уже серьезно похвалил Громов.— Черепушка у тебя работает. Ты вообще парень с данными, если не погубят тебя твои тряпки.

— Каждого что-нибудь да погубит,— философски заметил разомлевший от еды и коньяка Никита.

Раздался телефонный звонок, Громов недовольно поморщился.

— Это Инна. Возьми трубку, скажи, что это ты, что меня нет и сегодня не будет, иначе она будет звонить,— быстро, без знаков препинания проговорил он.

Никита поднял трубку и сказал все, как велено. Это была Волкова. Громов слушал с лицом жестким, холод-

ным, как из металла. И еще несколько секунд он думал о ней после разговора. Недобро думал.

— Так вот, Нико! — Громов вернулся к Никите.— Умного человека трудно погубить. Умного человека не зафлажишь. Умный человек знает цену флажкам. Слышал, как на волка охотятся. Натянут веревку с флажками и — хана. Такой мощный зверь, а через тряпку перешагнуть боится.

— Флажки — это, конечно, прискорбно,— согласился Никита.— А только, шеф, когда ж мы играть-то начнем? Инне Шитов сказал, что опять откладывается.

— Сколько бы ты рассчитывал подработать на своей бандуре? — спросил Громов, прикуривая. И прикуривал, и курил, и сигарету держал он картинно. Пожалуй, впервые в жизни Никита видел, как пластичны могут быть такие обыденные движения. У Громова пепел с любой точки бесприцельно, а только в пепельницу слетал.

— Сотни полторы рассчитывал,— наобум лазаря ответил Никита, следя за реакцией Громова. Ну, если он и ошибется, не удивительно, он же первый раз на гастролях. Нет, кажется, примерно угадал.

— Сколько ты уже у меня получил?

— Четвертной. И обед с коньяком. И разницу на джинсы.

— Тебе большая разница, от кого получать?

Никита все-таки замялся. Не надо спешить соглашаться, торопиться подтверждать. Нельзя очень легко даваться в эти руки.

Громов мгновенно ощутил паузу и не повторил грубого вопроса. Понял, что перед ним все-таки не Шитов, колосовский баянист, уже до него опустившийся. Перед ним как-никак студент, сын учительницы, он еще ничем не запятнан, он может еще и не свернуть.

Громов не повторил вопроса, не застолбил паузы. Он встал, сплетя пальцы на затылке, потянулся, вздохнул.

— Все флажки — придуманные тряпки,— проговорил он в глубокой задумчивости, не глядя на собеседника. Почти тоска звучала в его хорошо отработанном голосе.— Подумай, Нико, волк — великолепное, умное существо, а его истребляют только за то, что он съедает овцу, которую человек хочет съесть сам. Экспроприация экспроприаторов... Вор! Презренная, ненавистная вла-

дельцам овец профессия. А знаменитый артист увидел в ней талант, творческое горение.

— Это кто же? — усмехнулся Никита.

— А вот кто,— тихо, проникновенно произнес Громов. Подошел к застеленной розовым плюшем кровати, взял с тумбочки книгу, раскрыл заложенную спичкой страницу.— Знаменитый артист Малого театра Давыдов. Давыдов Владимир Николаич,— пояснил он просто, как будто вчера в очереди за коврами вместе с этим Давыдовым стоял.— Ты послушай, мальчик, как точно, как верно он пишет. Это немного длинно, но ты послушай!

Громов стал читать, грамотно, по-актерски, без дураков.

— «...вдохновение, воодушевление окрылит артиста на сцене, темперамент сделает его образы живыми и убедительными, но только подготовительная работа по заранее продуманному плану дает артисту возможность на глазах зрителя строго контролировать каждый жест, каждый поворот...

Творчество артиста в этом отношении очень похоже на работу вора. Не удивляйтесь странному сопоставлению. Вор пришел, облюбовал, обмозговал, все обдумал и, придя вечером к месту преступления, смело приступает к выполнению своего плана...»

Голос Громова окреп. Он, видно, не раз читал эту страницу. С ходу, не переводя дыхания, этак не прочтешь.

— «...Он с осторожностью, изобретательностью и находчивостью осуществляет свое намерение, но ни на секунду...— Громов поднял правую руку, призывая к вниманию. Книгу он держал в левой,—...ни на секунду не забывается, не увлекается и все время контролирует себя, держится начеку, чтобы не сделать ошибки, чтобы не быть пойманным, и хладнокровно продолжает свою творческую работу...»

Никита был поражен.

— Дай,— сказал он, от удивления даже не слишком вежливо, протягивая руку за книгой. Кто такой Давыдов, он не знал, подумал, не морочит ли ему Громов голову каким-нибудь эмигрантским пасквилем, а потому сразу заглянул в выходные данные.

Так нет же, издательство «Искусство». Хорошо хоть

«творческая работа» вора в кавычки взята. Но вот уж поистине: дураку, а пуще того — подлецу и грамота во вред. Во всей, наверное, хорошей книге выискал же Громов столь пригодные для перелицовки строки.

Громов сел к столу и, потягивая коньяк, с полуулыбкой терпеливо ждал.

— Ну ты же и силен! Ну и силен же ты! — со всею искренностью выдал ему Никита. Книгу он положил на стол и даже отодвинул от себя, как некое живое, чреватое опасными неожиданностями существо. Он играл ошеломленного. Его ошеломила книга, не Громов. Громов — что. Он просто первый открыл то, что и сам Никита мог бы открыть... Не что-нибудь, интеллект, творческое начало...

— Да уж, о милиции такими словами не напишут, — сказал он, все еще поглядывая на книгу и машинально — он еще не пришел в себя! — выпивая поданную ему рюмку.

Громов расхохотался.

— Они же роботы, роботы, запрограммированные на мертвую хватку профилактики. Какая может быть профилактика, если на любом предприятии существуют выносные дни?

— Что за выносные, шеф? — спросил Никита, внутренне напрягаясь.

Сейчас он опять выходил на самый опасный для него рубеж. Как в те минуты, когда Громов уничтожал за столиком шахтера.

— Выносные дни — это когда так называемые честные люди выходят, к примеру, Яноша Кадара встречать. Тут их вахтер не осматривает, и каждый выносит что кому надо.

Громов захохотал. Никита похихикал. Он все же держался на полшага, а то и на шаг позади. Ведь для него не шутки, для него поворотик немаловажный. В недотепу играть поздно, ему и посомневаться впору и самое время прощупать, что — от чего и что — почем.

Вот он и задумался, оборвав веселое хихиканье.

Громовский смех растаял как дым, и Никита засек мелькнувшую в его лице тень недоброй тревоги. Конечно, пока еще с Громова взятки гладки, и он уверен в этом, но какая-то ниточка уже в узелок завязывалась, а узелки ему сейчас рубить не ко времени.

— Роботы-то роботы, а вот выскочит какой-нибудь Мартовицкий, и — прощай тугрики! — решившись, сказал Никита и прямо поглядел в глаза шефу. Да, он не Шитов-дуралей, которому сдохни да подай прокукарекать с эстрады. Он не заполошенный какой-нибудь, чтоб очертя голову по дешевке... А вместе с тем ничего особого и не сказано, хоть бы кто и послушал. Насчет критики порядков да над милицией посмеяться, как теперь хипежники считают,— это в моде, теперь только ретрограды порядки хвалят, хвалить — дурной вкус.

Ничего особого между ними не было сказано, и вместе с тем было сказано все. Расчетливые сомнения «Барахольщика» — Никита узнал от Шитова, что именно этой кличкой припечатал его шеф,— именно эта явно не морального порядка нерешительность освободила Громова от последних сомнений на его счет.

Деловым движением придвинувшись к столу, Громов отстранил ненужные более мемуары Давыдова, налил рюмки свою и Никиты, но пить не стал, воздержался, естественно, и Никита. Лицо Громова сейчас было очень близко. Он загорел, на темной коже резко выделялись до неприятного светлые глаза. Никита понимал, что контраст этот впечатляет, на Громова, наверное, оглядываются даже в городе, где все кажутся красивыми, потому что все отдыхают и всем хорошо. И все-таки не мог избавиться от мысли, что такие глаза — у спрута. Где-то вычитал он, что у осьминогов глаза совершенно похожи на человеческие.

— Слушай,— сказал Громов.— Слушай меня! Случайность этот Мартовицкий, чистая случайность! Хилый дурак спьяну напоролся на пулю. Говорю тебе точно. Знаю из первых рук. У меня дружок в ростовском горотделе. Да и какой же идиот доводит дело до уличной стрельбы? Головой надо думать. Они бы еще гаубицу на проспект выкатили. У меня, слава богу, серое вещество работает. Я не сторонник шумовых эффектов: воюют не шумом, а уменьем, ясно тебе?

Он был трезв как стеклышко. Он умел убеждать. Холодная ненависть заполонила Никиту, как только он услышал подлые слова о Мартовицком, том самом Мартовицком, который с голыми руками вышел наперерез вооруженным бандитам, погиб, но помог задержанию.

«Врешь, мерзавец, парень не был пьян, и не случайно он напоролся на пулю!»

Мартовицкого Никита видел только в газете. Фото видел, самого Мартовицкого уже не было. Он показался похожим на Аксакова со слета, хлипкого, могучего, непобедимо идущего на опытного преступника, которому нечего было терять и которого он задержал, не применив оружия. «Врешь, белоглазый, Мартовицкий не случайность, Мартовицкий — закономерность. Вот чему ты не веришь, вот на чем ты погоришь...»

— Ну, силен ты, шеф! — повторил Никита.

Что ж, все сказанное Громовым должно было укрепить в Барахольщике доверие к нему: голова у Громова действительно работает, в милиции друзья, живет дай бог, сам, видать, не серый.

Последние слова Никиты прозвучали как признание. Он даже выпрямился немного в своем вольготном кресле. Неуловимое такое получилось движение готовности: пошлют — и он пойдет.

Вот теперь Громов пододвинул ему рюмку, сам взял.

— Выпьем, Нико,— сказал он.— Потому спокойно тебя угощаю, что надежно не пьешь. За Шитовым, прошу, поглядывай.— Вспомнив о Шитове, он поморщился.— Ну ладно, о нем потом, а сейчас давай о деле. Дело-то пустенькое одно,— подумав, добавил он. Уверенный, он все еще страховался.— Как раз ростовский товарищ, через него, вернее, кое-кто из местных просил меня проверить как бы со стороны.— Похоже, Громов плел свою нехитрую камуфляжную сеть уже по инерции, для порядка. Ну что ж, если считает нужным, пусть плетет, так даже легче.— Так вот, Нико, встреться с кассиршей. Ты говорил, она поступила куда-то. Когда у них начало?

— Долга песня, шеф. Первого сентября.

Никита не сказал, что девушка собирается ехать раньше. Красная лампочка мигнула, когда Громов о ней заговорил.

— Их там, говорят, до занятий на картошку гоняют?

— На картошку — это позднее. И первый курс не гоняют.

— Смотри не упусти. Версии твоей с приездом товарища ненадолго хватит, поэтому форсируй. С умом, но форсируй. Узнай примерную сумму ее выручки. В какое время дня и кому сдаются деньги...

Громов ставил вопросы и следил за реакцией Никиты. Ну что ж, Барахольщик, конечно, еще не чета шефу, но и у него серое вещество имеется. Если громовский «друг из милиции» проверочку хочет делать, пусть делает. Никите все это до лампочки. Не все ли ему равно, о чем с девочкой, которая ему нравится, для начала болтать.

— Бу сде, шеф,— сказал он.

— Ко мне пока не ходи. Позвонишь из автомата. Если затянется разговор, оборвешь, дескать, помешали тебе. Позвонишь из другого. За Шитовым последи, чтоб до гастролей не спился.

«Все еще страхуется. Как заяц, скидку делает. Хорошо! Поддержим».

— Бу сде, шеф,— повторил он и добавил, чуть помедлив: — Только когда уж эти гастроли... Я ведь проживаюсь...

Вид у Никиты был сейчас не очень уверенного в себе человека. Оно и понятно. Он и так задолжал шефу чуть не целую стипендию.

Громов тоже счел нужным чуть задуматься.

— Ладно, Нико,— согласился он добродушно.— Черт с тобой, Барахольщик. Даю еще полсотни.

Это было щедро. Никита даже не ожидал, расцвел от радости.

— Все будет по чертежу, шеф! — пылко заверил он, принимая две бумажки по двадцать пять все из той же словно не убывающей пачки, еще раз горячо поблагодарил и, по-деловому озабоченный, вышел.

Назавтра они встретились с Михаилом Сергеевичем у живописца, на другом краю базара.

Интересный был этот живописец, живой осколок давно прошедших времен, маленький сухой старик в строгом, потертом костюмчике; несмотря на жару, в высоком воротничке, каких теперь и в холод не носят. Небольшие, маслом написанные творения его в позолоченных самодельных рамочках были развешаны на боковой стенке ларька мороженщицы и разложены на деревянном прилавке. Уголок этот, видно, давно им облюбован и обжит. К нему подходят старушки, такие же старые и старозаветные, как он сам. Они приветствуют друг друга по имени-отчеству, раскланиваются с достоинством, как будто на вернисаже, как будто не прикреп-

лены к каждой картинке бумажные квадратики с обозначением цены — десять рублей, пять. А есть и два рубля! За два рубля можно купить кусочек морского берега, вздыбленную волну в белом воротничке пены и темно-зеленую свечку кипариса.

Грустно стало Никите, когда он посмотрел на эти картинки, на старика. Ведь учился же человек, думал о настоящих выставках, о славе мечтал. Что ж дурного — мечтать о честно заработанной славе? А теперь...

Впрочем, что ж дурного теперь? Картинки дешево оценены их создателем, наверное, больше не дают, но ведь и они несут людям хорошее, память о красоте. Какие б ни были, они — для души. Шахтер с розочкой купит волну с кипарисом, посмотрит дома, зимой, и вспомнит большое живое море...

Корнеев был не в полотняном балахоне — в обычном костюме. Когда Никита подошел, он уже беседовал со стариком довольно живо, даже Ван-Гога поминали.

Никита вспомнил, Михаил Сергеевич недавно хвалился, что достал два томика писем Ван-Гога. Он вообще собирал мемуары и письма. Были у него и объемные тома «Литературного наследства». Корнеев считал, что в воспоминаниях и переписке людские характеры, судьбы, а с ними и время раскрываются достовернее, чем в художественной литературе.

Подумав о корнеевской библиотеке, Никита с обидой вспомнил цитату из воспоминаний Давыдова. Легкомысленно все же мыслил артист! Не соприкасался с блатным миром, среди чистых людей жил, а то бы не влетело ему в лоб сопоставлять святое дело творчества с воровской профессией.

Еще Никита подумал: вот удивится Михаил Сергеевич, когда в Москве Никита расскажет ему об этой цитате.

Да, наверное, только в Москве. А здесь разговор опять, как по морзянке, точки да тире, на ходу расшифровывай.

Корнеев сказал, надо в аэропорт съездить, но разговор вести так, чтоб никто не мог подслушать, интересующих вопросов не задавать. Что-нибудь пусть помешает. Вероятно, это — последняя поездка.

Никита рассказал, что Шитов и Волкова как-то жмутся к нему. Корнеев одобрил. Звонить Громову о резуль-

татах из аэропорта Никита будет не из автомата. Дал адрес.

Нельзя было встречу затягивать, тем более — задавать вопросы. Корнеев в этот раз выглядел внутренне более собранным и настороженным. Ну что ж, они с Вадимом по своему азимуту тоже, наверное, не шагом продвигаются, что-то и у них новое есть.

Так часто бывает. Стороннему человеку может показаться, что в первые часы, а то и дни расследования группа тянет время, мало видимого действия, медленно все идет.

Так кажется, что очень медленно стартует, отрывается от земли ракета. Даже боязно: уж оторвется ли, не сядет ли на свои дюзы?

А она оторвалась, и вот уже и след в небе растаял.

Михаил Сергеевич ушел первым. Никита потолкался еще по базару, прицениваясь к разному барахлу. Хотя Громов не уставал намекать на свои связи с полгородом, Никита не особо в них верил, однако считал нужным все же блюсти свой образ барахольщика. Никогда не следует пренебрегать возможностью даже мелкого случая. Купил платок ковбойский, завязать на рубашке, гаже не нашлось, явный нестандарт.

Настроение было почему-то смутное, хотя, судя по всему, Михаил Сергеевич остался доволен. Указания дал в развитие действий Никиты, а не вразрез.

Никита привык непременно докапываться до истока настроения, если оно было плохим. Выяснив причину, с ней легче справиться. Наверное, он просто устал от Громова, от пьяного Шитова, от этой истеричной Волковой. Позорно было бы сознаваться в усталости даже перед самыми близкими (перед ними особенно). Никита снова обратился мысленно к работе разведчиков. Как они выдерживают! Выдерживают годами... От самокритики и нескромных ассоциаций с глубокой разведкой Никиту оторвал знакомый голос. В задумчивости Никита забрел к торговцам фруктами. Окликал его дед. Перед дедом стояли корзины со сливами, товар выглядел даже привлекательней, чем у других, потому что сливы, видно, собирались в спешке, иные сорваны прямо с зелеными веточками, и свежие, не успевшие пожухнуть листья очень их красят. Тому живописцу впору изготовить натюрморт.

Никита вспомнил живописца потому, что у деда на рубашке был приколот бумажный квадратик с ценой — два рубля. На торговый-то простор вырвался, но с произношением дело было худо: челюсть, по-видимому, осталась у старухи, и даже имя Никиты в обрамлении страшного шипенья сейчас получалось у деда как бы с английским акцентом. Возможно, деда с плакатиком принимали за инвалида, сливы шли ходко.

Никита поддержал коммерцию, купил на рубль слив и зашагал с базара, невольно и полностью освободившись от неприятных мыслей.

В аэропорт, слава богу, ехать только послезавтра, кассирша, имя Лида, кличка «Жук», работает по нечетным.

Гастроли тоже, благодарение богам, отложены. Никита вдруг задержался перед тем, как кинуть в рот последнюю сливу. Ему только сейчас пришло в голову, что за оттяжку с гастролями, наверное, надо своих благодарить. Тут и незаинтересованность Громова определилась, и дорогие инструменты Шитова, спущенные за бесценок, не уйдут абы куда.

Зачем нужна Громову кассирша, гадать после полученного задания уже не приходится. Что и говорить, активен этот любитель мемуаров, без дела не сидит. Михаила Сергеевича интересуют его связи, поскольку Шитова, тем более Волкову, он, по всей видимости, использовать не собирается. Одного Никиты для дела ему явно недостаточно. Кто-то еще у него должен быть. Не всплывет ли Иван?

Покончив со сливами, Никита аккуратно свернул пакет с косточками и честно нес его до урны. Его позабавило, что случившийся неподалеку милиционер, проследив за этой акцией, оглядел Никиту одобрительно, но и с некоторым удивлением. Очевидно, не ожидал дисциплинки от джинсов со львом. Маленький прокол! Это следует учесть.

Сегодняшний вечер Никита решил частично использовать на Шитова, а потом все-таки сделать себе несколько выходных часов, отправиться к тетке Ирине.

Шитов и Волкова действительно тянулись к Никите. Так бывает, когда трое в комнате поссорились и тяготятся ссорой, атмосфера раздражения давит на всех троих. А входит четвертый. Все рады струе свежего воздуха,

потому что он ни в чем не участвовал, ничего не знает, а сам по себе парень ничего.

Шитову, кроме того, льстило участие Никиты в его музыкальных поползновениях, а Волкова, наверное, сама того не понимая, была благодарна Барахольщику за то, что он ее не оскорблял. Она посмотрела на него однажды с удивлением, когда он машинально посторонился, пропуская ее в дверь.

А Никите иногда казалось, что эта молоденькая, но уже имеющая грязное прошлое женщина не безнадежна. И это понятно. Никиту воспитывали на отрицании самого понятия безнадежности. В лице Волковой, когда она в забывчивости задумывалась, несмотря на крашеные длинные волосы и чрезмерный грим, появлялось что-то, что делало ее на фотографии из Суздальской колонии похожей на печального мальчика. Такой показалась она Вадиму, когда он смотрел ее дело.

Если в колонии она сумела произвести на всех хорошее впечатление, нельзя же отнести это только за счет умелого притворства. Притворяться можно день, два, а потом это становится очень трудно. Никита по себе знает. Откуда взяться такой неизменяющей выдержке у девчонки? Скорей всего, она легко поддается влиянию среды. Как вокруг нее, так и она... Ну и, конечно, мужчины, и алкоголь. Сейчас с ней сделать ничего нельзя. Сейчас она раба Громова. Прикажет он — она убьет...

Памятуя указания и Михаила Сергеевича, и Громова, весьма удачно совпадавшие, Никита отправился к Шитову.

К его удивлению, Шитов был почти трезв. У него сидела Волкова, и беседа у них шла на большом накале. Оба срывались на крик, что производило бы впечатление странное, если б за стеной не стоял отчаянный грохот пирушки. Грохот, потому что под монотонный треск магнитофонной записи что есть силы подпрыгивало и отплясывало, как слышалось, множество пар.

— Здорово, друг! — приветствовал Шитов Никиту.— У хозяйкиной дочери рожденье. Я уж с полок хрусталь поснимал, ходуном все ходит. Скажут потом, я побил.

Шумовая какофония за стеной была ему неприятна, слухом-то он все-таки обладал.

— Садись, Нико,— широким жестом пригласил Шитов к столу,— будь гостем!

На нем красовался все тот же купальный халат, он так же играл хлебосольного хозяина, но на столе уже стоял не коньяк, стояла водка, да и не «Экстра», а обыкновенная, и на закусь колбаса не дороже двух тридцати. «Неужто спустили уже и «маг» и приемник? — подивился про себя Никита.— Или Громов все-таки лапу наложил?»

Правда, присаживаясь к столу, Никита заметил на ковре вторую бутылку, порожнюю.

— Наливай, Нико,— сказал Шитов, доставая из серванта третью стопку. Хлеб и колбаса, наструганные кое-как, лежали на одной тарелке, для всех. Разговор за столом, видимо, шел серьезный, пили-закусывали без декораций.

— Инна, тебе хватит. Я же сказал!

Последние слова Шитов произнес с крайней строгостью, однако они только развеселили Волкову. Она откинулась на спинку стула, взмахнула руками. Движения, мимика у нее сделались чрезмерными, грубыми. Никита впервые видел ее пьяной. Сейчас вряд ли бы нашел в ней Вадим черты печального мальчика.

— «Я же сказал»! — передразнила она Шитова.— Тоже мне Барон, тоже мне жлоб! Это ты Машке своей говори!

С трудом и сильно качнувшись, она снова привалилась к столу, но пить больше не стала. Она не Шитова послушалась, она просто забыла про рюмку. Когда она не гримасничала и задумывалась, лицо ее переставало быть противным, все же сказывалась ранняя молодость. Никита вдруг подумал, что от Маринки эту пьяную женщину отделяют всего семь лет.

— Он завел бабу, он завел бабу! Я знаю, у него есть в аэропорту, в аэропорту! — повторяла Волкова в пространство, монотонно, как робот.

— Я тебе сотый раз повторяю, мало ли какие у Жени дела,— видно, действительно не в первый раз втолковывал ей Шитов.— Ну и что ж, что в аэропорту? Билеты ты нам достанешь? Он же достанет. Поди-ка улети сейчас из Южного. За две недели записываются. Не зимовать ведь нам тут.

Волкова так же монотонно, как робот, не кивала, качала головой. Потом вдруг вздохнула в голос «О госпо-

ди!», положила на стол руки одна на другую, прилегла на руки щекой и закрыла глаза.

В комнате стало тихо, если не считать топота и выкриков за стеной.

— Положим ее на диван, что ли? — вполголоса предложил Никита.

— Не надо,— полным голосом сказал Шитов.— Разоспится, куда я с ней? Хозяева предупредили, на ночь не приводить.

— Может, шефу позвонить?

— Жене? Что ты! — Шитов всполошился.— Обозлится. Скажет, чего по ерунде... Давай выпьем, Нико! — сказал он, пододвигая к себе тарелочку с колбасой и хлебом.— С тобой я с удовольствием. Устал я сегодня от этой растяпы. Да нет, она спит. Она может так. На ходу, как лошадь. Мы с тобой сейчас сепаратно...— Шитов оживился, встал, достал из нижнего отделения серванта коньяк, маслины.— При ней нельзя, настучит Жене, что у меня деньги есть...

Вернувшись к столу, он на всякий случай присмотрелся к Волковой.

— Дрыхнет, аж слюни распустила. Грубость какая! Ну и он хорош!

Шитов разлил коньяк, подставил Никите маслины, а сам все-таки взял колбасу, ближе она была его душе.

— И Женя хорош. Ведь завел в аэропорту какую-то кассиршу! — Шитов все-таки понизил голос.— Слышал я один разговор, а уж он зря болтать не будет. Ну, не дурак? — обратился Шитов к Никите за сочувствием.— Ну время ли сейчас, при этой-то,— последовал кивок в сторону спящей Волковой.— Она ведь собака неудержная, грубое существо. Устроит скандал, гастроли провалит, а! — Шитов махнул рукой.— Наливай, Нико! Очень меня эти гастроли тревожат, а Женя не мычит не телится. И зачем только я сюда свои инструменты привез! — высказал он дельное соображение.— Ему — что! Я распродам, а деньги — на всех, и с него взятки гладки. А были б инструменты в Москве, поди достань, фиг вам, чечако! Может, он тогда бы и с гастролями поживей крутился, а то ошивается по бабам.... Пей, Нико!

Волкова звучно похрапывала. Шитов воспрял духом, глаза у него заблестели. Он энергично жевал колбасу и нахваливал Никите свой электроорган, который удалось

ему в Ленинграде купить задешево и которому цены нет, так он хорош.

— Купил я его по рекомендации у одного музыканта. Мы выступали вместе. Не хвалясь, скажу: отлично меня принимала публика. Ну да ты ведь слышал, я же могу...

Громов был далеко, Волкова еще дальше, и Шитов на свободе чувствовал себя сейчас тем, кем мечталось ему стать — артистом, певцом. Ему нужно было подтверждение. И Никита подтвердил.

— Можешь,— проговорил он значительно.— Я слышал тебя. Ты можешь.

— На все жертвы я шел и пойду ради искусства! — воскликнул Шитов. Чувствовалось: он любуется не только своими словами, но и звуками голоса.— Неужели ты думаешь, интересно мне возиться вот с этой...— Последовал полный пренебрежения кивок в сторону спящей Волковой.— Храпит! Храпит, как солдат, чуха подзаборная! Она ведь в колонии была, в Суздальской колонии! — вдруг зашептал он, потянувшись к Никите.— Ты с ней как с порядочной, а она уже сидячая, лагерная! А туда же, на платформы встала! «Ах, оставьте, я сама!»

Он почти паясничал, вымещая на мертвоспящей Волковой свою зависимость от Громова и свой страх перед ним. Он был омерзительно жалок, но не только жалок. Трусливо-злобная собака очень опасна, с ней труднее рассчитать...

Никита наблюдал за ним, время от времени испуская подходящие случаю междометия.

— Она ж, ко всему, беременна? — спросил он между прочим.

— Брюхата,— подтвердил Шитов.— Женька считал, что с ее физиономией пятнистой при случае меньше подозрений. А уж теперь давно бы ей пора... Ну да черт с ней, выпьем, Нико, за искусство!

Он налил. Никита только собрался спросить, для какого дела могла быть полезна пятнистая физиономия Волковой, как она шевельнулась.

С ловкостью фокусника Шитов схватил, сунул под стол коньяк, залпом выпил свою стопку и энергичными жестами понудил сделать то же и Никиту.

Волкова подняла голову, отерла ладонями лицо, привычно не задев ресниц, отягченных тушью, пригладила волосы и села за столом как ни в чем не бывало.

— Дай сигарету,— сказала она Шитову. Голос был хриплый. Она прокашлялась, голос прочистился.

— Закуривай, Инночка,— тоже как ни в чем не бывало сказал Шитов, поднося ей горящую спичку.— Вздремнула ты хорошо.

Волкова взглянула на часы.

— Я пойду,— сказала она.— Я хочу зайти к Жене. Хмель с нее еще не сошел, она, видно, не очень ясно помнила, что говорила при Никите, и на всякий случай силилась подчеркнуть свою как бы значимую близость к Громову. Они все-таки оба живут в гостинице.

— Я провожу тебя, Инночка!

Шитов снял свой купальный халат, надел пиджак, посмотрелся в зеркало. Корректный, благовоспитанный, он любовался собой сейчас, хоть перед Никитой, да играл. Волкова не оценила его любезности, она вся была там, куда направлялась. Тяжелые мысли не покинули ее, просто она немножко протрезвела и лучше могла собой владеть.

Шитов взял ее под руку, они втроем вышли на улицу.

Время не позднее, на бульваре шумно и тесно. В мерцающем вечернем свете пятнистая кора платанов похожа на маскхалаты. Все кругом казалось ненастоящим, как декорация, как Шитов, который, совершенно войдя в роль если не рыцаря, то прирожденного джентльмена, вел Волкову, словно даму, привыкшую к машине и лишь случайно вынужденную пройти сквозь толпу.

На повороте возле белоколонной ротонды — павильона с цветастым частоколом из винных бутылок,— как всегда в это время, теснилось немало любителей, в основном, естественно, мужчин. Шитову бы следовало обогнуть это скопище, но он, увлеченный собственной барственностью, пошел напрямки, время от времени обращаясь в пространство:

— Разрешите... Разрешите пройти...

А один раз он выразился совершенно в стиле девятнадцатого века:

— Друзья мои, разрешите пройти даме!

Никита, идя следом, получал истинное удовольствие от шитовского спектакля, но тут произошло непредвиденное. Необычные словеса привлекли внимание не только Никиты. Кто-то из тех, кого Шитов призывал посторониться, воскликнул без зла, но довольно громко:

— От твоей дамы, мил человек, перегаром несет! Рядом постоять — на огурец потянет!

Грянул хохот. Шитов сорвался и крикнул:

— Посторонитесь! Я же сказал!

Ему ответили. Дальше — больше, и тотчас — в это время, в этом месте, этого следовало ожидать! — раздался милицейский свисток, один, за ним другой.

В одну секунду вывернувшись от Шитова, даже, кажется, ударив его по руке, Волкова ринулась назад к Никите, схватила его под руку и с силой, какую трудно было предположить в довольно хрупкой на вид, да к тому еще нетрезвой женщине, буквально выволокла его из толпы, и насильно бегом утащила в первый попавшийся тихий переулок, и еще, наверное, с квартал вела его быстрым шагом куда глаза глядят.

— Куда ты? — насилу остановил ее Никита.

— Милиция — там, дурошлеп! — прошептала Волкова в лицо Никите. Перегаром от нее действительно несло.— Огребли его, понимаешь? Забрали в милицию!

— Да ведь ни за что огребли! — с удивлением слушая сам себя, возмутился Никита.— И бросили мы его!

— А черт с ним,— сказала Волкова.— Я его не просила. Подумаешь тоже, князь Юсупов...

Словечко было громовское. Ничего в ней не было своего. И человеческого не было. Три человека несомненно связаны общим преступлением. Позднее Вадим размотает грязный клубок и определит место и меру каждого, но связаны все — это факт. Так где же ваша спайка-этика? Где элементарная взаимовыручка? Вы, пауки, еще не в банке, а уже грызете друг друга...

Обогнув квартал, они вышли на бульвар неподалеку от гостиницы.

— Я дойду,— сказала Волкова, выпустив наконец локоть Никиты. Он испытал чувство физической приятности, когда рука его освободилась от ее цепких пальцев.

Волкова ушла твердой походкой. Видно, страх перед милицией вышиб из нее остатки хмеля. Отработан рефлекс, ничего не скажешь. Никита огляделся, ища глазами телефонную будку. Не увидел, вспомнил, что рядом дежурная аптека, и побежал туда. Громову надо было доложиться первым.

На счастье, Громов оказался дома.

— Шеф, Барона огребли,— прикрывая трубку ладонью, вполголоса сказал Никита.

— Ка-ак?

Ох, как забеспокоился! Ох, как забеспокоился!

Никита коротко рассказал ему как.

— Тебя не засекли?

— Нет, шеф. Я и Инку уволок.

— В свидетели не записали?

— Что я, рыжий? — обиделся Никита.

Громов быстро овладел собой.

— Делай, как намечено, Нико,— сказал он после некоторой паузы, но уже совершенно спокойно.— С этим идиотом я поговорю. Ариведерчи, дитятко!

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

Осень, осень... Впервые Ирина увидела город на море осенью. Впоследствии ей приходилось не раз бывать здесь в знойные летние месяцы, принимать вонючие ванны и, как больного товарища, пестовать надоевшую ногу; ванны поначалу вызывали обострение. Встречала она здесь и весну с розовыми цветками миндаля, похожими на бабочек на безлиственных еще ветвях дерева. И все же осень казалась ей прекраснейшим временем города.

Палые листья так красивы, что странно прикосновение к ним метлы. Впрочем, и метла здесь напоминает привядший букет, а нежный шорох ее по влажным от тумана камням совсем не похож на скрежет широкой лопаты, счищающей с московского асфальта снеговую ноябрьскую грязь.

Как будто и не убавилось зелени, но богаче стали оттенки зеленого цвета, и в зарослях зажглись багряные, малиновые костры. Среди отцветших олеандров — вдруг розовый куст, и на нем роза. Свежая, юная, едва расцветшая в этом осеннем мире, она не чувствует себя одинокой. За ней еще два бутона, похожие на сердца.

С утра на мощных листьях канн холодная испарина. На большом плакучем дереве хвоя рыжая и длинная, как шерсть орангутанга.

Осенний город похож на дворец, в расцвете достатка и веселья оставленный его обитателями. Ведь розы еще

не отцвели, георгины в разгаре, астры только-только восходят, маленькие разноцветные светила.

В двориках-садах деревья хурмы стоят без листьев, горделиво обремененные множеством тугих оранжевых солнц.

Молодые платаны стали легки и прозрачны в кронах. По вечерам, в тумане одиноки красные огни на мачтах, сливаются небо, земля и море, чернеют хвостатые колючие тени пальм, во влажном воздухе слышнее их жестяной шелест.

Пустынны большие улицы, площади и проспекты, и звенят, звенят в осеннем воздухе чистые голоса детей. Маленькая девочка в венке бежит, припрыгивая, по середине мостовой. Хозяйка осеннего города бежит и кричит: «Джания! Пойдем за листьями!»

Таким, осенним, Ирина узнала, запомнила и полюбила этот город. И всегда досадовала, что, как всякий педагог, может приезжать сюда только в летние месяцы курортной толчеи, когда маленькой девочке никак нельзя бежать по мостовой и звать Джанию за листьями.

Впрочем, когда же это было? Ирина задумалась. Это было чуть не пятнадцать лет тому назад! Может быть, маленькая девочка уже сама — мама. Может быть, она сейчас где-нибудь рядом, не на курортно-санаторной, а на маленькой жилой улочке. На дворе у нее побеленные камешки очерчивают крохотные клумбы, и дорожки, и маленький бананчик в ветреную погоду кладет лист — мягкую лапу — через раскрытое окно на кухонный стол. А хозяйка беззлобно и терпеливо отстраняет его, как котенка.

А может быть, она вышла замуж и уехала на Север, где лиственницы цветут красными шишечками...

Может, она просто учится в Москве и встречается с Ириной в метро на эскалаторе...

Любимым местом Ирины, где она могла подолгу сидеть и думать, была скамья под маленькой мушмулой, такой густой, что здесь даже в дождь бывало сухо. Скромные домовитые цветки росли гроздями на мясистых стеблях. Этакое семейственное дерево — мушмула.

Ирина плохо себя чувствовала. Она очень плохо себя чувствовала, но запретила себе думать об этом. Какой смысл думать о том, что не можешь изменить? Однако

сегодня у нее испортилось настроение по поводу совершенно, казалось бы, нелепому.

Ирина много лет пользовалась симпатией местной библиотекарши, дамы весьма почтенной, владеющей несколькими языками. И вот нынче утром она показала Ирине небольшую заметку в немецком журнале, кажется, в «Die Woche» — «Неделе», где говорилось, между прочим, о том, что майские жуки вымерли. Для них первых стали нежилой, не пригодной для жизни наша атмосфера, наша планета. Большими трудами где-то в особых условиях сохраняется несколько майских жуков, их показывают немецким детям.

Ирина прочла и сначала сказала: «Какая чепуха! Как их можно сохранить и вообще куда это они делись...»

А потом подумала и вспомнила: а ведь жуков-то действительно нет. Уже много лет нет. А ведь они были. В детстве Ирина их отлично помнит. Большие, тяжелые в полете, они гудели густым басом, иногда больно ударялись в лоб. Они были гонцами настоящего летнего тепла, уютные майские жуки.

Теперь их нет. И никогда больше не будет. Они исчезли навсегда, а мы и не заметили их исчезновения. Были и — нет. Вот и все. Ушли из жизни майские жуки, и никто этого не заметил.

Смешно, но Ирина вышла из библиотеки придавленная какой-то странной грустью обреченности. Нелепо, конечно. Подумаешь, что ей майские жуки?

Ирина сидела на своей скамейке под мушмулой. Ей не хотелось возвращаться домой, к Вике, с такой унылой физиономией. Она пыталась отвлечь себя воспоминанием о призыве, украсившем сегодня стену библиотеки. Объявление было действительно хоть куда: «Кто представит двадцать килограммов макулатуры, может купить в нашем магазине «Королеву Марго».

От Вики Ирина старательно и успешно скрывала и боли, и слабость, и дурные мысли. В самом деле, девочка так радовалась югу, морю, пальмам! Она все это видела в первый раз, у соседей нашлись одногодки-подружки, закрыт в чемодане нелепый китель, Вика загорела, похорошела, к ее льняным волосам идет загар... Надо же было дураку Никите обозвать девочку альбиносом!

Ирина дознались, конечно, еще в Москве от Вики об этом случае. В первую минуту она так разгневалась, что

едва не собралась немедлено ехать к Никите, долбать его за бездушие.

Вике Ирина, разумеется, не сказала ни о чем, но мысленно до полного уничтожения обвиняла Никиту в том, что он потерял совесть близ развратных старых баб, разучился вести себя прилично с нормальными девушками, и далее в таком же роде.

Немного поостыв, Ирина вспомнила, что Регина, по всей видимости, возникла перед Никитой позднее Вики, да и неизвестно, грещен ли он с этой модерновой толстухой, что про альбиноса высказался он не Вике, а Фузенкову. В общем, состав преступления, как говорит Вадим, отсутствовал.

Отсутствовал — ну и очень хорошо. Ирине вовсе не хотелось обвинять в чем бы то ни было своего любимца. Уж здесь-то, укрытая мушмулой, могла она так назвать своего мальчика, маленького человечка, который хотел увезти с собой салютинки?

Хорошо, когда есть мушмула, которой можно открыть свои мысли и чувства, не боясь показаться смешной. Мушмула всегда, уже много лет привечала Ирину. Но с майскими жуками ничего не могла сделать и она. Нет больше майских жуков, добродушных увальней. Ушли, перестали быть. И никто этого не заметил...

Из-под мушмулы Ирина задумчиво смотрела на маленький сквер, скромный сквер для горожан, для постоянных жителей города на море. Тут тоже растут канны, и есть розы, и бордюр из душистого алиссума, но как-то все проще, по-домашнему, теплее. На этом сквере дети играют в песке.

И вдруг Ирина выпрямилась на скамейке, не поверив глазам своим,— по скверу медленно, опустив глаза долу и тоже задумавшись, шагал Никита. На нем были какие-то невероятные штаны. На штанах красовались различные карманы, «молнии» и бахрома, только бубенчиков не было. Лев оставался пока вне поля зрения Ирины.

Она торопливо отодвинула сумку с книгами, поднялась, насколько могла быстро. Она спешила, боясь, что Никита как возник, так и исчезнет, растает в теплом нежном воздухе.

Выбравшись наконец на свет солнечный из-под своей мушмулы, Ирина крикнула:

— Кит! Деточка!

Никита мгновенно обернулся и — обрадовался. Он даже сам не думал, что так обрадуется. Наверно, потому, что тетка Ира была сейчас для него не только сама собой — в ней воплотилась вся семья, вся нормальная, естественная жизнь, когда можно обыкновенно, как тебе свойственно от рождения, думать и говорить.

Никита рассчитывал просто навестить тетку Иру, а оказалось — приехал, издалека приехал на побывку домой.

— Ты куда? — спросила она.

— К тебе. К тебе, тетя Ира,— сказал Никита. И вдруг улыбка сошла с его лица.— Что с тобой, тетя Ира? — спросил он совсем другим голосом.— Болеешь, что ли? От тебя половина осталась.

Никита прикинул. Они давненько не виделись, с Майских праздников, но он что-то не слыхал, чтоб Ирина Сергеевна болела, уж через Галину-то до него бы дошло. На лице его выразилась полная растерянность, если не испуг.

Только теперь до Ирины дошло, что она действительно изменилась. Зеркало ей, конечно, не врало по-сказочному, да она и не была склонна требовать от него лжи. Просто, когда каждый день видишь сам себя, можно и не заметить. Все думаешь: сегодня — устала, а завтра — на погоду нездоровится. Да и старостью легко прикрыть любую перемену, старость никого не красит.

В институте ее тоже каждый день видят, да и кому там особенно разглядывать ее физиономию? А Кит давно не видел, да и не чужая она ему, вот он и заметил, дорогой мой, добрый мальчик...

— И видно, не лучшая половина осталась? — пошутила Ирина. Ей в эту минуту безразлично было все, связанное с нею самой. Она тоже не ожидала, что так обрадуется Никите.

Он взял у нее сумку с книгами, она взяла его под руку и нарочно, с удобством, чтоб видно было, оперлась об эту сильную руку. Как же приятно было идти с Китом по улице: пусть все смотрят, пусть думают, что это ее сын, большой, красивый Кит помогает ей идти и несет ее сумку.

— Кит, но почему у тебя такие невероятные штаны? — спохватилась Ирина.

— Пусть будут такие,— улыбаясь, медленно прого-

ворил Никита, и больше она не спрашивала его ни о чем. Хотя нет, спросила:

— А ты ко мне надолго?

Вопрос был правильно поставлен. Она ж не знала, где он и что он, не знала даже, живет ли он в городе на море или только проездом...

— Ты знаешь, я, наверное, заночую у тебя,— оживился Никита, решив, что может позволить себе такой вольт.— Пусть у меня будет долгий-долгий выходной, ладно?

Ирина привела его в квартиру своей отбывшей на Север подруги — две крохотные, прямо игрушечные, комнаты в старом одноэтажном доме с большим инжиром во дворе. В доме жило еще множество людей, и как-то хитро получалось, что у каждой семьи свой вход с улицы, и даже своя виноградная лоза, и свой цветничок из цветов необыкновенных, какие не растут в Московской области. Все как будто игрушечное, и все всерьез. Кажется, из такого домика под такой инжир должна толстовская казачка Марьяна выплыть, а выскочила девица в кипенно-белых брюках и кримпленовом кафтанчике с зеленым орнаментом. Удивилась, улыбнулась Никите и исчезла.

— А инжир у нас общий,— говорила Ирина, вытаскивая на стол из кухонного шкафчика какие-то припасы.— Если хочешь, спи под инжиром, я тебе раскладушку поставлю, одеяло есть.

— Да ты не беспокойся, тетя Ирина, я тут на лежаке ночь ночевал. Не хочу я есть! Я поговорить хочу. Сядь ты, ради бога!

Никита потянулся с дивана, поймал Ирину за руку и заставил сесть рядом с собой.

Он присмотрелся, она не показалась ему столь необратимо изменившейся.

Тетка Ирина сидела чуть боком против Никиты, подеревенски просто положив незанятые руки на колени, и смотрела на Никиту. Смотрела тоже естественно и радостно, как отдыхала.

— Почему ты все-таки похудела, тетя Ира? — настойчиво допытывался Никита.— Неужто все диету держишь?

Еще лет десять назад тетка Ирина боялась полноты и держала диету, и Никита ужасно этим потешался.

Нет, давно уж она не держит диеты.

— Кит, а ты помнишь майских жуков?

Ирина вдруг с радостью почувствовала, что Никите можно рассказать про майских жуков, он поймет. А вот Вике — нельзя, вернее, бесполезно. Жуки не вписываются в Викины понятия воспитания воли.

Ирина неожиданно для себя порадовалась, что Вика на экскурсии и вернется только вечером. И рассказала Никите про майских жуков.

Никита не посмеялся над ней. Никита понял, что жуки — это не просто. Он задумался.

— Тетя Ира,— сказал он,— я не помню майских жуков, но мне кажется, я понимаю. Жуки. Тебе их жалко. Погоди, погоди! — остановил он хотевшую возразить Ирину.— Тебе даже не просто их жалко. Тебе горько, что они исчезли, а этого никто даже не заметил. Ну, а динозавры? Динозавров тебе не жалко?

Оба они думали и говорили без тени улыбки.

— Динозавров мне тоже жалко,— медленно проговорила Ирина.— Но, в общем, Кит, ты — гений!

Действительно, Ирина не смогла бы толком объяснить, но, оказавшись в одной компании с динозаврами, майские жуки как-то перестали быть одинокими.

— Мы все уходим понемногу...

Грустные эти слова тетка Ира произнесла уже с улыбкой.

— Умница ты моя! — довольная, сказала она и похлопала Никиту по колену. Ну вот, теперь тетка Ирина стала совсем сама собой.— Рассказывай про себя что-нибудь,— попросила она.

Бумажные кульки, целлофановые пакеты остались лежать на столе. Какими-то холостяцкими всегда получались у тетки Иры хозяйственные хлопоты. Не ее это стезя. Насчет жизни — другое дело, и Никита с увлечением стал рассказывать ей про слет.

Любопытно получилось с этим слетом. Никита и не предполагал, что день в Колонном зале будет долго и такими разными гранями поворачиваться в его памяти.

В последнее время, например, ему почему-то вспоминались три человека, казалось бы не имеющие отношения к работе милиции, три гостя, сидевшие в президиуме: писатель, высокий, похожий на Маяковского, чей роман о гражданской войне Никита читал и перечитывал;

артист,— когда он поднялся в президиуме, Никита поразился удивительно знакомому лицу. «Да где же я его видел? Может, на Огарева, шесть?» И не сразу сообразил, что это же полковник Зотов из фильма о «Черном принце».

А третий был диктор Всесоюзного радио Юрий Левитан. Да, да, тот самый Левитан, которого знают все от мала до велика, который встречает всех «с добрым утром»...

Услышав о Левитане, тетка Ирина стала расспрашивать, какой он из себя да как держится.

— Ты даже не представляешь себе, Кит, что такое голос Левитана для моего поколения. Ты подумай, ведь именно этот человек объявил о пуске Днепростроя, об открытии метро, о перелете Чкалова... А в войну, господи, что значил, как звучал для всех нас в войну его голос! Ты знаешь, что Гитлер специально требовал, чтобы заставили замолчать Московское радио? Говорили, во время налетов Левитан при свете карманного фонарика читал...

— Почему такие разные люди?..— Никита не договорил, но Ирина поняла его мысль.

— А что же в этом удивительного? — сказала она.— Конечно, самые разные люди интересуются работой милиции. Это закономерно потому, что работа милиции касается решительно всех.

Никита знал, когда рельефно возникли в его памяти эти три человека. После слов Громова о том, что Мартовицкий — случайность.

Наверное, густой тенью прошла по его лицу мысль о Громове, если тетка Ирина, оборвав воспоминания о голосе Левитана в войну, спросила озабоченно:

— Что с тобой, Кит?

— Ничего,— покачал он головой, чуть улыбнувшись. Оглядел игрушечное жилье. Он никак не мог привыкнуть к тому, что здесь двери выходят прямо на улицу, без сеней, без крылечек, как из комнаты в комнату, и окна — без вторых рам.

Тетка все-таки накормила Никиту яичницей с помидорами, изжаренной на электроплитке. Чай они пили крепкий, с вареньем на толстых блюдечках. Никите до удивления вкусной показалась нормальная домашняя снедь.

— Тетя Ира, неужто ты? — показал Никита на гитару на стуле. Потянулся, взял, стал помаленьку настраивать.

— Хоть бы и я? Это ж только молодым кажется, что гитары у вас запели. А мы так на них только «Интернационал» да «Вихри враждебные...». Нет, Китик, это Викина гитара. А между прочим, Кит, знаешь ли ты, кто со мой живет? — Тетка Ира оживилась.— Вика со мной живет. Ну, она работает в детской комнате у Огневой. Помнишь, Тамара у вас про нее рассказывала?

Никита не только вспомнил, но, смеясь, напомнил Ирине, что ничего особенно лестного Тамара про эту Вику не говорила. Не контачит она с ребятами, эта Вика.

Однако Ирину осенила идея, а когда она чем-то загоралась, ее не просто было сбить.

— Ты не смейся. Сегодня не контачит, завтра законтачит. Фу ты, слово какое дурацкое! Никак я не могу к вашему жаргону привыкнуть. Я только не могу понять, как ты мог хорошенькую девушку обозвать альбиносом?

Гитара издала полный удивления аккорд.

— Это фузенковская-то, из ДКМ хорошенькая? Ну, тетя Ира...

— Она не только хорошенькая, она вообще интересная, с хорошим нутром девушка...

В настойчивости, с какой рекомендовала Ирина эту девицу, Никита почуял некий напор, а после эпизода с Региной он готов был спасаться бегством от малейшей тени навязчивости.

— Тетя Ира,— значительно проговорил он,— прошу, в смысле умоляю, не сватай мне интересных, с нутром девушек.— Гитара подтвердила сказанное решительными пассажами.— Я если женюсь, то на математичке.

— Новые номера к Октябрьской годовщине,— сердито сказала Ирина.— Что бы ты с ней стал делать?

— Да уж нашел бы что...

Гитара забормотала нечто певучее, и в эту минуту со двора в комнату шагнула Вика.

Никита сразу узнал ее и удивился. Вот уж не ждал, что эта Вика действительно может стать хорошенькой. То ли без формы она, то ли загар ей идет. На руке старый ожог. Но он ее не портит, странное такое, перламутровое пятно. «Вот этой бы волосы подлинней, а юбку покороче».

Вика тоже смотрела на Никиту. И в ней закипела злость. Альбиноса она ему не простила и по гроб жизни не простит. И он-то сейчас ничем новым ее не поразил. Он гораздо хуже, обыкновеннее стал в этих пошлых штанах и расхристанной, до пупка рубахе.

«Так вот каковы, значит, вы на отдыхе? Вот где ваш истинный вкус? Хипповать, значит, вас потягивает?»

Вика сразу почувствовала себя цельнее и уверенней. К тому же за дверью ее дожидались — это тоже ей придавало вес.

— Это — Вика, это — Никита. Да вы знакомы, кажется? — торопливо представила их друг другу Ирина.

Ее обнадежило удивление Никиты. Ей не первый раз думалось, как было бы хорошо, если б Вика, попросту говоря, вышла замуж. Доведись что-нибудь, и девочка останется совершенно одна. Вика же хорошая...

А Вика со всем ядом, каким обладала, ответила, повернувшись к Ирине:

— Знакомы, Ирина Сергеевна! Только у меня не осталось светлого воспоминания об этом знакомстве. А сейчас я в отпуске. Мне не обязательно тянуться перед лейтенантом.

Ирина так растерялась, что Никите стало ее жалко. Едва оживление покинуло ее, тотчас стала видна внезапная худоба и обширные тени под глазами, легшие на лицо, как полумаска.

«Экая дура девка! — подумал Никита.— Вместе живет, не видит, что человек болен. При тетке — не скажешь, без тетки — скажу. Да и напомнить надо, чтоб на улице не вздумала при случае узнать. С ее умишком хватит».

Вика церемонно попросила у Ирины разрешения пойти в кино.

— Уходи,— с горьким облегчением махнула рукой Ирина.— Вам хотят как лучше, а вы как идиоты.

— Значит, не осталось светлого воспоминания? — повторил Никита, откладывая гитару.— Быть того не может, чтобы не осталось обо мне светлого. Пойдемте-ка я вас до ворот провожу.

— Не хочу! — заявила Вика.— Павлин хвост как ни распускает, все зад голый!

«Я тебе сейчас дам павлина!» — мысленно пообещал

Никита, беря Вику под руку и энергично выводя во двор, мимо паренька, который безмолвно растерялся.

Когда после очень тихой и очень короткой беседы Никита вернулся в дом, паренек занял свое место рядом с Викой, и они пошли в кино.

Ирина сидела за столом в той же позе, в какой они ее оставили. Сидела рядом с неубранной сковородкой, с грязными тарелками и толстыми блюдечками. Или сил у нее не хватало убрать, или не видела она этого некрасивого стола. Вроде и не угощала ничем, а стол захламленный. Сидела она и думала о чем-то, кажется, далеком всему, что ее окружало.

Никита увидел ее такую, от всего отрешенную, и ему стало еще тревожней, чем днем.

— Тетя Ира, милая...— Он встал перед ней на колени, взял ее морщинистые руки, погладил ими себя по волосам. Руки сразу откликнулись, руки были не отрешенные и добрые, как всегда.

— Все я мимо хожу, Кит,— сказала Ирина, расправляя, как на маленьком, воротничок его рубашки.— Все думается: вот время ушло, а главного не сделала. А в чем оно — главное? Ты встань, деточка, пол-то жесткий.

Они опять сели рядышком на диване. Так было хорошо: близко друг к другу и никого чужих.

— Ты не сердись на меня за эту Вику,— попросил Никита.— Но ведь она, честное слово, глупо сердится.

— Глупо, Кит, глупо,— согласилась Ирина.

Никита не знал, чем бы отвлечь ее от чего-то, что безраздельно притягивало ее внимание. Ну не майские жуки, в самом деле, скребут ее душу. Майские жуки — это следствие... Он растерянно оглядел коробочку-комнату и вдруг увидел на высокой старинной тумбочке под цветком прислоненные к глиняному горшку маленькие иконки. Они стояли как картины, не как образа. На них не молились, их рассматривали.

Ну, ясно дело, тетка Ира возит с собой свои «окна в прошлое». Никита ринулся к иконкам за помощью. С теткой Ириной «окна в прошлое» — верное дело. Должны подействовать. Это как в преферанс: когда ходить не с чего, ходи с бубен.

— Из твоих икон, тетя Ира? — спросил сочувственно Никита.— Экая все-таки прелесть — эта старинная иконопись, сколько в ней настроения!

Никита не ошибся. Тетка Ирина поднялась из глубин раздумья, и в глазах ее появились веселые огоньки.

— Этим старинным иконам два дня от роду, радость моя, стоят они по рублю, и делает их для местной церкви один дядечка в соседнем дворе. Я купила, потому что они очень забавные. Он всех святых путает. Сергия Радонежского в Николая Мерликийского произвел, а Иоанна Предтечу, по-моему, систематически за Иисуса Христа предлагает.

— А Предтеча — это кто? — спросил Никита, обрадованный результатом своих невежественных высказываний.

— Долга песня тебе про каждого рассказывать, и нет тебе в этом нужды. А в старинных, в подлинных иконах есть, конечно, прелесть немалая. Я ж тебе показывала репродукции? Помнишь гусят? А кошку на подушечке у девы Марии?

Зверей и птиц Никита помнил. Они ему действительно понравились.

— А ведь это только репродукции. В оригиналах все гораздо живее, непосредственней.

— А у тебя оригиналов нет?

Никита решил не спускать тетку с иконописи, пока она не утвердится в бодром расположении духа. Он прекрасно знал, что никакими ценными иконами она не обладает, говорилось об этом не раз.

— Откуда же у меня, Кит? — не замечая Никитиной хитрости, говорила Ирина.— Такую коллекцию собрать — нужны деньги большие, и связи, и возможности. Вот у нашего профессора Качинского — это коллекция! Я видела ее один раз. И он продолжает. Он недавно какую-то невероятной ценности икону приобрел, но я ее еще не видала...

— Качинский... Качинский,— повторил Никита.— И давно он эту икону приобрел? Мне кажется, тетя Ира, они уж все разобраны, эти иконы. Ну сколько их могло уцелеть, по настоящему-то старинных?

— Да совсем недавно, говорю тебе! Этой весной.

— Подделка! — категорически заявил Никита.— Спрос рождает предложение. Пошла мода на иконы, ну и сидит какой-нибудь жулик, малюет вашу старину!

— Ну уж нет! Качинского не надуешь! — пылко возразила тетка.— Любить он, может быть, и не любит, но

понимать — понимает. Если он купил, будь уверен, икона подлинная. По случаю, говорит, купил,— добавила она не без зависти, вспомнив, как горд был Качинский, рассказывая ей в машине о своем удачном приобретении.

— А ты сама не видела ее, тетя Ира? — спросил Никита.— Про что хоть она?

— Не видела, Кит,— с сожалением сказала Ирина.— Хочу плюнуть на самолюбие да напроситься посмотреть. А то он за границу собирается, а потом, мало ли что... Очень хотелось бы посмотреть.

Она задумалась, но сейчас уже без отрешенности, о живом, близком для нее деле. А Никита подумал: будь бы он собакой, у него б сейчас нос ходил ходуном. Заинтересовала его эта внезапно — и так синхронно во времени — всплывшая по случаю старинная икона.

— А он не сам по глубинке разъезжает да старые церкви обирает, твой профессор? — высказал Никита предположение и тут же поопасился: не слишком ли грубо, не обиделась бы тетка за свое начальство.

Нет, тетка не обиделась. Как видно, этот Качинский... Однофамилец? Или родственник тому старику на даче? Но об этом спрашивать не будем. Очень уж неприятно самому вспоминать. Не самая светлая страница в жизни Никиты. Как видно, этот Качинский сам по себе особой симпатией у тетки Иры не пользуется.

— Что ты! — усмехнулась она.— Такой барин, поедет он тебе по глубинкам! Такому на дом принесут.

Потом они долго говорили о Маринке, о ее детских играх и о нелюбви к точным наукам. Говорили на равных — двое взрослых о младшем, родном... И это тоже грело Ирину.

Что главное в жизни... Да так ли это важно — непременно определить и припечатать? Да и под силу ли нам сделать это, увидеть сверху самих себя? Не правильнее ли будет почаще вспоминать слова, сказанные Горьким о Стасове: человек, который все, что мог, делал и сделал все, что смог...

Давно она не радовалась так приходу Никиты, давно он не являлся так к месту и ко времени.

— Как хорошо, Китик, что ты пришел,— сказала она, с благодарностью глядя в лицо Никиты, искренне любуясь этим лицом. Он не просто казался ей красивым, он

действительно был красив, свет люстры падал ему на голову, и волосы горели, словно покрытые позолотой.

— Я постелю тебе на раскладушке под инжиром, хочешь? — предложила Ирина.

А Никита разговаривал о Маришке и напряженно думал, как же правильнее поступить. Разговор о коллекционерах у Вадима с Михаилом Сергеевичем был. Входит в число известных им коллекционеров этот профессор или нет? Может случайно совпасть приобретение им иконы с колосовским делом? Да, может. И все-таки однозначная, до тупости примитивная мыслишка нахально пожаловала к Никите: «Не ушла бы иконка за рубеж, если это она».

Михаил Сергеевич запретил ему отсебятину, и он больше ни о чем не спрашивал Ирину. Лишь в крайнем случае разрешено было ему явиться непосредственно к Вадиму и Корнееву, и ему очень хотелось это сделать. Но, поразмыслив, Никита все же решил, что крайности еще нет и лучше ограничиться телефонным звонком. Но уж дозваниваться надо было сегодня. Что-то свербило его, не давало возможности оставить без внимания эту вновь приобретенную икону.

Телефона у тетки Ирины, конечно, не было, да и любой разговор в этом карточном домике стал бы известен всем, вплоть до инжира.

— Тетя Ира, я все-таки, пожалуй, пойду,— сказал Никита ласково, нежно и виновато глядя в ее глаза, от теней большие и глубокие.— Будем считать, что мой долгий-долгий выходной кончился.

Она ни о чем не спросила и, кажется, слава богу, не обиделась, не сочла, что ему скучно или что-нибудь в этом роде. Никита был благодарен ей за это. Ему было бы так неприятно ее обидеть! Как ни крутись, а ей, видно, плохо. Не надо бы ее одну оставлять с этой целеустремленной дурой Викой, а что поделаешь? В Москве у нее хоть кот.

— Да ты не тревожься обо мне, маленький,— вдруг сказала полным, свежим голосом наблюдавшая за ним Ирина.— Ты это очень здорово насчет динозавров. А майские жуки, что ж... Не они первые, не они последние.

Она взяла ладонями его голову, пригнула к себе, поцеловала в лоб, и Никита пошел со двора.

У него была застолблена одна телефонная будка в нижней части города, в довольно глухом переулке неподалеку от моря. Вечерами здесь никогда не бывало очереди. К этой будке Никита и зашагал, застегнув рубашку доверху, потому что дул вечерний бриз и становилось прохладно.

Когда Корнеев виделся с Никитой у живописца, из Москвы уже сообщили, что установлен Иванов, тот самый Иванов, который отбывал срок вместе с Громовым и был освобожден раньше. Последняя судимость его была по счету второй, до знакомства с Громовым, он привлекался за спекуляцию антикварными ценностями и валютой.

Сведения о прошлом Иванова были получены еще в Москве. Теперь товарищи из отделения сообщали, что Иванов Григорий Мануйлович, такого-то года рождения, прописан в Москве, освобожден тогда-то, нигде не работает. После освобождения заявил, что учится на художественных курсах, однако справки не представил. Недавно появились деньги. Сделал подарки своей девушке Тамаре. Были кутежи в ресторанах.

Иванов — Иван? В этой версии могла быть логика, потому и она подлежала проверке, они займутся этим по возвращении. А пока товарищи из двадцать второго посмотрят за неработающим и широко живущим Ивановым.

На девушку, с которой он живет, никаких компрометирующих материалов нет, более того, по всей видимости, она хорошая девушка. О своем Григории она может абсолютно ничего не знать. Как ни удивительно со стороны, а так оно бывает. Да зачем далеко за примером ходить: муж Волковой, что он знает о своей жене? Только то, что она влюбилась и сбежала с заезжим красавцем? Приятного мало, спору нет, но ведь и не такая редкая ситуация. Кто знает, не для того ли сохраняется беременность (по срокам она вполне вписывается в дни семейного бытия), чтобы иметь ход для возвращения к мужу?

Ночной ветерок с моря, приглушенная расстоянием музыка, почти душный запах роз и лунная рябь на море — опять все это за окном, за дверями. А у них стол, дым, нащупывание обстоятельств, выделение причинных связей.

— ...Легче вернуться к мужу,— повторил Вадим.— Я так и не понимаю, зачем Громов привез их сюда. Ну, допустим, Волкова за ним увязалась. А Шитов? Боялся оставить Шитова прокучивать деньги в Колосовске?

— Мог бояться,— кивнул Корнеев.— Я посмотрел на Шитова вчера в отделении. Истерик, позер, перепуган был страшно. Занесло же дурака! Я думаю, с ним тебе не много возни будет,— сказал он, разумея будущую работу Вадима с обвиняемым, когда останутся они один на один, протокол — третий.

Оба помолчали, оба подумали о Громове. Вот эта щука помотает. Ведь пока против Громова нет доказательств. Арестуй его, вызови на допрос — он рассмеется в лицо. Вся кропотливая, удачно выполняемая работа Никиты — ведь ее к делу не подошьешь. Встречаются в делах короткие справки: «Сведения добыты оперативным путем». Никите нелегко добывать эти сведения, но любое из них должно быть документально доказано, подтверждено в процессе расследования.

После болтовни Шитова о том, что Громов считал «удобной», как прикрытие, беременность Волковой, столь ясно отразившуюся на ее внешности, ни Вадим, ни Корнеев не сомневались в том, что именно ей мог Шитов передать похищенное. Сверток, вероятно сумка, должен был быть небольшой. Беременная женщина, идущая с сумкой, к тому же местная жительница с паспортом и пропиской... Вполне. Звучит. Это должно было произойти где-то неподалеку, но не рядом с домом Вознесенских. Около дома Волкову никто не видел. Да. Это — вполне.

Так же ясно было, что в будущем ограблении кассы, которое, несомненно, готовит Громов, свою колосовскую компанию он использовать не собирается. Теперь понятно, зачем ему нужен Никита. Он опять-таки не хочет излишне маячить сам, он и здесь не намерен быть исполнителем. А может быть, вполне резонно опасается ревности Волковой. Но одного Никиты ему мало. Ему нужен по крайней мере третий. Скорее всего, этот третий у него есть, иначе бы он не торопил так Никиту. Ведь он рассчитывает провести операцию до последних чисел августа, до отъезда кассирши.

— Захомутал Никита кассиршу,— не без гордости сказал Михаил Сергеевич.

— Как бы его не захомутали,— на сей раз сердито перебил его Вадим.

До сих пор Вадиму не ясно было, что произошло у Никиты на даче с барометром, что встревожило тетку Ирину, но неприятное ощущение жило в нем, и он знал, что еще выпотрошит Никиту как следует быть по этому поводу. Пока все руки не доходят.

Корнеев ни о каких барометрах не ведал, а работой Никиты вообще был доволен и не совсем понимал излишнюю, как ему казалось, придирчивость Вадима. Объяснял ее суховатой щепетильностью, известно, свойственной старшему Лобачеву.

Когда позвонил Никита, подошел Корнеев. Он разрешил Никите прийти. Только не через центр, чтобы без «хвоста».

— Что я, маленький? — Никита обиделся. И свои, и Громов — все его азбуке учат.

— Думаю, к ночи-то никто не будет его искать,— сказал Вадим.

— А у него алиби. У тетки был.

Пока Никита кружным путем бежал к ним, обида его прошла. Пусть не у тетки Иры, так у своих, его долгий-долгий выходной продолжался.

Ему предложили чаю и на всех широтах бессменные рыбные консервы. Он поел, попил.

Сообщение его о приобретении профессора Качинского не вызвало всплеска интереса, но и не было отвергнуто. Во всяком случае, об этой, судя по словам понимающей Ирины Сергеевны, весомой коллекции они ничего не знали, с владельцем ее не беседовали. Стало быть, надо это сделать, вот и все!

— А что, если попросить сделать это Ирину? — после некоторого молчания медленно проговорил Вадим.

Корнеев быстро и вопросительно взглянул на него.

— Поясню,— сказал Вадим.— Мы совершенно не знаем этого Качинского. Из отдельных высказываний Ирины у меня не сложилось о нем впечатления как о приятном, коммуникабельном человеке. Не обязательно с должным пониманием он может относиться вообще к нашей работе. После разговора с нами он может испугаться за свою покупку, они ведь фанатики, эти коллекционеры...

— Логично,— сказал Корнеев.— А Ирина Сергеевна?

Незаконченность фразы его была понятна. Пусть и многолетняя дружба, а согласится Ирина Сергеевна выполнить непосредственное от них поручение? Что греха таить, возникает у некоторых, в том числе истинно интеллигентных людей, странная неловкость, боязнь неэтичности, что ли, если просит их милиция о конкретной помощи. Да, конечно, все за соблюдение паспортного режима и сами вполне исполнительны. Но попробуйте спросить, живут ли в подъезде люди без прописки? Лицо закаменеет, ответ один: «Я не знаю». А сами бранятся и ворчат, потому что над головой топот и попойки, потому что хозяева комнату сдали за хорошие деньги, но неведомо кому.

Вадим не стал клясться-ручаться, но сказал, что сам сходит к Ирине Сергеевне и поговорит.

— Ох, Вадька! — спохватился Никита.— Ты только виду не показывай, когда ее увидишь. Я влип. Она просто ужасно выглядит.

Но на эту тему им некогда было сейчас рассуждать.

— А в общем, еще подождем-посмотрим, да пора и вспугнуть,— вернувшись к троице, сказал Вадим.— Хватит им. Побегали. А то не сегодня-завтра Громов решится да на эту кассиршу выйдет сам.

— Ну и что? — тихо спросил Никита.

— Ну и мы в наблюдателях, как он будет кассу брать, да?

— Через кассиршу он кассу не возьмет.

— Конечно! Перед тобой она уши развесила, а его как увидит, милицию вызовет?

Вадим шутил, в дыму и не замечая, что Никита покраснел.

— В общем, так. Проследить, как будут реагировать Шитов и Громов на задержание. Вполне возможно, что Громов испугается, и вспугивать его не придется. Если понадобится вспугнуть, Никита скажет, что несколько раз видел возле себя на базаре какого-то типа. Этого наверняка будет достаточно, но после этого Громов, несомненно, запретит Никите вертеться на базаре. Сие надо учесть и перенести встречи с Корнеевым в другое место.

Очень бы желательно узнать, кто у Громова третий (как минимум третий, а то и с дублером) для кассы.

К колосовскому делу он почти, наверное, отношения не имеет, но существует такая немаловажная задача, как предотвращение преступления.

Можно надеяться, что эпизод с милицией не пошатнет контакт Шитова и Волковой с Никитой. Учесть, что между этими двумя нет ничего похожего на дружественные отношения, а следовательно, на откровенность каждого из них можно рассчитывать лишь в отсутствие другого.

— Ну, теперь наводите критику, да я пойду, мне еще чесать через весь город,— сказал Никита.

Вадим поулыбался. С первых лет работы Никиты у них троих было заведено: Вадим и Корнеич разбирают его действия в той или иной операции и, как выражался Никита, «наводят критику».

— Вербовался ты у Громова лихо,— подумав, серьезно и одобрительно начал Корнеев. Он вытащил свой знаменитый блокнот с пунктирами и вавилончиками и читал его как шифровку.— Все на грани, все на острие, но в таком деле без острия редко обходится. Вот.— Толстый палец Михаила Сергеевича мягко постучал по какой-то пометке, и он отложил блокнот на стол.— С фамилией журналистки мог произойти прокол. И «Плейбоя» я бы на твоем месте на кон не ставил. Тебе даны фотографии двух шлюшек? Даны. Вот твой и уровень. А журналистка с «Плейбоем» не на твоем траверзе. Прошло, а могло не пройти. У него мать — артистка, связей до черта. Могло не пройти. Понял?

— Понял.— Сказано это было смиренно, с пониманием.

Корнеев посмотрел на молчащего Никиту. Южным солнышком опалило, морским ветром обдуло, а все же порядочно усталости легло на лицо. Верно сказал Вадим. Несколько строчек, может быть, и окажутся в очередном томе дела: «Сведения добыты оперативным путем». А чего она стоит, эта добыча?

— Не нравится и мне эпизод с журналисткой,— медленно проговорил до того молчавший Вадим.— Ох, как не нравится мне этот эпизод!

Он сказал, не глядя на Никиту. Встал, отошел к распахнутому в ночь окну, повернулся спиной, а у Никиты душа была в пятках. На дне пяток. Как это Маришка маленькая говорила: слов нет, одни буквы остались.

Ведь кажется, и скрывать нечего, а вот есть что-то, за что, как маленькому, стыдно перед братом. Но, может быть, Вадим совсем и не об этой клятой даче?

Никита не знал, что Ирину судьба занесла на эту же дачу, и тетка подняла панику.

— Ну, ладно,— сказал Корнеев, снова беря блокнот.— Поехали дальше. А дальше, скажу я тебе, по-моему все нормально. Длинно только на встречах говоришь. Короче надо. Гораздо короче. И быстрее. Ладно, тут базар, курорт, все шатаются неторопко. А в других условиях тебе туго придется. А в общем, все нормально.

В устах Михаила Сергеевича это была наивысшая похвала, Никита приободрился. Да и Вадим отвернулся от душистого окна как ни в чем не бывало и вытащил из кармана бумажку.

— Вот,— сказал он,— для тебя специально выписал. Мастер о шахматах говорит, так ведь и мы своего рода шахматные партии разыгрываем. Послушай: нужно уметь создавать такие ситуации, где противник может, должен ошибиться! Нужно измотать его, заставляя все время решать сложные проблемы.

Шахматами болели и Корнеев, и Вадим, осенью предполагалась встреча на первенство мира, и ничего удивительного в том, что Вадим по газетам шахматные новости собирает. А мысль интересная... Ему небось и в дурном сне не приснится, что эту идею можно использовать в оперативной работе.

— Ты давай собирайся,— сказал Никите Михаил Сергеевич.— Кончилось твое время.

— Кончился мой долгий-долгий выходной.— Никита вздохнул и поднялся.

— А может, ему к Шитову зайти? — сказал Вадим.— Что поздно, так от тетки. Тетка плохо чувствует себя, неудобно было уйти. Узнать, что да как в милиции, это в цвет.

— В цвет,— согласился Корнеев.— Давай к Шитову.

— К Шитову так к Шитову. Это поближе. А ну, как его нет? — ворчал Никита для порядка и поеживаясь. Ночь выдалась прохладная, а заветный свитерок покоился в дедовском улье. И у Вадима одежки не займешь, такие, значит, пироги...

— Кит, она в самом деле плоха? — спросил Вадим. Никита сразу понял, о ком речь.

Братья сейчас глядели друг на друга, словно бы сравнявшись в годах. С тех пор как у мальчиков Лобачевых не стало родителей, старшими в их семье были Борко и тетка Ирина. Потому и сохранилась семья, что были, были и есть эти двое. Ведь это плохо, когда нет своих стариков, для которых ты не взрослый мужчина, а — мальчик. Как сегодня крикнула тетка Ирина: «Кит! Деточка!»

Корнеев прислушался к их невеселому разговору. Он знал Ирину Сергеевну, понимал, какое место занимала она в «лобачевском клане».

— Ребята, почему так сразу в тревогу? — сказал он.— Она ж не такая старая еще. Подумаешь, пятьдесят годов! Иван Федотыч ее на сколько старше, а гляди какой орел. Я думаю, заморилась она. На пенсию бы ей скорее.

— Она по инвалидности давно бы могла,— сказал Вадим.— Так ведь не хочет.

Корнеев подумал, помолчал, головой покачал.

— Тоже понять можно. Я бы сам побоялся без работы остаться. Старые люди говорят: сначала лошадь тянет оглобли, потом оглобли держат лошадь.

— Так ты смотри это... Насчет внешности,— еще раз напомнил Никита.

— Не замечу, ничего не замечу! Я еще ее в ресторан вытащу. Вот мы с Корнеичем пойдем да пригласим.

— Вполне,— согласился Корнеич.

Никита исчез, в знаменитых своих «вельветах» бесшумно пересек каменный дворик. Михаил Сергеевич, глядя вслед ему в глубокий ночной мрак, думал об Ирине Сергеевне, о Борко, которого сравнил с царем птиц, и о том единственном орле, которого ему довелось близко видеть.

Это было несколько лет назад тоже на юге, но не на море, в горной долине. Однажды прямо на поляну в селении с трудом спланировал, почти упал орел. Ударившись грудью, так и не складывая огромных на земле крыльев, цепляясь за траву большими перьями, орел встал на лапы, неуверенно переваливаясь, сделал несколько шагов.

К нему подбежали дети. Он смотрел на них, не видя. В нем самом что-то происходило, и только к этому он прислушивался.

Сзади подошел человек, накрыл его мешком, унес в сарай. Когда утром открыли сарай, орел уже умер. Мертвая голова его вновь обрела презрительно-царственное выражение.

А ночь выдалась на редкость прохладная. Никита в рубашке прозяб и, завидев освещенные шитовские окна, ускорил шаг, с удовольствием предвкушая тепло и стопку чего-нибудь, сейчас оно было бы весьма кстати.

Он постучал, однако, к его удивлению, Шитов не открыл. Спросил через запертую дверь — кто?

— Я, Нико. Открывай скорей, замерз до смерти.

Шитов переспросил из-за двери:

— Нико, ты? Ты один?

— В глазок я бы тебе показался, так глазка нет! — крикнул рассерженный Никита.— Ну и черт с тобой, ухожу!

Шитов неожиданно испугался.

— Нет, нет! — тоже крикнул он.— Не уходи! Я сейчас.

Дверь нерешительно приоткрылась. Против света Никита не мог рассмотреть лица Шитова, но по движениям понял, что тот вглядывается в полумрак улицы за его спиной.

— Входи,— пригласил он наконец. Тотчас захлопнул за Никитой дверь, да еще и здоровенный ключ в старинном, простом замке повернул. И тут с него несколько спало непонятное для Никиты напряжение, он посмотрел на Никиту радушно, даже благодарно.

— Хорошо, что пришел, Нико, молодец, что пришел,— сказал он и, похоже, не соврал. Он действительно обрадовался Никите и был совершенно трезв.

Непонятная получалась ситуация.

— Плохи твои дела, коли нашлась возможность до ночи трезвому просидеть,— сказал Никита.— Сдурел ты, что ли, Барон? Уж неужто тебя так милиция напугала? Дай чего-нибудь выпить, говорю: замерз я как цуцик.

— Сейчас, Нико, сейчас! — Шитов засуетился. Он был рад, на самом деле был рад, что Никита пришел.— Я не стал пить. Знаешь, у пьяного все-таки рефлексы не те. Вот! — Он достал из серванта непочатую бутылку коньяка. Видно, деньги еще велись.— Вот. Только закусить нечем,

— Да ты сбегай на угол, там до одиннадцати. А то черт с тобой, ты какой-то чокнутый сегодня. Давай пиджак, я схожу.

Никита сбегал на угол, принес колбасы, хлеба, шпрот. Шитов и выпускал, и впускал его опять не просто, опять с предосторожностями. Но все-таки он похрабрел, особенно после того, как Никита, недолго поломавшись, согласился остаться у него ночевать.

— А как же хозяева? Они ж не велели?

— Так это баб.

— А на кой, интересно, черт тебе рефлексы? — поинтересовался Никита, расправляясь с закусью после стопки.— Почему это ты не пьешь?

— С тобой-то я, пожалуй, выпью.— Шитов уже наливал себе. Видно, трезвый день ему не просто дался. Он выпил залпом одну за другой две стопки. Ему, наверно, казалось, что он успокоился, на самом же деле у него задергалось правое веко, чего он не замечал.

Никита сидел в его пиджаке, наброшенном на плечи, Шитов на сей раз обошелся даже без купального халата. Окна были закрыты, занавешены плотными пыльными портьерами с зелеными помпончиками. В комнате тепло. В трикотажной тенниске Шитов выглядел хлипким, тонкоруким. Наверное, с детства не имел представления о спорте. И как только армию отслужил?

— Ты на турнике когда-нибудь подтягивался? — задал никчемный вопрос Никита. Ему не хотелось самому допытываться до причин шитовского волнения. Он рассчитывал, что уж коли Шитов впустил и даже обрадовался, то сам захочет пооткровенничать, не сможет смолчать. В этом случае именно сторонний вопрос его подтолкнет.

Так и получилось.

— Он хочет, чтоб я ее проводил в поезде,— сказал Шитов, в упор глядя на Никиту.— Ты можешь себе представить?

Никита понимающе кивнул, дабы не сбить Шитова. Сейчас его нельзя спрашивать, что расскажет — расскажет сам. Никита понял, конечно, что речь идет о Громове и Волковой, что Громов, очевидно, хочет спровадить Волкову. Это логично. Но почему перспектива провожанья так потрясла Шитова? Не милиция, значит, его взволновала.

Хотя нет. Стоп! Выплыла и милиция.

— Я думал, он меня удушит,— почти шепотом говорил Шитов, и веко его все чаще вздрагивало.— Уж вот пристал: о чем да о чем меня в отделении...

Тут Никита счел возможным вмешаться:

— Слушай, Барон, я шефу звонил. Я сказал, что все из-за Инки, что ты при плохой погоде.

— Знаю, Нико! — воскликнул Шитов. Протянул через стол руку и крепко стиснул запястье Никиты. Пальцы у него были холодные, прямо ледяные.— Ты настоящий друг! Он хочет, чтоб я с ней ехал,— снова вернулся он к тому, чем-то важному разговору, который, видимо, произошел у них с Громовым.— Я создам условия для скандала, ей будет некуда деваться, она поедет к мужу...

Сейчас он точно повторял громовские слова, даже громовскую интонацию.

«Ну что ж, опять все логично. Но почему Шитов замолчал?»

Только было решился Никита легонько подтолкнуть Шитова, как тот заговорил с нарастающим возбуждением:

— Конечно, мало ли что может отчубучить в поезде такая истеричка. Во время беременности женщины особенно возбудимы.

«Опять не твои слова! Эти формулировочки в тебя вложены».

Никита сидел за столом расслабившись-развалившись, напряженный до последней степени. Что-то прояснялось для него, но это прояснение пока не воспринималось ни мыслями, ни чувством. Оно было осязаемо близко, и вместе с тем как бы в другом измерении.

— Он сказал, что подготовит мне железное алиби. А я ему не верю! — вдруг взвизгнул Шитов.— Он опять все хочет моими руками, а я не верю в его алиби!

Только что Никите было тепло, а сейчас, хоть и знал он, с кем имеет дело, по нему пробежали холодные мурашки. Но надо было что-то сказать, чтоб Шитов не споткнулся о молчание.

— Алиби — великое дело,— проговорил Никита.

Неизвестно, расслышал ли Шитов реплику. Он был весь погружен в себя, во что-то вдумывался, всматривался, он был мучим, он был подавлен страхом.

Никита наблюдал за ним, полузакрыв глаза, как человек уставший и сытый, единственное желание которо-

го — спать. Наблюдал и ужасался — как уродует страх лица людей. Ведь не будь этот человек пошлым дураком, внешность его сама по себе была бы привлекательной.

Никите довелось дважды видеть людей в минуты неотвратимой опасности. У них не было таких лиц.

Наверное, естественный трепет перед грозным, но необходимым, перед смертью, на которую во имя высокой цели идет человек, и боязнь расплаты за содеянное — разные вещи. Наверное, разные... Вот, милейший Барон, какие проценты хочет взять с тебя Громов!

После слов об алиби измерения сомкнулись, все стало — яснее некуда. Этот фигляр только испуган тяжелым поручением. Он не возмущен. Он просто боится и, кроме того, не верит в алиби. По-видимому, он еще не дал согласия и теперь трясется за себя. Значит, считает возможным...

Зевая, почти похрапывая за столом, Никита решил завтра же утром, до Южного, все передать Корнееву. И еще решил, что лучше все-таки не спать. Сам Шитов ему сегодня не нравился. В его состоянии крайнего испуга и возбуждения мало ли какое дурацкое решение могло его осенить?!

Да и шеф... Ох, с таким шефом не соскучишься!

Никита откашлялся, отфыркался, протер ладонями лицо и сказал решительно:

— Слушай, Барон, кончай базар! Ты человек интеллигентный, мне тебя не учить, а что шеф о милиции беспокоится, так кому это надо — милиция? Я так и шефу сказал, что ты из-за Инки влип.

— Из-за нее! Ты же сам видел? — Шитова почему-то обрадовало это напоминание. То ли он подумал, что гнев Громова обрушится преимущественно на Волкову, то ли стремился для себя, еще подсознательно, быть может, оправдать то, чему следовало произойти в поезде и для чего Громов обещал ему железное алиби.

— И еще, ты подумай, Нико,— вдруг без всякой истерики сказал Шитов.— Мало всего, так он хочет, чтоб я свой электроорган продал. Деньги, дескать, кончаются!

Никакие его выкрики и нервические тики не убедили Никиту так, как эти с возмущением, но рассудительно произнесенные фразы. Шитов поедет с Волковой. Орган, может быть, не продаст, а с Волковой поедет. И алиби ему понадобится.

— Слушай, Барон,— немилосердно зевая и потягиваясь, повторил Никита.— В конце концов, электроорган твой, никто его у тебя силком не потащит. Хватит трепаться, давай спать, а то ерунда какая-то получается.

Никита ночь не спал, благо и ночи-то оставалось всего ничего. Честно говоря, он побаивался, не улепетнул бы в неизвестном направлении его всерьез перепуганный подопечный. Неизвестно и что предпримет Громов, очевидно не получивший от Шитова четкого согласия на свое предложение, да еще после того, как Шитов побывал в милиции. Спокойным можно было быть только за Волкову, эта от Громова никуда не денется. Никите пришло в голову нелепое сравнение: он стал похож на клушку, из-под которой разбегаются цыплята, и за всеми сразу ей не уследить.

В предрассветные часы он решал еще, как ему быть с сегодняшним утром. По поручению шефа, визированному Михаилом Сергеевичем, он должен повидаться с кассиршей. Изменились или не изменились планы Громова? Не спрашивать же его об этом по телефону. Слова есть такие — без отсебятины. Но поставить Корнеева в известность необходимо.

«Забежать с утра через проходной двор, благо они на автобусной трассе. Если никого нет, придется по телефону. Потом в Южный, и ходом обратно»,— так решил Никита, подумав еще, что события набирают разгон, стало быть, и конец им скоро.

Его вдруг посетила простая человеческая мысль — хорошо бы закончить все до первого сентября. В институте же начинаются занятия...

Шитов, судя по дыханию, все-таки заснул. «И спит же, подлец, спокойно! — диву давался Никита.— Знает, при мне шеф к нему никого не пришлет, и дрыхнет себе!»

Утром Шитов поднялся несколько бледный, но уже вроде бы и не взволнованный. Свет у него ночью горел. Погасил свет, распахнул шторы, окно открыл. Днем, видно, не боялся и, может, принял решение, и это тоже избавило его от чувства страха.

«Ничего, милок, во-первых, Громов тебе колебания все равно не простит, а во-вторых, недолго вам гулять, по всему видимо,— с холодной злобой подумал Никита.— Вот только уследить, чтоб шеф вам всем до време-

ни глотки не перегрыз, а то и показания не с кого будет снимать и он очень даже просто вывернется».

Он уговорил Шитова попусту по городу не шататься и, упаси бог, не пить. Если еще раз милиции попадется — хана!

Спросил, между прочим, где у него электроорган. Шитов поколебался мгновенье, потом все же сказал, что упакованный в ящике в камере хранения на вокзале.

— Ну там и держи,— посоветовал Никита.— Знаешь, когда не под рукой вещь, так ее хоть загнать, хоть пропить всегда труднее. Элемент, так сказать, случайности исключается. А между прочим, хоть бы и шеф спросил. Такую вещь в чужом доме держать даже и глупо.

Все это Шитову понравилось. Да, судьба электрооргана его беспокоила. Значительно больше, нежели судьба Волковой.

Комната Вадима оказалась запертой, окна закрыты. Никого. Никита позвонил по известному телефону. Сказал, что быстро вернется и просит срочной встречи у скульптора. Не пожалел денег, взял такси.

Дед, да и все соседи были поражены, когда машина с шашечками появилась на Ущельной улице. Здесь жили люди, которые запросто такси не пользовались.

Хозяйка с терраски смотрела на Никиту, как будто он не из такси, а из екатерининской кареты вышел.

— Уезжаешь, сынок? — спросила она, хотя рюкзак постояльца в автотранспорте не нуждался. На спине парня приехал, на спине и уедет.

— Ни боже мой, бабуся! — бодро ответил Никита, пробегая в свой угол и доставая из небесной тумбочки этот самый рюкзак.— Уезжать нам рановато. Есть у нас еще туточки дела.

Количество слогов в строчке прибавилось, но что ж делать, стихов Никита не писал. Он отдал хозяевам две причитавшиеся с него трешки, взял своего неразменного Мандельштама. Подумал и взял свитерок. Вчерашняя ночь его предостерегла, а сегодня с утра какая-то хмарь плыла в воздухе и жарой не пахло.

— Это ты правильно, сынок,— одобрил дед. Челюсть была при нем, говорил ясно.— Гляди, как бы не заштормило.

Таксист даже развернуться на этой Ущельной не смог. Так задом и пятился до асфальта. Он подбросил Никиту

на ближайшую остановку, и дальше Никита поехал на автобусе. Не в образе громовского подручного прокатывать большие деньги на такси.

Солнце еще светило, но небо все более заволакивалось белесой дымкой, впервые не увидел Никита легкой острой линии горизонта и не сразу понял — это волны. Это волны поломали горизонт. Где-то там, далеко от берегов, где Никита никогда еще не был, волны, наверное, уже высоки и грозны. Но и здесь, у пляжей, они начинали гневаться. Даже с высокого берега было видно, как то одна, то другая волна мощно ударялась о волнорез, как высоко вздымались и медленно опадали белые фонтаны пены.

Никита бодро поговорил с Шитовым, весело — со стариками. Но если б тетка Ирина увидела его сейчас, она, наверное, воскликнула бы с тревогой: «Кит, деточка! Что с тобой?»

Никите было плохо. Ему было почти физически плохо. Он чувствовал себя отравленным. Он учился борьбе с преступностью. Это было его дело, которое он сам себе выбрал, дело его отца и брата. Он знал, что нельзя бороться с преступностью, не соприкасаясь с преступниками. Но ему никогда не приходилось соприкасаться с ними так тесно, дышать их воздухом, видеть их изнутри. Он никогда не думал, что это так противочеловечно.

Ну ладно! Они противостоят нашей стране. Их лозунг: работая, и дурак проживет, надо уметь прожить не работая. Они смертельно ненавидят страну еще и за то, что у нас деньги пахнут, должны пахнуть честным трудом. Ненавидят за то, что боятся вольготно проживать награбленное.

Ладно, они существа другой породы, мы им ненавистны. Но ведь они так же ненавидят и друг друга. Их взаимоотношения так же бесчеловечны. Для Громова волк — олицетворение силы и свободы. И не случайно, что именно волк. Лев не убивает раненого льва, слоны помогают слону больному и старому. Волки пожирают раненого волка.

Никите опять вспомнилось дело ростовских бандитов. Обсуждали же они вполне хладнокровно, что выгоднее: уничтожить раненого участника банды или лечить. Решили лечить, потому что иначе встала бы проблема его исчезновения.

Мир был отравлен присутствием в нем этих существ. Чужие в доме, гнойник в теле — такое чувство было сейчас у Никиты. И оно когтило, мучило, потому что непосредственно его касалось. Он вправе возмутиться, если ему продадут плохой ботинок, потому что за качество обуви в ответе не он. А на Громова, Шитова ему некому жаловаться. Обезвредить их — его дело. Он, Лобачев, отвечает за это перед шахтером, перед людьми, которые мирно едут сейчас в автобусе, перед девочкой, которая сидит в кассе аэропорта и ничего не знает...

Как бы вторую присягу принял Никита этим хмурым утром над недобрым морем.

Вот и площадь, и стеклянный дворец, и темные розы. Все — так же, и все — по-другому. Все без теней и все сумрачней.

Никита посмотрел на часы. Опять подходило время обеденного перерыва. Сегодня недолго и, наверное, в последний раз.

По площади неожиданно властно прошелся холодный ветер. Прошел, снова стало тихо, но Никита натянул свитер. Он вошел в аэровокзал, опять подошел к стенду с расписанием, как и в первый раз, в руках у него была книга стихов. Все — как тогда. Только когда он подошел к кассе, Лидочка-Жук не спросила его о билете. Она спросила:

— Опять не встретили?

Никита без улыбки отрицательно покачал головой.

Положив обе руки на барьерчик, он наклонился, чтобы смотреть в стеклянную арку окна, как это почему-то всегда делают люди, хотя можно, не наклоняясь, видеть сквозь стекло все то же самое.

— Не встретил. И не встречу,— проговорил он, безулыбчиво и открыто разглядывая девушку.

Все как в прошлый раз. «Даже лучше»,— подумал Никита. Она показалась ему хорошенькой, а она красивая.

— Что-нибудь случилось? — спросила она.

Как видно, и Никита показался ей другим, ее озадачила невеселость его глаз, голоса. Он смотрел на нее, а думал о другом.

— Да,— сказал Никита.— Мой друг заболел. Я только что получил телеграмму до востребования. Мне некого встречать. И некому жаловаться. Мне все надо самому.

Очереди у кассы не было, они смотрели друг на друга серьезные, озабоченные. Никита глядел в черные полумесяцы, а думал о своем, он даже слова-то не особенно подбирал. И она почувствовала отчужденность. Он был за стеклом более плотным, нежели стекло ее будочки.

— Сейчас обед,— сказала она.— Подождите меня у входа.

— Спасибо,— и Никита пошел к выходу. Она, значит, решила, что у него несчастье, а он здесь один, и надо поддержать. Так? Или все проще и хуже?

«Стой! — чуть не крикнул он себе.— Да, ты отравлен, да, ты имеешь и будешь всегда иметь дело с человеческим отребьем! Но беда тебе и твоему делу, если ты перестанешь верить доброму в людях! Если перестанешь подходить к людям с оптимистической гипотезой! Не смей думать об этой девочке плохо!»

Надо бы обрадоваться ее участию, но сегодня и оно прошло, не задев. Тетка Ира сказала: все мы как-то мимо ходим...

«Но я же не хочу, чтоб было мимо»,— вдруг подумал Никита, и это отчетливое ощущение как бы просветлило все, он снова увидел людей, розы, небо, пусть без солнца, но все равно красивое перламутровое небо.

Никита дождался ее на ступеньках, они опять вместе ели яичницу, пили кефир. Вернее, ела она одна. Он сказал, что ему не хочется; ему действительно не хотелось. Одна она управилась быстрее.

— Раз уж вы такая чуткая, так пойдемте посидим на той лавочке,— Никита показал на пустую скамейку в сквере с розами.

Она пошла. Она вообще разумно себя вела. Разумным было хотя бы то, что она, предполагая несчастье, ни о чем не расспрашивала. Это ненавязчивое участие чем-то напомнило Никите Вадимову Галю. Ну что ж, если эта девушка чем-то может походить на Галю, честь ей и хвала.

И молчание ее, видимо, не тяготит. Редкое качество в женщине.

Но обеденный перерыв, естественно, подходил к концу, она посмотрела на маленькие, под розовым стеклом часики и сказала:

— Жалко, конечно, что погорели у вас каникулы, ну что же теперь делать?

Она улыбнулась, как бы извиняясь. Это была первая улыбка на двоих в сегодняшней встрече. Она хотела подняться, и Никита вдруг испугался: как же так? Так вот просто она и уйдет, а ему совершенно незачем, да и некогда больше к ней ездить.

— Подождите,— остановил он ее.— Неужели вас не интересует поэзия? — он потряс Мандельштамом.— Нельзя же, чтобы одни квадратные корни...

Ну вот, все сразу стало на место.

— Квадратные корни тут ни при чем,— строго сказала она.— А стихи я и в прошлый раз у вас заметила...

— Возьмите! — Никита протянул ей книгу.

Эффект оказался неожиданным. Она возмутилась. Она была почти оскорблена. Она подумала, что он дарит ей книгу.

— Я не собираюсь делать такие подарки,— спокойно пояснил Никита.— Я даю вам почитать. Вряд ли вы где-нибудь достанете эти стихи. Тираж маленький.

Она подозрительно посмотрела на Никиту, но выражение некоторой отчужденности от всего происходящего еще не напрочь покинуло его лицо. Нет-нет, ему все от чего-то крепко невесело. Так она поняла, и это смирило ее, очевидно, привычный порыв к обороне.

Никита не притворялся. Ему не захотелось, чтоб она ушла вот так, без ниточки связи, только и всего. Вчерашний день казался для него чреватым последствиями в мыслях и чувствах. Его глубоко пронзило и ощущение беды, притаившейся возле Ирины Сергеевны. Оно было настолько острым, что теперь даже мысленно он почему-то не мог назвать ее полулюбовно, полупочтительно, как раньше,— теткой Ирой. Как будто темным крылом на его глазах приосенило вчера эту старую женщину, и сразу показалась она немного выше, немного дальше, немного чужой...

И вчера же отрава, и сегодня вторая присяга над морем. Все менее однозначными становятся понятия и события...

— Я второй раз спрашиваю вас: что, хорошие стихи?

Когда она распахивает глаза, ресницы кончиками почти касаются бровей. Она смотрит на него с недоумением и участием. Наверняка думает, что у него большое горе. Может быть, умер друг?

— Мне стихи не понравились,— ответил Никита.— По-моему, слава эта дутая. Напиши такие стихи какой-нибудь молодой, их и печатать не станут.

Никита сейчас физически не мог лгать, вернее, не мог говорить не за себя — за другого. В этом случае странно выглядело его предложение прочесть книгу, но ему было уже все равно. Он достал из кармана со львом ручку, написал на внутренней стороне обложки адрес Вадима, протянул ей томик.

— Вернете в Москве вот по этому адресу.

Опять она ощетинилась против навязанного знакомства. Простительно, если представить себе, как должны ей с этими знакомствами надоедать.

— Необязательно привозить самой. Можно прислать заказной бандеролью,— на этот раз не без язвительности объяснил Никита. В провинции почту использовать не привыкли.

Она молча взяла книгу. Теперь уже Никита посмотрел на часы и поднялся. Пора было и к Громову, и к скульптору. Интересно, распродал он своего Гиппократа или запас неисчерпаем?

— Из вас вышел бы хороший вратарь,— сказал он.— Вы яростно защищаетесь, даже если игра идет у ворот противника.

И ушел. Не оглянулся. И это не стоило ему никакого усилия.

А темп игры у ворот противника между тем нарастал. Корнеев уже ждал Никиту, прогуливаясь на новом месте.

Михаил Сергеевич принял от Никиты его точки-тире — кажется, на этот раз Никите удалось достичь краткости,— а сам быстро и без запинки, но почти полными фразами сказал, что Волкову надо брать, пока от нее не избавились. Сказал, чтобы Никита особо приглядывал за Волковой. Если Громов не отказался от мыслей о кассе, очень желательно установить третьего, а может, и четвертого, с кем он собирается осуществить операцию. Ему можно сообщить, что денег бывает столько-то, сдает она тогда-то, при таких-то условиях. Данные, дескать, сегодня получены Никитой от кассирши. По номеру телефона, данному Никите, дежурят. Звонить во всех случаях.

— Тебя не подозревают? — шепотом спросил Михаил Сергеевич и резко обернулся, чтобы посмотреть Никите в глаза.— В случае чего смотри, чтобы без гусарства!

Сказал строго и ушел.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

сли времени нет, оно идет ужасно быстро. Пока в аэропорт, пока Лида-Жук, пока обратно. Да и Гиппократ взял свое. Когда Никита вышел с базара, день понурился. Никита по привычке повторил полученные от Михаила Сергеевича данные по кассе, не сразу сообразив, что их не только можно, но для вящей исполнительности следует записать, да так на записке шефу и вручить. Выйдя на набережную, он сел на первую попавшуюся скамейку и записал.

Никита не сразу ощутил густой шум, заполнивший улицы города, а ощутив, не вдруг понял, что это шумит море. Он еще не слышал, чтобы море так шумело. Он вообще никогда не слышал подобного шума. Немного похоже шумят при большом ветре сосны в бору, но куда же соснам тягаться с морем...

Он пошел не напрямки к гостинице, а более долгим путем, по набережной. Из окна автобуса, с высокого берега взрывы волн были неслышны и казались безобидно-впечатляющими, как фейерверк. В непосредственной близости волны пугали. С каменных преград волнорезов не успевали сбежать потоки, а уже новая волна вставала на дыбы, темнея зеленоватой грудью и осыпаясь кипящим гребнем. Иной волне удавалось швырнуть пену на асфальт набережной, и воздух наполнялся мелкой водяной пылью. В маленькие бухточки, образуемые волнорезами, высокие волны почти не проникали, так, по крайней мере, казалось Никите. Бухточки сердито шипели галькой, довольно большие камешки подпрыгивали и суетились, как песчинки в бело-зеленой кипени.

Никите ужасно захотелось попробовать искупаться сейчас в бухточке — в море-то он бы войти не решился. Он хорошо плавал, но самой большой водой в его жизни была Москва-река. Вот если в бухточке... Но у каменной стенки набережной на металлическом стояке висело предупреждение: «Купаться запрещено».

Являться к Громову без звонка не хотелось, поэтому Никита, с сожалением покинув набережную, в его воображении похожую на палубу корабля, поднялся по лестнице на бульвар в очередь к телефонной будке. Его удивила разница температур и самого воздуха. Внизу у моря жарко и влажно, в нескольких метрах выше — сухая прохлада, которая дома сошла бы за добротное тепло. Только что солнца не было, а то — все как обычно в этом городе, запахи деревьев и цветов, музыка, шелест множества ног, нарядные, довольные люди. Даже шум моря был бессилен заглушить шорохи людского множества.

— Шеф, это я, Нико,— бодро и весело доложился Никита за плотно запертой дверью будки.— Все исполнено, шеф.

— Хвалю, Нико,— коротко ответил Громов. Прямо-таки по-военному сказал. Умел сыграть, ничего не скажешь.— Ты откуда?

— Снизу, шеф. Ты же сказал, чтобы не без звонка.

— Правильно. Еще раз хвалю.— Громов помедлил несколько, потом разрешил: — Ладно, поднимайся.

«Сомневался, позвать сразу или нет, хотя результаты из аэропорта должны его крайне интересовать. Или он испугался шитовской милиции и раздумал?»

У Громова была Волкова. Как только Никита показался в дверях, Громов быстро подошел к нему, обеими руками похлопал по плечам и сказал:

— Молодец, Нико! Директору все понравилось, особенно эта твоя «Сиерра». Вот тебе и старомодно! Ну ладно, подробно потом расскажешь. Голодный, конечно? Ешь!

Он широким жестом показал на стол, на котором, как всегда, имелись остатки какой-то еды и бутылка, но бутылка была почти полная. При Громове Волкова, видно, остерегалась распоясываться.

Никита не заставил себя уговаривать, сел за стол и принялся за еду, так ему удобнее было помолчать и сориентироваться в обстановке. В комнате, он это сразу почувствовал, что-то происходило.

Волкова, как и в самый первый раз, когда он ее здесь увидел, сидела на диване, но сейчас не она вещей, а вещи опасливо ее сторонились. Она была трезвая, но напряжена до последнего предела. На приветствие Никиты едва ответила кивком, она не отрывала глаз от Громова. В лице ее, во всей фигуре выражалась та степень расте-

рянности и отчаяния, когда видно, что человек мучительно ищет какого-то решения, выхода. Бледна. Она была бледна, глаза провалились, сейчас ей можно было дать все тридцать.

— Ну и дура, что сделала,— сказал Громов, очевидно продолжая начатый до прихода Никиты разговор.— С наследником было бы не в пример легче пожаловать к мужу.

Слова бросил он резко, грубо, большими шагами взад-вперед бродя по комнате.

Сказанное, да и весь облик Волковой мгновенно прояснили для Никиты ситуацию. Как это Громов втолковывал Шитову? Создать благоприятную почву для скандала... Ей некуда будет деться... Она поедет к мужу... А Волкова, значит, сделала аборт, вот почему, кроме, так сказать, моральной стороны, она так убийственно выглядит.

— Я не хочу к мужу,— проговорила Волкова, не отрывая глаз от Громова, который ни разу не взглянул на нее. На Никиту никто из них не обращал внимания, и потому он мог легко наблюдать за обоими.

— Придется, Инночка, придется. С гастролями, как видишь, пока задерживается, а чужих жен я содержать не подряжался. А к ребеночку, я полагаю, твой супруг более причастен, чем я. Ну, да лиха беда начало. Еще состряпаете.

Сначала Никите показалось, что Громов взбешен, но он быстро убедился — совсем нет! Громов играет гнев, но он абсолютно спокоен, он делает то, что считает нужным, только и всего.

— Я не поеду, Женя! Я не хочу!

Вот тут Громов помаленьку начал закипать. Наверное, он не рассчитывал на такое тихое, но отчаянное упорство. Однако ж какие-то последние удары он, видимо, не хотел при Никите наносить, сказал, теперь уже всем корпусом повернувшись к Волковой:

— Пройди-ка к себе, Пенелопа, да подумай. За двое суток за твой номерок уплачено, а на большее ты не рассчитывай.

Она невольно огляделась.

— И на мое жилище, милая, не рассчитывай. Ты мне не жена и никто. У нас за нравственностью, между прочим, следят. Не пропишут тебя здесь, хоть бы я и хотел.

А я не хочу, как ты можешь догадаться. Я занят сейчас. Пошла! — вполголоса приказал он ей, как собаке. И она пошла.

Когда она исчезла, закрыв за собой дверь, Громов подошел и запер дверь на ключ. Он опять был совершенно спокоен.

— Вот так, Нико,— сказал он.— Взять бабу ничего не стоит, а попробуй отделайся. Ну, черт с ними. Все образуется своевременно или несколько позже. Давай докладывай!

Никита вынул и подал Громову свою бумажку. И устно доложил. Они сидели друг против друга за столом, тоже как в первый раз. Еды на тарелочках не осталось — Никита постарался,— бутылка нетронута и отодвинута. Не до выпивки, люди работают.

Опять Никите было удобно есть глазами шефа — доволен ли?

Громов был доволен, очень доволен и не скрывал этого. Он похвалил Никиту, долго молчал, постукивая пальцами по столу и что-то обдумывая.

«Ни от чего он не отказался. Шитов займется Волковой,— видимо, он в этом не сомневается,— а шеф уже занят кассой. Но где же третий? Неужели так и не выплывет третий?»

Никита решил чуть понукнуть Громова.

— Девке я, между прочим, за наживку Мандельштама отдал,— сообщил Никита со вздохом.

Громов оторвался от своих размышлений, глянул на Никиту насмешливо:

— Шестьдесят ре хочешь? А если по номиналу?

«Ох, и привык же ты, артисткин сын, издеваться над своими шестерками».

— А я ничего не хочу! — так же прищурясь и так же одно за другим весомо роняя слова, ответил Никита.

Что ж, пусть шеф так и понимает: Никита не шестерка, не Шитов. Ему, конечно, еще далеко до шефа, но они одной породы, с ним надо считаться.

Громов так и понял. Следовало отдать ему справедливость, в людях он разбирался.

— Хвалю, Нико,— выдал он свое дежурное одобрение.— Сегодня отдыхай. Завтра после четырех позвонишь. Будет у меня встреча с одним нужным человеком. Вот в зависимости...

— Бу сде, шеф,— с готовностью и с достоинством заверил Никита и поднялся. Вроде все как при первом свидании, однако ж не все. Авансовые десятки он отработал.

— Окупится твой Мандельштам,— пообещал Громов.— Скорее, чем думаешь.

И Никита думал, что окупится, и даже скорее, чем рассчитывает Громов. Очень обнадеживала фраза о завтрашней, видимо, определяющей встрече. Становилось теплее, гораздо теплее. Надо думать, прорезался третий...

Когда Никита шел по коридору, за его спиной послышались женские шаги. Правда, с тех пор как появились эти пудовые платформы, женскую поступь можно спутать с мужской. Но шла все-таки женщина.

Никита оглянулся не сразу. Увидел Волкову. Она, наверное, только и ждала его ухода. Она подошла к двери громовского номера и без стука вошла.

«Итак, продолжается битва»,— подумал Никита. Сначала он не примерил эту битву к собственным поступкам, но в следующую же минуту вспомнил наказ Корнеева о Волковой. Ну, да в гостинице Громов ей ничего не сделает. Сам он вообще ничего не будет делать, он осторожный, у него шестерки есть.

Однако выйдя на бульвар, Никита замедлил шаг и задумался. А ну как Громов ее все-таки уговорит да и отправит с Шитовым вечерним скорым? В этом случае хорошо, если Шитов надует Громова, заберет свой электроорган да гармошку и просто удерет с Волковой под сень колосовских мест. А вдруг не осмелится надуть?

Никита посмотрел на часы и решил до отхода скорого посидеть на одной из скамеек — благо их великое множество,— с которой просматривался бы подъезд. Место на скамейке нашлось, и он уселся.

Черное небо было в близких звездах, и казалось странным, что море волнуется само по себе, без оглядки на небо, чисто оно или в тучах. Знакомые Никите среднерусские реки всегда зависели от неба. На бульваре шум моря заглушался сухим шелестом шагов по асфальту, близ фонарей красовались, выступая из мрака, цветы, еще темней казались загорелые женские тела в светлых одеждах. И все женщины были красивы.

Хорошо сидеть здесь, бездумно отдыхать...

Никита заметил Волкову сразу, едва она вышла из

дверей гостиницы. Он только не сразу подумал, что вот она все-таки вышла, но, подумав, мгновенно собрал себя, засек время, не шевельнулся, чтоб она его не заметила. Сел он с таким расчетом, чтоб если она пойдет к Шитову, то скамейка окажется у нее за спиной.

Так и случилось. Волкова спустилась по ступеням и пошла налево. Никита дал ей сделать несколько шагов, потом не торопясь поднялся и побрел по бульвару фланирующей походкой, на почтительном расстоянии, чтобы только не терять Волкову из виду. На скамейке он просидел более получаса. Можно не сомневаться, Громов за эти тридцать минут ей поддал жару. Не только «создал условия для скандала», надо думать, устроил и сам скандал. Разговор, который застал Никита, уже многого стоил.

До отхода скорого оставалось больше часа, при горячем желании можно попробовать успеть, но у Волковой в руках ни чемодана, ни даже сумки, пустые руки опущены, она не думает о них. Кое-кто из гуляющих оглядывается ей вслед, вероятно, лицо у нее...

Пока Никита решал про себя, что она никуда не собирается ехать, а просто идет к Шитову отводить душу, потому что деваться ей некуда, Волкова вдруг резко свернула с бульвара и по узкой лестнице, в этот час совершенно пустой, бегом бросилась вниз к тоже пустому, невидимому во мраке пляжу, к смутно белевшему волнорезу, над которым вскипали белые фонтаны волн.

Никита только ахнул про себя: «Прозевал!» — и ринулся за ней.

Лестницу он перелетел на перилах, сорвав с ладони кожу и не заметив этого. Внизу разъезжалась под ногами мокрая галька, а Волкова уже на волнорезе, по волнорезу легче бежать... На какую-то долю секунды белое платье ее перестало быть видным на белой кипени, и он ужаснулся, что упустил ее, но волна опала, ее силуэт показался опять. Она остановилась, и в эту минуту Никита прыгнул на волнорез.

Он не кричал ей, потому что ему некогда было подумать о крике, некогда набрать воздуха. Но он смутно слышал, как за его спиной на набережной кричали люди.

Когда Волкова остановилась, ему показалось, что — все, что он ее сейчас схватит. Но между ними было еще несколько метров, и она прыгнула. Нет, не прыгнула,

согнулась, как будто ее ножом ударили в живот, и упала, и в эту минуту подошла очередная волна. Никита не пробежал метры, отделявшие его от места, откуда бросилась Волкова, он прыгнул с ходу ей вслед, навстречу волне, успев по привычке опять-таки к рекам подумать: «Только бы не было мелко!»

Тяжелая волна сомкнулась над его головой, но он хорошо нырял, и не это было непривычным. Никогда прежде не испытывал он такого чувства собственной беспомощности, физической несущественности. Незнаемая, нечеловеческая сила, для которой он — песчинка, взяла и швырнула, он даже не сразу осознал куда. Он ведь никогда не плавал в неспокойном море и не знал, как надо пронырировать под волну, он попытался с волной бороться.

Ему все-таки удалось каким-то образом набрать воздуху, он оправился от мгновенного шока, принялся нелепо шарить в этой оголтелой волне, уже не думая, как бы удержаться на поверхности, и нашарил Волкову, вцепился в ее платье.

Ему повезло, что она бросилась, когда волна шла на берег. Обоих их подхватило и выкинуло на окоем бухточки у волнореза. Никиту больно протащило щекой по мокрым камням, но боли он, в сущности, не почувствовал. Ощутив дно под ногами и тяжесть обвисшей на левой его руке Волковой, Никита успел перевести дух, остановился и не сразу понял, почему ему кричат на разные голоса:

— Беги! Беги! Волна идет!

Тут только он услышал надвигавшийся шум и, уже не оглядываясь, метнулся от него к берегу, волоча Волкову и опять же разъезжаясь в этой проклятой, словно намыленной гальке.

Пожалуй, не убежать бы ему от волны, если бы Волкова непостижимо живо не откликнулась на крики с берега. Она вдруг вырвалась от Никиты и сама с невесть откуда взявшейся силой побежала от моря.

Да уж и на волнорезе суетились люди, протягивали руку, вытянули на волнорез Волкову, помогли влезть Никите, и набежавшая волна лишь окатила всех шипящей сердитой пеной.

— Ни себе чего,— отдуваясь, вымолвил Никита, глядя вслед волне. Он все-таки сильно испугался. Сроду не чувствовал он себя таким ничтожно-беспомощным.

Но выяснять отношения с морем было недосуг, он находится, так сказать, при исполнении служебных обязанностей. «Ну и чертова же работа»,— тоже впервые в жизни неуважительно помыслил о своей профессии Никита, проведя рукой по щеке. Саднило здорово, о волнорез его крепко приложило.

Волкову кто-то поддерживал под руку, предложили вызвать «скорую», другие советовали ближайшую поликлинику. Никита всех торопливо поблагодарил, сказал, что девушку знает, что у нее горе и вот она сгоряча, у нее есть родственники, он сейчас им позвонит. Опять всех поблагодарил.

Теперь собравшиеся посматривали на Никиту с некоторым подозрением: уж не он ли причина этого горя, а то, мол, с чего бы ему и прыгать за ней. Словом, все разошлись с чувством какого-то попусту пережитого волнения, а люди попусту волноваться не склонны. Да к тому же и вымокли все как следует.

— Пошли, дура! — с сердцем сказал Никита, крепко, наверное больно, взяв Волкову под руку. Она молча и покорно двинулась с ним. Туфли на ней, слава богу, уцелели, платье вообще не платье, а рубашка, если не под фонарем, так и не разберешь, мокрое или сухое. Волосы тоже прямые, висячие.

Никита намеревался сторонкой вывести ее с бульвара к телефонной будке и оттуда позвонить Громову. Без звонка ее вести нельзя, ну-ка да его дома нет. Что с ее номером — неизвестно, да и Никите в таком виде в гостиницу не с руки.

Телефонные будки Никита знал теперь наперечет. Он чуть помедлил, пока свидетели разошлись переодеваться, и, быстро проведя Волкову, пересек бульвар. Они оказались на скупо освещенной тенистой аллее, в конце которой на выходе с приморского сквера, в тылу гостиницы, был автомат.

В очереди стояли двое. Волкова молчала, лица ее Никита не мог видеть, да, признаться, и не было у него охоты всматриваться. Он не чаял дождаться минуты, когда его освободят от ответа за эту истеричную бабу, которая заслуженно схлопотала все, что имеет.

Они вошли в будку. Силы Волковой, по-видимому, иссякли. Никита прислонил ее к стенке, подпер плечом

и в такой-то неудобной позе стал звонить Громову. Очередь за стеклом помаленьку росла.

Громов ответил, но попробовал допытаться, что произошло и куда он должен идти. Куда идти, Никита объяснил сразу, а оповещать всю улицу о подробностях не хотел. Громов переспросил сердито, что случилось.

— Забирай свою маруху! — завопил Никита в трубку отчаянным голосом.

Пожалуй, это было самое грамотное, что он мог сделать. Очередь возмущалась. У Волковой подгибались ноги, она, обессилев, сползала по стенке кабины. На полу натекла лужа. Того гляди, милиция появится, а уж если еще Никита с милицией пообщается, в какой бы форме это общение ни произошло, вся капелла даст ходу.

Не прошло и десяти минут, как Громов был у будки. Они отошли, посадили Волкову на скамью. Уже смеркалось, гуляющих никого, все на большой аллее. Никита рассказал, как дело получилось.

— И ты ее вытащил?! — полушепотом, чуть не по слогам проговорил Громов. Надо было оценить гнев и крайнюю степень удивления, звучавшие в его голосе.— И ты ее вытащил...— повторил он с уже утвердительным оттенком. Не было, ну не было в жизни этого человека столь близко мелькнувшей удачи и столь нелепой, нежелательной случайности.

Громов думал, наверное, с полминуты. Волкова полулежала на скамейке, мужчины стояли друг против друга.

— Очень мне интересно, шеф, что б ты делал на моем месте? — обиженно, тоже вполголоса воскликнул Никита.

Черт возьми, он имел право не только обидеться, но и возмутиться. Можно было быть совершенно спокойным, что Шитов о своих сетованиях по поводу ненадежного алиби Громову не заикнется. Значит, Никита должен быть поражен.

Но Громов не обратил внимания на его слова. Он принял решение. Ни слова не ответив Никите, он наклонился к Волковой, притянул ее за руки к себе, поднял, она почти упала к нему на грудь. Он гладил ее слипшиеся мокрые волосы, приговаривая:

— Инночка, милая! Ну, прости, детка. Ну, мало ли что бывает между близкими. Ты понимаешь, я дурак, но мне все казалось, что это его ребенок. Я чуть с ума не

сошел, когда Нико позвонил. Пока не случится, сам не знаешь... Я теперь не выпущу тебя из рук, моя козочка...

Он прижал ее к себе, поддерживая рукою, чтоб ей легче было идти. И бережно повел.

Никита плелся за ними. Он решил идти в гостиницу, благо у него был повод. Он замерз, возвращаться через весь город в мокрой одежде холодно. Пусть шеф даст сухую рубашку и вызовет такси. Остаться в положении как бы виноватого не пристало.

Как поведет себя Громов? Если откровенно распушит, значит, полностью доверяет. Поначалу-то он не сдержался...

Так полушепча, полуворкуя, Громов довел Волкову до дверей ее номера, который оказался незапертым. Ключ торчал в замке. Входя с Волковой в дверь, Громов не забыл вынуть ключ и сунуть в свой карман.

Никита остановился у двери, не решился мокрый садиться на мягкую мебель. Волкова пришла в себя. Она стояла у кровати, на которой Громов откинул одеяло. Громов снял с нее все, она покорно поднимала руки, переступала ногами, освобождаясь от платья, туфель, белья, когда он раздевал ее. И так же неотрывно смотрела на него, как несколько часов назад.

Он положил ее в постель, до подбородка укрыл одеялом, подоткнул края, чтоб было тепло ее ногам. Потом он наклонился к ней, опершись о спинку кровати, и повторял тихо, ровно:

— Лежи спокойно. Я приду к тебе. Я сейчас к тебе приду. Я приду.

Женщина вдруг откинула одеяло, ее тонкие руки взметнулись, обхватили его шею. Он бережно разнял их, вновь спрятал под одеяло, не переставая повторять на одной и той же ноте:

— Я приду к тебе. Я сейчас к тебе приду.

Женщина успокоилась. Он подарил ей еще улыбку и еще, сделал первый шаг от постели, не отрывая от нее глаз, она лежала спокойно.

Он еще шагнул назад. Она не повернула головы. Наверное, была все-таки в полуобморочном состоянии.

Не так уж коротко длилась вся эта сцена, и Никита никак не мог избавиться от гнетущей мысли о том, что только семь лет отделяют эту женщину от Маришки.

Мысль, вернее, ощущение угнетало потому, что казалось кощунственным, нестерпимым соединение двух этих образов.

Громов повернулся к ней спиной, резким кивком показал Никите на дверь, вышел за ним, на два оборота запер номер, опять сунул ключ в карман и, обогнав в коридоре Никиту, быстро прошел к себе.

— Закрой дверь,— приказал он.

Никита закрыл, они остались вдвоем, стоя друг против друга посреди комнаты.

— Так почему же ты, дитятко, вообще оказался у гостиницы? — спросил Громов.

Вот теперь и следа благожелательности не осталось ни в глазах его, ни в голосе, ни даже в позе. Видно было, что сдерживаться ему трудно.

— Провалилась бы твоя гостиница вместе с твоей марухой! — прорвало и Никиту. А что, в самом деле? Где бы поблагодарить, а ему еще допрос какой-то устраивают.— Я у волнореза шторм смотрел. Я тоже не подряжался чужих шлюх спасать.

— Шторм! — протянул Громов, аж искривившись от издевки.— Какой это, к черту, шторм, допотопие ты клязьминское? Штормового предупреждения и то не было.

Он весь кипел. Нет, почувствовал и понял Никита, до откровенности сейчас далеко. Откровенность таяла, таяла и дымилась, как искусственный лед. Громов насторожен. Сейчас он опять думает, думает уже о Никите.

— Дай пиджак какой-нибудь до завтра,— сердито сказал Никита.

Громов смотрел и смотрел на него в упор.

— Ну вот что,— решил он после похожего на бурю молчания.— Капелла у меня действительно не ахти. Гастроли здесь прогорели, Шитова после привода в милицию брать не хотят. Завтра я встречаюсь с одним нужным человеком. Проедем в Лазурную, он обещал там помочь. Поедешь со мной. А то заподозрят, что я в единственном числе существую.

«Интересно работаешь,— думал Никита.— Говоришь одно, а твердо предполагаешь, что должен я подозревать другое. Я должен, значит, понимать, какую ты готовишь гастроль. Ты во мне крепко усомнился, потому что за последние два дня у тебя два прокола: Шитов

в милиции и Волкова жива. Но и отказываться от меня напрочь ты еще медлишь, может погореть дело с кассой...»

— Это твое дело гастроли мозговать,— сказал он с тем же возмущением человека, которого ни за что обхамили.— Что мне поручалось, то и выполнял. Давай пиджак. Не заначу, не беспокойся.

— Да уж коли ты Мандельштамом рискнул, шестьдесят ре на черном! — усмехнулся Громов. Что-то чуть дрогнуло в нем, качнулась стрелка в сторону бывшего доброжелательного доверия.

Он достал из шкафа, подал Никите вельветовый пиджак.

— Завтра к десяти утра будь у Каменного пляжа,— сказал он опять же чуть помягчевшим тоном. Но более не последовало ничего, ни предложения выпить для сугреву, ни хотя бы носки сухие надеть, ни, попросту говоря, отдышаться, передохнуть полчасика.

«Ладно,— решил Никита.— Вариант с такси снимается. Не будем перегибать палку. Начальство в гневе, и, если занять его позицию, начальство можно понять».

Но на нелюбезность надо было как-то реагировать. Никита не сказал обычного «Бу сде, шеф». Он сказал:

— Ладно, буду,— надел пиджак и ушел.

Со странным чувством физического облегчения покинул он громовский номер. Выйдя в коридор, даже дух перевел, как будто только здесь вдохнул чистый воздух. Ему вдруг представилось, что эта комната с неподвижной, чуть наклоненной вперед фигурой человека станет являться ему в тяжелых снах.

Галя однажды, походя, упомянула, что Вадиму в кошмарах не снятся убитые. Снятся преступники. Сам-то Вадим об этом никогда не говорил.

Но сейчас надо было думать не о грядущих кошмарах, на очереди стоял завтрашний, очевидно, не простой день.

По-прежнему привлекала возможность, теперь, можно считать, реальная надежда установить третьего. Непонятно только: если речь идет действительно о поездке в Лазурную, то ехать можно электричкой или теплоходом, Каменный пляж — тот самый, заброшенный, где под лодочным навесом ночевал Никита, отнюдь не на трассе вокзала или пристани.

Никита подумал, что о своем отъезде, да и вообще о происшедшем хорошо бы немедля предупредить Михаила Сергеевича, но из гостиницы вышел, уже отказавшись от этой мысли. Коль скоро Громов встревожен, он вполне может именно сейчас послать кого-нибудь за Никитой. Нет, сейчас прямым ходом только под крыло к деду. Единственно, что можно,— это завтра с утра попробовать передать по телефону, что он едет или плывет в Лазурную. Если даже последует вопрос, кому звонил, можно ответить: Громову же. Хотел уточнить координаты, поскольку на Каменном пляже был вечером и всего один раз.

Так Никита и сделал. Приехав на автобусе в нижнюю, не парадную часть города, сухой и бодрый, Никита отправился к Каменному пляжу.

Просохнуть помогла за дополнительную мзду старуха. С той ночи, когда Никита вернулся домой «с запахом», старуха к нему благоволила. «Вельветы» ночевали на летней топленной печке, а джинсы она просушила утюгом.

Шторма, оказывается, действительно не было. Волнение — купаться запрещено, только и всего. Местные ребята с таким волнением управляются запросто.

Никите было стыдно своего смертного испуга, когда он очутился песчинкой во власти волны. Хорошо хоть никто об этом испуге не знает. Ему несколько полегчало, когда старуха сказала, размеренно водя утюгом по джинсам:

— На все сноровка нужна, сынок. Здешние-то сызмальства наловчились, а вашего брата, приезжих, всяко лето сколько тонет!

На Каменном пляже ни души, тихо и солнечно. Море смирное, синее, даже солнечная рябь нежна, неприметна, не в силах разбавить густой синевы.

Никита сел на теплую гальку, на самом крайнем сухом бережку, так, чтобы протяни руку — и коснешься моря. Море принесло оторванную веточку водоросли, меж двух мокрых красивых камней она пошевелилась, как мохнатая гусеница. Между камнями на земле море теряло цвет, и не верилось, что это все оно, то же самое, такое огромное и синее.

Никита грелся на солнце, следил за водорослью и прикидывал: как-то пройдет сегодня встреча с Громо-

вым? Ночь наверняка не была для него нейтральной. В какую-то сторону его должно было качнуть: либо углубить сомнения — тогда он вряд ли покажет Никите третьего,— либо согласиться со случайностью пребывания Никиты на волнорезе. Если признать эту случайность, все остальное — хоть оно шефу и не в цвет — у Никиты логично. Опять же нельзя забывать: если Громов не отказался от кассы, Никита необходим. Второго человека на кассиршу не пустишь...

«А собственно, почему?» — вдруг задал сам себе вопрос Никита. Они имеют точные сведения о времени операций в кассе. Во всяком случае, они считают, что сведения точные. Они знают, что у девушки книга Никиты — есть повод для разговора. Можно использовать версию с все-таки приехавшим товарищем...

«Ну, да кассу без присмотра не оставят»,— успокоил себя Никита. Вернувшись мыслями к Громову, Никита пытался рассудить, что же все-таки сегодня предстоит. Ни в какие переговоры по гастролям он, естественно, не верил. Гастроли — типичная туфта. В целом, верит или не верит ему Громов?

Ему подумалось, что само понятие «верить» плохо приложимо к такому Громову. Вера, доверие — в этих категориях непременно должно наличествовать и чувство. Громов, как любой преступник-рецидивист, законченный прагматик. Прагматик, по идее, лишен человеческих чувств, а следовательно, и слабостей. Но на этом же он и горит, поскольку не предполагает и в окружающих ничего помимо расчета. Для его понимания недосягаем Мартовицкий.

— Однако пора бы этому прагматику появиться,— сказал камешкам и водорослям Никита. Он посмотрел на часы, было десять. Огляделся, берег пустынен. Снова повернулся к морю. Что-то белое качалось неподалеку. Присмотрелся — окурок. Окурок на волне — как оскорбление. Никита сердито пригляделся вдаль и только сейчас заметил лодку. Наверное, она все время была здесь, он просто не обратил на нее внимания, не разглядел в ярких солнечных лучах.

На лодке включили мотор, она вдруг и резко повернулась и, оставляя за кормой разваленную волну, легко и ходко пошла к берегу, к невысоким деревянным месткам справа от Никиты. Через какую-нибудь минуту Ни-

кита узнал Громова, сидевшего к нему лицом. Второй, у мотора, управлял лодкой. Моторка подошла к мосткам, затихла. Никита не обнаружил на корпусе ее ни номера, ни названия, какими щеголяли все пляжные суденышки. Не пляжная была моторочка.

— Прошу! — Громов сделал широкий жест.

Значит, не в электричке, не автобусом, не теплоходом. Вот почему — Каменный пляж. Последней мыслью Никиты на берегу было: если он задержится, Корнееву нелегко его разыскать.

— А я вас с берега жду! — беззаботно отозвался Никита, побежал по мосткам к лодке, умело спрыгнул, уселся. С моторками-то он имел дело на реках. Мотор взревел, лодка развернулась и пошла от берега вдаль, в сверкающую синеву, где Никита еще никогда не бывал. Он смотрел на море, щурился под солнцем, доволен был чрезвычайно. Что может быть лучше неожиданной морской прогулки в такой великолепный денек?

Лодка быстро уходила от берега. В лодке все молчали. Боковым зрением Никита видел Громова. Тот сидел на скамейке,— моряки, кажется, называют их банками,— опершись одной рукой на колено, другой на борт. Насколько Никита мог понять, Громов полуулыбался. Никита этого не замечал, увлеченно любовался морем.

Второй был у мотора за его спиной. На дне лодки лежали какие-то жестянки. Садясь в лодку, Никита узнал ласты, увидел трубку, маску. Надо думать, акваланг. Ну что ж, аквалангами здесь многие развлекались.

Никита оглянулся. Далеко остались буйки с флажками, потерялся невзрачный Каменный пляж, зато великолепной панорамой разворачивался весь город. Отсюда было видно, как уступами поднимаются на зеленые горы его белоснежные дворцы, а горы касаются неба, такого же синего, как море.

Как будто желая дать Никите возможность полюбоваться далеким берегом, моторист повернул руль, и лодка пошла не под прямым углом, а по кривой, хотя и забирала все мористее.

И еще увидел Никита то, от чего бы в другое время преисполнился восторгом, не оторвал бы глаз: на горизонте из дымки, из синевы, из сказки возник парусник. У него были высокие мачты, настоящие тугие, наполненные ветром паруса, парусов было много, они были ро-

зовые на солнце. Корабль светился в утреннем мареве, легок и неподвижен.

Прекрасный мир окружал лодку. Алый парусник и самолет. Первый утренний самолет шел в далекую Москву.

— Выключай,— сказал Громов.

Мотор затих. Лодка медленно повернулась боком. Тихое море чуть колыхало ее.

Было естественным для Никиты сесть верхом на банку, чтоб видеть обоих своих спутников. Так он и сделал. И опять же натурально, доброжелательно и выжидающе он смотрел на моториста, с которым его, надо думать, сейчас познакомят.

Это был мужчина лет тридцати, как видно, большой физической силы. Довольно низкий лоб, неопределенно светлого оттенка прямые волосы, широко посаженные маленькие глаза в светлых ресницах. Обыкновенное, без особых примет лицо, в толпе таких большинство, они трудно запоминаются. Особым загаром не блещет. Значит, либо недавно приехал, либо не курортник, на пляже не жарится. Можно подумать — местный, особо если учесть моторку. Но у местных на лицах загар неистребимо плотный. Ниже воротника у них кожа белая, а с лица смуглы.

Но что было ниже воротника, Никите, сейчас по крайней мере, видно не было. Рубашка не дорогая, не модерновая, вся одежда на мотористе не для гулянки по бульвару — застегнута до предпоследней пуговицы и, что совсем странно, с длинными, застегнутыми на пуговички у манжеток рукавами. Такие рубахи можно встретить здесь только на стариках, коим уже на все наплевать.

Громов как бы подобрался на своей банке, а моторист, выключив мотор, напротив, расселся повольготнее.

Он тоже смотрел на Никиту, но, честное слово, можно было подумать, что он и не видит его, такое беспредельное равнодушие источали спокойные, маленькие глазки.

Однако с мотористом Никиту не спешили знакомить.

— Так, значит, дитятко, ты вчера штормом любовался у гостиницы? — медленно проговорил Громов, растягивая слова. В голосе его появилась какая-то вязкость, окольно напоминавшая ловчую сеть паука.

— Хватит тебе, шеф, издеваться,— с плохо скрытой

досадой сказал Никита, мельком взглянув на моториста. Тот был незыблем, как валун, но Никите все равно могло быть неприятно напоминание о его наивной ошибке.

Никита думал, и пока что в его практике ни одна минута не требовала такой быстрой реакции на обстановку, такой мгновенной выработки решения. Хорошо еще, что можно любоваться парусником, смотреть мимо, жмуриться на солнце. Да, в конце концов, можно немножко обидеться на шефа за неуместную шутку.

Значит, Громов все-таки взял его под сомнение.

— И девку ты вытащил тоже случайно?

При этих словах голос Громова дрогнул подлинной злобой. Ужасно знакомой показалась интонация... Ну да! Вот так говорил он на веранде ресторана с шахтером, у которого заметил розочку.

Скорее думай, Лобач! Скорее! Допустим, он точно заподозрил Никиту в связи с милицией. Задержание Шитова плюс спасение Волковой. Тогда для него естественно желание разделаться с Никитой. Если так, то дело хана, кругом великолепное пустынное море.

Внезапно вспомнилась фраза, последняя фраза Михаила Сергеевича, которая показалась случайной, посторонней, которую поэтому пропустил мимо ушей: «Чтоб без гусарства!»

Вчера Никита подумал, что эти слова — обычное напутствие старшего, своего рода профилактический подзатыльник, предостерегающий против чего-либо вроде «вельветов». Молодым, дескать, подзатыльники положены. А что, как Михаил Сергеевич допускал возможность создавшейся ситуации?.. Ох, и влетит тогда от него, зачем Никита один, без всякой страховки полез в эту чертову лодку!

Как ни дико, но что-то грандиозно смешное мелькнуло в мгновенном потоке соображений. Мелькнуло. Исчезло. Никита оторвался наконец от алого парусника, голубого моря и уставился на Громова.

— Слушай, шеф! — почти совершенно копируя громовскую интонацию, но сдобрив ее обидой, проговорил Никита.— Какого черта тебе от меня надо? Я тебе вчера сказал, что шлюх вытаскивать не подряжался...— Определение «чужих» Никита на сей раз счел нужным опустить. Дела шефа для него не «чужие».— Еще раз повторяю. Очень интересно знать, как бы ты поступил на

моем месте? Если по-честному, я все-таки ожидал от тебя хоть спасибо услыхать.

Последние слова прозвучали уже несколько спокойнее. После таких слов возможно идти на примирение.

— Спасибо, значит, ждал? Так, так...

Громов все так же ухмылялся, рассматривая своего подопечного, как кролика в клетке. Моторист все так же отсутствовал, только бренное тело его весомо пребывало в лодке.

— Ну что ж, я тебя, пожалуй, и отблагодарю,— живо, по-деловому, словно лишь в эту минуту приняв решение, сказал Громов. С лица сошла ухмылка. Ловок он был на перемену выражений.— Я тебе доставлю развлечение. Ты когда-то помянул, что с аквалангом бы не прочь. Так вот тебе акваланг. Надевай! Познакомься с подводным миром.

Он ногой подвинул Никите снаряжение, лежавшее на дне лодки.

Миг один трое в лодке молчали. Громов наблюдал за Никитой. Без ухмылки. С подлинной заинтересованностью. Никите можно было обратиться к акваланту, опустить глаза.

Знакомство с подводным миром вряд ли запланировано безоблачным. Но если Никита откажется, его могут попросту утопить головой вниз, их двое. Опрокинуться за борт? Нереально. Берег далеко, от моторки не уйти. На акваланг надежда плохая, тем более, сроду он этой пакости не надевал...

И все-таки в лодке молчание длилось только единый миг, пока Никита протягивал руки к ластам, как старым знакомым,— с ластами-то он плавал,— и на его физиономии расплывалась довольная улыбка.

— Это ты потрясно придумал, шеф,— сказал он, начиная расшнуровывать «вельветы».— Вот уж не думал, не гадал!

Разулся. Еще раз просиял в лицо Громову глазами и зубами. Уж так он был доволен, что размолвка снята, шеф прояснился и подвалило непредвиденное удовольствие.

Снял брюки, пристегнул ласты, весь лучился радостью.

Громов следил за каждым его движением. Следил с напряженным любопытством.

Теперь уже, кажется, и моторист проявил некоторые признаки заинтересованности, во всяком случае он взглянул, как Никита управляется со снаряжением.

Снята рубашка, надеты лямки. Чертовы жестянки, оказывается, тяжелые, как камнями набиты. Только маска осталась, Никита взял маску и озабоченно напомнил:

— Ребята, я насчет моря не того, в случае чего вытаскивайте.

— Я — того,— заверил моторист.— Я здорово того...

Это были первые слова, услышанные от него Никитой.

— Тогда — все,— сказал Никита.

Он вложил подбородок в холодную, пахнущую нагретой резиной маску и услышал искренне веселый смех Громова:

— Снимай, Нико, амуницию! Кончай этот КВН!

Это тоже был трудный поворот. Надо было не расслабиться, не показать, чего стоил этот КВН. Никите надо было просто удивиться.

Как будто не сразу расслышав, Никита не вдруг освободил лицо от спасительной сейчас вонючей маски. Потом опустил маску, ладонью отер пот со лба.

— Ты что, шеф?

— Разоблачайся, Нико! — повторил Громов. Никогда не видел его Никита таким довольным, таким непритворным.— С этой амуницией ты бы поплыл только по вертикали.

Снимая с себя акваланг, Никита становился все более и более хмурым. До него, видно, не сразу доходило, что это была шутка.

Но Громов и не думал выдавать эпизод за шутливую сценку.

— Если б ты был из мусора, ты бы струсил,— отнюдь не шутя сказал он.— Раз тебе вчерашняя волнишка со шторм показалась, значит, моря ты действительно не знаешь. А если б ты из мусора был, ты б на нас не понадеялся — ты бы крутить начал...

Тут только до Никиты-«студентика» дошло. Его, оказывается, испытывали! Его, оказывается, подозревали!

— Ну тебя к черту! — с сердцем сказал Никита, оттолкнув от себя жестянки, трубки и прочее.— Привык ты... со всякой шпаной!

Очень искренне прозвучало. Что ж, эта недолгая

схватка, своего рода психологический таран, настоящему Никите Лобачеву кое-чего стоила.

— Верно, Нико,— тоже от души подтвердил Громов.— Следствие закончено. Забудем!

Он протянул руку. Никита посмотрел на эту руку. Он всегда замечал громовские руки. Громов расценил взгляд как сомнение, как законное возмущение человека, которого продолжают и продолжают испытывать. Сколько можно?

Никита подал наконец руку. Громов крепко ее пожал. Это было первое их рукопожатие на равных. Обычно Громов похлопывал Никиту по плечу.

— Обмоем,— для обрядности серьезно сказал моторист, доставая откуда-то из-под мотора плоскую стеклянную флягу не нашего происхождения.

— Не буду! — все еще в обиде отмахнулся Никита.

Громов пояснил миролюбиво:

— Он не пьет. И пусть не пьет. Давай нам по глотку.

Отпили из горлышка. Моторист покосился на все более припекавшее солнце, расстегнул пуговички на манжетах, у ворота, снял свою стариковскую рубаху.

«Ни себе чего!» — мысленно ахнул Никита.

Такой татуировки вблизи ему еще не приходилось видеть. Таких русалок на плечах, такого Христа на груди мог наколоть только дед Спиридонов, который за пятнадцать лет отсидки половину колонии расписал. Наколки его славились в уголовном мире, и абы кому с улицы он делать бы их не стал. Теперь понятны длинные рукава и застегнутый ворот рубахи.

Никита не стал одеваться, молча развалился поудобней, пнул ногой мешавший акваланг.

— Ласты оставь,— посоветовал Громов,— а остальное выкинь за борт.

Никита выкинул. Подумал, не запомнить ли на всякий случай место, где камнем затонул проклятый акваланг. Поискал на далеком берегу ориентиры. Потом решил: во-первых, не запомнишь, да и зачем? Все, что касается непосредственно Никиты, его хлопот-трудов, в деле ни строчкой не отразится. Формулировка известная: «Сведения добыты оперативным путем», и — голубь в облака, как любит говорить Иван Федотович.

— На берег потягивает? — услышал он дружелюбный голос Громова.

Ну что ж, Никите пора было переставать дуться.

— Никуда меня не потягивает,— с разнеженным вздохом отозвался Никита.— Век бы так жарился.

— Сделаем дело, Нико, позагораешь,— обещал Громов.— Хватит и на твою долю пиастров, они же тугрики и дублоны, если на штаны с бубенцами с ходу не промотаешь. А теперь слушай сюда, как говорят в Одессе.

Никита подобрался, сел поаккуратней, прогнал пляжную лень. Ясное дело, не для прогулки вызвали его сюда.

— Инна в очень плохом состоянии,— начал Громов.— Вчера ты сам убедился. В таком она состоянии, что не сегодня-завтра за решетку угодит. Может, в психиатричку, а скорей всего, в милицию. Планы у нее, ни много ни мало, угрохать девку в аэропорту. Она там была и девку видела. Я должен отлучиться на день, максимум на два. Ее нельзя оставлять без присмотра ни на минуту. Вот тебе записка для Инны.— Громов достал из кармана заранее заготовленный, сложенный вчетверо почтовый листок.— Сейчас прочтешь. Слушай дальше! По этой записке она с тобой пойдет. Приведешь ее к девяти вечера к крайнему волнорезу в нижней части. Скажешь на словах: вещей пусть не берет. Скажешь, я торопился писать. Уплатишь еще за сутки за ее номер, покажешь ей квитанцию. Скажешь, я жду ее и прислал за ней моторку. Ясно тебе?

— Шеф, а если она не пойдет?

— Нико, сделай, чтоб пошла! Уговори. Она тебе после вчерашнего поверит. Пойми, эту дуру надо изолировать, а то она изолирует всех нас.

— Слушай, шеф, ну, а на всякий случай. А если она все-таки не захочет без тебя в лодку? Куда мне тогда с ней?

— Уговори, Нико! Уговори, она тебе после вчерашнего поверит!

— Да ты ее только на волнорез приведи, а там и я помогу уговорить.

Это второй раз вступил в разговор моторист. Голос у него был негромкий, такой же бесцветный, незапоминающийся, как и лицо. На такого непросто словесный портрет составить.

— Прочти,— сказал Громов.

Никита прочел: «Инночка, детка! Вынужден отлучиться, но без тебя не хочу быть и лишнего часу! Писать много некогда. Тебя доставит ко мне податель этого короткого, но полного любви послания. Я тебя жду!»

— Ясно? — спросил Громов.— Смотри не потеряй! — сказал он, следя, как укладывает Никита листок в карман со львом.— Без записки не пойдет. Не выпадет?

— Не выпадет. На «молнии» карман. Зря я, что ли, за этими джинсами гонялся. А что без подписи, ничего?

— Она знает мой почерк. Ну, ладно,— удовлетворенно сказал Громов, когда «молния» замкнулась за листком. Он, как видно, прочно уверовал в Никиту.— Теперь дальше. Инну сдашь ему,— Громов кивнул в сторону обладателя Христа и русалок.— А сам побудь с Шитовым и упомяни, между прочим, что я нашел очень выгодного покупателя на электроорган, только, мол, придется проехать в один поселок на побережье. Покупатель, мол, с деньгами, своя машина, своя моторка. Но это все, когда я вернусь. О Волковой ему ни звука, понял? Я вернусь скорее, чем он узнает, что ее нет в городе. А если, паче чаяния, узнает, то скажешь, дескать, не в курсе. Что мы, кажется, переругались из-за ее дурацкого потопления и я ее отправил к мужу. Ясно? Запомнишь?

— Ясно,— кивнул Никита.

Слушал он серьезно, вдумчиво. Что ж, ничего такого особенного с него пока не требовалось. Волкову действительно нельзя без присмотра, баба от ревности не в себе.

— А и в самом деле, шеф, не влипнуть бы с ней.— Никита головой покачал и в затылке почесал, озабоченно глядя на Громова.— Если она кассиршу гробанет, милиция то да се, да найдут мою книгу, книга редкая. Этак и до меня доберутся...

— А вот ты и приведи,— в третий раз подал голос моторист.

Громов без осуждения, даже как бы одобряя, выслушал опасения Никиты.

— В общем, логично мыслишь, Нико. Но не особенно бойся ты этой милиции. Остерегаться их надо, бояться нельзя. Это ж мусор! Если до горячего доходит, они же трусы все! Несчастная резиновая дубинка у них на вооружении. Ее никто не отменял, а они боятся ее при-

менять. Он прежде, чем оружие применить, трижды подумает, как бы соцзаконность не нарушить, а ты за это время за тридевять земель уйдешь.

— Это точно,— в четвертый раз высказался моторист.

Никита решил, что, пожалуй, с него хватит, он имеет право хотя бы на обеденный перерыв. Первая половина дня выдалась, скажем прямо, не из самых легких, да и вечер ожидался тоже врагу не пожелаешь.

Он посмотрел на часы и сказал:

— Коли так, шеф, то кончай этот завтрак на траве. А то мы тут загораем, а твоя дура, может, уже в аэропорт целит. Черт же меня дернул книгу отдать...

Громов рассмеялся. Но без насмешки. По-дружески рассмеялся.

— Ничего, Нико,— сказал он.— В нашем деле всегда есть какая-то доля и риска, и непредвиденного. А в каком же творческом деле этой доли нет? Но главное, не бойся флажков — помнишь, мы о волках говорили? — не бойся мусора. Флажки — тряпки, а мусор, он и есть мусор... Давай к Каменному! — Это уже относилось к мотористу.— Хотя нет! Давай к последнему волнорезу в нижней. Посмотришь, куда тебе ее привести.— Это к Никите.— Оттуда дальше до гостиницы, но это ничего. Она ждет меня. Она меня до вечера будет ждать.

Моторка развернулась и полетела. Теперь берег был за спиной у Никиты, а перед ним расстилалось огромное синее-синее море, и по этому чистому морю шла моторка, вспарывая его, как нож.

Никита оделся, проверил «молнию» на кармане со львом. Волнорез оказался куда дальше Каменного пляжа. Место здесь было нелюдное, пустынное, берег уступом выходил в море, и домики, уже не городского типа, похожие на дедовский в Ущельной, лепились на круче, довольно высоко над водой. Но с кручи к морю спускалась тропинка, наверное, и здесь жили «дикари» и ходили купаться.

Никита, думавший только о том, как бы ему скорее добраться до Корнеева, то бишь до телефона, и до Волковой (теперь он действительно боялся оставлять ее без присмотра), едва не забыл осведомиться у Громова, где же ему, Никите, ждать его, шефа.

— Лучше у Шитова,— сказал Громов.— Я думаю,

он должен быть рад твоему обществу. Он тоже трус и истерик. Вот тебе червонец, уплатишь за номер, остальные твои. Все понял? Чао!

Никита был уже на волнорезе. Громов поднял руку, прощаясь, моторист не снизошел, опять взревел двигатель, моторка ушла. Никита остался — наконец-то! — один на просторном берегу, на твердой земле.

Он повернулся и хотел бегом с волнореза, бегом на кручу, все бегом. Обычно у него это запросто получалось, а тут вдруг не смог. Какая-то ватная слабость обволокла каждую мышцу. Хотелось думать, что его с непривычки укачало на моторке, но он понимал, не в моторке дело. Ему всегда представлялось, что нервы — нечто туманное, несоответствующее крепкому, тренированному парню, ан нет...

Далеко не так быстро, как бы надо, взобрался он на высокий берег, но по ровному все-таки побежал легонькой пробежкой. Для утренней зарядки поздновато, однако из молодых мало ли кто и по какому поводу тренируется днем? Никто из прохожих на него не обращал внимания, да, в сущности, это было уже безразлично.

Корнеева Никита нашел сразу, тот велел идти на квартиру. Никита подъехал на такси. Вадима не было. Оказывается, из Москвы прилетел Браславский, привез санкцию на арест Волковой, он и будет ее брать. В Москве Браславский работал над Иваном, очень похоже, что это действительно четвертый. Сейчас они говорят с Москвой. За Никитой уже посылали в Ущельную, не нашли ни у Громова, ни у Шитова.

— Где тебя носило? — подозрительно оглядывая Никиту, спросил Михаил Сергеевич.— Кит? — проговорил он неожиданно в этой обстановке.— Где тебя носило? На тебе лица нет.

— Да уж носило,— неопределенно отозвался Никита. Дудки! Насчет сегодняшних приключений откровенничать будем в Москве, если вообще будем. Сегодня ему только не хватало втыка, влета, дрозда от Корнеева.

Только сейчас он вспомнил, какое смешное воспоминание осенило его в лодке. В «Кавказских записках» Закруткина очень здорово сказано, что солдат должен больше бояться командира, чем противника. Есть тут сермяжная правда.

Словом, по его версии вышло, что встретились они по-

доброму, хорошему на Каменном пляже, Громов дал ему записку, отвез на последний волнорез, чтоб путаницы не было, и — голубь в небеса!

— Распустил Борко голубей,— сказал Корнеев.— Все теперь голубей пускают. А с запиской отлично! Полагаю, с такой запиской Браславский ее и без санкции тихо-мирно в Москву доставит. Иди в гостиницу; если нервничает, успокой. Громов правильно пишет, после вчерашнего она должна тебе доверять.

— Я ничего не знаю?

— Абсолютно. Можешь сказать, что намереваешься скоро в Москву. Гастроли вроде накрылись, деньги кончаются. Приход громовского человека для тебя неожиданность.

— К Шитову идти?

— Нет,— сказал Корнеев.— Думаю, что нет,— подумав, добавил он.— С Шитовым сами разберемся. Надо, чтоб после девяти вечера тобой тут не пахло. Давай топай в гостиницу!

— А кассирша?

— Кончай этот конгресс! — рассердился Михаил Сергеевич.— Заменили уже твою кассиршу. Давай топай!

Никита пошел в гостиницу, прихватив по дороге у лоточницы булку и сарделек.

В коридоре он по привычке взялся за ручку двери громовского номера. Шалишь! Дверь была заперта. Дежурная по этажу из-за столика в конце коридора окликнула его:

— Молодой человек, вы к кому?

Никита обернулся.

— Или к Громову, или к Волковой, кто дома.

— Громов уехал на двое суток в Краснодар. Волкова у себя.

«Ну да. Ему же нужно отсутствовать, когда моторист уберет ее с крайнего волнореза. Эта дура даже не подозревает, как близко от нее прошла моторка...»

Подходя к номеру Волковой, Никита подумал: неужели и колосовское дело, и Громов, и все, что с ним связано, не научит эту Раису-Инну ничему, как не научила ничему Суздальская колония несовершеннолетних?

Когда он вошел в комнату, на него пахнуло каким-то неприятным духом, хотя, казалось, в этом городе, даже в закрытом помещении пахло цветами и морем,

Постель была не застелена. Громова она ждала к вечеру, а без него ей все все равно.

Лежала она прямо на смятых простынях, все в том же платьишке, босоножки сохли на подоконнике в солнечном луче. Ногти на ногах ярко накрашены, босые ступни широко распялены, как утиные лапы.

Она мгновенно подалась на скрип двери и так же мгновенно осела, и на лице снова воцарилось выражение упорного, тупого ожидания.

Только Громов. Ничто другое на свете. Это не шутки, она может убить, если понадеется этим удержать Громова. Если это любовь, упаси судьба от любви!

Идя сюда, Никита размышлял о Волковой с чувством участия. Подспудно ему всегда помнилось: только семь лет между нею и Маришкой. В этой затхлой, нечистой комнате в нем, помимо воли, снова возникла если не враждебность, то брезгливая неприязнь. Он понимал, что это нехорошо, но не мог преодолеть неподвластного, как тошнота, ощущения.

Никита был молод. Сострадание делает нас лучше, но до сострадания надо дорасти. Молодость умеет сострадать только тому, что оправдывает.

— Где Женя? — спросила Волкова, снова опустившись на подушку, ей, видно, крепко недужилось.

— У тебя хотел спросить,— сказал Никита, раскладывая на столе на бумаге булку и сардельки. По взгляду, брошенному Волковой, понял, что она голодная.

— Вот что, Пенелопочка,— сказал он строго.— Вставай-ка да пожуй!

Она не заставила себя уговаривать, встала, села против Никиты и стала жевать сырые сардельки и отломанные куски булки. Пока жевала, Никита, между прочим, изложил ей свои печальные соображения насчет гастролей и планы насчет отъезда. Она сказала, что Громов к вечеру обещал обязательно быть, а уехал он по делам. А куда, он не докладывается.

Тень прошла по ее обострившемуся, без грима некрасивому лицу. Наверное, вспомнила кассиршу.

Сардельки и булка исчезли у них, как сон пустой.

— Вот что, Инка, ты давай-ка приводи себя в порядок,— посоветовал Никита.— Вид у тебя — отворотясь не насмотришься. Если, как ты говоришь, так, он каждую минуту приехать может.

Каждую минуту мог приехать Браславский, и пусть она будет готова, чтоб он мог тотчас увезти ее. Может Шитов зайти, и черт их знает, какие вообще могут возникнуть обстоятельства.

Совет Никиты до нее дошел. Она оживилась, кинулась умываться, расчесываться, класть краску на веки, на ресницы, на губы. Пощупала босоножки. Босоножки были еще мокрые, но все равно она надела и босоножки, обдернулась туда-сюда,

Никите впервые в жизни пришлось присутствовать при всех этих манипуляциях, он был искренне удивлен простотой, быстротой и их результативностью.

— Ну, девка, ты — огонь,— одобрил он.— Из такого мокрого пепла — и такой феникс возник! Кутить так кутить. Открой окно, а то дышать нечем.

Она опять послушалась, распахнула дверь на балкон, задернула одеяло на нечистой своей постели, и в эту минуту в комнату вошел Браславский.

Волкова резко всем корпусом повернулась. Опять на ее плоском лице отчетливо выразилась надежда увидеть Громова и разочарование. Однако ж вслед за разочарованием в ее глазах, во всей напрягшейся фигуре отчетливо приметен был и страх. Волкова опасалась, как она сказала Никите, что с нее придут требовать за номер. Однако вошедший был безусловно не из гостиничной обслуги. Наверное, с полминуты Браславский ее выдержал. Она ждала молча, не отрывая от него глаз, а он ее разглядывал с ног до головы откровенно, чтоб не сказать — нахально. Наконец он кивнул как бы сам себе и, слегка улыбнувшись, сказал:

— Судя по описанию, данному нашим общим другом, я попал точно. Держи, Пенелопа,— и, достав из внутреннего кармана пиджака, вручил ей записку Громова.

Капитана Браславского Никита знал только по рассказам да несколько раз встречал в коридорах управления. Сейчас он был прямо-таки в восторге от манеры Браславского, от его появления. Ну и франт! Нет, такого Никите не сыграть. Никита может сыграть парня-барахольщика. А у этого интеллект — из всех пор. Ничего не скажешь, породист! И что вошел не постучавшись — правильно. Он — впору Громову, и для них обоих Волкова — вещь, нужная или не нужная, не более того.

Волкова прочла записку, опустила глаза, вся в радостном смятении.

— А это что за гегемон? — спросил, кивнув на Никиту, Браславский. Он уже удобно сидел за столом в кресле, закинув ногу на ногу, и курил, аккуратно стряхивая пепел на бумагу со шкурками от сарделек.

— Это не гегемон,— торопливо объяснила Волкова.— Это наш знакомый. Женя с ним познакомился в самолете.

— Приятно слышать. Кстати о самолете,— Браславский посмотрел на часы-браслет.— Наш рейс семнадцать двадцать, такси нас ждет. Так что собирайся, моя птичка!

Что-то похожее на сомнение мелькнуло в ее глазах.

— Но как же...— начала она.

Браславский улыбнулся еще барственней и щедрее, вынул на сей раз из внешнего кармана свеженькую, только что полученную квитанцию об уплате за номер.

— Держи, Пенелопа! — протянул он и эту бумажку Волковой.— По-моему, наш общий друг всегда был предупредителен к дамам.

Смешно сказать, но даже не письмо, именно квитанция до конца убедила, успокоила Волкову. За малым не расцеловала она эту квитанцию и кинулась собирать свой небогатый багажник в клетчатый, на «молнии» десятирублевый чемодан. На Никиту ни она, ни Браславский не обращали никакого внимания. Он сидел, являя собой некоторую растерянность.

Уже застегнув «молнию» на чемодане, Волкова вдруг поинтересовалась, но без всяких сомнений, просто из любопытства:

— А куда?

— А что, если прямо в Москву? Если прямо в квартирку с лоджией, на клетчатый диванчик?

Вот теперь она расцвела. Никите просто было проследить ход ее нехитрого рассуждения: дела у Жени сорвались, а значит, не будет под боком девки из аэропорта!

Пришла дежурная, приняла номер. Даже ей было явно неловко при мужчинах ворошить эту постель, Волкова не замечала ничего, и снова в Никите поднялась тошнотная неприязнь к этой духовно оскопленной бабе.

Откуда она? Почему она? Он дал себе слово по приезде в Москву найти время и докопаться до ее истоков,

до ее семьи. Ведь была же она совсем недавно просто маленькой, такой, как Маринка. Где, под влиянием чего совершился тот переворот, на котором из обыкновенной нашей жизни девочка Рая шагнула в другое измерение, в антимир, где обитают Громовы.

Ему вспомнилось, с какой издевкой говорил Громов: «...как роботы нацелены на профилактику...»

Нет, мало мы еще на нее нацелены.

Номер приняли. Никиту никто в упор не видел. Ну, Браславский пусть с ним незнаком, но и Волкова с ним даже не попрощалась. Она шла с Браславским впереди Никиты по коридору счастливая, гордая, уже привычно повиливая худым седалищем в помятом плаще.

Никита брел себе потихонечку один, с каждым шагом отставая от них и преисполняясь счастливым сознанием выполненной работы. Спускаясь по лестнице, он весело бурчал себе под нос: «Я сам бы змеей свернулся в лассо, цокнул копытом...»

Такси действительно ждало. Браславский с Волковой уехали. Никита помедлил на ступенях.

Как же прекрасен этот город! Как же прекрасно море! Как свободно здесь дышится! Ну, а что, если задержаться хоть на денек, просто так, вольным человеком полежать на камушках...

Придя к Корнееву, Никита робко высказал это кощунственное предложение. Михаил Сергеевич посмотрел на него.

— Чтоб духу твоего здесь не было! — проговорил он, веско выдавая слова.— Немедленно на вокзал и первым же поездом. Бронь в кассе.

— А гитара? — спросил Никита.

— Пиши записку, я привезу.

— А Вадим?

— Вадим в Москве. Завтра утром первый допрос Волковой.

— Вот так они и жили,— покорно поднимаясь, вздохнул Никита.

— Ну, ну,— Михаил Сергеевич похлопал его по плечу.— Успеешь еще. В отпуск поедешь, покупаешься.

— Вадим с Галей напрочь закупались. Аж в пупырышках оба.

— Ну-ну, без пререканий! Подробно в Москве разберем, но в целом ты сработал прилично.

Корнеев дал Никите денег, и тот отправился на вокзал, предвкушая великое удивление соседского Петьки, да и бабушки Кати, и всех остальных, кто увидит его дома на улице в джинсах со львом.

Никите казалось, он не уснет, но, взобравшись на свою верхнюю полку, он уснул мгновенно, как провалился, без плохих и хороших снов.

Смеркалось, когда поезд последний раз приблизился к морю. По морю шли волны, и белый луч прожектора поглаживал их вспененные гривы. Быстро вырастая, уже не волны — валы с ревом находили на берег, гневно и жарко дыша, и было легко поверить, что не суша, а вода — праматерь всего, хозяйка планеты. Начинался шторм, которого Никита так и не увидел.

В этот самый час Браславский с Волковой прилетели в Москву. Здесь был еще прозрачный вечер, после юга похожий на северную белую ночь.

На краю летного поля их ждала милицейская машина. Самая обычная, без прикрас.

Увидев машину, Волкова засмеялась и сказала:

— Узнаю Жениных друзей!

— Значит, он не скрывал от вас своих прежних развлечений? — распахивая заднюю дверцу, шутливо спросил Браславский.

Она ответила гордо:

— Женя от меня ничего не скрывал.

«Кроме моторки, которая ждет тебя сейчас у последнего волнореза»,— подумал Браславский.

Волкова поняла все, только когда Браславский вывел ее под руку во двор Бутырской тюрьмы и за ними мягко и неслышно задвинулись створы глухих ворот. Во внутреннем помещении первым ее встретил врач.

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

Толстые, теперь уже разбухшие папки с документами по колосовскому делу. Пока они еще не подшиты в тома, их подошьют, когда будет закончено следствие, и уголовное дело номер такой-то пойдет в суд. Но до этой счастливой минуты не близко, ох не близко, хотя вся троица, как окрестили в начале работы преступную группу Вадим и

Корнеич, размещена по камерам Бутырской тюрьмы, и Вадим с ними уже работает.

День, когда отоспавшийся в поезде, свежий, веселый Никита пришел в управление, для Никиты был первым днем законного отдыха. А для Вадима этот же день знаменовал собой начало завершающего, едва ли не самого тяжелого этапа всей работы.

В начале расследования он был рядом с Корнеичем, они вместе думали, во многом вместе действовали. Постоянно ощущали совокупность усилий.

Разумеется, и в том периоде были свои трудности, напряжение поиска и неизбежные ошибки, но — что ж поделаешь! — все, что позади, кажется легким и простым. Преодолевая долгий подъем, мы склонны досадовать, глядя на все еще отдаленную вершину, и не видим крутизны, оставшейся за спиной.

Позднее, в городе на море, они с Корнеевым уже смогли рассчитать партию на много ходов вперед и ввести в игру младшего Лобачева.

Спору нет, недели, когда Никита, слишком еще горячий по молодости лет, нетерпеливый, барахтался под боком у Громова,— эти недели Вадиму тоже не легко дались. Однако сейчас и эта часть операции кажется уже не такой тяжелой, не столь чреватой ошибками, а то и просто бедой.

Сегодня Бабаян посадил Вадима в свой кабинет, чтоб ему было поспокойней и потише. В их общей комнате Морозов допрашивал спекулянтку, а та голосила так звонко, что в коридоре отдавалось. Сам Бабаян ушел на совещание на Огарева.

Итак, Никита свое выполнил. Корнеич сделал все. Если понадобится, он, конечно, поможет. Однако с троицей старший следователь Лобачев теперь один на один. Начался последний этап. Идет изнурительная, кропотливая работа. Всему управлению ясно, что в Бутырках содержатся преступники, однако ж в протоколах допросов все трое более недели именуются «подозреваемыми», назвать их «обвиняемыми» следователь Лобачев пока не имеет права.

Быстрее всех, как и следовало ожидать, раскололся пьяница-истерик Шитов. Вадим не любил жаргонных словечек, но глагол «раскололся» очень точно выражал суть поведения Шитова.

Когда его брали, он почему-то назвался помощником укротителя дрессировщика, вольерным. В первые дни он вел себя столь несерьезно, что Вадим усомнился, да уж здоров ли этот жалкий, жаждущий любой славы человек. Разумеется, имело значение и то, что в тюрьму и на допрос он попал впервые в жизни, в то время как Волкова уже имела некоторый опыт, а Громов вообще держался с полным спокойствием, уверенностью.

Однако, как ни парадоксально, пребывание в тюрьме пошло Шитову на пользу. Во-первых, он не пил, а во-вторых, узнав, что Громов тоже находится в следственном изоляторе, он откровенно успокоился. Перестал бояться длинных рук своего бывшего покровителя.

На первом допросе Шитов еще пытался отрицать свое участие в чем бы то ни было, но когда его повезли в Колосовск, не доезжая до города, еще в машине, он громогласно, с пафосом заявил:

— Да! Главный герой события — я!

Вот протокол его последнего допроса.

Вадим снова и снова просматривает материалы. Просматривает и думает. Многое они с Корнеичем нащупали правильно. Если б иначе, не сидела бы сейчас в изоляторе троица, дело не шло бы к завершению. Ибо, как ни упирается Евгений Громов, дело все же близится к концу.

«Но почему все-таки Громов тянет? Он же опытен и умен, он знает, что показания двоих участников преступления, да и множество других доказательств все равно весят больше его упорного запирательства. На что он надеется?» Об этом думает Вадим, перечитывая допросы Волковой и Шитова. Не они его теперь интересуют. Его интересует Громов, стоящий за ними. И еще кое-что.

Итак, многое они с Корнеичем еще в Колосовске, еще после первых допросов Черновой и Краузе, предположили правильно.

Вот как, в конце концов, излагает обстоятельства Шитов, и все, что он говорит здесь,— правда. Показания проверены, факты закреплены, следственные эксперименты проведены.

«Однажды после репетиции я остался в ДК. Инна Волкова еще раньше познакомила меня с Женей Громовым. Мы встречались. Он обещал устроить меня в артисты, но говорил, что на это нужно много денег. Говорил, что меня ждут дела великие, чтобы я не спешил...

...Я сказал, что я тоже не против взять деньги у тех, кто ворует их у государства. Женя сказал, что все попы обкрадывают народ, у них деньгами сундуки набиты и есть большие ценности...

...Громов предложил план загримироваться, чтоб меня не узнали. Волкова присутствовала, принимала горячее участие в разговоре.

...Мне примерили две бороды, русую и черную. Волкова бороду немного подстригла.

Пистолет сделали сами. Я сделал: из двух игрушечных».

Вот и снимок. Следственный эксперимент. Шитов из доставленных ему игрушек изготавливает такой же самый пистолет, каким угрожал женщинам в доме Вознесенских. Шитов на снимке коротко острижен, трудится по-честному, лицо молодое, спокойное, ни дать ни взять — порядочный слесарь.

«...Я остался и ночевал, по плану, у Громова. 29 мая в 14 часов мы приступили к гримировке. Громов и Волкова намазали мне лицо специальным клеем, потом приклеили бороду и усы. Потом Волкова стала подстригать. Она раньше училась на парикмахера. После стали ждать время. Немного выпили. Примерно по сто грамм. Громов велел мне на такси ехать в спортмагазин за сумкой для иконы и картины и дал мне 30 рублей. Я по дороге в Колосовск в магазине «Динамо» взял сумку за 8 рублей замшевую, зеленую.

В Колосовск я приехал в 17.35. Время говорю точно. Все было рассчитано, чтобы старик не вернулся. В Колосовске я посмотрел, где Громов и Волкова, как и условились, но их не увидел. Водитель меня принял за научного сотрудника, потому что с бородой и усами я выглядел очень солидно. Еще в Москве я надел перчатки. Даже выходя из машины, старался не оставить отпечатки на дверце. Все делал, как надо. Шел смело. Расположение дома на улице знал очень хорошо...»

Вадим отложил протокол. Задумался. Допрашивая, он не раз, в разное время, при разных обстоятельствах задавал Шитову вопрос: откуда было ему известно расположение комнат в доме Вознесенского, место иконы в киоте и картины на стене. Во всех случаях Шитов точно показывал одно и то же.

У Жени Громова есть знакомый, Иван. Шитов его никогда не видел, не знает. Этот Иван раньше учился в семинарии, хорошо знает Вознесенского. Он начертил точный план: где комната, где икона, где картина. Сам Иван взять ничего не может, его в доме знают. Шитов выучил план назубок. Громов его несколько раз проверял.

Шитов не врал. Еще из разговоров его с младшим Лобачевым на юге можно было предположить, что Громов ценит Ивана более, чем двух других участников группы. Из показаний Шитова явствовало, что Иван для Громова действительно важен, коль скоро он его не только никому не показал, но счел даже нужным снабдить вымышленной биографией.

Казалось бы, чего проще тому же Ивану, уже проникшему под видом сантехника в дом, совершить ограбление. В ситуации с сантехником это даже не было бы ограблением, это было бы простой кражей.

Но Громов не захотел рисковать Иваном. Или тот отказался? Или их связывают некие человеческие отношения?

Нет. Последнее отметается. Для преступников типа Громова это исключено. Изучение прошлого Громова, результаты пребывания с ним Никиты дают совершенную в этом уверенность. Только расчет. А в чем?

Вадим все более склоняется к мысли, что не только, а может быть, и не столько сам Иван был ценен Громову, сколько связи его, о которых, ничего конкретного не зная, с такой завистью говорил Никите Шитов.

Ну хорошо. Оставим пока Ивана. Есть все основания думать, что в самое ближайшее время Вадим и Браславский будут иметь возможность лично и подробно беседовать с этим любителем древнерусской живописи. Браславский молодец, над четвертым он здорово поработал. Значит, что же дальше у Шитова?

В следующей части допроса Шитов доказывал известное положение о том, что нередко растерявшийся, неопытный преступник совершает столь бессмысленные поступки, что разгадать их оказывается сложнее, чем смоделировать действия матерого рецидивиста.

В первый же выезд на место происшествия Вадим и Корнеев ломали себе голову: зачем было убивать собаку? Любопытствовали, чем она была убита?

И вот Шитов показывает:

«...да, Громов меня предупредил, что в саду может быть собака, что она старая, глухая и на нее не надо обращать внимания, на всякий случай дать ей кусок колбасы. Когда мы у Жени выпили, он еще раз спросил меня про план. План я помнил, а про колбасу забыл.

Я собак ужасно боюсь с детства. Когда собака вышла из кустов, я испугался, схватил из клумбы камень и ударил ее два раза по голове и убил. И совсем забыл, что на мне перчатки. Сунул камень в сумку, чтоб отпечатков не оставить. Камень был неровный, и чуть потом не получилась беда. Я про него забыл, и когда клал в сумку икону, то камень поцарапал заднюю доску. А если бы поцарапал спереди, все бы дело пропало...»

Эти строки протокола Вадимом были подчеркнуты и выписаны. Эти строки могли быть многим чреваты.

Протоколируя допрос, Вадим всегда старался передать не только смысл его и манеру речи человека — передать впечатление о его словарном багаже, об уменье строить фразу. Языковая характеристика о многом говорит.

Перечитывая протоколы, разглядывая снимки, Вадим видел перед собой Шитова, болтливого, даже велеречивого, а в общем-то удивительно плоского, косноязычного парня. Развязность плохого провинциального конферансье, легко сменяющаяся растерянностью, когда речь вообще теряет связность.

На протяжении всех допросов был только один момент, когда Шитов заговорил с волнением, без свойственной ему обстоятельной тупости изложения. Речь шла о том, как он вошел в комнату к двум женщинам и пригрозил им пистолетом.

Когда он об этом рассказывал, у него даже голос изменился, он по-другому сел на привинченном табурете, по-другому смотрел на Вадима. Он совершенно не думал сейчас о том, как он выглядит,— вообще-то он помнил об этом постоянно, позер он страшный. Рассказывая, Шитов забыл, что слова его записываются на бумагу. Он жаждал одного — рассказать, и чтоб его по-человечески поняли.

— Вы понимаете, я вошел и прямо обмер. Одна-то женщина ничего особенного, а вторая, старуха, смотрит мне прямо в лицо без всякого страха. Я пистолет на нее,

а она даже внимания не обратила, на меня смотрит и улыбается, как будто ждет, я ей что-нибудь хорошее скажу. Я, наверное, как дурачок выглядел.

С этой последней фразой с лица Шитова сошло выражение нормального человеческого смятения. Он опять забеспокоился не о существе, а о том, как он выглядел.

«Бледный позер»,— вспомнилось Вадиму. Так они с Корнеичем прозвали его, еще не установленного. Ну что ж, почти точно.

Ну, а дальше?

— ...Я положил икону и картину в сумку. У иконы камень оцарапал доску, это меня тоже напугало. Я вышел на улицу. Напротив сквера встретил Волкову, которая шла мне навстречу. Она, ни слова не говоря, взяла у меня сумку и пошла. Мне надо было идти спокойно в другом направлении, но я был сильно взволнован и полностью потерял контроль над собой. Я догнал Волкову и отнял у нее сумку. Пошел наобум. На Почтовой улице постучал в чью-то калитку. Потом пошел в сторону бани. Там есть сарай с углем. Я положил в сумку плащ, бороду, усы и пистолет. И закидал сумку углем. Делал наобум. Мне очень хотелось от всего избавиться. Потом сел на автобус на остановке «Госбанк». Поехал в сторону Иерусалима. Стал ждать там электричку на Москву. Во сколько выехал, не помню. Наверное, около двадцати одного. В электричке в одном из вагонов встретил Громова и Волкову. Вышли в тамбур. Волкова меня обругала и ударила по лицу. Громов меня успокаивал, расспросил, где сумка. Сказал, что ничего, я — герой дня и сейчас мы поедем и поужинаем в «Минске», а завтра Волкова поедет, привезет икону и картину в своей сумке, а мою сумку утопит в пруду...

А Волкова, которую самый факт задержания потряс куда меньше, нежели Шитова, сдалась не сразу. Ее косный, неповоротливый ум диктовал ей только одну позицию —виновны все, кроме нее. Характерно, что Громова она разоблачала с той же тупой обстоятельностью, что и Шитова. Сейчас они были для нее равнозначны. Ступеньки, по которым, может быть, удастся выкарабкаться самой,— не более того.

Об ограблении ничего не знает. Бороды купили просто так, для игры. Кисточку с белой ручкой на квартире Громова помнит. Шитов сам перед зеркалом бороду под-

стригал. Два детских пистолета были, а что с ними делали, она не знает. Шитова в электричке не видала. За сумкой ездила. Громов послал, она и поехала.

Запиралась она бездарно, врала бессмысленно, то и дело впадала в противоречия, уставал с ней Вадим едва ли не больше, чем с Громовым. Поневоле вспоминалась ему характеристика, данная в свое время Корнеичем Завариной, работнице Вознесенских: «Это же дура! Дура сокрушительная!»

И уж конечно вспоминалась Машка Иванова, от которой в дрожь кидало следователей управления. Помнится, Вадим даже Ивану Федотовичу однажды «жаловался». Глупая, толстая, серая, сорока с хорошим лишним лет баба, квартирная воровка. Крадет, как говорится, по малости, где сапоги резиновые, где куртку... Но ведь и эти вещи следователь обязан разыскать, вернуть потерпевшему. Человек за резиновые сапоги трудовые деньги платил. На допросах Иванова сама путает, что где взяла, кому продала. Каждый раз клянется, что «завяжет», а через полчаса истово обещает в следующий раз сделать умней. Да где уж ей, чтобы умней! Больше двух лет на свободе нипочем не задерживается.

Сроки она получает небольшие, нисколько ими не стесняется, заключения не боится. Только войдет в зону, сейчас начинает жаловаться на сердце, на печень, а поскольку годов хватает, да и выпито немало, изъяны в драгоценном ее здоровье находятся. Сейчас же ее в санчасть, на обследование, на лечение, туда-сюда, на работу не гонят, врачи хорошие, жить можно. Хлоркой попахивает, ну да небольшое дело.

Все эти соображения Машка однажды на полном серьезе изложила Морозову. А тому только что пришлось обойти два пятиэтажных дома без лифтов, по пяти подъездов в каждом, в поисках владельца подростковой куртки, потому что дома одинаковые, стоят рядом. Машка была под «газом» и забыла, где куртку брала. Вошла через незапертую дверь.

Вадима и смех брал, когда он глядел на взбешенного Морозова, который, выслушав добросердечные Машкины соображения, молча смолил сигарету за сигаретой, и понимал он его, понимал до конца. В ситуации с Машкой как не вспомнить точные слова: по форме — правильно, по существу — издевательство...

Что-то виделось Вадиму общее у Волковой с этой старой воровкой. Обдумывая сейчас Волкову, Вадим снова и снова, несмотря на весь свой опыт, удивился тому, с какой быстротой теряют преступники те немногие человеческие черты, которыми обладали.

Ну взять хотя бы чувство этой девчонки к Громову. Ведь было же, наверное, что-нибудь в ее душе, если она бросила мужа — все-таки налаженная, законная жизнь.

Но стоило бутырским воротам сомкнуться за машиной, в Волковой как выключатель повернулся. Она не клеветала на Громова, но она с тупой, безотказной готовностью выкладывала даже те факты, какие легко и безопасно для себя могла бы утаить.

Так, например, на одном из допросов, когда речь зашла о сумме, вырученной за похищенное у Вознесенского, Волкова, подтвердив свой вопрос, заданный старухе Краузе, сказала:

— Женя дал Володьке тысячу, а мне только пятьсот и сказал, что у него осталось немного. А я знаю, что у него в комнате был тайник. Там паркет клееный, целую доску можно вынуть. Он думал, я пьяная сплю, а я видела. Я знаю, он в тайник клал только если много или если валюта. А так он в тайник не лазил и даже лаком его замазывал. Суток двое лаком пахло. Я поэтому и Краузе спросила, сколько может стоить.

О валюте Вадим Волковой не задал ни единого вопроса, отметив этот пункт для себя.

Уж если Громов скрывал от Волковой тайник и узнала она о тайнике лишь по его недосмотру, то о валюте он при всех обстоятельствах не сказал ей ничего.

А вот четвертый, Иван со связями, Иванов... Он же привлекался в свое время за валютные операции. Если Машка Иванова возвращается снова и снова к резиновым сапогам и подростковым курткам, не потянуло ли и этого деятеля на знакомую ниву? Но сохранились ли старые связи, ведь он, в общем-то, недолго сидел?

Вот снимок вскрытого тайника в комнате Громова. О том, что он вскрыт, Громов, естественно, не знает. Комната опечатана.

Ознакомившись с показаниями Шитова относительно утопления сумки в пруду, Волкова их не оспаривала.

— Женя меня послал, я и поехала. Я для Жени все... Я поехала с другой сумкой, чтоб в нее переложить икону,

и картину. Женя сказал, мне бояться нечего. За поповским имуществом никто особенно гнаться не будет. Тем более, на следующий день после происшествия мне нечего бояться, я местная, беременная женщина, у меня пятна уже на лице появились, никто меня не заподозрит. Я его сумку в газету завернула, утопила в пруду. В сумке камень лежал, она сразу утонула.

Любое показание должно быть подтверждено, закреплено. Сумку надо бы найти. Тут произошел казус непредвиденный, даже забавный. Милицию опередили.

На пруд, к месту, указанному Волковой,— вот снимок: стоя на бережку, Волкова рукой указывает место, куда бросила сумку,— на пруд выехали следователь Лобачев и сотрудники городской спасательной станции. Выехали на двух машинах от здания колосовского горотдела милиции с аппаратами для киносъемки и фотографирования, с аквалангом, словом, все, как надо.

Вот снимок, как все они, голубчики, разнагишавшись до трусов, взявшись за руки, неким живым бреднем прочесывают дно этого злополучного водоема. Трусы, конечно, у кого какие. У кого плавки спортивные, а у кого и сатиновые, так называемые семейные, до колен.

Глядя на снимок, Вадим ухмыльнулся, даже головой покачал. Тогда, на пруду, ему в голову не пришло, что уж больно они все хороши. Недаром народу на берегу, несмотря на холодный день, собралось предостаточно.

Злополучным водоем оказался по двум причинам. Акваланг привезли, а какой там акваланг! Ила, грязи, мерзости всякой оказалось в этом пруду по колено, а воды по пупок.

Но самое главное, в месте, указанном Волковой, сумки они не нашли. Помогли мальчишки, которых на берегу собралось изрядное количество. Узнав, что ищут приехавшие взрослые дяденьки, они загоношили, что сумку в пруду давно нашел Колька Петрушенко. Хватились Кольки. Оказалось, Колька счел за благо ретироваться, как только увидел две милицейские машины у пруда.

Кольку, естественно, разыскали. Вот фото его благонравной, хитрющей физиономии. К этому времени Колька уже оправился от перепуга. Напротив того, преисполнился гордости, попав в «свидетели».

Вот допрос «свидетеля Петрушенко», 12 лет, проведенный в присутствии школьного педагога.

Всякому было ясно, что из всего содержимого сумки Кольку привлек пистолет. И хоть он утверждал, что, увидя пистолет, «так напугался, что сейчас же выбросил его в пруд, а за ним выкинул и сумку», пистолета в указанном уже Колькой месте не нашли, но сумка с бородой, плащом, перчатками и камнем была обнаружена.

После операции с прудом Галя долго морщила нос, утверждая, что от Вадима несет тухлятиной. Может, так оно и было. Скверные запахи самые прилипчивые.

Был и выезд на место с Шитовым. Вот расписка его на уведомление, что будет проводиться звукозапись его показаний на магнитофоне «Комета», лента «Тип-10».

Вот снимки, фиксирующие путь Шитова. Вот два профиля, Вадим и Шитов, заснят и магнитофон. Шитов указывает место, где прятал сумку. Вот путь, каким шел он к автобусу...

Только после многих протоколов, актов, фотографий следует постановление о том, что Шитов и Волкова привлекаются в качестве не подозреваемых, а обвиняемых по делу номер...

С этими двумя было просто.

Да строго-то говоря и с Громовым — он ведь тоже обвиняемый,— Вадим мог бы повести дело энергичней, если б не преследовало его ощущение, что не на Громове надо замкнуться в этом на вид относительно простом уголовном деле. Вадима очень интересовал Иван, которого Громов столь тщательно прятал даже от своих соучастников по ограблению Вознесенского. Чем он так дорог Громову?

Еще вопрос. Все-таки у Иванова, если верна версия, что он и есть четвертый, то есть Иван, позади валютные дела. Из показаний Волковой видно, валюту случалось иметь и Громову. Откуда?

И наконец, если Иванов, предположительно Иван, разбирается в древнерусском искусстве, сиречь в иконах, не может быть, чтоб свои познания он применил один-единственный раз в колосовском деле. Два дела по ограблению церквей остались в «глухих». Нельзя ли примерить их к Громову — Иванову?

Обратимся к Громову. С этим не соскучишься! Из города на море он действительно улетел в Краснодар,

Готовил себе надежное алиби на тот случай, когда милиция займется исчезновением Волковой. В этом случае и попытка ее дурацкого самоубийства, коей можно было сыскать многих свидетелей, сработала бы на него.

В Краснодаре Громова и взяли. Ничего не зная о судьбе Волковой и Шитова, надеясь, что Волкова ликвидирована, Громов на первом допросе отрицал решительно все и сразу же выдвинул версию о том, что к нему «цепляются», ему «шьют дело» лишь потому, что в прошлом он допускал неправильности в поведении.

Он так и определил скромно — «неправильности»...

Дальше все было, как обычно бывает у преступника опытного, отлично знающего все предоставляемые ему законом права.

Вот его заявление: «В настоящее время от дачи показаний отказываюсь до вызова меня представителями прокуратуры области».

Ознакомившись с показаниями Шитова и Волковой, Громов потребовал для Шитова судебно-психиатрической экспертизы.

Вадим тогда обратил внимание: почему он не требует того же для Волковой? Опять-таки попытка самоубийства могла бы объяснить такое требование. Протокол допроса Волковой, где возникла речь о тайнике и валюте, Громову показан не был, но по другим протоколам Громов видел, что подруга его не щадит. Однако ж ее он почему-то не хотел ставить под сомнение.

Очень постепенно отступал он от своей категоричности. Еще в начале сентября утверждал: «В совершении разбойного ограбления дома священника Вознесенского я не принимал участия. Кто совершил ограбление, я не знаю. Совершали ли Шитов и Волкова ограбление, я не знаю. Я подтверждаю показания, данные ранее».

Но совершены выезды в Колосовск с Шитовым и Волковой. Проведен следственный эксперимент с изготовлением пистолета. Вынесено постановление о назначении судебно-химической экспертизы.

Вопросы к эксперту.

1. Имеется ли клей на театральном реквизите: бороде, обнаруженной в водоеме; если да, то идентичен ли он веществу, имеющемуся на кисти, изъятой из комнаты Громова?

2. Подстрижены ли волосы на бороде, изъятой из водоема?

3. Не от бороды ли, обнаруженной в водоеме, остались волоски на кисти?

Заключение эксперта.

«На кисточке и на бороде имеется клей «БФ-6»...

«Волокна с бороды срезались»...

«Волокна, имеющиеся на кисточке, изъятой у Громова, по своему виду и строению одинаковы с волокнами бороды, обнаруженной в водоеме»... Эксперт такой-то.

Шаг за шагом, изо дня в день, от допроса к допросу борьба за установление каждой, казалось бы, мелочи. Экспертизы, истребуемые отсрочки... А как нелегко разрешаются, сколько нервов берут эти самые отсрочки! Дело должно вестись быстро, как можно быстрее. В конце концов Громов вынужден отступить. Теперь рубеж его обороны строится на следующей версии:

«Ограбления я не совершал. Частично признаю себя виновным в том, что знал, что Шитов совершил ограбление, но до сих пор не говорил об этом.

В настоящее время считаю необходимым заявить обо всем, что мне известно...»

На этом долгом допросе велась звукозапись. Слушая Громова и глядя на него, Вадим испытывал по-человечески теплое чувство к работяге-магнитофону. Ну что, если бы, как в прежние годы, писать самому и писать, и не иметь фактически возможности неотступно следить за лицом обвиняемого.

А тут было на что посмотреть. Накануне Громов недаром отказался давать показания.

— Плохо себя чувствую,— заявил он Вадиму, легким жестом коснувшись левой стороны груди.— Со мной хочет беседовать начальник отдела? Отказываюсь говорить с ним. У меня есть мой следователь. Я нездоров. Вызывайте конвой.

Что же, на все это он имел право. Конвой был вызван. Громов удалился. Выглядел он отлично. Свеже побрит, подтянут. Мать снабжала его всем, что только было разрешено.

На следующий день, явившись в следственную комнату, он, как всегда, любезно, даже тепло поздоровался с Лобачевым, с подчеркнутой готовностью расписался

касательно магнитофона. На допросах он вообще держался вполне корректно, но с такой добродушной естественностью, что человек непосвященный мог бы подумать: это беседуют не следователь и обвиняемый, которому как рецидивисту грозит немалый срок, а двое хорошо сработавшихся людей дружно разбираются в порученном им обоим деле.

В следственной комнате тюрьмы, где обычно работает следователь, стул для заключенного несколько отстоит от стола и привинчен к полу. Разные бывают случаи.

Громов ни разу самовольно не пересел к маленькому столу, буквой «Т» примыкавшему к столу большому, где работал Вадим и где под рукой у него имелась кнопка экстренного вызова конвоя.

Но последние недели Лобачев сам предлагал Громову место за этим малым столом, у каждого было по пепельнице, оба дымили в свое удовольствие. Контакт был полный.

Громов оказался чрезвычайно, даже излишне контактным. Каких только рассказов — один одного дальше от существа дела — не наслушался от него Вадим! До среднеазиатских змей и то он добрался.

— Ну, вернемся к делу,— напоминал Вадим.

— Ах, да! — Лицо Громова тотчас становилось серьезным.— Дело, конечно, прежде всего. Так на чем, бишь, мы...

Примерно таким же образом подошел он, деликатно подгоняемый Вадимом, к изложению своего последнего на тот день сочинения. Потрудился он, как видно, на совесть.

— Частично себя признаю виновным,— так он начал.— Я действительно советовал Шитову работать над собой, чтобы стать актером. Я даже ссылался на свою судьбу. Я был судим, а все-таки сумел завоевать положение в артистическом мире, и все меня уважают.

Шитов всегда нуждался в деньгах, он сказал, что достанет оружие и ограбит попа Вознесенского. Всему Колосовску известно, что у попа есть ценные вещи, а Шитов в доме когда-то бывал и знает, где их взять.

Я испугался и сказал: «Ты с ума сошел!» Но он стоял на своем. Тогда я начал убеждать, что не надо настоящего пистолета, а надо игрушечный. Я думал, что с игрушечным он не пойдет.

Бороду они с Волковой купили в ВТО. Они с Волковой были знакомы раньше по Колосовску, я ведь только туда наезжал...

Кисточкой я клеил документы к финотчету... Пистолет делал я и старался, чтоб он был непохож на настоящий... Бороду я постарался наклеить ему так, чтобы она не была похожа на настоящую. Шитов казался мне не совсем нормальным, я опасался его, особенно после того, как он убил ни в чем не повинную собаку.

Я хотел, чтобы Волкова сразу взяла у него сумку, если он все-таки совершит ограбление, чтобы сдать ее в милицию, но Шитов сумку у Волковой отобрал.

На следующий день он хотел сумку сжечь, а я велел Волковой ее утопить, чтобы потом выловить и сдать.

Я был совершенно уверен, что Шитова в искусственной бороде на улице сразу задержат...

Магнитофон крутился и крутился. Громов говорил и говорил, размеренно, неторопливо. Они почти неотрывно смотрели друг на друга. Лобачев думал: «Ты же умный человек. Не можешь же ты меня считать круглым дураком. Ты тянешь время. Чего же ты ждешь?»

Он задал вопрос:

— Если вы решили идти в органы с заявлением на Шитова, то почему не пошли сразу, хотя бы и без сумки?

Громов ответил:

— Мне неудобно было идти без вещественных доказательств, и я растерялся. Меня всегда мучает моя прошлая судимость. Боюсь, скажут, что клевещу на честных людей, бывших военнослужащих.

Громов несколько раз возвращался к версии о том, что боялся Шитова, что Шитов казался ему временами психически нездоровым. Почему-де он и настаивал на судебно-психиатрической экспертизе.

— Где вы спрятали икону и картину?

Вадим не ошибся. Этот в лоб поставленный вопрос совершенно устраивал Громова, и при всем его блистательном самообладании он не смог скрыть искры радости в глазах.

Следователь считает, что он прятал похищенное? Значит, следователь многого не знает. Может быть, он даже не знает о наличии и роли четвертого. Шитов мог смолчать. А потом, в сущности, что знает о четвертом Шитов?

Пока и в дурном сне не могло присниться Громову, что Барахольщик, которого он не успел использовать, выслушивал пьяные жалобы Шитова на Ивана и много чего другого выслушивал...

Вадим был уверен: ни икона, ни картина часу не находились в квартире Громова. Тем более, что в тайнике, который Лобачев сам обмерил, они не могли бы поместиться по габаритам.

Громов с готовностью принял пас.

— Да,— с некоторым сокрушением сознался он.— Шитов меня буквально заставлял спрятать на сутки эти проклятые вещи. Я боялся держать их вне квартиры и сунул под доску в полу. Полы эти паркетные, все на живую нитку... На следующий день завернул вещи в афишу и отдал ему и больше, слава богу, ничего о них не знаю. Уверен, что он их продал. Иначе на что бы он пил, кутил, халаты махровые покупал?

— А вы на что?

— Так у меня же, кроме долгов,— ничего! — воскликнул Громов.— Я продал кое-что из личных вещей через комиссионный. Заложил в ломбарде. Есть квитанции. Вызовите мать, она вам их предъявит. Я буквально с ног сбился, чтоб гастроли организовать, Шитов бы мог работать, но он, наверное, понадеялся на свои большие деньги и мертвую пил. У меня таких расходов не было. Я ведь не пью.

— Что верно, то верно,— согласился Вадим.— В этом вас упрекнуть нельзя.

Мать Громова вызывали. Когда вошла эта дама, Вадиму сразу вспомнилось, какое впечатление вынес Корнеич, увидя ее в первый раз. Вспомнилось и заявление ее о «банде Сурикова» по поводу обыска на ее даче. Ей сравнялось пятьдесят три, а можно дать и сорок пять. Ее лицо было бы красиво, если б не откровенная, хищная злобность выражения. Она играла светскую даму. Даже не современную, а с претензией на девятнадцатый век, но довольно быстро теряла самообладание и тогда оборачивалась базарной бабой, для которой скандал — родная стихия.

Между прочим, она очень небезопасна, эта порода, истерика заразительна, с такими нелегко сохранять самообладание. Но следователь, ясно-понятно, ко всему привык.

Она явилась со своим мужем. Супруг действительно и был и выглядел моложе своего пасынка. Все у них было размечено: едва она начинала истерить, он громогласно ее успокаивал. Дважды она принимала таблетки, но не валидол; у Вадима глаз был наметан: он мог бы поручиться, что из серого тюбика выдавался ей не валидол.

Между прочим, все квитанции о продаже и о залоге оказались при ней, она их немедленно предъявила. И добавила, что помогала и будет помогать своему единственному сыну. Если мальчик когда-то по молодости лет ошибся, это не дает права вешать на него всех собак. Женя способный, талантливый человек, человек с будущим. Конечно, он давно осиротел, давно без отца... Но все-таки не следует забывать, отец его был крупный советский военачальник. Он умер, к несчастью, но кое-кто из товарищей его еще жив...

Генерал Громов, усыновивший ее ребенка, действительно был заслуженным человеком. Инфаркт, которого он не перенес, у него случился, когда ему стало известно, что пасынок пытался убить женщину украденным у него пистолетом.

Да, впрочем, и до покушения на убийство мальчик не баловал отчима благонравием. Из Суворовского училища его выгнали за воровство.

В результате допросов мамаши и ее супруга обнаружились кое-какие расхождения с показаниями Громова. Не те суммы, не те вещи проданы. При наличии всех квитанций, учитывая помощь матери — в тех размерах, какие были указаны,— все же не оправдывалось громовское житье-бытье.

Ознакомившись с показаниями родни, Громов отступил еще на полшага, признав, что деньги он у Шитова брал. Брал, чтобы погасить свой долг в Москонцерте. А следовательно, виноват в том, что не сообщил...

— Так что же мне грозит? — почти весело спросил он на одном из последних допросов, когда Вадим уже кончал работу и собирался вызывать конвой.

Нет, со стороны они решительно выглядели на равных. Два разумных человека, примерно одного возраста, оба крепкие, спортивные, решают общую задачу, хорошо законтачили, неплохо сработались...

— Ну, как же,— мягко сказал Вадим.— Вы опыт-

ный человек, криминалистикой интересовались, учебник Крылова, говорят, штудировали, так уж неужели с Уголовным кодексом не знакомы? Как-никак, Евгений Николаевич, третье дело. Рецидив.

Вадим говорил почти с досадой, почти с сокрушением. Громов пытливо, серьезно смотрел на «своего», как он любил говорить, следователя и слушал. Чуток он был до чрезвычайности, а потому уловил ноту искренности.

А она действительно была — искренность. Работая с Громовым, Вадим не раз испытывал чувство досады, даже горечи: как же так получилось, что этот здоровый, умный, одаренный его сверстник оказался величиной с отрицательным показателем? Если б не на разрушение, не на отраву была направлена его сила...

— Пятнадцать лет? — переспросил Громов, когда Вадим назвал предположительно причитавшуюся ему по УК статью. Он встал, засунув руки в карманы, медленным, каким-то напряженным шагом прошелся по комнате. Заглянул в зарешеченное окно, вниз во двор, место прогулки заключенных. Глухой стеной была отгорожена часть двора — место прогулки приговоренных к высшей мере... Почти все подавали на кассацию, на это уходило время, иным и смягчался приговор. Им тоже полагалась прогулка.

Раза два прошелся он от стены к окну, обратно. Вадиму вспомнилось, как сказала о Громове какая-то из свидетельниц, он уже забыл, кто именно: «Красивый, представительный, ходит как струна...»

— Пятнадцать? — Громов рассмеялся. В смехе его не было наигрыша, он от души смеялся.— Ну что вы? Я же интеллигентный человек. Пятнадцать лет — это тягостно. Я сбегу.

Бабаян внимательнейшим образом следил за ходом дела, и Вадим был ему за это благодарен. Очень уж он устал и опасался, что может чего-то не заметить, упустить.

Но пока Бабаян — он-то все-таки побывал в отпуске, и голова у него была посвежее — одобрял все действия Лобачева. Бабаян знал, разумеется, что Громов отказался разговаривать с ним («У меня есть мой следователь»), он тоже считал, что Громов «тянет».

— Он не только тянет, он еще зачем-то бережет Волкову,— сказал Бабаян, проглядев протокол последнего

допроса.— Она показывает против него. Учитывая его власть над ней — а власть эта, бесспорно, имела место,— он мог бы требовать очной ставки, чтоб при личной встрече на нее лично воздействовать. Было бы логично, если б он хотя бы попытался это сделать. Бывали случаи, когда в подобных ситуациях с женщинами достигался успех. Мне кажется, Волкова поддается внушению.

— Об очных ставках он не заикается.

— Он тянет. Ну пусть тянет. А ты пока не торопи его, не дергай. Все передачи проверять жесточайшим образом. И еще. Сразу себе пометь! Чтоб потом не забыть. Когда закончишь дело, при передаче в суд не забудь, во-первых, приобщить копии протоколов его допросов из предыдущего уголовного дела как характеризующие личность обвиняемого. А во-вторых,— смотри не забудь! — отметь особо: преступник опасный, способный организовать преступную группу, склонен к побегу.

Ни Бабаян, ни Вадим не сомневались, что дело увенчается обвинительным заключением, будет передано в суд. И все-таки Бабаян, так же как и Вадим, ждал еще от этого дела. Громов, как бесхозный кот, угодивший в виварий на опыты, будет до последнего бороться за меньший срок. Но куда ушли икона и картина?

— Я все-таки рассчитываю на Иванова,— сказал Бабаян.— Считай хоть интуицией, хоть верхним чутьем собачьим, но, судя по тому, что говорят Утехин с Браславским, это четвертый. Фото его Завариной предъявляли?

— Фото не из важных. Корнеев предъявлял. Она сомневается. Уверенно сказать не может.

— Как только Иванова возьмут, немедленно проведите опознание. Когда они собираются брать?

— Да днями собираются,— сказал Вадим.— Завтра Браславский ко мне обещал зайти.

Поскольку работы с Ивановым оказалось много, да было еще решено примерить к нему два «глухих», нераскрытых дела по ограблению церквей, вопрос этот выделили, и им занимались отдельно Браславский и следователь Утехин.

Бабаян оставался дежурить в управлении, был сегодня в форме, при полковничьих погонах, подтянутый, поджарый. С очками на сухом, строгом лице он чем-то напоминал Вадиму Грибоедова. У Бабаяна и жена —

юрист, и сыновья учатся на юридическом. Будет своего рода юридическая династия.

А почему, собственно, своего рода? Почему не просто рабочая? Или юристы не рабочие люди?..

Между прочим, однажды, когда они вот так же остались после шести часов одни на опустевшем тихом первом этаже, Вадим высказал Владимиру Александровичу эти крамольные соображения.

— Не знаю, дорогой, не знаю,— серьезно ответил Бабаян.— Думаю все же, что профессия наша стоит в ряду, так сказать, интеллигентных. Меня, например, недавно один весьма могучего вида пьяный оттеснил от папиросного ларька со словами: «Посторонись, шляпа, гегемон идет!»

Вадим с удовольствием слушал выступления Бабаяна. Тот умел быстро ладить с любой аудиторией, включая студенческую, которая, как известно, не из самых доступных и легко покоряющихся.

В прошлом году Бабаян, Вадим и совсем молодой следователь Утехин ходили, именно ходили — через улицу Герцена перешли — на встречу со студентами юрфака. Все трое в разное время учились здесь. Отсюда Вадим протанцевал свой крестный путь до метро.

Но Бабаян-то учился здесь давно, интересно было убедиться, как сохраняются в людях рефлексы молодых лет. Владимир Александрович разговаривал на лестнице со стариком профессором, которому сам «сдавал». И стоял он перед стариком, как-то незаметно подтянувшись, и пепел с сигареты стряхивал не глядя, но точно в урну, стоявшую здесь всегда.

На этой встрече Бабаян рассказывал студентам о том, о чем каждый из них читал в учебниках, но можно поручиться, не совсем ясно себе представлял в конкретности.

— Так ведь, товарищи,— отозвался Бабаян на вопрос.— Не забывайте о простой вещи. Когда вы приступаете к следствию, начинаете первый допрос, над вами с первого же дня висит строжайший срок, в течение которого это следствие вы обязаны закончить. Вы должны спешить. Но того, кто сидит перед вами, не подгоняют никакие сроки. Он может вообще не захотеть с вами разговаривать. Он будет молчать, и вы ничем не можете заставить его отвечать на ваши вопросы.

— А как же? — завопил кто-то с последней скамейки.

Бабаян мягко поднял руку.

— А вот так же. Готовясь к допросу, соберите все, что можете, об этом именно человеке, ибо одинаковых людей нет, а следовательно, не может быть стандарта и в вашей работе. Вы должны убедить человека в том, что располагаете достаточно доказательными фактами и материалом для разговора с ним.

Он должен поверить — и это действительно так,— что вы вовсе не заинтересованы в том, чтобы он получил более, а не менее строгое наказание.

Человек должен поверить, что контакт со следователем необходим ему самому, коль он оказался перед вами в качестве подозреваемого, а потом и обвиняемого.

Сумеете в каждом отдельном случае найти путь к чувствам и рассудку человека, будет из вас следователь. Не будете к людям пристально внимательны, ничего не будет...

— Контактен, коммуникабелен, дальше некуда,— повторил о Громове Вадим.— Сами видите, в разговорах до змей добрались. Касательно ограбления Никольской церкви отказался напрочь, и я думаю, что это искренне. Запел даже «Не шей ты мне, матушка...».

— Возможно, и так,— сказал Бабаян.— Ну и не шей. Но тянет он явно. И мы немножко еще подождем. Подождем, что даст Иванов. Ни пуха тебе...

Как ни торопился Вадим, а все-таки метро, да электричка, да еще автобус. Конечно, Маринка уже собиралась спать.

— Звонил Кит,— сообщила она.— Такой веселый, такой звонкий. Сказал, на той неделе придет, а на этой они опорный пункт делают!

В ее представлении опорный пункт — их организовывали сейчас по всей области — был чем-то вроде небольшого дота или снежной горки.

Потом она сказала, что собирает макулатуру на «Королеву Марго» и чтобы Вадим разобрал старые журналы на антресолях. Вадим ужинал, Маринка сидела напротив, поставив локти на стол и положив на ладони круглую физиономию. Она была еще загорелая. Бабаяну кое-как удалось устроить ее с Галиной в Евпаторию. Странно думать, что все они были недалеко друг от друга.

Маринка болтала обо всем, что приходило ей на жадный живой умишко, а Вадиму в который раз становилось досадно и горько от того, что так мало времени он уделяет девочке.

— Галя,— спросил Вадим,— а может, «Королева» — это не обязательно?

— Это не обязательно «Королева». За двадцать килограммов дается талон, по которому можно получить и Сименона и Шерлока Холмса.

Что-то в голосе Галины насторожило Вадима. Он коротко и цепко взглянул на нее — может, на работе неприятности? В ее работенке тоже не соскучишься. Если больной не выздоравливает, может быть, это даже хуже «глухого» дела?

— Папа, ты не волнуйся,— успокоила Вадима Маринка,— я совершенно не гонюсь за «Марго». Тем более, я ее уже прочла у Анечки. Я возьму только Шерлока Холмса. Ничего не известно,— сказала она несколько таинственно, смахивая со скатерти крошку.— Может быть, я еще решу на юридический.

— Новые номера к тридцатилетию Победы,— сказала мать, когда Марина степенно, как и подобает будущему юристу, попрощалась и удалилась.— Но вообще-то ты не думай...— Это уже относилось к Вадиму.— Я слышу о такой перспективе не впервые. Видимо, это от Кита. Уж больно он теперь нарядный и сияет. Дима, а ты помнишь, как он обиделся, когда пришлось обратно к Ивану Федотычу?

Оба рассмеялись, и смех этот унес, словно ветер уносит запах, некую напряженность, тревогу, которая, как показалось Вадиму, владела Галей.

А Никита тогда впрямь обиделся, да так, что по молодости лет не сумел скрыть обиды.

Это была первая встреча его с братом в Москве после всей южной эпопеи. Отоспавшийся в поезде, красивый, гордый до невозможности, вошел в отдел Кит в свеженаглаженной форме.

В комнате на тот случай никого не было. Кит так простодушно сиял, что невозможно было не ответить ему улыбкой.

— Ты знаешь, соскучился по форме,— объявил Никита.— Пока в этих проклятых джинсах домой шел, думал, все в меня пальцем тычут.

— Придется привыкать, братику. Для школы-то форма в цвет, а угро чаще в гражданском промышляет.

Усевшись против брата, Никита несколько опешил.

— А при чем школа?

— А как при чем? Сегодня же и поедешь. За вашей милостью три дня семинара осталось. Иван Федотыч уже звонил. Ему наши громовы-шитовы до лампочки. Ему учебу подавай.

— Ну это уж педантство какое-то...

Все в нем было ясно Вадиму: первая самостоятельная операция, провел хорошо, собой доволен чрезвычайно и хоть рассудком понимает, что не может того быть, а все-таки мерещится, что о его «южных делах» знают на всех пяти этажах, вот и хочется ему пройти по всем пяти из конца в конец. А тут вдруг обратно к Ивану Федотычу, постельные принадлежности получать.

Никита потом, оказывается, и к Гале пришел, между прочим, пожаловаться.

— Ну что же, Димушка, пора,— сказала Галя, взглянув на часы. Это было любимое их время, единственно им принадлежащее, когда все тихо, все сделано.

Галя поднялась с дивана.

— Закрою окно,— сказала она.— Прохладно что-то. Наверное, осень ранняя будет.

Сейчас, когда они отсмеялись по поводу Никиты, Вадим снова почувствовал в ней нечто, что ее тревожило.

— Галя, может, у тебя на работе что? — спросил он ее без предисловий. Они могли так разговаривать. С середины.

— Нет, Дима. Пока все хорошо. У тети Иры нехорошо. Ее в больницу положили.

— Это все нога ее мучает? Она вроде на юге ничего была. Даже без палочки.

Вадим удивился, но не слишком. В конце концов, человек она не молодой, кто из фронтовиков в больницу не ложится? Потом он вдруг вспомнил. Только сейчас вспомнил: Никита говорил, что тетка Ира плохо выглядит.

Галя, отвернувшись от окна, посмотрела на мужа, хотела что-то сказать, да не сказала. Очень у него было усталое лицо. Когда он так устает, у него бывают мучительные сны. За столько лет она знает, что ему снится.

— Я тебе сейчас валерианового корня выдам,— решительно сказала она.— Все-таки не химия.

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

Всеволод Браславский был внуком очень известного в дореволюционной России адвоката. Однако породистость, столь восхищавшая в его манере Никиту, Браславскому причиняла лишь хлопоты, ибо в быту олицетворялась его бабкой, на редкость вздорной старухой. На бабку тем более не было управы, что она побывала в параличе, ноги ее не шибко слушались, но язык, к сожалению, сохранил полную подвижность, и прожорлива она была до крайности.

Мать, хорошая женщина, умерла, а бабка вот уцелела. Она мучила жену Браславского, скромную, безропотную Танечку, архитектора. Дома у них бывало так тяжко, что Всеволод с болью душевной, втайне от самого себя думал иногда: может, оно и к лучшему, что нет детей. Старуха бы и детей замучила.

В выборе профессии Браславский по молодости лет на том же юрфаке допустил когда-то ошибку. В поступлении на этот именно факультет ошибки не было. К юриспруденции его с детства приохотил дед, человек блестяще эрудированный и увлеченный. Но на юрфаке, как большинство молодых, Браславский выбрал себе конечно же криминалистику. Ловить, обезвреживать преступников — только так. Работа следователя и та казалась слишком кабинетной, связанной с бумагами. А уж эксперты, научно-технический отдел, возня с шерстинами от каких-то кофт... Для мужчины ли это дело?

Поначалу у него все отлично пошло. Он удачно ловил и обезвреживал, и часы у него наградные за операцию под душистым названием «Ландыш серебристый». Но, к сожалению, только после того, как Браславский зарекомендовал себя талантливым сотрудником «уголовки», так называли они иногда между собой угро, только после нескольких лет Браславский понял, что тянет его по-настоящему именно на экспертизу, на сложную, кропотливую работу ученого.

Вадим, с которым у Браславского сложились дружественные отношения, знал, что в научно-техническом отделе Браславский проводит многие и многие свобод-

ные часы, отрывая их у дома. Что будь он помоложе, он бы переиграл, пошел бы по другой тропке.

Они были погодки. В таком возрасте крутые повороты нелегки, но Всеволод, Вадим знал, все равно об этом подумывал. Не помогала ему, конечно, и домашняя атмосфера. Да и кое-кто из начальства не склонен поощрять странное, на первый взгляд, увлечение опытного, уважаемого работника уголовного розыска.

Кто-то так и отозвался на этот счет:

— Недаром в фильмах Лавровых эксперт дама...

Неслучайно любимыми книгами Браславского стали «Рассказы литературоведа», особенно «Портрет», где эксперт-криминалист дважды помог исследователю. А из прославленных работников своего министерства всерьез он завидовал только эксперту-криминалисту Маркину, который тоже основательно помогал искусствоведам.

Об одной из этих экспертиз рассказывалось на страницах журнала «Человек и закон». Номер этот Браславский хранил в своей великолепной, от деда полученной и им приумноженной библиотеке.

Вадим тоже по-хорошему завидовал Всеволоду. Много из того, что Лобачев упорным трудом добывал для себя от книги к книге, Браславскому далось с детства, неприметно, воспитанием было вложено в него. Браславский и не помнил, как научился говорить по-французски, по-немецки. В семье свободно владели языками.

Между прочим, когда велись уже допросы Громова, Браславский, узнав случайно от Вадима, что Громов свободно владеет двумя языками, посоветовал:

— Сумей дать понять, что ты в языках не силен и сожалеешь об этом. Громов сразу почувствует себя выше, интеллигентнее. Это ему должно понравиться. Охотней пойдет на контакт.

Любопытно, что именно такое действие оказала на Громова сорвавшаяся у следователя Лобачева фраза о том, что ему языки давались с трудом. Можно было понять, что и не дались.

В глазах Громова определенно промелькнуло снисходительное сочувствие. Свободно, без протокола, разговаривая с ним и наблюдая его, Вадим думал, как все-таки неизбежен в преступниках комплекс неполноценности. Им все время, любыми способами надо себя утверждать...

У Браславского всегда находилось что-нибудь новенькое. Он очень много читал, но и то сказать: по роду работы у него все-таки чаще случались просветы относительно свободного времени. И писанины у него, конечно, меньше.

Все «новенькое, неожиданное» у Браславского относилось, естественно, к научно-технической экспертизе.

Так было и на сей раз. Браславский пришел к Вадиму, чтоб окончательно решить, когда и кому брать Иванова, но, войдя в комнату, первым делом объявил:

— Прелестную я вещь нашел, Вадим!

В обычной, так сказать, жизни Браславский не выглядел ни шикарным, ни развязным, скорее несколько печальным и задумчивым, что и не удивляло, если знать его полнейший домашний неуют.

Но сейчас он сиял почти как Никита в первый после юга день. Он уселся, достал из внутреннего кармана свеженькую библиографическую карточку.

— Вот изволь! В Азии в тысяча двести сорок восьмом году появилась весьма интересная книга. В книге уделяется большое внимание тщательному осмотру места преступления, а лейтмотивом ее могли бы служить следующие слова: «Различие между двумя волосками может решить все».

Вадим не вытерпел:

— Уж не скажешь ли ты, что сам читал?

— Не скажу. Это я у Торвальда выискал.

— Торвальд — тоже красиво.

Книгу Ю. Торвальда «Сто лет криминалистики» Вадим в библиотеке видел. Руки пока не дошли.

Пока Лобачев с Корнеевым были на юге, Браславский и капитан Утехин, весьма зарекомендовавший себя в управлении следователь, работали по Иванову. Их группой в свое время были раскрыты несколько преступлений по ограблению церквей, а в данном случае каналы сбыта церковных ценностей и иконы Вознесенского могли оказаться общими. Браславский знал все комиссионные магазины, где могла быть продана подобная вещь, и его там знали. Знакомы были ему и адреса известных в Москве и области коллекционеров, благо их не так уж много, и художников-реставраторов. Браславский, естественно, был полностью в курсе работы Лобачева с троицей, поэтому поинтересовался коротко:

— Громов все тянет? Надо брать Иванова. Уверен, он оживит обстановку. Он быстро заговорит. Он же не знает, что нам известен случай в Сокольниках.

Утехин и Браславский провели большую и удачную работу. Лобачева из всей выявленной ими преступной группы интересовал только Иванов, но им удалось поднять считавшееся «глухим» дело по ограблению Никольской церкви.

Иванов оказался человеком очень энергичным, отнюдь не склонным к дремотному времяпрепровождению. Недаром Громов отзывался о нем с уважением.

Ну да ведь и сам Никитин «шеф» тоже, как говорится, работал без прогулов. Нацелиться на кассу аэропорта не просто.

— Слушай,— сказал Вадим.— Я совершенно убежден, что твои «церковники»,— так называлось в управлении дело, которое вели сейчас Утехин с Браславским,— вашими нелегкими трудами успешно и доказательно предстанут перед судом. Но я до сих пор не стопроцентно уверен, что именно Иванов связан с Громовым. Заварина колеблется по поводу его фото. Опознание проведем, но я вообще не склонен надежно опираться на ее показания. Старая баба, перманент, сделанный уже во время знакомства с Сантехником... А что, если она будет темнить, выручать своего красавчика в надежде на будущее?..

— Что такое сто процентов? Фикция. Истина, к которой мы стремимся. А мне вот кажется, что наводчик, если хочешь, оценщик, что ли, и в группе Громова и у «церковников» — один. Да откуда бы вдруг взялось несколько человек такого рода? Это ведь не так-то просто, Вадим Иванович, даже самым примитивным образом разбираться в древнерусской живописи, в церковной утвари, в предметах культа. А по времени появление Иванова после отбытия срока в Москве и похожего на него человека в Третьяковке совпадает.

— Опять же только похожего.

— Нудный ты человек, Лобачев! — теперь уже Браславский не вытерпел.— Ни фантазии в тебе, ни полета мысли!

— Это тебе за ту интересную книгу,— сказал Вадим.

В рабочих спорах они друг на друга не раздражались и привыкли каждую версию не единожды опробовать, как альпинисты веревку на разрыв.

Сама идея искать следы Иванова в Третьяковке могла прийти в голову только Браславскому с его увлечением поисками искусствоведов, экспертизой старинных картин и всего такого прочего. Ну, кроме того, разумеется, надо было кое-что просто знать.

А Браславский знал о том, что в Третьяковской галерее уже давно проводятся циклы лекций и тематические экскурсии по древнерусскому искусству, и конкретно — иконографии.

Вряд ли эта тема привлекает особо широкую аудиторию. Как выяснилось, учета посещаемости не ведется, но все-таки, может быть, за последний год-два кто-нибудь запомнился?

Да, пожалуй. Экскурсоводам более запомнился один молодой человек, проявлявший особое внимание к иконографии. Запомнился, потому что он, прослушав один цикл, решил его повторить. Судя по его вопросам, молодой человек читал не только популярную, но и специальную литературу.

В галерее не было фамилии Иванова, но она была у Браславского и Утехина. Проверили связи Иванова, вышли на преступную группу, ограбившую Никольскую церковь. Вышли и на девушку Иванова, Татьяну, хорошую девушку, которая ни о чем не подозревала.

Как оказалось, Иванов не брезговал и квартирными кражами. Но он мог перекинуться на квартиры и для маскировки. Так иногда бывает.

Месяца полтора назад в тех же Сокольниках произошла странная драка. Двое спорили, вмешался посторонний третий, тяжко ранил одного из споривших и скрылся. Райотдел вел розыск преступника.

Браславский и Утехин вызвали Татьяну в отделение по поводу сапог. Иванов подарил ей английские сапоги, которые оказались крадеными, и на вопрос Утехина — откуда у нее сапоги? — она ответила без раздумий:

— Подарил мой друг Виктор. Сказал, что случайно купил в комиссионке.

Девушку предупредили, что сапоги придется предоставить в распоряжение следствия. Опять ничего особенного. Мало ли кто мог сдать их на комиссию?

А тут произошла случайная заминка. Браславский вышел ненадолго из комнаты. Утехин, заполнявший протокол допроса, на несколько минут забыл о девушке,

пропуск ее лежал на столе неподписанным. Но когда Утехин поднял голову от протокола и, намереваясь извиниться, взглянул на девушку, он поразился перемене в ее лице. Побледнела. Взгляд напряженный. Почти вздрогнула, когда скрипнула дверь и вернулся Браславский. Оба сразу почувствовали — она чего-то испугалась. Пока речь шла о сапогах, она была спокойна.

Тогда Утехин отложил протокол, который намеревался дать ей на подпись, и тихо спросил:

— Ну, Таня, вы, наверное, догадываетесь, о чем...

Она сразу его перебила.

— Что-нибудь с Виктором?

— Из чего вы делаете такой вывод?

Она заговорила быстро-быстро, было видно, что и говорить ей страшно, и чем-то облегчает ее этот разговор.

— Я все время ждала. Я давно ждала, что меня вызовут. А сама идти к вам боялась. Я теперь знаю, что он страшный человек. Он мне приказал молчать. Он сам живет, как будто ничего не случилось.

— О чем он вам приказал молчать?

— Ну вот, о том случае у метро.

— Таня,— сказал Браславский,— все это нам известно, но нам очень важно ваше личное впечатление. Расскажите, пожалуйста, подробнее.

Она рассказала. Протокол допроса ее Вадим читал. Вот что там написано: «Мы шли из парка Сокольники. Впереди двигалась группа ребят и девушек. Двое стали ругаться. Мне показалось, что голос одного из них Виктору знаком. Виктор пошел к нему и что-то сказал. Тот крикнул Виктору: «Иди отсюда, горбоносый! Без тебя обойдусь!» Виктор выхватил из кармана нож. Я хотела крикнуть, но не успела. Виктор ударил ножом этого парня, тот упал сразу. Виктор схватил меня за руку и потащил. Мы убежали. А потом по переулкам, как будто ничего и не было, пошли к Виктору домой. С тех пор я его боюсь...»

После показаний девушки появилось веское, законное основание задержать Иванова и произвести у него обыск.

— Ничего ценного он у себя держать не будет, это ясно, но мало ли что? Может, адреса найдутся, может, кто и на квартиру наведается,— предположил Вадим.— Каналы сбыта нужны. Куда ушли иконы? Кто у них сбытчик? Думаю, сам Иванов и сбывает.

— Почему думаешь? — спросил Браславский.

— Вспомни разговор Шитова о том, что Громов особо ценит Ивана за связи. И вспомни о том, что Иванов привлекался по валютным делам.

Договорились, что Иванова будут брать завтра и на первом допросе, который проведут, естественно, Утехин с Браславским, будет присутствовать Лобачев.

Вадиму хотелось понаблюдать Иванова, чтобы какие-то могущие оказаться интересными штрихи его показаний, оттенки поведения использовать в дальнейшей работе с Громовым. Ведь Громов не знал, что они вышли на Иванова.

Задержание Иванова прошло удачно. Ранее было установлено, что дома он ночует редко, большую часть времени проводит на Сиреневом бульваре в квартире своего знакомого, одного из предполагаемых участников ограбления Никольской церкви.

На всякий случай дом, где был прописан Иванов, блокировали, а Утехин с Браславским и двумя милиционерами на машинах выехали на Сиреневый бульвар.

Машины уже стояли у крайнего подъезда дома, когда появился Иванов. Шел он не торопясь, спокойно и не оглядываясь. Около телефонной будки помедлил, порылся в кармане, достал мелочь. Это тоже было понятно: новый дом еще не телефонизирован.

Иванов кончал крутить диск, когда Браславский положил ему на плечо руку и предложил следовать за ним.

Последовал возмущенный вопрос — кто, по какому праву? После краткого ответа «Уголовный розыск» была попытка сбросить руку и вырваться.

— Придется надеть вам наручники,— тихо сказал Браславский. И сумел эти наручники надеть. Пополам, на себя и на задержанного. Утехин был уже рядом, и они под руки отвели Иванова в машину, где его ждали два милиционера. В машине наручники достались уже одному Иванову.

— Наши или зарубежные? — демонстративно осведомился Иванов.— Наши порву.

— Не порвете,— сказал Браславский, закуривая.

На первом допросе Иванов держался спокойно. Вадим сидел с краю и имел возможность внимательно рассмотреть Иванова. Обстановка для него, как видно, вполне привычная. Удивляться нечему — рецидивист.

Третий арест, можно думать, будет и третий срок. Крепкий человек. Не трудно поверить, что может убить ножом,— для такого удара требуется сила. Волосы черные, слегка вьющиеся, прекрасная дикция. Отвечая на первые стандартные вопросы, фамилию свою произносит бережно и гордо, словно он ее не от дедов унаследовал, а на аукционе купил. Вообще может произвести впечатление. Да, у такого могут быть «культурные связи», неудивительно, что он и в Третьяковке запомнился. Собой доволен, в себе уверен. Ему следовало бы держаться понезаметнее, не запоминаться, но есть люди, настолько верящие в некую свою избранность, что зачастую не в силах это чувство скрыть. Да, такой хват должен был импонировать Громову. Порода одна — хищники.

Со всею охотой, с подробностями Иванов немедля рассказал о квартирных кражах. Вадим был уверен, что он приписал себе такие эпизоды, каких за ним в действительности и не числилось.

Обычный метод опытного преступника: принять на себя меньшую вину, дабы укрыться от ответа за большую.

Лобачев договорился с Утехиным и Браславским, что на первом допросе они не затронут дела «церковников», то есть ограбления Никольской церкви. По этому делу, переставшему быть «глухим», уже были взяты и дали показания два соучастника, о чем Иванов не знал. (Если б знал, он не явился бы на Сиреневый бульвар.) По тому делу против Иванова имелись серьезные улики, там ему будет нелегко выпутываться. А вот по колосовскому делу против него пока улик мало, поскольку ни Шитов, ни Волкова его не знают, а Громов о нем упорно молчит, взваливая сбыт похищенного на Шитова.

Хотелось бы попробовать подтолкнуть Иванова в этом направлении, пока он не сориентировался, за что задержан, и присматривается к следователям, так же как они к нему. Ну, а у них есть крупный козырь, который Утехин сегодня и выложит.

— Ну, так что вы нам расскажете об ограблении священника в Колосовске? — спросил после разговора о квартирных кражах Утехин.

Иванов с непревзойденной искренностью поднял брови.

— Сроду не вязался с попами, да еще с местечковыми. Что у такого возьмешь? Не епископ!

До сих пор Браславский, как и Лобачев, молчал.

Сейчас он спросил, постучав пальцем по стоявшему на столе видеомагнитофону:

— И в саду у священника не бывал? И проводку не исправлял?

Видеомагнитофон подключили к телевизору. Вот калитка, через которую входил Сантехник, вот выключатель, в котором он копался... Вот провал в ограбленном киоте и темный прямоугольник из-под картины на стене. Вот кадры выхода Волковой и Шитова на место происшествия, путь их обоих, пруд и поиски сумки, слышен шум улицы, автомобильные гудки...

— Какое мне дело до всех этих типов? Кто-то что-то увел, а вам примерить не к кому?

Иванов равнодушно смотрел на голубую выпуклость телевизора. Он отвечал Утехину совершенно невозмутимо. И он был прав, ибо все эти кадры сами по себе трудно поддавались «примерке» к нему.

Но только один Вадим, сидевший сбоку, видел его руки, лежавшие на коленях под столом. Руки он полагал укрытыми, за ними не следил, а они оказались ух как неспокойны. Да и самые первые кадры — калитка, дверь в дом, выключатель — вызвали у него непроизвольную реакцию: кадык резко дрогнул. Он не знал, вероятно, что Громов со своими погорел, он только сейчас об этом догадался и быстро соображал, как ему выгоднее держаться. Но ему определенно не безразличны эти кадры.

— Значит, вы никогда и не знали о существовании этих людей? — кивнув на экран, спросил Утехин.

Вопрос был поставлен точно. Ни с Волковой, ни с Шитовым Иванов не был знаком, но не знать об их существовании он не мог, общий план операции наверняка был ему известен. Скажи Утехин: «Они показывают на вас»,— Иванов мог бы подумать, что его берут на пушку. А заданный вопрос должен был его насторожить.

Он и насторожил. Пальцы под столом еще быстрее бесшумно забарабанили по колену.

— Понятия не имею,— после секундного промедления ответил Иванов.

— Ну что ж...— Утехин медленно протянул руку к кнопке вызова конвоира.— Значит, в ограблении дома Вознесенского вы не участвовали. Ну, а о происшествии в Сокольниках поговорим в другой раз.

Вот тут Иванов испугался.

— О каком происшествии? — быстро спросил он, уже не пытаясь скрыть охватившую его тревогу.

— О том самом, в котором вы лично участвовали,— сказал Браславский и нажал кнопку. Кнопка была ближе к нему, чем к Утехину.

Конвоир уже вошел, когда Иванов решился.

— Ну вот что,— сказал он.— Давайте мне бумаги. Может, я что и вспомню.

— Вы человек молодой, и в вашей памяти мы не сомневались.

Беря стопку чистой бумаги, Иванов объявил торжественно, что дергать его, то есть вызывать на допрос, пока не надо, что он сам напишет и пришлет.

— Мне сдается,— сказал Утехин, когда Иванова увели,— вероятнее всего, он уверен, что человек, которого он ударил ножом, убит. Так и Татьяна показывала. Он не знает, что человек поправляется, дал показания. И пусть пока не знает. Но все-таки ему здорово страшновато. Вероятнее всего, он повторит свой ход. Он охотно принял на себя, как самое легкое, квартирные кражи. Сейчас для него самое легкое — колосовское дело. Там ему грозит наименьшая ответственность. В самом ограблении он по сути не участвовал. Проведи-ка ты завтра, Вадим Иванович, опознание, вызови Заварину.

— А ну как старая дура не опознает? Тогда Иванов упрется. Может, он сам больше напишет? А уж если нет, тогда попробуем Заварину.

— Тут есть резон,— заметил Браславский.

На том они и порешили.

Иванов, по всей видимости, ночь проработал. Через администрацию следственного изолятора Утехин в первую же половину дня получил на нескольких страницах отличным почерком написанную явку с повинной.

Пространный этот документ они читали опять-таки втроем у Вадима.

— С этими явками с повинной прямо-таки обнаглели,— сказал Браславский.— В наручниках голубчика привезли, а он, оказывается, явился с повинной. Сегодня из Дмитрова приезжали, тоже рассказывают. С поличным взяли вора, прямо в магазине. Сумел вырваться, обежал квартал и через проходной двор явился с повинной!

Иванов винился пространно, с подлинной фантазией повествуя о том, как — если объективно! — незначительно его участие в колосовском деле. Вовлек его Громов, поскольку он, Иванов, всегда интересовался иконографией и понимал толк в древнерусской живописи. Слышал о колосовской иконе и картине. Под видом сантехника пройти ничего не составило. Дальнейшие подробности ему неизвестны. А потом Громов просил, Громов умолял продать икону. Да и в самом деле, уж если они ее взяли, так не вешать же обратно? О картине он ничего не знает, Громов сам с ней разделался, а икону, что правда, то правда, он продал, вот и вся его вина, за которую готов нести ответственность. Продал какому-то, кажется, ученому человеку, раньше его никогда не видел и не знает. Встретились случайно в Третьяковке, разговорились и — продал.

— Да,— со вздохом сказал Браславский, когда Утехин зачитал им длиннейшее послание.— Если бы не тяга к древнерусскому искусству, самое время ему в литературный подавать. Четко излагает, собака!

Опознание все равно надо было провести, его и провели.

Трое молодых людей, одного возраста, типа и сложения, были предъявлены Завариной. Иванов стоял в середине.

И тут произошло то, чего не исключал Вадим.

Женщина владела собой плохо. Едва она вошла и увидела своего Сантехника, по ее дряблому, глупому лицу пошли пятна. Лицом она управлять не могла, и сердце было ей неподвластно, началась одышка. Но уж во всем остальном надо было отдать ей должное, держалась она, как Жанна д'Арк, неколебимо решив не выдавать. Кто знает, может быть, этот недурной парень был последней ее надеждой. Влетело же ей в лоб в сорок с лишним лет украситься перманентом.

Она больше ни разу не взглянула на Иванова, повернулась к Утехину, сказала: «Нету здесь его!» — и в лице ее было отчаяние.

Ей невдомек, насколько не нужна Иванову сейчас ее защита.

— Дура! — проникновенно проговорил он, мигом сориентировавшись.— Перед советской властью не надо кривить душой. Признавай, голубушка! Или не помнишь, о чем мы с тобой за чаем договаривались?

Заварина разрыдалась и опознала.

— Сроду не видывал я такого опознания,— сказал конвоир, когда всех участников развели кому куда полагалось.

Что же мы в результате имеем? — размышлял Вадим, едучи домой с этого действительно оригинального опознания.— Иванов охотно принял на себя колосовское дело, ибо оно, в сущности, ничем ему не грозит. По всей видимости, врет, что продал икону незнакомому. Для этого слишком опытен. Если к тому же участвовал в деле с Никольской церковью, а на него показывают трое установленных и арестованных уже соучастников, вполне возможно предположить, пожалуй, даже следует предположить, что адрес, по которому он сбывает похищенное, отнюдь не случаен.

Может быть, адресат не живет в Москве? В общем, неизвестных в этом направлении пока еще хватает... Но на следующем допросе Громову придется уже много труднее. Он недаром упорно прятал четвертого, пытаясь свалить на Шитова все, в том числе и сбыт.

Вадим приехал домой много раньше обычного и надеялся, что вечеру конца не будет, потому что и Галя и Маринка были дома, и поскольку не ждали его, то обрадовались, как будто он издали-издалека вернулся неожиданно. Только пятый час.

— Удрал,— обреченно сознался Вадим, разоблачаясь в передней. Маринка упорно именовала ее холлом.

Растет эта Маринка! Уже с Галю. Пора бы и перестать — кому они нужны, эти стегалы, разве что в баскетболе.

За обедом обсуждали, как лучше провести по трамвайному билету, так сказала Маринка, выигранный сегодняшний вечер.

Окно было приотворено, слышен был ветер, уже поосеннему густой и хмурый. Но это ничего. Все равно позднее, когда вся программа с участием Маринки будет исчерпана, Вадим с Галей выйдут перед сном пройтись. Это так хорошо — после холодной ветреной улицы вернуться в теплый, недоступный непогоде дом.

— Звонил Кит,— докладывала Маринка.— У него все хорошо, он создает опорный пункт и рассчитывает сдать все контрольные без хвостов.

— Трепач он, твой Кит! — полусердито прервал ее

Вадим.— «Он создает»! — передразнил он Маринку.— Что он один может создать? Не вознесся бы он главою непокорной... Больно важен стал.

Галя промолчала. Но в самом молчании ее, в том, что она тотчас не заступилась ретиво за Никиту, Вадим почувствовал, что в чем-то она с ним согласна.

Он решил: вечером без Маринки поговорит с ней о Никите. Галя с Никитой все-таки чаще встречались.

В эту минуту зазвонил телефон. Подошла Галя. По репликам ее Вадим понял, что говорит тетка Ирина. Он не прислушивался. Он думал о Никите. Если по-честному, он немного тревожился за брата.

Никита порядочный парень, из него формируется неплохой работник, хотя до любого из опытных инспекторов ему еще очень далеко.

Не слишком ли легко ему все дается? Это очень опасно, когда культура, знания, опыт даются легко...

Потом Вадим невольно прислушался к разговору Галины и оглянулся на нее. Галя в чем-то настойчиво убеждала тетку Ирину и крепко разглаживала ладонью обои над телефонным столиком. Этот жест появлялся у нее, когда она волновалась.

— Сейчас,— сказала Галя.— Тетя Ира, сейчас!

Резко обернувшись, Галя протянула Вадиму трубку, а сама отошла к окну и стала спиной к Вадиму, к Маринке, к дому.

— Вадим,— услышал он низкий, немного протяжный голос тетки Ирины.— Извини, мой хороший, но я совсем забыла передать тебе то, о чем ты меня спрашивал. Ты извини, ради бога. Но с этим переездом всякие хлопоты...

— С каким переездом? — спросил Вадим.— Откуда ты говоришь? Алло, тетя Ира? — окликнул он, потому что трубка на долю минуты примолкла.

— Так я же в больнице, Димушка,— послышался опять ее голос.— Так вот слушай, мне отсюда долго неудобно говорить. То произведение искусства, о котором ты меня спрашивал, надо думать, находится по-прежнему у моего начальства. Я долго не могла с ним к месту поговорить. Он очень занят. Собирается за границу. Я больше не могу говорить, Димушка, я потом как-нибудь, привет всем, всем, всем...

Она отъединилась. Вадим медленно положил зумме-

рившую трубку. От телефона он отошел со странным чувством не до конца осознанной, но тяжкой и все нарастающей вины. Спина Гали и примолкшая Маринка, тишина, внезапно воцарившаяся в полной женского щебета квартире,— все подтверждало его вину.

Никита еще там, на юге, говорил, что тетке плохо. Совсем недавно Галя сказала, что ее кладут в больницу, а он не удосужился даже позвонить ей. А ведь и он, и вся его семья большим теплом обязаны этой старой, одинокой женщине.

Она вот помнит о поручении. Из больницы звонит.

— Как это постыдно все-таки,— проговорил Вадим, стоя посреди комнаты, не скрывая своей печали ни от жены, ни от дочери.— Ну, как же я мог забыть? Ты же говорила мне, Галя, что ее кладут в больницу, а теперь она либо подумала, что ты мне не сказала, либо поняла, что я забыл. И то и другое кусок хамства.

Обернувшись от окна, Галя, кажется, хотела сказать что-то резкое, но во всей ссутуленной фигуре Вадима, в глубоко посаженных глазах его было столько сокрушения и раскаяния, что она сдержалась.

Галя вдруг впервые подумала: за недолгие последние годы Вадим необратимо изменился. Странно говорить об этом в его годы, но он просто постарел. Совсем недавно у него были густые волосы, а теперь какие залысины.

Она подумала еще, что, когда достаются ему эти проклятые сложные дела (а это случается так часто и тянется так подолгу), он, в сущности, не отключается. Что бы ни делал, о чем бы ни говорил, он отдален невидимой, но четко ощущаемой стеной непрекращающегося напряженного раздумья.

И сейчас, например, ему больно от непростительного промаха с Ириной, но она ему сказала что-то, о чем он сейчас думает...

Все трое встрепенулись, когда через открытое окно с холодным ветром в комнату донесся короткий зов милицейской сирены.

— Володя,— сказала Галя, взглянув в окно.— Ну вот и телевизор вместе посмотрели, вот и погуляли...

Выглянул и Вадим. Да, деваться некуда. Володя — за ним. Что там стряслось и у кого?

Он молча обнял Галю, потом Маришку. Обе ответили

ему, он порадовался, что на него не сердятся. Вадим быстро сбежал по лестнице; как обычно, садясь в машину, помахал окну. Ну и все. И поехали.

— В управление? — спросил он Володю.

— К Бабаяну.

Галя была права. Отключиться и на сей раз не вышло. Он уже думал только о том, что сказала ему Ирина, сопоставляя сказанное с тем, что сообщил ему еще на юге Никита и что он упустил из сферы своего внимания.

Итак, давайте попробуем свести все воедино. В институте у Ирины есть профессор, обладающий коллекцией икон. Не так давно он приобрел ценную икону, о которой мельком упомянул в разговоре с Ириной. Всех известных коллекционеров Браславский с Утехиным проверили. Об этой коллекции — фамилия ее владельца Качинский, теперь уже все всплывает в памяти,— не знают не только они. О коллекции не знают в комиссионных, не знают реставраторы.

Почему такая скрытность? Обычно коллекционеры меняются, постепенно, не путем приобретений, но именно при помощи обмена наращивая ценность своих коллекций. Так, во всяком случае, рассказывал Всеволод.

Могла икона Вознесенского осесть в доме профессора? Могла. Хотя Вадим по-прежнему не верит в полную случайность продажи такой ценной вещи первому встречному. «Продал ученому человеку в Третьяковке» — так показал Иванов в своем сочинении на тему явки с повинной.

Почему, кстати, Иванов определил, что человек этот — ученый?

Может оказаться, коллекция сама по себе, икона не та и вообще Вадим тянет пустышку?

Вполне возможно. И все же, поскольку известная логика в версии «Иванов — Качинский» есть, лучше ее проверить. Причем делать это нужно немедля, поскольку Качинский не сегодня-завтра может выехать за рубеж. В какую бы краткую командировку или турпоездку он ни отбыл, для дела срок окажется нежелательно долгим.

К Бабаяну Вадим вошел бодрый, словно выспался. Все постороннее отошло, остался интересно найденный ход в работе.

— Не огорчайся, Вадим Иванович, Володя тебя и от-

везет,— такими словами встретил его Бабаян, жестом приглашая Лобачева садиться.— Дело спешное.

В маленьком кабинете у Бабаяна, спиной к окну, напряженно выпрямившись, сидела незнакомая Вадиму девушка. День простоял хмурый, смеркалось по-осеннему рано, да и мало проникало с улицы света в окна их отдела на первом этаже. На столе уже горела лампа, и лицо девушки было хорошо освещено. Выглядела она обреченно-печальной. Грима ни капли, некрасивая, грустная девушка.

«Что-то везет мне сегодня на женщин»,— подумал, усаживаясь, Лобачев.

— Библиотекарь из Бутырской тюрьмы, Любовь Петровна Сычева,— представил ее Бабаян.— Следователь Лобачев, который ведет дело Громова. Это к нему вы хотели попасть. Вас направили ко мне, потому что его не было в управлении.

Бабаян говорил с Любовью Петровной — лет ей не больше девятнадцати — уважительно и тепло.

— Ознакомься, Вадим Иванович,— Бабаян пододвинул Вадиму лежавшую на столе бумагу, исписанные карандашом листы, взятые из тетради в клетку. Первый лист начинался словами: «Любочка! Прочти и уничтожь». Слова эти были подчеркнуты.

У Громова довольно характерный почерк,— Вадим сразу узнал крутые, четкие очертания букв.

Прочитав, Лобачев положил письмо на стол, поднял глаза на Бабаяна. Девушка смотрела на Вадима с вопросительным ожиданием, он это почувствовал.

— А теперь, Любочка, выйдите, пожалуйста, в коридор, подождите минут пять на диване. Мы посоветуемся и скажем вам все, что нужно,— попросил Бабаян.

— Хорошо,— сказала девушка и вышла.

Когда они остались одни, невозмутимость покинула обоих.

— Ни себе чего! — почесал затылок Вадим, не замечая, что на сей раз употребил любимое присловье Никиты, за которое сам иной раз поругивал брата: зачем калечит русский язык?

— Вот почему он тянул и тянет. Рассчитывает на помощь матери. Но на что конкретно? — вслух размышлял Бабаян. Сухое, резко очерченное лицо его еще обострялось, когда он обдумывал что-то.

— Полагаю, мы выясним, на что именно он рассчитывает.

Громов сделал все возможное, чтоб расположить к себе библиотекаршу, с которой лично виделся при обмене книг и журналов. Очевидно, уверился в успехе, коль скоро дал ей адрес матери и поручение съездить к матери на дачу. Правда, пока он еще осторожен, адрес и поручение познакомиться — поговорить — даны устно, он может отказаться от них.

— Когда он попросил ее поехать? — спросил Лобачев.

— Сегодня. Она сказала, что, может быть, поедет завтра. Завтра она работает в библиотеке во вторую половину дня. Молодец, разумная девочка.

Так и договорились, Люба завтра же едет к матери Громова.

— Пригласи ее,— попросил Бабаян.

Девушка вошла. Бабаян поблагодарил ее за разумные действия. Объяснил, как ей следует в этой ситуации впредь поступать. Она сказала, что все понимает и постарается все сделать. Уже попрощавшись, она повернулась к Лобачеву и спросила серьезно, даже строго:

— Товарищ Лобачев, а Громов правда виновен?

«Да, везет мне сегодня на женщин»,— вспомнив зареванную Заварину, снова подумал Вадим.

— Виновен ли Громов, решит суд, Люба,— тоже со строгой серьезностью ответил он.— Но я думаю, вы сами скоро убедитесь, что он нечестный человек. Ему разрешили свидание с матерью, он может встретиться с ней. Зачем же ему понадобилось налаживать с ней связь через вас?

Но когда библиотекарша удалилась — Вадим проводил ее до постового в дверях,— вернувшись к Бабаяну, он вздохнул с досадой:

— А все-таки хорошо бы вместо этой чистой души старуху пенсионерку или парня!

Ну что же, появление Любы обещало серьезные сдвиги в ходе следствия. Если Громов решился на такой эксперимент, значит, он понимает, что дальше резину тянуть нельзя.

Что ему нужно от матери? Все, что он может предпринять по закону, может быть им сообщено ей через следователя...

Оставалось ждать. Очевидно, недолго.

— Возьми в дело,— Бабаян протянул Вадиму письмо «Прочти и уничтожь!».

Вадим вспомнил, как Громов терял привычную выдержку, доказывая Никите случайность участия Мартовицкого в задержании ростовской банды. Вот и Люба Сычева... Тоже «случайность»? А уж надо думать, с каким пылом обрабатывал ее без малого два месяца этот красивый, умелый стервец! И ведь какую лирику развел!

— Я не хотел без тебя ее отпускать,— сказал Бабаян, как бы в оправдание себе. Он не любил попусту дергать своих работников.— Расскажи, что там на опознании было, да Володя тебя отвезет.

— Опознала. Послушайте другое, Владимир Александрович!

И Вадим рассказал о новом пунктирчике, который прорезался в деле. Маленькая такая черточка: «Иванов — Качинский».

Пунктирчик Бабаяна заинтересовал. Пока они обсуждали его дальнейшее развитие, мрак на улице воцарился кромешный, шум на всех пяти этажах стих.

— Куда ж теперь? — Вадим засмеялся, поглядев на часы.— Теперь уж только на заветную раскладушку, из наших никто не дежурит. Хорошо бы профессора этого завтра заполучить, очень мне не терпится.

— Ну, если завтра не заполучишь, хоть по крайности с утра выяснишь, когда едет. Но не тяни!

Вадиму удалось только по телефону с утра переговорить с Качинским.

Профессор был, естественно, удивлен и не скрывал своего удивления по поводу того, что к нему обращается славная, как он выразился, милиция Подмосковья. Но Вадим объяснил, что в наше время милиции приходится сталкиваться с самыми разными вопросами из самых разных областей, напомнил о знаменитом обломке, поднятом со дна озера Светлояра, о совместной работе криминалистов и искусствоведов, словом, беседа их прошла без холодка излишней официальности, вполне миролюбиво.

Качинский сам упомянул о близком («Нет, нет, не завтра, даже не на той неделе!») отъезде за границу. Лучше уж встретиться скорее, если он действительно

может быть полезен. Потом он не сможет выкроить и часа.

В предыдущий перед их встречей день Вадим непременно положил себе не устать, разговор с профессором надо было провести во всеоружии особого внимания.

С Браславским договорились обо всем. Он привезет Иванова в управление, в коридоре на проходе Качинский его случайно увидит. Браславского профессор не знает, и тот получит полную возможность пронаблюдать, как отразится на Качинском эта встреча.

Пропуск был выписан на двенадцать тридцать — так удобно Качинскому. Для Вадима возникла опасность остаться без обеда, снова обращаться за помощью к селедкиным детям, но что поделаешь — с профессором, историком, знатоком древности не каждый день приходится встречаться.

Бабаян сказал однажды, что Лобачев неутомимо любопытен к людям, и это сохраненное качество драгоценно для следователя. На основании своего, уже немалого опыта Вадим убедился еще и в том, что любопытство ко всякому новому человеку непременно должно быть доброжелательным. Должно опираться на презумпцию невиновности.

Слова хитроумные, а за ними какая простая мысль! Верь хорошему в человеке.

О профессоре тетка Ирина никогда ничего не говорила у Лобачевых, Вадим только знал, что Качинский — ее начальство, это тоже добавляло малую дольку в аванс доверия. Словом, Лобачев ждал встречи, тщательно обдумав ее сценарий, дабы выяснить все необходимое с минимальным риском незаслуженно обидеть человека.

Поскольку Качинский был начальником тетки, а тетка стара, Вадим невольно приготовился увидеть человека весьма в годах, сродни стандарту «рассеянного ученого». А в кабинет к нему, едва постучавшись, энергично и властно вошел человек, у которого седины было меньше, чем у Вадима. Сорок — сорок пять, не больше.

Вадим вышел к нему навстречу, познакомились они легко и вольно, как могло быть в любом доме, при простых житейских обстоятельствах. Они и сидели друг против друга без преграды казенного стола. Речь, перемежаемая многими отступлениями, шла об одной консультации, которую Вадим хотел бы получить от профес-

сора. Если не консультация, то, может быть, справка. Ну, не справка, так хоть совет.

— Если курите, то пожалуйста,— Вадим пододвинул к собеседнику пепельницу.— У меня к концу рабочего дня в дыму хоть указки вешай!

Раза два Вадима оторвал телефон, он перебрасывался несколькими незначащими фразами с нетерпеливо скучавшим Браславским. Качинский в эти минуты с ленивым интересом рассматривал обстановку кабинета, телефоны, пишущую машинку. Пожалуй, необычен здесь был только вместительный сейф.

Положив трубку, Вадим улыбнулся и спросил:

— Не похоже на кабинет следователя? Вы как к детективам относитесь?

— Жена читает только детективы, я не читаю детективов никогда. Но все-таки у вас здесь просто тесно. Ну, а если вы допрашиваете какого-нибудь бандюгу? Даже решеток нет и этаж первый.

— Бандюг мы обычно допрашиваем в следственном изоляторе, Леонид Яковлевич.

Упомянув о следственном изоляторе, Вадим вспомнил, кого с первой минуты напоминал ему профессор, только тот человек был стар и некрасив. Оно нередко встречается, сходство между красивым и некрасивым родственниками.

— Вы не родственник адвоката Качинского? — спросил Вадим.

— Брат. А вы с ним знакомы?

— Нет, но кто же из юристов не знает Качинского? Известный адвокат,— сказал Вадим истинную правду.

Сказал и ощутил, что профессор сейчас совершенно расположен к нему, контакт есть.

В чем же конкретно может помочь профессор? А вот в чем. Им нужно выслушать мнение по поводу одной книги — историческое сочинение, старинная книга... Действительно ли обладает она большой ценностью и могла ли она принадлежать одному тоже очень известному в свое время адвокату...

Был назван дед Браславского. Книга лежала в столе у Вадима.

Почему это нужно, Вадим позднее охотно расскажет профессору.

— Еще нас интересует ваше мнение об одной иконе,

Тут поплавок дрогнул. Они сидели очень близко, беседовали доверительно, смотрели друг другу в глаза. Вадим безошибочно засек в Качинском мгновенный холодок настороженности. Вопрос об иконе оказался не в цвет.

Да Качинский и не скрыл своего удивления. В голосе его, доселе теплом, появилась некая наигранная надменность.

— А почему, собственно, вы обращаетесь ко мне по поводу иконы? — спросил он.— Древнерусским искусством как таковым я не занимаюсь.

— Ну как же, Леонид Яковлевич! — удивился Лобачев.— Говорили, вы как раз знаток, у вас же коллекция.

— Болтуны! — несколько смягчившись, отозвался Качинский.— Я мало кому ее показываю. Есть же специалисты-коллекционеры, профессионалы своего рода...

— В том и беда, что профессионалы. У них объективный взгляд нередко искажается великим множеством побочных соображений. Тут, как при раскопках, придется пласты наслоений учитывать.

— Здесь вы, пожалуй, правы,— согласился Качинский.— Ну так...

— Простите, бога ради, еще такой вопрос. Ну вот, к примеру, вы... Вы где покупаете ваши иконы?

«Опять не в цвет! Опять напряженность. Опущено забрало внушительного профессорского недовольства».

— Ну, где! Сами понимаете, в ГУМе они не продаются. Кое-что сам в поездках покупал, у меня машина, я много езжу. Колхозники ведь предпочитают оклады блестящие, а старые иконы все больше на растопку норовят... Кое-что друзья привозили. Близкие люди о моем хобби знают... Впрочем, как только что выяснилось, и не очень близкие.

Никакого тепла в его зорких, под чуть нависшими веками глазах не осталось, от улыбки ни следа, металл в голосе. Он посмотрел на часы, демонстративным движением отодвинув обшлаг пиджака, хотя отлично видел часы и без этого жеста.

Вадим тоже посмотрел на часы, коротко вздохнул.

— Ну ладно,— сказал он, похоже огорченный изменившимся тоном беседы. Поднялся, медленно прошел за свой стол.— Сейчас мы с вами... А в Третьяковке вы давно были? — спросил он.

Следователь пытается вернуть разговор в мирное русло, так можно было истолковать этот вопрос.

— Забыл, когда и был. Я, знаете ли, не поклонник ни передвижников, ни Пластова.

Сию минуту должен был позвонить Браславский. Вадим не успел выдвинуть ящик стола, как Браславский позвонил.

— Есть, товарищ полковник! — ответил Лобачев. Только что по стойке «смирно» не вытянулся.

Качинский не смотрел в его сторону, но боковым зрением не мог его не видеть.

— Леонид Яковлевич! — сказал Лобачев извиняющимся тоном.— Прошу прощения, но я вынужден отлучиться. Вам придется подождать меня в коридоре. Еще раз прошу извинить.

— Я понимаю,— сухо ответил Качинский, поднялся, первым вышел из кабинета, сел в коридоре на маленьком диванчике, положив ногу на ногу. Вадим запер, как положено, кабинет, быстро прошел по коридору, на лестницу, на второй этаж, куда должен был подойти к нему Браславский.

Минут десять они положили на то, чтоб — не сразу — провести Иванова мимо Качинского. Провести с конвоирами, как положено. Отправив Иванова, Всеволод поднимается наверх.

Вадим расхаживал по чужому кабинету, курил затяжно и ждал. Интуиция, рождаемая опытом, говорила ему, что Качинскому разговор об иконах крайне неприятен. Если даже профессор не отреагирует на Иванова, пунктирчика оставлять нельзя. Сегодняшнее свидание может завершиться мирной консультацией по книге, которую Вадим, вернувшись с извинениями, вынет из ящика, но пунктирчик должен быть разработан.

В конце концов, не исключается, что и Иванов отреагирует на встречу, хотя ему выдержки не занимать стать.

Отреагирует, если все это не пустышка и они вообще встречались.

— Лобач! В яблочко! — почти вбегая, заявил Браславский. Видно, и он эти двадцать минут был охвачен нетерпением.— Отреагировал он на Иванова. Так отреагировал, что дальше некуда. Куда Гамлету с папой! Иди к нему, пока он тепленький.

— А Иванов? — торопливо придавливая сигарету, осведомился Вадим.

— Наш на высоте. У нашего комар носу не подточит.

— Но я думаю, между прочим, и нашему свиданочка не повредит.— Тем же стремительно-деловым шагом Лобачев прошел обратно к своему кабинету. Глаза — под ноги, на ожидающих не смотрит. Отпер, оглянулся пригласить, но Качинский уже стоял за ним.

Вошли они оба молча. Вадим прошел за стол, из-за которого и вышел. В ящике дожидалась консультации книга, но похоже, что в ней отпала необходимость. Весьма вероятно, разговор завяжется.

Теперь их разделял стол. Как ни старался владеть собой Качинский, перед Лобачевым сидел совсем другой человек. На часы он уже не смотрел, никуда не торопился. Он трепетно ждал.

— Значит, в Третьяковской галерее вы не были давно,— в утвердительной интонации повторил Лобачев фразу, прозвучавшую здесь четверть часа назад.

— Забыл, когда там и был,— с готовностью подтвердил Качинский.

— Тогда скажите, когда вы встречались с Ивановым? Не считая, разумеется, сегодняшней встречи.

По правилам ведения допроса, Лобачев не имел права в разговоре с сидящим перед ним человеком утверждать, например, что арестованный Иванов на него показывает. Но поставить перед Качинским заданный только что вопрос он имел право. Ответ мог быть двояким. Можно было ответить, что с Ивановым — а кто такой Иванов? — профессор вообще не знаком, а соответственно, никогда с ним не встречался.

Но, по всей видимости, это была бы ложь, и Качинский лгать побоялся.

Он начал вспоминать. Ему хотелось ответить как можно точнее, он торопливо сопоставлял какие-то даты.

— Это было весной, в самом начале мая. Точно день, убейте, не помню.

Дня он мог не запомнить, в этом ничего невероятного нет. Ориентировочно время указано точно — дни колосовского ограбления.

— Вот что, Леонид Яковлевич,— сказал Вадим. «Пусть будет ему имя и отчество, пусть успокаивается,

а то от перепугу все перепутает так, что до истины не доберешься. Истерика допрашиваемого следователю не помощник».— Вот что, Леонид Яковлевич, все-таки придется нам с вами кое-что записать. Порядок есть порядок, а вы, вероятно, сможете дать кое-какие показания по одному интересующему нас делу.

Вадим вынул из ящика уже не книгу, а бланк.

На вопросы Качинский отвечал с готовностью чрезвычайной, только что их не предугадывал.

Вадим писал, как обычно, быстро. Качинский следил внимательно за его пером. За годы преподавательской деятельности, надо думать, привык следить за студентами, приблизительно засекать, что появляется на бумаге.

— Вы тесно, семьями, так сказать, знакомы с Ивановым? — не прерывая записи, спросил Лобачев.

— Что вы! — Качинский даже отмахнулся.— Случайная встреча, не более того.

— Случайно встреченного несколько месяцев тому назад человека, к примеру в метро, вы бы не запомнили. Тем более, вы не знали бы его фамилии, Леонид Яковлевич. Встреча ваша не была случайной.

Вопросы становились точнее и строже, однако обращение и голос хозяина кабинета оставались как бы полуофициальными. Вадим видел, Качинский осваивается в новом, неожиданно навязанном ему положении. Из знатного, по любезности зашедшего для консультации профессора он превратился в человека, которому задают вопросы по, надо думать, уголовному делу. Прямо сказать, не простая метаморфоза.

— Так по какому же поводу вы все-таки встретились?

Вадим положил ручку,— закурил, откинувшись на спинку стула и глядя на Качинского.

— Если хотите, курите,— Вадим пододвинул пепельницу.

«Это тебе маленький толчок, напоминание: чтоб закурить, должен спросить разрешения, не в гостях сидишь».

— Ну что ж, помочь вам, Леонид Яковлевич? — предложил Вадим.— Может быть, вы купили у него что-нибудь?

Опять же не было оттенка провокационности в во-

просе. Качинский мог ответить отрицательно, но тогда ему пришлось бы убедительно объяснить повод встречи с человеком, от обычного знакомства с которым он только что недвусмысленно отмежевался.

Вадим видел сейчас один возможный для Качинского ход. Профессор мог сказать, что купил что-либо из дефицитных товаров, из-под полы продающихся.

Профессор, возможно, этого хода от волнения не видел. А возможно, попросту опять же побоялся солгать.

Побоялся или не захотел? Неприятные для профессора подробности постепенно наслаиваются, но все-таки будем верить хорошему...

— Купил, товарищ Лобачев,— сказал Качинский.— Честно сознаюсь, купил.

«Особо не надо давать ему успокаиваться. А то сообразит сейчас, что гарнитур для мадам мог купить, и займет круговую оборону».

Любопытно: разумом убеждая себя в том, что сидящему перед ним человеку нужно верить, Вадим с каждой минутой их непростого разговора все более склонялся к уверенности, что пунктирчик «Иванов — Качинский» неспроста родился на свет.

Не дав Качинскому продолжать рассказ о покупке, он перебил его вопросом:

— Вы не догадываетесь, по поводу какой именно иконы мы хотели побеседовать, приглашая вас сюда?

И этот вопрос он имел право задать профессору. И в данном случае ответ не обязательно предполагался однозначным.

Но Качинский ответил однозначно:

— Я же сказал, товарищ Лобачев, честно сознался, купил я у него одну иконку.

Сигарета отложена, все необходимое записано, Качинский ждет.

— Ну, а теперь приходится спросить: знали ли, что икона, купленная вами у Иванова, краденая?

Качинский шумно возмутился:

— Как мог я это знать? За кого вы меня принимаете? Этот молодой человек заявил, что икона принадлежала его деду, а тот умер, нужда в деньгах... Откуда я мог знать?

Теперь Лобачев не мешал ему. Качинский почти выкрикивал свои объяснения. Он даже поднялся, сделал

несколько шагов по кабинету, провел ладонью по лбу. Он не играл. Сейчас, второй раз за этот день, ему стало страшно.

Скупка краденых произведений искусства — вот чем ощутимо пахло сейчас в кабинете следователя.

Качинский резко остановился, подошел, снова сел перед молчаливо наблюдавшим его Лобачевым.

— Слушайте,— сказал он.— Это действительно краденая вещь? Это же чудовищно!

— Мы имеем основания предполагать, что эта икона похищена в первых числах мая из дома священника Вознесенского.

Наверное, с полминуты Качинский думал. И решился.

— Это невозможно! — опять почти выкрикнул он.— Я заплатил за нее бешеные деньги, но я не потерплю краденой вещи в своем доме! Я сейчас, я сию минуту привезу вам эту икону. Это чудовищно!

Вадим не мешал ему ни словом и вновь проверял себя, каким видится ему сейчас профессор: наигрыш или человек действительно оглушен?

Мог он не знать, что покупает краденую ценность? Теоретически мог, практически же не мог не знать, что произведение искусства из-под полы не продается. И пока мы не ставим ему вопроса: почему именно ему так просто доверился отнюдь не наивный Иванов? Значит, имелись нити, побуждавшие обе стороны к доверию?

Но об этом позднее. Сейчас не будем отходить от колосовской иконы.

— Видите ли, Леонид Яковлевич...— теперь уже Вадим покосился на часы. Пусть Качинский решит, что они не так спешат вырвать у него эту икону. И пусть подумает, почему они не торопятся.— Пожалуй, на вашем месте самое целесообразное так поступить. Если бы вы сами не приняли этого решения, вам бы все равно пришлось предоставить икону в распоряжение следствия, коль скоро потерпевший ее опознает. А он опознает.

— Нет, нет! Не могу терпеть и дня! Мой дом и краденое — чудовищно!

Машина Качинского стояла на Белинке. Вадим проводил его мимо постового и, перед тем как зайти к Бабаяну, решил побыть, подумать один.

Он все время остерегался, как бы нароставшая по отношению к Качинскому подозрительность не помешала

ему быть объективным. Но ему очень не нравилась резкая перемена в поведении, в манерах профессора. Он никогда не верил в то, что под влиянием горя, неожиданности или алкоголя люди могут меняться кардинально. Он считал, что любой, если можно сказать, шок такого рода лишь гипертрофирует, обнажает суть характера.

Профессор с первого часа их знакомства не мог так шумно суетиться, так вскрикивать, так пугаться, в конце концов.

Качинский вернулся в управление молниеносно быстро. У Лобачева был уже заготовлен акт о добровольной выдаче.

Из небольшого черного, с жесткими гранями портфеля Качинский извлек привезенное.

Бабаян только что высказал Вадиму опасение, не привез бы профессор картинку подешевле, иди потом собирай экспертов, доказывай. Он, как и Лобачев, не сомневался, что колосовская икона ушла именно к Качинскому: очень уж много совпадений.

А Лобачев сказал, что все, конечно, возможно, но он надеется найти на иконе одну примету.

Приняв из рук Качинского небольшой образ, без богатого оклада, без стекла, Вадим посмотрел на скорбный блеклый лик изображенного на нем старика, а потом повернул икону тыльной стороной.

Через черную от времени доску шла глубокая свежая царапина, след от дурацкого шитовского камня.

«Ну, авось да не опростоволосимся,— с надеждой подумал Вадим.— Нет худа без добра, спасибо собаке».

— Вы что, думаете, это не та икона?

— Я не думаю этого. Я знаю, что это та икона. Ну что ж, подписывайте акт о добровольной выдаче.

Качинский был сейчас положительно весел.

— Боже, какая с меня свалилась тяжесть, товарищ Лобачев! В моем доме — краденое. Это же чудовищно! — говорил он, запирая на замок опустевший портфель.

И это чувство облегчения, которого он не скрывал, взволнованная готовность идти навстречу вопросам, торопливое возвращение образа напомнили Лобачеву деловитое стремление Иванова скорее подставить себя под колосовское дело.

«Чему ты уж так рад? — размышлял Вадим.— Ты должен волосы на себе рвать, в сущности, тебя обокрали.

Ты сказал, что заплатил бешеные деньги. Так спроси меня, нет ли какой-нибудь возможности с обманщика, жулика эти деньги взыскать...»

Качинский и прощался почти весело.

— Да, мы с вами сегодня изрядно потрудились,— задумчиво ответил Вадим, подписывая пропуск.

— Если нужно, всегда к вашим услугам!

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ

А Ирина вправду совсем забыла о просьбе Вадима относительно иконы в коллекции Качинского.

Вернее, даже не так. Вернувшись с юга, она спросила однажды профессора. С шутливой гордостью он ответил, что всю коллекцию отдаст, а последнее приобретение оставит. Ирина сказала, что у хоббистов последнее — всегда самое дорогое. На том у них и окончился разговор.

Но на следующий день решился вопрос, точнее, Ирина наконец решилась лечь в больницу. Чувствовала она себя отвратительно уже давно, беспокоила откуда ни возьмись появившаяся болезненная лимфатическая шишка под правой рукой.

Ей настойчиво посоветовал лечь профессор, у которого она консультировалась. Ее уговаривала Галя. Уговорил ее единственный врач, ее врач, которому она верила,— Михаил Николаевич.

— Ложись, мать,— сказал он попросту.— Никуда не денешься. Ну, обследуют. Может, и поскоблят. Колено ты свое стойко обороняла, так ведь там хромота постоянная могла грозить, а шишка-то эта — плюнь, и нет ее.

От него первого услышала она об операции. Да уж будто бы она и сама не понимала... Теперь все простые смертные — не только бывшие медики — все «Здоровье» читают, все всё понимают.

Защищалась она от скверных мыслей разумным высказыванием, кажется, Блохина: от сердечно-сосудистых заболеваний людей умирает в два раза больше, чем от рака, но боятся их в два раза меньше.

Между прочим, глагол этот «боятся», само это слово, увиденное в газете, подхлестнуло и укрепило Ирину более всех дружеских убеждений. Утешать ее никто из зна-

комых не решался, характер Ирины Сергеевны был хорошо известен. Что-что, а ни трусливой, ни разболтанной она никогда не была.

Словом, ехать так ехать, сказал дрозд, когда кошка потащила его за хвост из клетки. Хвала незабвенному Сэму Уэллеру.

Этими словами она и встретила Вику, которая приехала проводить ее в больницу.

— Вот у вас можно учиться, Ирина Сергеевна,— одобрила ее Вика.— У вас воля всегда в кулаке, а это главное.

— Ах, девочка моя,— задумчиво усмехнулась тогда Ирина.— Как бы хотелось мне знать, что в жизни главное. Ваську вот в надежные руки я устроила. Наверное, это и есть главное.

— Мог бы какой-нибудь месяц и у меня прожить,— непреклонно сказала Вика.— Ничто бы ему не сделалось, вашему Ваське.

Вика была несколько обижена тем, что Ирина не доверила ей кота.

— Викочка,— Ирина подала ей крохотный деревянный флакончик,— мне соседка привезла из Закарпатья, тут розовое масло. Возьми, детка. Я только сегодня вспомнила, что никогда никаких игрушек тебе не дарила.

— Спасибо, Ирина Сергеевна,— серьезно поблагодарила Вика, пряча флакончик в портфель.— Я заходила как-то в «Москву», там их много, два семьдесят пять стоит. У меня с собой денег не было...

Уже в больнице Ирина, посмеиваясь про себя, несколько раз вспомнила этот злосчастный деревянный флакончик. Она-то думала, что дарит оригинальную вещицу... Не однажды у нее так получалось в жизни. Думаешь, делаешь что-то важное, а на поверку — два семьдесят пять...

Между прочим, больница, которой Ирина так не хотела — она же никогда не лежала в обыкновенной гражданской больнице, она знала только фронтовые госпитали,— пришлась ей странно впору и кстати.

Первую же ночь она спокойно там проспала. Не признавалась себе самой, но огромным облегчением оказалось право не стараться хорошо выглядеть, не поддерживать оживленных разговоров, ни о чем не думать, ничего не решать.

Все решалось уже не ею, помимо нее. Она испытывала чувство благодарности к людям за то, что ее никто не тревожил. Она душевно и физически сгорбилась, и в теплом, скрывающем согбенную спину халате подолгу, с удовольствием сидела у окна, глядя в предзимний сад, на облетевшие мощные черные деревья. Слабость телесная, если ты имеешь право на нее, может быть даже приятна. Вот странно.

Ей давали что-то успокоительное, опухоль под мышкой беспокоила ее гораздо меньше. А нога и вовсе притихла. Поняла, наверное, что сейчас не до нее.

Было еще одно, что временами делало Ирину почти счастливой. Из далеких молодых лет к ней всплывало ее прошлое. Воспоминания становились порой такими объемно-вещественными, что оттесняли ныне сущую жизнь, порой она затруднилась бы определить, что более живо и в чем подлинно жива она. Да и нужно ли было это определять? Слава богу, никто с нее этого не спрашивал.

Так и училась она жить в двух измерениях — нынешняя, в теплом удобном халате, и прошлая, на далекой, но тоже нынешней войне, когда еще был Костя.

Нельзя сказать, что минувшее проходило перед Ириной. Это Ирина все глубже и глубже погружалась в него.

Как же все началось? Не война, а они с Костей на войне.

...Началось все недалеко от Москвы. Еще было холодно, и хотя на солнцепеках вокруг деревьев ширились лунки, по ночам мороз, Ирина никак не могла отогреться после страшной первой зимы, когда люди кое-как держались, а сады повымерзли.

Полк наступал, но продвигались они медленно, трудно; в тот день заняли оборону на опушке березовой рощи, перерезанной широкой просекой с линией высоковольтной передачи. Перед рощей открывалось поле, полого подымавшееся на холм с купой деревьев, казавшихся необыкновенно высокими на фоне мутноватого белесого неба. Линия горизонта по обе стороны высотки была точна и пустынна: белое поле и сизое небо. Похоже, за высоткой земля обрывалась в неизвестность.

Однако никакой неизвестности за высоткой не было, а были там немцы, и били они по рощице непрерывно. Разрывы ложились пока далеко за цепью, очевидно, немцы не предполагали, что «рус иван» висит уже у них на

пятках. Но методический этот тупой огонь действовал на нервы, и странно угнетало именно то, что рвутся снаряды за спиной, словно напоминая — батальон отрезан от тылов, а может, и от всего полка.

Послышался шорох. Все в овраге зашевелились, вытянули шеи, как зайцы. Весь в снегу скатился в овражек солдатик-башкир из пульвзвода.

— Второй номер ранен, место открытый, пулемет нельзя брасай, раненый нельзя брасай, что делать, не знай, приказ давай.

Услышав о раненом, Ирина насторожилась. Все остальное ее не касалось. Все, кроме раненого.

— Давай веди,— сказала башкиру Ирина и полезла из овражка.

Комбат уже вслед им крикнул для порядка:

— Вы там поаккуратней. Не нарушайте.

Не нарушать в данном случае значило: помочь пулеметчикам и уцелеть самим.

Бежать было тяжело. То и дело проваливались в какие-то ямы. Собственно, они уже не бежали, а шли, с трудом вытягивая из глубокого снега пудовые валенки.

Смешно сказать, Ирина почти обрадовалась открытой поляне. Снег на ней пообдуло, поблескивал плотной коркой наст. За поляной, где снова высились березы, она увидела людей, кто-то махнул ей шапкой.

— Давай-давай,— сказал солдатик, упал на снег и ужом пополз по краю поляны в обход.

Но Ирина не умела ползать. Она посмотрела вслед солдатику. Серый зад лихо вилял из стороны в сторону уже довольно далеко от нее. Она зажмурилась, стараясь не глядеть на темные воронки, и бросилась напрямки.

— Ты что, сволочь, в рост бегаешь? — громовым криком встретил Ирину пулеметчик и, потянувшись из укрытия, так рванул ее к себе за полу шинели, что Ирина упала, больно ударившись о пулеметный ствол.

Но она не обиделась. С трудом справляясь с одышкой, она смеялась, потому что все тут были свои и все было от души, от страха за нее. Она была счастлива, потому что все-таки дошла и, главное, не испугалась.

— Давай сюда-а...— услышала Ирина знакомый голос из рощи. За белыми стволами берез что-то мельтешило. Вглядываться было некогда, она перевязывала.

— Ну-ну,— одобрительно сказал первый номер.—

Ну-ну. Там, за пригорком, замполит с бойцами сидит. У них тоже кого-то дерябнуло. Да научись ты ползать...

Замполита батальона звали Мишей. Он, Костя Марвич, и еще двое связистов пришли в часть из одного института летом сорок первого, отказавшись от брони. С Мишей Ирина дружила, а Костю и двоих других тогда только видела издалека, на маршах.

Смешно. Миша встретил ее теми же словами:

— Да научись ты ползать. Честное слово, на формировку выйдем, специально погоняю по-пластунски.

— А у вас тут симпатичненько,— оглядываясь, сказала Ирина.

Когда Ирина накладывала повязку раненому, над ними прошел снаряд. Нарастающий густой рев его оглушал. Ирина машинально пригнулась, прикрыв собой раненого. Снаряд прошел. Все выпрямились.

— Ты геройство не показывай,— рассудительно сказал Миша.— Это же нелогично. Ты такой же боец...

Миша в любой обстановке мог, умел и любил рассуждать. Неизвестно, все ли его рассуждения доходили до бойцов, но неколебимое спокойствие действовало благотворно. Она точно помнит. Именно в эту минуту в лесу затопало, зашуршало, как лось пробежал, и в укрытие спрыгнул большой, показавшийся Ирине ужасно громоздким человек.

— Здорово, бог войны,— стараясь быть спокойным, приветствовал Марвича Миша, но тот, не отвечая, оглядел всех шалыми глазами и, увидев Ирину, сказал:

— А ну-ка, посмотри, не задело? Да скорей. Тороплюсь.

Он распахнул полушубок. Ирина прошла ладонями по его неожиданно тонкому под полушубком мальчишескому торсу, с привычной осторожностью нащупывая рану. Раны не было. В руке очутилось что-то маленькое и гладкое. Пуля.

Ирина растерянно разжала руку.

— Ну, счастлив твой бог, парень,— проговорил пожилой боец, забывая об уставе.— Если б не на излете...

— Чудесно,— после мгновенной паузы сказал Марвич. Он взял у Ирины пулю, повертел туда-сюда.— Какая простая и целесообразная форма. Мне как-то раньше не приходило в голову. А если... Я, пожалуй, ее сохраню, А впрочем... На черта она. Пошла вон.

Он размахнулся и зашвырнул пулю.

— Ну я им за нее дам! — вдруг угрожающе завопил он, действительно похожий на озорного, рассерженного бога.

— Ты где, Костя? — уже вслед ему кричал Миша.

— У Петушкова. Подымайтесь. Сейчас даю огня.

И дали хорошего огня. И они поднялись и пошли.

Это была их первая встреча. А потом и встреч, и счастья было все больше, больше... Уже пролегла звездная, лунная, солнечная дорога в немыслимый мир, за войну. «Мы вместе поедем к маме,— говорил Костя.— У нас дом на Пречистенке, а во дворе дерево большое-большое. Когда сильный ветер, оно скребется в окно».

А по ночам, когда Ирина засыпала, ей все снился костер.

...Костер маленький, свой, отдельный, они с Костей зажгли в лесу той апрельской ночью, когда после долгой боевой страды часть отвели во второй эшелон и дали дневку. Тогда Костя уже командовал дивизионом в артполку, о нем шла слава, его уже наградили орденом Красного Знамени.

Он прискакал в медсанбат с ординарцем верхом, и Ирина не узнала его. Никак не ждала, что он так красиво и вольно держится в седле.

Костя бросил поводья ординарцу и пошел к ней. Ирине было гордо и весело оттого, что к ней идет, ее ищет этот красивый, прославленный человек, овеянный — что ни говори — самой прекрасной, издревле почитаемой славой — боевой.

Костя сказал, что будет ждать ее на западной опушке, когда смеркнется.

В общем, они не очень-то таились. Может быть, потому, что им нечего было скрывать, они не решались даже притронуться друг к другу.

Но на этот раз, идя на опушку, Ирина почему-то чувствовала, что все изменится. У нее и в мыслях не было — не идти, но она не знала, как все будет, и боялась.

На пригорках земля подсохла, идти было легко, а в овражках стояла талая вода, смутно белел последний снег. Ирина залила сапог. Мелькнула мысль: сейчас она скажет Косте, что промочила ноги и ей холодно и она должна пойти обратно сушиться.

Хватаясь за молоденькие, гладкокожие липки, она

взобралась по склону, увидела костер и Костю. Он обернулся на шорох и быстро пошел ей навстречу, протянув обе руки.

— А я промочила ноги,— сказала она, чтобы не молчать. Хоть бы ледяной холод сковал ее до горла, никуда бы не ушла она из этого темного, сырого леса, от этого костра, от него.

Костя усадил ее на плащ-палатку у огня, снял сапог и быстро, больно растирал ладонями замлевшую ступню, пока она не стала горячей.

Потом он велел ей встать, нагреб под плащ-палатку еще палых листьев и веток.

— Это пока все, что я могу тебе предложить,— сказал Костя. Огненные отсветы плясали по его лицу, по гимнастерке и меховой безрукавке. Полушубком он укрыл Ирину, ей было тепло, даже жарко от огня.— Пока так. А потом...— Он потянулся, сплетя пальцы на затылке, и вздохнул.— Потом фантастика. Дом на Пречистенке, комната со стенами и дверями, которые можно запереть изнутри. И если сильный ветер, в окно скребется дерево. Я говорил тебе про дерево?

Он говорил, но думал уже не о дереве, у него были потемневшие, угрюмые глаза. Ирине опять стало стеснительно и трудно, потому что сегодня все должно стать по-другому, уже по-другому, и ничего нельзя изменить, если б даже она захотела.

Она не сделала ни движения, но внутренне вся сжалась, почти жалея, что пришла в этот лес, что не отдалила еще хоть на день нынешнюю встречу.

Костер потух. Была еще ночь, и очень холодно, и ярко светила сквозь голые ветви деревьев полная луна. Приподнявшись на локте, Костя посмотрел на высокое небо и звезды. Лицо его в лунном свете казалось изваянным из мрамора, строгим и прекрасным. Когда он приподнялся, холодный воздух хлынул между ними.

— Где у нее выключатель? — сказал Костя, вздохнул, глядя на луну, и опять положил голову на плечо Ирины, под полушубок. Маленький островок тепла в талом лесу, тронутом заморозком.

Похоже, минута прошла, но, когда они снова открыли глаза, луна погасла, разгорался быстрый весенний рассвет, темный лес обернулся молодым березнячком, розовым на восходе. Прямо над ними на тонкой ветке цвинь-

кала синица. Видно было ее пушистое желтое брюшко, черные щечки.

Это было последнее от их ночи.

Ирине показалось, у самых ее ног оглушительно затрещали сучья, захрапели кони и раздался голос Костиного ординарца:

— Товарищ комдив. Вытягиваемся.

— Давай, давай громче, не вся еще галактика слышит,— отозвался Костя.— Плащ-палатку возьми себе, у меня еще есть,— сказал он Ирине, затягивая на полушубке портупею.— Ну? Я пошел вытягиваться.— Костя взял в ладони ее лицо, поцеловал в губы, но Ирина видела: он уже не с ней. Он уже там, где должен быть.

И так всегда. Таким уж он был. Такого только она и могла любить.

Мягко протопали по земле копыта, хрустнул слабый ледок. И затихло все.

Они думали расписаться в первом попавшемся городе, через который пройдет дивизия, но в первом попавшемся городе не только загса — стен от загса не осталось. Только виселицы их встретили.

И вообще все оказалось не так просто. Дивизия вела тяжелые бои, встречались они редко.

Если артполк стоял неподалеку, Костя присылал с весточкой Кольку-ординарца, семнадцатилетнего паренька, еще в Московской области приставшего к артиллеристам, и Колька, обожавший своего комдива, прибегал с радостной готовностью — веснушчатый амур в огромных кирзовых сапогах и прожженной во многих местах шинели.

Очень редко, когда в мыслях ее сопрягалось прошлое и день, в котором не жила — существовала она сейчас, Ирина вспоминала Борко. Но странным образом виделся ей не Иван Федотович: теплый, родной человек, оставшийся далеко-далеко за больничными стенами. Ей вспоминался командир Костиного полка, которого она ненавидела только за то, что он остался жив, а Костя не жил больше.

Первый раз она встретилась с Борко лицом к лицу, когда хоронили Костю. Вернее, то, что осталось от Кости после того, как его машина подорвалась на противотанковой мине. Это случилось даже не в бою. На форсированном марше. Его хоронили без гроба. Некогда было делать гроб.

Последний раз прискакал за ней Колька. Он плакал, веснушки его от слез стали багровыми.

— На коня, гони. А то его похоронят.

И она поскакала первый раз в жизни. Больше всего на свете боялась упасть, не успеть, и поэтому неумело понукала и настегивала коня.

Ирину знали. Ей дали постоять у могилы. Кажется, Борко сказал, чтоб она тоже бросила горсть земли. Земля падала беззвучно. Ведь гроба не было. Костя был завернут в плащ-палатку. Она закрыла глаза, чтоб не видеть нелепых очертаний свертка.

Иногда Ирине приходила на ум ее книжка, которая, на удивленье всем, печатается и скоро должна выйти. Ирина думала, какая радость будет держать эту книжку в руках. Но книжка была дальше, чем война и Костя. Не книжка главное. А что же главное?

В день операции заведующий отделением сам зашел к Ирине в палату. Она была готова и ждала, стоя у окна.

— Ну, голубушка, поехали,— сказал он, погладив ее по плечу.

Ирина обернулась, улыбнулась ему.

— Поехали, доктор, поехали. Только можно я сама пойду?

И пошла за едущей впереди ее пустой каталкой.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ

Итак, вот первое письмо Громова, начинающееся многозначительно подчеркнутыми словами: «Прочти и уничтожь!»

Вадим берет в руки и перечитывает фотокопии: «Любочка. Сегодня был юбилей нашего знакомства. Ты не смотришь, а я смотрю. Первый раз с тобой поговорили «ластепотюрь». Новое слово в русском языке. В своих мемуарах, которые начну писать лет в 90, не раньше, в примечаниях укажу — «ласкаю тебя по-тюремному». Целую «ластепотюрь».

...Раньше я все время спал днем, теперь некогда, жду тебя... Роднуля, я понимаю, что я у тебя отнимаю время, рад бы не отнимать, а дать вместе с собой, но иначе пока не получится.

Наши маленькие теплые отношения — начало каких-то наших совместных желаний. С твоим появлением в моей жизни я еще упорнее буду бороться за свою свободу. Может быть, она будет нужна не только мне, а и тебе?..»

Ну что же, пока это обычное любовное письмо. Адрес матери дан устно. Письмо должно быть показано матери, потом уничтожено.

Так и произошло. Этой записки более в природе не существует, ее в присутствии Любы уничтожила сама мадам.

Громов, разумеется, должен был проверить, побывала ли Люба на даче.

Люба рассказывала так:

— Ответа мне никакого не дали. Приняли хорошо и сказали, что мне при жизни надо поставить памятник. А Громов меня спросил, кто меня встретил на террасе. Я сказала: меня встретила обезьяна и укусила за палец. Мать Громова подвела меня к клетке и сказала, что обезьяна мне подаст руку, а она меня укусила. Я показала Громову палец...

Палец у Любы был-таки изрядно укушен.

После первого посещения дачи девушку слушали вместе Бабаян и Вадим. Оба они почувствовали, что это посещение не прошло для Любы бесследно. В ней появилась уверенность в правоте ее действий, какой, пожалуй, не было, когда она — наверное, не без внутренней борьбы — решилась разыскать следователя Лобачева.

Ни дача, ни обстановка, ни бурное радушие матери Громова не оказало ожидаемого действия. Ну, а потом девушка получала другие письма Громова для передачи его семье. Длинные, обстоятельные письма. Правда, Громов торопился, в этих письмах ему было не до стилистических тонкостей. Вот фотокопии этих посланий. Оригиналы — в семье Громова.

«Мама и Леша, здравствуйте. Не считая Любиных отношений с обезьяной, все налаживается. Дело ведет министерство на Огарева. Следователь Лобачев Вадим Иванович. Умный человек. Начальник у него Бабаян. Тяжелый человек...

...На меня нет доказательств, но существуют показания двух соучастников...»

А вот и план построения последней версии громовской защиты.

«Я бывал в Колосовске только по поводу концертов. Встречался с Инной. Я не знал, что у них с Шитовым была договоренность, а я оказался как подсадная утка, чтоб в случае провала было на кого свалить.

Я попытался на следствии сказать: какой же я руководитель, если у Шитова было много денег, он покупал дорогие инструменты, их все нашли, его видели на месте преступления, а у меня одни долги.

Я брал деньги у матери, Иннины вещи закладывал. Мне не верят. Сумку, оказывается, нашли. Они ее утопили, а я ни при чем. Они вдвоем признались, а меня ставят руководителем.

Считаю это наглостью преступников и пособничеством со стороны следственных органов, подтасовкой фактов, ввиду моего не очень приятного прошлого.

Связь с Инной необходима (последнее слово трижды подчеркнуто). И именно сейчас. А то на суде может быть очень и очень тяжело. А если сделать все как надо, то я — жертва.

На поездку на юг вы дали мне 400 руб. Надо все предусмотреть. Среднего в моем положении быть не может. Или ничего, или все».

Итак, создается последняя версия, возводится последний рубеж обороны. Громов — жертва. Версия эта будет, так сказать, обнародована только в суде. Чем же она должна быть подкреплена?

«...Около задней калитки в саду дома Шитова должны быть зарыты 2—2,5 тысячи рублей. Не больше. На плане крестиком показано место, где они должны быть зарыты. (На фото ясно виден толково вычерченный план участка.) С этими деньгами, которые найдут, будет тщательная экспертиза. Чтобы никаких следов. Это надо сделать очень быстро, пока нет снега, нет зимы и не мерзлая земля...»

И еще настоятельное требование — любыми способами наладить связь с Волковой. Объяснить ей, чтобы она не боялась. Далее следуют кавычки: «Ее чистосердечные признания восстановят меня и облегчат ее участь. Я не хотел очной ставки при следователе, потому что она могла бы подтвердить свои первые неправильные (трижды подчеркнуто) показания, и потом было бы трудно...»

Пожалуй, самое долгое, самое обстоятельное письмо к Волковой. Громов дает указания, как ей держать себя в суде.

«...Володя Шитов приставал к тебе и угрожал. Говорил, что у него есть ребята, которые могут убить. Он тебе говорил: «Если попадешься, вплетай всюду Женю. Тебе особо ничего не будет, так как ты, собственно, ничего и не делала, тебя и не посадят»...

Володя говорил тебе, что и он скоро выйдет, потому что он первый раз. Он говорил, что деньги у него есть. Что у меня есть новая девушка. Вот тут-то сыграла твоя необузданная женская ревность, и, когда тебя взяли, ты стала говорить, как тебя учил Володя.

У вас еще до юга состоялся с Володей разговор о деньгах. Володя сказал тогда, что деньги у него дома. Вы хотели пойти в ресторан и кое-что купить. Вы пошли к нему. Он достал откуда-то 50 р. и дал тебе...

Дома никого не было. Ты была у него буквально 5—10 мин. Когда вы выходили, он тебе сказал, чтобы ты не волновалась, все деньги в надежном месте, а когда подходили к задней калитке, перед выходом из калитки он кивнул головой вправо. Чтобы ты не волновалась, твои будущие деньги здесь, и их никто не найдет. Будет, мол, время, ты их получишь. На этом вы расстались.

Замечу сразу. Сейчас твои показания выглядят правдой, а смена показаний, то есть вот эти новые показания, должны выглядеть чистосердечнее самых чистосердечных признаний.

...На мое поведение при любой очной ставке и на суде не обращай внимания. Мой вид будет, что я на тебя ужасно обижен, а твой — что ты думаешь, я тебе не прощу такую ложь.

Деньги у калитки действительно лежат. Это будет основное доказательство в подтверждение твоих новых показаний. Буду надеяться».

От письма к письму в Любе крепло естественное отвращение к людям, с которыми волей-неволей она должна была общаться, хотя «мадам» прилагала все усилия, чтобы убедить девушку в том, что отношение Громова к Волковой было лишь снисходительно дружественным.

Любопытно, что словечко «мадам» ввела в обиход именно Люба. Как видно, ей претило называть эту женщину словом «мать».

Вадим сложил в портфель жесткие, глянцевитые фотокопии. Письма были длинные, на нескольких страницах, фотографий набралось немало.

Сегодня они ехали в тюрьму вместе с Бабаяном. На сей раз оба были в форме.

— Ну вот, для этого он и тянул,— уже в машине повторил Бабаян.— Дерзко до наглости, но упорства и фантазии в избытке. Дерется до последнего. Такую бы изобретательность да к доброму делу. Для этого он и Волкову берег. В общем, логично.

— А мадам? — напомнил Вадим. С легкой руки библиотекарши они только так и называют теперь родительницу Громова.— Честное слово, не знаю, кто из них вызывает бо́льшую антипатию. Если позволено нашему брату иметь обыкновенные человеческие эмоции и хотя бы иногда их формулировать. Все-таки не он ее, она его вырастила.

— Уж и то хорошо, что на сей раз не рискнула подписи в защиту сынка собирать,— сказал Бабаян.— Но меня еще одно обстоятельство интересует безнадежно. Безнадежно потому, что пока не могу ответа найти. У Громова слой культуры поверхностен, хоть и при английском и при французском языках. Обрати внимание, как на глазах деформируется его язык в последних письмах. Но в известной ростовской банде участвовал инженер, говорят, весьма одаренный. Во всяком случае, конструкцию его автомата специалисты считают интересной. И другие были со средним и высшим образованием. Так вот, когда сложили, так сказать, и разделили награбленное ими за пять лет, на каждого пришлось по сто сорок четыре рубля в месяц. Стоило ли? Неужели сами они не поинтересовались подсчитать, сколько же приносит им их промысел? Где, на каком километре жизни происходит этот сворот в Антимир, провал в Черную Дыру?

— Бабка Катя говорит: чем больше дают, тем больше хочется,— вспоминая старый их дом, в котором теперь остался один Никита, сказал Вадим.

Бабаян покачал головой.

— Бабке так можно сказать. У нас с тобой не получится. И на пятна капитализма не сошлешься, далеко мы от него ушли. Новые условия, новые и повороты. Надо их искать.

— Ну вот, возьмите Качинского. Я имею в виду профессора с иконой.— Вадим заговорил о том, что сейчас было для него самым животрепещущим в работе.— Много удивительнее Громова, как бы ни повел себя сегодня «шеф».

— Стоп.— Бабаян поднял ладонь.— Я почти уверен, что с профессором нам придется иметь дело. А посему не будем его в разговоре всуе касаться. Его надо серьезно обдумывать. Мне тоже очень не нравится его спешка и полное пренебрежение к потерянным деньгам. Но его серьезно надо обдумать.

— Знаешь что,— сказал Бабаян, всем корпусом повернувшись к Вадиму, рядом с которым сидел на заднем сиденье. У Бабаяна удивительно менялся, оживал голос, когда заходила речь о чем-то, что его глубинно волновало.— Знаешь, если даже Иванов никак не отреагирует на встречу, завтра к вечеру встретимся по профессору.

Они договорились, не ведая о том, что вспомнить Качинского им придется даже ранее завтрашнего вечера.

— Ну, а что ждешь сегодня? — спросил Бабаян, поднимаясь на второй этаж, где в следственной комнате должно было состояться их свидание с Громовым.

— Громов расколется, Владимир Александрович. Он готов расколоться. Какие потом коленца начнет выкидывать, не знаю, но сегодня он дурака валять не будет. Он умный человек.

Бабаян вдруг рассмеялся.

— А помнишь, как Карунный рубликов своих в массе не вынес?

Вадим любил вспоминать затею с рубликами. Конечно, окажись у Карунного нервы покрепче, он мог бы и глазом на рублики не моргнуть.

Ну и что же? Пришлось бы вести следствие другим, более долгим и трудоемким путем. Больше ничего. А с ходу, можно сказать, полученное признание плюс вещественные доказательства, добытые при обыске, дали им возможность сберечь уйму времени и сил.

Но Громов, хоть и не чета Карунному в смысле опыта и выдержки, сегодня вряд ли будет долго обороняться.

В свое время Громов отказался разговаривать с начальником отдела. Сегодня, войдя в следственную комнату и увидев полковника, он сразу понял, кто это. «Своего следователя», как любил именовать Лобачева, он

тоже впервые видел в форме. Казалось бы, незначительная подробность, но она явно произвела на Громова впечатление. Он этого не скрывал. Пожалуй, впервые за многие часы, проведенные в этих стенах наедине с Громовым, Вадим увидел в лице его тревогу.

— Садитесь,— резко проговорил Бабаян.

Громов сел на свой привинченный табурет. Держался он строго и прямо. Вадим уверился, что никаких выходок от него сегодня можно не ожидать.

— Давайте, товарищ капитан,— сказал Бабаян почти столь же резко, не отрывая глаз от арестованного.

Вадим открыл портфель, и, как когда-то перед Каруниным рубли, перед Громовым на столе рассыпались фотокопии его писем и записок.

Собственно говоря, они рассыпались не прямо перед Громовым, табурет его находился примерно в полутора метрах от стола. Но зрение у него было отличное, свой почерк и план шитовского участка он узнал без труда.

Только в том и выразилось его волнение, что он порывисто поднялся, отошел к окну и, стоя спиной к Бабаяну и Вадиму, сказал:

— Я знал, что они окажутся у вас.

— Садитесь,— в чуть более мягкой тональности приказал Бабаян.

Громов сел.

— Вы отправляли?

— Я отправлял.

— С какой целью писали эти письма?

— Ответ на этот вопрос буду давать только в суде, так как считаю это более целесообразным.

Внешне Громов был уже спокоен. Битая карта отброшена, он думает о следующих ходах. Он даже не стал читать фотокопии. Он знал, что они подлинные, без обмана.

— Будете давать показания?

— Буду.

Бабаян и Вадим возвращались из тюрьмы с ощущением успешно завершенного рабочего дня. В управлении ждал оформившийся в четкую линию пунктирчик «Иванов — Качинский», но, по крайней мере, с Громовым дело можно было считать подошедшим к концу.

Уже на следующее утро Громов сам подтвердил свою решимость не затягивать далее следствие. Читая бумагу, присланную из следственного изолятора, привыкший не

удивляться Лобачев и тот был поражен жизнецепкостью этого паразита.

Адресовался Громов уже к суду:

«...В связи с моими признательными показаниями прошу суд принять живое участие в моей дальнейшей судьбе с тем, чтобы я мог выполнить заветы моего отца стать настоящим человеком».

«Ну и нахальство! Ну и цинизм!» — Вадим смотрел на четко, почти каллиграфически выведенные буквы. После стольких лет работы пора бы перестать удивляться уродствам, порожденным Антимиром, извергнутым Черной Дырой.

Прав Бабаян в его, может быть, и сложной аналогии. Люди преступности — действительно выходцы из антимира, чувства и мысли их — своего рода антивещество. Но ученым хорошо предполагать, что антимир существует параллельно или как-либо иначе. Ведь античастицы не разрушают каждодневно, ежечасно наш мир, в котором жить Маринке и вон тому маленькому мальчику, идущему сейчас по противоположному тротуару, держась за мамину руку. В своем комбинезоне он похож на космонавтика.

Бабаян и Вадим, Утехин и Корнеич — не ученые. Чистильщики они, вечные они солдаты. Это так. И все же не кто другой, как именно они, в любом преступлении обязаны найти его исток, первопричину. Пожалуй, иногда самое трудное — не только найти, но суметь определить, сформировать, назвать.

Воровка Машка Иванова, Света Вяземская, которую так удачно выявил Никита,— они выросли в неблагополучных семьях, у «сидячих», как говорится, родителей.

Жалкий, на беду свою протрезвевший пьянчужка с Подольского завода, угодивший по пьяным хищениям на двенадцать лет,— тут были ясны истоки.

Но, думая о таких, как Громов, как инженер-бандит из ростовской банды, как Карунный, Вадим ощущал: его затопляет волна непонимания и гнева. Ему было очень трудно вести подобные дела, потому что следователь не имеет права поддаваться чувству гнева.

Заканчивая дело, он не только мог, но обязан был глубоко осмысливать события и все чаще приходил к выводу о существовании своего рода третьей силы.

Разительным был пример с делом о поджогах, кото-

рое он закончил в прошлом году, с сообщением о котором выступал на Всесоюзном совещании следователей в Волгограде, о котором писал в книге очерков по истории милиции Подмосковья.

Преступник-рецидивист нанес государству ущерб более чем на сто с лишним тысяч. Он грабил магазины и поджигал их, чтоб замести следы. Он получил пятнадцать лет. Он из хорошей трудовой рабочей семьи, на горе матери и родных.

Закрывая дело, Вадим долго допытывался у хлипкого на вид парня, когда, почему он решил не работать, а красть. Когда «вкус к хорошим деньгам» почувствовал?

Навсегда запомнил Лобачев его ответ:

— Когда пацаном на автобазе стал работать. Мне бы три дня вкалывать, а частник за свечу враз пятерку отвалил. А кто там этой свечи хватится?

Так вот, не в равнодушии ли элегантного «частника», владельца «Жигулей», таятся многие причины? Не стоит ли сейчас у ворот какой-нибудь автобазы «Волга» Качинского в ожидании очередного пацана со свечой?

Купил же профессор икону, старательно позаботившись не проверить, откуда она к нему пришла?

Молодой профессор все получил от власти, от страны. Почему он равнодушен к чистоте родного воздуха?

Для Громова деньги не пахнут. Для Качинского не пахнет приобретенное. Казалось бы, полярные силы смыкаются. На перекрестке каких-то событий они совместно противостоят следователю Лобачеву, которому советская власть вручила властные полномочия.

Вадим в этот день не должен был быть в тюрьме. После обеда он встретится с Утехиным, тот сегодня работает с Ивановым. К пяти часам его ждет Бабаян. Будет крупный разговор по «пунктиру».

Было еще одно дело, которое доставит только радость. Надо сообщить старику Вознесенскому, что икона к нему вернется. Телефона у старика, конечно, нет.

Вадим, не откладывая, разыскал номер Совета по делам религии и — не без гордости — попросил сообщить в Колосовск, что образ, похищенный у священника Вознесенского, найден и будет возвращен потерпевшему, как только перестанет быть нужным следствию.

Не все же у следователя одни горькие хлопоты, случаются и радостные минуты.

Вадим уже собирался в столовую, когда зазвонил телефон. Он поднял трубку и, к своему удивлению, услышал, что с ним хочет говорить Качинский.

У Вадима была прекрасная память на голоса. Тембр схожий, но все-таки это не профессор.

Звонивший почувствовал заминку и пояснил:

— Вадим Иванович, с вами говорит не профессор Качинский. С вами говорит его старший брат, адвокат Качинский Семен Яковлевич.

Им не приходилось непосредственно сталкиваться по каким-либо делам, но Вадим ответил, что да, конечно, он знает имя адвоката Качинского.

Брат профессора обратился к нему с неожиданной, даже странной просьбой встретиться немедленно на полчаса, не более. Он находится рядом с управлением, в кафе «Марс». Кафе пусто, никто не помешает им поговорить и пообедать, поскольку в УВД сейчас обеденный перерыв.

— Я могу отложить свой обед, если дело так срочно,— ответил удивленный Вадим.— Заходите. Я сейчас закажу вам пропуск.

— К сожалению, у меня нет с собой ни единого документа. Кроме того, я думаю, нам спокойней будет поговорить здесь.

«Что-то с профессором». Это становилось любопытно. Вадим был в гражданском. Он надел плащ, запер кабинет и пошел.

В вестибюле маленького «Марса» его ждал пожилой, много старше профессора, человек. Вадим усомнился: да родные ли они братья, уж очень велика разница лет? Впрочем, сходство у них было, хотя профессор подавлял барственной респектабельностью, а адвокат, весьма скромненько одетый, скромненько и держался.

— Благодарю вас,— с чувством сказал он, пожимая руку Вадиму.— Пройдемте наверх, я занял там столик. Проходите, вы мой гость,— жестом пригласил он Вадима, когда тот у лестницы хотел пропустить его вперед.

Поднялись. Сели. На столике стояли две бутылки минеральной и рыбное ассорти.

Вадим оценил трезвый, деликатный — ему возвращаться на работу — сервис.

— Сейчас мы закажем, что вам подойдет,— сказал адвокат, намереваясь подозвать официанта.

Вадим остановил его.

— Благодарю вас, но я на диете. У меня хронический гастрит,— возвел он напраслину на свой к селедкиным детям приобвыкший желудок.— Я с удовольствием выпью воды.

— Пусть так,— согласился Качинский. Вадим оценил и его неназойливость.

Небольшой зал был почти пуст: кроме них, только одна, похоже студенческая, компания в противоположном углу. Все молодые, не пьяные, веселые. Около крайнего стола на полу крутился портативный магнитофончик. Вадиму показалось, что он где-то слышал эту песенку.

— Вадим Иванович,— со спокойным достоинством начал Качинский.— Вы простите, что я, не будучи лично знаком, позволил себе обратиться к вам, но в конце концов мы с вами сражаемся на общем фронте. Мы оба юристы.

Естественно, что мой младший брат, с которым меня связывает поистине братская дружба, не скрыл от меня происшедшего с ним несчастья. Я имею в виду покупку этой злосчастной иконы, об истории которой он, как вы понимаете, не имел ни малейшего представления.

Мой брат умеет владеть собой, что не удивительно, если учесть его положение в нашем, советском обществе. Но от вас я не скрою — потому только я и решился на разговор с вами,— он на грани инфаркта. Он должен ехать за рубеж, а он не может ни спать, ни есть.

Разумеется, вы ведете дело, и вы будете вести его как должно. Я прошу вас, как коллегу по корпорации, только об одном: не доверяйте внешнему виду брата, не переоценивайте его самообладания, постарайтесь поменьше травмировать его, уверяю вас, он держится на последних нервах. Он чистоплотен, как горностай, он получил уже страшную травму.

Качинский смолк и, опершись локтем на стол, прикрыл рукой лицо. Вадим сидел молча, ждал. Сейчас он сам был чуток, как сейсмограф, на ленту памяти ложилось каждое слово, каждая интонация собеседника.

В эту минуту его невольно раздражала песенка, доносившаяся с магнитофона студентов: «...а на нейтральной полосе цветы необычайной красоты...»

Качинский внезапным движением отнял руку от лица и уловил в глазах Лобачева это раздражение.

— Вы спешите? — резче, чем бы следовало по ситуации, спросил он.

Лобачев покачал головой:

— Нет. Я просто не люблю этой песни.

— Почему?

— Не люблю смысловой чуши. Нейтральной-то полосы нет. Границы сходятся лоб в лоб. Противостоят. На то они и границы. Так я слушаю вас.

Качинский помолчал, неприкрыто разглядывая своего собеседника. Как видно, он заподозрил скрытый смысл в его словах, хотя Вадим высказался по поводу песенки искренне, без намека на подтекст. В лице Качинского не дрогнул ни один мускул, и, тем не менее, оно явно ожесточилось.

«Приподнимается над бруствером,— подумал Вадим.— Но что же дальше, коллега, что дальше? Не для того вы меня вызвали, чтобы поделиться тревогой? Между прочим, я бы на вашем месте тоже тревожился. Иванов пока молчит. А если заговорит, то что он скажет?»

— У вас тоже есть младший брат,— вдруг резко понизив голос, проговорил Качинский. Далее он говорил почти шепотом, но поставленный голос умелого оратора и в шепоте доносил каждое слово.

Между прочим, в шепоте не было никакой нужды, их никто не мог услышать. Качинский демонстративно подчеркивал секретность разговора. Вадим так его и понял.

— Я не провожу, разумеется, никакой аналогии, факты совершенно различны, но и у вашего младшего, тоже по глупой случайности, могла бы произойти неприятность. По счастью, она не произошла.

Вы, может быть, слышали, что на даче у моей сестры имела место кража, что ваш брат занимался этой кражей, что он не принял никаких мер по отношению к подростку, совершившему кражу? Но это в конце концов пустяки — разве наша семья стала бы настаивать? Хуже то, что ваш брат, выпив предложенный ему бокал шампанского — в доме ждали гостей и стол был накрыт,— ваш младший, видимо, опьянел и весьма странно объяснял свое нежелание предавать огласке, выразимся мягко, проступок подростка. Ваш брат прямо объ-

яснил, что мать нарушителя пойдет на все ради сына, а она только что получила значительную премию и... Лишь бы не было огласки.

Как только Качинский произнес слова «дача» и «кража», Вадима поразила мучительная боль теперь уже бесполезного, запоздавшего воспоминания.

Еще ранней весной, едучи с Никитой в электричке, испытал же он озноб неосознанной тревоги, услышав от брата, что он почему-то имеет какую-то связь с дачей, где произошла пустяковая кража.

Вадим несколько раз обещал себе при встрече с Китом вспомнить, поговорить, узнать... И тетку Иру странно встревожила эта дача. И вот у него, у старшего, все не доходили руки.

Первую половину ровной, отработанной речи адвоката он слушал почти механически, напряженно следя за собой, чтобы не выпустить наружу свою боль и смятение, не облизать мгновенно пересохшие губы, чтоб руки не выдали напряженность.

Справившись с первыми мгновениями, Лобачев понял, что справится и дальше. Что бы ни было, справится. Качинский не спускает с него глаз? Ну что ж, смотри, старший брат профессора, смотри!

— Но самая большая нелепость заключается в том, что все высказывания вашего младшего брата чисто случайно оказались записанными на пленку. Мы переписывали любимые песни племянницы, магнитофон был включен. Я обнаружил на ленте эту нелепую беседу несколько месяцев тому назад. Понятно, посмеялся над неопытностью молодости, и только.

Но теперь, когда по жизненному недомыслию терзается мой брат, я понял, как это тяжко. Я подумал, не дай бог, лента попадет в недобрые руки. Я принес ее вам. Вот она!

Жестом фокусника-иллюзиониста он вынул из глубокого накладного кармана клетчатого пиджака небольшой голубоватый диск с портативного магнитофона. Положил его на стол, аккуратно пододвинул к Вадиму, убрал руки со стола.

Теперь он ждал.

Едва Качинский заговорил о магнитофоне, Вадим понял, что лента будет ему предложена. И он успел принять решение. Первый раз ему приходилось принимать

решение — принимать молниеносно — по событию, которое кромсало его собственную судьбу.

Судьба Никиты разве не его судьба? Ни на единый миг Вадим не допускал правды в гнусном подтексте речи Качинского. Но если такой Качинский рискнул на шантаж, значит, записано нечто на этой пленке, которая плоской змейкой до поры дремлет на столике.

Первым, естественным, человеческим желанием было: пустить диск обратно к Качинскому и посоветовать ему отправляться с ним к начальнику УВД области.

Но ведь было здесь и другое.

Опять-таки, если такой Качинский рискнул пойти на шантаж, как же, значит, боится он за своего младшего?

А собственно, почему? Если профессор не лжет, что уж такое особенное может ему грозить?

Качинский — опытный юрист, его опыта хватило бы на трех Вадимов. Почему он решился на такую грубятину, на такой вопиющий примитив?

«Нет, я не спугну тебя,— так решил Вадим.— Ни тебя, ни твоего профессора. Пусть вы будете в надежде. Нельзя, чтоб вы ринулись прятать концы, потому что вам, по-видимому, есть что прятать. Пусть у вас будет сегодня радостный день. Капитан Лобачев взял взятку».

Ни слова не говоря, Вадим взял диск со стола. Карман его пиджака оказался мал.

— Давайте несколько салфеток,— сказал Вадим Качинскому.

Качинский был, видимо, несколько обескуражен деловыми жестами и деловым тоном Лобачева. Он торопливо вынул из стоявшей близ него хрустальной вазочки все салфетки, протянул их Лобачеву.

Вадим разложил салфетки — одна за другой — на столе, аккуратно завернул в них кассету, на часы посмотрел, поднялся. Тотчас встал и Качинский. Выдержки ему было не занимать, но некая растерянность проступала все явственней в лице, в излишне торопливых движениях. Он как бы боялся отстать от этого самоуверенного, несмотря ни на что, молодого человека.

Он, видимо, ожидал, что Лобачев что-то скажет. А Лобачев считал, что говорить ему абсолютно нечего. Качинскому хотелось Лобачева спросить, получить некие заверения. Но спрашивать ему Лобачева было решительно невозможно.

Так они молча и спустились по лестнице. Вадим первый, энергичным шагом военного, Качинский за ним, держась за перила, на не шибко-то гнущихся ногах. Со стороны могло показаться: молодой купил что-то у старика, а денег не отдал, вот тот и семенит за ним в страхе.

«Семени, сволочь, семени,— не оборачиваясь, думал Вадим.— Наглость, честное слово! Ну неужели я не знаю, что у тебя пять копий этой записи может храниться? Неужели я не знаю, как шантажисты, клеветники и все подобные прочие режут и клеят эти самые пленки?»

Уже надев плащ, Лобачев повернулся к Качинскому.

— Всего хорошего,— сказал он.— Рад был с вами познакомиться.

Услышав эти слова, Качинский враз и облегченно заулыбался, словно ему заплатили за товар, который он почитал потерянным. Он тотчас подхватил протянутую руку Вадима, пылко пожал ее в ладонях. Только сейчас он поверил в успех своего предприятия.

— Вадим Иванович! Вы знаете, что брату предстоит отъезд за рубеж. Я очень вас прошу...

— Если мне понадобится еще свидеться с профессором, я обещаю вам сделать это как можно скорее.

С тем Лобачев и вышел из ни в чем не повинного «Марса», который никогда в жизни не забудет, куда ни за какие блага больше не войдет.

Переходя улицу, он с холодным бешенством еще думал о Качинском-старшем. «Может, у тебя и сегодня «репортер» под полой работал, так я тебе не Никита, с меня много не запишешь — не подклеишь».

Еще он подумал, что, несмотря на холеную респектабельность профессора и неприметное обличье сутулого старика адвоката, есть меж братьями кровное сходство. Просто один похуже, победнее рос, а другого с детства закармливали. Но мысли о них обоих отстали от него, едва он зашагал по Белинке.

Впервые в жизни он входил в здание УВД с чувством вины и готовности к расплате. Впервые в жизни от взгляда на имя отца в мраморе его пронизал мучительный стыд. Впервые в семье Лобачевых так бездарно пошла пуля в молоко. Не просто пустышку — ведро с помоями вытянули, погоны замарали.

Что же умудрился Никита наболтать на эту проклятую пленку? Как его вообще заставили болтать?

Версию о выпитом в незнакомом доме вине Вадим отмел сразу и напрочь. Это исключено. Естественно, Вадим сам пальцем не прикоснется к пленке. Более всего он боялся сейчас не застать Бабаяна. К великому счастью, тот оказался на месте.

Вадим положил на стол пленку и доложил обо всем.

Именно доложил, а не рассказал. С каждой минутой в нем нарастала постыдная горечь. Дух захватывало при мысли, что и разговор с Бабаяном — только первый из цепи неминуемых, тяжких разговоров. Нужды нет, что речь идет о Никите. Вадим — старший в семье и по званию, и по партийному стажу — разве не головой в ответе за все?

Он и обратился к Бабаяну, как положено, по форме. Не было у него сейчас уверенности в праве назвать полковника, как всегда, Владимиром Александровичем.

Бабаян выслушал его, не перебивая ни словом. Тень удивления прошла по его сухому лицу, когда он услышал официальное обращение Лобачева. Его «мальчики» наедине к нему никогда так не обращались. Он только при первых словах взглянул на Лобачева, а потом отвел глаза, чтоб не мешать своему капитану высказаться.

Лобачев доложил все. Вплоть до последних слов, произнесенных в «Марсе». Доложил и соображения, по коим решился сам эту пленку взять. Только теперь Бабаян посмотрел на него, указал рукой на стул у стола, сказал:

— Садись, Вадим Иванович. И, пожалуйста, закури.

Теперь уже Вадим, затягиваясь, несколько мгновений не глядел на Бабаяна. Дорого стоила предложенная ему сейчас сигарета.

Бабаян набрал внутренний номер и приказал принести к нему в кабинет магнитофон.

— Ну, а вот теперь давай рассудим. Так же, как и ты, я исключаю алкоголь. Так же, как ты, я исключаю все, что шьет твоему брату этот тип. На чем-то его заставили говорить лишнее, иначе не существовало бы пленки. На чем и в какой степени, покажет рабочая проверка. Вадим Иванович! — Бабаян смотрел выжидательно, на паузу в его речи Вадим вынужден был поднять опущенное лицо.— Не мне тебе объяснять, многое в жизни бывает, ошибаются и не такие зеленые, как твой

лейтенант. Нарвался он на опытного... Наберись спокойствия, тебе надо работать, ни Громовы, ни Ивановы ждать не будут, на наши личные неприятности прокуратура отсрочки нам не дает...

Принесли магнитофон.

— Запри дверь,— попросил Бабаян.— Ну, а теперь бросим взгляд мастера.

Лента начиналась, как после обрыва, с середины. Звучный, хорошо поставленный голос — можно было подумать, что говорит молодой человек,— произнес:

«Мне хочется для себя уточнить некоторые детали. Так вы считаете, что ваш Пашка и его мать могли иметь неприятности?»

— Это Качинский,— сказал Вадим.

Бабаян молча кивнул, пустил диск медленнее. С пленки, перемежаясь, звучали голоса.

«Конечно, могли. Комиссия по делам несовершеннолетних вполне...— голос Никиты.

Качинский. И вы считаете, все это дорого обошлось бы его матери?

Никита. Вы не представляете, что бы с ней было. Она за своего мальчишку жизнь отдаст, не то что...

Качинский. Вы с ней хорошо знакомы?

Никита. Она относится ко мне с доверием.

Качинский. Вы, наверно, и выручаете своих подопечных?

Смех Никиты и Качинского.

Качинский. Зарабатывает-то она всего ничего...

Никита. А сейчас она премию получила.

Качинский. Ну, какая там премия! Хотя для нее это, может быть, и ощутимо.

Никита. Она месячный оклад получила. Такая сумма не только для нее, но и для меня, холостяка, была бы ощутима. Такая премия и мне бы, и многим кстати пришлась.

Смех Качинского.

Никита. Сладится все. Главное, чтобы без огласки.

Обрыв. Конец. Наступила довольно весомая пауза.

— Ну, теперь я, по крайней мере, знаю, что я понесу наверх,— по своей привычке поигрывая пальцами по стеклу стола, проговорил Бабаян.— Ты не знаешь, он по

собственной инициативе на эту проклятую дачу хаживал?

— Не знаю, Владимир Александрович. Про Пашку слышал от него. Это трудный подросток с его участка.

— Ну, будем надеяться. Вызовут, конечно, Соколова. Будем надеяться, он в курсе. Ну, а потом авось да и экспертиза по пленке кое-что даст.— Бабаян, оставив в покое стол, опять же по всегдашней привычке, обхватил себя ладонями за локти.— Пленочка, по-моему, не очень чтобы очень. При первом прослушивании и то кое-какие несообразности обнаружить можно. Будем надеяться,— еще раз повторил он уже без раздумчивости.— А теперь вот что, я сейчас иду с этим делом к Чельцову. Мне там делать нечего, и он отпустит меня скоро. За это время прошу полностью переключиться на версию «Иванов — Качинский». Ибо во всей этой гнусной затее есть нечто, дающее возможность предполагать, что не Иванов наведет нас на Качинского, а через Качинского мы выйдем на Иванова. В общем, сиди и думай, Вадим Иванович! Тут быстро надо думать. Старик долго ждать эффекту от своей затеи не будет...

— Я одного не могу понять,— сказал он, уже стоя у двери с диском в руке.— Я не могу понять, почему им вообще понадобилось вести запись? Вероятность случайности, как говорят математики, исчезающе мала.

Вадим тоже не мог этого понять.

И никогда не понял, потому что не вспомнил, не узнал в старшем Качинском человека, с которым много лет назад судьба столкнула его ночью, на площади, когда он вступился за отца и двое взрослых парней смертельным боем избили его, подростка.

Он ушел от Бабаяна к себе странно успокоенный. Успокаиваться было совершенно не с чего: Никиту ждет хорошая встрепка, которая еще неизвестно чем кончится, хватит сраму и на долю капитана Лобачева. Но как же важна дружеская рука, дружеский голос вовремя и рядом! Спасибо, Владимир Александрович...

Вадим пошел к себе и занялся приведением в порядок протоколов по делу ровно с той самой позиции, с какой оторвал его звонок Качинского.

Неужели это было всего несколько часов тому назад? Неужели еще утром не было ни пленки, ни горечи, ни чувства собственной вины,— так ведь и не выбрал он

времени поинтересоваться делами Никиты. А вдруг бы и успел предотвратить...

Но вместе с сожалениями о своей оплошности в нем кипел гнев на брата. Эти мысли он пока отталкивал от себя. Ясно было одно: сегодня он домой носу не покажет. Ему всегда бывает трудно скрывать от Гали все, относящееся к семье. А сегодня у него просто не хватит сил. Позвонит, что подменяет кого-нибудь на дежурстве.

Бабаян вернулся не скоро. Опять они оказались вдвоем в кабинете. Мельком глянув на Вадима, Бабаян сказал удовлетворенно:

— Я вижу, ты пришел в себя. Так вот: Чельцову доложено, пленка при мне прокручена. Приказано вызвать полковника Соколова и лейтенанта Лобачева. Пленку — на экспертизу и все такое прочее.

А теперь, Вадим Иванович, еще раз настоятельно прошу полностью переключиться. Был разговор с Новинским, с Булаховым. Общее мнение: если опытнейший юрист Качинский пошел на грубый шантаж, значит, он в величайшей тревоге за своего брата. Одна случайно купленная икона оснований для такой паники не дает. Значит, дело не только в этой иконе. Можно предполагать, что Качинские опасаются показаний Иванова. По только что полученной справке выяснено, профессор намеревается выехать в обычную турпоездку, которая всегда могла бы быть перенесена на другой срок. Неясно, почему делается такой упор на необходимость именно сиюминутного, так сказать, выезда.

Купленной краденой иконы уже достаточно, чтоб задержать выезд: привлечь Качинского-младшего как свидетеля по делу.

После сверхактивного вмешательства старшего Качинского версия о случайной встрече профессора с Ивановым, по всей вероятности, отпадает. Приобретение одной краденой иконы дает право предположить, что в коллекции Качинского могут обнаружиться и другие ценности, приобретенные аналогичным путем.

Слушай дальше. Запрошена санкция на обыск. Если не сегодня, то не позднее завтрашнего утра мы этот обыск произведем.

Помнишь, Вадим Иванович, как ты был уверен, что найдешь металлическую пыль у Карунного? — спросил Бабаян.— Вот так и я уверен, что не уйдем мы с пу-

стыми руками из профессорской квартиры. Мнится мне, осело там кое-что из ограбленных церквей. Одного боюсь, чтобы они не спохватились и не очистили апартаменты раньше, чем мы там окажемся. Поэтому дозвонись немедленно до профессора. Предполагаю, он сидит у аппарата неотлучно и ждет твоего звонка. Приглашай его на завтра, уговорим как можно скорее завершить все необходимые формальности, что будет истинной правдой. Сумей поговорить так, чтобы он спокойно проспал ночь, чувствуя себя победителем. Отсюда все вместе поедем к нему. А до этого момента ничего ему в лоб не должно влететь.

В эту ночь Вадим не сомкнул глаз. Ему, конечно, не пристало днем толкаться на лестнице, а потом он мог только воображать, как вызвали Никиту, как приехал он в Москву, как входит в кабинет к Чельцову... И что бы ни стряслось, Вадим уже ничем не сможет ему помочь.

Куда же потом Кит? Он гордый, он к Вадиму, к Гале не пойдет. Как же это он из героев-сыщиков — да в такую слякоть! Он пойдет домой и будет сидеть один в старом доме. Хоть бы уж стены, что ли, ему помогли...

А Качинский, как видно, и впрямь хорошо выспался. Приехал утром свежий, роскошный, надушенный. Вадиму почему-то казалось, что мужчине не подобает пахнуть духами.

— Вы неважно выглядите сегодня, товарищ Лобачев? — с участием осведомился он. Неприкрытая смешинка была в его глазах, в голосе. Сел без приглашения; он вольготно чувствовал себя сегодня в этом кабинете.

Вадим молча смотрел на него. Чуть дольше, чем требовалось. В лице Качинского что-то дрогнуло.

— К сожалению, вам придется несколько задержаться с поездкой,— ровным голосом проговорил Вадим.— К еще большему сожалению, мы должны произвести у вас обыск. Вот санкция. Вы поедете вместе с нами... Слушайте, профессор,— спокойно добавил Вадим, заметив по движению руки Качинского, что тот собирается схватиться за сердце.— Вы здоровый человек, оба мы мужчины, и прошу вас, давайте без сцен!

В квартире Качинского была произведена опись коллекции. В спальне, во встроенном шкафу под стопками белья, был обнаружен чемодан, в котором под двойным дном также были найдены иконы.

Когда Вадим после обыска вернулся в управление, Карпухин сказал, что ему много раз звонила жена.

«С Китом беда! — испугался Вадим, но одернул себя.— Кит не баба-истеричка, что бы ни случилось, он будет держаться. Что бы ни случилось, у него жизнь впереди!» «Что бы ни случилось...» Мысль эта расшифровывалась просто: неужели все-таки не простят, уберут из органов?

Он сейчас же позвонил домой, но никто не ответил. Значит, Гали не было дома. О том, что что-то могло стрястись с Маринкой, Вадим запретил себе думать. Да уж о таком сказала бы Галя по телефону и Карпухину.

Вадим посмотрел на часы — день клонился к концу. Долгонько же провозились они с этим обыском, зато результативно. Бабаяну было с чем идти к Булахову. Довольный пошел.

Вадим ничего не ел весь день. Есть ему не хотелось, странная легкость ощущалась во всем теле.

Он только собрался еще раз дозвониться домой, как раздался звонок. Вадим схватил трубку и с ужасом услышал плачущий Галин голос:

— Димушка! — Господи, она никогда так не называла его по управленческому телефону.— Димушка, тетя Ира умерла.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ

Снег, которого так боялся Громов, первый снег выпал в день похорон. Однако мороз еще не сковал землю, редкие робкие снежинки кружились неуверенно, брезгуя опуститься в осеннюю грязь.

Ну что ж, окажись Люба Сычева неразумной, не достойной своего комсомольского билета, может быть, сейчас отчим Громова — не миновать этому типу оказаться когда-нибудь не в роли свидетеля! — уже закопал бы деньги у шитовской калитки.

К выносу Вадим не успел. Первый раз в жизни он использовал свое удостоверение не в интересах службы. Тщетно попытавшись остановить проезжавшие такси простым голосованием, он использовал свои «красные корочки». Попросил поднажать. Услышав адрес — Востряковское кладбище, — водитель поднажал.

От шоссе Вадим почти бежал по залепленной землей,

оттого еще более скользкой асфальтовой дорожке. Он вдруг, осуждая себя, почувствовал, что бежать ему трудно, задыхается. Что же это такое? Ведь еще весной ему довелось более пяти километров пробежать вместе с проводником за собакой — и ничего, он только хорошо разогрелся.

Это было, когда они с лейтенантом Галушко выезжали на убийство. С тем самым Галушко, который домогался у капитана Лобачева объяснений, почему прокуроры на зарплате, а адвокат — нет.

Это было вскоре после Майских праздников, когда тетя Ира, как всегда, была у них и Борко через стол ловил ее голос и смотрел на нее молодыми глазами.

Уже в который раз за последние дни с чувством стыда и запоздалого раскаяния Вадим вспомнил телефонный разговор с Ириной Сергеевной, когда она поняла, что он забыл о ее болезни, о больнице...

Все приходит внезапно: сознание собственной вины, которую уже невозможно искупить, боль собственного сердца, которое вдруг заявляет о своей усталости.

Хоронили в этот день не одну Ирину Сергеевну. Вадим заметил за собой: теперь как-то не выговаривалось панибратское «тетя Ира». На темно-рыжей земле под черно-белыми, облетевшими березами Вадим увидел несколько групп провожавших и подумал, что ему надо туда, где меньше народу. Вчера он забеспокоился, что мало будет мужчин, некому нести гроб, а потому особо попросил прийти Корнеева и Никите по телефону велел привести кого-нибудь.

Они все пришли. Держатся вместе, идут тихонько.

Но сколько же людей провожает Ирину Сергеевну! Почти сплошь молодые лица. Ну да, это студенты пришли ее проводить. Есть и пожилые, но молодых гораздо больше. И как же легко плывет гроб на их крепких плечах.

Зайдя сбоку вливающейся в узкую тропинку процессии, Вадим увидел боевые ордена на красной подушке, которую несла незнакомая ему девушка, лицо у нее было строгое и гордое. Вот и гроб, затопленный цветами. Странно видеть такую груду живых цветов в такой предзимний день, под хмурым небом, на кладбище. Принято от века, пора бы привыкнуть, а всегда странные здесь цветы.

Вадим держался своих, подошел к Гале. Она молча повела на него заплаканными глазами.

— Галя, я не мог раньше,— вполголоса сказал он.

Милицейская жена, она ни о чем не спросила. Не мог, значит, не мог.

Был же случай у Озерова, когда он, замначотдела, лично должен был участвовать в задержании матерого рецидивиста, который договорился у станции метро «Лермонтовская» передать привезенное с Колымы золото. Так сложились обстоятельства, что некогда было передоверять это дело другому сотруднику, и Озеров провел операцию, хотя его ребенок, попавший под машину, в тяжелом состоянии находился в это время на операционном столе.

Галя вела за руку Маринку. Маринка не плакала, лицо ее было серьезно и напряженно. Видно, толпа, венки с красными лентами, гроб, медленно, как бы сам по себе, плывущий впереди, не увязывались в ее сознании с тетей Ирой, которую она знала столько, сколько жила. Это была первая смерть в ее коротенькой жизни.

Несколько поодаль среди студентов Вадим увидел Никиту, увидел Корнеева. Когда гроб донесли до могилы, бережно опустили на заранее подготовленные кем-то табуретки, когда Лобачевы подошли ближе, Вадим увидел Борко.

Борко, как и все, стоял с непокрытой головой, держа в руках свою фуражку. Смотрел он только в лицо Ирины Сергеевны. Теперь увидел ее лицо и Вадим.

Конечно, она не была похожа на себя, редко кто в гробу остается на себя похожим. Не только потому, что лицо ее особенно изменилось, было искажено предсмертными страданиями. Нет, оно было совершенно спокойным, но в этом невозмутимом спокойствии и таилась непохожесть.

У самого гроба суетливо хлопотала какая-то старая женщина, похожая на тощую угловатую козу. Она то и дело прикасалась к гробу, что-то поправляла; она тотчас кинулась вынимать из гроба цветы и старательно раскладывала их на сырой, обнаженной земле. Лицо женщины было сухо и неподвижно, но в запавших глазах горела энергия.

Вадим вдруг узнал ее и содрогнулся — это ведь жена

Борко! Это о ней в минуту полной мужской откровенности с безысходной тоской рассказывал Иван Федотович.

Она не перенесла гибели двух сыновей. Ее преследует мысль, что нет нигде их могил, что не сказано им вслед материнского и отцовского слова...

Теперь она носит цветы на братские могилы, она провожает других умерших, совершенно незнакомых ей людей, пытаясь донести горе и ласку до своих погибших мальчиков. Только в этом теперь ее жизнь.

Все с Ириной Сергеевной попрощались. Из гроба убрали цветы. Цветы полагается убирать. Они поддаются тлению раньше того, кому подарены.

— Трофимов, давай гвозди! — раздался голос.

Высокий русоволосый парень, который бессменно нес гроб, достал из кармана завернутые в чистый носовой платок гвозди, протянул говорившему. С машинальной наблюдательностью Вадим заметил, что на руке у него не хватает пальцев.

У студентов нашелся и молоток, и веревками они запаслись. Они ничего не хотели доверить могильщикам. Они сами хотели похоронить Ирину Сергеевну.

Вот уже двое юношей перебрались на другую сторону могилы, в сырую комковатую насыпь. Вот и гроб заколочен, и бережно принят на веревки. Чуть колыхнулся он и медленно пошел вниз.

Первый ком на него бросила жена Борко. За ней Трофимов. А уж за ним подошел Иван Федотович.

Потом многие и многие бросали и бросали землю, гроб в могиле почти закрылся землею еще до того, как лопатами сдвинулась на него вся тяжелая, свежая насыпь могилы. Вернулась в землю исторгнутая земля.

Все мужчины были с непокрытыми головами. Рядом с девушкой, несшей на подушке ордена, стояли две других. Они несли мужские шапки, много шапок, и лица у них были такие же гордые, как у той, которая несла ордена.

Никита уходил от могилы одним из последних. Чем более отдалялся от него одинокий холм в венках с жестяной биркой в изголовье, тем острее тянуло его остаться, еще побыть здесь. Его угнетало ощущение самому ему неясной вины перед Ириной Сергеевной за короткую встречу на юге. Чего-то он не сумел сказать, а

чего — сам теперь не знает. Никто никогда не выйдет к нему из-под мушмулы, не позовет: «Кит, деточка!»

Медленно уходила от могилы и горько плакавшая девушка. Она утирала платком покрасневшее лицо.

Никита не сразу узнал в ней девицу из фузенковской детской комнаты, а когда узнал, не испытал к ней доброго чувства.

Ирина Сергеевна, кажется, принимала в ней участие, но в городе на море эта Вика не показалась Никите ни умной, ни доброй.

Да и не до Вики было ему сейчас. В жизни Никиты не нашлось бы дней, равных по тяжести трем последним. Это были не дни — это был рубеж, отделявший его от юношеской беззаботной уверенности в безгреховной, безошибочной правоте.

Он избегал в эти дни Вадима. Еще более не хотелось встречаться с Борко. Ему было стыдно своей разлапистой доверчивости. Как дурака его обвели вокруг пальца, он развесил уши, он распустил язык перед чужими людьми. Запятнал не одного себя.

Никиту в жар бросило при воспоминании об этой проклятой пленке, о том, как звучали записанные голоса в кабинете Чельцова, о выражении лиц, с каким слушали собравшиеся в кабинете люди эти голоса.

Что толку в экспертизе пленки, в том, что ездил он на дачу с разрешения Соколова... Ничто не могло оправдать его болтливости. Старая истина: не хочешь, чтоб тебя оскорбили, не ставь себя в такие условия, где тебя могут оскорбить. Предостерегающий этот совет адресовался к девушкам, которым не мешало бы соблюсти невинность. А тут в роли юницы, не последовавшей мудрому присловью, оказался сам Никита.

Он видел, как к зареванной Вике подошел русоволосый парень, который, не сменяясь, нес гроб, взял под руку и они пошли вдвоем. Ну и слава богу!..

— Никита! — услышал он голос брата.

Лобачевы, Борко с женой, Корнеев стояли на асфальтовой дорожке недалеко от шоссе.

Никита не мог заставить себя подойти к ним.

Вадим понял его состояние и, едва Никита замедлил шаги, сам подошел к нему. Корнеев тоже разгадал нехитрую ситуацию и потихоньку повел остальных к шоссе.

— На поминки надо пойти,— сказал Вадим.

Никита медленно покачал головой, не опуская глаз под недобрым взглядом брата.

— Я не пойду, Вадим,— умоляюще сказал он.— Я не могу.

— Напакостил, щенок, а теперь соблюсти обычай в память хорошего человека не можешь?

Вадим говорил тихо, сквозь зубы, со стороны могло показаться, что самый мирный идет у братьев разговор.

Но только не Галя могла в это поверить. Оглянувшись, она сунула Маринкину руку Корнееву и бегом вернулась к Лобачевым.

Она тоже была ученая, по лицу ничего не разберешь.

— Димушка, Дима! — тихонько окликнула она мужа. — Ну не надо! Ну ничего не надо, ну в память Ирины Сергеевны! Ну мало ли что бывает. Кит, маленький, ну успокойся! Пройдет все, пройдет, никого ты не убил, не ограбил...

— Поистине чудо! — пораженный ее последним доводом, Вадим перевел глаза на жену.

Галя в волнении сунула им обоим по таблетке валидола. Никите валидол был ни к чему, но он покорно положил его за щеку и ощутил приятный холодок, как от мятной конфеты.

— Ну хорошо, хорошо, ну пусть я дура, но пойдемте, чтобы все как у людей!

Она схватила их обоих под руки, и они трое в молчании пошли к шоссе.

Вика видела Лобачевых и бывших с ними, незнакомых ей людей. Она знала, что Лобачевы — семья Ирины Сергеевны, ей очень хотелось к ним подойти, но после того как лейтенант Лобачев скользнул по ней невидящим взглядом, она побоялась это сделать.

Ей было одиноко и тяжко. Ее мучила совесть за то, что она была не заботлива, не внимательна к приютившей ее сердцем, обогревшей делом Ирине Сергеевне.

Это так и было на самом деле, но Вика не знала, что если б она в равной мере отвечала Ирине Сергеевне на тепло и заботу, ее все равно бы мучила совесть. Живые всегда испытывают перед ушедшими вину.

И Вика, всегда сторонившаяся чужих, обрадовалась, когда к ней обратился и назвал себя Саша Трофимов.

— Вы здесь одна,— сказал он.— Я студент Ирины Сергеевны. Давайте я вас провожу.— И взял Вику под руку.

Вика действительно обрадовалась. Когда ее не узнали Лобачевы, ее пронзило ужасное ощущение, словно прогнали с похорон, хотя, кроме лейтенанта, никто в этой семье ее не мог узнать.

От Трофимова исходило молчаливое участие и тепло. Вика всхлипывала все реже и наконец притихла. Зеркал и пудры она с собой принципиально не носила, просто попыталась перед автобусной остановкой обтереть лицо насквозь мокрым платком.

— Возьмите уж мой, по крайности он сух,— предложил Трофимов, доставая из кармана вчетверо сложенный глаженый платок.

Вика взяла, молча поблагодарила его кивком.

— Мне ведь на электричку, — сказала она. — Я за городом живу, так что извините, я вам сейчас платок нестираный верну.

— Я вас провожу,— повторил Трофимов.— По какой вы дороге?

И вот уже бежит, подрагивая на рельсовых стыках Подмосковья, работяга электричка. В вагоне тепло, Вика согревается, ее отпустил озноб, обсохли ресницы. Трофимов, как всегда обстоятельно, рассказывает ей конечно же о своей замечательной школе, куда он пойдет преподавать после института, о малышне, которая любит заглядывать в окна физкабинета.

— Бросьте это дело! — решительно заявил он, узнав о контингенте Викиных подопечных.— Это работа не женская. Такая маленькая — с такими лбами!

— Какая же я маленькая! — изумилась Вика. Она привыкла считать себя рослой.

— Да уж невелика в перьях.

— А как это...

— А это присловье такое у нас в деревне. Уж если в перьях невелик, так ощипанный и того меньше.

Первый раз за день оба они улыбнулись.

Шел только пятый час, Вика пошла в отдел. Трофимов проводил ее до отдела, взял рабочий телефон и адрес, она следила, чтоб не ошибся, записывая. Получилось, что он для нее, а она для него оказались един-

ственной связью с Ириной Сергеевной, хотя ни словом о ней не обмолвились.

У дверей детской комнаты Вика с ужасом увидела Жорку, пятиклассника, не блатного, но зловредней которого ей встречать не приходилось. Привела его, как обычно, мать.

— Вот,— сказала она со вздохом, вслед за Викой вводя свое чадо в комнату.— У дворника шланг сперли, подозренье на него, а он молчит. Садись! За грехи ты мне послан!

Посадила и ушла. Жорка, ухмыляясь, изготовился к бою.

Вика села за стол и только сейчас вспомнила, что ни единым словом они с Сашей Ирину Сергеевну не помянули. Опять ей стало стыдно, тяжело, душно от горя, и она разрыдалась.

Успокоилась она не вдруг. Снова утерлась Сашиным платком.

— Ну вот что,— сказала она, пригладив ладонями волосы и возвращаясь к своим обязанностям.— У меня большое горе... Не рассказывай, пожалуйста, никому, что я тут ревела. Нам это не положено.

С лица Жорки давно сошла ухмылка. Пока Вика плакала, он сидел тихо, не шевелясь.

— Даю слово чести молчать! Железно! — тотчас отозвался Жорка.— Вы знаете что, вы выпейте воды. Скажите, когда завтра прийти. Слово чести, приду, все расскажу. Я шланга не брал, но, где он лежит, знаю.

Они попрощались за руку. Высоко подняв голову, Жорка ушел до завтрашних девяти утра.

Случись по-другому, Вика все равно не могла бы сегодня с ним говорить. Где уж сегодня быть воле в кулаке! Но, глядя, как уходил Жорка, она впервые подумала, не мало ли одной воли! А что, если больше, чем воля, нужна с ними искренность, живое доверие, так, чтобы душа — к душе?

У Лобачевых было все как у людей.

Стоя, не чокаясь, подняли рюмки. На скатерти белел нетронутый прибор. Посидев несколько минут, Никита поднялся. Галя и Марина вышли его проводить.

Вернувшись с кладбища, Маринка успела на кухне спросить мать, что с дядей Китом. Галя сказала, что у

него неприятности, и, прощаясь, девочка как могла ласкалась, выражала участие.

Небытие, смерть, вечность... Возраст хранил ее от осознания этих понятий, если допустить, что зрелые люди способны их осознать. А изменившееся лицо Никиты было ей понятно и тревожно, своим маленьким сердцем она чувствовала его беду. За все мучительные дни ей одной Никита смог непритворно и благодарно улыбнуться.

Жена Борко без умолку рассказывала о братских могилах, о памятниках погибшим воинам, куда она в праздничные дни носит цветы. На сей раз Галя была ей только благодарна за ее несмолкаемое повествование, иначе за столом было бы, наверное, тише, чем у Ирины Сергеевны под березой.

— А что так неожиданно? — спросил Корнеев.

— Да какое там неожиданно, Мишенька,— печально ответила Галя.— Снимки, анализы у нее давно паршивые. Я ее поэтому к знакомому врачу устроила, чтоб он ей ничего не показывал. Саркома у нее была...

Борко молчал. Пил и ел молча; ничто из говорившегося за столом до него не доходило. Весь он был даже не на кладбище с Ириной. Он был с ней на фронте, там, где он впервые ее увидел, молодую, любящую командира артдивизиона его полка Костю Марвича.

Наверное, там Борко ее и полюбил, просто не сразу об этом догадался. Он понял это гораздо позднее, когда Марвич погиб, когда он увидел Ирину уже в сорок пятом на Эльбе, обритую после черепного ранения, ужасно подурневшую.

Когда Марвича хоронили, это он послал за ней на коне ординарца, чтобы она смогла хоть издали проститься с Костей.

Она стояла тогда поодаль от могилы, не смея ничем обнаружить свое горе. Только сегодня, провожая Ирину, Иван Федотович понял, каково ей тогда было...

Вадим, кивком простившись с Никитой, накоротке рассказывал Корнеичу о сегодняшнем разговоре у Чельцова. Из-за этого разговора он и опоздал на кладбище.

Чельцов вызвал старшего Лобачева, чтоб поговорить с ним о брате, хотя само собой разумеется, мог этого и не делать.

О том, что служебная проверка закончилась, в общем, благополучно, Вадим знал от Соколова, который зашел

к нему домой и, плотно закрывшись с Вадимом на кухне, в соответствующих выражениях охарактеризовал и методы старика Качинского, и размагниченность Никиты, которого, как всех молодых, еще надо и надо мордой об стол, чтоб не думали, что они — пуп вселенной, а облапошить их вовсе некому. Однако каковы бы ни были результаты проверки, к Чельцову старший Лобачев за все годы службы впервые шел, чувствуя себя лично провинившимся. Потому и обратился строго по уставу, чего Чельцов обычно отнюдь не требовал.

Чельцов и сейчас не поддержал этой официальной формы.

— Садитесь, Вадим Иванович,— просто предложил он.— О результатах вы, вероятно, осведомлены. Дело, конечно, очень неприятное, лучше, если б лейтенант Лобачев не дал возможности изготовить эту липовую запись, но — что поделать? Против Качинского дела не возбудишь, формально он никого ничем не шантажировал. Отдал имевшуюся у него пленку, и только... С лейтенантом Лобачевым,— голос Чельцова зазвучал посуше, построже,— разговор у нас был серьезный. Его предупредили: если хочет работать в органах...

— Рано взяли его в угрозыск,— с горечью проговорил Вадим.— И я его рано рекомендовал...

— А вот тут вы не правы,— перебил его Чельцов. Голос его звучал опять доверительно-мягко.— В угрозыск его не рано взяли. Посмотрите, как точно, я бы сказал — филигранно провел он операцию с Громовым. А ведь операция была не проста, Громов — противник серьезный.

Вы знаете, о чем я думал...— Чельцов поднялся и, заложив руки за спину, стал ходить по кабинету.— Я думал о том, что не только молодые — мы сами иной раз недооцениваем потенциальной опасности так называемых нейтральных, если хотите, в стороне стоящих людей. Молодежь мыслит иногда несколько упрощенно: вот преступный мир, вот мы, представители, так сказать, исполнительной власти. А все остальные, без малого двести миллионов, наши надежные помощники. А жизнь показывает, что не все двести. И пожалуй, исследуя истоки многих преступлений, можно докопаться до вины людей вполне респектабельных, таких, к примеру, как ваш — боюсь, что все-таки вам придется им

заняться после Громова,— таких, как ваш Качинский. Я имею в виду, естественно, профессора. К адвокату не придерешься. Он чист. А двойное дно профессора, как и его чемоданов, стало зримым.

Вадиму вспомнились свои совершенно схожие мысли по поводу частника-автомобилиста, купившего у пацана за пятерку свечку.

Чельцов, в сущности, тоже говорил о третьей силе, которая в определенной ситуации может и породить, и совершить преступление. Для третьей силы важна только ситуация. Только она одна.

От Чельцова Вадим ушел все же с чувством некоторого облегчения. Как бы то ни было, гнусная эта история обретала конец.

Но когда на кладбище он увидел Никиту, как ему показалось, вполне спокойного, в нем вспыхнул великий гнев против этого благополучного парня, которому все-то, все легко дается, который и трудностей настоящих не видел, которого и жареный кочет ни в какое место не клевал. Такой вспыхнул гнев, что кажется, кабы не похороны, да и не люди кругом, так наподдал бы он этому счастливчику по первое число.

— Неизвестно, Димушка, кто бы кому наподдал,— печально сказала Галя, когда ушли Борко и Корнеев, измученная Маринка заснула, прикорнув тут же в столовой на диване, а Вадим рассказал жене о разговоре с Чельцовым.— Какой уж там он спокойный, я Кита знаю, жутко переживает. Будь проклята эта дача! Недаром тетка Ира тогда...

Галя сказала и осеклась. Некого уже так называть.

Темнеет сейчас на кладбище. Светится, как свеча, белый ствол березы.

В народе говорят: с бедой надо переспать. Не в том, разумеется, смысле, что без нее, голубушки, никак не заснешь, а в том, что за ночь обдумается, приобыкнется, глядишь, немножко и легче станет. А если семь дней и ночей пройдет, считай, на семь шагов позади осталась беда.

За последнюю неделю почти синхронно и до конца раскололись Громов у Лобачева, Иванов у Утехина. Как и предполагал Бабаян, в результате экспертизы и опознания среди найденных у Качинского икон обнару-

жились и похищенные в Никольской церкви. Они были предъявлены Иванову, и тот, ознакомленный предварительно с показаниями ранее арестованных соучастников, начал давать показания.

— Культурно, ничего не скажешь,— сказал Бабаян, прочитав один из протоколов допросов Громова, где говорилось: «Да, мы с Ивановым познакомились в колонии. Он должен был освободиться много раньше меня. Договорились, что, пока я буду в колонии,— прослушает курс лекций по древнерусскому искусству...» — Лет тридцать тому назад не пришло бы им в голову составлять столь далеко и вглубь идущие планы.

Вадим промолчал. Погоны обязывают. Не его дело обсуждать существующие законы, его дело законы соблюдать. Но отнюдь не исключено, что через небольшое количество лет такой Иванов снова прибудет в Москву, осененный новыми замыслами.

Была в этой неделе и отдушинка — радость. Старик Вознесенский приехал в Москву. Странно было видеть, как в стареньком своем подряснике он медленно идет по коридору. На него глядели все, он — ни на кого.

Вадим опасался, как бы старик не возжелал немедленно увезти драгоценный для него образ, поэтому сразу, сколь мог деликатно, объяснил, что свою собственность Вознесенский получит после конца следствия по делу Качинского. Однако все произошло не так.

Когда Вознесенский взял в трясущиеся руки свой образ, он заплакал. Слезы текли по глубоким морщинам, это нимало не заботило старика, он глядел и глядел на образ. Потом перекрестился, поцеловал дешевенький оклад, так же бережно, держа обеими руками, вернул икону Лобачеву.

— Нет, Вадим Иванович,— сказал он.— Великое спасибо вам, пусть господь вас вознаградит за то, что вы нашли этот образ, но негоже мне одному и для себя его иметь. Я уже наказан. Благослови вас господь,— сказал старик Лобачеву и удалился.

«Эх, теперь картину бы ему вернуть,— подумал Лобачев.— А может, и получится».

Никита всю неделю не подавал признаков жизни, Вадим тоже брату не звонил.

Если б на Никиту, помимо честно заслуженного на-

гоняя, втыка, дрозда, называй как хочешь, от начальства свалилась более серьезная беда, Вадим, наверное, перетащил бы его к себе, во всяком случае на день бы одного не оставил. Но сейчас его на Никиту брало зло, и он считал, что парня надо проучить, пусть помнит.

По воскресным утрам, если не случалось происшествий или дежурств, Никита обычно приходил к ним завтракать. Нынче он не явился.

— Кит занят сегодня,— ответила Галя на вопрос Маринки, но дети чутки. Маринка молча посмотрела на мать, на отца. Не поверила. Она чем-то изменилась за эту неделю. Она ни словом не поминала Ирину Сергеевну, и по этому одному было видно, что встреча со смертью не просто усваивалась ее сознанием.

Они еще сидели за столом, когда раздался звонок. Вместо Кита неожиданно явился Корнеев.

Маринка и ему обрадовалась от души, во-первых, потому, что вообще относилась к Корнеичу с неизменной приязнью, а во-вторых, потому, что за столом нет-нет да и возникали непривычные паузы.

Корнееву обрадовались и удивились. Но почему-то и на лице Михаила Сергеевича возникло некое недоумение, когда он оглядел мирно сидящую за столом семью и были произнесены первые приветственные фразы. Он и за стол присел бочком, словно бы чего-то ожидая, либо намереваясь вот-вот уйти.

— Так как Никита? — спросил он.

— Не беспокойся, цел будет. Легким испугом отделался.

Корнеев отодвинул от себя чашку с чаем. В его медвежьих глазках появилось нечто недоброе.

— Знаешь, Вадим,— тихо проговорил он.— Ты слишком упорно играешь бездушного. Смотри не войди в роль.

Не столько слова, сколько выражение глаз Корнеева заставили Вадима тотчас подняться.

— Пойдем, Михаил Сергеевич, поговорим,— серьезно сказал он, прихватывая со стола сигареты.

Они ушли на кухню. Плотно закрыв за собой дверь, Корнеев сказал:

— Я все-таки думал, ты хоть навестишь его. Пусть не тяжело, но как-никак парень ранен.

...А получилось так. Когда Никита вернулся с поми-

нок, бабка Катя, против обыкновения, его ждала. Ирину Сергеевну она знала — любила, а потому глаза у нее были наплаканы. Как всем старым людям, ей хотелось узнать о похоронах все и поподробней, но из Никиты нельзя было слова вытянуть.

— Вроде ты раньше разговорчивей был? — сказала бабка Катя.

— Это правильно,— ответил Никита.

— А теперь из тебя слова не вытянешь.

— Это тоже правильно.

— С тобой не сговоришь.

Бабка отчаялась и ушла.

Говорить Никите было действительно до невозможности трудно. В ушах звучал и звучал корректный голос Чельцова: «...если вы хотите работать в органах...»

Ну, мог ли лейтенант Лобачев вообразить, что когда-нибудь заслужит такое предупреждение!

А ведь заслужил — вот что было самое обидное. Лестью, камином, машиной, побрякушками произвели-таки на него впечатление, разогрели, разварили, как столярный клей. И ведь было, было у него предостерегающее чувство: не ходи, остерегись!

Не поверил, лишний раз пошел, шибко на себя надеялся. На разрешение Соколова наедине с филодендроном нечего ссылаться. Сам бы не пошел и Соколову бы разрешать нечего.

Худо, срамно чувствовал себя Никита, спасался работой. Особых происшествий не было, он подключился к организации опорного пункта и домой приходил только ночевать.

В тот субботний вечер, едва вошел он в дом и разделся, кулаками заколотили в дверь. На всю улицу вопила женщина. Никита открыл — соседка, Петькина мать. Не сразу удалось допытаться, ну да Никита участковым недаром служил.

Оказалось, сосед с пятницы мертвую запил. Сегодня почудилось ему, что Петька про аппарат выбрехал, он с Петькой в горнице заперся, кричит, что Петьку убьет. У него там двустволка. Один раз уже стрелял. Петька то молчит, то кричит.

Никита вызвал по телефону машину, сунул в карман пистолет и побежал к соседям.

В горницу ход был из кухни. Никита окликнул пья-

ницу и вступил с ним в переговоры, попутно примериваясь к запертой изнутри двери. Пьяный матерился и грозил, как быть следует. Петьки не было слышно, и это более всего тревожило Никиту.

Все бы, наверное, обошлось, кабы не подвела дверь. Не прекращая дипломатических увещеваний, Никита приладился, поднапер, а древесина оказалась гнилая. Вместо того чтоб постепенно подаваться, дверь вывалилась, Никита и влетел с ходу в комнату прямо под ружье. Пьяный выпалил в него чуть не в упор крупной дробью. Спасибо самогону, промахнулся. Никите пробило плечо, поуродовало ухо.

Петька лежал у стенки без памяти, но целый. Пьяного Никита скрутил, с улицы сбежался, помог народ, повязали по рукам, по ногам, лежи, черт с тобой, до милиции.

Никите выхватили полотенце из-под образов. Кровь из уха лилась страшенной струей — в голове всегда обильное кровотечение. Кто-то в избе вопил, чтобы вызывали «скорую». Никита прикрикнул, сказал, чтобы мальчишку на воздух вынесли и успокоили, а его милицейская машина заберет.

На машине прилетел Федченко и побелел, когда увидел своего лейтенанта. Федченко сроду сразу столько крови не видал.

Связанного пьяного положили в машине на пол. Сначала Никиту повезли в больницу.

— Слушай, Федченко! И вы, ребята,— сказал Никита, выбираясь из машины.— Если хоть кто-нибудь заикнется брату или кому из семьи, вот! — Он всеоглядно потряс черным от присохшей крови кулаком.— Ясно? Зашьют, завяжут, вымоют, сам доложусь. Чтоб тихо было! Мне сейчас только еще одного нагоняя не хватает.

Последняя фраза ребятам понятна не была, зато для Никиты полнилась сокровенным смыслом. Действительно, не хватало еще, чтоб его обвинили в неуменье взять пьяного дурака.

Корнеев случайно нынешним утром услышал обо всем от своих и явился к Лобачевым справиться о здоровье Никиты, а может, вместе и навестить парня.

Вернувшись в столовую, Вадим и Корнеев рассказали о случившемся женщинам, взрослой и маленькой. Поскольку из их рассказа получалось, что дядя Кит моло-

дец, а левое ухо у него только поцарапано, Маринка облегченно заявила:

— Это ничего! В левом ухе у него все равно среднее воспаление было.

— Тогда тем более жалеть нечего,— подвел черту Михаил Сергеевич, пытаясь приободрить Галю.

Взрослые договорились созвониться и ехать в больницу. Однако их попросили приехать после обеда. Такой порядок. У лейтенанта Лобачева все нормально, на ухо швы положены; кровотечение прекратилось. Завтра будет рентген плеча, очевидно, придется извлекать дробины.

— Ну почему он не мог дать знать? — в который раз с горечью повторял Вадим.

— В этом нет ничего удивительного, — неумолимо ответила наконец на тщетные его восклицания Галя.— После твоего обращения с ним в этом нет абсолютно ничего удивительного. Кроме этого, ты просто забываешь, что он твой брат!

— Ну-ну! — сказал Михаил Сергеевич, поглядев на старшего Лобачева и пожалев его.— Ну уж, уж так уж...

В эту минуту раздался звонок, на дверь с тревогой обернулись все четверо.

Открыла Маринка, впустила девушку. Незнакомую, под южным загаром девушку лет семнадцати-восемнадцати, не более, с очень густыми ресницами, с каштановой длинной гривой, стекавшей на плечи из-под светлого вязаного колпачка.

Все подумали, что она ошиблась квартирой, но девушка спросила:

— Здесь живет Никита? Я должна вернуть ему книгу.

Она достала из огромной, как баул, сумки томик Мандельштама. Вадим и Корнеев переглянулись. На сей раз в глазах Михаила Сергеевича появилось выражение отнюдь не осуждения или грусти.

Прошли какие-то секунды, в течение которых никто не брал книгу, не сказав ни слова, не предложил зайти. Теперь уже девушка усомнилась, по адресу ли попала.

Первой, как ни странно, опомнилась Маринка.

— Да, — сказала она с приветливым достоинством.— Никита — это мой дядя. Заходите, пожалуйста!

Деваться было некуда, Галя предложила гостье раздеться. Когда девушка разделась, Корнеев оглядел ее плиссированную юбочку-оборочку, длинные ноги в кудлатых сапожках, и веселости в глазах его прибавилось.

Маринка без стеснения пригласила гостью к столу, как она выразилась, попить чайку. Ей, видно, очень пришлась по душе случайно доставшаяся роль хозяйки.

Взрослые удалились на кухню. Там Корнеев позволил себе вволю поулыбаться.

— А я, грешным делом, никак не мог понять, что Киту за причина о кассирше так уж заботиться,— сказал он Вадиму.— Была, оказывается, у него причина.

— Да ничего такого особенного,— сказал Вадим.— Если только юбка...

— Заелись вы, господа охрана общественного порядка,— ни к кому не обращаясь, сказала Галя.— Девушка — цветок.

Посидели, помолчали. Потом Галя приоткрыла дверь. В столовой чаепитие было в разгаре. Доносились голоса. Говорила девушка:

— ...а я родилась в городе на море. У нас сейчас еще совсем-совсем тепло и красные листья. Когда я была маленькая, я дружила с мальчиком, его звали Джания. Я бежала и кричала: «Джания, пойдем за листьями!»

— ...у вас, наверное, нет хоккея? Никита имеет по хоккею первый разряд...

— Ты смотри-ка, законтачили! — удивленно констатировал Вадим.— Чтобы так, с ходу — это для Маринки редкость. И заметь,— это Корнееву, с гордостью, — ничего лишнего не допускает, все в цвет!

— Ну что ж,— сказала Галя.— Придется этого Мандельштама в больницу захватить.

Потом Маринка так же важно сообщила, что проводит гостью до автобуса.

Из окна их было хорошо видно. Накануне выпал молодой снежок и удержался на газонах. От стволов молоденьких лип пролегли, пересекая аллею, голубые тени.

По аллее уходили две девушки. Они были почти одного роста. Сначала шли рядом, а потом взялись за руки. У одной каштановая гривка, у другой — золотая коса.

Евгения Владимировна Леваковская

НЕЙТРАЛЬНОЙ ПОЛОСЫ НЕТ

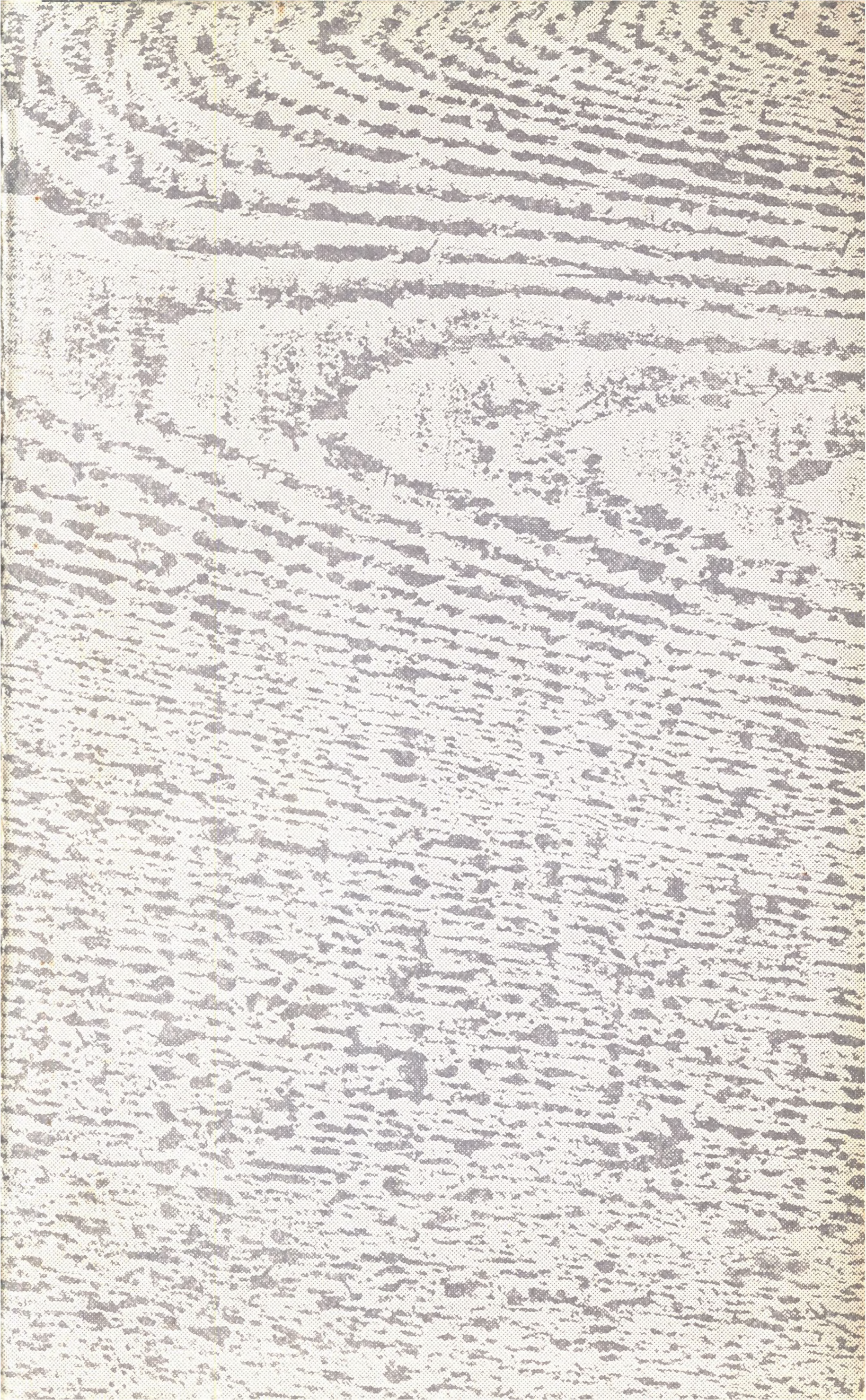
М., «Советский писатель», 1979, 544 стр.
План выпуска 1979 г. № 93

Художник *Е. М. Дробязин*

Редактор *Г. А. Блистанова*
Худож. редактор *Е. И. Балашева*
Техн. редактор *А. И. Мордовина*
Корректоры *В. Е. Бораненкова*
и *Т. Н. Гуляева*

ИБ № 1724

Сдано в набор 03.11.78. Подписано к печати 22.02.79. Формат 84×108 1/32. Бумага тип. № 1. Литературная гарнитура. Высокая печать. Усл. печ. л. 28,56. Уч.-изд. л. 29,93. Тираж 150 000 экз. Заказ № 826. Цена 2 руб. Издательство «Советский писатель», 121069, Москва, ул. Воровского, 11. Тульская типография Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, г. Тула, проспект Ленина, 109.



2 руб.

Е. ЛЕВАКОВСКАЯ
НЕЙТРАЛЬНОЙ ПОЛОСЫ НЕТ